



Евгений  
Шварц

Трехвратности  
судьбы

Евгений Шварц

Трехвратности  
судьбы

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭПОХЕ ИЗ ДНЕВНИКОВ ПИСАТЕЛЯ



ВОСПОМИНАНИЯ  
ОБ ЭПОХЕ  
ИЗ ДНЕВНИКОВ  
ПИСАТЕЛЯ

*Шварц Евгений*



*Шварц Евгений*

# **ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ**

*Воспоминания об эпохе  
из дневников писателя*

**АСТ  
Москва**

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Ш 33

### **Шварц, Евгений**

**Ш 33 Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя / Евгений Шварц. — Москва: АСТ, 2013. — 512, [0] с.**

ISBN 978-5-17-077685-6 (АСТ)

Евгений Шварц – известный советский писатель, автор культовых пьес «Голый король», «Снежная королева», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо».

Дневники – особая часть творческого наследия Шварца. Писатель вел их почти с самого начала литературной деятельности. Воспоминания о детстве, юности, о создании нового театра, о днях блокады Ленинграда и годах эвакуации. Но, пожалуй, самое интересное – галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха: Корней Чуковский, Самуил Маршак, Николай Черкасов, Эраст Гарин, Янина Жеймо, Дмитрий Шостакович, Аркадий Райкин и многие-многие другие. О них Шварц рассказывает деликатно и язвительно, тепло и иронично, порой открывая известнейших людей тех лет с совершенно неожиданных сторон.

**УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6**

Подписано в печать 23.01.2013. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л.25,2  
Тираж 3000 экз. Заказ № 2687М

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

© Шварц Е., 2013  
© ООО «Издательство АСТ», 2013

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Дневники — особая часть творческого наследия Е. Л. Шварца. Писатель вел их почти с самого начала своей писательской деятельности — с 1926 года. К сожалению, воспоминания о жизни молодой советской литературы и создании нового театра, о суровых днях блокады Ленинграда не сохранились. Покидая Ленинград по решению исполкома горсовета в декабре 1941 года Шварц сжег свои дневники, не имея возможности взять их с собой.

Однако попав на Большую землю, в город Киров, одновременно с возобновлением творческой деятельности он вновь вернулся к дневникам. Ведя их, Шварц ставил перед собой две основные задачи: учился писать прозой, считая для драматурга это очень важным, и стремился «поймать миг за хвост», то есть найти наиболее точные слова для передачи чувств, событий и настроений в тот или иной момент жизни.

Структура дневников довольно сложна. В них содержатся и заметки, характерные для записных книжек, — отдельные слова, выражения, обратившие на себя внимание и наброски для будущих пьес и самые обычные записи о событиях текущего дня. С 1950 года структура дневников становится еще более сложной — в них постоянно проходит тема воспоминаний. В результате создается полная автобиография писателя, начинающаяся с первых детских впечатлений и идущая через отроческие годы, проведенные в небольшом южном городе Майкопе. Здесь он научился читать и писать, здесь посмотрел первые спектакли на сцене Пушкинского народного дома, где в качестве артистов-любителей выступали его родители, здесь придумывал целые представления с куклами, игрушками, декорациями, здесь выступал с декламацией на вечерах в реальном училище. В этом городе к нему пришло твердое

решение стать литератором, здесь в глубокой тайне даже от самых близких людей он написал первые стихи. В Майкопе девятилетний Женя Шварц стал свидетелем революционных событий 1905 года, первых митингов и демонстраций, запомнившихся на всю жизнь. Писатель рассказывает о годах учебы в Московском университете, о поступлении в Театральную мастерскую в Ростове-на-Дону, о приезде в составе труппы этой мастерской в Петроград, о новых знакомствах, о первых книжках и пьесах, принесших ему известность, о днях блокады Ленинграда, об участии в противовоздушной обороне города, о годах эвакуации и возвращении в послевоенный Ленинград. Автобиография доведена до конца. Последняя запись сделана 4 января 1958 г., за одиннадцать дней до смерти писателя.

Не все периоды жизни отражены в дневниках одинаково подробно, некоторые пропущены совсем. Иногда, следуя по «волнам своей памяти», автор возвращается к уже описанному периоду, дополняя его новыми деталями.

В составе дневника осуществлена и очень интересная работа, названная Шварцем «Телефонная книжка». Это, по сути, галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха общественной и культурной жизни страны. Исходным материалом для миниатюр послужила обычная записная книжка, куда в течение многих лет в алфавитном порядке заносились телефоны людей, с которыми постоянно общался Шварц. Как правило, это были писатели, артисты, режиссеры, музыканты, художники. О них Шварц рассказывает одновременно иронично и деликатно, насмешливо и тепло...

1942 г.

9 апреля

Читал о Микеланджело, о том, как беседовал он в саду под кипарисами о живописи. Читал вяло и холодно — но вдруг вспомнил, что кипарисы те же, что у нас на юге, и маслины со светлыми листьями, как в Новом Афоне. Ах, как ожило вдруг все и как я поверил в «кипарисы» и «оливы», и даже мраморные скамейки, которые показались мне уж очень роскошными, стали на свое место, как знакомые. И так захотелось на юг.

19 апреля

Владимир Васильевич Лебедев<sup>1</sup> заходит за мною, чтобы идти в театр поговорить с Рудником<sup>2</sup> о декорациях к моей пьесе «Одна ночь». Я не особенно привык к тому, что пьесы мои ставятся. Мне кажется, что если пьеса написана, прочитана труппе и понравилась, то на этом, в сущности, дело и кончается и кончаются мои обязанности. Но Маршак всегда так энергично и хлопотливо готовит свои сборники к печати, так пристально разглядывает и упорно обсуждает каждый рисунок, что привыкший к этому Лебедев ждет и от меня такого же отношения к эскизам костюмов и декораций. Лысый, с волосами, чуть завивающимися над висками, в круглых черных очках, в картузе, в американских сапогах с толстыми подошвами, странный, но вместе с тем ладный и молодежавый, заботливо и вместе с тем нелепо одетый, Лебедев спрашивает меня: «Вы, может быть, кушинькаете?» У него есть эта привычка: вдруг заговорить детским, ошеломляюще детским языком. Я говорю, что я, нет, не кушаю, и мы отправляемся в театр. По дороге разговариваем о пьесе, которую Лебедев знает удивительно хорошо. Говорит он то понятно, убедительно, то вдруг неясно, загадочно, хохочет при этом еще, так что совсем ничего не разберешь. Рудника мы застаем в кабинете. Он красив, выбрит. Я замечаю вдруг, что



у этого грубоватого, самоуверенного, умеющего жить человека длинные, тонкие красивые пальцы. У него манера говорить характерная. Обрывает вдруг на середине фразу, не зная, очевидно, как ее закончить, но делает он это спокойно, не пытаясь даже найти ей конец. Ставит точки посреди фразы. Например: «Теперь мы репетируем эту. Во вторник можно в четыре встретиться. До этого я найду. Малюгин<sup>3</sup> зайдет, и мы».

23 июля

17 июля я уехал в Котельнич, гостил у Рахманова<sup>4</sup> и пробовал делать то, что умею хуже всего, — собирал материалы для пьесы об эвакуированных ленинградских детях. Рахманов принял меня необычайно приветливо и заботливо. Вероятно, благодаря этому я чувствовал себя там так спокойно, как никогда до сих пор в гостях. Видел эвакуированные из Пушкина ясли, детская санатория бывшая. Говорил с директоршами — это было очень интересно, но как все это уместится в пьесу, да еще и детскую?

18 октября

Я за это время написал пьесу, которую назвал «Далекый край». Это пьеса об эвакуированных детях. 13 сентября я поехал в Москву, повез пьесу в Комитет. Ее приняли. В Москве я прожил до 4 октября. Бывал у Шостаковича. Познакомился там с художником Вильямсом, с его женой — артисткой, которая играла Варвару в «Айболите». Заключил договор на пьесу в кино. «Одна ночь» ходит по рукам, ее хвалят очень Шток<sup>5</sup>, Шкваркин<sup>6</sup>, Шостакович, Каплер<sup>7</sup>.

1943 г.

6 марта

1 февраля Большой драматический театр погрузился в вагоны (два классных и, кажется, четырнадцать товарных) и уехал в Ленинград.<sup>8</sup> 11 февраля они, не перегружаясь, доехали до Ленинграда. Я уезжал в детскую санаторию Канып. Отвозил туда Наташу<sup>9</sup>. Перед отъездом моим я согласился работать завлитом в Кировском областном драматическом театре, вернувшемся из города Слободского сюда, на старое место. Работаю там. То есть обсуждаю пьесы, смотрю спектакли, разговариваю.

3 августа

И вот мы уже в Сталинабаде<sup>10</sup>. Выехали в ночь на десятое июля и приехали 24-го. Три дня пробыли в Новосибирске, два дня — в Ташкенте. Сталинабад поразил меня. Юг, масса зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится. Я еще как в тумане. Собираюсь писать, но делаю пока что очень мало. В Союзе писателей я познакомился с Сергеем Городецким. Хочу поездить, походить по горам.

1944 г.

23 января

Поездить и походить по горам я не успел до сих пор, хотя послезавтра уже полгода, как я живу здесь. Уже зима, которая похожа здесь на весну. На крышах кибинок растет трава. Трава растет и возле домов, там, где нет асфальта. Снег лежит час-другой и тает. Не успел я поездить и походить, потому что Акимов уехал в августе в Москву и я остался в театре худруком. Кроме того, я кончал «Дракона». До приезда Акимова (21 октября) я успел сделать немного. Но потом он стал торопить, и я погнал вперед. Сначала мне казалось, что ничего у меня не выйдет. Все поворачивало куда-то в разговоры и философию. Но Акимов упорно торопил, ругал, и пьеса была кончена, наконец. 21 ноября я читал ее в театре, где она понравилась...

В Москве Акимов долго выяснял дальнейшую судьбу театра. Было почти окончательно решено, что театр переезжает в Москву. Но вдруг Большаков<sup>11</sup> добился в ЦК, чтобы театр послали в Алма-Ату, где на киностудии страдают от отсутствия актеров. В результате театр оказался в непонятном положении. В Алма-Ату как будто в конце концов, после хлопот Акимова, ехать не надо. Но с другой стороны — приказ о поездке не отменен. После долгих ожиданий, переписки, телеграмм Акимов 25 декабря опять уехал. Сначала в Алма-Ату. Потом в Москву. С 12 января он опять в Москве, а мы все ждем, ждем. Все эти полгода прошли в том, что мы ждали. Была надежда, что театр поедет в Сочи, чтобы там готовить московские гастроли; потом мы думали, что уедем в Кисловодск. Много разных периодов ожиданий прошло за эти полгода. Как разные жизни, разно окрашенные, с разными подробностями.

26 января

Я получил двадцать четвертого телеграмму из Москвы от Акимова: «Пьеса блестяще принята Комитете возможны небольшие поправки горячо поздравляю Акимов». Это о «Драконе». В этот же день получена от него телеграмма, что поездка в Алма-Ату окончательно отпала, а московские гастроли утверждены. Срок гастролей он не сообщает.

11 февраля

За эти дни я получил еще две телеграммы. От Акимова: «Ваша пьеса разрешена без всяких поправок, поздравляю, жду следующую», и от Левина<sup>12</sup>: «Горячо поздравляю успехом пьесы». Обе от 5 февраля.

7 марта

Приехал Акимов позавчера, пятого марта, в воскресенье. Рассказывает, что «Дракон» в Москве пользуется необычайным успехом. Хотят его ставить четыре театра: Камерный, Вахтанговский, театр Охлопкова и театр Завадского<sup>13</sup>. Экземпляр пьесы ВОЖС со статьей Акимова послал в Москву. Не в Москву, а в Америку.

17 июня

«Дракона», которого так хвалили, вдруг в конце марта резко обругали в газете «Литература и искусство». Обругал в статье «Вредная сказка» писатель Бородин. Тем не менее разрешен закрытый просмотр пьесы. Он состоится, очевидно, в конце июня или в начале июля. Все это я пишу в номере, очень большом номере, гостиницы «Москва». Уже месяц, как театр переехал сюда. Точнее — месяц назад, 17 мая, приехал первый вагон с актерами. Собираться в Москву мы начали еще в апреле. Акимов уехал передовым, а мы все собирались и ждали, ждали.

16 июля

«Дракон» все время готовится к показу, но день показа все откладывается. Очень медленно делают в чужих мастерских (в мастерских МХАТа и Вахтанговского театра) декорации и бутафорию. Вчера я в первый раз увидел первый акт в декорациях, гримах и костюмах. Я утратил интерес к пьесе.

9 декабря

«Дракон» был показан, но его не разрешили. Смотрели его три раза. Один раз пропустили на публике. Спектакль имел успех. Но потребовали много переделок. Вместо того чтобы заниматься мелкими заплатками, я заново написал второй и третий акты. В ноябре пьесу читал на художественном совете ВКИ. Выступали Погодин, Леонов — очень хвалили, но сомневались. Много говорил Эренбург. Очень хвалил и не сомневался. Хвалили Образцов, Солодовников. Сейчас пьеса лежит опять в Реперткоме.

10 декабря

Начал писать новую пьесу. Работаю мало. Целый день у меня народ. Живу я все еще в гостинице «Москва», как и жил. В газете «Британский союзник» 3 декабря напечатали, что моя «Снежная королева» была поставлена в новом детском театре в Манчестере. Сейчас театр гастролирует в Лондоне. Напечатано три фотографии...

15 декабря

Я почти ничего не сделал за этот год. «Дракона» я кончил 21 ноября прошлого года. Потом все собирался начать новую пьесу в Сталинабаде. Потом написал новый вариант «Дракона». И это все. За целый год. Оправданий у меня нет никаких. В Кирове мне жилось гораздо хуже, а я написал «Одну ночь» (с 1 января по 1 марта 42 года) и «Далекий край» (к сентябрю 42 года). Объяснять мое ничегонеделание различными огорчениями и бытовыми трудностями не могу.

1945 г.

23 июля

17 июля 1945 года я переехал на старую мою квартиру, которую в феврале 42-го разбило снарядом. Квартира восстановлена. Так же окрашены стены. Я сижу за своим прежним письменным столом, в том же павловском кресле. Много сохранилось из мебели. Точнее — нам кажется, что многое, потому что думали мы, что погибло все. Часть вещей спрятала для нас Пинегина, живущая в квартире наискосок от нас. Она уезжала на фронт. Квартира ее была запечатана, и поэтому вещи сохранились. Итак, после блокады, голода, Кирова,

Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена, рядом в комнате Катюша<sup>14</sup>, и даже кота мы привезли из Москвы.

11 августа

Ночью шел по бульвару вдоль Марсова поля. Взглянул на Михайловский сад и сам удивился — до того он был прекрасен. Точнее, как меня потрясла его красота — вот что меня удивило. Вечером девятого пошел к Герману с Наташей. По дороге мы услышали позывные московского радио. У Германа нет приемника, и только поздно вечером мы узнали, что началась война с Японией. Мы сидели в большой комнате Германа, окнами она выходит на Мойку. Напротив — квартира Пушкина. Все окна в ней без стекол. Вместо них — не то серая фанера, не то кровельное железо. И у Германа из четырех комнат полупригодны для жилья только две. В окнах фанера, только в одном есть почти полностью стекла.

12 августа

Сценарий «Золушки» все работается и работается. Рабочий сценарий дописан, перепечатывается, его будут на днях обсуждать на художественном совете, потом повезут в Москву. Много раз собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой — она будет ставить «Золушку». Собирались в следующем составе: я, оператор Шапиро и художник Блейк или Блэк — не знаю, как он пишет свою фамилию. Кошеверова — смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они. Шапиро — полужид, полугрузин. Приятный, веселый, беспечный, сильный человек. Странно видеть, как дрожит у него одна рука иногда, и как он вдруг иногда начинает заикаться. Это следствие сильной контузии. В начале войны он был в ополчении. Блэк — длинный, черный, в профиль чем-то похож на Андерсена. В этом — иногда — вдруг ощущается нечто женственное и капризное. Он — самый активный из всех обсуждающих рабочих сценарий. Но предложения его меня часто приводили в отчаянье. То ему хочется, чтобы король любил птиц, то — чтобы часы на башне били раньше, чем они бьют в литературном сценарии.

21 октября

Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось сорок девять лет. Пришелся этот день на воскресенье. И я мечтаю, что это к счастью. В этом году очень ранняя осень перешла в настоящую зиму дня два-три назад. На крыше дома напротив я вижу снег, на карнизах тоже, на остатках водосточных труб висят сосульки. Я за последние два месяца с огромным трудом, почти с отворачиванием, работал над сказкой «Царь Водокрут». Для кукольного театра. Вначале сказка мне нравилась. Я прочел ее труппе театра. Два действия прочел. Актеры хвалили, но я переделал все заново. И пьеса стала лучше, но опротивела мне. Но, как бы то ни было, сказка окончена и сдана. Но запуталось дело со сценарием, который заказал мне для режиссера Роу «Союздетфильм»...

«Золушку» готовят к съемкам. Боже мой, какое это громоздкое, бестолковое, неуклюжее предприятие. Картину решили делать цветной, отчего все дело еще более усложнилось. Снимать ее собираются в Праге, что тоже дела не упростит.

1946 г.

18 января

Вот и пришел новый год. Сорок шестой. В этом году, в октябре, мне будет пятьдесят лет. Живу смутно. Пьеса не идет. А когда работа не идет, то у меня такое чувство, что я совершенно незащищен и всякий может меня обидеть. Новый год после пятилетнего перерыва (41–46) встречали мы в Доме писателей. Было тесно, шумно, бестолково, но сытно и не скучно. Мы пытались устроить так, чтобы у встречающих не вырезали из карточек талоны. Ездили делегацией в Ленсовет. Из поездки ничего не вышло. Талоны резали, но зато по этим талонам выдали продукты высокого качества. Жалоб не было. Было тесно, шумно, бестолково, но празднично. Тем не менее работа над пьесой не идет. 11-го Михалков читал в Комедии свою пьесу «Смех и слезы». Имел огромный успех. После этого я пошел к нему обедать. Он жил в «Астории» вместе со Львом Никулиным. На другой день Михалков и Никулин читали в Доме писателей. Михалков — басни. Никулин — отрывки из книги о Шалапине. После чтения мы ужинали в кабинете директора Дома. Были Ахматова, Зощенко, Орлов<sup>15</sup>, Ли-

харев<sup>16</sup>, Лифшиц, Рест<sup>17</sup>, Меттер<sup>18</sup>, Берггольц, Макогоненко<sup>19</sup>. Михалкова я встречал раньше мало и ненадолго. На этот раз я его рассмотрел. В первый момент встречи поразило он меня сходством с генералом Игнатьевым<sup>20</sup>.

4 марта

Я вот уже восьмой день пишу не менее четырех часов в день. Пишу пьесу о влюбленном медведе, которая так долго не шла у меня. Теперь она подвинулась. Первый акт окончен и получился.

10 апреля

Я получил медаль за оборону Ленинграда. За месяц до этого — медаль за доблестный труд во время войны.

17 июня

Четырнадцатого мая поехал я в Москву... Увидел в Москве после восьмилетней разлуки Заболоцкого. Много говорил с ним. Обедал с ним у Андроникова. Ехал домой как бы набитый целым рядом самых разных ощущений и впечатлений и вот до сих пор не могу приняться за работу. Странное, давно не испытанное с такой силой ощущение счастья. Пробую написать стихотворение «Бессмысленная радость бытия»<sup>21</sup>... Здесь с двенадцатого по четырнадцатое июня проходило совещание о современной драматургии. Выступали Иоганн Альтман<sup>22</sup>, Коварский<sup>23</sup> — с докладами, Гус<sup>24</sup>, Гринберг<sup>25</sup>, Цимбал<sup>26</sup>, Малюгин, Крон<sup>27</sup>, Зоценко и многие другие — с речами. Выступал и я.

21 октября

Сегодня мне исполнилось пятьдесят лет. Вчера сдал исправления к сценарию «Золушка». Сидел перед этим за работой всю ночь. К величайшему удивлению моему, работал с наслаждением, и сценарий стал лучше. В «Вечернем Ленинграде» написал Янковский в статье о детской драматургии, что я один из лучших детских драматургов, но что мне нужно общими силами помочь заняться современной темой. Что же случилось за этот год от сорокадевятiletнего возраста до пятидесятилетнего? Написано: «Царь Водокрут» (сценарий и пьеса), «Иван честной работник»<sup>28</sup> (пьеса для ремесленников. Для их самостоятельности.), сценарий «Первая ступень»<sup>29</sup> — для

«Союздетфильма», сделал почти два акта пьесы для Акимова. Начал пьесу «Один день»<sup>30</sup>. А пережил что? Два раза был в Москве: в мае и в августе. Был в Сочи. А чем был окрашен для меня этот год? Не знаю. Несколько раз испытывал просто бессмысленное ощущение счастья. Не знаю отчего. Думать, что это предчувствие, перестал. Бессмысленная радость бытия...

1947 г.

7 января

Позвонил Акимов, пригласил к 3 часам в театр подписать договор на пьесу «Один день». В половине третьего я пошел с Наташей через Михайловский сад погулять. Вышел к Петру, который стоит у Михайловского замка. Памятник покрыт инеем. Он мне нравится все больше и больше. Наташа проводила меня до театра. Там на площадке меня радостно приветствовали актеры. Наверху Флоринский читал статью для сборника о театрах Ленинграда во время войны. Статью о Театре комедии. Слушали Акимов, Бартошевич<sup>31</sup>, Рахманов.

9 января

Дома узнал, что звонил Эйхенбаум<sup>32</sup>. Оказывается, он нашел в сборнике (точнее, в книге М. К. Корбута, т. 2) «Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина за сто двадцать пять лет» (1804/5–1929/30) фотографию отца и упоминание о нем. (Он был в подпольном социал-демократическом] кружке университета). Об отце на с. 204 говорится в примечании 57: «Шварц Лев Борисович (Васильевич) — еврей, сын мещанина; род. 10. XII. 1874 г. в Керчи, обучался в Керченской, Кубанской и Екатеринодарской гимназиях. В 1892 г. зачислен на мед. ф. Каз. ун., причем ректор предложил инспектору студентов учредить за Ш. „особо бдительный надзор“ ввиду данных, изложенных в характеристике Екатеринодарской гимназии В характер, говорилось, что Ш. в бытность в VIII кл. „точно переродился, стал раздражителен, дерзок, запальчив, начал выказывать недовольство на гимназич. порядки, был замечен в дерзком отношении к старшим“. В 1896 г. Ш. крестился в связи, по-видимому, со скорой женитьбой на православной (М. Ф. Шелковой). В 1898 г. унив. окончил (Дело инсп. студ. 1892 г. № 208 о зачисл. в студ. Л. Б. (В.) Шварца на 43 л.)».



А на 185 с. — фотография отца — совсем мальчик, с очень славным, мягким выражением. Отец умер в 1940-м и не знал об этой книге. И мама<sup>33</sup> тоже. Жалко. Если буду в Казани, загляну в «дело».

15 января

Ну вот и кончается моя старая тетрадь. Ездил она в Сталинабад, ездила в Москву. В Кирове ставили на нее электрическую плитку — поэтому в центре бумага пожелтела. Забывал я ее, вспоминал. Не писал месяцами, писал каждый день. Больше всего работал я в Кирове и записывал там больше всего...

Начну теперь новую тетрадь. А вдруг жизнь пойдет полегче? А вдруг я наконец начну работать подряд, много и удачно? А вдруг я умру вовсе не скоро и успею еще что-нибудь сделать? Вот и вся тетрадь.

16 января

Года с двадцать шестого были у меня толстые переплетенные тетради, в которые я записывал беспорядочно, что придется и когда придется. Уезжая в декабре 41-го из Ленинграда в эвакуацию на самолете, куда нам разрешили взять всего по 20 кило груза, я тетради эти сжег, о чем очень жалею теперь. Но тогда казалось, что старая жизнь кончилась, жалеть нечего. В Кирове в апреле 42-го завел я по привычке новую тетрадь, которую и кончил вчера... По бессмысленной детской скрытности, которая завелась у меня лет в тринадцать и держится упорно до пятидесяти, не могу я говорить и писать о себе. Рассказывать не умею. Странно сказать — но до сих пор мне надо сделать усилие, чтобы признаться, что пишу стихи. А человек солидный, ясный должен о себе говорить ясно, с уважением. Вот и я пробую пересилить себя. Пишу о себе как ни в чем не бывало.

18 января

Сегодня кончил, наконец, сценарий<sup>34</sup>. Первый раз в жизни работал так мучительно.

30 января

В пьесе «Летучий голландец» стихи «Меня господь благословил идти»<sup>35</sup> читает человек вроде Диккенса, который яростно спорит с человеком вроде Салтыкова-Щедрина или Теккерея. Его обвиняют в том, что он опи-

сывает мир уютнее, злодейство увлекательнее, горе трогательнее, чем это есть на самом деле. Он признается, что закрывает глаза на то, что невыносимо безобразно. А затем читает это стихотворение. Теккерей и Щедрин соглашаются, но потом берут свои слова обратно. Ты, говорят, опьянил нас музыкой на две минуты. Но теперь с похмелья мы стали еще злее. Вот. Пишу «Один день». Пока писал сценарий, думал об «Одном дне». А занялся им и думаю все время о «Летучем голландце»... Пока сценарий нравится всем, кто успел его прочесть.

3–4 февраля

Пошли ужасно бестолковые дни. Вчера с утра делал то, что совсем неинтересно, — кукольную пьесу для Шапиро<sup>36</sup>, и вдруг получилось ничего себе. Работал с наслаждением. Пошел к трем часам в Театр кукол. Прочел начало. Шапиро был очень доволен. Вечером я получил «Литературную газету», где была статья Гитовича. Понес к нему. Там были молодые поэты — Чивилихин, Шефнер. Они пили водку и ели картошку. И я выпил водки и потом слушал стихи. Стихи мне понравились, но вечер все-таки был мучительный. Идиотское неумение встать и уйти, несмотря на то, что все время чувствуешь, что время уходит напрасно, дома ждет работа. Ночью звонил Фрээз<sup>37</sup>, сценарий студией принят, теперь читать его будут в министерстве. Утром в двенадцать пошел в Комедию на реперткомовский просмотр михалковской сказки. Смотрел, на этот раз с первого акта до последнего. Был полный зал приглашенных. Настоящий успех. Я смотрел с наслаждением, да и все, по моему, рады были, что им весело, смешно, легко. Потом обсуждали и разрешили. Была у нас Наташа. Потом позвонил Юра Герман, что придет ночевать. Потом зашел Каверин с дочкой. А в двенадцать приехал Юра Герман. Он прочел за ужином отрывок из своего романа. Интересно, весело, уютно, в меру точно, в меру мягко<sup>38</sup>.

20–21 февраля

Целый день вожусь с первым актом пьесы для Комедии. Завтра в двенадцать читка, а у меня едва намечен первый акт. Сажусь, напишу две строчки, встаю, ловлю по радио такую музыку, которая могла бы мне помочь, снова пробую писать, прихожу в ужас от того, как мало сделано. Обедать садимся рано. У меня так дрожат ру-

ки, что я отказываюсь от супа. После обеда повторяется та же история. К вечеру у меня написаны всего две страницы. В половине одиннадцатого я ложусь на час поспать, а с двенадцати, наконец, работа начинает идти по-настоящему... Я, наконец, пришел в то приятнейшее состояние, когда удивляет одно: почему я не пишу все время, почему я все откладываю да пишу понемножку, когда это такое счастье. Теперь я не искал поводов оторваться от работы, а наоборот, меня раздражала эта необходимость. К восьми часам первый акт был готов. Я поспал до одиннадцати и к двенадцати был в театре. Акимов, очевидно, не ждал, что я приду. Он улыбнулся радостно, и мы поцеловались, что у него не в манерах. Он писал портрет Володи Лифшица, который тоже остался слушать. Слушали первый акт: Акимов, Ханзель<sup>39</sup>, Зинковский<sup>40</sup>, Осипов<sup>41</sup>, Яценко (директор театра), Рахманов. Я читал по выработанной привычке, не подымая глаз, чтобы не думали, что я стараюсь разглядеть, какое произвожу впечатление. Но чувствовал и без этого, что слушают хорошо. Обсуждали долго, очень хвалили. (Слушал еще Бонди<sup>42</sup>, забыл сказать.) Говорили главным образом о втором и третьем актах. (Еще не существующих.) Высказывали пожелания. Решили, что второй акт я буду читать через неделю, 28-го.

1 марта

В ночь на сегодня позвонил Фрэнз и сообщил, что у него приятные и неприятные новости. Приятные — сценарий очень хвалили на худсовете министерства. Решили считать его важнейшей картиной «Союздетфильма». Неприятные: в силу этого Фрэнза, которому сценарий обязан своим существованием (без него я не стал бы возиться с этой труднейшей темой), хотят снять и назначить другого режиссера. Я дал протестующую телеграмму в министерство и «Союздетфильм». После разговора с Фрэнзом долго не мог уснуть.

19 марта

Ночью разговаривал с Фрэнзом по телефону. Его окончательно назначили режиссером «Первоклассницы».

20–22 марта

А в пятницу я пошел, как обещал, на просмотр к Акимову. Сталинский комитет встречали на лестнице

все назначенные для этой цели артистки и артисты — и я, по обещанию. И вот они пришли: рослый Хорава с лысеющей бритой головой, с несколько африканским своим лицом; Гольденвейзер, беленький, точнее — серебряный, сильно одряхлевший, с кроткой безразличностью выражения; Михоэлс с далеко оттопыренной нижней губой, глазами усталыми и вместе дикими, с пышной шевелюрой вокруг лысины. Вежливейший, глубоко вывихнутый Евгений Кузнецов<sup>43</sup>, Храпченко<sup>44</sup> — большой, широколицый, с зелеными кругами под глазами, с острым носом. Эрмлер<sup>45</sup>. Мы проводили их в комнату директора. Бениаминов<sup>46</sup> пытался помочь Храпченко снять пальто. Он отнекивался. Я сказал: «Не дают человеку выдвинуться». Храпченко засмеялся. Я почувствовал себя польщенным и рассердился на себя за это только вечером. Потом все пошли смотреть «Старые друзья». Спектакль необычайно вырос после премьеры. Я был доволен, что пошел. Забыл отвратительное чувство неловкости, которое так страшно мучает меня среди малознакомых, очень знаменитых современников. В антракте гостей принимали в кабинете Акимова, где он устроил выставку портретов. Рядом, в комнате секретаря, угощали гостей бутербродами, пирожными, чаем, пивом, лимонадом. От спектакля они были в восторге. Вечером пришел Миша Слонимский. У него неладно с пьесой — Александринка не берет. Я взял пьесу. Утром в субботу ездил на фабрику. Смотрел сцену леса<sup>47</sup>. Понравилась.

23–26 апреля

В среду произошло неожиданное событие. Я получил из Берлина письмо о том, что «Тень» прошла в Театре имени Рейнгардта, точнее, в филиале этого театра, Kammer spiele<sup>48</sup>, с успехом, «самым большим за много лет», — как сказано в рецензии. «Актеров вызывали к рампе сорок четыре раза». Я, несколько ошеломленный этими новостями, не знал, как на это реагировать. Пьеса написана давно. В 39-м году. Я не очень, как и все, впрочем, люблю, когда хвалят за старые работы. Но потом я несколько оживился. Все-таки успех, да еще у публики, настроенной враждебно, вещь скорее приятная... Пятница началась интересно. Телеграмма из Москвы. Кошеверова и Погожева<sup>49</sup> сообщают, что худсовет министерства принял «Золушку» на отлично.

Что особенно отмечена моя работа. Поздравляют. Едва я успел это оценить — телефон: Москвин<sup>50</sup> поздравляет — ему Кошеверова звонила из Москвы. Едва повесил трубку — Эрмлер звонит. Тоже поздравляет. Потом начались звонки со студии. Я принимал все поздравления с тем самым ошеломленным, растерянным ощущением, с каким встречаю успех. Брань зато воспринимаю свежо, остро и отчетливо. «Золушка», очевидно, для тех, кто не знает литературный сценарий, приемлема. Ну вот. Надо ли говорить, что это еще больше выбило меня из колеи. Взбудоражило. Суббота принесла новые сенсации. Васильев<sup>51</sup> телеграфировал Глотову<sup>52</sup>, что поздравляет его и весь коллектив. Что «Золушка» — победа «Ленфильма» и всей советской кинематографии. Глотов приказал эту телеграмму переписать на плакат и выставить в коридоре студии.

27–28 апреля

Чудеса с «Золушкой» продолжаются. Неожиданно в воскресенье приехали из Москвы оператор Шапиро и директор. Приехали с приказанием — срочно, в самом срочном порядке, приготовить экземпляр фильма для печати, исправив дефектные куски негатива. Приказано выпустить картину на экран ко Дню Победы. Шапиро рассказывает, что министр смотрел картину в среду. Когда зажегся свет, он сказал: «Ну что ж, товарищи: скучновато и космополитично». Наши, естественно, упали духом. В четверг смотрел «Золушку» художсовет министерства. Первым на обсуждении взял слово Дикий. Наши замерли от ужаса. Дикий имеет репутацию судьи свирепого и неукротимого ругателя. К их великому удивлению, он стал хвалить. Да еще как! За ним слово взял Берсенев. Потом Чирков. Похвалы продолжались. Чирков сказал: «Мы не умеем хвалить длинно. Мы умеем ругаться длинно. Поэтому я буду краток...» Выступавший после него Пудовкин сказал: «А я, не в пример Чиркову, буду говорить длинно». Наши опять было задрожали. Но Пудовкин объяснил, что он попытается длинно хвалить. Потом хвалил Соболев. Словом, короче говоря, все члены совета хвалили картину так, что министр в заключительном слове отметил, что это первое в истории заседание художсовета без единого отрицательного отзыва. В пятницу в главке по поручению министра режиссерам предложили тем не

менее внести в картину кое-какие поправки, а в субботу утром вдруг дано было вышезаписанное распоряжение: немедленно, срочно, без всяких поправок (кроме технических) готовить экземпляр к печати. В понедельник зашел Юра Герман. К этому времени на фабрике уже ходили слухи, что «Золушку» смотрел кто-то из Политбюро. Юра был в возбужденном состоянии по этому поводу...

3–5 мая

Сперанский — артист театра Образцова. Небольшой, черненький, узкоглазый, скромный. Виски уже поседел. Вокруг Образцова собрались люди, единственные в своем роде. Они так любят дело, так впечатлительны и уязвимы, что любят делать его так, чтобы их не видели. Все они — настоящие художники, а Сперанский — первый из них. Я давно уважал его за игру в «Аладдине» и в «Короле Олене». В этой последней пьесе роль свою он написал сам (он играет Труффальдино). Написал отлично. Ко мне он пришел познакомиться и прочесть свою пьесу «Краса ненаглядная». Пьеса отличная. Нет ни признака стилизации. Пьеса насквозь русская — не по одному языку. Язык здесь служит, а не лежит, как макеты в выставочной витрине. Он служит, действует, а именно в действии и чувствуешь и понимаешь, что он драгоценный, живой. Прелестно начало, когда царица говорит царю, что царевича женить пора. Он стал грубить и дверями хлопать. Разбойники, баба-яга, девка-чернавка, Кощей, а пьеса трогает за живое именно прелестнейшей жизненностью. И при этом она легка. Так аппетитно легка, что мне захотелось написать что-нибудь соответствующее. Настоящий признак того, что тебя коснулось настоящее искусство. Пока шло чтение, подошли Зарубина<sup>53</sup> и Чоккой<sup>54</sup>. Сели ужинать. Пили. Настроение было прелестное — все из-за пьесы.

Часа в четыре звонок. Пришел Суханов<sup>55</sup>. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он выпил литр бесарабского вина, что было совершенно незаметно. Этот блондин с маленькими светлыми глазами — явление любопытное. Строгий пес, конь-людоед, кошка с характером обычно имеют невеселое и нелегкое прошлое. Суханов ближе всего к кошке с характером. Не предсказать — когда укусит, когда приласкается. Очень талантлив. Как многие талантливые люди — ненавидит

хвалить, когда все хвалят, и любит заступаться, когда все ругают. Это последнее, впрочем, случается с ним значительно реже.

8–12 мая

Дом кино устроил из просмотра «Золушки» в некотором роде праздник. В вестибюле — гипсовые фигуры выше человеческого роста. Какие-то манекены в средневековых одеждах. В фойе выставка костюмов на деревянных безголовых манекенах же. (Внизу они с головами и руками.) На стенах фойе — карикатуры на всех участников фильма. На площадках — фото. Но праздничней всего публика, уже посмотревшая первый сеанс. Они хвалят картину, а главное — сценарий, так искренне, что я чувствую себя именинником, даже через обычную мою в подобных случаях ошеломленность. Звонок. Идем в зрительный зал. На занавесе, закрывающем экран, нашиты буквы: «Золушка». Трауберг идет говорить вступительное слово. Его широкая физиономия столь мрачна, что я жду, что он, как всегда, будет нас бранить за нехорошее поведение. (Так он делает всегда по средам, перед просмотрами иностранных картин. То мы членские взносы не платим, то не по тем пропускам ходим, то не так сидим.) На этот раз он милостив. Хвалит картину, в особенности сценарий, и представляет публике виновников торжества. Нам аплодируют. Но и тут он проявляет характер. Не называет и не представляет публике Акимова, сидящего в зале, хотя декорации его были отмечены в решении худсовета. Ругает он на этот раз только дирекцию студии за то, что она хороший экземпляр послала в Москву, а плохой показывает в Доме кино. Начинается просмотр. Смотрю на этот раз с интересом. Реакции зала меня заражают. После конца — длительно и шумно аплодируют. Перерыв. Обсуждение. Хвалят и хвалят...

Иду на вернисаж выставки Акимова в Союз художников. Торжественное заседание перед выставкой. Говорят речи Серов56, Морщихин57, художник Рыков58. Затем публику приглашают в выставочные залы. Впечатление от выставки солидное — два больших зала и хоры заняты работами Акимова. Портреты, эскизы постановок, макеты. (Два моих портрета — 39 и 43 года. На первом — я толст. На втором — тощ.) Театральные работники хвалят. Художники выставку поругивают.

15–22 мая

В понедельник звонит утром Бартошевич, напоминает, что я обещал выступить на обсуждении выставки Акимова. Обещаю. Вечером выхожу. Дом художников, где когда-то было Общество поощрения искусств и где учился когда-то лучший мой друг, пропавший без вести Юрий Соколов. Малый выставочный зал полон. Собрание открывает молодой и толстый Серов. Бартошевич делает доклад, мямлит, тянет. Основной прием очень опасный. Он излагает доводы противников Акимова, а потом крайне вяло их опровергает. «Утверждают, ссылаясь на то-то и то-то, что Акимов — формалист. По-моему, это не верно. Говорят, что он сух, рассудочен и однообразен, ссылаясь на такие-то и такие-то его работы. С моей точки зрения, это не так». В зале начинают уже посмеиваться. Как всегда, после речи докладчика никто не хочет выступать первым. Из президиума подходит ко мне художница Юнович<sup>59</sup>. Уговаривает выступить меня. Я отказываюсь. Наконец соглашается выступить Цимбал. Потом говорит Левитин<sup>60</sup>... Говорит храбро. Хвалит безоговорочно... Затем, наконец, приходится говорить мне. Говорю о смежности и разделенности искусств. Удивляюсь тому, что в литературе, когда хотят похвалить, пользуются терминами других искусств. О слове говорят: «Музыкально. Живописно». Художники же говорят: «Литературно», — когда хотят выругать. Признаю, что это явление здоровое. Каждое искусство должно обходиться своими средствами. Я сам не люблю, скажем, программной музыки — но не слишком ли дифференцировались искусства? Почему не только передвижники, но и «Мир искусства» шли в ногу со всеми передовыми отрядами литературы, музыки, философии своего времени, почему их выставки были переполнены зрителями? Почему и сейчас полно в Филармонии? Говорю об Акимове как о художнике, в котором, независимо от того, что он делает, внимательный человек узнает человека с переднего края, боевого художника, деятеля искусств. Это пограничник, не охраняющий границы, а вторгающийся на чужие территории. Как настоящий боец, он и смел и разумен. Бывают у него и победы и поражения. Ну вот и все в общих чертах. Затем выходит художник Павлов<sup>61</sup> с лицом злодея, высокий, бледный, черные усы, приказчиный нос. Яростно громит Акимова за его портреты. Он не ви-



дит здесь борьбы за социалистический реализм. Его поддерживает маленький человечек, фамилии которого я не расслышал, преподаватель Академии. Юнович Акимова защищает. Серов говорит заключительное слово очень толково и очень доказательно. Хваля вежливо Акимова, обвиняет его как раз в недостаточности формализма. Нельзя бороться с фотографией, увеличивая или уменьшая на сантиметр нос, вытягивая шею природы. Надо найти форму для таких опытов.

29–30 августа

Позвонили из Союза, что в пять часов в готической гостиной встреча с Эльзой Триоле и Арагоном<sup>62</sup>. Пошел в Союз. Там Прокофьев, Браусевич<sup>63</sup>, Берггольц, Рест, Черненко<sup>64</sup>, Капица<sup>65</sup>, Зоя Никитина<sup>66</sup>. В начале шестого приезжают гости. Эльза Триоле — маленькая, с мужским выражением лица, прическа с огромной искусственной косой надо лбом, светлые, неестественно блестящие глаза, вуаль на лице, подбородок и шея очень пожилой женщины. Арагон — высокий, узкоплечий, седой, лицо моложавое, тонкое, правильное. Что-то мальчишеское в выражении. Лиля Брик черноглазая, энергичная. Ее муж. Идем в гостиную. Я сижу рядом с Лилей Брик. Она рассказывает об Арагоне и Триоле. Оба необыкновенно трудоспособны. Работают целыми днями и не понимают, как можно ничего не делать хоть несколько часов подряд. Оба необыкновенно смелы. (У Арагона в петлице ленточки пяти высших французских военных орденов.)

28–30 сентября

«Первоклассница» снимается в Ялте, и, по слухам, получается отлично. Пьеса, написанная для Шапира, тоже в работе, хотя ответа из Москвы он еще не получил. (Из Реперткома). В театре Деммени заново поставили «Сказку о потерянном времени». С периферии приходят письма (адресованные, правда, не мне, а актерам), из которых ясно, что картина «Золушка» понята именно так, как мне хотелось. А самое главное, я пишу новый сценарий и многое в нем пока как будто выходит. Сценарий о двух молодых людях, которые только что поженились, и вот проходит первый год их жизни с первыми ссорами и так далее и тому подобное.

1948 г.

21 апреля

Приезжали немецкие писатели<sup>67</sup>. Бернгард Келлерман очень, очень старый. Я в детстве любил «Туннель» и ощущал эту книгу как некое жизненное явление, без автора, без начала, — как чудо; словом, так, как ощущается книга в детстве. И расстроился, увидев дряхлого, земного автора, как удивлялся и расстраивался много раз. И, вообще, что-то он мне не показался. Остальные немцы ничего себе, тем более что никого из них я не читал раньше. Еще что? Читал в Комедии два акта «Медведя». Впрочем, об этом я уже писал. Пробую пьесу кончить. Моя собственная неуверенность мешает мне направить ее по той или другой дороге. Что еще? Попробую писать детскую пьесу. Попроще сюжетом и побогаче.

29 августа

Необходимо решить, что я буду писать дальше. Вот и буду размышлять вслух, чтобы заодно научиться печатать на машинке.

Прежде всего мне надоела моя сказочная манера писать. Все это искусство не слишком точное. Это мне особенно заметно, когда я читаю сказки моих коллег. И не все туда уложишь. В сказку-то.

Тем не менее надо подумать именно о сказке для МТЮЗа. У меня договор с ними. Театр этот со мною всегда был трогательно внимателен и мил.

О чем же сочинить сказку? Приятнее всего мне сказка трогательная. Точнее, сейчас мне хочется сделать именно такую сказку. Трогательнее всего, пожалуй, история о братце и сестрице, об Аленушке и Иванушке. Но боюсь, что это выйдет похоже на «Снежную королеву».

17 сентября

Не видишь человека дня два, потом увидишь, и он спросит: «Что нового?» Столько за эти два дня передумано, столько перечувствовано. «Что нового? — отвечаешь. — Да ничего...»

4 октября

При бесконечных разговорах о влиянии, которые так любят литературоведы, кроме многих других вещей, они не учитывают одного обстоятельства. Я полупутья изложил его в стихах следующим образом:

На душе моей темно,  
Братцы, что ж это такое?  
Я писать люблю одно,  
А читать люблю другое!

И в самом деле. Я люблю Чехова. Мало сказать люблю — я не верю, что люди, которые его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое удовольствие, будто речь идет о близком, лично мне близком человеке. И в этой любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его манерой, для меня невысказано. Его дар органичен, естественно, только ему. А у меня он вызывает ощущение чуда. Как он мог так писать?

А романтики, сказочники и прочие им подобные не вызывают у меня ощущения чуда. Мне кажется, что так писать легко. Я сам так пишу. Пишу с наслаждением, совсем не похожим на то, с которым читаю сочинения, подобные моим. Точнее, родственные моим.

1950 г.

30 июня

Я помню себя лет с двух. Во всяком случае, я помню отчетливо, что стою во дворе, возле красной кирпичной стены. Кто-то спрашивает: «Сколько тебе лет?» И я отвечаю: «Два года». Помню железный флюгер в виде петуха за окном нашей комнаты в Казани. Полукруглые ступени, ведущие в университетскую клинику. Каюту. Палубу пассажирского парохода и маленький буксирный колесный пароход, бегущий у высокого зеленого берега. Мы много переезжали, — вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.

1 июля

Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые я почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником.

25 июля

Что я еще помню из самого раннего детства? Кварти-

ру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне «Ниву» в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы». Это были, как я теперь понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными его службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: «Не пугайся, мы поедим кататься». Это, очевидно, 98 или 99 год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним.<sup>68</sup> Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! — говорит мать. — Полицейский заберет». — «А вон полицейский», — говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя по рассказам знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма. И я все забыл.

27 июля

Черкасов рассказывает об Эйзенштейне: «Он боялся умереть — мексиканская гадалка предсказала ему смерть в пятьдесят лет. Когда в Доме кино хотели отпраздновать его пятидесятилетний юбилей, он сказал: „Тсс, тсс, отложим на месяц“, — и умер через две недели. Он всегда был в маске. Он меня очень любил, но откровенен со мною не был. На съемках шутил, чтобы повысить настроение. В ужасных условиях снимали мы „Грозного“. Эйзенштейн глядит в аппарат: «А ну, царюга, пять шагов вперед. Так. Полшага вправо. Шаг влево». И вдруг что-то ледяное падает мне за шиворот. Это, оказывается, Эйзенштейн нарочно подвел меня к сосульке, с которой капало. Он был суеверен — ничего не начинал в понедельник или пятницу. Как его любили в группе!»

28 июля

Историю с поросенком на пасхальном столе помню едва-едва, и то, вероятно, потому, что мать рассказывала мне ее неоднократно. Это был первый пасхальный стол, устраивавшийся у нас дома, — значит, отец уже

служил твердо. В Ахтырях? Не спросил в свое время. Я утром, радостный, в новой рубаше и сапогах, вбежал в столовую. И вдруг родители услышали отчаянный плач и крики: «Хвостик, хвостик». Мать поспешила ко мне и увидела, что я показываю на поросенка, лежащего на блюде, и все повторяю, обливаясь слезами: «Хвостик». Этим я пытался (как я смутно припоминаю) объяснить ужас поразившего меня явления. Поросенок совсем как живой, с хвостиком, лежит в страшной неподвижности, разрезанный на куски... Ясно помню фамилию — барон Дризен.<sup>69</sup> Он устроил в Рязани любительский кружок, в котором (как я узнал впоследствии) со славой играют почти все Шелковы. Особенно мама и дядя Федя.<sup>70</sup> Позже фамилия барона Дризена начинает принимать переносный смысл. Я вижу, что тетя Саша<sup>71</sup> прячет на шкаф от своих детей виноград. «Почему?» — спрашивает мама. «К Ване (мой двоюродный брат) пришел барон Дризен», — отвечает тетя Саша.

Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пьетки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я забежал в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорожденного, у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен иметь русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался — Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование...

Из дядей я больше всего любил Колю<sup>72</sup> — худого, длинного, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса: то бузинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышечкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представле-

ние: зима. Кто-то появлялся из-под лестницы, ведущей во второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив.

Я тогда говорил не теми словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встает передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни как бы начинают и говорить и дышать.

29 июля

Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева — военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам до сих пор. И порезал-то не сильно — на неудачном месте — на сгибе. Здесь же я под столом разговаривал с кошкой, и вдруг она протянула свою лапу и оцарапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода и вызова протянула спокойно лапу — вот что обидно, — да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого — еще большая обида: теленок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видными рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя теленка, мама смеялась!

Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорет меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: «Милому внуку на память о дедушке крапивном». Но я отлично понимал, что угроза шуточная.

2 августа

Из отрывочных воспоминаний — забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них — в короне. «О духи, духи!» — кричал

один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише, имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось.

3 августа

Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах — и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99–900 годы. Мне четыре года.

18 августа

Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские годы. Как бы в ознаменование столь важного для всей семьи события мы поехали в Майкоп не обычным путем. В дальнейшем мы ездили туда так: до Армавира или Усть-Лабы поездом, а оттуда на лошадях, в так называемом фургоне, до места. На этот же раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа... Помню и ночлег — вероятно, не на постоялом дворе. Стол, покрытый вязаной скатертью. Диваны в чехлах. Альбом с фотографиями. А главное, первый в моей жизни переплетенный за год журнал, который привел меня в восторг, — «Родина», издание Каспари. На последней странице каждого из пятидесяти двух номеров журнала смешные картинки. Я с трудом отрываюсь от толстой книги, чтобы поужинать, и долго отказываюсь идти спать. И вот, проехав в карете около ста верст, мы попали, наконец, в мой родной, счастливый и несчастный город.

24 августа

Майкоп был основан лет за сорок до нашего приезда. Майкоп на одном из горских наречий значит: много масла, на другом — голова барыни, а кроме того, согласно преданиям, был окопан в мае — откуда будто бы

я пошло имя Май-окоп. Несмотря на свою молодость, город был больше, скажем, Тулы. В нем было пятьдесят тысяч населения. С левой стороны примыкал к городскому саду Пушкинский дом — большое, как мне казалось тогда, красивое кирпичное здание. В одном крыле его помещалась городская библиотека, окна которой выходили в городской сад, а все остальное помещение было занято театром.

27 августа

В доме Родичева<sup>73</sup> появились первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми — или рядом с которыми — я прожил до наших дней. Книги эти были сказки, в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое — слово «приплынь» в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые, как было уже сказано, менялись у нас еще чаще, чем квартиры. В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила мне продолжать это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать.

31 августа

Помню, мама сказала, проглядывая газету: «Женя! Дрейфус опять осужден!<sup>74</sup>» У меня сжалось сердце, и я воскликнул: «Да что ты говоришь?» И тотчас же отец сделал выговор нам обоим: маме за то, что она говорит со мною о вещах, которые я не понимаю, а мне за притворство. А между тем я не притворялся. Я жил одной жизнью с мамой, и раз она сказала о Дрейфусе с горечью, значит, и у меня сжалось сердце, которое, как я тогда полагал, помещается на месте солнечного сплетения. Во всяком случае, все горести и радости я ощущал именно этим местом.



1 сентября

Перехожу теперь к дому, который стал для меня впоследствии не менее близким, чем родной, и в котором я гостил месяцами. До наших дней сохранилась близкая связь с этим домом. Это дом доктора Василия Федоровича Соловьева.<sup>75</sup> Этот дом стоял на углу недалеко от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Был он кирпичный, нештукатуренный. К нему примыкал большой сад, двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель. Здесь Василий Федорович принимал больных. На площади вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная. Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми. Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной,<sup>76</sup> беспокойное, строгое лицо которой смутило меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками. Наташа — годом старше меня, Леля — моя ровесница, и Варя — двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи. «Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?» — «Я не обрывала». — «Не лги!» Разговор стал принимать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И, страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: «Это я оборвал резинку». Тотчас же темные глаза Веры Константиновны усталились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице, дети впереди, а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но ни малейшей гордости не испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Кон-

стантинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Вечером мама еще раз допросила меня, но я твердо стоял на своем. Засыпая, я слышал, как мама с грустью сообщила отцу, что очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался. Теперь несколько слов о моем отце. Он был человек сильный и простой. В то время ему было примерно двадцать семь лет. Он скоро оставил должность городского врача и стал работать хирургом в городской больнице. Продолжал он и свою политическую работу, о которой узнал я много позже. У них была заведена даже подпольная типография, которую потом искал старательно майкопский испарт, да так и не нашел. Было предположение, что мать некоего Травинского (кажется), в сарае которых зарыли типографию, вырыла ее да и выбросила по частям в Белую. Участвовал отец и в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложнее и замкнутее... Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел. Думаю, что он любил нас, но и раздражали мы его ужасно.

2 сентября

Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка с цветными картинками, в картонном переплете... Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. «А вот зебра, — говорит мама. — Или нет, это ослик». — «А какая бывает зебра?» — спрашиваю я. «Полосатая». — «А что значит полосатая?» — «Помнишь кофточку, что была на Беатрисе Яковлевне? Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей». Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: «Вышел Лев, царь зверей». Отца звали Лев Борисович, что и было причиной злосчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом мигнуть, как взлетел в воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих

слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагополучно! У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по заду. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это — взять под мышку. Мама так и говорила: «Смотри, попадешь к папе под мышку!» Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: «Перестань, ты напугаешь ребенка». На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Если он бил самого себя, — значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня.

### 3 сентября

Я могу припомнить только два-три случая за все мое детство взлета высоко в воздух, отцу под мышку. Вероятно, самая редкость наказания сделала его столь памятным во всех подробностях. В те времена отец страдал сильнейшими приступами мигрени. Вот он идет в кабинет, зажмурившись, побелев, говорит нам: «Опять флажки, флажки», — так называл он мелькания в левом глазу. Он, как вся их семья, был очень нервен, но вместе с тем, как я уже сказал, прост, прост по-мужски, как сильный человек. Так же сильно и просто он сердился, а мы тяжело обижались, надолго запомнили его проступки перед семьей. Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, рассказывали добродушно, смеясь. Любила его, конечно, в те времена и мама, но, неуступчивая, самолюбивая, замкнутая, тем сильнее обижалась и не шла на размены и упрощения. А я испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил через десятки лет, — только ужас и растерянность, особенно когда он был хоть сколько-нибудь раздражен. А в те времена, повторяю, это случалось слишком часто. К сожалению, у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома, играет на

скрипке. Бородатая его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искалеченным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как все, что исходит от него. А отец все бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он presto Крейцеровой сонаты.

10 сентября

Когда-то, учась писать на машинке, я стал разбирать и соображать, почему все классики наши, по очереди, ссорились с Тургеневым. И пришел к заключению, что они все возмущались тем, что Тургенев — литератор и только. Сейчас вышел 60-й том полного собрания сочинений Толстого, и я купил его. Это юбилейное издание — самое полное, я жалею, что не подписался на него вовремя. В письме к Боткину<sup>77</sup> (прекрасном письме) я прочел следующее: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор» (21 октября 1857).

14 сентября

Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу. Еще в Ахтырях я знал буквы. Кое-какие сказки ступинских изданий я не то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга «Принц и нищий». Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед тронном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место.

24 сентября

И вот однажды — (было это летом 1902 года? Вероятно, так. Возможно, что годом позже, но вряд ли) — я

увидел семью Крачковских.<sup>78</sup> Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве, на лужайке. Недалеко от нас возле детской колясочки увидели мы худенькую даму в черном с исплуканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я заметил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: «Подумать только, что за красавица». Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго — вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич, что у Варвары Михайловны — так звали печальную даму — есть еще два мальчика, Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной, собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время?

27 сентября

Сейчас мне придется говорить о резком переломе в моей жизни. Чтобы он стал вполне ясен, поговорю еще обо мне и маме. Я был вторым сыном. Первый умер шести месяцев от детской холеры. Мать впервые поддалась на уговоры отца и вышла пройтись, подышать свежим воздухом, оставив Борю (так звали моего старшего брата) на руках у няньки. Дело было летом. Нянька напоила мальчика квасом — и все было кончено. Мать всю жизнь не могла этого забыть. Меня она не оставляла ни на минуту. Вероятно, поэтому я не помню своих нянек. Вся моя жизнь была полна ею. Помню, с какой страстной заботливостью относилась она ко всему, что касалось меня, как чувствовала, думала вместе со мною, завоевав мое доверие полностью. Я знал, что мама всегда поймет меня, что я у нее всегда на первом месте. Заботливость обо мне доходила у мамы до болезненности. Она сама рассказывала мне, когда я был уже

взрослым человеком, что когда в те давние времена я съедал меньше, чем положено, то она мучилась, не могла уснуть. «Довольно тебе его пичкать!» — кричал отец, когда я, плача, отказывался от яиц всмятку, ненависть к которым, приобретенную в те ранние дни, я сохранил на всю жизнь. Угадывала мама мои мысли удивительно. Я ничего не скрывал от нее, но далеко не все умел высказать. И тут она приходила мне на помощь. И вот однажды я проснулся не у мамы в спальне, а в папином кабинете. И услышал крик, который показался мне знакомым. «Мама, мама! — позвал я. — У нас кричит дикая цесарка». На мой зов появился папа. Он был бледен, но добр и весел. Посмеивался. Он сказал: «Одевайся скорей и идем. У тебя родился маленький брат». Так кончилось первое, самое раннее мое детство. Так началась новая, очень сложная жизнь.

28 сентября

«Одевайся скорее и идем», — сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массировала ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях встретил я на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому-то: «Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: „Кто там?“. А он закричал: „Открывайте поскорее, новый Шварц народился“. Однако этот новый Шварц заполнил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых

порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валей на руках и спрашивала: „Правда ведь, он хорошенький?“ Каждая болезнь брата приводила ее в отчаянье. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец вознегодовал.

29 сентября

И, вознегодовавши, я воскликнул: «Жили-жили — вдруг хлоп! Явился этот...» Эти слова со смехом повторяли и отец и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: «Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала». Я было обрадовался — и тотчас же вспомнил, что девушка говорит обо мне так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью, бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: «Дуры!» По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окруженный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. В те дни стали определяться душевные свой-

ства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился «этот». Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удастся бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.

2 октября

Я стал много читать. Пустота, образовавшаяся вокруг меня, требовала заполнения. Я не мог, не научился жить один, и если не было книжек, то очень скучал. Очевидно, в течение всей зимы шел во мне какой-то процесс, требовавший много сил и не осознанный мною. Поэтому я не помню ни внешних событий, ни внутренних. В этот период моей жизни боязнь темноты усилилась. Темнота населилась живыми существами, крайне страшными.

3 октября

Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха одиночества, мистического страха, ревности, любви; вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное.

...На 1903 год мне выписали журнал «Светлячок», издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего я жил сложно, а журнал был прост.

5 октября

Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Валею, мама ушла куда-то в гости. Я надеюсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале — полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня звенит в ушах.



И в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто-то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая, растягивая: «Же-е-е-еня!» Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из множества мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом — видишь мрак, сядешь спиной — чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из-под гильз. Добриков уже не живет у нас, но я прорезаю окна в домах по его способу. По его же вырезаю я из бумаги сани с полозьями и лошадь к ним, похожую на собаку. Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах живут. Пастух из игры «Скотный двор» стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками, как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик с лопнувшей пружиной. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.

8 октября

Приходится с зимой, первой майкопской зимой, расстаться. Больше ничего я не могу вспомнить о ней. Разве только романс, который пел отец. Начинался он словами: «Я ласточку видел с разбитым крылом»<sup>79</sup>. Продолжения я не слышал ни разу. Музыка и слова так потрясали меня, что я, заткнув уши, бросался бежать куда глаза глядят.

12 октября

Улица Плеханова. Барклай-де-Толли.<sup>80</sup> От погоды и тоски мне памятник кажется безобразным. Слишком много тут отяжелевшего, пожилого человека. Никакая бронза, никакой постамент не сделают живот, затянутый в мундир, торжественным. Вот отчего так охотно ставят вместо фигуры в рост — бюсты или аллегорические нагие группы в драпировках, а не в штанах и сапогах.

14 октября

Итак, летом 1903 года мы поехали в Жиздру. Путь в Жиздру лежал через Москву. И я, наконец, увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни. Должен признать, что воспринимал в те годы все новое с одинаковой жадностью, как и подобает щенку. Частности заслоняли главное, смотреть я не научился. Через Москву мы поехали на извозчике, переполненном до крайности. Во всяком случае, я сидел у мамы в ногах, поперек пролетки, свои ноги расположив на приступочке. Извозчик крестился у церкви, и, едва он снимал свою твердую плоскую шляпу с загнутыми полями, я тоже снимал картуз и с наслаждением крестился вслед за ним. В Майкопе я чувствовал, что мои отношения с небом несколько запутались и затуманились. Это меня мучило, особенно вечерами, когда мамы не было дома. Здесь дело обстояло проще, как и всегда, когда мы попадали к маминим родным. И я крестился себе вслед за извозчиком и с наслаждением чувствовал, что я такой же, как все. Пролетка тряслась и тряслась по булыжной мостовой, но вот мама оживилась: «Гляди, гляди, Кремль!» И мы поехали по такой же булыжной мостовой через Кремль. «Вон дворец!» Я поглядел на дворец, и он поразил меня количеством печных труб на крыше. Почему я заметил и запомнил только трубы? Не понимаю. Студентом уже я старался найти то место, откуда увидел крышу дворца, — и не мог. Потом мама показала мне царь-пушку, царь-колокол, окружной суд. Проезжая через Спасские ворота, мы с извозчиком сняли шляпы и перекрестились.

19 октября

Все, все в Жиздре шло не по-майкопски. Даже хлеб был совсем не такой, как в Майкопе. В Майкопе хлеб был белый, пшеничный, ржаного не продавали ни в булочной Окумышева, ни на базаре. Маме, скучавшей по своему рязанскому, северному хлебу, покупали его, при случае, в казармах у солдат. Им полагался по их солдатскому рациону непременно хлеб черный. А в Жиздре белый хлеб носил незнакомое мне имя ситного, а черный звался просто хлеб. Пекли его дома. Яблоки в саду рвать не разрешалось, хотя многие сорта и поспели. Ждали спаса. Можно было собирать только яблоки упавшие. Это привело к игре — кто первый найдет яб-

локо в траве. Вот мы сидим, обедаем. Вдруг — казавшийся мне значительным, ясно слышимый в тихий летний день — звук яблока, стукнувшегося о землю. Несмотря на протесты и окрики старших, я, Ваня, Лида<sup>81</sup> вскакиваем из-за стола и мчимся на поиски. Вид яблока, лежащего в траве под деревом, до сих пор особым образом радует меня. Вскоре в этой игре приняли участие и старшие. Помню, как мама, с их шелковской настойчивостью, изводила полдня Зину<sup>82</sup>, показывая в лицах, как та стоит над самым яблоком и не видит его, а яблоко мигает маме: «Вот, мол, я, хватай, бери!»

6 ноября

И вот уехали мы из Жиздры в Майкоп. Не удалось мне передать ощущение новой жизни, очень русской рядом с майкопской, окраинной, украинской, казачьей. Мы в последний раз в жизни повидали бабушку, в последний раз в жизни погрузился я в особую атмосферу шелковской семьи, и веселую, и насмешливую, и печальную, с предчувствиями, приметами, недоверием к счастью, и беспечную, и дружную, и обидчивую...

9 ноября

Преыдущую тетрадь я вел три года, а эту — три месяца. Отчаянно стараюсь плыть, бьюсь с ужасным безразличием, в которое впадал от времени до времени всю жизнь, отчаянно стараюсь научиться писать по-новому. Пьеса за это время плыла медленно-медленно. Прежде я оставил бы второй акт таким, как вышел он у меня сначала. А теперь переписываю его в четвертый раз. Пробовал, чтобы овладеть прозой, вспоминать детство. В дальнейшем попробую делать так: кратко рассказывать о ходе событий детства, а потом подробно описывать день или случай, определяющий данный период. До сих пор для упражнений в правдивости я записывал все, что вспомнил, не пропуская ничего. Когда доведу рассказ до поступления в реальное училище, попробую переписать на машинке все сначала. Привести в порядок. Сейчас главная моя беда в однообразии языка, что вызвано трусостью, ужасом перед штампами. Между тем есть штампы и штампы. Одни — мертвы. (Например: «Было тихо, слышалось только то-то и то-то, да где-то далеко это да это».) А другие штампы подобны формулам, которые только помогают. Сказать:

«В этих домишках ютились» — для меня целое дело. Слово это литературно и не свойственно мне в разговоре. А оно вовсе не обедняет, а обогащает язык. Написать: «Сальери, мрачную легенду о котором обессмертил Пушкин» — я никогда не посмею. Но и в этой элоквенции<sup>83</sup> есть свое приличие.

16 ноября

Итак, мы вернулись в Майкоп, и началась новая зима 903/904 года. Осенью исполнилось мне семь лет. Я пережил новое увлечение — мама рассказала, как была она в Третьяковской галерее. И это почему-то поразило меня. «Картинная галерея» — эти слова теперь повергали меня в такой же священный трепет, как недавно «нарты», «ездовые собаки», «северные олени». Я оклеил все стены детской приложениями к «Светлячку».

17 ноября

Я стал гораздо самостоятельнее. Я один ходил в библиотеку — вот тут и началась моя долгая, до сих пор не умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор я вижу во сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотечарши, за которым высятся ряды книжных полок. Помню и первые две фамилии каталога: Абу Эдмонд. «Нос некоего нотариуса». Амичис Эдмонд. «Экипаж для всех». Меня удивляло, что в каталоге знакомые фамилии писателей переименовывались. Например, Жюль Верн назывался Верн Жюль. Левее стола библиотечарши, у прохода в читальню, стоял другой стол, с журналами. Но в те годы читальный зал я не посещал. Я передавал библиотечарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотечаршей не приходилось.

26 ноября

...Весной 904 года мы поехали в Одессу. Поездка эта сыграла в моей жизни не меньшую роль, чем поездка

в Жиздру. С Жиздрой связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору. А в Одессе я полюбил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился мечтать.

27 ноября

Итак, мы поехали в Одессу. Отношения между отцом и матерью все усложнялись, майкопская жизнь не удавалась. Мать решила, что зависеть материально от отца унизительно. Работать по специальности — акушеркой — она не могла. Это отнимало бы у нее слишком много времени. И вот, прочтя объявление о краткосрочных курсах массажа, которые были основаны каким-то доктором в Одессе, мама решила ехать туда учиться. Делать массаж она могла и дома, не оставляя нас, не поступая на службу.

Папа провожал нас. Ехали мы с няней, молодой девушкой. Звали няню — Оля. Она долго не решалась ехать так далеко. Приходила ее мать. Помню, как папа, уговаривая Олю, несколько раз повторил: «Увидишь море, большой город — когда тебе еще придется съездить так интересно!» И Оля согласилась наконец, и мы отправились в путь. Снова фургон, и отвратительный запах сена, и припадки морской болезни на суше, на страшных черноземных кубанских дорогах. Затем праздник и счастье — железная дорога. Сначала мы заехали в Екатеринодар — и тут я ничего не узнал, ничего не вспомнил. Ведь я не был там с весны 1902 года. Целый век! Приехали мы утром, вошли в просторную столовую дедушкиного дома и увидели бабушку, которая, приветливо улыбаясь, живо и быстро двигалась к нам навстречу из-за большого овального стола. И столовая, и стол, и стулья со спинками, и самовар на столе — все было большое, гораздо крупнее, чем у нас дома, а бабушка Бальбина показалась мне маленькой, как и русская моя бабушка на вокзале в Жиздре. Гораздо меньше, чем она вспоминалась. Увидел я скоро Исаака, старшего моего дядю, перед которым испытывал неподобимую робость. Ни деда, ни бабки я не боялся, а он ужасно смущал меня. Увидел худого и мрачного дядю Самсона — актера. Увидел Тоню,<sup>84</sup> но все это наскоро, впопыхах, как в тумане. Исаак заметил, с какой жадностью я читаю «Рейнеке-Лиса» в издании «Золотой библиотеки», и сказал: «Возьми эту книжку себе». Я отве-

тил растерянно: «Если бы она была моя, то я ее взял бы, а она Тонина». — «Ну вот, теперь она и будет твоя! — сказал Исаак мрачно. — Бери!»

29 ноября

Ездил в город, отвозил Кошеверовой либретто сценария, который я назвал в память о последнем моем юношеском путешествии в горы «Неробкий десяток». Так назвал нашу компанию Юрка Соколов... Хоть кусочек поэтического, богатейшего опыта тех дней перенести бы в сценарий. Когда-то в «Клад»<sup>85</sup> я перенес частицу горных своих ощущений.

6 декабря

Улицы в Одессе были такие оживленные, что мне все чудилась впереди толпа, которая смотрит на «происшествие». Этот отдел я читал в газете и мечтал своими глазами увидеть пожар, столкновение конки с извозчиком, поимку известного вора или нечто подобное. Но, увы, толпа впереди вечно оказывалась, когда мы к ней приближались, кажущейся. Просто те же прохожие сливались вдаль в одно целое. Вот как мне трудно выразить самые простые вещи. В фургонах развозили искусственный лед — таскали его куда-то белыми длинными брусками. Лошади в Одессе носили шляпы с прорезами для ушей. Для собак были устроены под деревьями железные корытца с водой. Веселые, оживленные одесские улицы, деревья, коричневая мостовая на Дерибасовской, которую я с маминых слов считал шоколадной и все боялся спросить — не пошутила ли она, и свет, свет, солнце, жара, которая только веселила меня. И фруктовые лавочки, то в подвалах, то в ларьках, сначала с черешнями, которые мама, к моему удивлению, считала безвкусными, а потом с вишнями, которые я, к маминому удивлению, считал кислыми, и, наконец, с яблоками, грушами, дынями, арбузами.

7 декабря

И за садом в конце нашей улицы, и за Приморским бульваром внизу кипела морская, портовая, пароходная, канатная, лодочная, пахнущая смолой, бесконечно для меня привлекательная жизнь. Любовь, но не к морю, а к приморской жизни — вот сильное и новое чувство, вспыхнувшее в Одессе и отодвинувшее мою

страсть к картинным галереям далеко назад. Это чувство не проходило много лет, усилилось, когда мы уехали из Одессы, и в сущности не умерло и до сих пор.

9 декабря

На Приморском бульваре, левее лестницы в кафе, играл румынский оркестр. Сейчас мне кажется, что оркестранты были одеты в полосатые костюмы. Визг румынских скрипок вызывал у меня чувство неловкости. Оркестр под управлением Рабиновича нравился мне гораздо больше. Вспомнил вдруг, как однажды в Майкопе я пробрался в музыкантскую раковину, когда там играл вышеупомянутый оркестр. Я стоял сначала у двери, в которую входят музыканты, и дирижировал воздушным шариком. Но звуки музыки опьянили меня, я перешагнул через порог, все дирижируя и наслаждаясь. И вдруг старик с седой бородой и в серебряных очках, не отрывая губ от трубы, сделал страшные глаза и топнул на меня ногой. Я вылетел из раковины пулей. Это было года за два до поездки в Одессу. Итак, румын я не любил. Но вечером в нашем дворе с круглым сквериком слышался рояль.

10 декабря

Вечер начинался у нас очень рано, часов в шесть. Мы возвращались домой, закончив на сегодня все прогулки. Мама сидела над своими записями, училась, Валя играл с нянькой, а я скучал, мечтал, томился. Играть мне было не с кем. «Рейнеке-Лис» в издании «Золотой библиотеки» был зачитан и перечитан чуть не наизусть. Мама просила у хозяек книжек для меня, но у них нашлись только немецкие. Я бесконечно ссорился с Ольгой, безобразно грубил ей, дразнил брата, но и это не занимало меня полностью. Тогда, взяв круглую слоеную булку, я выходил во двор, садился на ступеньках высокого крыльца, глядел и слушал. Уже начинало темнеть. И непременно за открытыми окнами кто-нибудь играл на рояле. Иногда просто гаммы. Но музыка эта вместе с затихающим шумом улицы и стуком копыт по мостовой неизменно погружала меня в мечты. Часто мне представлялось следующее: вдруг всем на свете делалось по семь лет. Мое одесское вечернее одиночество тем самым обрывалось счастливейшим образом. То из одной, то из другой квартиры выбегали ее хозяева и предлагали, как это было принято на буль-

варе или в садике под парашетом: «Мальчик, хотите играть в золотые ворота?», «Мальчик, пойдете играть в разбойники». В одной из квартир виднелись против окна большие шкафы с книжками, которые в мечтах моих все сплошь оказывались детскими...

### 11 декабря

Однажды мы сидели на Приморском бульваре. Мама просматривала газету. И вдруг она воскликнула: «Женя! Какое несчастье — Чехов умер!» У меня сжалось сердце, и я, как было принято у нас в семье, когда сообщались неприятные новости, ответил: «Да что ты говоришь...» Для меня уже и в те годы имя Чехова было столь же знакомо, как имя Художественного театра, связывалось с Москвой, с чем-то несомненно прекрасным и всеми людьми признанным. Это была та самая слава, о которой думал с грустью дедушка крапивный, глядя на своих детей, не добившихся ничего. Великолепная, таинственная слава!

### 12 декабря

Я становился все более одесситом, как недавно майкопцем — в Майкопе и рязанским мальчиком — в Рязани. Убедился я в этом однажды в Пале-Рояле. Ко мне подбежал добродушный бледный мальчик в синем костюмчике и позвал играть в разбойники. Обсуждая с ним условия игры, я сказал вместо «мне» — «мине», что после двух месяцев проживания в Одессе казалось более правильным. Но мой новый знакомый вдруг взглянул на меня со страхом и заявил: «Мама не позволяет нам играть с детьми, которые говорят „мине“». И он убежал. Я бросился к своей маме за разъяснениями и узнал, что она сама давно хотела побеседовать со мною, что я совсем разучился говорить по-русски, что я не безъязына, а большой мальчик и не должен подражать уличным мальчишкам. Надо сознаться, что неведомо откуда, но во мне прочно сидело в те времена начисто исчезнувшее, когда я стал старше, ощущение, что мы благородные. Если мама пробовала выйти со мною на улицу в платке — я отказывался, плакал и кричал: «Ты как простая». И в страхе, с каким на меня взглянул добрый бледный мальчик в синем костюмчике, я угадал то же чувство. Я говорил, как простой! Ай-ай-ай! Я стал следить за своим языком, щедро уснащать его словами, доказывающими мое благородство.



13 декабря

Когда мама была свободна от курсов, совершали мы более дальние прогулки. Чаще всего ездили мы в Городской (или Приморский?) парк — забыл, как он называется. У ворот этого парка сидела сторожиха с вязаньем в руках. А на спинке стула, стоящего возле нее, сидел попугай, которым я не уставал любоваться. Он умел разговаривать, кричал: «Дурак!» — причем хохолок его вставал дыбом. В парке мы или располагались на траве под деревьями, или сидели в крытой галерее над обрывистым берегом. Отсюда можно было любоваться свободным от портовой суеты морем. Оно расстилалось от обрыва до самого горизонта, отвечая основному, как я считал тогда, признаку моря: другого берега видно не было. Мама любовалась морем и призывала меня к тому же, но я, повторяю, любил больше приморскую жизнь, чем море. Как я любил выставленную в одном из магазинных окон модель корабля, как мечтал, что каким-нибудь чудом мне купят ее. Как любовался идущими на горизонте пароходами. Как завидовал рыбачкам на шаландах. По дороге в парк мы проходили мимо мореходного училища с флагштоком или мачтой на башне. Я заявил маме, что хочу поступить в это училище. Но она ответила серьезно и строго отказом.

14 декабря

Мама не могла себе представить никакого другого образования, кроме университетского: «Сюда идут только недоучки», — сказала она, но страсть к морю была у меня настолько сильна, что на этот раз мамины слова не произвели на меня ни малейшего действия. Я по-прежнему смотрел на моряков как на людей особенной, избранной породы, причем в данном случае не делил их на благородных и простых. И офицеры, и матросы, и рыбаки, и грузчики в порту были мною любимы благоговейно. Вот офицер в черной морской форме, с кортиком на боку, прощается с дамами и одну из них целует в ладонь. И мне кажется это прекрасным, приморским.

19 декабря

Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни, по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей, молчаливый, сдержанный и суровый, мне,

внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете: Мы с Валею ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, еще теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему удивлению и даже умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным.

20 декабря

Сашу<sup>86</sup> я не боялся, хотя он, единственный из трех моих дядюшек, делал мне иногда замечания. В дедушкиной библиотеке нашел я иллюстрированные журналы, переплетенные за год, и читал их, не отрываясь, такая толстые томища за собою даже в сад, в свои барбарисовые беседки. И вот однажды утром Саша обнаружил в кустах открытый том «Нивы», засыпанный листьями, сухими веточками и окропленный росой. Он строго поговорил со мною по этому поводу. Но зато он же взял меня с собою в картинную галерею, которой владел тогда какой-то богатый екатеринодарец. Картинная галерея, музей и библиотека были тогда уже открыты для всех посетителей. Потом владелец завещал ее городу. Страсть моя к картинным галереям ожила. Папа, уже побывавший там, очень хвалил картину «Белая ночь», рассказывая, что там у сов горят глаза, просто удивительно. Настоящим огнем. Долго продолжалось мое ожидание, но вот Саша сжалился надо мною, и мы отправились в путь. Мы вышли на Красную улицу, повернули направо мимо магазинов, белого здания казачьей гимназии, соборной площади и пришли к двухэтажному дому, снаружи такому же, как и другие дома. Внизу была библиотека, в которую мы только заглянули и поднялись по лестнице наверх. Я несколько удивился. Я представлял себе длинные, светлые коридоры, увешанные картинами, перед которыми стоят скульптуры. Нет, галерея Коваленко была совсем другой. Она состояла из нескольких комнат. Картина «Белая ночь» изображала девушку, которая, закрыв глаза и протянув вперед руки, шла по лесу за двумя со-

вами. Глаза у сов действительно горели, но я ждал большего. И все же галерея понравилась мне.

### 21 декабря

Вскоре я забыл и о музее и о библиотеке. Новое увлечение, сильное, но короткое, овладело мною. Тоня, спокойный, тощенький, светлоглазый, со шварцевскими густыми, шапкой стоящими волосами, значительно более похожий на моего отца, чем я, стал моим лучшим другом на эти недели. В те годы Тоня твердо решил, что он будет купцом. На маленькие дощечки, обычно это были донышки спичечных коробок, мы навивали цветную бумагу. Это были штуки материи. Мы не торговали ими. Мы, вооружившись крошечными, в масштабе наших мануфактурных товаров, ружьями из серебряной бумаги, вели караваны по жарким странам, везли наши богатства каким-то племенам. Вот эта игра и увлекла меня. Вообще в это время Тоня главенствовал. Он спокойно пользовался языком взрослых, которого после конфуза со словом «очевидно» я боялся. Вот мы идем по улице. Тоня указывает на даму впереди и говорит: «Какая красивая у нее талия!» Я подтверждаю, хотя понятия не имею об этом слове. До самого вечера я считаю, что талия — это такая шляпа с цветами, — именно этим и отличалась, на мой взгляд, идущая впереди дама от остальных. Но в одной области я был для Тони непререкаемым авторитетом, а именно — в религии. Это время для меня было временем полной, лишенной всяких сомнений веры. Я прочел взятый у Дины Сандель учебник закона божьего, все жиздринские влияния были еще свежи.

### 22 декабря

Я помнил все: и библейские и евангельские истории из учебников, и бабушкины рассказы, и рассуждения о грехах, о церкви, о рае и аде. Я знал, что грешен, но вместе с тем и надеялся избавиться от всей скверны, как только мне удастся уговорить маму свести меня на исповедь. Я считал, что после семи лет не причастят без исповеди, да так оно, кажется, и было. Так относился к небу я. А мама, напротив, к этому времени ожесточилась, забыла, как молилась в Ахтырях, стоя на коленях перед иконой, и стала неверующей. Но в этом вопросе я не подчинился ей. И чуть не каждый день к вечеру под грецким орехом за кухней вспыхивали ожесточенные

споры. С одной стороны мама, а с другой — я и дедушкина кухарка спорили о религии. Я был начитаннее кухарки в этом вопросе, ссылаясь на учебники, обливался потом, кричал, как настоящий изувер, так что моя сторонница успокаивала меня и сменяла на моем посту. Ее сила была в непоколебимом спокойствии и уверенности. На все мамины антирелигиозные речи она отвечала: «Так-то оно так, а все-таки бог есть».

24 декабря

Сегодня полгода прошло с тех пор, как я стал писать эти ежедневные упражнения. Начинать я их много раз — примерно с 1926 года. Старые тетради я сжег в начале декабря 1941 года, уезжая из Ленинграда, о чем жалею до сих пор. Я возобновил привычные записи в Кирове. Обычно мне удается вести эти записи в том случае, если я работаю над чем-нибудь, а когда работа останавливается, то я впадаю в состояние преступного, тупого, свинского ничегонеделания. Впрочем, слово «свинское», пожалуй, не соответствует положению вещей. Более мучительного состояния, чем мое ничегонеделание, я не знаю. Правда, бывает и так: я работаю, но упражнений не пишу. С огромным трудом, преодолевая стыд, я справился с той задачей, которую поставил себе в Кирове. Я научился писать о себе, и теперь надо учиться писать о себе интересно и при этом не врать, что вряд ли возможно.

1951 г.

4 января

Итак, мы приехали в Майкоп, и начался последний период моего детства. Я уже учился, но еще не попал в мощные лапы школы, еще не вступил в темное средневековье моей жизни, продолжавшееся с приготовительного до четвертого класса. Потом медленно-медленно вступало в свои права возрождение. Хватит ли у меня дыхания рассказать обо всем этом? А пока что мы приехали в Майкоп, и я стал учиться у Валиного крестного — огромного, бородатого Константина Карповича Шапошникова. Он всегда носил черкеску. Постукивая деревянной своей ногой, входил он в комнату с окнами в сад, и урок начинался. Занятия эти давались мне, очевидно, легко. Во всяком случае, ничего нового в мою жизнь они не внесли.

6 января

В октябре 1904 года исполнилось мне восемь лет. Доктор Островский подарил мне книгу Свирского «Рыжик», а папа — «Капитана Гаттераса» Жюль Верна. Обе эти книги надолго стали моими любимыми. Еще подарили мне пистолет, стреляющий палочкой с резиновым присосом, который, щелкнув, прилипал к мишени. Этот день памятен мне острым чувством жалости, о котором расскажу завтра.

7 января

Итак, в день моего рождения испытал я острое чувство жалости, запомнившееся на всю жизнь. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства... Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Казалось, что он долго купался и замерз навсегда. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собой, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай вон, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня, с неведомой мне до сих пор силой, жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня — вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.

8 января

К девочкам Соловьевым Вера Константиновна выписала откуда-то учительницу, которая старшим не понравилась. Они ее нашли глуповатой. Я помню смутно молодую, незначительную лицом девицу, которая к тому же чуть шепелявила. Тогда это мне казалось несомненным доказательством глуповатости, о которой го-

ворили старшие. Но с ней, с этой учительницей, у меня связано сильное поэтическое переживание, — она прочла нам вслух «Бежин луг». Впервые я был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, я сразу понял, что со мною происходит, так и тут я сразу как бы угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Я не выслушал, а пережил «Бежин луг». Я ждал того же и на другой день, когда чтения продолжались. Читался какой-то другой рассказ Тургенева, его я и не запомнил. Я слушал чтение с тоской, ненавидел Наташу, восхищавшуюся, как мне казалось, притворно. Она все шептала: «Ах, как красиво!» Я ненавидел Костю, который строил сестрам гримасы, чтобы рассмешить их во время чтения. Я ушел, не дослушав, мама взглянула на меня и все поняла. У меня начался очередной припадок малярии с высокой температурой, угнетенным состоянием духа, с дурнотой. Я пролежал в постели несколько дней. И так, я учился, бывал у Соловьевых, дружил с Илюшей Шиманом, был влюблен, мечтал и тосковал по приморской, корабельной, одесской жизни, как в свое время по Жидре. Нет, сильнее, потому что умнее я не делался, а чувствительнее становился с каждым днем.

9 января

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только теперь учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле — я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступить я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. При чем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам.

10 января

В тот год я стал еще больше бояться темноты, и при этом по-новому. Темнота теперь населилась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами — словом, перед врагами людьми — заменился мистическим.

У Андрея Андреевича Жулковского<sup>87</sup> был племянник — художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы, и не вернулся. Его искали-искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: «Нет, уж он не вернется. Лежит где-нибудь в пропасти его скелет». Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак — скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью.

11 января

Весь ночной, призрачный мир начисто исчезал днем. А жизнь дневная и невыдуманная шла своим чередом. На рождество, когда мы клеили картонажи, я убедился еще в одном своем недостатке. Я знал и уж примирился с тем, что лишен музыкального слуха. А попытка вырезать и клеить картонажи доказала с несомненностью, что я неловкий мальчик. У меня ничего не клеилось в буквальном смысле этого слова. Я обижался неведомо на кого, сердился, плакал — но, увы, это не помогало мне. Я очень любил рисовать — но все утверждали, что я плохо рисую. Почерк у меня, несмотря на старания мои и Константина Карповича, был из рук вон плох. Задачи решал я средне. Скорее плоховато. Когда писал диктовку, то делал одни и те же ошибки: вечно пропускал буквы. Я был неловок, рассеян, но, должен признаться, вспоминая пристально и тщательно то время, в течение дня весел. Дневные обиды я легко забывал, а в сумерки начинал тревожиться. Приближался главный ужас моего детства, вытеснивший на долгое время все остальные страхи: боязнь за жизнь матери. Я писал уже, что в то время предполагалось, будто у мамы порок сердца.

12 января

Страх за маму, тоже глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но выступал, едва я оставался наедине с собой. К этому времени моей жизни отношения с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться со мною на ночь, кроме тех случаев, когда я был болен. Ссоры наши иногда доходили до полного разрыва. Помню день, привед-

ший к тому, что по маминой жалобе я в последний раз в жизни попал отцу под мышку, то есть взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это меня до того оскорбило, что я, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были напоминать мне вечно о нанесенном оскорблении. Но они не помогли. Я дня через два перестал сердиться на отца. Как я теперь понимаю, у мамы было редкое умение угадывать мою точку зрения при наших несогласиях. И она принималась спорить со мною как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая мою точку зрения и весь ход моих мыслей, мама чувствовала, что логикой меня не убедить, и раздражалась от этого и все-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать. Эту несчастную жажду переубеждать дураков и злиться от сознания, что это воистину немислимо, я, к сожалению, унаследовал от нее. Словом, по тем или другим причинам мы всё ссорились и удалялись друг от друга, но как я ее любил! Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли одеяло у нее на груди.

13 января

Я ничем не отличался от своих сверстников, не выделялся никакими талантами, но эта скрытая, тайная жизнь, для выражения которой у меня и слов не было иногда, приводила меня к мыслям не по возрасту. Помню, как терзало меня открытие, что если мама умрет, то я никогда не увижу ее. Никогда! Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Вот я жду ее, все жду, а если она умерла в гостях, то я никогда не дождусь ее. И мысли эти часто, особенно ночами, приводили к тому, что я уже принимался одеваться, чтобы среди ночи бежать на поиски. Останавливали меня страх наказания, темноты и того, что мама вдруг узнает, как я боюсь за ее жизнь.



14 января

Вот такие были у меня горести. Я много думал о смерти, кладбищах, крестах, боялся их не ради себя, я не понимал, что могу умереть, а из-за мамы... Вообще, как это ни грустно, при всей неподдельности моих мучений, я стал довольно часто ломаться. Я слишком много читал. Я любил «отбросить непокорные локоны со лба», «сверкнуть глазами», научился перед зеркалом раздувать ноздри. Отец, которого я раздражал все больше и больше, обвинял меня в том, что я неестественно смеюсь. Боюсь, что так оно и было. Я в те времена старался смеяться звонко, что ни к чему хорошему не приводило.

15 января

Около одиннадцати пришел Пантелеев, а с ним Элик Маршак, с которым я познакомился в 24 году, когда ему было лет семь. Сегодня он понравился мне. Как это ни странно, я разговаривал с ним, в сущности, в первый раз в жизни. До сих пор мы встречались с ним в присутствии отца, а при Самуиле Яковлевиче не слишком разговоришься.

Я пришел к Маршаку в 24 году с первой своей большой рукописью в стихах — «Рассказ старой балалайки». В то время меня, несмотря на то, что я поработал уже в 23 году в газете «Всесоюзная кочегарка» в Артемовске<sup>88</sup> и пробовал написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конференсье. Это меня мучило, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: «А какой он был, когда появился, — сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского». Николай Макарович<sup>89</sup> посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но, так или иначе, мне и в самом деле было легко, весело приходиться, приносить исправления, которых требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный его дар — радоваться успеху ученика, как своему успеху. Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: «Софьюшка!» или: «Элик!»

чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю. Сегодня, глядя на Элика, я с удовольствием угадывал в его лице отцовские черты. Мы вспоминали, как врвался Элик в комнату, едва отец уходил оттуда, — и мы начинали с ним драться и бороться. Элик скучал, очевидно, без сверстников, и я сходил за такого.

16 января

Тогда Маршак жил против Таврического сада в небольшой квартире на Потемкинской улице. Часто, поработав, мы выходили из прокуренной комнаты подышать свежим воздухом. Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробегал быстро, маленькими шажками саженей пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли. Если верить Ромену Роллану, индустриальные религиозные философы прошлого века утверждали, что учить надо не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собирались в конце концов люди верующие. Исповедующие искусство. Разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: «Как народно!» (Почему и принят был «Рассказ старой балалайки».) Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: «стилизация», «литература», «переводно». Однажды ночью бродили по улицам я, Самуил Яковлевич и Коля Чуковский. Я молчал, а они оба дружно бранили «всепонимание предыдущего поколения», «объективность», «скептицизм», «беспартийность». Я слушал и готов был верить во все, но они еще при этом ругали Чехова и единственным видом прозы провозглашали «сказ» за то, что в сказе виден автор. И я спорил, но не по пустякам.

17 января

К этому времени с театром я расстался окончательно<sup>00</sup>, побывал в секретарях у Чуковского<sup>01</sup>, поработал в «Кочегарке» — и все-таки меня считали скорее акте-

ром. В «Сумасшедшем корабле» Форш вывела меня под именем Геня Чорн. Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака и со всем упорством утопающего. И все же я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с «серапионами»<sup>92</sup>. Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Так же не любил я и не принимал ритмическую прозу Пильняка, его многозначительный, на что-то намекающий историко-археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в Лефе была своя<sup>93</sup>. Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне Маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал. Но, слушая его, я понимал и как писать, и что писать.

18 января

В 1924 году весной вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал при «Ленинградской правде:». Начинал свою работу Клячко — основал издательство «Радугу». Маршак написал «Детки в клетке», «Пожар», Лебедев сделал рисунки «Цирк». Его уверенные, даже властные высказывания о живописи наложили свой отпечаток и на всю нашу работу. Но все это едва-едва начиналось, была весна. Я приходил со своей рукописью в знакомую комнату окнами на Таврический сад. И мы работали. Для того чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни,

и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное. Года через два мы, неблагодарные, подсмеивались уже над этим его свойством. Но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью — дело божественной важности. И когда я шел домой или бродил по улицам с Маршаком, то испытывал счастье, чувствовал, что не только выбрался на дорогу, свойственную мне, но еще и живу отныне по-божески. Делаю великое дело. Написав книжку я опять уехал в «Кочегарку». Вернувшись в Ленинград, я ужасно удивился тому, что моя «Балалайка» вышла в свет — и только! Ничего не изменилось в моей судьбе и вокруг. Впрочем, я скоро привык к этому. Во всяком случае, люди, которых я уважал, меня одобряли, а остальные стали привыкать к тому, что я не актер, а пишу. К этому времени Самуил Яковлевич со всей страстью ринулся делать журнал «Воробей». (Впрочем, кажется, журнал назывался уже «Новый Робинзон» в те дни?) Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело все будущее детской литературы. И это мы неоднократно высмеивали впоследствии, не желая видеть, что только так и можно было работать, поднимая дело, завоевывая уважение к детской литературе, собирая и выверяя людей. Появился Житков. Они с Маршаком просиживали ночами, Житков писал первые свои рассказы. Тогда он любил Маршака так же, как я. Еще и подумать нельзя было, что Борис восстанет первый на учителя нашего и весна вдруг перейдет в осень. Но это случилось позже. А я говорю о весне 1924 года.

19 января

Итак, была весна 24 года — время, которое начало то, что не кончилось еще в моей душе и сегодня. Поэтому весна эта, если взглядеться как следует, без всякого суеверия, без предрассудков, стоит рядом, рукой подать. Я приходил к Маршаку чаще всего к вечеру. Обычно он лежал. Со здоровьем было худо. Он не мог уснуть. У него мертвели пальцы. Но тем не менее он читал то, что я принес, и ругал мой почерк, утверждая, что буквы похожи на помирающих комаров. И вот мы уходили в работу. Я со своей обычной легкостью был ближе к поверхности, зато Маршак погружался в мою рукопись с головой. Если надо было найти нужное сло-

во, он кричал на меня сердито: «Думай, думай!» Мы легко перешли на «ты», так сблизила нас работа. Но мое «ты» было полно уважения. Я говорил ему: «Ты, Самуил Яковлевич». До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал ему: «Ты, Сема». «Думай, думай!» — кричал он мне, но я редко придумывал то, что требовалось. Я был в работе стыдлив, мне требовалось уединение. Угадывая это, Самуил Яковлевич чаще всего делал пометку на полях. Это значило, что я должен переделать соответствующее место дома. Объясняя, чего он хочет от меня, Маршак, как я уже говорил, пускал в ход величайшие классические образцы, и сам приходил, и меня приводил в одухотворенное состояние. Если в это время появлялась Софья Михайловна и звала обедать, он приходил в детское негодование. «Семочка, ты со вчерашнего вечера ничего не ел!» — «Дайте мне работать! Вечно отрывают!» — «Семочка!» — «Ну, я не могу так жить. Ох!» — и, задыхаясь, он хватался за сердце.

21 января

Все продолжаю думать о Маршаке. Чтобы закончить, ко всему рассказанному прибавлю одно соображение. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, наконец, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания в классе велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако по каким-то не найденным еще законам непременно надо с какого-то времени переставать оказывать помощь ученику, а то он умирает.

Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников Маршак породил. Это одно. Второе: как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулусов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много и с такой страстью, как Маршак, — ни с кого так много не требовали и никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, пере-

брав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной 24 года и была счастьем для меня. Ушел я от него недоучившись, о чем жалел не раз, но я и в самом деле был слишком для него легок и беспечен в 27–31 годах. Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным, сипловатым голосом слова: «Здравствуй, Женья».

22 января

Возвращаюсь в Майкоп. Кроме книг, перечисленных выше, я читал и перечитывал хрестоматию, взятую у Дины Сандель, и учебники закона божьего. В хрестоматиях я прочел отрывки из «Детства и отрочества», где удивило меня и обрадовало описание утра Николенки Иртеньева. Значит, не один я просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Там же прочел я «Сон Обломова». С того далекого времени до нынешнего дня всегда одинаково поражает меня стихотворение Некрасова: «Несжатая полоса». Самый размер наводит тоску, а в те дни иногда и доводил до слез. Бесконечно перечитывал я и «Кавказского пленника» Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины — все это меня трогало, сейчас не пойму уже чем. В это же время, к моему удивлению, я выяснил, что «Робинзон Крузо» было несколько. От коротенького, страниц в полтора, которого я прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот «Робинзон» мне не нравился — в нем убивали Пятницу. Я не признавал Илюшиного «Робинзона» настоящим, несмотря на мою любовь к толстым книгам. Неожиданно разросся, к моему восторгу, и «Гулливвер», знакомый мне по коротенькой ступинской книжке с цветными картинками. Там рассказывалось только о его путешествии к лилипутам, а в издании «Золотой библиотеки» — и обо всех других приключениях Гулливера. Однажды у папы на столе я нашел книгу, на корешке которой стояла надпись: «Том второй». Я обрадовался, думая, что как «Робинзон» и «Гулливвер», так и «Принц и нищий» имеет продолжение. Надпись на корешке я отнес к Тому Кенти. Но, увы, раскрыв книжку, я увидел, что она медицинская.

24 января

Рядом с нами был дом Лянгертов, где я пил кефир. Когда я входил к ним во двор, прибранный, подметенный, с белым столиком под тенистым деревом, меня встречала приветливая бабушка Лянгерт. Она кричала по-еврейски: «Феня! Гиб Жене кефиру». Молчаливая полная Феня приносила из погреба бутылку, и бабушка учила меня пить целебный напиток по правилам: маленькими глотками и заедать булочкой. Мы с ней беседовали по душам подолгу. Часто я рассказывал ей о книгах, которые прочел. После одного из таких разговоров бабушка задумалась и, улыбнувшись доброй улыбкой, призналась, что у нее есть целый шкафчик очень интересных книг, которые читал ее сын, когда был мальчиком. Если я обещаю обращаться с ними со всей осторожностью, она даст мне их почитать. И вот мы вошли в прохладный дом Лянгертов, пахнувший не плохо и не хорошо своим, лянгертовским, духом. В комнатах стоял полумрак от закрытых ставен. На мебели белели чехлы, на картинах кисея, пол блестел, мебель блестела, Лянгерты жили очень чисто. Возле пышной бабушкиной кровати желтела тумбочка, и в самом деле наполненная книгами. Бабушка дала мне одну из них. Боже мой, как я обрадовался. Книга оказалась толстой, с картинками, какие бывают именно в интересных книгах. Она заключала в себе два романа Майна Рида — «Охотники за черепами» и «Квартеронка». Когда, уже учеником третьего класса, я взял в библиотеке реального училища те же самые романы, они показались мне сокращенными по сравнению с лянгертовскими.

26 января

Итак, читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после рождения брата. На вопрос: «Кем ты будешь?» — мама обычно отвечала за меня: «Инженером, инженером! Самое лучшее дело». Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперед по большому залу санделевского дома, мама с Валею на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчужденно, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. «А кем же ты будешь?» Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полупшепотом:

«Романистом». В смятении своем я забыл, что существует более простое слово: «писатель». Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моем решении. Почему я пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И все тут. Но решение мое было непоколебимо.

30 января

Итак, я жил себе да поживал по-своему. А вокруг разворачивались события первостепенной важности. Началась русско-японская война. Точнее, она к этому времени вошла и в нашу жизнь — жизнь детей. Мы стали следить за газетами. Собирали картинки с броненосцами. Искали книжки про Японию, к этой стране появился страстный интерес. Что это за люди, японцы? Где они живут? Как осмелились они напасть на нас? Естественно, что я не сомневался в нашей победе и удивлялся японскому безрассудству. Спрашивать открыто у взрослых я к этому времени уже перестал. Ответы на вопросы, волнующие меня, получал я таким образом: настораживал уши, когда речь заходила о вещах, мне интересных. К этому времени взрослые часто говорили о войне.

31 января

Вернулся из Берлина папа. Он привез мне скрипку, игрушки, книгу „Том Сойер“, которую, как я полагал, он купил там же. У нас стало бывать много народа. В кабинете происходили какие-то собрания, о которых мне строго-настрого приказано было молчать.

Людей, приходящих к отцу, называли кратко, только по имени: Данило, например. Остальных не могу припомнить сейчас. Иногда у нас ночевали проезжающие куда-то незнакомцы. Против нашего дома, над живущими в полуподвале Ларчевыми, снимал квартиру отставной генерал Добротин. Жена его, сильная брюнетка, едва тронутая сединой, но со слишком румяными щеками, казалась еще нестарой женщиной. А сам генерал мог ходить, только опираясь на две палки, ре-



зиновые наконечники которых в свою очередь мягко упирались в тротуар. Седобородый, добродушный, он не спеша шествовал по городскому саду, заходил в магазины. Руки его были заняты палками, и покупки он прицеплял веревочными петельками к пуговицам пальто. Вечерами генерал сидел на крыльце в кресле и заговаривал иной раз с нами. Однажды мы, дети, показывали друг другу картинки, потом открытки. Генерал скуки ради рассматривал их с нами вместе. Довольный тем, что моя коллекция богаче всех, я, чтобы поразить друзей еще больше, сбегал домой и притащил наш альбом с открытками. Среди них были и привезенные отцом из Берлина. Был там Карл Маркс, изображенный в ореоле из выходящих в Германии социал-демократических газет, были Бебель и Каутский. Наружность Маркса поразила меня, и я спросил у Валиной няньки: кто это? «Еврейский святой!» — ответила нянька уверенно. И я удовлетворился этим объяснением. Повторил я его и показывая открытку детям и генералу. Но генерал поморщился и ответил: «Ничего подобного. Это портрет одного политического деятеля».

3 февраля

Между аптекой Горста и летним помещением клуба зеленел пустырь, заросший бурьяном. Вниз шла лестница. Кирпичный домик краснел среди деревьев внизу. В домике этом вечерами начинала постукивать какая-то машина, выбрасывая из узенькой железной трубы клубы дыма, а иной раз и колечки, как это делают курильщики. Мальчишки мне объяснили, что в домике работает водокачка, но куда она качала воду и кому принадлежала, я не знаю до сих пор. Это место мне памятно и потому, что я часто ходил по деревянной лестнице мимо красного домика к Белой купаться, и потому, что на пустыре выросло однажды полотняное строение, не такое высокое, как цирк-шапито, но зато более длинное, занявшее почти весь небольшой, впрочем, пустырь. Приехал зверинец со львом, медведями, дикобразом, пумой, шестиногим теленком! И вот после долгих просьб, откладываний, слез и отказов мама выбрала время, и мы отправились на представление, так как в зверинце еще и представляли, о чем сообщили развешанные по городу афиши. Майкопские афиши в те времена, кстати, начинались одинаково: полукругом шли

слова «С разрешения»; потом ровно стояло слово, набранное крупным черным шрифтом, — «гор. Майкоп» и снова мелко, полукругом, — «начальства». Едва мы вошли в полотняные сени, как охватил нас острый, незнакомый запах. Кассирша продавала за столом билеты. Мы вошли в зверинец. Звери или метались по клеткам, или дремали. Грустно глядел теленок с двумя лишними ногами, которые торчали где-то сзади, я не всматривался. Самая просторная клетка была у львицы. Ее и называли в афише львом. Левее этой клетки помещалась арена. Над ареной покачивалась трапеция. Тяжелый запах, клетки, звери, спящая львица и теленок-урод ошеломили меня. Зазвонил звонок, и зрители уселись на вделанных в землю скамейках против арены. Под скамейками зеленела трава. Вышел силач с гириями. Повертелся на трапеции гимнаст, и вдруг — сердце у меня сжалось. Я вздрогнул; мама, взглянув на меня, сказала: «Опять у тебя начинается малярия». Но я был здоров. Просто я влюбился... На арену выбежала девочка моих лет с темными распущенными волосами. Глаза у нее были синие. Она танцевала и улыбалась.

4 февраля

Девочка была в белом платье. Мама все время смотрела на арену так, будто собиралась высказать зверинцу и актерам всю правду. Но при виде девочки лицо мамы смягчилось. Она ей похлопала и похвалила ее. В заключение рослый и стройный человек с белокурой бородкой вошел в клетку львицы. Он заставил ее прыгать в обруч, балансировать на доске, а в заключение взвалил львицу к себе на плечи и обошел всю клетку. Любовь заставила меня всеми правдами и неправдами искать случая еще раз проникнуть в зверинец. Но удалось мне это всего один раз. Я попал туда вместе с Соловьевыми. К удивлению моему, девочка показалась мне совсем не такой, как первый раз. Точнее, в мечтах моих она была другой. Но и та, которую я увидел на арене, прекрасна. Вскоре после этого, идя по площади против Соловьевых, я увидел девочку в окне маленького дома, где она квартировала. Очень славная, очень домашняя, смеясь куда веселее, чем в цирке, она кричала что-то по-немецки белокурому укротителю, который спешил по площади к зверинцу. И он отвечал ей, так же весело смеясь. И вот опять свойственная возрасту вообще,

а в частности мне особенность. Да, я старался попасть на представление в зверинец, но мне и в голову не приходило пытаться заговорить с девочкой, попробовать познакомиться с ней, пройти лишний раз мимо ее дома. Встречая ее, я замирал от счастья, но не искал с ней встреч. Ее я любил долго. Два года.

5 февраля

Я узнал от мамы, что приехал синемаатограф, будут показывать картины, на которых все движется, как живое. Мне дали двадцать копеек и разрешили идти в Пушкинский дом, где должны были показывать эти чудеса, с Илюшей Шиманом и его мамой. И вот я побежал за ними. Во дворе их дома набросилась на меня неведомо откуда взявшаяся чужая собака. Я швырнул в нее двугривенным, который держал, зажав в кулаке, и стал звонить к Шиманам. Оказалось, что они уже ушли. Обойдя страшную собаку, не смея искать двугривенный, помчался я домой, чтобы выпросить новый. Но дома никого не оказалось, все ушли гулять. Куда? Неизвестно. Кухарка отказалась дать мне деньги. Я кинулся искать наших — в саду оркестр играл вальс «Пой, ласточка, пой, сердце успокой»<sup>94</sup>, а мое сердце разрывалось от горя. Я прибежал домой и плакал, пока не вернулись наши. От них я узнал, что синемаатограф будут показывать и завтра и мама пойдёт туда со мною. И вот это свершилось. Занавес с Пушкиным и каплями, крупными, как виноград, был поднят. Вместо него висело туго натянутое белое полотно, политое водой. Вот на нем появился светящийся прямоугольник, неведомо откуда взявшийся. В те дни проекционная камера помещалась по ту сторону экрана. Затем он сменился названием картины, написанным не по-русски. Заиграл оркестр, и начались чудеса. Сначала мы увидели приключения неудачника, который сшибал лестницы маляров и падал в ямы с известью. Потом драму: игрок ограбил кого-то, и его гильотинировали на наших глазах; и в заключение нам показали индейцев в диких прериях. Они похитили дочку фермера, но погоня их настигла, и девочка была спасена. Кони скакали по прериям, и высокая трава качалась долго после того, как всадники уже скрылись, — это поразило меня. Правда, чистая правда, — картины эти были живые. Так я полюбил кино и долго считал, что настоящее его имя — синемаатограф.

6 февраля

Вот так и шли дни за днями, полные горестями и радостями, и приблизилась весна 1905 года. Я пошел держать экзамен в реальное училище. Оно, училище, готовилось уже к переезду в новое, красивое двухэтажное здание, которое в последний раз видел я дня три назад во сне. Сколько моих снов внезапно из самых разных времен и стран приводили меня в знакомые длинные коридоры с кафельными полами, или в классы, или в зал с портретами писателей. Очевидно, те восемь лет, что проучился я в реальном училище, оставили вечный отпечаток на моей душе, если я через сорок почти лет чувствую себя как дома, очутившись во сне на уроке или на скамейке в зале. Перед экзаменом я волновался. Однажды была у нас Анна Александровна<sup>95</sup>. Она стала спрашивать у меня в разбивку таблицу умножения. «Семью восемь?» — спросила она, и я не смог ей ответить. Чуть не плача, мгновенно растерявшись, стоял я и шевелил бессмысленно губами. А Анна Александровна как ни в чем не бывало разговаривала с мамой. Потом она взглянула на меня ласково и сказала: «Что ты то краснеешь, то бледнеешь? Ведь ты ответил мне уже давно: пятьдесят шесть». За эту доброту и деликатность, вероятно, и любили Анну Александровну знакомые. И вот пришел роковой день. Старое реальное училище помещалось в белом просторном одноэтажном доме во дворе. Деревья уже зеленели. Реалисты разных классов толкались во дворе, но не бегали, и не играли, и не приставали к нам, не попрекали, что мы в штанах до колен и в длинных чулках: у старших в этот день тоже были экзамены. На мой взгляд, они были почти взрослыми людьми.

7 февраля

Повторяю еще раз: если воображение у меня развилось не по возрасту, если я склонен был к мистическим переживаниям, если я страдал более своих ровесников, то и был глупее их, не умел сосредоточиться и подумать над самой ничтожной задачей. И поэтому на экзамене задачу я не доделал. То есть не стал решать последний вопрос. Не отнял прибыль из общей выручки купца и не узнал, сколько было заплачено за сукно. Поэтому ответ у всех был девяносто, а у меня сто. Листы нам раздавал и вел экзамен красивый мрачный гру-

зин Чкония. Узнав, что ответ у меня неверный, я мгновенно упал духом до слабости и замирания внизу живота. До сих пор я не сомневался, что выдержу экзамен. Почему? Да потому что провалиться было бы уж слишком страшно. И вот этот ужас вдруг встал передо мной. Мама ушла домой. Я оставался один, без поддержки и помощи. И я решился, несмотря на свой страх перед Чконией, подойти к нему, когда он, в учительской фуражке с кокардой и белым полотняным верхом, шел домой. Я спросил у него, сколько мне поставили. Он буркнул неразборчиво что-то вроде: «Четыре». И я разом утешился. Я готов был поверить во что угодно, только бы не стоять лицом к лицу со страшной действительностью. Я и до сих пор не знаю, правильно ли я расслышал Чконию. Все остальные экзамены прошли очень хорошо. Испугался я только, когда после экзаменов мне сказали, что я «зачислен кандидатом». Но меня утешили тем, что и всех остальных только зачислили в кандидаты, потому что будут еще осенние испытания. После них состоится заседание педагогического совета и всех нас примут в подготовительный класс. Вот я и дошел до школы.

8 февраля

В это примерно время прочел я книгу под названием «Руламан»<sup>96</sup>. Несмотря на малый ее размер, любил я эту книгу необыкновенно. Было такое издание — «Всходы», не то журнал, не то альманах для детей, выпускавший законченные повести и романы. «Руламан» рассказывал о жизни мальчика каменного века. Мальчик жил в пещере с одною только бабушкой. Остальная семья погибла. В конце книги бабушка погибала, героически бросившись из пещеры прямо на плечи злейшего врага их племени, проходившего внизу по тропинке над пропастью. Руламан же встречался с людьми бронзового века. Сюжет книги я помню смутно, но чувство, вызываемое ею, представляю себе ясно. Оно было сильным. Все, что попадалось мне о каменном веке, об ископаемых животных, картинки, изображающие леса каменноугольного периода, вызывало это чувство. Книжка была в кирпично-красном переплете, и даже цвет этот особым образом действовал на меня. Это отношение к переплетам описанного цвета сохранилось у меня и сейчас.

9 февраля

Я проверил себя и еще отчетливее вспомнил особое очарование первобытных лесов. Я испытывал всегда одинаковое беспокойство, видя картинку или читая рассказы о тех временах. И беспокойство это было близко к восторгу. Мне казалось, что я как-то родственно связан с тем временем. Поэтому я и полюбил «Руламана», который первый познакомил меня с каменным веком, и впоследствии так обожал «Путешествие к центру земли» Жюль Верна. Такое же чувство вызывал у меня рыцарский замок. В приложении к «Светлячку» или «Путеводному огоньку» был такой лист для вырезывания и склеивания — рыцарский замок с зубчатыми башнями и подъемным мостом. И когда Шапошниковы его склеили, душа моя затрепетала от чувства, которое я тогда и не пытался передать, да и теперь не берусь выразить с достаточной ясностью. Нет, это не было ощущение того, что я когда-то бывал тут. Это было и сложнее и проще. Я сейчас был связан с замком, как и с первобытным лесом, и с пещерными жителями. А как именно? Вот этого-то я и не могу объяснить. Но когда я забирался на дерево и прятался в листья или вытаптывал в высокой траве логово (я так его и называл тогда) и скрывался в нем, то испытывал подобие этого же самого чувства. Вишни, под которыми обедали мы летом, разрослись в высокие и развесистые деревья. Ветви одной из вишен тянулись над крышей сарая. Пробраться по крыше и залечь под этими ветками тоже было счастьем. Но это удавалось редко. Железная крыша гроыхала под ногами, и мама приказывала мне сию же минуту сойти вниз. В плохую погоду я играл с деревянными кирпичиками. Я нарисовал им лица. Одно из них получилось веселым, и этот кирпичик назывался «дядя Яша». Я строил под столиком большого зеркала, стоящего в зале, сады и леса. Наломав веток с кустов, я втыкал их в комки глины, отчего ветки стояли и не падали под черным столиком.

10 февраля

Люди, сделанные из деревянных кирпичиков, гуляли в этом лесу, и мне хотелось быть на их месте. Играл я, конечно, и со своими сверстниками, но только в те игры, которые не требовали ловкости. У меня не было музыкального слуха, что окончательно установил отец,

заставив петь под скрипку. У меня был ужасный почерк. Я худо рисовал. Я не мог играть в лапту: ударить по мячу палкой мне никогда не удавалось. Я не мог играть в чижика. Зато в игры без правил, которые выдумывались тут же, — в разбойников, в японскую войну, в моряков играл я наравне со всеми. Помню какую-то очень интересную игру: в стогу сена прорыли мы сквозной туннель и проползали через него. А зачем делали мы это, забыл. В этом туннеле содрала себе Леля только что привившуюся оспу. Она сидела у выхода из туннеля в своем белом платице с короткими рукавами, угрюмо глядела на пострадавшую оспину, и слезы катились у нее по щекам. Все вышеперечисленные мои недостатки меня не огорчали, а злили. Я считал игры, требующие ловкости, дурацкими. Мой почерк не смущал меня. Да, я рисовал плохо, но с наслаждением. Иногда целый вечер рисовал я корабли, морские сражения, купающихся людей, солдат, сражающихся с японцами, и это было часто не менее интересно, чем читать. Только отсутствие музыкального слуха все больше и больше огорчало меня. Я любил музыку все безнадежнее и сильнее и глядел на людей, поющих правильно, как на волшебников.

12 февраля

У нас никогда не было налаженного удобного быта: мама не умела, да, вероятно, и не хотела его наладить. Мебель у нас стояла дешевая. На стенах висели открытки. (Помню Руфь с колосьями.) Стол в столовой накрыт был клеенкой. Библиотеки не накопилось, в кабинете стоял книжный шкаф с папиными медицинскими книжками. Туда прибавился со временем энциклопедический словарь издательства «Просвещение» и Гельмольт, «История человечества», в том же издании, приобретенные, кажется, по подписке. У старших, которые попали в Майкоп поневоле, не было, видимо, ощущения, что жизнь уже определилась окончательно. Им все казалось, что живут они тут пока. Отчасти этим объясняется неуютность нашего дома. Но кроме того слой интеллигенции, к которому принадлежали мы, считал как бы зазорным жить удобно. У Соловьевых жизнь шла налаженнее, хозяйственнее, уютнее, но и у них она была подчеркнута проста и не нарядна.

22 февраля

В тетради этой я пишу, когда уже почти не работает голова, вечером или ночью, чаще всего если огорчен или не в духе. Условие, которое поставил я себе — не зачеркивать, — отменил, когда стал рассказывать истории посложнее. И вот перечитав вчера то, что писал последние месяцы, я убедился в следующем: несмотря на усталость, многое удалось рассказать довольно точно и достаточно чисто. Второе условие, которое поставил я себе — не врать, не перегруппировывать (ну и слово) события, — исполнено. Этого и оказалось достаточным для того, чтобы кое-что и вышло. Заметил, что в прозе становлюсь менее связанным. Но все оправдываюсь. Чувствую потребность так или иначе объясниться. Это значит, что третьего условия — писать для себя и только для себя — исполнить не мог, да и вряд ли оно выполнимо. Если бы я писал только для себя, то получилось бы подобие шифра. Мне достаточно было написать: «картинная галерея», «грецкий орех», «реальное училище», «книжный магазин Мареева», чтобы передо мной появлялись соответствующие, весьма сильные представления. Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства — и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели. Проще говоря, стараюсь, чтоб было похоже, хотя никто этого с меня не требует.

25 февраля

Итак, к поступлению в школу, то есть к девяти годам, я был слаб, неловок, часто хворал, но при этом весел, общителен, ненавидел одиночество, искал друзей. Но ни одному другу не выдавал я свои тайные мечты, не жаловался на тайные мучения. Так я и бегал, и дрался, и мирился, и играл, и читал с невидимым грузом за плечами. И никто не подозревал об этом. И мама все чаще и чаще говорила в моем присутствии, что все матери, пока дети малы, считают их какими-то особенными, а когда дети вырастают, то матери разочаровываются. И я беспрекословно соглашался с ней, считал себя ничем, сохраняя идиотскую, несокрушимую уверенность, что из меня непременно выйдет толк, что я буду писателем. Как я соединял и примирял два этих противоположных убеждения? А никак. Я говорил уже где-то, что если я научился чувствовать и воображать,



то думать и рассуждать — совсем не научился. Было ли что-нибудь отличное от других в том, что я носил за плечами невидимый груз? Не знаю. Возможно, что все переживают в детстве то же самое, но забывают это впоследствии, после окончательного изгнания из рая. Во всяком случае, повторяю, ни признака таланта литературного я не проявлял. Двух нот не мог спеть правильно. Был ничуть не умнее своих сверстников. Безобразно рисовал. Все болел. Было отчего маме огорчаться.

26 февраля

Таким я был к великому огорчению родителей. Отец, происходивший из семьи несомненно даровитой, со здоровой и лишённой всяких осложнений и мучений склонностью к блеску и успеху, огорчился особенно. Он, как я уже говорил, пел приятным и сильным баритоном, играл на скрипке, декламировал и участвовал в любительских спектаклях. Исаак с огромным успехом исполнял даже такие роли, как Уриэль Акоста, удивляя профессионалов, Самсон уже имел имя на провинциальной сцене, Маня и Розалия с блеском окончили консерваторию, Феня была блистательной студенткой-юристкой в Париже, и Саша подавал надежды. И Тоня уже шел по пути старших. Чуть ли не с трех лет его ставили на стол и он читал стихи спокойно и храбро, здраво наслаждаясь успехом и блеском. Мама же обладала воистину удивительным актерским талантом, похвалы принимала угрюмо и недоверчиво и после спектаклей ходила сердитая, как бы не веря ни себе, ни зрителям, которые ее вчера вызывали. Но и ей, так же, как папе, хотелось, чтобы я был талантлив. А я был только трудным мальчиком.

28 февраля

Я любил читать, к игрушкам относился скорее равнодушно, и все же игрушечный магазин Калмыкова был для меня куда привлекательнее, чем книжный Мареева. Я как-то не понимал, что книжку можно купить, вероятно потому, что наш единственный малопривлекательный книжный шкаф не наводил на эти мысли. Две книги, «Капитан Гаттерас» и «Рыжик», мне подали. Подарили мне и тоненькую книжку «Давид Коперфильд». Это не было сокращенное издание: в книжечке история мальчика заканчивалась его появлени-

ем у бабушки и изгнанием Мердстонов. Только через много лет я был приятно поражен, узнав, что прочел только начало романа. И так, за этими тремя исключениями, собственных книжек у меня не было, а покупать их я не догадывался. Но игрушки покупал с наслаждением.

3 марта

Я надел впервые в жизни длинные темно-серые брюки и того же цвета форменную рубашку, и мне купили фуражку с гербом и сшили форменное пальто. Мне все казалось, что я ношу эту одежду, столь желанную, без всяких на то прав. Ведь я был только кандидатом в ученики приготовительного класса. Но вот список принятых вывесили на доске возле канцелярии училища, и мы отправились с мамой в магазин Мареева покупать учебники. В магазине было полно. Каждый приказчик знал, какие учебники нужны данному классу. Мне купили и учебники, и тетради, и деревянный пенал, верхняя крышка которого отодвигалась с писком, и, чтобы носить все это в училище, — ранец. Серая теллячья шерсть серебрилась на ранце, он похрустывал и поскрипывал, как и подобает кожаной вещи, и я был счастлив, когда надел его впервые на спину.

И вот я пошел в реальное училище, не понимая и не предчувствуя, что начал новую жизнь, окончательно прощаюсь с детством. Встретил нас хмурый и недружелюбный Чкония. В первый день не произошло ничего памятного.

4 марта

За Пушкинским домом помещалось техническое училище. Без четверти восемь гудок, длинный-длинный, раздавался над его мастерскими, будил техников. Обычно к этому времени я уже не спал, но еще не вставал. Этот гудок давал знать и мне, что до начала занятий у нас в реальном осталось сорок пять минут. И вот со скрипом и спорами, ссорясь с мамой, трехлетним Валей, нянькой, я поднимался. Завтрак был чистым мучением. Мама в стакан какао выпускала мне сырой желток, растерев его не слишком старательно с сахаром. Непременно туда же попадали частицы белка, плавали сверху стекловидные, отвратительные. Запах сырого яйца сразу угадывался от одного взгляда на это пойло.

Потом я съедал котлету, булку с маслом. Сверх всего этого мама клала в ранец бутылку молока, несмотря на все мои протесты и даже слезы, требуя, чтобы я его выпил на большой перемене.

7 марта

Я оставался правдивым и послушным. Молоко, которое посылала со мною мать, создавало мне целую массу затруднений. Пить его на большой перемене, при всех, значило бы подвергнуться всеобщему посмеянию. Поэтому я тайно до начала уроков забегал в подвал и прятал бутылку в груде строительного мусора. На большой перемене я каждый раз о нем забывал. Только после уроков мчался я в подвал. К этому времени молоко пропитывалось всеми подвальными запахами, главным образом сыростью. Я мог бы его вылить. Кто бы узнал об этом? Но я выполнял мамин приказ добросовестно, проглатывал отвратительный напиток до последнего глоточка, хоть меня и мутило. Придя домой, я не мог обедать, а мама сердилась, беспокоилась и говорила отцу, что мне опять надо впрыскивать мышьяк. Сразу после еды садиться за уроки считалось вредным. И вот я играл во дворе, пока не начинал звонить унылый колокол армянской церкви. Она еще не была достроена. Колокола ее, временные, помещались под навесом маленькой, невысокой деревянной звонницы во дворе. Колокол звонил заунывно, тревожил мою совесть, напоминая о неотвратимых обязанностях ученика реального училища. Но я все откладывал да откладывал свое возвращение домой, пока мощный, низкий мамин голос не раздавался над моей головой: «Женя! Уроки учить!»

8 марта

И я усаживался чаще всего в зале и принимался за уроки. Русский язык давался мне сравнительно легко, хотя первое же задание — выучить наизусть алфавит — я не в состоянии был выполнить. Капризная моя память схватывала то, что производило на меня впечатление. Алфавит же никакого впечатления не произвел на меня, и я его не знаю до сих пор. И грамматические правила заучивал я механически и не верил в них в глубине души. Не верил я ни в падежи, ни в приставки, ни в какие части речи. Я не мог признать, что полные

ловушек и трудностей сведения, преподносимые недружелюбным Чконией, могут иметь какое бы то ни было отношение к языку, которым я говорю и которым написаны мои любимые книги. Язык сам по себе, а грамматика сама по себе. Да и все школьные сведения связаны с враждебным школьным миром, со звонком, классом, уроками, толпой учеников — словом, никакого отношения не имеют к настоящей жизни. Само собой, что это я теперь облекаю в слова довольно, впрочем, ясное чувство тех дней. Но, так или иначе, русский язык я заканчивал самостоятельно. Но вот наступала очередь арифметики. Я открывал задачник, читал задачу раз, другой, третий и принимался ее решать наугад. И начинались беды. Ох! Рубли и копейки не делятся на число аршин проданного сукна, хотя я даже помолился, прежде чем приступить к этому последнему действию. Значит, решал я задачу неправильно. Но в чем ошибка? И я вновь принимался думать, и думал о чем угодно, только не о задаче. Я думать не умел. Не умел сосредоточить и направить внимание. Темнело. Передо мной на столе появлялась свеча, которая еще дальше уводила меня от арифметики. Я раскалял перо и вонзал в белый стеариновый столбик, и он шипел и трещал. Я проделывал каналы для стока стеарина от фитиля до низа подсвечника. Словом, в столовой уже звенели посудой, накрывали к ужину, а задача все не была решена. А мне предстояло еще учить закон божий! «Женя, ужинать!» — звала мама.

9 марта

И я появлялся за столом до того мрачный и виноватый, что мама сразу догадывалась, в чем дело. Хорошо, если она могла решить задачу самостоятельно, но, увы, это случалось не так часто. К математике она была столь же мало склонна, как я. Обычно дело кончалось тем, что за помощью мы обращались к отцу. Не проходило и пяти минут, как я переставал понимать и то немногое, что понимал до сих пор. Моя тупость приводила вспльчивого моего папу в состояние полного бешенства. Он исступленно выкрикивал несложные истины, с помощью которых очень просто решалась моя задача. И я бы понял их, вероятно, говори он тихо и спокойно. После долгих мучений и слез мой ответ сходился, наконец, с ответом учебника.

10 марта

Итак, училище, в которое я так стремился, скоро совсем перестало меня радовать и манить. Русский, арифметика, арифметика, русский — только и отдыхаешь душой на законе божием. В расписании, правда, стояло еще и рисование, но ни разу Чкония не учил нас этому предмету, хотя тетрадки для рисования имелись у всех. Но вот однажды Чкония сказал нам, что завтра урок рисования состоится. «Принесите тетрадку, карандаши, резинку». И это обрадовало меня. Я утром вскочил еще до длинного гудка и приготовил все, что требовал учитель. Веселый, выбежал я в столовую. Все были в сборе. Папа не ушел в больницу. Увидев меня, он сказал: «Можешь не спешить — занятий сегодня не будет». В любой другой день я обрадовался бы этому сообщению, а сегодня чуть не заплакал. Мне трудно теперь понять, чего я ждал от урока рисования, но я так радовался, так мечтал о нем! Я вступил в спор, доказывая, что если бы сегодня был праздник, то в училище нам сообщили бы об этом. Папа, необычно веселый, только посмеивался. Наконец он сказал мне: «Царь дал новые законы, поэтому занятия и отменяются». Будучи уже более грамотным политически, чем прежде, я закричал, плача: «Дал какие-то там законы себе на пользу, а у нас сегодня рисование!» Все засмеялись так необычно для нашего дома весело и дружно, что я вдруг понял: сегодня и в самом деле необыкновенный день.

Наскоро позавтракав, мы вышли из дому и вдруг услышали крики «ура!», музыку. На пустыре против дома Бударного, где обычно бывала ярмарка и кружились карусели, колыхалась огромная толпа. Над толпой развевались флаги, не трехцветные, а невиданные — красные. Кто-то говорил речь.

11 марта

Оратор стоял на каком-то возвышении, далеко в середине толпы, поэтому голос его доносился к нам едва-едва слышно. Но прерывающие его через каждые два слова крики: «Правильно!», «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие!» — объяснили мне все разом лучше любых речей. Едва я увидел и услышал, что делается на площади, как перенесся в новый мир — тревожный, великолепный, праздничный. Я достаточно подслушал, выспросил, угадал за этот год, чтобы верно по-

чувствовать самую суть и весь размах нахлынувших событий. Папа скоро исчез — увел его бледный, вдохновенный старшекласник Клименко и кто-то из тех наших гостей, которых звали по именам, но без отчеств. В толпе я испытал все неудобства маленького роста. Я не видел ораторов. Как я ни подпрыгивал, как ни старался, — кроме чужих спин, ничего я не видел. В остальном же я с глубокой радостью слился с толпой. Я кричал, когда все кричали, хлопал, когда все хлопали. Каким-то чудом я раздобыл тонкий сучковатый обломок доски аршина в полтора длиной и приспособил к нему лоскуток красной материи. В ней недостатка не было — ее отрывали от трехцветных флагов, выставленных у ворот. Скоро толпа с пением «Марсельезы», которую тут я услышал в первый раз в жизни, двинулась с пустыря, мимо армянской церкви к аптеке Горста и оттуда налево, мимо городского сада. У Пушкинского дома снова говорились речи. Трехлетний Валя сидел у мамы на руках, глядел на толпу с флагами, и, как я узнал недавно, это стало самым ранним воспоминанием его жизни. И было что запомнить: солнце, красные флаги, пение, крики, музыка. Возле нашего училища толпа задержалась. На крыше, над самой вывеской «Майкопское Алексеевское реальное училище», развевался трехцветный флаг.

12 марта

Реалист-старшекласник, кажется по фамилии Ковалев, появился возле флага, оторвал от него синие и белые полотнища, и узенький красный флаг забился на ветру. Толпа закричала «ура!». Нечаянно или нарочно, взясь с флагом, Ковалев опрокинул вывеску. Толпа закричала еще громче, еще восторженнее. Реальное училище было названо Алексеевским в честь наследника, и в падении вывески с этим именем все заподозрили нечто многозначительное, намекающее. Когда толпа уже миновала пустырь против больницы, снова заговорили ораторы. На этот раз мне удалось пробраться ближе к трибуне. Маленькая, черненькая, молоденькая, милостивая фельдшерица Анна Ильинична Вейсман, прибежавшая прямо из больницы в белом халате, просто и спокойно, как будто ей часто приходилось говорить с толпой, стоя на ящиках, попросила народ, когда он будет решать свою судьбу в Государственной думе, подумать и о правах женщин. Мы пообещали, крича

и аплодируя. Выступил тут и папа. И он говорил спокойно, вносил ясность во что-то, предлагал поправку к чему-то. И он понравился нам, и ему мы хлопали и кричали: «Правильно!» Как сейчас вижу белую фигурку Анны Ильиничны и высокого моего папу в черном плаще. Правая его рука была на перевязи. Он поранил палец в больнице, ранка не заживала и беспокоила отца. Веселым я его увидел в первый раз после большого промежутка времени в этот необыкновенный день. Назавтра занятия в реальном училище возобновились, но в воздухе, как перед грозой, носилось беспокойство, для нас веселое, для учителей тяжелое. Старшеклассники то и дело устраивали сходки в зале. Отменяли занятия. Чкония пожелтел и еще недружелюбнее и подозрительнее поглядывал на нас, хотя приготовительный класс не бунтовал ни разу. Восстал однажды только я, чему не устаю удивляться до сих пор. Я страшно боялся Чконию, и мой бунт дался мне непросто.

13 марта

Однажды с кем-то из наших знакомых гуляли мы в городском саду. Зашел разговор о некоем мальчике, которого вечно ставили в угол. Мама находилась в своем обычном за последнее время упрямом, бунтовщическом духе. Она с жаром, несколько даже не соответствующим случаю, обрушилась на этот вид наказания. На месте учеников, сказала мама, она никогда не согласилась бы стоять в углу всем на посмеяние. Я выслушал мамины слова спокойно и не сделав как будто из них никакого вывода. Но вот в один несчастный день Чкония, забыл за что, приказал мне идти в угол. Помню отчетливо, что я не был виноват в том проступке, который он мне приписал. Кажется, он утверждал, что я послал кому-то записку. Чкония никогда никаких возражений не принимал. Виноват или нет — ступай в угол, если учитель приказал. И все со слезами или со смущенной улыбкой повиновались ему. А я вдруг, удивляясь впервые в жизни сам себе до той крайней степени, когда собственные слова слышишь как бы со стороны, заявил, что не пойду в угол и все тут. Чкония грозил, требовал, наконец попробовал затащить меня в угол насильно, но ничто не помогло. Я уперся как бык: «Лучше выгоните меня из класса, а в угол не пойду!» — закричал я после упорной борьбы с расшвырявшимся, но и несколько растерявшимся учи-

телем. Не мог же он в самом деле до конца урока стоять возле и держать меня за плечи, затиснувши в угол. Мое предложение давало возможность как-то закончить нелепую борьбу. «Ну и пошел вон!» — приказал Чкония. И я выбежал из класса. Я не плакал. Я был ошеломлен. Я чувствовал, что мне необходимы немедленное сочувствие и помощь. И, оставив в классе ранец и книжки, я отправился прямо домой. Свернув по площади против Горста, я пошел вдоль канавы у забора чибичевского завода. Я все не приходил в себя. Нелепая, как сон, борьба, рукопашная борьба с учителем никак не усваивалась, не достигалась моей душой. Я снова и снова вспоминал, как пытался доказать свою невиновность и как Чкония, не слушая, повторял: «В угол!» — «Подумаешь, король!» — сказал я, глядя в канаву, и почему-то эти слова вдруг развязали мою скованную душу, и я с удовольствием заплакал. Мама выслушала меня и, не упрекнув ни словом, отправилась в училище.

14 марта

Я до ее прихода не читал, не играл. Я лег в кровать и все старался переварить сегодняшние события, причем слова «Подумаешь, король!» помогали каждый раз, как по волшебству, вызывая слезы. Мама вернулась, принесла ранец и сообщила, что Чкония на редкость несимпатичный человек, но, в общем, больше не имеет ко мне претензий. За мой проступок я был наказан удалением из класса, что является наказанием более строгим, чем стояние в углу. Разговаривала она и с моими одноклассниками, которые подтвердили, что я и в самом деле никому записок не писал и пострадал ни за что. Я не почувствовал себя лучше от маминого сообщения. Обедать я отказался. У меня сильно повысилась температура, начался припадок малярии. Когда я через несколько дней явился в класс, меня встретили криком, стуком откидных досок парт, топаньем ног — словом, школьной овацией по всем правилам. Я сначала замер от удивления, потом испытал восторг и улыбнулся столь глупо-самодовольной улыбкой и поклонился так по-дурацки, что овация прекратилась и жизнь пошла своим чередом. И Чкония встретил меня, как всегда. Впрочем, смотрел он на каждого из нас до такой степени недружелюбно, что усилить это выражение он при всем желании не мог бы.



Приближался конец первой четверти. Не могу объяснить почему, но Чкония не раздал нам табели с отметками, а мы должны были зайти в воскресенье в училище, получить их в канцелярии. Я пошел вместе с мамой. Получив отметки, я несколько огорчился. Пятерка была одна — по закону божьему. Четверка по русскому устному. Остальные — тройки. Но, тем не менее весело размахивая табелем, я побежал через дорогу к маме, ожидающей меня на той стороне, сидя на лавочке. При этом я еще вопил весело: «Хорошие, хорошие отметки!» Но, увы, показное мое ликование никак не заразило маму. Она сразу нахмурилась, почувствовала фальшь в моих радостных воплях. Прочла она табель серьезно и печально и сказала: «Нет, Женя, это плохие отметки». Напрасно я спорил, крича и обливаясь потом, что коли двоек нет — значит, все отлично. Мама не согласилась со мною. И в заключение спора сказала печально: «Самая большая радость для матери — это когда дети хорошо учатся».

17 марта

А жизнь становилась все тревожней. В Майкопе газеты не издавались, но кто-то, кажется, типограф Чернов, стал выпускать бюллетени — небольшие узкие полоски бумаги с телеграммами о последних новостях. Эти бюллетени расхватывались и жадно перечитывались. Впервые я заметил в скобках после названия города, откуда передавалась телеграмма, три прописные буквы: «ПТА» — Петербургское телеграфное агентство. Опытных наборщиков и корректоров в городе не существовало, поэтому в бюллетенях попадалось много ошибок. Телеграмма о беспорядках в Феодосии заканчивалась дословно так: «Сгорел подарок городу художника Айвазовского — пожар. По городу картина». Это мне показалось сногсшибательно смешным, и всем гостям я показывал бюллетень с этой опечаткой. Однажды, идя из булочной, услышал я церковное пение. От собора по главной нашей улице, не имеющей, впрочем, названия в те времена, двигалась демонстрация чинная и суровая, совсем не похожая на те, к которым я успел привыкнуть за эти дни. Над толпой развевались трехцветные флаги. В первом ряду две девушки с грустными лицами несли, словно иконы, портреты царя и царицы в золотых рамах. Рядом с ними шагали немо-

лодые, тяжелые люди без шапок. Один из них грозно жестами приказал мне снять фуражку, что я и сделал, ничего не понимая. Дома я узнал, что это демонстрировали черносотенцы, которые были за царя и против свободы. Бюллетени стали рассказывать о еврейских погромах. Пришло страшное известие со станции Кавказской. Параня, молоденькая девушка с длинной косой, племянница библиотекариши Маргариты Ефимовны Грум-Гржимайло, умерла страшной смертью. Ее разорвала толпа черносотенцев, к которым она обратилась с речью. Меня потрясли это известие и слова, что толпа «разорвала». Живого человека! Маргарита Ефимовна вскоре после этого исчезла из Майкопа. Домна приносила с базара слухи один другого страшней. Ввиду малого количества евреев собирались в нашем городе бить еще и докторов, независимо от национальности. Интеллигенцию вообще.

18 марта

Однажды ночью мама разбудила меня и приказала одеваться как можно скорее. Сама она с печальным и озабоченным лицом одевала Валю, который все не мог проснуться и валился на бок. Внизу у дома собрались Данило, Клименко, Федор Николаевич — бородатый человек, недавно появившийся среди таинственных папиных гостей, и еще человек десять, которых я не узнал в темноте. Тут же стоял Франц Иванович. Он выглядел столь же решительным, как в день пожара<sup>97</sup>. Так же мужественно топорщились его седые усы. За пояс он заткнул, словно пистолеты, два молотка. Мы поспешно отправились по улице, мимо Соловьевых, у дома которых тоже стояли, разговаривая тихонько, люди, видимо тоже знакомые, потому что они поздоровались с папой. Пройдя еще квартал, мы вошли в угловой дом, где жили греки, владельцы табачной плантации, фамилию которых я забыл. Тут нас ждали уже. В зале, на покрытых чехлами креслах, устроили спать меня и Валю. Я понимал, что черносотенцы готовятся этой ночью устроить погром. Сердце мое сжималось, но опять, опять в самой глубине наслаждалось тем необычным, небудничным, что творилось этой ночью. Несмотря на это, я уснул мгновенно и крепко. Утром выяснилось, что черносотенцы не вышли этой ночью разбойничать. Возможно, что их известили об охране из рабочих, которая

собралась возле угрожаемых домов. Некоторое время мы жили спокойно. Но вот еврейский погром разразился в Армавире. Скоро стало известно, что главные погромщики, мастера своего дела, прибыли на лошадях в Майкоп и уже пробовали мутить народ на базаре. Точно указывали день предстоящего погрома — ближайшее воскресенье.

19 марта

Однако и это воскресенье прошло благополучно, а тем временем в городе организовались отряды самообороны. Входили в них рабочие, старшеклассники-реалисты, ученики технического училища. Когда темнело, собирались они у нас, веселые, возбужденные. Все, бывало, хохотали, все искали случая для этого. Я не уходил от них. В такие вечера наш стол переносили в зал и раздвигали во всю длину. Самовар доливали всю ночь. Домна уже спала, занимались этим гости, бегали вниз и вверх по лестнице. Реалист Калмыков, не родственник, а только однофамилец владельца игрушечного магазина, и в самом деле похожий на калмыка, был ко мне так милостив, что показал свой револьвер, чистил его при мне. На это мама поглядывала с ужасом, не позволяла мне прикоснуться ни к одному винтику, ни к одной пружинке. Гости яростно сражались в дурака. После одной такой игры спавший на полу Калмыков вдруг сел и, не открывая глаз, закричал, делая энергичные движения руками: «А я тебя козырем, козырем, козырем!» Его долго дразнили после этого происшествия. Думаю, что отряды эти собирались не только у нас, а у всех по очереди, но мне теперь представляется, что каждый вечер проходил так весело, молодо и вместе с тем тревожно. Откуда-то вдруг стали приходиться к нам журналы — цветные, веселые, отчаянные. Отряд самообороны хохотал и ахал. Помню сильное впечатление от известного рисунка — кажется, Добужинского — кукла, кровавое пятно на стене, лужа крови на панели. Папа удивлялся: откуда вдруг появились такие художники? Кто пишет в этих журналах? Где скрывались эти таланты?

20 марта

Но вот будни стали вкрадываться в праздники. Невеселые будни. Однажды, когда уже темнело, увидел я

Федора Николаевича у нас на лестнице. Он шел с перевязанной щекой, закутанный в плед, и я сразу с восторгом понял, что он переодет, скрывается. Отец, заметив меня, изменился в лице и сделал рукою знак, который мог означать только одно: пошел вон отсюда! За ужином он имел жестокость сказать маме: «Плохо, что этот видел Федора Николаевича» — и указал на меня пренебрежительно кистью руки. Я был так оскорблен, что даже не заплакал. Я, душой угадавший самую суть великих событий, развернувшихся вокруг, в глазах отца оставался тем же глупым мальчишкой, что показывал альбом генералу Добротину! Я молча встал из-за стола и ушел рисовать.

21 марта

Итак, события бушевали вокруг, но школьная размеренная жизнь упорно шла своей колеей, особенно в младших классах. Закончилась вторая четверть перед самыми рождественскими каникулами. По традиции, последний день занятий был уже, собственно говоря, праздничным. Учителя, вместо того чтобы проводить урок, читали вслух что-нибудь подходящее к случаю. Так, батюшка прочел нам рассказ Леонида Андреева о мальчике, который попросил ангела с елки, и этот ангел ночью растаял над печкой. Трудно сказать, услышал я этот рассказ в подготовительном классе или годом позже, но, во всяком случае, он связан у меня навеки и прочно с последним днем перед рождественскими каникулами. Батюшка читал просто, чуть певуче и чуть печально. Он и служил, когда приходилось, так же сдержанно, чуть печально и певуче, на свой лад. И рассказ Андреева, прочитанный батюшкой в день, когда душа была открыта всем влияниям, глубоко меня тронул. Начало рассказа, где говорится, как мальчику надоело каждое утро собираться в школу, умываться ледяной водой, сразу покорило своей правдивостью. А поверив началу, мы поверили и всему в целом. Засыпая, я думал о том, как жалко, что ангела повесили над печкой. Повесили бы его на спинку стула, и все кончилось бы хорошо.

22 марта

Как всегда, уже в сочельник вечером был накрыт праздничный стол с окороком, закусками, поросенком,

который на этот раз совсем не казался мне страшным. Коньяк был греческий. На бутылке красовалась треугольная этикетка с надписью: «Он есть лучший греческий когнак братьев Барбаресу». На рождество обеда не готовили к моей величайшей радости. Никто не приказывал доедать борща. Поросенок, ветчина, сардинки — такой обед я доедал без всяких приказаний.

1 апреля

Вся страна, как я понимаю теперь, летом 1906 года еще кипела, но в Майкопе летним полднем было непоколебимо тихо. Все говорило о буднях и наводило на меня тоску. Тоскливее всего казались мне два обычных, привычных, подчеркивающих тишину звука: стук кухонных ножей, рубящих мясо на котлеты, и настойчивые, бесконечные вопли курицы, снесшей яйцо. Будни, будни. На улице — ни души.

2 апреля

Почему? Не знаю, меня злит в доме все: запах борща из кухни, кучерявая белая голова брата, мамин голос. Точно помню, что я сам этому удивлялся, но особая, домашняя, раздражительность охватывала меня, как страсть, я не в силах был ей противиться, едва входил в комнаты. Чаще всего ссоры начинались из-за котлет и молока. В котлетах попадались жилки, а в молоке — пенки. И то и другое вызывало у меня судорогу, отвращение, чуть ли не рвоту. Очень часто, обзавав, не без основания, распущенным мальчишкой, мама выгоняла меня из-за стола. Вообще в нашей неладной семье встречи за столом в те годы редко проходили благополучно. Недаром Валя, когда ему еще и трех лет не было, умел показывать папу за столом. Делал он это следующим образом: ударял кулаком по столу и восклицал: «Молчать, гаять!» После завтрака, если у меня находилась книга, то все было хорошо.

5 апреля

Вот кончается и эта книга, вся зима — с 10 ноября по сегодняшней день. Снова все тает, как в дни, когда я начинал свою первую тетрадь в Кирове, в сорок втором году. С того времени это пятая тетрадь. В первый раз в жизни удалось вести непрерывные записи вот уже десятый месяц. Что получается? Удалось, несомненно,

рассказать кое-что о детстве, о Маршаке, о сегодняшних моих днях — это последнее получается хуже всего. Удалось вот в каком смысле: я впервые записываю все, как было, без всякого умалчивания, по возможности, и ничего не прибавляя...

6 апреля

Иногда я отправлялся во флигель к писарю, о котором старшие говорили с брезгливостью и даже некоторым ужасом, — он был взяточник. Это было нечто в нашем кругу невозможное, подобное черносотенцу. Со мной писарь был приветлив. Голова у него была круглая, стриженная, казачья, смуглое добродушное лицо. Он мне нравился, но в присутствии взяточника я испытывал связанность и неловкость. Да, да, его преступность была несомненна. Получая грошовое жалованье, он с большой своей семьей жил хорошо, лучше нас. Однако любовь к чтению влекла меня даже к такому сомнительному человеку. У писаря в гостиной со столами в плюшевых скатертях, с трюмо, с фикусом стоял и большой книжный шкаф, откуда мне разрешалось брать книги для чтения. Взятчик выписывал много журналов и среди них «Ниву» со всеми приложениями.

Для «Нивы» и приложений он выписывал из издательства переплеты, которые до сих пор я видел только в объявлениях о подписке на этот журнал. Я брал серовато-голубоватый первый том полного собрания сочинений Чехова. Дальше первого тома не шел. Весь наш класс и я тоже обожали смешные рассказы, карикатуры, юмористические журналы. Поэтому я читал и перечитывал только юмористические рассказы Чехова. Брал и самый журнал. Каждый раз писарь делал из газеты обложку, предохраняющую переплет от порчи. Однажды у каких-то знакомых увидел я в зеленом переплете с золотым тиснением сказки Гауфа. Вероятно, это было какое-то старое издание — на шмуцтитуле выступили желтоватые пятнышки. Большой формат, картинки во всю страницу, особый запах редко открываемой книги очаровали меня. С массой предупреждений дали мне эту книжку почитать, и, несмотря на то, что она была незнакома мне, прочел я ее с наслаждением. И ее владельцы, прежде чем дать мне, завернули в газетную обложку. Иной раз, когда совсем нечего было читать, я шел к Иваненко — это была большая семья,

казачья, вероятно, потому что отец припоминается мне в сером бешмете. Там я просил у моей сверстницы Наташи сказки братьев Гримм — растрепанные, без переплета и без первых страниц. Так, добыв где-нибудь книжку, я проводил время до вечера — точнее, до сумерек, когда мы шли гулять с мамой и Валею в городской сад. И непременно где-нибудь, или у Пушкинского дома, или в раковине в саду, играла музыка, тревожившая мою душу. Так и шли дни за днями тихо-тихо, почти без происшествий. Если Майкоп в полдень с криком кур и стуком ножей внушал мне уныние, то особенная, воскресная, тоска просто оглушала меня. Почему? Теперь мне трудно понять. Конфетти, затоптанные в песок городского сада. Пыль. Майкопское мещанство — мужья в картузах, жены в шляпах, детишки в штанах с разрезом сзади. Важные, осуждающие мещане. Пьяные. Драки у пивной. Не могу поймать, что именно мучило меня.

20 апреля

В конце августа 1906 года отправился я в первый класс. Шел я в училище охотно. Я забыл все неприятности. Я знал, что больше не встречу с Чконией. Я знал, что теперь у нас будет несколько учителей. Удивило меня то, что в классе оказалось вдвое больше учеников, чем в прошлом году. Это все были мальчики, поступившие прямо в первый класс...

В первый же день в дверях нашего класса появился живой, полный человек, чем-то похожий на Наполеона. Одет он был в учительский вицмундир, но казался одетым лучше остальных. Манжеты его были белоснежны. От него чуть-чуть пахло духами. Впрочем, все это мы заметили позже. При первой же встрече мы несколько растерялись. Новый учитель вошел быстро. За ним длинный гардеробщик Иван тащил стойку с делениями и с подвижной дощечкой, назначения которой мы не поняли. «Das ist das Fenster!»<sup>98</sup> — крикнул учитель металлическим тенором еще в дверях. «Das ist die Wand!»<sup>99</sup> — и не успели мы опомниться, как урок уже пошел полным ходом. Новый учитель не стоял на месте и не умолкал ни на одну минуту. Тон, взятый им — повелительный, а вместе с тем и веселый, — покори нас. Мы и смеялись, и выполняли все приказания учителя, и к концу урока знали несколько слов по-немецки.

А после урока учитель подвел нас к непонятной стойке и измерил рост каждого из нас.

21 апреля

Измерив рост, учитель рассадил нас по-новому и, попрощавшись весело, ушел. Так мы познакомились с новым учителем немецкого языка и нашим классным наставником. Звали его Бернгард Иванович Клемпнер. Он вел нас от первого класса до окончания училища. Это был блестяще остроумный, глубоко образованный, необыкновенный, своеобразный человек. Мало кто влиял на меня так сильно, как Бернгард Иванович. Мало кого я так искренне любил. На это он отвечал мне самой искренней неприязнью. Он, человек справедливый и никак не придирчивый, со мною бывал — правда, очень редко — и несправедливым, и придирчивым. И до сих пор, когда я вижу его во сне, со мною он разговаривает подчеркнуто холодно и неохотно. Впрочем, началось все это позже, а пока мы всем классом влюбились в нового учителя и он был ровен со всеми нами. Мы узнали вскоре, что Бернгард Иванович — состоятельный человек, московский адвокат, бросивший по каким-то загадочным причинам Москву и приехавший учителем немецкого языка в глухой северокавказский городишко. Только недавно Наташа Соловьева рассказала, что, по словам его брата, он резко перевернул свою жизнь, когда невеста вдруг ушла от него к его другу. Так ли это? Не знаю. Во всяком случае, таинственность появления только увеличивала нашу склонность к нему. Поселившись у некоей Медведевой, сдающей комнаты с пансионом, он перевез к себе пианино и играл не по-майкопски долго и звучно. Как мы узнали вскоре, он кончил Московскую консерваторию. В этот первый год своего пребывания у нас он сильно пил и вел в клубе большую карточную игру. Однако не было случая, чтобы он пропустил у нас урок. Всегда в форме, чуть пахнувший духами, он весело и повелительно входил в класс и ухитрялся вести уроки так, что казалось, будто ты читаешь интереснейшую книжку. У него была та редкая, заражающая, почти безумная веселость, которая помогла мне впоследствии понять иронические, алогические прыжки фантазии лучших из романтиков. Нас он чаще всего называл «капустики» или «петухи». «Путч-перепутч!» — кри-



чал он, получая неправильный ответ. Он рассказывал нам сказки о слабых и сильных глаголах.

22 апреля

Бернгард Иванович, при всей своей веселости, не терял той властности, о которой я уже дважды говорил. Она была не менее заметна во всем его существе, чем его веселость. Он всем своим существом показывал, что настолько силен, что может позволить себе в классе любую вольность, ничего не теряя в нашем уважении. Говоря о нем, нельзя не подчеркивать этой второй его сущности, и вместе с тем он был совершенно противоположен властному Чконию, а мы слушались его не меньше. Однажды заболел Фарфоровский, учитель истории в старших классах. У нас был свободный урок. Проходя по коридору, я услышал знакомый тенор за дверью в седьмой класс. Бернгард Иванович давал урок истории. Я встал у двери и слушал. Он говорил, как всегда, горячо, весело и понятно. В седьмом классе притихли. Заслушались. Он рассказывал о Смутном времени. Кончив урок, он заметил меня в коридоре и спросил: «Какие новости?» Я признался, что слушал его и понял, что Смутное время — та же революция. Бернгард Иванович расхохотался и погладил меня по голове. С этого началась наша столь непродолжительная дружба.

26 апреля

И вот пришел конец первой четверти. Бернгард Иванович на последнем уроке появился с нашими табелями. Весело и наставительно подвел он итоги нашим успехам и неудачам, а затем стал раздавать четвертные отметки, пожимая руки лучшим ученикам. Каково же было мое удивление, когда я оказался чуть ли не вторым учеником в классе! У меня оказалась одна тройка по рисованию, двойка по чистописанию, о которой вообще и говорить-то не стоило. Удивление мамы, недоверчивая усмешка папы — вот чудеса-то!

5 мая

По субботам полагалось сдавать дневники Бернгарду Ивановичу, а в понедельник он возвращал их нам с отметками за неделю. В одну из суббот я забыл дневник. Забыл его и Камрас. Бернгард Иванович приказал нам принести дневники ему домой в воскресенье утром...

И завязался интереснейший разговор обо всем: о школе, о Москве, о книжках и даже об эсерах и эсдеках. Бернгард Иванович спросил у меня, какая между ними разница, и остался доволен, когда я в общем верно определил ее. И в заключение произошло чудо. Бернгард Иванович сыграл и спел нам целую оперу «Фра-Дьяволо» 100. У него был клавир. Мы, замерев, стояли один по правую, другой по левую сторону пианиста. Играл, пел и рассказывал содержание оперы Бернгард Иванович так же горячо, как вел уроки в классе. Один раз он даже больно ударил меня кулаком по руке, которую я нечаянно держал на самых басах, думая, вероятно, что они пианисту не понадобятся. Но в это время Бернгард Иванович добивался фортиссимо всего оркестра, и мне попало, на что увлекшийся музыкант не обратил никакого внимания. Капельки пота выступали на лбу его, высоком и белом.

6 мая

Очарованные вернулись мы домой. Увидев, с какой жадностью слушаю я музыку, Бернгард Иванович предложил мне учиться у него играть на рояле. Для начала он показал, как расположены ноты в басовом и скрипичном ключе, и объяснил то, чего я не заметил, глядя на его маленькие, энергичные руки, бегающие по клавишам. Я был уверен, что правая и левая играют одно и то же, и очень удивился, узнав, что каждая рука играет свое. Когда я прибежал домой и рассказал за обедом, что буду учиться у Бернгарда Ивановича музыке, папа пренебрежительно усмехнулся. Ведь у меня не было музыкального слуха. Наши восторженные рассказы привели к тому, что в следующее воскресенье к Бернгарду Ивановичу пришло в гости уже человек шесть первоклассников. И снова, как это случалось потом много-много раз, стоял я возле рояля, а Бернгард Иванович пел, играл и рассказывал одну из классических опер.

7 мая

В это время любители ставили пьесу, которая называлась «Благо народа» 101. Папа играл в ней главную роль. Пьеса эта (кажется, переведенная с немецкого) была, если я не ошибаюсь, издана в тоненьких желтеньких книжечках «Универсальной библиотеки». Следо-

вательно, она славилась в те времена. А может быть, это была классическая пьеса? Не могу вспомнить, что о ней говорили взрослые и фамилию автора. Действие разыгрывалось в Лидии, у царя Креза, в то время, когда гостил у него Солон. Какой-то юноша изобретал хлеб, но не мог (кажется, так) дать его голодной толпе в нужном количестве, за что народ едва не убивал его. Крез и Солон, по соображениям, видимо, очень высоким, но в те времена недоступным мне, отравляли изобретателя. Чашу с ядом подносила юноше его невеста, дочь Креза, не зная, что отравляет жениха. Ставили пьесу долго, добросовестно, как в Художественном театре. Папа, придя домой из больницы, пообедав и поспав, надевал тунику, тогу красного цвета, сандалии, чтобы привыкнуть носить античную одежду естественно. Он репетировал свою роль перед зеркалом, стараясь двигаться пластически. И тут я впервые окунулся в неведомый нам, реалистам, классический мир. На некоторое время моя любовь к доисторическим временам и рыцарским замкам была отодвинута. Как мечтал я о спектакле, на который меня обещали взять! И вот, когда уже афиши были расклеены по городу, я заболел ангиной. Спектакль имел огромный успех. Весь город был в театре. И к величайшему счастью моему, «Благо народа» решили сыграть еще раз. Не в пример первым афишам, большим, на тумбах и заборах появились афиши-крошки, в тетрадочный лист. Они сообщали, что спектакль будет повторен, так незаметно и скромно, что я стал беспокоиться, прочтут ли их. Поэтому — или по случаю дурной погоды — народу и в самом деле собралось очень, очень немного.

9 мая

Итак, в дождь и грязь, перебравшись через площадь против дома Соловьевых, мимо городского сада, полный праздничных предчувствий, пришел я с мамой в Пушкинский дом. Сердце мое дрогнуло, когда я увидел освещенный, но угрожающе пустой зал. Однако со свойственным мне оптимизмом, которым сменяются дурные предчувствия, когда беда и в самом деле начинает грозить, я объяснил пустоту зала тем, что еще рано. Пройдя через белую дверцу из единственной (кажется) ложи над оркестром, мы вошли в узкий проход между стеной и уходящей высоко вверх декорацией.

Я взглянул на колосники, и у меня закружилась голова. В квадратном актерском фойе, влево от сцены, куда мы спустились по деревянным ступенькам, собрались люди в тогах и латах. Яков Власьевич Шаповалов разгуливал в вышитой тунике и поблескивал очками. Осмотревшись и прислушавшись, я испытал такой ужас, такое отчаянье до слез, до замиранья внизу живота. Выяснилось, что сбор так мал, что не оправдывает вечерового расхода. Спектакль надо отменять. Папа стоял, улыбаясь, как будто не понимая, в каком я отчаянье, и поддерживал предложение отменить спектакль. Но вдруг на верхних ступеньках лестницы, ведущей на сцену, появился рослый Селивановский<sup>102</sup> в шлеме и латах. Он обратился к собравшимся с краткой речью. Селивановский сказал, что он уполномочен группой участников спектакля предложить следующее: сложиться и внести те тридцать рублей, которых не хватает на оправдание расходов. Хочется поиграть! «Я лично, — сказал Селивановский, положив руки на сияющую золотом грудь, — вношу пять рублей. Надеюсь, что вы со мною согласитесь». К моей величайшей радости, предложение Селивановского было охотно принято. Всем, видимо, хотелось поиграть. Деньги были собраны, зазвонил звонок, мы с мамой заняли места в полупустом зале.

10 мая

В оркестровой яме у ног Пушкина, осыпаемого морскими брызгами, крупными, как виноград, заиграл оркестр под управлением Рабиновича. Как теперь я понимаю, главная доля вечерового расхода падала на музыкантов. Оркестр гремел, пока по занавесу кто-то не постучал кулаком изнутри, отчего он весь заколебался снизу доверху. Это служило оркестру знаком, что пора кончать. Закончив музыкальную фразу, Рабинович опустил черную деревянную трубу, на которой играл, и повелительным жестом оборвал музыку. Стало тихо. Кто-то поглядел со сцены в дырочку, проделанную среди волн, изображенных на занавесе. Это я заметил потому, что дырочка, до сих пор светившаяся, потемнела и за нею блеснул раз-другой чей-то глаз. Публика покашливала, и я сам удивился, как отчетливо я отличил мамин кашель. Она села далеко позади — вероятно, для того, чтобы не смущать знакомых актеров. В те вре-

мена в Пушкинском доме освещение было керосиновое и поэтому свет в зрительном зале не гасили, актеры видели ясно знакомых. И вот, наконец, занавес дрогнул и взвился под потолок. Новая моя любовь — Древняя Греция — поглотила меня с головой. И не только меня. Отчаянные майкопские парни, наполнявшие галерку, и случайно забредшие обыватели, разбросанные по партеру, смотрели на Креза, Солона, бедного изобретателя и прочих эллинов с величайшим вниманием и волнением. Так же, как и я, не разбирали они, кто как играет. Но зато, когда жена зубного врача Круликовского, исполнявшая роль дочери Креза, протянула кубок с ядом моему папе, с галерки крикнул кто-то сдавленным, неуверенным голосом, словно во сне: «Не пей!» «Не пей!» — поддержали его в партере. После окончания спектакля актеров долго вызывали, и я хлопал, стучал ногами и кричал чуть ли не громче всех.

13 мая

А в городе и в стране тем временем спокойная жизнь не хотела налаживаться, да и все тут. Помню отчетливо разговоры о роспуске Первой Государственной думы, о Выборгском воззвании, над которым папа посмеивался. Убийство Герценштейна, доктор Дубровин, Союз русского народа, погромы — вот обычные темы разговоров<sup>103</sup>...

И вот пришло лето. На последнем уроке Бернгард Иванович раздал нам табели, пожал руку лучшим ученикам, и мне в том числе, поздравил с переходом во второй класс и простился с нами до осени...

В это лето папа стал сотрудничать в газете «Кубанский край», подписываясь псевдонимом «Не тот». Коротенькие заметки его мама читала с неопределенным, скорее осуждающим выражением, и мне они тоже поэтому казались какими-то не такими.

14 мая

Папа вскоре взял на себя представительство по распространению «Кубанского края» в Майкопе. Для продажи газеты подрядили Якова. Ему дали кожаную сумку, пятьдесят номеров газеты и отправили торговать. Он должен был получать копейку с каждого проданного номера. Ушел Яков утром, а вернулся к вечеру, растерянный и даже похудевший. За весь день он продал всего девять эк-

земляров «Кубанского края». Старшие огорчились. Материально папа не был заинтересован в этом деле, но ему было неловко перед редактором, его знакомым. Взялся по его просьбе за распространение газеты — и вот что вышло. Но дня через два все наладилось. Не знаю, кто надумил старших поручить продажу газет уличным мальчишкам. Одному из них дали на пробу десять экземпляров. Через полчаса он примчался весь в поту и завопил: «Давайте еще! Все продал!» С помощью этих газетчиков дело пошло. Они за день обегали весь город, и майкопцы узнавали о событиях, потрясавших страну.

21 мая

К этому времени стала замирать моя любовь к девочке из цирка и я почти влюбился в Милочку Крачковскую. Надо сказать, что я с первой встречи на лугу за городским садом относился к этой девочке особенно. Я тогда не умел еще влюбляться, но отличал ее от всех. Таким образом, я не то что влюбился, а старое чувство стало ясней. Я любовался на нее с глубоким благоговением.

28 мая

При каждой встрече с Милочкой я любовался ею с таким благоговением и робостью, что и подумать не смел заговорить с нею или хотя бы поздороваться. У Варвары Михайловны (так звали мать Милочки) с моей мамой не завязалось знакомства. Однажды мы, гуляя, встретили все семейство Крачковских. Старшие разговорились, а я не мог сказать ни слова Милочке. А она и не думала обо мне, она сидела, строгая, размышляла о чем-то своем, глядела прямо перед собою своими огромными серо-голубыми глазами. Ее каштановые волосы сияли, словно ореол, над прямым лбом, две косы лежали на спине. Сколько раз, сколько лет все это меня восхищало, и мучило, и до сих пор снится во сне.

29 мая

Теперь я должен рассказать нечто, до сих пор таинственное для меня. Никогда в жизни я больше не переживал ничего подобного. Было это зимой, когда я учился во втором классе. Я шел из училища и встретил Милочку. Обычно я поглядывал на нее украдкой, а она и вовсе не смотрела на меня. Но тут я нечаянно взглянул прямо в ее прекрасные серо-голубые глаза. Мы

встретились взглядами. И что-то мягко, но сильно ударило меня, потрясло с ног до головы. И мне почудилось, что и она остановилась на миг, точно в испуге. И глаза Милочки, точно я поглядел на солнце, остались в моих глазах. Я видел ее глаза, глядя на снег, на белые стены домов. Несколько лет спустя я спросил Милочку, помнит ли она эту встречу и пережила ли она что-нибудь подобное тому потрясению, которое я испытал. Она сказала, что не помнит ничего похожего. Причастие, разлившееся теплом по всем жилочкам, и этот мягкий, но сильный удар, глаза, отпечатавшиеся в моих, — вот чего я не переживал больше никогда в жизни.

12 июня

На большой улице, куда ты попадал, пройдя армянскую церковь и свернув направо, открылся постоянный синематограф, или кинематограф, братьев Берберовых. Только назывался он «электробиограф». Об этом сообщали две длинные, окаймленные электрическими лампочками вывески, буквы на которых шли сверху вниз. Висели эти вывески вдоль дверей, обычных, какие ведут в самые простые обывательские квартиры. Но, войдя в эти двери и поднявшись во второй этаж, ты оказывался у кассы. К моему удивлению, в электробиографе первые ряды стоили дешевле дальних и назывались третьи места. Они отделены были от вторых и первых барьером. Реалисты платили за билет на третьи места двадцать копеек. Получив в кассе билет и программу, ты проходил в узкое фойе, где и ждал начала сеанса. В те годы на вторых сеансах я не бывал. Добыв заранее деньги на билет, я долго ждал, когда же, наконец, застучит мотор, приводящий в действие динамо-машину электробиографа. Электричества городского тогда не существовало, и бр. Берберовым приходилось добывать его своими силами. Услышав шум мотора, я шел мимо армянской церкви и, остановившись на углу, ждал, когда нальются светом лампочки, окаймляющие вывески.

13 июня

Душевное движение, вызываемое видом электрических лампочек, горящих на улице при дневном свете, оказалось очень долговечным. На этих днях я шел по Комарову. Чинилась линия. И вот — было это, примерно, часа в три, и солнце сияло вовсю — вспыхнули на высоких

столбах уличные фонари. И разом, не успев понять почему, ощутил я радость, точнее, предчувствие радости. И только через несколько мгновений понял я, что предчувствую начало сеанса в электробиографе братьев Берберовых. Обычно сеанс этот состоял из трех частей. В коротеньких антрактах между ними открывались двери и в зал впускали непонятных мне людей, позволивших себе опоздать к началу. Пропущенную часть программы опоздавшие имели право досматривать во втором сеансе. Три части заключали в себе видовую или научную картины, драму и комическую. Иной раз добавлялась и феерия, действие которой разыгрывалось чаще всего или на луне, или в подводном царстве. Феерии были почти всегда цветными. Когда я смотрю теперь цветные кинофильмы, то вспоминаю феерии, которые не очень любил в свое время, как теперь недолюбиваю их сине-голубых и малиново-сизых внучатных племянников. Книги, прочитанные в те годы, я могу рассказать и сейчас, даже те, которые впоследствии не перечитывал. (Например, «Руламан».) Разумеется, я говорю о любимых книгах. Могу рассказать я и пьесы, которые видел тогда. Например, «Благо народа» или «Суету»<sup>104</sup>, которую смотрел в мало-российской труппе Гайдамаки и Колесниченко. В подробностях могу припомнить и «Сорочинскую ярмарку», исполненную там же.

24 июня

Сегодня ровно год, как я решил взять себя в руки, работать ежедневно и, уж во всяком случае, во что бы то ни стало вести записи в своих тетрадах, не пропуская ни одного дня, невзирая ни на болезнь, ни на усталость, ни на какие затруднения. Впервые за всю мою жизнь мне удалось придерживаться этого правила целый год подряд. И я доволен и благодарен... Я стал записывать о своем детстве все, что помню, ничего не скрывая и, во всяком случае, ничего не прибавляя. Пока что мне удалось рассказать о себе такие вещи, о которых всю жизнь я молчал. И как будто мне чуть-чуть удалось писать натуру, чего я никак не умел делать.

3 июля

В то майкопское лето я прочел впервые в жизни «Отверженных» Гюго. Книга сразу взяла меня за сердце. Читал я ее в соловьевском саду, влево от главной аллеи,



расстелив плед под вишнями; читал, не отрываясь, доходя до одури, до тумана в голове. Больше всех восхищали меня Жан Вальжан и Гаврош. Когда я перелистывал последний том книги, мне показалось почему-то, что Гаврош действует и в самом конце романа. Поэтому я спокойно читал, как он под выстрелами снимал патронташи с убитых солдат, распевая песенку с рефреном «...по милости Вольтера» и «...по милости Руссо». К тому времени я знал эти имена. Откуда? Не помню, как не помню, откуда узнал некогда названия букв. Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело, — и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это, как настоящее несчастье. «Дурак, дурак», — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша.

5 июля

Я прочел впервые в жизни томик рассказов о Шерлоке Холмсе и вдруг полюбил его отчаянно, больше «Отверженных». С месяц я думал только о нем. У Соловьевых в саду стоял тополь, на котором, усевшись между тремя ветвями, идущими круто вверх, скрывшись в листьях, я читал и перечитывал Холмса.

9 июля

Именно в то лето стало появляться у меня смутное предчувствие счастья — вечный спутник моей жизни. Вспыхнув, это предчувствие озарило все, как солнце, выглянувшее из-за туч. Я в то лето полюбил, встав рано, едва взойдет солнце, идти купаться на Белую. В этот час предчувствие счастья всегда сопровождало меня. Вызвав свистом своего невидимого коня, я ехал не спеша к деревянной лестнице над водокачкой и спускался в лесок вниз. На улицах было еще пусто, а в леске и вовсе безлюдно. Я раздевался под кустами у речного рукава, который любил и тогда. В то лето я научился плавать.

1 августа

В третьем же, кажется, классе я писал пересказ поэмы Майкова «Емшан». И в середине этой работы меня

вдруг осенила мысль, что я могу писать и не обычным школьным языком. И я написал картинно («Но что это? Гордый князь бледнеет...» и так далее). Харламов<sup>105</sup> предложил мне прочесть пересказ вслух и похвалил меня. Он сказал: «Лучшие пересказы у Шварца и Истаманова. У Шварца поэтический, а у Истаманова — деловой». После этого Харламов занялся синтаксическим разбором одного из предложений моего пересказа, и я был поражен и польщен, когда вызванный мой одноклассник обнаружил в предложении этом «обстоятельство образа действия» и еще неведомо сколько вещей. А я писал и не думал об этом. Весть об успехе пересказа разнеслась по училищу. Меня с неделю дразнили «красноносый поэт», а потом забыли об этом.

2 августа

К этому времени Бернгард Иванович меня совсем уже не выносил, обходил взглядом, рассказывая что-нибудь классу, одергивал нетерпеливо, когда я отвечал урок. После успеха моего пересказа он подошел ко мне в коридоре, обнял ласково и спросил: «Ты, говорят, написал хорошее сочинение. О чем?» После такого вопроса я не в силах был ответить, что написал всего лишь пересказ. И я пробормотал, что сочинение было на тему о любви к отечеству. Не успел я договорить: «и о народной гордости», как Бернгард Иванович с недовольным лицом отошел от меня. Он ведь знал, что в третьем классе не пишут сочинений. «Емшан» действительно рассказывал о любви хана к родным степям, но это не давало мне права говорить, что я написал сочинение, рассказывая поэму. Сам же учитель сказал «сочинение» в смысле условном. Таким образом отношения мои с Бернгардом Ивановичем еще ухудшились. Он все жил в армянском семействе недалеко от нас. Он познакомился со всей интеллигенцией города, но ни с кем не сошелся близко, ни у кого не бывал...

14 августа

Шмелев<sup>106</sup> был первый писатель, которого я увидел в своей жизни. Я немедленно потерял и ту небольшую долю рассудка, которой обладал в те времена. Я не спустил с него глаз. И все лето выставлялся перед ним самым отвратительным образом. То я читал наизусть пародии Измайлова, которые тогда были очень в ходу.

То острил. То кувыркался. То орал. И сейчас стыдно вспомнить.

15 августа

Иногда я вел себя, желая выставиться, совсем уже непонятно. В то время было много разговоров о знаменитом гипнотизере Фельдмане. И вот, купаясь, и дурачась, и выставляясь, я крикнул одному из кадетиков: «Я тебя загипнотизировал! Недаром моя фамилия — Фельдман». Шмелев усмехнулся, и я был этим совершенно ошарашен. Потом мне стало несколько стыдно. Особенно когда приятели мои спросили по пути домой: «Значит, ты Фельдман?» И я никак не мог объяснить им, что заставило меня так глупо соврать. Каждый вечер, сидя на пристани, в самом конце, недалеко от маяка, Шмелев ловил рыбу принятым на Черном море способом — на веревочной леске с грузилом. В конце лески наживлялось криветками пять-шесть крючков. Размахивая грузилом над головой, снасть эту забрасывали насколько хватало лески в море. Конец ее держали на пальце, чтобы почувствовать, когда рыба клюнет, и подсечь ее. Шмелева сопровождал постоянно молодой грек, нечто вроде его комиссионера. Одет он был, как все греки, чуть-чуть слишком изящно, но был тих и столь же молчалив, как его хозяин. Мы обычно сидели возле, наблюдали за рыболовом. Однажды Шмелев подсек невидимую добычу сильным движением, вскочил и, напряженно перебирая руками, потянул туго натянувшуюся леску из воды. И мы увидели в зеленоватоголубой воде очень крупную рыбу, фунтов на восемь. Дрожащими руками Шмелев схватил сачок и с помощью своего грека вытянул рыбу на мол. Называлась эта рыба горбыль или горбуль. Грек сказал, что первый раз в жизни видит, чтобы такую рыбу поймали на крючок. И я подумал: «Это счастье далось Шмелеву, потому что он писатель». В судьбе Шмелева в эти годы назревал поворот к счастью. Он вдруг нашел свою дорогу. Через два-три года повесть его «Человек из ресторана» имела настоящий успех. И рассказы Шмелева стали очень хороши. Помню напечатанный во время войны пророческий рассказ о спекулянте, который из-за аварии машины попал со своей дамой в крестьянскую избу. Страшное напряжение приводило к взрыву, он угадал и показал.

16 августа

Вторым знаменитым человеком в Туапсе был пианист Игумнов<sup>107</sup>, тогда еще молодой человек. Он жил еще выше нас, на горе, и я часто видел его длинную фигуру и длинное задумчивое лицо, когда он с длинной тростью, скорее с посохом, раздвоенным на конце, словно жало, спускался к морю. О нем рассказывали, что студенты попросили его участвовать в их благотворительном вечере, а он отказал, сказав, что если он согласится играть у одних, то его сразу начнут просить все, а ему необходимо отдохнуть. Это я понял так: игра Игумнова столь волшебна прекрасна, что, услышав ее однажды, все захотят, чтобы он играл еще и еще.

19 августа

Сижу я у моря. Волна за волной,  
 Со стоном ударив о берег крутой,  
 Назад отступает и снова спешит  
 И будто какую-то сказку твердит.  
 И чудится мне, говорит не волна —  
 Морская царица поднялась со дна.  
 Зовет меня, манит, так чудно поет,  
 С собой увлекает на зеркало вод.

Дальше забыл. Почему я стал писать именно эти стихи? Почему взбрела мне в голову морская царица? Откуда я взял этот размер, эти слова? Не знаю теперь, как не знал и не понимал тогда. Я чувствовал страстное желание писать стихи, а какие и о чем, — все равно. И я писал, сам удивляясь тому, как легко у меня они выливаются и складываются, да еще при этом образуется какой-то смысл. Любопытно, что в те годы к стихам я был равнодушен. Не помню ни одного, которое нравилось бы мне, в которое я влюбился бы или хотя бы просто запомнил его. Но, так или иначе, решив стать писателем в семилетнем, примерно, возрасте, я через пять лет написал стихи, движимый неудержимым желанием писать. Все равно о чем и все равно как. Я стал писать не потому, что меня поразила форма какого-то произведения, а из неудержимой, загадочной жажды писать. И это определило очень многое в дальнейшей моей судьбе. Хотя бы то, что я очень долго глубоко стыдился того, что пишу стихи.

20 августа

Несмотря на рыбную ловлю, море, порт, купанье, встречу со Шмелевым, стихи, я в последние дни стал скучать по Майкопу и стремиться вон из Туапсе. Помню, как я поднял коробочку, валявшуюся в палисаднике нашего домика. Мне стало жалко эту коробочку: мы уедем, а она останется, бедняга, в этом чужом городе.

29 августа

Начались занятия. Движение в сторону некоторого просвета продолжалось. Я стал учиться несколько лучше, но высоты, которую занимал в первом-втором классе, так и не достиг. Товарищи относились теперь ко мне как к равному. Я тщательно скрывал, что пишу стихи, но меня упорно считали поэтом и будущим писателем, неизвестно почему.

7 сентября

К музыке девочки Соловьевы относились не просто, она их трогала глубоко. Играть на рояле — это было совсем не то что готовить другие уроки. Они договорились с Марьей Гавриловной Петрожицкой, что они будут проходить с ней разные вещи, и это свято соблюдалось, сколько я помню, до самого конца, с детства до юности. Варю нельзя было попросить сыграть Четырнадцатую сонату Бетховена, а Наташу — Седьмую. «Григген» Шумана играла Леля. Так же делились и шопеновские вальсы. Впервые я полюбил «Жаворонка» Глинки в Лелином исполнении. Потом шопеновский вальс (как будто opus 59). Потом «Венецианского гондольера» Мендельсона. Потом «Времена года» Чайковского. «Патетическую сонату», кажется, тоже играла Варя, и я вдруг понял ее. От детства до юности почти каждый вечер слушал я Бетховена, Шумана, Шопена, реже — Моцарта. Глинку и Чайковского больше пели, чем играли. Потом равное с ними место занял Бах. И есть некоторые пьесы этих композиторов, которые разом переносят меня в Майкоп, особенно когда играют их дети.

8 сентября

Строгая, неразговорчивая, загадочная Милочка держалась просто и дружелюбно со мной, и тем не ме-

нее я боялся ее, точнее — благоговел перед ней. Я долго не осмеливался называть ее Милочкой, — так утрашающе ласково звучало это имя. На вечерах я подходил к ней не сразу, но, правда, потом уж не отходил, пока не раздавались звуки последнего марша. Я научился так рассчитывать время, чтобы встречать Милочку, когда она шла в гимназию. Была она хорошей ученицей, первой в классе, никогда не опаздывала, перестал опаздывать и я. Иногда Милочка здоровалась со мной приветливо, иной раз невнимательно, как бы думая о другом, то дружески, а вдруг — как с малознакомым. Может быть, мне чудились все эти особенности выражений, — но от них зависел иной раз весь мой день. В те годы я был склонен к печали. Радость от Милочкиной приветливости легко омрачалась — то мне казалось, что мне только почудилась в ее взгляде ласка, то в улыбке ее чудилась насмешка. Положение усложнялось еще и тем, что в училище я обычно шел теперь вместе с Матюшкой.<sup>108</sup> Часто, хотя он с Милочкой был знаком мало, я относил ее приветливость тому, что со мной Матюшка. Любопытно, что Милочка как-то сказала мне уже значительно позже: «Ты часто так сердито со мной здоровался, что я огорчалась». И я ужасно этому удивился. Что-то новое вошло в мою жизнь. Вошло властно. Все мои прежние влюбленности рядом с этой казались ничтожными. Я догадался, что, в сущности, любил Милочку всегда, начиная с первой встречи, когда мы собирали цветы за городским садом, — вот почему и произошло чудо, когда я встретился с ней глазами. Пришла моя первая любовь. С четвертого класса я стал больше походить на человека. В толстой клеенчатой тетради я пробовал писать стихи... Но в стихах моих не было ни слова о Милочке. Никому я не говорил о ней.

21 сентября

Если первые школьные годы я ничего не приобретал, а только терял, то за последний 1909/10 год я все-таки разбогател. Как появляются новые знания: знание нот, знание языка, — у меня появились новые чувства: чувство моря, чувство гор, чувство лесных пространств, чувство длинной дороги. И чувства эти, овладевая мной, переделывали на время своего владычества и меня целиком...

15 октября

К четвертому классу отступило увлечение каменным веком. «Руламан» стал воспоминанием прошлого. На первое место вышел Уэллс. «Борьба миров», «Машина для передвижения во времени» — вот два первых романа Уэллса, которые мы прочли. В первом — поразили космические впечатления, уже сильно подготовленные тем летом, когда впервые с помощью Сергея Соколова<sup>109</sup> я увидел лунный ландшафт. И еще более — ощущение, похожее на предчувствие, которое возникало, когда в мирную и тихую жизнь вдруг врываются марсиане. Одно время мне казалось, что Уэллс, вероятно, последний пророк. Бог послал его на землю в виде английского мещанина, сына горничной, приказчика, самоучки. Но в своего бога, в прогресс, машину, точные науки, он верил именно так, как подобает пророку. И холодноватым языком конца прошлого века он стал пророчествовать. Снобы не узнали его. Не принимали его всерьез и социологи, и ученые. Но он пророчествовал. И слушали его, как и всякого пророка, не слишком внимательно. А он предсказал нечто более трудное, чем события. Он описал быт, который воцарится, когда придут события. Он в тихие девяностые годы описал эвакуацию Лондона так, как могли это вообразить себе очевидцы исхода из Валенсии или Парижа.<sup>110</sup> Он описал мосты, забитые беженцами, задерживающими продвижение войск. Он описал бандитов, которые грабят бегущих.

17 октября

То, что мы проходили наших классиков в качестве обязательного предмета в школе, мешало нам понимать их. И я помню, что с наслаждением читал в хрестоматии отрывки, которые предстояло проходить, и они же теряли всю свою прелесть, когда учитель добирался до них. Но в четвертом классе это ощущалось уже менее резко. И вот я вдруг полюбил Гоголя. Но как бы со страхом. Так любят старших. Уэллс, Конан Дойль были товарищи детства. А в Гоголе я уже тогда смутно чувствовал божественную силу. Пушкина — не понимал по глупости... Диккенса я еще не успел полюбить, кроме разве «Пиквикского клуба» в гениальном переводе Введенского. И кроме вышеперечисленного я читал все, все, что попадалось. От переплетенных комплектов старых журналов (и среди них «Ниву» за 1899 год, где бы-

ло напечатано «Воскресение» Толстого с иллюстрациями Пастернака, которые восхищали меня). И вот я решил прочесть «Войну и мир». И эта книга внесла нечто необыкновенно здоровое во всю путаницу понятий, в которой я тонул. И при этом я не боялся ее, как «Мертвых душ». Эта глыба была насквозь ясна, и герои «Войны и мира» были мне близки без всяких опасений насчет того, что они старше. Если бы удалось мне припомнить, что я пропускал, а что поглощал с жадностью при всех бесконечных перечитываниях «Войны и мира», то я понял бы историю своего развития. Чехова я тоже еще не научился понимать, как и Пушкина. И вот я жил со всем этим пониманием и непониманием. Терзаемый вечными сомнениями и припадками самоуверенности жил я в то лето.

18 октября

Как ни стараешься писать точно, непременно приврешь. Я неточно написал о моем отношении к Гоголю. Это вовсе не было, хотя бы и смутное, уважение к «божественному». Просто я чувствовал, что надо бы подумать, что, кажется, здесь есть еще что-то, кроме того, что я понимаю, и немедленно решал: «Потом, потом!» К сожалению, эта мысль: «Потом, потом!» — была постоянной в то время. При каждом случае, требующем напряжения, я отмахивался, зажмуривался, — «Потом, потом!» Но все же надо сказать, что некоторые места гоголевских ранних вещей меня поражали тогда. Например, первые же слова «Страшной мести» («Шумит, гремит конец Киева»). Я сразу подчинялся и переносился в новый мир.

21 ноября

Осенью 1910 года всех поразило сообщение — Толстой ушел из Ясной Поляны. Куда?

22 ноября

Все говорили и писали во всех газетах только об одном — об уходе Толстого. В Майкопе пронесся слух, что он едет к Скороходовым в Ханскую. Не знаю до сих пор, имел ли основание этот слух. Где-то я читал впоследствии, что Толстой собирался ехать на Кавказ, но куда, к нам или в Кринуцу? Это глухое упоминание: на Кавказ — как будто подтверждает слухи о Ханской. Как бы



то ни было, уход Толстого всколыхнул наш круг особенно. За столом непрерывно вспыхивали споры, наши тяжелые, бестолковые майкопские споры, из-за которых я возненавидел, вероятно, споры на всю жизнь. Разумеется, я был в полном смысле этого слова подросток в те времена. Это значит, что я не был умнее взрослых. Но чувствовал я, как все подростки, временами остро, тяжесть и бессмысленность, когда никто друг друга не слушает, а голоса повышаются, безысходность споров, которые вели старшие. Я это угадывал. Вспоминая студенческие годы, мама с умилением рассказывала о «спорах до рассвета». А я ужасался. Но вот Толстой заболел. Он лежал в домике начальника станции Астапово, и врачи у нас обсуждали бюллетени о его здоровье и пожимали плечами: дело плохо. Все бранили сыновей, лысых и бородатых, которые громко разговаривали и пили водку в буфете на станции. Так рассказывали в газетах. Осуждали Софью Андреевну. Но я прочел в одной из газет, как она в шапочке, сбившейся набок, подходит к форточке комнаты, где лежит муж (внутри ее не пускали), и старается понять, что делается внутри. И мне стало жалко Софью Андреевну. Вести из Астапова шли все печальнее. В ясный ноябрьский день вышел я на улицу и встретил Софью Сергеевну Коробьину. Было это возле фотографии Мухина. Софья Сергеевна остановила велосипед и сообщила: «Толстой умер». И хоть мы ждали этой вести, сердце у меня дрогнуло. Я огорчился сильнее, яснее, чем ждал.

23 ноября

Устроили большой вечер памяти Толстого.<sup>111</sup> В Майкоп приехал младший брат Льва Александровича — Юрий. Он был и выше, и шире, и собраннее брата. И говорил лучше, Лев Александрович считался плохим оратором. Так вот, на большом толстовском вечере он говорил вступительное слово. А потом шел концерт. Репетиция шла у нас. Папа читал две сцены из «Войны и мира»: охоту на волка и дуэль Пьера и Долохова. Во втором же отделении — сказку об Иванушке-дурачке и черте. Не помню точное название сказки. На репетиции я попался. В «Войне и мире» в те времена я пропускал все военные рассуждения и многое из того, что относилось к Пьеру. Выслушав сцену дуэли, я спросил: поправился ли Долохов после дуэли с Пьером? Папа

укоризненно покачал головой. Мама насмешливо засмеялась. Считалось, что я прочел «Войну и мир». Я тогда с удивительной легкостью не читал то, что мне было трудно или скучно.

24 ноября

Мы в это же время решили вдруг выпускать журнал. Мы, пятиклассники. Я написал туда какое-то стихотворение с рыцарями и замком. Помню, что там, как в какой-то немецкой балладе, прочитанной Бернгардом Ивановичем, в четырех строках четыре раза повторялось слово «черный». «Поднимались черные тени, вырастая из черной земли», остальные две строчки я забыл. На обложке был портрет Толстого, нарисованный Ваней Морозовым. На второй странице напечатано было стихотворение. Впрочем, «напечатано» сказано по привычке. Весь журнал был рукописный, вышел в одном экземпляре, в формате листа писчей бумаги.

12 декабря

Когда я вспомнил, что читал и не читал «Войну и мир», передо мною ясно выступило представление о способе, которым я читал книги. При малейшем напряжении я перескакивал через трудное или скучное место. Страницы без «разговоров» были для меня невыносимы. Я уже говорил, что мне выписали «Природу и люди» с приложениями. Романы Диккенса я не начинал читать, пока они не подбирались полностью. А когда они приходили целиком, выяснялось, что потеряно начало. Я начал читать «Пиквикский клуб» сначала. Мне показалось скучно. Потом подвернулся мне томик из середины. Я заинтересовался. Принялся искать по всему дому и собрал роман целиком и перечитывал множество раз. И отдал в переплет. И возил эту книжку за собою всюду, даже когда уже был студентом, хотя к этому времени знал роман чуть ли не наизусть. И тем не менее начало романа я перечитал уже, вероятно, в двадцатых годах. Как отпугнуло оно меня в детстве, так я его и избегал до зрелого возраста. Так же прочел я «Николая Никльби» — кусок из середины, кусок из конца и, наконец, много позже, всю книгу целиком. Я сказал как-то, что обрадовался, узнав, что «Давид Копперфильд», которого мне подарили в детстве, только начало. Неверно. Новый толстый роман под тем же названи-

ем, что моя тощенькая книжка, в красивом переплете с вытисненным узором из цветов, вьющихся вдоль корешка и названия, ошеломил меня. Все, что в жизни Копперфильда выходило за пределы моей книжки, казалось мне недостоверным.

13 декабря

Я вовсе не обрадовался, я долго не читал нового «Копперфильда», хотя старого моего знал чуть ли не наизусть. Чтение было для меня наркотиком, без которого я уже тогда не мог обходиться. Было наслаждением. И всякий вид принуждения убивал для меня это наслаждение. В это время началось у меня увлечение «Сатириконом» (тогда он, по-моему, еще не назывался «Новым»<sup>112</sup>). Я с нетерпением ждал того дня недели, в который он обычно приходил. Газеты раскладывались тогда по столам читальни, а журналы лежали на особом столе, за барьером, возле библиотечарши. Берущий журнал докладывал ей об этом. И вот я еще издали замечал, меняя книгу: на обложке рисунок новый! Пришел свежий номер «Сатирикона».

14 декабря

Сначала я рассматривал только рисунки — Реми, Радакова, стилизованных маркиз и маркизов под стилизованными подстриженными деревьями у беседок и павильонов, подписанные Мисс. А затем принимался за чтение. Рассказы Аверченко, Ландау, позже — Аркадия Бухова. Отдел вырезок под названием, помнится, «Перья из хвоста». Рассказы, подписанные: «Фома Опискин», «Оль Д'ор». И так далее, вплоть до почтового ящика. Забыл еще Тэффи, которая печаталась еще и в «Русском слове». Она и Аверченко нравились мне необыкновенно. И не мне одному. В особенности — Аверченко. Он в календаре «Товарищ»<sup>113</sup> числился у многих в любимых писателях. Его скептический, в меру циничский, в меру сентиментальный, в меру грамотный дух легко заражал и увлекал гораздо больший слой читателей, чем это можно было предположить. Саша Черный первые и лучшие свои стихи печатал в «Сатириконе», чем тоже усиливал влияние журнала. «В меру грамотный»... «дух» — нельзя сказать. Я хотел сказать, что он, Аверченко, как редактор схватил внешнее в современном искусстве.

15 декабря

Это был дендизм, уверенность неведомо в чем, вера в то, что никто ни во что не верит. Все это я смутно почувствовал много-много позже. А тогда меня необыкновенно прельщал общедоступный эстетизм и несомненный юмор журнала. Боже мой, с какой мешаниной в башке пришел я к четырнадцати годам жизни. У нас огромным успехом пользовалась повесть А. Яблоновского о гимназистах. Название ее забыл. Там гимназисты читали Писарева и безоговорочно принимали его статью о Пушкине. С таким же почтением говорилось о Писареве в «Гимназистах» Гарина. В подражание этим героям любимых наших книг и мы решили заняться серьезным чтением. Кто мы? Не помню. Был там Матюшка. Кажется, Жоржик. Кто-то из приезжих ребят, из казачат. Прочли мы статью о Пушкине — писаревскую статью — и признали ее. Девочки Соловьевы участвовали в этих чтениях. И, кажется, Милочка? Не помню. Начали читать Бокля и не дочитали. Все мы были при этом ярыми врагами идеализма. И при этом увлекались хиромантией. Отгадыванием характера по почерку. А я еще и молился. И был суеверен до крайности. Вечерами в темных майкопских улицах, в темных аллеях городского сада меня охватывал мистический страх. Иногда мучительный, но вместе с тем и доставлявший наслаждение. Бог, которого я познал в Жиздере, был запрятан в самую глубину души, со всеми невыдаваемыми тайнами.

18 декабря

От этой путаницы понятий спасали меня ясные правила поведения, установившиеся неведомо как. Та самая загадочная сила, которая заставляла меня в приготовительном классе пить молоко, которое я мог вылить в подвале на пол, и сейчас играла достаточно сильную роль в моей жизни. Я не курил и даже не пробовал закурить. Почему? Не ругался. Даже нарушая правила поведения, оставался добродетельным. Ужас, испытываемый при этом, убивал радость. Но при этом я вечно был счастлив. Я уже тогда начал приобретать предчувствие удивительных, счастливых событий... Поэтические мои ощущения бывали неопределенны, но так сильны и радостны, что будничные мир и обязанности, с ним связанные, отходили на задний план.

«Как-нибудь обойдется». Вот второе (после чувства законности) — ясное, точное, ощущаемое душевное состояние, которое определяло мое поведение. И, наконец, третье — тот ужас, который я пережил, когда мама отошла от меня, перерос в честолюбие. Я хотел славы, чтобы меня любили. Вот так я и жил.

21 декабря

Итак, жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не просто, а простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А в особенности родителей. А из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня «ничего не выйдет». И мама в азарте выговоров — точнее, споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, — несколько раз говаривала: «Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством». И я, с одной стороны, не сомневаясь, что из меня выйдет знаменитый писатель, глубоко верил и маминым словам о неудачнике и самоубийстве. Как в моей путаной мыслительной системе примирялось и то и другое, сказать трудно. Забыл. Точнее, утратил эту особенность мыслительную. Вот я иду по саду. В конце аллеи, главной аллеи, правее мостика, ведущего в ту часть сада, где трек, где городской сад уже, в сущности, не сад, открылся новый, летний электробиограф. Праздник. Весна. На главной аллее множество народа. Я иду боковой дорогой. Застенчивость моя все растет. Пройти по главной аллее для меня пытка. Мне чудится, что все мне глядят вслед и замечают, что я неуклюжий мальчик, и говорят об этом. И тут же я думаю: «Вот если бы знали, что мимо вас идет будущий самоубийца, то небось смотрели бы не так, как сейчас. Со страхом. С уважением». Думаю я об этом без малейшей горечи. Холодно. Новый электробиограф под названием «Иллюзион» выглядит празднично. Слышен рояль, сопровождающий картину. И рядом с мыслями о том, что я будущий самоубийца, я испытываю бессмысленную уверенность в будущем счастье. Разговоры с мамой кончались ссорой. Разговоры с отцом — всегда почти слезами.

29 декабря

Теперь, когда многое ожило в моей памяти, я начинаю думать вот что: первые, необыкновенно счастли-

вые, полные лаской, сказками, играми шесть лет моей жизни определили всю последующую мою жизнь. Я был изгнан из рая, но без всякой вины с моей стороны. Сначала я рвался назад, требовал, негодовал. Потом, после долгих неудач, уверовал, что я этого рая недостоин. И стал мечтать, читать и опять мечтать, причем огромную роль в мечтах этих играло следующее: я начинаю работать. Да, меня все хвалят, приходит слава и так далее и тому подобное, но прежде всего — я начинаю работать. С утра до вечера.

1952 г.

2 января

На душе беспокойно, и тревога не знает, за что уцепиться. Вечером заходил Рахманов. Я пошел его провожать и на обратном пути вспоминал старые обиды. Меня вечно обижал Шкловский<sup>114</sup>, который невзлюбил меня с первой встречи, году, вероятно, в двадцать третьем! Но меня сегодня мучило не это, а то, что я держался перед ним виновато, зная об этом его чувстве.

2 февраля

Поездка на пароходе оказалась памятной<sup>115</sup>. С нами ехал человек с именем, человек, «из которого что-то вышло», особенно известный в Майкопе, так как он был родом из какой-то станицы Майкопского отдела. Это был певец зиминской оперы, тенор Дамаев. Мы увидели его за столом в ресторане. Папа с ним поздоровался и объяснил нам, кто это. И я с уважением — больше, чем с уважением, — глядел на человека, которого коснулась слава. Таинственная, недоступная слава, о которой твердили с детства, мечтали и не добивались. Полная, красивая, стареющая Екатерина Александровна — простая учительница, а могла бы стать знаменитой певицей. Но каждый раз, когда она пробовала запеть, нервная спазма сжимала ей горло. И она отказалась от славы. Вынуждена была отказаться. Погибло контральто удивительной красоты.

3 февраля

Голос ее слышал только Василий Федорович Соловьев, которому она доверяла. А больше никто. Исаак мог бы стать знаменитым артистом — и не стал. Мамин брат Федя. Сколько их, по той или другой причине отвергну-

тых таинственной и неуловимой славой. А тут с нами за столом, наконец, сидит человек, о котором я много раз читал в «Русском слове». Иные говорили, что он неважный актер, но голос его все называли отличным, и я с ужасом даже вглядывался в его простое, станичное, красное лицо. Через некоторое время в ресторане появился совсем удивительный человек, очень маленького роста и неслыханной толщины. Голову он держал откинутой назад — мешал подбородок. В наружности его было что-то надменное и вместе с тем младенческое. Он пил кофе, в который вместо сливок положил большой кусок сливочного масла. Папа объяснил, что это один из способов лечить толщину. Это был сам Зимин, владелец оперы Зимина и мануфактурных фабрик, кажется, в Серпухове. Опера, как я услышал тут впервые, всегда являлась делом довольно убыточным: оплачивать хор, оркестр, кордебалет, балерин и певцов в состоянии было только государство. Зимин нес ежегодно 20 процентов убытку. Оперу он мог держать только потому, что фабрики его давали огромную прибыль.

6 февраля

Пока папа был в Сочи, мы купались с ним в купальне. Здесь мы еще раз встретили Дамаева и Зимина. Папа разговаривал с Дамаевым, и тот отвечал ему снисходительно и холодновато, как приличествовало знаменитости. Но лицо у него сохраняло станичную простоту. И он начинал заметно полнеть, что я тогда не любил. Точнее — не прощал. Но бедного Зимина я не мог презирать или не прощать. Тут уж толщина была бедой, болезнью. Его живот, как шар, плавал перед ним, и он угрюмо и брезгливо прыгал в воде, пытаясь окунуться. Ужасно составлено предложение. Зимин, прыгая, угрюмо и брезгливо глядел вперед, неведомо куда. Толстый, маленький, сердитый, чудовищный младенец.

4 марта

И вот впервые после 1904 года приехали мы в Екатеринодар. То есть я приехал впервые, папа бывал там часто. Тоня отсутствовал, но зато впервые после большого промежутка времени все четыре брата — Исаак, Самсон, Лев и Александр — съехались вместе. Мы поселились в бабушкином доме, я совсем не узнал его, ничего

общего не имел он с тем, который остался в моих воспоминаниях...

Самсон очень интересовал меня. Он был заметным провинциальным актером. На зиму у него был подписан контракт с солидным антрепренером Бородаем. Он был брит, что в те времена сразу отличало актера, невысок ростом, плотен. Глядел меланхолично и обладал удивительным даром смешить меня, что ему нравилось. Я быстро подружился с ним, точнее, стал его страстным поклонником. Ведь он приближался к славе. Папа с уважением и легкой завистью узнал, что к Бородаю Самсон подписал контракт на пятьсот рублей в месяц. (Ему платили полтора ста, кажется. Папе. В майкопской больнице.) Дружба с Самсоном оказалась прочной. Он был так же вспыльчив, как в ранней молодости, но не было случая, чтобы он повысил на меня голос, рассердился на меня хоть раз в жизни.

5 марта

Я иду в картинную галерею и удивляюсь, что она такая маленькая, — по воспоминаниям она казалась мне больше. Я еду с Сашей на трамвае и удивляюсь, что он так быстро идет. Но Саша отрицает это. Его я тоже уважаю. Он, считавшийся таким плохим студентом, он, о котором дедушка говорил, что его учение обошлось дороже, чем всех братьев, взятых вместе, оказался очень хорошим адвокатом. И слава его росла. Из него тоже что-то вышло. Или было близко к этому. В то время я очень уважал Шварцев, на которых был так мало похож. О них говорили — все Шварцы талантливы. У них были очень отчетливо выраженные семейные черты. Это они знали и даже гордились этим. Гордились даже своей вспыльчивостью: «Я на него крикнул по-шварцевски». Они были определенны, и мужественны, и просты — и я любовался ими и завидовал. Нет, не завидовал — горевал, что я чужой среди них. В летнем театре в городском саду в тот сезон играла опера. И я отправился в оперу в первый раз в жизни. Надежда и Лидия Максимовны<sup>116</sup> ахали и причитали со свойственной им восторженностью: «Что ты переживешь! Счастливец! В первый раз в жизни — в оперу! Я бы потеряла сознание, если бы пошла в оперу в первый раз такой большой». Я ждал невесть каких чудес. Шел «Садко». К моему ужасу, я очень скоро почувствовал,



что мне скучно. Да как еще! Я попросту засыпал. (Это несчастное свойство — засыпать в театре, как только пьеса мне не нравится, я сохранил на всю жизнь.)

6 марта

Тони в городе не было, но я увидел его карточку: худенький, большоголовый мальчик, со шварцевскими волосами — жесткими, волной поднимавшимися над лбом, — с выражением спокойным, даже вялым. На карточке он стоял, прислонившись плечом к дереву, длинный, узкоплечий. Я представлял его иначе. Сильнее. Уж слишком много рассказывал о его достоинствах папа. Я полагал, что Тоня совершенен во всех статьях.

7 марта

Дня за три до нашего отъезда отправился в Иркутск Самсон. Бородай прислал ему аванс, хотя Самсон не просил его об этом. Получив деньги, Самсон растрогался и сказал, что все-таки антрепренер его — хороший человек. Он уважает артиста. Провожать Самсона мы поехали на вокзал. Тут я впервые увидел актерские сундуки, они же шкафы. Они стояли, блестя металлом и темнея кожей, пока не приехала за ними тележка и не повезла сдавать в багаж. И вот я простился с дядей, простился с доброй, восторженной, пухлой, миловидной Надеждой Максимовной. Всю жизнь была она со всеми ласкова. Она уже овдовела, была совсем старушкой, когда немцы взяли Ростов. Когда за ней пришли, она приняла яд. И так как она еще дышала, то немцы вынесли ее, уложили в машину и увезли. Но тогда, глядя в широкое окно желтого вагона второго класса, она мирно и ласково улыбалась мне, и мы ничего-ничего не знали. После отъезда Самсона в городе стало пустовато. Я томился вечерами.

11 марта

Итак, мы переехали опять в дом Капустина, и начался последний период нашей жизни в Майкопе... В это же время наметилась дружба, самая сильная дружба в моей жизни. Я разговорился с Юркой Соколовым и с Фреем, стоя возле раздевалки для младших. Я был в том вдохновенно веселом состоянии, которое нападало на меня уже тогда. Мы стояли и смеялись. Это был мой первый разговор с Юркой. Его очень уважали в училище... Он внушал уважение сдержанностью, Со-

коловской серьезностью, ловкостью в гимнастических упражнениях и главное — талантливостью. Он был замечательный художник.

16 марта

Прежние мои стихи мне не то чтобы не нравились, а удивляли меня. Как будто их написал не я, а кто-то другой. И не слишком-то хорошо. Но дело не в качестве, а в том, как чужды они мне стали. До сих пор, когда я вспоминал мою жизнь, мне казалось, что она резко делится на периоды с явственной границей между ними. А теперь, перебирая внимательно год за годом, месяц за месяцем, я замечаю, что резких границ не было, перемены происходили медленно. Старые мои навыки не умирали так быстро, как мне это представлялось по воспоминаниям. А некоторые — видимо, необратимые, неизменяемые — душевные свойства живы и сейчас. И среди них первое — то восторженное состояние духа, когда за туманом, неясно, чувствуешь, предчувствуешь нечто прекрасное. И чувство это настолько радостно, что и не пытаешься понять, чем оно вызвано. Нет потребности. И связанная с этим состоянием духа мечтательность, никогда в жизни не покидавшая меня, мешала действовать. Вот почему я не писал.

19 марта

Словом, от прежнего рассказа, когда пишешь о том, что вспоминается, придется отказаться. Слишком уж много хочется назвать. Попробую внести порядок в то, что пишу. О вере. О музыке. О книгах. О любви. О дружбе. Это выглядит как будто и литературно. Но я просто хочу понять и назвать то, что помню. О вере. Во что же я верил? Чем жил? Любимый папин разговор был о том, что я «ничем не интересуюсь». Я каждый раз испытывал бессильное возмущение. Почему он так думает? Я живу полной жизнью. Разговоры с друзьями кажутся мне глубоко содержательными. Я живу... Чем? И вот тут и начиналась ярость человека немного или плохо говорящего на языке собеседника. «В твои годы я уже начинал интересоваться политикой. Ты бы прочел хотя бы Петра Лаврова. Его „Письма“». Но тут мама вдруг вмешалась и сказала: «Подожди. Прочтешь невесте, заперев предварительно двери». И папа засмеялся добродушно, чего никогда не бывало, если мама вмешивалась

в разговор. Вот почему я запомнил именно этот, один из многих, разговор. Чем я жил? Неужели восторженное состояние, которое я испытывал, гуляя, было единственным признаком веры во что-то? В эти же дни начало на меня находить отвращение к той колее, в которой я жил. Мне хотелось убежать. Бродить по морю. Наняться грузчиком. Или в хозяйство какого-нибудь казака в станице. Зачем? Иногда желание это усиливалось до того, что я думал не без удивления: «Неужели я и в самом деле убегу?» Однажды разговор «об интересах», поднятый отцом, кончился тем, что я сказал о своем желании все бросить и бежать. Во имя чего? Куда?

20 марта

Отец был смущен моим заявлением. Я не стал ему понятнее, не стал понятен и себе. Только теперь я понимаю, что «интересов», или цели, или веры, у меня тогда не было. Была потребность этого — и глупость. Я был глуп, как новый истамановский щенок. А жизнь вокруг шла сложная, необычно сложная для России. В добавление к Миллеру, к увлечению борцами, к разговорам, долетавшим и до нас через посредство «Сатирикона», издательства «Шиповник», множества переводных романов (Шницлер, Генрих Манн, Уайльд, проглатывавшихся с одинаковым уважением. Впрочем, нет. Вспоминаю, что Генриха Манна и Габриеле Д'Аннунцио, и еще Пшибышевского я читать не мог), — к разговорам об «освобождении», о «красоте», о «смене вех», о «здоровом смысле», о «Весах», о «символизме» и к насмешкам над символизмом вдруг добавилось увлечение, всеобщее увлечение Джеком Лондоном. Попробуй что-нибудь вывести из всей этой массы самых противоположных и искаженно понятых течений. Естественно, что здоровый и простой Лондон необыкновенно захватил и нас, школьников, и взрослых. Вспыхнувшая в те годы любовь к «телу», к здоровью, к силе вдруг получила столь необходимое социологическое, привычное обоснование. За это любили Лондона взрослые. А мы — за то же, за что любят его школьники и до сих пор. Итак, веры у меня не было, и та мешанина умственных и духовных течений, которая бушевала (или, точнее, колыхалась) вокруг, никак не могла мне помочь. Я не верил, но потребность в вере, в цели, в мирозерцании у меня была сильна. И это на время заменяло цель. Желание цели. Но при склонности

к мечтам это желание легко удовлетворялось мечтами о том, как я вдруг... Что?

21 марта

Как я вдруг совершу подвиг, и все поймут, что я... Кто? Какой подвиг? Но я так ясно видел все подробности своей славы, что самый подвиг для меня терялся в тумане.

22 марта

Итак, перейдя в шестой класс на шестнадцатом году жизни, я не знал, зачем живу, во что верю, но испытывал страстную потребность верить и знать, куда иду. Бездеятельность моя, видимо, пугала меня уже и тогда, и ужасала лень. Все мои мечты начинались с того, что я действовал — смело, разумно, и работал не разгибая спины. Так было в мечтах. А наяву, как я вижу теперь, мои идеи о бессмысленности той жизни, которую я веду, о побеге — были неосознанным желанием сбросить с плеч все обязанности. То есть — не работать. То есть — та же лень. Безграмотность и бездеятельность в той области, которую я считал своей, в литературе, в поэзии, — вот что могло бы оправдать меня, — но я и тут ограничивался мечтами и неопределенно величественно-поэтическими представлениями. Чувствование у меня смешивалось с уверенностью в будущей славе. Недоверие к себе с неведомо на чем основанной уверенностью в собственной гениальности. И ко всему этому — влюбленность, которая усиливалась с каждым днем. Чувство реальности заставляет меня добавить, что все это вышеописанное заключалось в неряшливом, невысоком подростке. Нос у меня имел непонятную особенность — краснел без видимых причин. Это меня мучило. Я вечно скашивал глаза на кончик носа, чтобы проверить, какого он цвета в данную минуту. Я легко ревел. Слезами кончались мои споры с отцом и Бернгардом Ивановичем. Я плакал от бессилия, оттого что не в силах был доказать, что не так ничтожен, как им кажется. Да и чем я мог это доказать?

23 марта

Итак, о вере я рассказал. Теперь скажу о книжках, о которых сказал уже несколько слов, но путано и несвязно. Я тогда делил книжки на старые (то есть классические или такие, как Шеллер-Михайлов и Станюкович)

и современные. В последние я валил все: и Шницлера, и Уайльда, и Генриха Манна, и Октава Мирбо. Все, что выходил в издательстве «Современные проблемы» или В. М. Саблина (в зеленых коленкорových переплетах с золотым тиснением). В этом издании я прочел Стриндберга и, кажется, Шоу. И Метерлинка. Я считал, что все это писатели одного возраста, молодые, и был удивлен, когда узнал, что они — например, Мирбо, и Франс, и Шницлер — вовсе не молоды. Путаница от этого чтения поднималась отчаянная. А тут поверх этого лег Джек Лондон — и всё заслонил. (И Миллер приобрел основу: сильный человек стал героем литературным.) Первые романы его: «Дочь снегов», «Сын солнца», «Мартин Иден» — особенно последний — были проглочены с восторгом. Вот что я с трудом могу восстановить, вспоминая, на чем воспитывался тогда я, глупый подросток. И книги я принимал как явление природы. Я не обсуждал их, не критиковал, а принимал такими, как они есть. Некоторых авторов я просто не мог читать, но не осуждал их за это.

27 марта

В это же время я вдруг стал понимать Чехова. До сих пор, до шестого класса, я перечитывал и помнил только первые три тома. И вдруг — словно туман рассеялся — я стал понимать остальные. Началось, кажется, со «Скрипки Ротшильда». Я легко плакал, разговаривая — точнее, ссорясь — с отцом или Бернгардом Ивановичем, но книги читал без слез. Не то говорю. Книги не могли меня заставить плакать. Прочтя о смерти Гавроша, я рассердился, обиделся на Гюго за его жестокость. Но не заплакал. А «Скрипка Ротшильда» вдруг довела меня до слез. Еще до этого, когда у Истамановых Мария Александровна читала вслух «Новую дачу», я понял ее. Еще до этого я угадал, что Чехов необыкновенно правдив. Но по-настоящему я понял его и влюбился на всю жизнь в шестом классе. Я так часто говорил, хваля Чехова (и других, которых уважал): «Хорошо замечено», — что Фрей и Юрка смеялись надо мной и дразили этими двумя словами.

29 марта

И вот в жизни моей прибавилось несколько памятных дней. Вечер. Мы толпимся в фойе Пушкинского дома. Оставшийся от какого-то торжества огромный пор-

трет Шевченко, писанный углем, натянутый на раму, стоит у стены. Под усатой, большелобой головой идет надпись: «Як умру — похороните мене на могили». (Я не знал тогда, что это значит «на кургане», и удивился этим строкам.) Здесь и Женька Фрей, и Юрка Соколов, и Матюшка Поспеев. Пришла на лекцию и моя мама, и Беатриса, и Соловьевы. Я стою, болтаю и смеюсь.

30 марта

И вдруг меня словно током ударяет, сжимается сердце — я вижу две косы, светящийся ореол волос над лбом — это Милочка в своем синем форменном платье, маленькая и все преобразившая, все изменившая вокруг. Я кланяюсь ей, и она отвечает ласково и чуть удивленно. И она, видимо, не ожидала меня увидеть тут. Она проходит в зал. Я стою перед портретом Шевченко, не смея идти в зал вслед за Милочкой. Мама с Беатрисой проходят мимо. И вдруг мама говорит испуганно и вместе с тем сердито, как всегда, когда обеспокоена: «Что с тобой? Почему ты такой бледный?» — на что я отвечаю обычным своим тоном: «Ничего я не бледный!» И думаю с удивлением: «Вот как, значит, я люблю Милочку — бледнею, когда вижу ее». И вот и я вхожу в зрительный зал и занимаю такое место, чтобы видеть Милочку. Перед раздвижным занавесом, заменившим поднимающийся с морем, Пушкиным, брызгами величиной с виноград, стоит столик с графином. Стул. Володя Альтшуллер появляется за столом. Воцаряется тишина. Володя своим мягким, достойным тоном читает очередную лекцию по политической экономике, которую я полностью пропускаю мимо ушей. Увы, только две вещи занимают меня: я сам и Милочка. Я издали вижу такое знакомое и такое каждый раз покоряющее меня удивительное существо. Сияющий нимб волос, косы. Она поворачивается к подруге, спрашивает ее о чем-то и оглядывается, может быть, почувствовав мой пристальный взгляд. Она не видит меня, но я и вижу, и угадываю ее серо-голубые огромные глаза. Когда же, наконец, перерыв? Встретившись, я не смею к ней подойти, сесть рядом с ней и думать нечего. Но в перерыве я подхожу и разговариваю храбро.

31 марта

Я говорю и жадно вслушиваюсь в каждое слово, ловлю каждый взгляд, и вторую половину лекции пережи-

ваю это великое и памятное событие — встречу с Милочкой. Так проходит лекция по политической экономии. Помню чью-то лекцию о Лермонтове. Приезжий лектор картинно описывал, как нежно любила поэта бабушка, как любовалась своим черноглазым внуком, сидящим на ее коленях. И я заметил, что мать Милочки, Варвара Михайловна, улыбнулась мечтательно. И горькое чувство, похожее на предчувствие, поразило меня. Я знал, что Варвара Михайловна меня не любит. Догадывался, что, слушая лектора, она мечтает о том, что вот Милочка выйдет замуж и у нее будут дети, — но не такого мужа, как я, представляет в мечтах Варвара Михайловна. Нет, не жениться мне на Милочке! Вот все, что уношу я с лекции о Лермонтове.

8 апреля

Завтра десять лет, как веду я записи в этих счетных тетрадах. Это девятая из них. Вел я записи и до войны, но они пропали. Я сам сжег их, когда уезжал в блокаду. Казалось, жизнь кончена, не стоит беречь бумаги. (Да я и раньше был небрежен к тому, что пишу. У меня нет многих моих книжек и некоторых пьес. Например, «Приключения В. И. Медведя» и «Приключения мухи»<sup>117</sup>, «Нос» (кажется) и другие подписи к картинкам — это книги. Пьесы: «Остров 5 к»<sup>118</sup>, «Брат и сестра»<sup>119</sup>, «Пустяки»<sup>120</sup>...) А в Кирове показалось, что жизнь продолжается. И я, получив, выпросив в Когизе тетрадку, стал писать — неровно, по кусочкам, спотыкаясь, не смея писать о себе, не умея, не решаясь описывать то, что вокруг. В то время страшная кировская зима, с ее нелюдимой, дымной красотой, кончалась. Мы жили на огромной улице Карла Маркса; кажется, 51-а, в длинном деревянном двухэтажном театральном доме, во дворе. Выйдя из ворот, я видел направо, на вершухе холма, роскошное не по городу, белое здание театра. А налево вниз бежали домишки. И далеко-далеко огромная улица (начиналась она далеко за театром, чуть ли не у вокзала) замыкалась заводом.

9 апреля

Итак, ровно десять лет назад, когда жили мы на длинной улице Карла Маркса, на бесконечной улице — я так и не смог пройти ее из конца в конец, — я почувствовал, что жизнь продолжается. И стал писать вот

в такой тетради, понемножку, совсем не умея рассказывать о сегодняшнем дне.

21 мая

Я начал писать ежедневно в этих тетрадях, не давая себе отдыха, стал рассказывать о себе — по нескольким причинам. Первая, что я боялся, ужасался, не глухонемой ли я. Точнее, не немой ли. Ведь я прожил свою жизнь и видя и слыша, — неужели не рассказать мне обо всем этом? Впрочем, это не точно. Я должен признаться, что этого здорового нормального ощущения своего возраста я еще не переживал. Более того. Я думал так: «Надо же, наконец, научиться писать». Мне казалось (да и сейчас еще кажется), что для этого есть время. Пора, наконец, научиться писать для того, чтобы рассказать то, что видел. Пора научиться писать по памяти — это равносильно тому, чтобы научиться живописцу писать с натуры. И вот я стал учиться. И по мере того как я погружался в это дело, я стал испытывать удовольствие от того, что рассказываю, худо ли, хорошо ли, о людях, которых уже нет на свете. Они исчезли, а я, вспоминая их, рассказываю только то, что помню, ничего не прибавляя и не убавляя. Многих из них я любил. Все они оставили след в моей душе. Таким образом, говоря, я говорил за некоторых из них. То есть не «говоря», а «работая» — хотел я сказать. А потом и воспоминания о более далеких людях стали мне нравиться. Они жили, я могу засвидетельствовать это. Иногда мне трудно удержаться от обобщений, — но я видел это! Как же не делать выводов.

24 мая

Наши школьные вечера всегда казались необыкновенными, все обязанности снимающими, все угрызения совести угашающими событиями. Что там думать о запущенных делах своих и о страшных уроках, когда завтра вечер! Да еще устраивались они, как правило, по субботам или под праздник. Значит, после вечера еще целый день, в который можно чего-нибудь придумать: дописать сочинение, на которое дано было две недели, а я еще к нему и не приступал. Довольно рассуждать. Реальное училище, переродившееся, потерявшее все признаки будней. На вешалках младших — пальто гимназисток, пахнет духами. В синих платьицах с бе-



лыми фартуками, таинственные, приводящие в мучительное смущение, оцепенение, едва только подумаешь о том, чтобы заговорить с ними, девочки. Я только кланяюсь и вглядываюсь. Где же Милочка? Издали вижу — не смею видеть, — угадываю я знакомый ореол волос и сине-серые глаза. И тогда праздничность и волшебность происходящих событий подтверждается. Я здороваюсь издали. Подойти не смею. Потом. Когда начнутся танцы. Умеющие рисовать дарят своим избранницам программы вечера — бристоольский картон. Нарисованные на самом лучшем бристоольском картоне розы, или фиалки, или пейзажи окружают старательно написанный текст: «Первое отделение — то-то и то-то, второе то-то — танцы». В зале стоят стулья для первых рядов, скамейки для последних. Для гостей и для хозяев.

25 мая

Освещены все длинные коридоры училища, а не только начала, как в те вечера, когда приходишь на занятия в физический кабинет. Налицо не только учителя, но и их жены. Все они вместе с членами родительского комитета будут сегодня помогать приему гостей: в одной из комнат, в одном из классов, вынесены парты, стоят столы с конфетами, пирожными, кипит огромный самовар, стоят в огромном количестве стаканы, блюдечки. Ложечки лежат грудой — прозаические, вероятно, оловянные ложечки нашей школьной столовой (на большой перемене мы получаем горячие завтраки). Но даже они не нарушают общего праздничного характера вечера. Впрочем, комната эта придет в действие много позже, во время танцев, а сейчас вечер только начинается. Бегают распорядители с бантами. Гуляют по коридорам гости — в начале вечера отдельно. Так же — отдельно девочки, отдельно мальчики — рассаживаемся мы в зале. Эстрады нет. Рояль стоит ближе к середине, перед первым рядом. Тут же выстраивается наш хор, которым дирижирует Терсек. Участвовал в этом хоре и я, когда был исполняем «Хор охотников» из оперы Вебера «Волшебный стрелок»... Маленький, стройненький, непоколебимо серьезный Миша Чернов обладал прелестным дискантом. Однажды он пел что-то, а подпевали ему четыре мощных баса из семиклассников. Вот это был единственный случай, когда хор

имел настоящий успех и бисировал. Обычно же ему вежливо хлопали. И только. За хором кто-нибудь читал. Или мелодекламирал, что было модно.

26 мая

Мне не хочется перечитывать все, что я писал о себе. Я не могу вспомнить, рассказывал ли я о своих выступлениях на училищных наших вечерах. Я выступал на них дважды: вероятно, в четвертом и пятом классе. Мелодекламирал. Один раз читал «Трубадур идет веселый» Немировича-Данченко, музыка Вильбушевича. Второй раз — «Каменщика» Вал. Брюсова, как сообщалось в украшенных акварельными рисунками программах из бристольского картона. Читал я и на вечере памяти Кольцова. Бернгард Иванович много возился со мной, добываясь, чтобы из меня вытащить хоть что-нибудь, но результаты, видимо, получались средние, потому что Марья Александровна сказала: «Что это все ты да ты читаешь. Пусть Жоржик попробует» И Жоржик тоже однажды появился перед публикой. С обычной своей гримасой, выражающей у него смущение, которое он решил во что бы то ни стало преодолеть, Жоржик прочел под аккомпанемент Бернгарда Ивановича какие-то стихи и сделал это, несомненно, не хуже, чем я. Кроме «Трубадура» и «Каменщика» я читал в одном случае на бис «Нет, я не верю в смерть идеала». Вспомнил! Четвертое стихотворение было «Галилей»<sup>121</sup>. Четыре стихотворения на два выступления. Так полагалось.

28 мая

Затем выступал кто-нибудь из наших музыкантов — играл на скрипке маленький Терсек, иной раз составлялся квартет, струнный, забыл какой. Пел сильным металлическим тенором Тер-Егиазаров: «За чарующий взор искрометных очей я готов на позор, под бичи палачей»<sup>122</sup> — здоровенный, с синими свежесвыбритыми щеками, почти без лба, невероятно волосатый... Читал юмористические стихи и рассказы Женька Гурский. В заключение играл оркестр мандолинистов, балалаечников и гитаристов. Оркестр готовился к выступлениям тщательно. Помню, как мой одноклассник Евгений Федоров (не писатель) звал со своей характерной картавостью: «Рлебята, вечерлом на сыгрловку». Два отделения заполнялись, таким обра-

зом, довольно плотно. Но самым привлекательным для меня был антракт. В антракте я, как правило, решался, наконец, подойти к Милочке. Я был с ней на ты. В те дни нашего долгого романа она была со мною ласкова; что же меня пугало? То самое, что определило судьбу моей любви и привело ее к печальному концу, — беспредельная, религиозная почтительность перед Милочкой. Впрочем, я и сейчас не пойму, — печальный ли это конец? Да, она не вышла замуж за меня...

30 мая

Но вот оркестр из балалаек, мандолин и гитар в последний раз исполнял на бис обычно какую-нибудь украинскую песню и вставал, улыбаясь. Оканчивалось и второе отделение программы. Зал освобождали от стульев — частью выносили их, частью уставляли вдоль стен под репродукциями картин из Третьяковской галереи в светло-коричневых рамках... Когда зал освобождали, деревянная створчатая стена раздвигалась, и в классе, из которого парты к тому времени убирали, располагался с детства знакомый оркестр под управлением Рабиновича. Пол посыпали белым порошком. Мыльным, чтобы ноги скользили по крашеному деревянному полу, как по паркету. Воля Рудаков (сын нового податного инспектора, переведшегося недавно в Майкоп), стройный, красивый, высокий и легкий, дирижировал вдохновенно танцами. «Вальс!» — объявлял он тенором и приглашал старшую Авшарову. И начиналась самая интересная, главная, богатая событиями часть вечера, от которой зависело все.

1 июня

К этому времени, то есть к началу танцев, я был уже в зале и после ряда ходов, не менее сложных, чем шахматные, оказывался рядом с Милочкой. То, что я подходил к ней в антракте, уже казалось мне событием устаревшим, не дававшим никаких прав, несмотря на то, что был ею встречен приветливо. Но вот я возле — до сих пор не смею сказать: «Мы вместе». Это слова грубые и отрезвляющие. Подойти мне удалось вместе с кем-нибудь из Соловьевых или заговорив с кем-нибудь из стоящих возле Милочки. Иногда я решался пригласить Милочку на какой-нибудь из легких танцев.

Но так или иначе, подойдя к Милочке, я не отходил уже от нее весь вечер. Но и тут я тщательно избегал (избегал, словно кощунства) всякого намека на мою влюбленность. Я был путаным, слабым, ленивым человеком, но одно во мне горело сильно и ясно полным огнем: это любовь к Милочке. Я иной раз писал на листе бумаги слово «Милочка» — и мне казалось, что даже в этом сочетании букв есть нечто необыкновенное, необъяснимо волнующее душу. О чем мы говорили? Обо всем. Об учителях, об училище, о товарищах и подругах. И если разговор завязывался, то вечер я считал счастливым и у меня появлялась тень надежды, что Милочка меня тоже не то чтобы любит, куда там, а выделяет. Разговаривали мы, гуляя по коридорам.

7 июня

Не хочется мне что-то писать о Майкопе. В июне 1923 года мы с Мишей Слонимским поехали гостить на соляной рудник имени Либкнехта под Бахмутом... В те дни я стоял на распутье. Театр я возненавидел. Кончать университет, как сделал это Антон, не мог. Юриспруденцию ненавидел еще больше. Я обожал, в полном смысле этого слова, литературу, и это обожание не давало мне покоя. Но я был опустошен, как рассказывал уже однажды. Я никогда не любил самую форму, я находил ее, если было что рассказывать. И я был просто неграмотен до невинности при всей своей любви к литературе. Но единственное, чего я хотел, — это писать. Я попробовал через Зоценко устроить две-три мелочи в юмористических журналах тех дней. Точнее, он дал мне два или три письма для обработки. Я сдал их ему, он одобрил и снес в редакцию. И они, как я узнал потом, были напечатаны. Но я к тому времени был уже в Донбассе. Кроме того, я попробовал писать для детей.

8 июня

Я написал очерк о Свене Хедине для журнала «Воробей», который собирались издавать при «Ленинградской (тогда Петроградской) правде». Этот очерк не понравился Маршаку и напечатан не был, что меня очень огорчило. Заказал мне очерк Сергей Семенов<sup>123</sup>, но ко времени моего отъезда власть уже перешла от него к Маршаку. Итак, в июне 1923 года я, нищий, без всяких планов, веселый, легкий, полный уверенности, что

вот-вот счастье улыбнется мне, переставший писать даже для себя, но твердо уверенный, что вот-вот стану писателем, вместе с Мишей Слонимским, который тогда уже напечатал несколько рассказов, выехал в Донбасс... Я с удовольствием издали еще, высунувшись в окно, узнал стройную, высокую, совсем не тронутую старостью отцовскую фигуру. Мы не виделись с осени 21 года. Он мне очень обрадовался. Приезд Слонимского, о котором я не предупредил, его несколько удивил, но даже скорее обрадовал, — писатель!

9 июня

Папа был доволен, что я приблизился к таинственному, высокому миру — к писателям, к искусству. Я играл, и обо мне хорошо отзывались в рецензиях Кузмин<sup>124</sup> и не помню еще кто. Правда, первое имя смущало отца. Он спросил меня как-то скороговоркой: «Позволь, но ведь Кузмин, кажется, из порнографов?», вспомнив соответствующие статьи в толстых журналах. Но так или иначе — все-таки обо мне отзывались в печати. А когда театр закрылся, я работал секретарем у Корнея Чуковского, что тоже радовало отца.

14 июня

Когда Театральная мастерская распалась, я брался за все. Грузил в порту со студенческими артелями уголь, работал с ними же в депо на Варшавской железной дороге, играл в «Загородном театре» и пел в хоре тети Моти<sup>125</sup>. Первый куплет был такой: «С семейством тетя Мотя/Приехала сюда./Певцов всех озаботя/Своим фасоном, да». Кроме того, я выступал конференсье. Один раз по просьбе Иеронима Ясинского<sup>126</sup> в ресторане бывший «Доминик», который ему поручили превратить в литературный. Затея эта не состоялась, но я выступал перед столиками однажды. В этот вечер там были Тынянов, Эйхенбаум, еще кто-то, не помню, — они занимали два больших стола, составив их вместе. Поэтому я имел успех — они относились ко мне с доверием. Я был наивный конференсье. Я, по своей идиотской беспечности, и не думал, что люди как-то готовятся к выступлениям. Я выходил да импровизировал, почему и провалился однажды с шумом на одном из вечеров-кабаре в Театре новой драмы<sup>127</sup>. (Там устраивались эти вечера, чтобы собрать хоть немного денег на зар-

плату актерам.) Однажды меня позвали на какой-то банкет во вновь открываемом нэповском предприятии. Я должен был «вносить оживление» за сколько-то миллионов. Веселить. Что и сделал весьма охотно. Я уже тогда умел не смотреть в глаза фактам. Но все это вместе и страшно напряженная семейная жизнь тех дней привело к полному душевному опустошению... И вот в Донбассе, в Брянцевке, под Бахмутом, когда мне было уже 26 лет, — душа моя стала распрямляться и оживать. Я вернулся к тому состоянию, которое способствовало росту к полной свободе. Да еще на юге. Да еще летом...

21 июня

В шестом классе мы держали выпускные экзамены. Первые выпускные. Никаких прав шестиклассное образование не давало, но тему для сочинения получали мы из округа, задачи тоже, и рассказывали нас за столиками в зале, и весь педагогический совет присутствовал при начале экзаменов. В седьмом классе, который считался добавочным, все повторялось сначала...

Предполагалось, что выпускного вечера у нас не будет. Но вот кто-то из товарищей забежал сказать, что он все-таки состоится. И я, и без того полный счастья от того, что кончились благополучно экзамены, от лета, от хорошего дня (был дождь, но прояснилось) — совсем опьянел. И понял, что это только начало. Я не то что предчувствовал, что вечер будет счастливым, а был спокойно уверен в этом, как это изредка случается и сбывается в удачные дни. И вот он пришел. И я, как всегда, стоял у входа. И угадал Милочку еще издали, когда она шла, приближалась к калитке училищного двора, мимо решетчатого нашего забора, вместе с Олей Янович светлым июньским вечером. Но он успел уже потемнеть, пока кончилось первое отделение программы и я поговорил с Милочкой, и второе, когда я подошел к ней наконец. Во время перерыва в танцах мы вышли во двор сначала большой компанией, потом мы остались вдвоем, и наконец ушла и Оля. Ночь была ясная. Окна училища освещены. Мы подошли к бассейну, где у нас плавала единственная рыбка. И я, сделав над собой сверхъестественное усилие, спросил Милочку, что бы она ответила, если бы я объяснился ей в любви? Милочка сказала, что она не поверила бы мне, потому что я,

как ей кажется люблю другую. Кого же? Олю Янович. Я стал возражать, и постепенно мое объяснение из предположительного превратилось в утвердительное. Я был как в тумане. Страх я уже не чувствовал. Я упорно не соглашался ни на какие отговорки, настаивал на одном: «Милочка, я тебя люблю. Скажи мне, любишь ли ты меня». Конечно, я не смел говорить об этом так прямо, как написал сейчас. Я спрашивал: «Как ты ко мне относишься?» Васька, очевидно, не пришел на вечер, потому что я провожал Милочку домой. По дороге она попробовала сказать, что нам о любви говорить рано, мы еще дети. Я резко возразил против этого, хотел сказать, что мне уже пятнадцать лет, но не сказал. Цифра эта показалась мне не слишком внушительной. И так мы шли темной, но ясной ночью и дошли наконец до Милочкиного дома. Но я не отпустил ее. Я преградил ей путь к калитке, упершись рукой в забор, и требовал ответа. Я требовал только, чтобы она ответила мне: да или нет. Если нет, я никогда больше не буду говорить с ней о своей любви. Если да, то я ее буду любить всю жизнь и никогда не оставлю ее. Таков смысл того, что я бормотал, стоя прямо против нее, упершись рукой в забор. Милочка молчала, опустив голову. Один раз начала, но запнулась на первой букве, а какой — «н» или «д», я не мог понять. «Если она скажет — да, надо будет ее поцеловать», — подумал я. Но она все молчала. Я чувствовал, что она не может сказать «нет», но радости не было в моей душе, потому что я был отуманен, ошеломлен необычностью происходящего, собственной моей непонятной мне настойчивостью. И вот вдруг Милочка сказала: «Да». Я сделал шаг вперед, протянув руки, и напугал бедную девочку. Она метнулась вправо и молча скрылась, я слышал, как побежала она по двору. А я пошел домой, не понимая, что произошло. Она сказала: «Да». Но я напугал ее. Она обиделась. Убежала. Но все-таки она ответила: «Да». Зачем я протянул к ней руки? Что будет? На все это я получил ответы, завтра, 9 июня. Вот что произошло сорок лет назад.

22 июня

Утром 9 июня старого стиля, то есть ровно сорок лет назад, я проснулся с ощущением неблагополучия. Я уже не помнил, что Милочка сказала мне: «Да», не придавал этому значения. Передо мной стояло одно: Ми-

лочка, когда я хотел ее поцеловать, протянул к ней руки, сделал шаг вперед, — ужаснулась, рванулась в сторону и убежала. Я шагнул вперед молча, неуклюже. Зачем я это сделал? В середине дня меня известили, как вчера, что у гимназисток будет вечер выпускниц и мы приглашены. Мне стало как будто полегче. И вот я пришел на вечер в женскую гимназию...

Первое, что я обнаружил, придя на вечер, — Милочка не пришла! Я стал искать ее. Вышел на улицу. Крачковские жили совсем близко от гимназии. Дошел до поворота к ним. Милочки нет. Тогда я попросил Олю Янович и Лелю Соловьеву пойти узнать, что с ней. Это было так же несвойственно мне, как и мое вчерашнее поведение: я посмел показать свои чувства! Но Оля и Леля не удивились и не смутились, а очень просто согласились. И через полчаса вернулись с Милочкой. Но Милочка едва поздоровалась со мной. Я пришел в отчаянье. Студент Шапошников залюбовался Милочкой и попросил меня познакомить его с ней. Я резко отказал, чем крайне удивил его. А я подошел к Милочке, которая упорно не отходила от подруг, и сказал, что хочу поговорить с ней. Она пожала одним плечом, но послушалась. И вот, ходя взад и вперед по дворику, освещенному гимназическими окнами, мы объяснились. Я ходил, срывал листики акаций, сдергивал в пучок и был счастлив. Ровно сорок лет прошло.

23 июня

10 июня сорок лет назад я проснулся с ощущением счастья. После вчерашнего разговора я был переброшен в новый мир. Я, бродя с Милочкой взад и вперед по гимназическому длинному дворику, выяснил все: что она в самом деле рассердилась на меня вчера. (За что? Это не было названо.) Но теперь — прощает. (Почему? Это не было тоже сказано. Я был так сокрушен своей дерзостью, что даже назвать ее не смел. Подумать даже не мог о таких словах: «Милочка, прости за то, что я хотел тебя поцеловать».) Теперь я понимаю, что мы говорили обо всем этом, но другими словами. И она подтвердила, что любит меня тоже. И мы с наслаждением стали говорить о том, что до сих пор только смутно угадывали. О том, когда она впервые заметила, что я люблю ее, о разных встречах в прошлом, несчастных и счастливых, и о том, почему это получалось так. Но вот загре-



мел последний марш, и Милочка простилась со мною. Кто-то из подруг ночевал у нее, поэтому проводил я ее только до уголка. Я сказал шутливо, что, как рыцарь, буду стоять тут на углу, ждать, пока она не дойдет до дому. И мы расстались. Днем я встретил ее с Олей, и мы немножко поговорили, и Милочка была со мной ласкова. И этот день я причислил к счастливым. Вечером у папы играли бетховенские квартеты. Он играл первую скрипку, сердился, останавливал партнеров, но вот, наконец, они сыгрались, а я сидел в уголке и слушал. Впервые со всей ясностью ощутил я, что произошло, и поверил, что можно радоваться. Эти дни сорок лет назад во многом определили мою жизнь. Началась полоса радостей, а больше мучений такой силы, что заслонили от меня весь остальной мир. История с неудавшимся поцелуем тоже определила многое. Я был немислимо почтителен к Милочке. Я не смел «назначать ей свидание», самая мысль об этом приводила меня в ужас. Поэтому я бегал по улицам, искал встречи. Я не смел сказать ей ласкового слова. Но любил ее все время. Всегда. Изо всех сил.

24 июня

Сегодня исполнилось два года с тех пор, как начал я вести эти тетради на особых условиях, заключенных с самим собой. Многолетние занятия детской литературой ограничивают круг предметов, о которых позволяешь себе писать. Детский писатель — сочинитель, литератор по преимуществу, потому что имеет дело с читателем, требующим особой формы рассказа. Желая избавиться от всех этих неудобств, я и решил во что бы то ни стало писать нечто ни для чего и ни для кого. Научиться рассказывать все. Чтобы совсем избавиться от попыток даже литературной отделки, я стал позволять себе все: общие места, безвкусицу. Боязнь общих мест и безвкусицы приводит к такой серости, что читать страшно. Пустыня желтого цвета под солнцем имеет выражение. Пустыня серого цвета без солнца с серым небом — это уже и не страшно хотя бы. Позволив себе все, я окончательно запретил себе зачеркивать что бы то ни было, даже попытки литературной отделки. Запретил себе перечитывать то, что написано, так что я, вероятно, повторяюсь. К чему это привело? Начав писать все, что помню о себе, я, к своему удивлению, вспомнил много-

много больше, чем предполагал. И назвал такие вещи, о которых и думать не смел. Но боюсь, что со всеми своими запрещениями я их именно только назвал, а не описал. И чем я взрослее, тем труднее мне описывать. Но я не врал. В первые дни записей я своими рассказами раза два был близок к тому, чтобы заслонить от себя пережитое или по-новому осветить. Но это прошло.

11 июля

Лето 1912 года незаметно-незаметно перешло в осень, а каникулы — в последний год учения в майкопском реальном училище; я был полон одним: своей неизменной любовью, поэтому все внешние изменения проходили где-то за пределами жизни. Занятия, уроки, будни, праздники — все это было фоном, который был признаваем по одному признаку: мешал он или способствовал встречам с Милочкой. Но я менялся.

12 июля

Правда, все по-прежнему я развивался душевно и отставал умственно, как и всю мою жизнь. Но душевная жизнь заставляла меня и задумываться. Вот тут и образовалась особенная манера думать: лицом к лицу с предметом, — о которой я писал. А кроме того, произошло событие, определившее мою жизнь. Произошло это так. Осень стала вполне осенью. Прошел день моего рождения, 8 октября, и мне исполнилось шестнадцать лет. Я часто теперь встречался с Милочкой. О свидании я, конечно, и думать не смел. О том, чтобы назначить свидание. Я ловил ее на улице, по дороге в библиотеку. Первая ученица в классе, Милочка кроме того читала так же много и беспорядочно, как я. Я уговаривал ее, когда она выходила, переменив книгу, пойти погулять в городской сад, и она соглашалась, молча поворачивая в боковую аллею. Иногда она сама поворачивала туда. Это время было самым трудным в истории наших отношений. Мы еще дичились друг друга. Говорить было не о чем. И осенний сад с мокрыми деревьями — в эти часы и в такие дни я не бывал в нем до сих пор — глядел незнакомо и неласково. Но я стал писать в эти дни. И произошло вдруг то событие, о котором я говорил. Я писал стихотворение, как всегда, очень приблизительно зная, как я его кончу. Писал просто потому, что был полон неопределенными поэтическими ощущениями.

И вдруг мне пришло в голову, что я могу описать облако, которое, как палец, поднялось на горизонте. Я его не видел, а придумал. И это представление, с непонятной мне сегодня силой, просто ударило меня. Не самый этот образ, а сознание того, что в стихотворении я хозяин. Что я могу придумывать. Эта мысль просто перевернула меня. Я хозяин! И я написал стихи о распятии, очень плохо вырезанном деревенским плотником, но перед которым, плача, с деревенской верой молилась женщина. Я был в восторге.

13 июля

Эта выдумка тоже с неожиданной силой осветила, или, не знаю как сказать, переделала, мою привычную систему писать. Нет, даже способ жить. Я не могу теперь объяснить, что особенно необыкновенно значительное чудилось мне в этой выдумке. Но я помню чувство счастья, когда описывал погоду, в которую молилась у креста женщина. Я до такой степени ясно представил себе камни возле дома Санделя — камни, на которых появились точки от дождевых капель, камни «рябые от дождя», как я написал, — что даже сегодня это стихотворение, когда я стал вспоминать его, показалось мне связанным с квартирой Соколовых. Потом я описал заросли мака по дороге к «камням» за Белой. И это ощущение огромного хозяйства, мне принадлежащего — состоящего из вещей и пережитых и найденных, не случайных, а передающих то, что мне нужно, — перевернуло мою жизнь. Я словно заново научился ходить и смотреть, а главное — говорить. Полная моя невинность в стихотворной технике не только не мешала, а скорее помогала. Я просто ломал размер. Я обожал Гейне в чтении Бернгарда Ивановича, и размер его стихов помог мне втискивать то, что я хочу, в мои разорванные стихотворные строки. Кроме того, мне помогло следующее событие. Я за это время получил право заходить внутрь библиотеки, к книжным полкам, выбирать себе книги. И я вытащил книжку небольшого формата с непривычного цвета переплетом. Открыл ее и прочел: «Целовала их ночь в глаза». И эта строчка ударила меня и словно раздвинула границы моего хозяйства еще шире. Это были пьесы Блока. Я прочел заглавие и положил книжку на место. Мир мой расширился, но лень и страх перед напряжением, усили-

ем, перед новыми открытиями пребывали в нем по-старому. Я прочел из Блока всего одну строчку и стал его хвалить чуть не в каждом разговоре с Фреем и Юркой Соколовым, но прошел год, прежде чем мне попались его стихи. А пьес я так и не трогал. И так, я писал много — целые поэмы.

14 июля

Названия этих первых вещей я помню до сих пор: «Мертвая зыбь», «Четыре раба», «Офелия», «Похоронный марш»<sup>129</sup>. Были эти стихи необыкновенно мрачны. Я был до того счастлив в то время, что не боялся описывать горе, мрак, отчаяние, смерть. Для меня все эти понятия были красками — и только. Способом писать выразительно. Я нашел способ что-то высказывать, говорить свое — и вместе с тем как это было скрыто, запрятано за картинами вроде той, что я описывал: дождь, распятие, вырезанное деревенским плотником, женщина, плачущая у этого уродливого креста. Рассказывалось все это тяжело, нескладно, но я был счастлив и доволен... Я овладел (или нашел дорогу к овладению) тем, что стало для меня и верой и целью, самым главным в жизни, как я теперь вижу. Я нашел дорогу к писательской работе. Понял, что есть вещи и я. И я тут полный хозяин. И все. То, что я писал, было, конечно, чудовищно. Это было бормотанием одиночки в пустыне. Но я бормотал не что придется, а высказывался. Прошло, вероятно, с полгода, пока я прочел свои стихи Милочке. Прочел сам, ибо непривычный человек не мог бы поймать мой размер. Читал я, объясняя и доказывая, что тут я хотел сказать и как хорошо сказал. И Милочка иногда соглашалась со мной, а иной раз, по правдивости своей, не скрывала, что стихотворение ей не понравилось. Любопытно, что чужие стихи раздражали меня. Хвалил я одного Блока, не читая его. Пушкин не открылся мне. Лермонтова не понимал. Конечно, я схватывал нечто у своего времени, у своих современников, но бессознательно. Прочел я два стихотворения Маяковского, напечатанные, кажется, примерно в это время в «Новом сатириконе», — и пришел в восторг<sup>130</sup>. Мне почудилось, что у нас есть что-то общее. Но не искал других его стихов, не испытывал потребности. «Потом как-нибудь». И писал с каждым днем косноязычней. Я-то понимал, о чем бормочу, и радовался.

17 июля

Зимой приехала в Майкоп опера<sup>181</sup>. Откуда? Не помню. Шли «Аида», «Кармен», даже «Борис Годунов». Это было событием. Бернгард Иванович имел с нами предварительную беседу о предстоящих спектаклях. Одни оперы он хвалил больше, другие меньше. Вспомнив, как он играл нам дома «Кармен» и хвалил эту оперу, я поторопился назвать и ее. Но в ненависти своей ко мне Бернгард Иванович, не глядя на меня, заявил: «Многие до сих пор считают, что „Кармен“ не опера, а оперетта». Я к этому времени знал историю оперы. Фрей рассказал мне, что говорил о ней Ницше — со слов Фрея я имел представление об этом философе, примерно такое же, как по одной строчке о Блоке, и относился к нему с уважением. (Сейчас понял, как я развивался. Я делал прыжок, а потом надолго задерживался на одном месте, отбрасывал в страхе то, что могло бы заставить меня идти дальше. Поэтому ровно идущие сверстники то отставали, то перегоняли меня.) Я любил «Кармен» еще и вот почему. Летом в Анапе я иной раз вечером шел в городской сад, где в белой музыкантской раковине, выходящей на большую площадь среди низких кустов, играл довольно хороший оркестр. Они вывешивали в рамке, справа от раковины, программу концерта, что мне казалось признаком высокого мастерства. И вот там, впервые в жизни, я услышал Антракт к четвертому действию «Кармен». Когда после первых аккордов и мелодии все инструменты — нет, скрипки — трелями пошли подниматься все выше и выше, захваченная врасплох вялая душа моя очнулась и тоже вплелась в это движение, понеслась ввысь. Это было такое ясное, почти зрительное ощущение движения именно вверх, под углом, что я изумился и обрадовался этому чувству, как подарку. А Бернгард Иванович обругал оперу! Тем не менее я пошел ее слушать. Слушал и «Аиду», и «Бориса Годунова» — и вот тут оперу я полюбил.

18 июля

Тут я впервые услышал об успехе «Бориса Годунова» в Париже, о Дягилеве, о Баксте, о Русском балете. О балете говорили не с монашеским интеллигентским насмешливым осуждением, а как о высоком искусстве. Говорил Фрей, который читал и знал много больше ме-

ня. Для Юрки все это не было новостью. Я помню, как после «Бориса» он говорил, что французам вещи, нам столь близкие, должны казаться загадочными, — Восток! Так прибавилось имя Дягилева, Анны Павловой, Бакста к представлениям об искусстве, существующим у меня. С фантазией лентяя представлял я себе, что это за постановки, что это за художники, что это за актеры. С боязливой фантазией — а вдруг все это окажется не так, как я представляю себе? И я не читал ничего о них, бегло просмотрел эскизы Бакста — и со страхом почувствовал, что они кажутся мне слишком красивыми, и задушил эту мысль. И всем расхваливал Дягилева и «Мир искусства»<sup>132</sup>, как Блока — по одной строчке. Сейчас вдруг мне показалось, что, может быть, в этом страхе было здоровое ощущение, что мне предстоит своя дорога, что на учение я туповат? Кто знает. К приезду оперы мы с Милочкой уже часто ссорились, что было естественно, и я стремился скорее, любой ценой выпросить прощение, помириться в тот же день, что уже было неестественно. У нас в реальном было особое выражение: «солка». Это значило — насолить той, в кого влюблен, если поссорился с ней. Не подходить к ней на вечере. Умышленно ухаживать за другой. Кто-то из наших, на вид грубоватый куркуль, сказал, что в любви «солка» — самое главное. И Юрка сказал, что после этих слов он почувствовал к нему уважение. Вот это было для меня больше чем недоступно — мне просто и в голову не приходило хитрить, обижать Милочку умышленно, чтобы наказать. Я был прямо и открыто влюблен да и только. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен. Узнал я это на одной из опер. За день до этого мы собирались к Зайченко. Милочка сказала, что она не пойдет. Отказался идти и я. В театре из разговоров в антракте выяснилось, что Милочка все-таки была у Зайченко. Я не посмел обидеться. Каково же было мое удивление, когда Милочка, выбрав минутку, попросила меня: «Не сердись».

19 июля

И меня осенило — таков был мой излюбленный способ мыслить (я хотел сказать — единственный способ думать) в те дни. Единственный доступный для меня. Когда Милочка с явным, глубоким наслаждением сказала: «Не сердись», меня осенило: она в глубине души

жаждет властного мужского обращения. А я, дурак, молюсь на нее, выпрашиваю чуть-чуть любви, не смею даже спросить, в котором часу она пойдет в библиотеку. И часто потом Милочка говорила мне «Не сердись» без всякого повода с моей стороны. Но от понимания до действия у меня было так далеко! Я был связан по рукам и ногам страшной силой своей любви. Или своей слабостью? Однажды мы шли вечером через большой пустырь, тот самый, где в 1905 году я увидел первый в моей жизни митинг, где ходили канатоходцы, крутились перекидные качели и вертелись карусели на пасху. Теперь тут было пустынно, темно. Мы остановились возле остатков какого-то решетчатого забора. Видимо, кто-то когда-то собирался огородить эту площадь, да и раздумал. Мы, как это бывало часто, ссорились. Выясняли отношения. Слова «наши отношения» я повторял так часто, что Милочка воскликнула однажды: «Не могу я больше слышать этих слов», — после чего меня осенило, что я дурак. Но тем не менее я продолжал расспрашивать Милочку, любит ли она меня, не кажется ли ей это и так далее, при каждой встрече. Что-то подобное, вероятно, происходило и на этот раз. И в пылу ссоры, чтобы уверить Милочку в чем-то, я взял ее за руку — и сразу умолк. Замолчала и она. Это было счастье, какого я не переживал еще. Счастье особенной, освященной силой любви — близости. Так мы и пошли — потихоньку, молча, держась за руки, как дети. С этого скромнейшего прикосновения началась новая эра в истории нашей любви. Ссориться мы стали меньше. При каждой встрече я брал Милочку за руку. Ее чуть полная, по-детски, кисть, чуть надутая духами, которые я узнаю и теперь, серо-голубые глаза, ореол светящихся надо лбом волос — вот что заслоняло от меня всю жизнь. И однажды я обнял Милочку за плечи.

20 июля

Дело уже шло к концу учебного года. Пришла ранняя майкопская весна. Теперь мы добирались домой дальними дорогами, спускались вниз, к Белой, шли дорожкой между кустами, где по майкопскому обыкновению то пахло цветами и тополем, то тянуло человеческими отбросами. Проходя узкой дорожкой между деревьями, мы иногда останавливались, и я обнимал

Милочку, и она опускала мне голову на плечо, и так мы стояли молча, как во сне. И много-много времени прошло, пока я осмелился поцеловать ее в губы. И то не поцеловать, а приложиться осторожно своими губами — к ее. И все. За все долгие годы моей любви я не осмелился ни на что большее. В 21 году, когда мы переехали в Ленинград и мне казалось, что я погубил свою жизнь, я уходил на Васильевский остров, на Средний проспект, к тому дому, где встречались мы с Милочкой в последние месяцы моей любви. Я смотрел на окна ее комнаты, и мне казалось, что, будь она моей женой, вся моя жизнь была бы другой. Не знаю, было бы это на самом деле? Но тогда я бывал от этих детских ласк, от стихов, от весны как в тумане. И если бы мне сказали, что Милочка выйдет за другого, — я просто не поверил бы. Это было бы уж слишком страшно. О нашей, нет, о моей любви знали все. И вот однажды Василий Соломонович позвал меня в свой кабинет после уроков. Он спокойно и серьезно, без тени раздражения, спросил меня, не хочу ли я остаться на второй год? Нет ли у меня для того особых причин? Если нет, то он предлагает мне подтянуться, иначе меня не допустят к экзаменам. Я сказал, что причин таких у меня не имеется, и обещал подтянуться. Оказывается, на совете (в дружеских, правда, тонах) говорили о моей влюбленности и высказывали предположение, что я хочу остаться на второй год из-за Милочки: в женской гимназии было восемь классов — следовательно, она кончала школу свою годом позже меня. И я стал изо всех сил стараться исправить свои отметки. Страх второгодничества еще крепко сидел во мне.

24 июля

Пришли дни последних выпускных экзаменов, месяц прощания с майкопским реальным училищем. Как и год назад, добыл я картонку от счетной книжки — от переплета счетной книжки такого же примерно формата, как та, на которой я пишу. На картонке этой я написал расписание выпускных экзаменов и вычеркивал потом с суеверной тщательностью, как в прошлом году, каждый из них после того, как я сдавал его. Изменившийся строгий зал наш с далеко отставленными друг от друга столами. Дружная майкопская весна, уже, в сущности, лето. Первый экзамен — по русскому языку. Ва-



силий Соломонович прочитывает вслух и потом пишет на доске не совсем обычную тему: «Влияние воспитания на образование характера по роману Тургенева „Дворянское гнездо“ — и не помню еще по каким сочинениям. Помню, что я доказывал, что воспитание не является единственным влиянием в образовании характера. Получил я за сочинение свое четверку. Зато едва не провалился по аналитической геометрии, сделав неправильный чертеж: в припадке затмения я не поместил вершину эллипса на пересечении координат. За письменную работу я получил двойку и выплыл с трудом на устной. Выплыл я и на физике и получил тройку по закону божьему, — два самых опасных для меня экзамена. Со второй половины экзаменов страх почти пропал, волновался я больше из суеверия.

26 июля

До первых чисел июня собирались мы в опустевшем училище, никак не понимая, что кончается огромный период нашей жизни и мы расстаемся навеки. Очень уж весело нам было в то время. До того весело, что мы не говорили, а орали, не ходили, а бегали. Шум в пустых и гулких коридорах училища поднимали мы такой, что Михаил Осипович Чехагидзе, наш надзиратель, то и дело бегал нас успокаивать. На балконе, расположенном на крыше широкого крыльца, на стенах у стеклянных дверей, ведущих в зал, мы расписались все на память, а я нарочно крупнее всех, да еще обвел фамилию свою рамкой. На беду расписался я химическим карандашом, и, когда прошел дождь, фамилия моя выступила с ужасающей ясностью. И Бернгард Иванович вызвал меня на балкон и, не глядя на меня из ненависти, так отругал, что я совсем забыл о том, что живу взрослой, сложной и счастливой жизнью. Так я получил свой последний выговор в училище. И печальнее всего было то, что я любил Бернгарда Ивановича и восхищался им, не смотря ни на что. Так мы и расстались, не объяснившись и не договорившись. Но самым счастливым временем тех дней были поиски Милочки. Свидания все не назначались, я должен был искать ее. В городском саду угадывал ее издали-издали, стоило только ее косам мелькнуть и просиять на солнце. Помню день, когда я уже не надеялся найти Милочку, пришел в отчаянье и вдруг увидел ее за оранжереей, за домиком садовника.

И когда я подошел к ней, задыхаясь, запаренный, и спросил: «Наверное, у меня дикий вид?» — она молча и с нежностью взглянула на меня.

27 июля

Встречи наши усложнялись еще и тем, что Варвара Михайловна терпеть не могла меня. Она обожала Милочку и каждого, кого считала возможным женихом, каждого, кто влюблялся в нее, начинала ненавидеть всеми силами своей измученной, сердитой души. Когда о моей любви заговорили на педагогическом совете, там, на мою беду, присутствовала и Варвара Михайловна как член родительского комитета. Она всячески нападала на меня и до этого. Нападала в разговорах с Милочкой. Уничтожала меня в ее глазах, действуя очень разумно: доказывала, что я неряха — вон, мол, брюки чуть не до колен в майкопской грязи. И волосы растрепаны. И козырек на фуражке висит — надорван с одной стороны, И неловок — не танцую, горблюсь. И плохо учусь. От Милочки я знал об этой вражде, которая еще выросла после педагогического совета. «Если при мне так говорят, то что же говорят за глаза!» — сказала она Милочке. Из-за всего этого встречаться нам приходилось, соблюдая осторожность. Боюсь, что Милочке доставалось от матери сильнее и чаще, чем я думал. А она, Милочка, жалела ее и любила....

28 июля

Мне выдали аттестат об окончании реального училища. Кем быть? Я давно решил стать писателем, но говорить об этом старшим остерегался. Считалось само собой разумеющимся, что я должен после среднего получить и высшее образование. Но куда идти? Казалось бы, что самым близким факультетом к избранной мной профессии был филологический. Но для реалиста он был невозможен из-за латинского и греческого языков. И как все, не знающие куда идти, я выбрал юридический факультет. В этом году, ввиду незнания латыни, я не мог поступить в университет. Но в Москве открылся Коммерческий институт, куда ушли все лучшие профессора из университета после разгрома Кассо<sup>133</sup>. Старшие решили так: послать мои документы в Коммерческий институт. Если меня туда не примут, то все-таки жить в Москве, слушать лекции в университете Шанявского

и готовить латынь, которую и попытаться сдать в декабре. И вот и мои документы уехали в Москву.

5 августа

Уже тогда полностью определился основной мой недостаток: я через посредство людей ощущал и постигал божество. Я зависел от людей. В Милочке заключалась для меня поэзия. Может быть, и набожность прежних дней целиком ушла в чувства к ней. Я постигал божество только через людей и себя расценивал в зависимости от их оценки, от их отношения. Мы ссорились все чаще. Чем ближе подходили мы друг к другу, тем большей близости бессознательно хотели. Но она была невозможна. И со своей открытостью и бесхитростностью я все обвинял Милочку. В чем? Что она не так сказала что-то мне, обнаружив тем самым равнодушие. Что она только притворяется, что любит меня. Боже мой, и сейчас стыдно вспомнить, как я был придирчив и надоедлив. Но все же пока что это богатое событиями лето шло счастливо. Мы продолжали встречаться, каким-то чудом в маленьком городке ни разу не попадаясь Варваре Михайловне.

20 августа

Мне купили костюм, готовый, у Богарсукова. У Чумалова купил я галстук и воротничок 37-й номер. Мы собираемся в Москву. Из Коммерческого института ответа все нет, но у папы отпуск, и он решает провести его в Москве, поработать у кого-нибудь из светил-хирургов, что тогда было принято, и заодно пристроить меня куда-нибудь, если не в Коммерческий институт, то к Шанявскому, чтобы год не пропал. И мы едем. Незадолго до этого произошло крушение на станции Сосыка. Мы видим обожженную траву под откосом. Обломки вагонов. В первый раз в жизни попадаю я в вагон-ресторан — и радуюсь блеску судков, огромным окнам, мягкому стуку колес. Мы едем в III классе, и я считаю это вполне понятным, даже хорошим тоном. Так ездят и Соловьевы, и Истамановы, и даже Зайченко, люди состоятельные...

21 августа

Едем по Курской дороге.

Я впервые в жизни вижу высокие белые вокзалы, и они кажутся мне чужими, неприветливыми, да и па-

па говорит, что Владикавказская железная дорога куда богаче и благоустроенней. Тоскливое чувство — вокруг новый мир, в котором я одинок, — не исчезает, а усиливается в дороге. Маленькая станция, раннее утро. Странный крик детских голосов. Они повторяют одно и то же слово, и знакомое, и незнакомое: «Млачка, млачка, млачка». Я выхожу на площадку и вижу: с десяток девочек с кувшинами, бутылками, кружками продают молоко. На другой, такой же маленькой белой станции с желтеющими деревьями я был озадачен незнакомым птичьим криком. Кто-то объяснил мне, что это галки. Рассвет. Я стою на площадке вагона и слышу торопливые, как бы негодующие выкрики, слышу возню в ветках, хлопанье крыльев и удивляюсь чужому миру. Десять лет я не выезжал с юга, и каких десять лет — от семи до семнадцати. В Москву мы приехали вечером и остановились на Тверской в меблированных комнатах «Мадрид» или что-то в этом роде. Помещались они во втором этаже, примерно на том месте, где театр им. Ермоловой. Утром вышел я взглянуть на Москву. Чужой, чужой мир, люди, люди, люди — и всем я безразличен. Отвратительная суета, невысокие грязные дома, множество нищих, жалкие извозчики одноконные, с драными пролетками. Я спустился к Охотному ряду — грязь, грязь, и дошел до Большого театра. Вот он мне понравился...

В Коммерческом институте чужие и враждебные канцелярские служащие порылись в каких-то списках и сообщили: «Не принят за отсутствием вакансии».

22 августа

Кажется, Малая Бронная была продолжением Владимир-Долгоруковской, вела к Тверскому бульвару. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый полупьяный, в картузах и сапогах, народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных, возле кино. Босяки, страшные, хриплые проститутки — тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Обман, мираж, выдумка старших. Где сорок сороков? Бедные, подмокшие на осенних дождях церквушки теряются среди грязных домов.

23 августа

Храм Христа Спасителя поражал своим невиданно огромным золотым куполом, но я знал, что знатоки не одобряют его и считают просто несчастьем, что витберговский проект не был осуществлен<sup>134</sup>. Я пошел в неряшливо содержащийся Кремль. По его булыжной мостовой трещали колеса пролеток, проезжали ломовики с рогожными тюками, что казалось мне тоже признаком чисто московским. Рогожное богатство. Не понравился мне и дворец. Старая Русь и николаевская перемешаны, как в московской солянке. Общее было — рогожная, неряшливая, осенняя московская окраска. И духа истории поэтому не ощутил я в Кремле. Старая — отодвинута, новая — в Петербурге. Соборы внутри были как бы в дремоте, народу нет. Святые глядят отчужденно, не то что в Жиздре. Только Василий Блаженный привел меня в чувство, разбудил ненадолго. И внутри — узкие переходы, узорная роспись стен.

24 августа

Я тосковал и горевал, потому что с каждым днем становилось яснее, что нет на свете той Москвы, о которой я привык думать как об окончательной, абсолютной инстанции, более высокой, чем Петербург, сборище совершенств во всех областях. На домах, знакомых по фотографиям, по открыткам, — точнее, на знаменитых домах Москвы штукатурка облупилась, темнели пятна, казались дома озабоченными, служащими. Только дом Пашкова — Румянцевский музей — казался на своем холме прекрасным. Печально я шел из Окружного суда на Владимиро-Долгоруковскую. На углах лоточники продавали виноград — новое разочарование. Ташкентский виноград по сравнению с нашим, майкопским, казался мне деревянным, не случайно засыпанным опилками, которые с трудом отмывались. Взяв у отца рубль, отправился я однажды в театр. Я, судя по Майкопу и Екатеринодару, считал, что подойдешь к кассе, купишь билет — и все. Но всюду все билеты были проданы. Маруся Зайченко рассказывала, что в Художественном театре билеты всегда проданы, но все было продано и у Корша, и в опере Зимина. Только у Незлобина мне удалось купить билет на галерку. Шло «Горячее сердце». Хорошо, но не слишком, почувствовал я с первых же явлений. Почему? Я знал, что мечта каждого актера

служить в Москве. Почему же столько средних артистов ходит по сцене? Мне понравился Нелидов, но Лихачев! Какой же это Вася? Что это значит? Что за несправедливость, глупость, недоразумение? В конце спектакля вместе с актерами вышел кланяться лысоватый, улыбающийся человек. Только утром из «Русского слова» я узнал, что это был режиссер спектакля Зонов. Я, сам того не подозревая, попал на премьеру. В рецензии Зонова хвалили, называли талантливым, и я пожалел, что не рассмотрел его получше. Борис Григорьевич Вейсман<sup>135</sup> пригласил нас обедать. В Москве он процветал. Занимал он большую квартиру где-то на углу Тверской и одного из переулков, идущих к Дмитровке.

25 августа

Я шел к веселому, приветливому Вейсману, которого помнил с 1909-го (кажется) так, будто видел его вчера... Вейсман, вырвавшийся из майкопской жизни в другой мир, встретил нас приветливо, но в обращении его я угадал ту же враждебность, что мучила меня в московской толпе, что разлита была в осеннем, туманном московском воздухе. Мы были чужие тут. Я знал, что Вейсман развелся с Анной Ильиничной, рассказывали, что его новая жена — красавица. Но эта пышная московская женщина была нам тоже чужда. Когда за обедом подали артишоки, папа, вместо того чтобы поглядеть, как их едят другие, сказал громко: «Объясните, как с этой штукой обращаются». А Вейсман, вместо того чтобы так же весело и шутливо ответить, стал объяснять без улыбки, что листики обрываются и съедается их мясистая часть. Не улыбнулась и его жена. Вейсман со своей квартирой и красавицей женой принадлежал к тому миру, который так страшен был мне; более того, он являлся одним из хозяев этого мира. Он рассказал за обедом, как они были на днях в Большом театре. Пел Собинов, и его освещали прожектором. Они сидели в ложе бенуара. Они стали громко возмущаться безвкусицей этого приема. Директор театра, который сидел в ложе рядом, встал и вышел, и прожектор погас. Ха-ха! Встал, вышел и приказал погасить дурацкий прожектор!

26 августа

В мою сторону хозяин московской жизни, по слову которого директор вставал и бежал гасить прожектора

на сцене театра, и не глядел. Через несколько дней он позвонил к нам на Владимиро-Долгоруковскую. Папы не было дома. Вейсман сказал, что сожалеет об этом, — у него есть место в ложе в Большой. «Ах, жалко, жалко!» — повторял он задумчиво. Я ждал, что он позовет меня, но не дождался. И больше мы никогда в жизни не разговаривали и не видались. Но краткая эта встреча прибавила к темной той московской осени еще одну тучу. Нет, счастье отвернулось от меня, про света нет. Я в чужом городе, где такие, как я, никому не нужны. И я все бродил, бродил по улицам. На Тверской, примерно там, где теперь почта, один из домов почему-то выступал фасадом вперед до середины панели. Здесь образовывался угол, особенно теснилась толпа прохожих, и на зеленой стене, перегораживающей панель, висела низко вывеска-реклама нескольких магазинов с зеркалом посредине. Сколько раз видел я свое унылое лицо в этом зеркале, а московская толпа колебалась, шагала, теснилась на ходу вокруг. «Да, тут знакомого на улице не встретишь!» — повторял много раз папа с некоторой даже гордостью за Москву, а меня это как раз и ужасало. Познакомились мы еще с одними хозяевами Москвы, совсем другого рода. Известный акушер и гинеколог (родильный дом на Молчановке до сих пор носит его имя) — доктор Григорий Львович Грауэрман приходился отцу двоюродным братом. В студенческие годы был он репетитором в семье Сатиных, да так и остался в этой известной дворянской, интеллигентской, московской семье на всю жизнь. О нем Белочка<sup>186</sup> говорила как о человеке, «из которого что-то вышло». Блеск его имени увеличивался еще и тем, что Рахманинов был племянником Сатиных.

29 августа

Я увидел афишу, что в Политехническом музее писатель Марк Криницкий прочтет лекцию на тему о слове (точное название забыл). Бородатый и нервный человек доказывал не слишком красноречиво, но без признака робости, что слово бессильно, передает подлинный смысл приблизительно и несовершенно. Огромная аудитория музея была наполнена до отказа и слушала внимательно. Я был полон двумя чувствами. С одной стороны, я Криницкого презирал, так как не читал ни строчки его и знал, что его не принимают всерьез.

С другой стороны, я необыкновенно уважал его и разглядывал, как чудо: все-таки он был настоящий писатель. Книжки его печатались, я видел их в книжных магазинах и железнодорожных киосках. Я не сомневался, что все московские писатели придут на лекцию, и жадно искал их в первых рядах. Особенно хотелось мне видеть Бунина. Одна строчка его стихов сыграла в моей жизни тогдашней роль вроде вышеуказанной блоковской. Я прочел у Бунина: «Курган был жесткий, выбитый, кольчуга колола грудь».

30 августа

По этой строке я влюбился в него, и любовь эта не ослабела с годами, нашла подтверждение.

Бунина не было. Так как после лекции должен был состояться диспут, то создался президиум. В него не избирали, а сам Криницкий, обращаясь в публику, называл известных лиц, звал на эстраду. Одни отказывались, другие шли. Увы! Среди этих известных лиц я не знал ни одного. Кто-то из них выступал, кто-то сидел в президиуме молча. Криницкий стал просить, чтобы выступил сухенький, маленький еврей с неподвижным лицом, сидящий в первом ряду. Он отказывался. «Выступите!» — попросил Криницкий, и его лицо сложилось в гримасу, которую я понял так: «Ну что вам стоит! А мне это нужно». Еврей с неподвижным лицом согласился, маленькая его фигурка появилась на кафедре, и вдруг все с тем же неподвижным лицом он заговорит страстно, быстро, легко и литературно, за что я тотчас же осудил его. За литературность. Ко времени диспута я уже пробрался к самой трибуне. Я глядел на оратора, на зал и вынужден был все-таки согласиться с тем, что речь держит мастер своего дела. Аудитория притихла, стулья не скрипели, все заслушались...

Приближался конец папиному отпуску. Он все это время работал у хирурга Герцена.

31 августа

Незадолго до его отъезда отправился я в университет Шанявского на Миусскую площадь. Там я записался на лекции юридического факультета. Мне очень понравилось в коридорах здания, показались необыкновенно уютными диванчики в углублениях за колоннами в холле второго этажа. Там свисали с потолка лампы



в кубических матовых фонарях. С одной из лестниц в длинное окно увидел я Миусскую площадь — унылую, осеннюю, брандмауэры домов, закат за домами. Рамка придавала этому виду особую выразительность, примирившую меня с его московской окраской. В другое окно (кажется, из холла второго этажа) виднелся второй корпус университета, или второе его крыло. Я вглядывался в огни этого корпуса с особым уважением: говорили, что там работает профессор Бахметьев, болгарин. О его опытах по анабиозу рассказывали чудеса. Увидел я библиотеку, лекционные залы. Одна аудитория была очень велика — круто падающим амфитеатром напоминала она мне большой зал Политехнического музея. Но была она парадна, нова. Стиль модерн, в котором был выстроен университет Шанявского, очень нравился мне. И был-то он выстроен недавно, году в 10-м, вероятно. В канцелярии были вежливы, но я чувствовал, что не нравился строгим девицам, записывающим меня, как не нравился Вейсману, Грауэрману, Сатиным, Москве вообще. Мы отправились с папой искать комнату и нашли ее на 1-й Брестской у площади Брестского вокзала, он же Александровский, ныне Белорусский. Прежняя наша комната на Владимиро-Долгоруковской была для одного меня велика. Новая комната оказалась длинной, кишкоподобной, хоть и чистой. В углу у окна стоял дамский письменный столик с затейливым стеклянным шкафчиком модерн.

1 сентября

Крошечный столик с маленьким шкафчиком со стеклянной дверцей, поделенной на четырехугольнички. Лампочка в виде декадентски вытянутой бронзовой девушки. Собрание сочинений Уайльда в издании Маркса и Куприна в том же издании. Тетрадки. Полоски бумаги со стихами и тоска, тоска, одиночество, одиночество. Сколько часов просидел я у этого столика, в тысячный раз перечитывая Куприна и Уайльда, которых купил у букиниста, или сочиняя отчаянные письма Милочке, или стихи и даже рассказы. Любил я Уайльда и Куприна? Не очень. Но они подвернулись мне и не беспокоили меня в моей знаниефобии. Занятия в университете Шанявского шли вечерами. И я убедился в ужасе, что не могу слушать профессоров — и каких! Мануйлов, читающий политическую экономию, Кизе-

веттер, о котором говорили, что он второй оратор Москвы (первым считали Маклакова), Хвостов, Юлий Айхенвальд (критик) и многие другие внушали мне только тоску и ужас, и я не в силах был поверить, что их дисциплины (тут я впервые услышал это название) имеют ко мне какое-то отношение... Я не имел ни малейшей склонности к юридическим наукам и чем ближе их узнавал, тем более ненавидел. Папа уехал. Я проснулся утром в своей комнате с чувством свободы. Я сам себе хозяин! Сделав гимнастику, я вышел.

4 сентября

За несколько дней до папиного отъезда приехала в Москву Маруся Зайченко. Поселилась она в Георгиевском переулке на Спиридоньевке. Она встретила меня приветливо, но тут я впервые ощутил разницу между летней и зимней дружбой. Она была озабочена курсами, музыкой, московскими своими делами. В Москве она была своя, пришлось ко двору, и ей не в силах я был втолковать, чем я тут огорчаюсь и мучаюсь. Но она видела, что в Москве я нелеп, и все уговаривала опомниться, взять себя в руки, найти себе тут место. Она водила меня по московским переулкам, чтобы показать, в чем особая прелесть города. И в самом деле — я полюбил Гранатный переулок и до сих пор не могу забыть его. И в первый день моей самостоятельной жизни я отправился, огорченный учителем, туда, в Гранатный. Мечтать. Собаки лечатся травой, а я успокаивал угрызения совести своей ходьбой. Сначала я останавливался у старинного особняка с колоннами. Одни говорили, что он уцелел от московского пожара, другие — что это позднейшая подделка. Правы оказались первые, но в 13 году я не знал, кому верить, и это раздражало меня. Я выбрал для мечтаний особняк на другой стороне улицы. И сегодня я представлял себе в подробностях, как я в этом особняке живу, окруженный почетом и славой. Ранними осенними сумерками побрел я в университет Шанявского. Деревянные Тверские-Ямские. На одном из самых печальных деревянных бедных домов мемориальная доска сообщает, что жил здесь народный поэт Дрожжин. И вот я в аудитории, с тоской еще более острой, чем в училище, жду перерыва между лекциями. И ничего, ничего не слышу. С почтением и презрением гляжу я на сосредото-

ченные лица профессоров: «Дисциплины ваши не то что противоречат, а несоизмеримы всему моему миру». В перерыве я сижу на черном диване в нише за колоннами в холле второго этажа в тоске и одиночестве. И не иду на лекцию.

5 сентября

И возвращаюсь домой. И вижу, что у швейцара на столе уже лежит вечерняя почта, но конверта со знакомым, таинственным и прекрасным, острым почерком — не обнаруживаю. Я угадываю это сразу, едва взглянув на почту, и тоска уже открыто мертвой хваткой берет меня за горло. Таков был первый день моей вольной жизни в Москве. Не привыкший к систематическому труду, изнеженный мечтательностью, избалованный доброжелательными и терпеливыми друзьями, югом, маленьким городом, где половину прохожих я знал если не по имени, то в лицо, я оказался один — и при этом безоружным и оглушенным силой своей любви — в сердитой Москве. И понемногу я стал умнеть. Прежде всего я заметил, что я окружен людьми несчастными. Толкущиеся у пивных, у кино москвичи в картузах и сапогах томились и ругались, иногда и дрались, собирая вокруг молчаливую толпу. Вот женщина несет узел, который ее задавил. Она присела на выступе забора. Терпит. Счастливыми казались только молочно-розовые приказчики у Чичкина и Бландова да охотнорядские молодцы. И я стал думать — думать, вероятно, впервые в жизни. Однажды, сидя на черном диванчике в холле второго этажа и глядя на таинственные окна бахметьевской лаборатории, я вдруг понял, как легко человек понимает уже открытое, найденное, названное и как медленно открывает, идет вперед. И ужаснулся. Я думал невесть как ясно и ново, но думал. Только не на лекциях. Понимал я только историка Фортунатова да критика Айхенвальда. Первого любил, а второго ненавидел. Я тогда уже понял, что у писателя и критика разные виды сознания, нигде не сходящиеся, противоположные. Больше общего можно найти между математиком и писателем. Айхенвальд весьма рассудочно старался быть поэтичным. Когда он мягким и вкрадчивым голосом говорил: «Слог Гончарова напоминает ряд комнат, устланных коврами», — я испытывал отчаянье.

6 сентября

И уже тогда ужасало меня название книги его: «Силуэты русских писателей». Силуэты! Да еще в дополнении ко всему фраза о Гончарове, слог которого напоминает ряд комнат, полностью находилась и в его книге. А я с безграничной требовательностью человека из маленького города, мальчика из маленького города, ждал от профессора чудес. И, не признавая, я все же прятал это в глубине души. Я испытывал отчаянье: «И тут ничего хорошего!» Но звание «профессор» имело для меня непререкаемое обаяние. В отрицании моем не было уверенности. Был страх: может быть, все-таки это я ничего не понимаю. Кажется, в этом же году Айхенвальд обидел Белинского, назвав его «умным мальчиком» или что-то в этом роде, а Сакулин гневно за него вступился. Где я слышал Сакулина? Это было имя еще более известное, чем Айхенвальд, во всяком случае более солидное, почтенное, академическое. Но и он показался мне до такой степени чужим! К Белинскому у меня было свое отношение, я его ощущал живым человеком, любил, несмотря на то, что он был критиком. Он жил в моей душе не только тем, что написал, а тем, что рассказывалось о его жизни. Словом, к моему отношению к Белинскому, так же как и ко мне лично, споры Сакулина с Айхенвальдом отношения не имели. Мне было неинтересно. Я поглядывал на Сакулина и все старался угадать в нем признаки выдающегося молодого ученого. И не мог угадать. А Айхенвальд на горячую речь Сакулина отвечал мягко. Сказал только, что в своем выступлении Сакулин оказался гораздо более критиком-импрессионистом, чем он, Айхенвальд. Впрочем, возможно, что спор о Белинском разгорелся позже, когда я уже был студентом настоящего университета. Но отношение мое к обоим спорщикам и предмету спора было именно такое, как я рассказываю. Зато Фортунатов мне ужасно нравился. У него была кроткая, вразумительная стариковская речь. Вразумительность подчеркивалась еще и тем, что у него была привычка повторять концы фраз, как бы диктуя. Седая борода.

7 сентября

Выпуклый лоб. Седые волосы. Мне всегда казалось, что большая борода скрывает, прячет подлинное лицо еще действительно, чем маскарадная полумаска.

Скрыты такие определяющие человека черты, как рот и подбородок. Поэтому Фортунатов походил и на Дарвина, и на Уоллеса<sup>137</sup>, но сквозь эту маску так и светились добродушие, которого жаждала моя душа. Ученый он был, по слухам, второстепенный, но огромная аудитория на лекциях его была полна. Лектор-то он был первоклассный.

С каждым днем хуже делалась погода. А тут еще выяснилось, что я не умею обращаться с деньгами. Папа присылал мне по тому времени очень много: пятьдесят рублей в месяц. И они расходились у меня неведомо куда с загадочной быстротой.

9 сентября

И вот, наконец, мне достался каким-то чудом билет в Художественный театр. Кажется, кто-то из многочисленных знакомых Маруси Зайченко не мог идти в этот день на спектакль, и мне уступили билет как новому человеку, которому пора приобщиться к главному чуду города. Трудно представить, каким благоговейным почетом окружен был в те годы Художественный. Слово «театр» не всегда прибавлялось, когда называли его. «Был вчера в Художественном. Достал билеты в Художественный»...

Итак, я шел в Художественный. С утра я готовился к этому чуду: то есть совсем уж ничего не делал. И глупость моя и полное неумение жить привели к тому, что я в конце концов так плохо рассчитал время, что опоздал, подумать только — ухитрился опоздать в театр, который славился той особенностью, что опоздавших в зал не пускали. Вежливый пожилой капельдинер объяснил мне не без удовольствия, что придется обождать антракта. Шел спектакль «Николай Ставрогин», инсценировка «Бесов». Незадолго до премьеры в газетах появилось письмо Горького, полное упреков по адресу театра<sup>138</sup>. Как можно инсценировать реакционнейший роман Достоевского? Режиссеры отвечали<sup>139</sup>. Вся эта полемика была в те дни так же чужда мне, как спор Сакулина с Айхенвальдом. Я просто несколько удивился, что у Достоевского могут быть реакционнейшие романы, и не слишком поверил этому. В спектакле я пропустил только первую сцену, на паперти, — как я узнал потом, одну из лучших. Остальное произвело смешанное впечатление из-за двух развившихся в Москве

чувств — из недоверия и желания верить. Безжалостный и не знающий скидок, суровый, выросший в стороне от Москвы — один, так сказать, демон и другой — так страстно желающий восхищаться. Я не смотрел, а страдал.

10 сентября

Качалов мне показался маловыразительным, против чего демон почтения и славопочитания поднял такую бурю, что я сдался. Остальные тоже казались мне просто приглушенными, а не правдивыми. Исключение представляла Лилина, которая играла хромоножку удивительно и одна только походила на героиню Достоевского. Произвел на меня впечатление и Берснев — Верховенский-младший. Не помню, кто играл Шатова, но самые страшные сцены спектакля вызвали у меня не ужас, а смущение. Вот и еще одно московское чудо зашаталось! Но через некоторое время, когда я проходил Камергерским переулком, у самых дверей театра остановил меня мальчик и предложил билет на «Вишневый сад». Несмотря на цену (три рубля), я купил билет. Место оказалось удивительным — в партере, как раз против прохода, в самом центре. И тут оба демона умолкли, душа у меня открылась, и я уверовал. Фирса еще играл Артем, а Епиходов был неожиданный: Чехов<sup>140</sup>. Понравился он мне необыкновенно — так я увидел этого удивительного артиста впервые.

11 сентября

Я полюбил Третьяковскую галерею, она казалась мне дружественной во враждебной Москве. Правда, в репродукциях картины нравились мне больше, чем в подлинниках, но я скоро привык к ним. Я ходил туда часто, каждый раз, когда тоска особенно сильно меня душила. Невысокий красный кирпичный дом каждый раз как-то успокоительно взглядывал на меня. Он стоял во дворе скромно. Он меня не разочаровал — я ничего не знал о нем заранее... Однажды я прочел афишу футуристов. Вечер должен был состояться на Дмитровке — забыл название учреждения, кажется, Литературно-художественный кружок. У них над домом, у кружка этого, была на фронтоне мозаичная с золотом, как мне казалось, претенциозная вывеска. В афише запомнились слова: «Долители изнуренных жаб». Я купил би-

лет. Через туман и тревогу свою, как издали, без возмущения и восторга смотрел я на картины глухого, серо-синего тона с полосами и лучами, выставленные вокруг кафедры в зале. Чьи — забыл.

12 сентября

В картинах этих ничего я не почувствовал, да и не мог почувствовать, но угадал, что у художников есть какая-то своя задача, и вовсе не наглость, безграмотность, стремление к саморекламе заставляет их писать таким именно образом. Рядом со мной стоял человек в визитке, адвокатского типа. Он смотрел на картины серьезно, без осуждения, как мне показалось. Я подумал наивно: «А вдруг эти картины можно легко объяснить?» И попросил своего соседа сделать это, но он пожал плечами, и я понял, что он, как и все газеты, считает картины безграмотными, наглыми, саморекламными. Вечере участвовали Маяковский, братья Бурлюки и не помню, кто еще. Зал, небольшой и неудобный, был неполон. Народ подобрался вялый, но явно недоброжелательный. И все участники вечера, кроме Маяковского, чувствовали это. Они эпатировали буржуа несвободно. Им было неловко, и только Маяковский был весел. Играл. Не актерски играл, а от избытка сил. Рост, желтая кофта с широкими черными продольными полосами, огромная беззубая пасть — все казалось внушительным и вместе с тем веселым. Понравились мне и его стихи. И еще стихи Бурлюка-младшего — рослого блондина в студенческом сюртуке. Маяковский был храбр, остальные храбрились, и чувство неловкости и напряжения не проходило.

13 сентября

Время шло, выпал снег, извозчики выехали на санках. Санки были такие узкие, что дам полагалось подерживать за талию. Седоку полагалось. Время шло, а я не привыкал к Москве. Напротив — окончательно ее возненавидел. Одиночество душило. А новые знакомства не завязывались да и только. Однажды у Шанявского я поспорил со швейцаром, который во что бы то ни стало хотел подать мне пальто. Мой сосед, щупленький, со впалыми щеками, слушал этот спор, улыбаясь. И к моему величайшему удовольствию, заговорил со мной, когда вышли мы на темную и мокрую Миусскую

площадь. Разговор было завязался, и спутник мой сказал: «Вы, я вижу, тоже не любите, когда швейцар подаст вам пальто». Я признался и объяснил это тем, что у меня не было денег, чтобы дать на чай. Спутник мой потемнел и сказал сердито: «Не в том дело! Противно это лакейство в человеке». — «И это, конечно, тоже», — торопливо подтвердил я, но было уже поздно. Спутник мой сухо попрощался со мной, и это знакомство не состоялось.

И вот я жил и жил в тоске и одиночестве. Никто не говорил мне: «Пойди постригись», и я ужасно оброс волосами. Калоши прохудились, и одна из них упала, когда я садился на трамвай, да так и осталась лежать на мостовой.

16 сентября

Все это вместе: отвращение к лекциям, одиночество, неудержимые мечтания о будущем счастье, сознание собственной слабости и любовь — любовь, все заслоняющая, мучительная любовь, — привело к тому, что я стал опускаться. Я сказал учителю, что заниматься с ним не буду больше. Распрощался с университетом Шанявского. Вставал в двенадцать, лениво валялся до часу — это в семнадцать лет! Потом покупал в киоске газеты и тонкие журналы: «Огонек», «Всемирную панораму», еще какие-то. Кажется, «Солнце России». Те из них, которые в данный день вышли, и прежде всего «Новый сатирикон». И плитку шоколада. Возвращался домой, валялся и читал. Потом покупал колбасы на обед. Она казалась мне, по сравнению с майкопской, невкусной. Вечером я шел бродить по улицам или в оперу Зимина, куда легко было достать билеты, или в цирк Никитина.

17 сентября

Года два назад пошел я взглянуть на Гранатный переулок и, к некоторому даже ужасу своему, увидел юношу, шагающего по противоположной стороне. Он был давно не стрижен, одет неряшливо, в длинном пальто и мятой шляпе. Он неопределенно улыбался, — видимо, своим мечтам, и вот пути наши, как нарочно, сошлись, и я увидел нечто подобное себе старых лет, особенно нелепое в Москве пятидесятого года. Итак, дни моей одинокой, самостоятельной, постыдной



жизни приходили к концу. Предполагалось, что я останусь в Москве на зимние каникулы, но я послал маме умоляющее, ласковое письмо с просьбой разрешить мне провести каникулы дома. До этого у нас произошла ссора без всякой вины с моей стороны. По мамину адресу пришел каталог книжного склада. Забыв, что в свое время ко дню рождения она выписала мне из Петербурга полное собрание сочинений Гейне, не зная, что фирмы такого рода рассылают потом годами свои каталоги заказчикам, мама решила, что это я подшутил над ней. В одном из писем она спросила, какие книги нужны мне для занятий, она пришлет деньги. Каталог оказался ей моим ответом. Она обиделась, и я тоже. Но после моего ласкового письма она сразу ответила мне так же ласково. Предполагалось, что я поеду домой на деньги, высланные мне на декабрь. Увы, они были к 15 декабря истрачены. И я сам не мог понять куда. Пришлось просить о новых деньгах, которые я и получил с сердитым папиным письмом.

19 сентября

И я уехал. Злой нашей горничной я не мог дать причитающийся за последний месяц рубль, обещал прислать из Майкопа. И она громко ругала в кухне людей, которые шоколад жрут, а долгов не платят. Так кончился бесконечный, как мне казалось тогда, и постыдный период моей жизни. Много лет я и вспоминать его не любил.

20 сентября

Стою у вагонного окна и смотрю, смотрю и потихоньку ем копченую колбасу. Мне стыдно есть ее на людях без хлеба. Снег, снег, черные деревушки, все те же белые, неприветливые вокзалы — Тула, Орел, Курск. Я ошеломлен несчастной, постыдной своей жизнью в Москве и все думаю, думаю. Я за эти месяцы стал старше. Я отчетливо понимаю, что сам виноват в своих бедах. Лень, распушенность, смутное представление обо всем. Обо всем знаю одну строчку. И я мечтаю, как переделаю свою жизнь в Майкопе. О возвращении в Москву и думать не хочу. Я ошеломлен, что Москва приняла меня так сурово. Все вокруг ново и трезво. До сих пор ездил я поездом летом или осенью. Зимняя дорога непривычна для меня и печальна, как все, что я

пережил. Невесело думаю я и о Милочке. Она все та же и по-прежнему не знает, любит меня или нет. Но за всеми этими мыслями вспыхивает от времени до времени радость. Предчувствие счастья. Сознание праздничности самого бытия моего — эти вспышки радости вопреки всему — вечные мои спутники...

Вот и таинственные, значительные майкопские улицы. Всю жизнь вспоминала мама, как встретила меня на вокзале. «Я даже испугалась: волосы чуть не до плеч, штаны с бахромой, ступает как-то странно, мягко. Что такое? Оказывается, башмаки без каблуков и почти без подошв — вернулся сын из Москвы». Два дня никуда я не выходил: меня переодевали, переобували, стригли. Тоня Тутурина сказала Соловьевым, что я ехал в ужасном виде. Старшие подумали и решили, что я останусь дома.

21 сентября

Решили, что латынь я могу выучить и в Майкопе и сдать ее весной при армавирской гимназии. А лекции слушать начну в настоящем университете, раз университет Шанявского мне так страшно не понравился. Папа, как мне кажется, не был доволен этим решением. Считал, что оно не мужественно, не просто. Так разумно придумали: чтоб не терять года, я живу в Москве, учу латынь, слушаю лекции — и вот на тебе: я являюсь домой патлатым, страшным, разутым, лекций не слушал и латынь не учил. Что это значит? Что я за человек? Я и сам не мог на это ответить. Но мама испугалась моего вида, угадала, что первая встреча с самостоятельной жизнью далась мне дорого, и настояла, чтобы я остался в Майкопе еще на полгода. Не знаю, кто был прав. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. Я считал себя взрослым, да, в сущности, так оно и было, если говорить об одной стороне жизни, и был полным идиотом во всем, что касалось практической, действенной, простейшей ее стороны. Поэтому, например, не хватало мне денег на месяц. Я просто не умел считать и надеялся, разбрасывая деньги по мелочам, но быстренько, что как-нибудь оно обойдется. Поэтому так же разбрасывал я время. Поэтому мне и в голову не пришло пойти в какую-нибудь редакцию или к какому-нибудь писателю, показать, что пишу, сделать хоть какой-нибудь шаг по писательской дороге, хотя уж давно

не представлял для себя другой. Слабость и несамостоятельность, с одной стороны, и крайняя восприимчивость и впечатлительность, с другой, могли бы, вероятно, привести и к роковым последствиям, если бы в идиотстве моем не было бы и здоровой стороны. Например, ужас перед пьянством. Чтобы напиться, действия не требовалось. Купить водку не трудней, чем плитку шоколада.

27 сентября

Итак, приближалась весна 1914 года. Как я вижу теперь, Юрка Соколов появился в Майкопе очень рано. Теперь мне кажется, что по причинам денежного характера он не дождал второго семестра в Петербурге. Это при тогдашней предметной системе в университете было возможно, экзамены разрешалось сдавать и осенью. Во всяком случае, приехал он много раньше Сергея. Мы встречались часто; почти все время, говоря точнее, проводил я либо у них дома, либо на участке. Говоря точнее, мы скорее почти не расставались. Юрка рисовал, а я валялся на диване в той самой комнате, где прошло столько дней моего детства. Валялся и читал. Либо мы разговаривали о том мире, в который входили. После долгих колебаний показал я Юрке свое стихотворение «Четыре раба», скрыв, что оно мое. А когда он сказал, что в стихотворении «что-то есть», я назвал автора с такой охотой, что Юрка улыбнулся. И с тех пор я все свои стихи показывал ему. И он обсуждал каждое мое стихотворение со своей обычной повадкой, начиная или собираясь начать говорить — и откладывая, пока мысль не находила наиболее точного выражения. И я обижался, если он ругал меня, и отчаянно, но не слишком уверенно спорил и полностью соглашался с ним, когда проходила обида. К этому времени у меня была теория, объясняющая необыкновенную неуклюжесть моих стихов. Я услышал где-то еще одну строчку, на этот раз Верлена: «Музыка прежде всего», — и стал доказывать, что это верно<sup>141</sup>. Но музыка не в аллитерации и не в звуках — тут стихам за музыкой никогда не угнаться. Музыка — в содержании. А та музыка, за которую сражаются сегодня («лила, лила, качала два тельно-алые стекла»)<sup>142</sup>, гибельна и не нужна. Юрка принял эту теорию не без интереса. Итак, у меня было уже два читателя: Милочка и Юрка, а от всех остальных я скрывал

свои стихи, как самую большую тайну. Только в одной области был я скрытен еще более — в любви. Ни одному человеку не рассказывал я о своих любовных радостях и бедах и очень удивлялся, когда читал юмористические рассуждения о влюбленных, всем надоедающих своими излияниями. И сверстники мои, рассказывающие в подробностях о своих связях с женщинами, тоже были непонятны мне. Связи мои не были любовными, но и о них молчал я как убитый. Мной с первой встречи овладело чувство прелести тайны в этой части моей жизни («никто не знает, что мы делаем»). Итак, приближалась весна 1914 года, и я после Москвы наслаждался жизнью среди друзей, на юге, в маленьком, с детства понятном городе. Начались выпускные экзамены. И мне пришлось подналечь на занятия. И вот пришел ясный, совсем летний день, когда мы поехали в Армавир сдавать латынь. Нас было четверо: Жоржик Истаманов, Гостищев, Левка Камрас и я. Дорога была еще новая, нестрогая. На середине пути машинист взял нас на паровоз.

28 сентября

И, стоя рядом перед грудью паровоза, мы мчались через кубанские степные знакомые места и чувствовали себя до того свободными, и счастливыми, и беспечными!

2 октября

Утром пошли мы на экзамен. Присутствовали на нем латинист, хмурый и нескладный, и инспектор — черный, моложавый, легкий. Был еще третий — забыл кто. Латинист сказал сердито, раздавая нам листки для перевода с латинского на русский: «Если что не поймете, меня спрашивайте». Я имел глупость подумать, что и так все понимаю, отчего едва не провалился. Читая мой перевод, латинист только кряхтел и пробормотал в конце: «Говорил вам, спрашивайте меня». Спас меня устный экзамен.

8 октября

У Фреев, в маленьком флигеле во дворе дома Родичевых, на меня вдруг повеяло мюнхенским ветром. Комплекты «Симплициссимуса»<sup>143</sup> и еще каких-то чисто мюнхенских журналов, рисунки, изображающие карнавал, рисунки стилизованные, рисунки с резкими

контурами. Толя Фрей рассказывал об академии, о том, что Мюнхен — немецкие Афины, о том, как Штук<sup>144</sup> знаменит в городе. Они вызвали его, насвистывая условную мелодию, на балкон. Штук вышел, увидел, что это незнакомые студенты, но не рассердился, а засмеялся. Эта мелодия была условным знаком близких друзей. Все это мне и нравилось и нет. И у Юрки, как выяснилось из наших бесконечных разговоров, было тоже ощущение, что это все-таки не настоящее. Да, прелестна карикатура в одном из журналов. Называлась она «Сила привычки». Только что умерший бородатый бельгийский король Леопольд приказывает апостолу Петру, который от удивления роняет ключи от райских дверей: «Eine Zimmer mit zwei Betten»<sup>145</sup>. Великолепны карикатуры «Симплициссимуса» на Вильгельма — открытие памятника там, где лошадь его оставила навоз.

16 ноября

Возвращаюсь в Майкоп 14 года.

Я не верил в события большие, идущие извне, — в моей жизни их не было. Те, что ворвались в мою жизнь в детстве, казались мне доисторическими. От восьми— до семнадцатилетнего человека — огромное расстояние. И вдруг объявлена была всеобщая мобилизация. Улицы заполнились плачущими бабами, казаками, телеги, как во время ярмарки, заняли всю площадь против воинского присутствия. Пьяные с гармошками всю ночь бродили по улицам. Многие из знакомых вдруг оказались военными, впервые услышал я слово «прапорщик». В мирное время ниже подпоручика не было чина в армии...

Пришло письмо от папы. Его нижегородская служба оборвалась. Он был назначен по мобилизации в войсковую больницу Екатеринодара.

17 ноября

Я еще не мог представить себе, что спокойнейшей майкопской жизни с тоскливым безобразием праздников, с унынием плюшевых скатертей пришел конец. Но вот к вечеру ясного дня закричали на улице мальчишки-газетчики. До такой степени поразила издатель майкопской газеты небывалая новость, что забыли они о расходах и доходах. Мальчишки бесплатно раздавали цветные квадратики бумаги, на которых напеча-

таны были всего четыре слова: «Германия объявила нам войну». «Германия?» — спросил удивленно Василий Федорович. Все ждали, что начнет Австрия. Вечером того же дня, на закате, пошли мы к Соколовым на участок. По дороге говорили только об одном. Закат, уж слишком красный, раскинулся на полнеба, и Юрка сказал, что если бы был суеверен, то подумал, что в этом небе — какое-то пророчество. Немного погодя сказал он, улыбаясь, что из четырех братьев, по теории вероятности, хоть один будет убит. На участке озабоченные взрослые обсуждали, когда кончится война, и тут, впервые до высказывания Китченера<sup>146</sup>, услышал я, что продлится она несколько лет.

18 ноября

Да, ворвавшиеся в нашу жизнь события не усваивались, но непрерывно ощущались. Все было окрашено войной. Тут и начало развиваться губительное чувство, которое можно назвать так: «Пока». Все, что делалось, делалось на время. То, что совершалось вокруг, не принималось как настоящая жизнь. Когда кончится война, тогда я и начну жить и работать, а пока... Все пока да пока, а когда оставшиеся в живых несчастные мои ровесники приходили в сознание, то часто оказывалось, что жить уж поздно. Ошеломленный войной и любовью, поехал я в Екатеринодар к родителям. Армавир был неузнаваем. Я говорю о вокзале. Маленький армавирский вокзал впервые показал мне то, к чему так приучили нас войны. Целые семьи, проводившие отцов на фронт, спали на узлах и мешках. Прапорщички с новенькими чемоданами. Пассажиры, задержанные событиями в пути, потемневшие, помятые, пробирающиеся с курортов дамы с детьми. Расписание отсутствует. У кассы столпотворение. Я дал рубль носильщику, чтобы он достал мне билет. Когда пришел поезд, носильщик прибежал, схватил мой нескладный, слишком легко раскрывающийся чемодан и втиснул меня на площадку, набитую до отказа. Потом сказал, что я доеду и без билета, достану его по дороге, и исчез. Поезд тронулся. Я был в штатском костюме, что справили мне после окончания училища, в черной касторовой шляпе, которую достал неведомо где. Я взял в дорогу «Пиквикский клуб», который лежал на чемодане, поставленном стоймя. Не успел я прийти в себя, едва отошел поезд,

как на площадку втиснулся обер, сопровождаемый щеголеватым кондуктором. Со строгим лицом обер рванулся ко мне, дернул меня за плечо так, что я перевернулся и опрокинул чемодан, отчего упал и рассыпался «Пиквикский клуб». В результате этих действий, против которых я громко протестовал, обер пробрался к двери.

19 ноября

Он отпер дверь своим ключом и втащил на площадку какого-то подростка в белой рубаше и казацких штанах. И сразу же после этого напал на меня: «Человек на ступеньках висит, на краю гибели, а вы тут крик поднимаете». После этого, багровый, с трясущимися щеками, стал он проверять билеты. Узнав, что я безбилетный, приказал он щеголеватому кондуктору высадить меня на следующей станции, что тот и выполнил не без удовольствия. Наш вагон был одним из последних в длинном-длинном составе. Я бросился бежать к далекой станции, оставив чемодан и «Пиквикский клуб» на земле у вагона. Билет я успел взять. И когда мчался обратно, поезд тронулся. Изо всех вагонов кричали мне: «Прыгай! Садись!» Но я несся к своему чемодану. И когда добежал, было уже поздно. Поезд удалялся. С последней площадки щеголеватый кондуктор с усмешечкой смотрел на меня. Я уставился прямо ему в глаза с ненавистью, проклиная его в бессильной злобе, а поезд все набирал ходу. Когда я подходил к станционному домику, вокруг было уже тихо, как в степи. Над карнизом на доске чернело название станции: «Отрада Кубанская». Я вошел в пустую комнату с единственным диваном, с закрытым уже окошечком кассы, и вдруг тишину нарушил женский плач, горький, отчаянный вой. Вошел какой-то железнодорожник, и я узнал, что за стеной — гроб с телом молодого армавирского богача Баронова, разбившегося при автомобильной катастрофе. Жена плачет-убивается. И я ужаснулся. А железнодорожник, весь в машинном масле, тощий, пожилой, подсел ко мне.

20 ноября

Добродушно и наивно глядя на меня, он расспросил, как я попал сюда, кто такой, и посочувствовал моему горю. Следующий поезд придет ночью. Железнодорож-

ник скрылся за одной из дверей с надписью: «Посторонним вход воспрещен», а я отправился бродить вокруг, бросив на деревянном диване свой чемодан и «Пиквикский клуб». Кому они тут были нужны? Кто их возьмет? За станцией дорога, убегающая в степь, уводящая из полосы отчуждения, от железнодорожного мира, тронула своей прелестью, шевельнулось было предчувствие счастья, но жалобный плач отрезвил меня разом. Ждать здесь до ночи казалось ужасным, непереносимым горем. И шелковское ощущение: «нехорошо, не к добру» — стало все яснее говорить в душе. Кончилось все: мирная жизнь, счастье, — что будет впереди? Почему я попал как раз на ту площадку, где оберу понадобилось открыть дверь? Неспроста высадили меня на станции, где стоит гроб и горько плачет женщина. Я вернулся на платформу. Железнодорожник подсел ко мне. Со стороны Армавира показался дымок паровоза. Железнодорожник скрылся и показался снова с видом человека, несущего хорошие новости. Приближался воинский поезд. Если сесть на площадку офицерского вагона, можно доехать до Кавказской. Так и начальник станции советует сделать. Пришел поезд из теплушек и одного классного вагона. Мой доброжелатель, подмигивая мне и кивая обнадеживающе, помог внести чемодан на площадку, сказал: «Ничего, ничего, доедете», — и исчез. Я, держа в руке билет, ждал с нетерпением, чтобы мы тронулись. Пусть высадят, но хоть на другой станции.

21 ноября

Но вдруг на площадке появился незначительного, скорей чиновничьего, чем офицерского вида капитан. Увидев меня, он взъерошился и велел уйти вон. Показывая билет, я забормотал, что мне разрешил ехать тут начальник станции, что я пробираюсь к мобилизованному отцу — вот телеграмма, что я... Ничего не желая слушать, фыркнув: «Начальник станции — подумай!» — он решительно приказал мне высаживаться. «Не понимаю, чем я вам мог помешать», — сказал я и, взяв чемодан и книжку, двинулся к выходу. «Ах, это и есть весь ваш багаж? — спросил вдруг капитан мягко. — Ну ладно, тогда оставайтесь». Я снова поставил свои вещи у окошка, а капитан скрылся в вагоне. Поезд тронулся наконец. И я расплакался позорно, глядя



в окошко и ничего не видя. Минут через десять капитан опять появился на площадке — может быть, для того, чтобы пригласить меня в вагон. Я не повернулся к нему, желая скрыть слезы. Но он их заметил, видимо, потому что стал объяснять, какая ответственность лежит на нем как на начальнике эшелона. Тут поневоле будешь строгим. Я молчал, и капитан, желая смущать меня, удалился. Слезы мои высохли. Я достал плитку шоколада, купленного в Армавире, и стал есть по кусочку. Но туман на душе не рассеивался, да я и боялся ясности. Смерть, плач вдовы, все мелкие и крупные обиды сегодняшнего дня — на все это лучше было не смотреть. И больше всего пугало сознание, что все эти события — только признаки, приметы недоброго времени, надвигающегося на всех. И в Екатеринодаре все было освещено новым, сумрачным светом. Наши поселились в одной из комнат большой Сашиной квартиры. Я встретился с Тоней, как в первый раз. Мы подолгу говорили. Вышло так, что я показал ему мои стихи, поразившие его своей бесформенностью. И вместе с тем что-то задело его в них. Это он не сразу признал. Спорил.

22 ноября

Он даже написал пародию на мои стихи: «Стол был четырехугольный, четыре угла по концам. Он был обит мантией палача, жуткой, как химеры Нотр-Дам». Все это (кроме химер Нотр-Дам) было похоже. Особенно описание стола. Но я упорно доказывал, что я пишу по-своему, что таково мое понимание музыки. К моей радости, через некоторое время я заметил, что Тоня начинает относиться к моей ни на что не похожей манере писать с некоторым уважением. А я выслушал и запомнил разгром моих рифм, которые вовсе и не были рифмами. Наметилось некоторое подобие дружбы с Тоней, но я с майкопской, почти сектантской, нетерпимостью не принимал многого из его высказываний. Самая манера выражаться, книжная, и, о ужас, «неестественная», не нравилась мне, вызывала подозрение. Но я скоро заметил, что, не боясь пользоваться книжными, а не своими оборотами, Тоня говорит всегда умно. Он оказался куда образованнее меня, с чем я скоро вынужден был считаться. Итак, с Тоней завязывалась дружба, я бывал в городском саду, в театре, ездил в роццу, название кото-



*Ф. Шелков — дед Е.Л. Шварца.  
1880-е гг. Рязань*



*Б. Шварц — дед Е.Л. Шварца с сыновьями  
(слева направо): Симсоном, Львом, Александром и Исааком.  
1890-е г. г. Екатеринодар.*



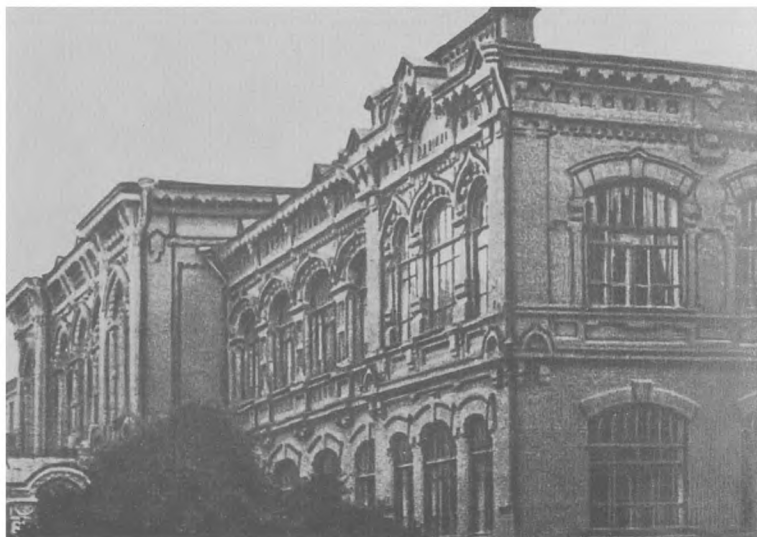
*М.Ф. Шварц — мать  
Е.Л. Шварца. 1930-е гг.*



*Л.Б. Шварц — отец  
Е.Л. Шварца. 1930-е гг.*



*Семья Е.Л. Шварца. 1906 г. Майкоп.  
Справа от Е.Л. Шварца — его брат Валентин.*



*Реальное училище в г. Майкопе.*



*Класс реального училища. 1912 г. Майкоп. Е.Л. Шварц — второй слева во втором ряду.*



*Е.Л. Шварц, 1911 г. Майкоп.*



*Л.П. Крачковская, 1912 г.  
Майкоп.*



*Е.Л. Шварц (во втором ряду первый слева)  
с друзьями юности Л.М. Оськиным и сестрами Е.Г. и  
М.Г. Зайченко (сидят). 1915 г.*



*Е.Л. Шварц (в центре) с  
друзьями юности  
Ю.В. Соколовым (слева) и  
Е.Я. Фреем (справа). 1912 г.  
Майкоп.*



*Е.Л. Шварц с родителями  
М.Ф. и Л.Б. и братом  
В.Л. Шварцами. 1917 г.*



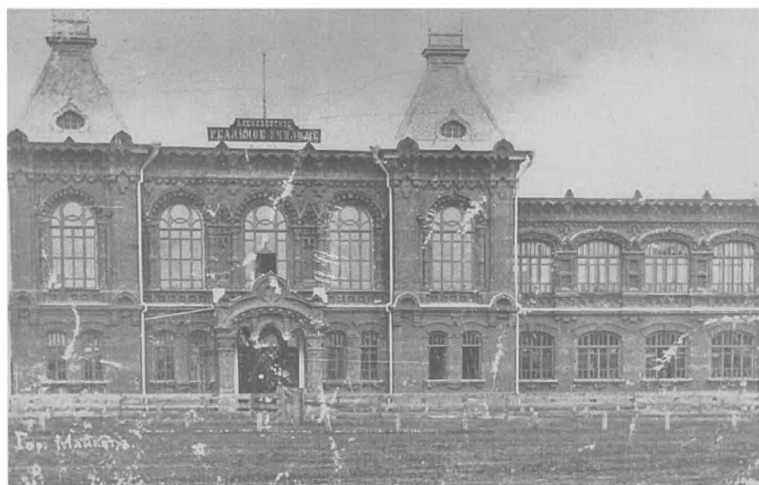
*В имени К.Д. Косякина Николаевка Ставропольской губернии.*



*Доктор Василий  
Фёдорович Соловьёв.*



*Сёстры Соловьёвы)  
(Соловьята) — Варя, Лёля и  
Наташа.*



*Реальное училище.*



*Ростов. Театральная мастерская*



*Здание театральной мастерской в Ростове.*



### 3-й ДОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

1-го Городского Района  
имени Карла Маркса.

#### ПРОГРАММА.

## ГИБЕЛЬ „НАДЕЖДЫ“

Драма в 4-х д., соч. Г. Гейрмаса из жизни голландских рыбаков.

#### Действующие лица:

Квиртус Фермер — вдова рыбакова . . . . .	Г. Н. Халайдинова.
Герт } ее сыновья . . . . .	Мари Эго.
Баренд } . . . . .	П. О. Боратынский
Ио — ее племянник . . . . .	И. Б. Магдалова.
Данте } старики из богадельни . . . . .	Г. Б. Тусузов.
Кобус } . . . . .	А. И. Костомоловский.
Бос — судавалдаси . . . . .	М. А. Николаев.
Матильда — его жена . . . . .	М. Х. Воловикова.
Клементина — их дочь . . . . .	И. Н. Черновз.
Клас — бухгалтер . . . . .	А. Ш. Наталин.
Сампои — плотник . . . . .	Е. Я. Шварц.
Мартье — его дочь . . . . .	З. Д. Белдырева.
Маттис — ее жених . . . . .	Р. М. Халадов.
Саарт — жена рыбакова . . . . .	Ф. И. Бунина.
Иелас — инший . . . . .	В. П. Мартанович.

Режиссер Д. П. Лыбиров.

Начало ровно в 8 час. вечера.

После поднятия занавеса вход в зал воспрещен.

*Программки театра в Ростове. 1918 г.*



*Е. Шварц (крайний слева) в спектакле «Гондла» по пьесе Н. Гумилёва. Театральная мастерская. Ростов-на-Дону. 1920 г.*

1918

Вечеръ Сценическихъ Опытовъ  
(Открытие Театральной Мастерской)

Постановки П. К. Вейсбрема.  
Декорации Дмитрія Федорова.  
Гримы Александра Филова.  
Музыка С. В. Клячко. Начало  
въ 8 час.

Завидующій постановочной частью  
С. М. Горьликъ.

Печ. до 16-го Ноября 1918 г. пом. Нач. стражи Кропоткинъ.  
Типографія С. И. Файншмидтъ В. Садовая 28.

I.

Прологъ „Опьяненные сценой“

Пуцкинъ „Пиръ во время чумы“.

Эскизъ представлення. Исполнители:

Предсѣдатель - Боратынскій; Молодой  
человѣкъ - Остеръ; Мери - Халаджіева;

Луиза - Черкесова; Остальные пирую-  
щіе - А. Шварцъ, Е. Шварцъ, Миха-  
левъ, Магбалиева, Костомолоцкій,  
Цеймахъ, Рыссъ; Священникъ - Шац-  
манъ.

II.

Лермонтовъ. Сцена изъ „Маскарада“  
Этюдъ.

Исполнители: Арбеиниъ - А. Шварцъ,  
Князь Звѣздичъ - Михалевъ; Маска-  
Бунимовичъ; Шуриха - Костомолоцкій;  
Прочія маски - Черкесова, Воловикова,  
Цеймахъ, Е. Шварцъ, Халаджіева;  
Неизвѣстный - Остеръ.

III.

Уайльдъ „La sainte courtesane или  
женщина, увѣщанная драконъностью-  
ми“. Представление незаконченной  
драмы Исполнители: Первый Человѣкъ  
Е. Шварцъ; Второй Человѣкъ А.  
Шварцъ; Миррина - Миллеръ; Гонорій -  
Шацманъ.

Программки театра в Ростове. 1918 г.



*Е. Шварц — студент Московского университета. 1914 г.*



*Московский университет, где учился Е. Шварц. 1914 г.*



*Евгений Шварц и его первая жена актриса Гаянэ Халайджиева (Холодова). 1920-е годы.*



*Сцена из спектакля «Гондла» Н. Гумилёва. 1921 г.  
Слева — Антон Шварц в главной роли,  
в центре — Гаянэ Халайджинева,  
крайний справа — Е. Шварц.*



*Сцена из спектакля «Гибель Неджды» Г. Гейерманса. 1920 г.  
Второй справа — Е. Шварц.*



*Самуил Маршак. 1927 г.*



*Евгений Шварц. 1927 г.*



*Редакция Детского отдела ГИЗа. 1926 г.  
Слева направо: Н. Олейников, В. Лебедев, З. Лилина,  
С. Маршак, Е. Шварц, Б. Житков.*



*В. Каверин.*



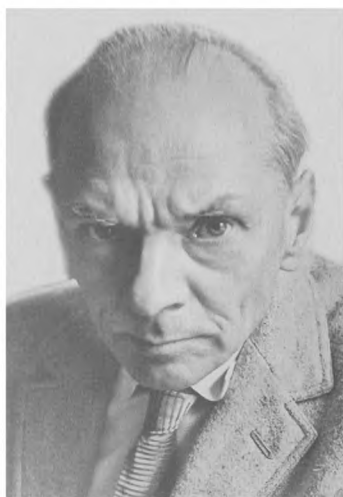
*Б. Шкловский.*



*М. Слонимский.*



*Театр, на сцене которого  
было поставлено большинство  
пьес Е. Шварца.*

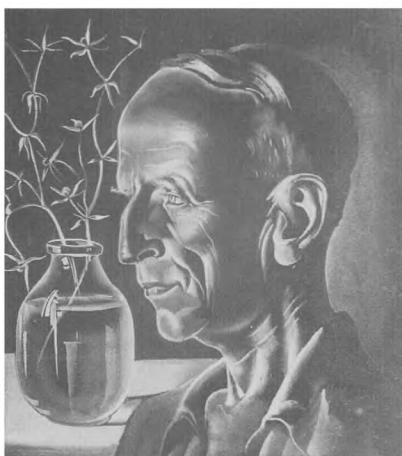


*Главный режиссёр  
Ленинградского театра  
Комедии Н.П. Акимов.*



*Н.П. Акимов в своём кабинете.*





*Н.П. Акимов. Евгений Шварц.  
1942 г.*



*30-е. Н.П. Акимов.  
Евгений Шварц, 1930-е гг.*



*Е.Л. Шварц. Портрет работы  
Н.П. Акимова.*



*Н.П. Акимов.*

рой забыл, — единственная чахлая рощица в степных окрестностях Екатеринодара. Снова трамвайный звон вечером у городского сада как будто обещал счастье, но я чувствовал твердо: что-то отнялось. Я чувствовал, что пересажен, а привиться не могу, как только что в Москве... Ходили мы с Тоней на Кубань. Большая река, но чужая. Папа ходил в военной форме. Саша рассказывал, что в адвокатской комнате суда вывесили расписание, кому заходить ночью в редакцию за последними новостями. Сделали на три недели, а внизу написали: «К этому времени война кончится». Мы собирались в Москву.

23 ноября

Снова меня принялись одевать и обувать для Москвы. На этот раз в студенческую форму. Я подал заявление в канцелярию начальника области о выдаче свидетельства о благонадежности. Мне сказали, что его пошлют в Московский университет. На руки таковые не выдаются. Запах сургуча, унылые люди, чувство неловкости. С поездами дело было худо, но вагон «Петербург — Новороссийск» ходил. Беллочка устроила так, что кто-то из ее знакомых купил нам билеты в Новороссийске. Вообще вокруг нашего отъезда подняла она суету, характерную для нее. Писала в Москву двоюродному своему брату Аркадию об оказании нам покровительства, все время искала знакомых влиятельных московских людей, которые могли пригодиться нам на всякий случай. Этот коротенький екатеринодарский период жизни окрашен чувством конца чего-то, пустоты, чужого налаженного быта — Сашиного, Исаака. Мы ехали откуда-то на трамвае: Саша, Исаак, папа с мамой и я. Папины братья сошли на остановке, отправились в клуб. И он сказал мрачно: «Шварцы богатые ушли, а Шварцы бедные остались». Тогда я рассердился: ни Саша, ни Исаак богаты не были. Очевидно, отец хотел сказать: счастливые. Но, вспоминая, понял, что пугало отца. В сорок лет остался он вдруг без дома, без единой вещи, без уверенности в завтрашнем дне, с недружной и непонятной семьей. Было чего заскучать. В назначенный вечер явились мы на вокзал. У вагонов шла чуть ли не драка, но нам вручили билеты, и мы заняли плацкартные места. И я поехал снова в Москву, в ту Москву, о которой вспоминал с ужасом. Но на этот

раз Тоня, курсистки, с которыми мы познакомились дорогой, отличная погода — все утешало меня.

24 ноября

Белые здания вокзалов Курской дороги уже не казались мне чужими. Я ехал в студенческой форме, с Тоней. Вагон был полон студентами, все больше Коммерческого института, в большинстве грузинами и армянами. Все познакомились друг с другом, и главное московское горе — одиночество — теперь не грозило мне. Поднятая на ноги Беллочкина родня в первый же день, точнее — в утро нашего приезда, устроила целый консилиум. Один дядя, благообразный и красивый, давал множество советов: где снимать комнату, сколько она стоит. Советовал Тоне называть себя Антон Исаич, чтобы не будить настоящим своим отчеством в людях антисемитизм. Я смутно чувствовал, что это смешно, но не признавался себе в этом, — столько наговорила мне Беллочка об уме своих кузенов. Дядя Аркадий, лысый, светлоглазый, скептический, с лицом человека, который не дурак пожить, больше помалкивал и позвал к себе обедать. Оба дяди считались дельцами. Но что они делали? Аркадий состоял, кажется, биржевым маклером. Его квартира выглядела по-московски знакомой. Все та же мебель модерн, пол затянут бобриком, пианино. Прилично и достойно жил дядя с молодой, разбитной, вечно напевающей женщиной, у которой был мальчик лет пяти. Русская, тоже очень московская, необыкновенно шла она к зиме, к магазинам Абрикосова, к опере Зимина, куда у дяди Аркадия был абонемент. Мы сняли с Тоней комнату наверху над дядиной квартирой в Дегтярном переулке на Тверской и стали постоянными его гостями. У меня всю жизнь отсутствовало канцелярское счастье. Когда мы пришли оформляться в университет, выяснилось, что свидетельство о благонадежности не пришло сюда.

25 ноября

Я дал об этом телеграмму в Екатеринодар. В канцелярии начальника области выяснилось, что свидетельство мое по ошибке заслали в Петроград. Мама, со своей подозрительностью, решила, что это подстроено мной, так как Милочка поступила на Бестужевские курсы. Я огорчился этой задержкой. Меня еще по пути

мучило предчувствие, что в канцелярии меня как-то обидят. Но когда мы с Тоней зашли поглядеть на юридический факультет (правая дверь во дворе нового здания), меня утешил старик швейцар. Он повел нас в гардеробную. Там, по тогдашней традиции, уже висели отпечатанные на машинке карточки, указывающие каждому его вешалку, и мы увидели три таблички: «Шварц Антон Исаакович», «Шварц Борис Львович», «Шварц Евгений Львович». По странному совпадению студент, носящий имя и отчество моего старшего брата, умершего шестимесечным, поступил в этом же году в тот же университет, что и я. Оказался он, впрочем, остзейским немцем, неприятным и туповатым. Это выяснилось позже, а пока табличка с моей фамилией успокоила меня. Очевидно, университетская канцелярия, помещавшаяся где-то в мрачных катакомбах старого здания, не придавала значения задержке свидетельства. Оно и в самом деле скоро пришло, и канцелярское приключение забылось. Да, на этот раз у меня был студенческий матрикул. Я был студентом Московского университета. Он, правда, считался слабым. Я говорю о юридическом факультете, разгромленном Кассо. Но все-таки это был университет, Московский университет. И тем не менее тоска, московская тоска, скоро охватила меня. Я не прививался! Одиночество прошлого года исчезло. В Москве жили Истаманов, Лешка Кешелов, Камрасы. Комнату я снимал вместе с Тоней — и ничему это не помогло. С первого же дня возненавидел я юридический факультет с его дисциплинами. Студенты, которые были, конечно, не глупее моих одноклассников, показались мне дураками, ломаками, ничем.

26 ноября

Чужим я чувствовал себя и у дяди Аркадия. Это был Тонин дядя. И Тоня, выдержанный, хорошо говорящий, образованный, ясный, был принят в его семье как свой. У меня особенно испортились отношения с ним после одного случая. Маруся Зайченко делала сбор для какой-то курсистки, растратившей или потерявшей общественные деньги. Аркадий взял нас на «Лакме» к Зимину. В антракте я рискнул попросить у него для этой курсистки 25 рублей. Благодушное лицо Аркадия с устрашающей легкостью превратилось в каменное, над-

менное. И он отказал. Это было для меня открытием. Людей подобного рода я еще не видал в своей жизни. Ряд отвлеченных представлений вдруг наполнился содержанием. Я своими глазами увидел собственника во всей его силе. Сказался он по ничтожному поводу, но тем больше поразил. На Тоню он тоже произвел сильное впечатление. Дело было не в отказе, а в технике отказа. Я задел его веру, его божество — от этого и стало надменным его бритое, равнодушно-благожелательное лицо. И я впал у него в немилость. Он почувствовал во мне не врага, но чужого. Я продолжал бывать у него, но он все поучал меня по мелочам: как причесываться, как одеваться — а иначе ничего, мол, из вас не выйдет...

27 ноября

Первых раненых мы увидели на маленькой станции по дороге в Москву, ночью, и мне стало жутко. Но первые беженцы, первые «варшавские кафе», первые разговоры о спекулянтах — уже существовали. Москва была еще богаче, еще оживленнее, еще грязнее и еще мрачнее, чем в прошлом году. Но квартира внизу, где мы так часто обедали, не замечала невыносимой для меня тогда московской тоски. Любимым разговором было — сравнивать Москву и Петроград в пользу первой. Итак, я ходил в университет, слушал Байкова, читавшего римское право, лекции которого, и без того мне чуждые, окончательно отравлялись разговорами о том, что это карьерист, ставленник министерства, в науке — пустое место. Бывал и на практических занятиях по римскому праву у Бобина. Но больше всего пользовался я правами и преимуществами предметной системы, благодаря которой никто не интересовался, бываю я в университете или нет. Вот я и не бывал. И однажды в припадке тоски отправился вечером на Николаевский вокзал, не зная расписания, наугад. Мне, когда я поступал к Шанявскому, выхлопотали паспорт сроком на четыре года, до призыва на военную службу, что облегчало мне путешествия, — университетское удостоверение было действительно только в Москве и на сто верст вокруг. Я знал, что поезда в Петроград отходят по вечерам, — и в самом деле, через час я впервые в жизни ехал по дороге, столь знакомой мне впоследствии, ехал в Петроград повидать Милочку, заставить ее меня лю-

бить. Она ведь снова не знала, любит ли меня. Было это, вероятно, 10–11 сентября. Я хотел побывать на именинах Милочки 16-го. Я вышел в Клину, который славился своими пирожками.

28 ноября

Вот тут я вдруг понял, что вырвался из чужой, не принимавшей меня московской жизни и увижу сегодня Юрку Соколова, Соловьевых. Встречу с Милочкой я не представлял себе, это было слишком уж важно. Тоска исчезла, как исчезает иной раз боль, едва приходишь к доктору. Испытывая легкую дрожь, увидел я город. Солнце светило, к моему удивлению. И вот я вышел на Невский, сел на трамвай седьмой номер. И скоро почувствовал в самой глубине, в трезвой и неподкупной глубине: да, это не Москва. Я еще не понимал, в чем дело, но чувствовал новый город. Юрка жил на Петербургской стороне, в огромном доме сразу за Тучковым мостом, выходящем и на Большой, и на набережную, и на Средний проспект. Вход был со Среднего. Юрка обрадовался, что всегда меня глубоко трогало. И пошел показывать мне город. На трамвае проехали мы садоводство.

29 ноября

На это садоводство я до сих пор взглядываю, проезжая. Оно против собора. Через остановку мы слезли и вышли к Неве. Я как-то не понял ее из трамвая по дороге с вокзала. Но тут понял. И уже ясно почувствовал своеобразие города, о котором умалчивали у Аркадия. Мы дошли до спуска к Неве, с китайскими зверями, и сели на пароходик, который довез нас до пристани у Сенатской площади. И смутное чувство, что этот город не чужой, что и он принимает меня, зародилось во мне. Юрка вывел меня на Морскую. Богатство, как всегда в России, будило чувство неловкости, и дамы вызывающе глядели из колясок: «Мы в своем праве! Троньте только!» Возле памятника Николаю ходил старичок в старенькой солдатской форме, в кивере. Такой же старичок шагал у Александровской колонны. Дворец глухого красного цвета не очень понравился мне. Статуи на крыше, казалось, толпятся и не связаны со зданием. К боковому подъезду подкатила маленькая каретка, лакей в ливрее помог выйти маленькой старушке. Кто

приехал? Мы знали, что царь живет в Царском Селе. Какая-нибудь старая фрейлина? Но это было так далеко от нас, что едва задело воображение. Зато раздавшийся на Дворцовом мосту странный дуэт — флейты и барабана — ударил по сердцу. Шли юнкера, неспешным шагом, штыки в ниточку...

Обедали мы в польской столовой. И вечером пошли к Соловьевым. Жили они очень высоко, на Восьмой или Седьмой линии, у самого Среднего проспекта, дом 31-Б. Они приняли меня ласково. У них сидела в гостях Милочка, странная, непонятная, петроградская. Она все постукивала носком башмачка, все думала о чем-то и улыбалась своим мыслям. И начались мои терзания. Юрка Соколов нарисовал карандашом карикатуру на нас.

30 ноября

Собственно говоря, это был рисунок, а не карикатура. За столом сидела Милочка, с новой своей неопределенной улыбкой, с шапкой вьющихся волос, а из угла комнаты глядел на Милочку я, худой, угнетенный, мрачный, явно стараясь понять изо всех сил, что она думает, что с ней. Рисунок этот ужаснул меня, я даже хотел разорвать его. Во всяком случае — помял, чем рассердил Юрку. В любви своей дошел я до странного состояния. Я отчетливо видел все недостатки Милочки. Она была не вполне нашей, не понимала того, что легко схватывали я, Юрка, из Соловьевых — Варя. Юрка рассказал мне, как в музее Милочка, глядя на какую-то картину, прошептала: «Хорошенькая головка!» Я был беспощаден к ней, какой-то трезвый голос говорил мне: «Сейчас она даже некрасива. Смотри! То, что она говорит, не слишком умно. Слушай! Она не понимает того, что понимаем мы. Она не очень хорошо играет на рояле. Играя, она открывает рот, не разжимая губ. Это не слишком красиво». С удивлением я заметил однажды, что люблю Милочку для себя. Мне легче было бы пережить ее смерть, чем измену. Я никогда не жалел ее. Я любил ее свирепо, бесчеловечно — но как любил! То, что в других меня разочаровало бы, вызывало только боль, когда я замечал это в Милочке. Я не жалел ее, странно было бы жалеть бога. Поездка в Петроград оказалась мучительной. У Милочки бывал Третьяков, тот самый юнкер, которого я ненавидел в Майкопе. На этот раз были поводы для ревности. И я по своей слабости

переживал это чувство открыто, не скрывал его. В Петрограде было много магазинов с вывеской «Цветы из Ниццы». Недалеко от Милочки (она жила на Среднем проспекте Васильевского острова, в доме 47) был как раз такой магазин. Я купил букет хризантем.

### 1 декабря

Ничего другого, кроме этих цветов, лиловатых, растрепанных, с длинными лепестками, в магазине и не было — вероятно, по случаю войны. 16 сентября 1914 года пошел я вечером к Милочке, понес свои хризантемы. И мы поссорились в этот день, в день ее ангела. И, придя в ужас и отчаяние от невозможности понять новую, петроградскую Милочку, как не понимал, впрочем, за год до этого Милочку майкопскую, я выхватил из вазы растрепанные большеголовые цветы, бросил на пол и растоптал. И Милочка сказала дрогнувшим голосом: «Вот так у нас и будет. Все, что ты мне отдаешь, ты потом растопчешь». И это до того не было похоже на правду, что я подумал: «Нет, Милочка все-таки ничего не понимает. И сказала она это как-то неестественно». Я был беспощаден к ней — и как безумно я любил ее. Уже у Наташи и Лели были строгие лица, когда мы у них бывали. С такими лицами переносили они обычно зубную боль, температуру, неприятности в гимназии. В данном случае хотели они скрыть, как неприятно им видеть то, что Юрка так беспощадно изобразил в своем рисунке. И он, встретивший меня радостно, теперь стал суховат со мной. Не одобрял моего поведения. Но я видел это как бы сквозь сон.

Так во мгле и тумане провел я дней десять и вернулся в Москву. Взбудораженный, ошеломленный, я еще дальше чувствовал себя от московского круга.

### 2 декабря

Петроград все мучил меня. И вот я сочинил поэму, шуточную и грустную в такой мере, что в любом месте можно было сказать, что это я так. Тоже для смеху. В ней я описывал свою поездку.

### 3 декабря

О самом главном в поэме умалчивалось. Ни о любви моей, ни о Милочке не говорилось. Более того, перечисляя друзей, собравшихся у Соловьевых, я Милочку не



назвал, но написал умышленно: «Мы в сборе, теперь мы все». Написав, послал Юрке. И вдруг получил от него ласковое письмо, в котором он поэму хвалил. Написали мне об этом и девочки Соловьевы. Однажды я встретил девушку, лицо которой показалось мне знакомым. Это была Зина Лабзина, та, что некогда дружила с Милочкой, жила рядом с ней. Она узнала меня. Я зашел к ней в гости. Говорили о Майкопе, о школьных наших годах и, естественно, о Милочке. Вышел я от нее полный такой тоски, что заехал домой, взял сверток с бельем и несессер, который купил в минуту расточительности, в сафьяновом футляре, с мыльницей, щеткой, флаконами для одеколона, впрочем, пустыми. Тоня на этот раз встретил мой отъезд неодобрительно, что на мое решение не повлияло. На этот раз попал я на почтовый поезд, шедший бесконечно долго. Приехал я в Петроград часа в три дня. Встретил меня Юрка весело: «Написал поэму, а теперь приехал посмотреть, какое впечатление произвел?» Он, оказывается, переписал ее и сделал к ней концевочки пером. Я был счастлив; первый раз Юрка меня так похвалил. Именно в этот приезд сказал он мне: «Тебя любят всегда, а уважают иногда». Милочка вспыхнула, когда увидела меня, — обрадовалась, она не ждала моего приезда. Но уже на другой день все полетело кувырком. Третьяков, несомненно, стоял на моем пути, и я обезумел, потерял голову от ревности. Пришел он к Милочке. Посидев некоторое время, я сбежал, потом вернулся во двор, пробрался в какой-то закоулок под Милочкиным окном. Тускло светились двойные рамы, занавески. Стоял туман. Я глядел и не знал, что делать, готов был на все. Жила Милочка в полуторном этаже. Швырнуть poleно? Взобраться по трубе? И я вернулся к Милочке.

4 декабря

Вернулся туда, к ним, спокойный, как ни в чем не бывало. Милочка и Третьяков сидели чинно за столом, беседовали. Надо сказать, что соперник мой не имел ничего юнкерского в своем характере, был, может быть, еще более робок, чем я. Он только, вероятно, начинал влюбляться в Милочку, поглядывал на меня сквозь очки несколько смущенно. Он не мог не знать, что я в нее влюблен много лет. Когда Третьяков стал прощаться, я заявил, что побуду еще немного. Милочка сделала недо-

умевающее лицо и пошла проводить Третьякова до двери. Вернувшись, отказалась она говорить о Третьякове, о своих чувствах к нему и ко мне. На другой день я пришел рано, Милочки не было дома. Злая хозяйка ее, ожесточившаяся от одиночества, не здороваясь, пустила меня в Милочкину комнату. Подождать. Там я увидел на столе тетрадь, Милочкин дневник, как я подзревал. Без колебаний и угрызения совести открыл его я. Боль моя к этому времени достигла такой силы, что кроме нее ничего я не испытывал. Я столько раз ревновал Милочку без всяких причин, что и на этот раз хотел одного: успокоиться — и верил в это. Прежде всего увидел я запись в день моего приезда: «Я почему-то очень обрадовалась», — писала она. Дальше она рассказывала, что обращалась со мной ласково, и заканчивала пренебрежительно: «Он, конечно, страшно рад». И, не веря себе, ужасаясь, прочел я правду: Милочка влюбилась в Третьякова и жаловалась на его непонятное поведение: «Он избегает называть меня по имени». Уж я-то понимал почему! Никаких признаков любви она в Третьякове не замечала. Но я-то их видел отлично. Да и не в его чувствах было дело, а в ее! Я ушел, не дождавшись Милочки, бродил по переулкам, которых никогда потом не видел. Вышел на узенький канал с деревянным мостиком, постоял у перил. Все выглядело новым, ясным, безнадежно ясным: беда пришла. Вернувшись к Милочке, я не признался ей, что прочел ее дневник. Я сказал, что меня «осенило».

5 декабря

«Меня осенило! — сказал я Милочке. — Я больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Мне все и так понятно». И я, приводя разные случаи, замеченные и вычитанные в дневнике, закончил решительным и твердым утверждением: «Меня ты больше не любишь. Ты влюблена в Третьякова». Все это Милочка выслушала покорно, с легким смущением, не отрицая и не подтверждая. Да я и не давал ей говорить. Мы попрощались с ней на углу, у остановки 7-го номера. И я уехал на вокзал. Все было по-новому ясно, и улицы, и город лишились значительности, не обещали мне больше счастья. Я ходил взад и вперед мимо своего вагона, и вдруг на перрон, откуда-то снизу, с пустого пути, прыгнул Юрка. У него не было денег на перронный билет и на трамвай. Он пеш-

ком пришел на вокзал и по путям пробрался к поезду. Он не собирался провожать меня, появился на вокзале неожиданно. Он был скорее печален, чем сердит. Разговор завязался неопределенный. Я не в силах был рассказать ему о своей беде, а он чувствовал, что произошло нечто более тяжелое, чем обычная ссора с Милочкой. В поезде не стало легче. Вся с детства любимая прелесть железнодорожного путешествия исчезла. Гудел паровоз, стучали колеса — ну и что? Оставив на своем месте пальто, я вышел на какой-то станции. Вернувшись, увидел, что место мое занято. Я подошел к студенту, занявшему место, и со всей ясностью и простотой, новой у меня, попросил его пересесть. Он попробовал спорить, но потом смутился и послушался. И мне на миг стало легче. Легче мне стало и когда какой-то молодой человек, уже под Москвой, помог мне собрать вещи, завернул мой узелок в газету. «Наверное, видно, как я измучен», — подумал я. И, приехав в Москву, я почувствовал, что жить не могу. И я решил идти на войну.

6 декабря

Когда я решил идти на войну, мир, потерявший цвет, ласковость, таинственность, стал понемногу как бы приходить в чувство. Я не был уже в одиночестве, один против своей беды. Я стал мечтать, к сожалению. У меня появились надежды — бессмысленные, но успокоительные, одурманивающие надежды — поразить, наказать Милочку за ее измену военной славой или славной смертью. Кроме того, уход на войну одним ударом разрубал запутавшийся узел моих университетских дел. Я безнадежно отстал, не бывал на семинарах, лекциях и так далее. Я ненавидел юридические «дисциплины», — само это слово наводило тоску. И я не верил, что подготовлюсь к экзаменам. Точнее, понимал, как это будет трудно, труднее, как мне казалось, чем воевать с немцами. И, наконец, третье, чтобы до конца оставаться правдивым. Меня и в самом деле мучило достаточно ясное чувство вины. Правда, мой возраст не был еще призван, но кое-кто из наших реалистов уже воевал. Мне казалось, что я мог бы взять на себя часть общей тяжести. Сначала я решил поступить в военное училище. Я поехал куда-то далеко, опять к Язуе, там, мне сказали, я могу получить все справки о поступлении на военную службу. Весь мир уже не был так ого-

лен, как в первые дни моего горя. Мне показалось значительным, что воинское присутствие недалеко от больницы, где я заглянул год назад в прозекторскую. В угрюмой, сургучной, канцелярской, недоброжелательной комнате писарь неохотно дал мне все справки. Выяснилось, что я — православный, рожденный русской и по документам русский — в военное училище поступить могу только с высочайшего разрешения, так как отец у меня еврей. Для поступления же добровольцем препятствий не имелось. Писарь дал мне книжечку: правила поступления охотником. Я выбрал артиллерийский дивизион, расположенный на Ходынке, — кто-то посоветовал мне идти в артиллерию. Тоня сказал мне насмешливо: «Ты уже потому охотник, что несешь дичь!» Но я был тверд.

7 декабря

Я сообщил домой, что иду на фронт добровольцем. Написал Юрке и получил ответ. Он отговаривал меня от этого. Он осторожно намекнул на подлинную причину моего решения: «Мяса ешь поменьше!» В то же время сообщил он мне, что Наташа бросила курсы, пошла в сестры милосердия — в Еленинскую общину. Там был почти монашеский устав — домой не отпускали, посещение знакомых не допускалось. Когда (несколько месяцев спустя) она уезжала на фронт, Соколовы стояли вдали, только знаками с ней попрощались. И это укрепляло мое решение. Если бы не отвратительная, невыносимая для меня канцелярская застава, через которую в первые месяцы войны надо было пробиться, чтобы попасть в армию, я пошел бы добровольцем. Несмотря на то, что мне исполнилось уже восемнадцать лет, я терялся, выходя из привычного мне круга. Меня оскорблял и пугал тон, с которым писари разговаривали со мной. А тут еще пришла телеграмма отца: «Запрещаю как несовершеннолетнему поступать добровольцем». И вторая телеграмма, извещающая о приезде мамы. Она приехала растерянная, и давно утраченная близость между нами помешала настоящему объяснению. Спорить нелепо, раздраженно я мог, но тут было не до того. В общем, все же мое желание идти на фронт дрогнуло. Я сдался. Мама провела в Москве недели две. Я доставал ей билеты в театр. Обидел ее без всякой вины с моей стороны: обещал ее встретить и проводить после спектакля

в Художественном, и мы разошлись с ней в толпе, а она так и не поверила, что я пришел вовремя. Побывали на торжественном спектакле в Большом в пользу инвалидного фонда (шел один акт оперы, акт из Островского — «Свои люди — сочтемся» и акт из балета)<sup>147</sup>. Я был на галерке, а мама в партере. Очень долго играли гимны союзных держав, и, глядя на маму сверху, я боялся, что ей трудно стоять.

8 декабря

Было ей тогда тридцать девять лет, здоровье ее с годами окрепло. Выяснилось, что порок сердца, который прослушивали у нее все врачи, исчез. Да, исчез начисто, шумы в сердце пропали, мои детские страхи оказались напрасными. Но я привык бояться за нее и угадывал, что ей неудобно и трудно стоять между креслами, что и подтвердилось. Мама сказала после спектакля, что она боялась упасть. Садовская играла сваху в «Свои люди — сочтемся», пела и даже сплясала или показала вид, что это сделала. И мама впервые увидела артистку, которая, как думал Дризен, повлияла на восемнадцатилетнюю любительницу. Садовская была прекрасна. Побывали мы с мамой и в Третьяковке. Румянцевский, помнится, почему-то был закрыт в это время. Повидала мама Камрасов, Истаманова, побывала у Аркадия и поняла, как я живу. И пришла в ужас. И, как я узнал потом, писала папе, что я ничего не делаю, «ничем не интересуюсь» (вот вечное обвинение тех лет) — и, может быть, лучше было бы пойти мне и в самом деле на войну? Теперь мне кажется, что она была права. Но она не решилась, не посмела отправить меня в эту жестокую школу. И уехала. Приближались рождественские каникулы. Мы с удовольствием думали о поездке домой.

14 декабря

Я не слышал Шаляпина: ждал, пока билеты свалятся мне в руки. Да так и не дождался. Я не читал почти ничего нового, а все перечитывал Толстого и Чехова. «Анна Каренина» так и лежала у меня на столе, ездила со мной всюду, как недавно «Пиквикский клуб». Читал «Новый сатирикон» и тоненькие журналы, а толстые не читал. Разве, если попадутся под руку. Дочка Марии Гавриловны Маруся Петрожицкая, незадолго до того

кончившая с серебряной медалью Московскую консерваторию, решила, что мне следует заниматься музыкой. Чуть странная, в платьях вроде античных хитонов, с большим бледным лицом и небольшими глазами, она взялась за это дело энергично, даже комнату ходила снимать со мною, искала подходящую для занятий музыкой. Впрочем, в Лебяжьем переулке поселился я самостоятельно. Туда я привез пианино, взятое напрокат, — кажется, Блютнера, с тремя педалями, средняя являлась модератором. Я брал уроки у прекрасной пианистки, повесил над пианино портрет Бетховена, но уроков не учил и так и не научился хоть ноты читать. Комната у меня была странной формы, многоугольная. Окно выходило в сторону Москвы-реки — виден был Каменный мост, набережная, вода.

15 декабря

Я слышал, как гудел лифт, поднимаясь, — углы моей комнаты были вызваны необходимостью построить шахту для него. В консерватории объявили вечер памяти Чюрлениса. Маруся Петрожицкая должна была играть по рукописи его вещи. Она взяла меня на репетицию перелистывать ноты. Оказывается, я и этого не умел. Были мы на выставке этого художника, где-то на Тверской. Он писал музыку, и тогда мне, в тумане моем, казалось, что я понимаю его. Все больше и больше военных встречалось теперь на улицах и в театрах. По офицерской традиции они стояли у своих мест, повернувшись лицом к сцене, пока в зрительном зале не гаснул свет. Объясняли эту традицию по-разному. Кто говорил, что офицеры стоят лицом к тому месту, где положено быть царской ложе, кто — исходя из предположения, что в зале находится некто невидимый старше их чином. В переулках, на площадях, у казарм — всюду, всюду учили солдат. Однажды, это уж ближе к весне, пошел я к вечеру в Кремль. Возвращаясь, я увидел, как со Знаменки навстречу мне идут не спеша рослые люди, на которых все оглядываются. Иные даже останавливаются, смотрят им вслед. И когда они подошли ближе, священный трепет, майкопский благоговейный ужас охватил меня. Шел человек, из которого воистину «вышло что-то»: Шалапин! Предполагали снимать картину «Иван Грозный»<sup>148</sup>. Видимо, с тогдашними киношниками и шагал Шалапин в Кремль. Он угадывал наш

трепет, но был царственно спокоен. И я подумал, что надо же, наконец, увидеть Шалапина на сцене.

19 декабря

Без огня моей любви я опустел. Мне не хочется рассказывать о тех годах. Я просто жил и хотел нравиться, только нравиться, во что бы то ни стало; куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя и я не попал в Петроград 21 года артистом Театральной мастерской. Я был женат, несчастен в семейной жизни, ненавидел свою профессию, был нищ, голоден, худ, любим товарищами и весел, весел до безумия и полон странной веры, что все будет хорошо, даже волшебю.

1953 г.

7 января

В 1921 году меня поразили своей красотой деревья на Мойке, против елисеевского особняка, в то время — Дома искусств. Несмотря на то, что был уже октябрь, они стояли пышные, без единого желтого листика, и мне чудилось, что они обещали мне счастье. Но зима наступила скоро, суровая, с двадцатиградусными морозами. Мы жили коммуной, купили дров на театральные деньги и топили высокие чугунные буржуйки. На боках их выступали светящиеся красные пятна. На трубах мы подогревали сыроватый черный хлеб и ели. И обеды готовили мы коммуной, и я, после долгого промежутка времени, обедал каждый день. Кроме того, в пустующей кухне палкинских номеров топили мы огромную плиту и, замесив на воде тесто, пекли прямо на плите лепешки и ели. На Кузнечном рынке покупали крупу, чаще всего ячневую, репу, которую я до тех дней никогда не пробовал, картошку — и ели. Дрова, еда — все это радовало, как может радовать только в голодные и холодные годы. Скоро мы нашли приработок в «Живой газете» Роста. В страшные морозы ездили мы по клубам.

8 января

Когда в 1922 году наш театр закрылся, я, после нескольких приключений, попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому. Человек этот был окружен как бы вихрями, делающими жизнь вблизи него почти не-

возможной. Находиться в его пределах в естественной позе было невозможно, — как ураган в пустыне. Кроме того, был он в отдаленном родстве с анчаром, так что поднимаемые им вихри не лишены были яда. Я, цепляясь за землю, стараясь не щуриться и не показывать, что песок скрипит у меня на зубах, скрывая от себя трудность и неестественность своего положения, я пытался привиться там, где ничего не могло расти. У Корнея Ивановича не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве без настоящего пути, без настоящего языка, без любви, с силой, не находящей настоящего, равного себе выражения, и поэтому — недоброй. По трудоспособности трудно было найти ему равного. Но какой это был мучительный труд! На столе у него лежало не менее двух-трех-четырёх работ — вот статья для «Всемирной литературы»<sup>149</sup>, вот перевод пьесы Синга, вот предисловие и примечания к воспоминаниям Панаевой, вот начало детской книжки. Он страдал бессонницей. Спал урывками. Отделившись от семьи проходной комнатой, он часов с трех ночи бросался из одной работы в другую с одинаковой силой и с отчаянием и восторгом.

9 января

Иногда выбегал он из дома своего на углу Манежного и обегал квартал — по Кирочной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая руками и глядя так, словно тонет, своими особенными серыми глазами. И весь он был особенный — нос большой, рот маленький, но толстогубый, все неправильно, а красиво. Лицо должно бы казаться грубоватым, а выглядит милостивым, молодым, несмотря на седые волосы. На улице на него оглядывались, но без осуждения. Он скорее нравился ростом, свободой движения, и в его беспокойстве было что угодно, но не слабость, не страх. Он людей ненавидел, но не боялся, и это не вызывало осуждения и желаний укусьить у встречающих и окружающих. Я приходил по его приказу рано, часов в восемь. Я в своем обожании литературы угадывал каждое выражение его томных глаз. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, он глядел на меня, прищурив один свой серый прекрасный глаз, надув свои грубые губы, — с ненавистью. Я не слишком обижался, точнее,



не обижался совсем. Ненависть этого рода вдруг вспыхивала в нем и к Коле — первенцу его, и к Лиде, и изредка к Бобе, и никогда к Муре, к младшей. По отношению к Марии Борисовне не могу ее припомнить. Она часто спорила на равных правах, тут шли счеты, в которые я боялся вникать.

10 января

Однажды ходил я доказывать, что ему, Корнею Ивановичу, неправильно назначили налог. И я в гор- или губфинотделе на канале Грибоедова, в великолепном кваренгиевском здании против мостика со львами, доказывал кому-то, что произошла ошибка, и, помнится, сбросили Корнею Ивановичу миллионов шестьдесят. Он поклонился мне в пояс и закричал своим особенным тенором, что я не секретарь, а благодетель. Научил он меня править корректуру в гранках, помечать ошибки на полях и в строчках. Иногда у нас завязывались разговоры, но среди них он вдруг явно уходил в себя, прищурив один глаз, но и до этого знака невнимания, говоря, он жил своей жизнью. Какой? Не знаю. Но явно трудной. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, которое послал он за границу Алексею Толстому, который тогда редактировал в Берлине сменовеховский журнал «Накануне»<sup>150</sup>. В письме этом он приветствовал разрыв Толстого с эмиграцией, рассказывал, в каком унылом окружении живет, звал Толстого в Петроград. Письмо Толстой напечатал, и все оскорбленные, названные в письме, подняли шум. В Доме искусств, в Доме литераторов начались бурные собрания, на которых Чуковский отсутствовал по болезни. Говорили, что он близок к сумасшествию. Не знаю. Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно обижал кого-нибудь. И Андреев жаловался, и Арцыбашев вызывал его на дуэль<sup>151</sup>, и всегда он приходил в отчаянье и был близок к сумасшествию, но оживал.

11 января

Однако, когда требовали дела, Корней Иванович выбегал — именно выбегал — из дому и мчался огромными шагами к трамвайной остановке. Он требовал, чтобы и я так делал всегда: «Если трамвай уйдет из-под носа, так вы не будете виноваты». И, приехав, примчавшись,

куда ему нужно, он спокойно и при этом весело и шумно проникал к человеку, главному в учреждении. «Вы думаете, он начальник, а он человек!» — восклицал он своим насмешливым, особенным, показным манером, указывая при слове «начальник» в небо, а при слове «человек» — в пол. «Идите всегда к самому главному!» Он добивался того, чего хотел, и дела его шли средне — обычная история с людьми подозрительными и мнительными. Дела могли бы идти отлично, если бы Корней Иванович понимал, что у него меньше врагов, чем это ему чудится. И, защищаясь от подозреваемого противника, он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило путаницу и ранило в тысячный раз нежного, нечаянно завязавшего драку Чуковского. Впрочем, иной раз мне казалось, что он уже и без всякого повода испытывает часто непреодолимое желание укунить и обидеть — и при этом вполне бескорыстное, ненужное, не объяснимое самозащитой. Ненависть схватывала его, как судорога, и он кусался. Кого он уважал и любил в те времена? Может быть, Блока. Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все. Однажды он стал читать, улыбаясь, Сашу Черного — стихи «Корней Белинский». Я их не очень помню. Кончатся они тем, что Чуковский силен, только когда громит бездарных людей, а в остальном — ничто. Начал Корней Иванович читать улыбаясь, а кончил мрачно. Думая о своем. И, прищурив один глаз, сказал: «Все это верно».

12 января

И вместе с тем какая-то сила, внушающая уважение, все время угадывалась в нем. Маршак сказал однажды: «Он не комнатный человек». Стихи он запоминал и читал, как это свойственно настоящим поэтам. Любил, вероятно, и некоторых прозаиков, но не так, как Некрасова, например. Одна черта, необходимая для критиков, у него была: он ненавидел то, что другому только не нравилось бы. Но любил с такою же силой — редко. Мешало ему то, что настоящего дара к прозе у него не было. Во многих детских стихах язык у него обнаруживался (конец «Мойдодыра», например), а в прозе в его развязности чувствовалась скованность, ограниченность. В прозе проявлялась та сила, которая так легко сгибалась и выпрямляла длинную его фигуру, играла его высоким голо-

сом, жестикулировала ручищами. Актерская сила, с фейерверками, конфетти и серпантином. Когда начинал он рассказывать о писателях, часто не вспоминал, а сочинял. А прозаик без памяти — невозможен. Однажды он рассказал, как приехал на какой-то вечер Скиталец, пьяный, хотел прочесть свое стихотворение: «Мне вместо головы дала природа молот» и прочел: «Дала природа ноги». Я посмеялся, а потом вспомнил, что эти строки вовсе и не Скитальца, а пародия на него Измайлова<sup>152</sup>. Значит, вся история сочинена. Не было у него памяти, чтобы запомнить, и языка, чтобы рассказать. Та сила, внутренняя, которая угадывалась, заставлявшая его уходить в себя посреди разговора или бегать вокруг дома посреди работы, была нема и слепа и только изредка сказывалась в стихах. Не радовала она его, а грызла и бродила, отчего он и кусался. Вот я возвращаюсь, выполнив поручения. И докладываю: я побывал у Лернера<sup>153</sup>.

13 января

Попытался достучаться к Замирайло<sup>154</sup>, но напрасно. Все поручения выполнены. Я докладываю об этом Корнею Ивановичу. Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими непонятными глазами, и чувство нереальности всего происходящего охватывает меня. Зачем ходил я к Лернеру, в Публичную библиотеку, к Замирайло? Нужно ли было Корнею Ивановичу, чтобы я выполнял все эти поручения, или он просто хотел от меня избавиться? И нужен ли ему вообще секретарь? Да и сам Корней Иванович — тот ли, которого я столь почитал издали в студенческие времена за то, что он был в самом центре литературы, представлял ее и выражал. Что он такое на новой почве, в новой жизни? Существует ли он? Мысли подобного склада часто овладевали мной в те дни: существует ли Давыдов<sup>155</sup>, или в старые времена он был совсем другой артист? Таков ли был Радаков<sup>156</sup>, когда «Новый сатирик» существовал? Что умерло, что уцелело, что растет, а где искусственные цветы? В те дни появились магазины «приказчиков Елисеева», «приказчиков Соловьева». Мне казалось, что люди, уцелевшие от старой жизни, делятся на два вида: «приказчики бывшего Елисеева» и «бывший Казанский собор, ныне Антирелигиозный музей». Корней Иванович не подходил ни к тому, ни к другому виду, и я

часто не понимал, существуем ли мы — и патрон, и секретарь. Для меня это были самые трудные дни: переход от актерской работы к литературной. В те дни я дружил с Колей Чуковским и все советовался с ним, расспрашивал, — выйдет ли из меня писатель. И Коля отвечал уклончиво. Однажды он сказал: «Не знаю. Писателя все время тянет писать. Посмотри — отец все пишет, все записывает, а ты нет».

14 января

У Корнея Ивановича была толстая, переплетенная в черный переплет тетрадь, знаменитая «Чукоккала»<sup>157</sup>, альбом, которым дорожил он необыкновенно. Там были и рисунки Репина, и стихи Сологуба, Блока, автографы Горького, Куприна — всех, в сущности, поэтов, писателей, журналистов, живших в Петербурге, Петрограде, Ленинграде.

Молодой Лева Лунц<sup>158</sup>, в сущности мальчик, веселый, легкий, хрупкий, как многие одаренные еврейские дети его склада, уезжал к родным за границу. «Серрапионовы братья» собрались проводить его. Были и гости. Среди них — Замятин. Я тоже был зван, и Корней Иванович дал мне «Чукоккалу», чтобы я попросил участников прощального вечера написать что-нибудь. Вечер был так шумен и весел, что альбом пролежал на окошке в хозяйкиной комнате весь вечер, и никому я его не подсунил. Вечер, повторяю, был веселый, только главный его виновник грустил. Он недавно перенес суставной ревматизм. И в тот вечер ему нездоровилось — он с трудом открывал рот — болела челюсть в суставе, и это его тревожило. Мы не верили в дурное и не предчувствовали, что Лева Лунц уезжал умирать. Мы подсмеивались над его челюстью «слегка испорченной», а это был симптом возврата болезни. Он уехал к родным, но с парохода его уже вынесли на руках, и он до самой смерти не вставал с постели. Но тогда мы в это не поверили бы. На другой день после веселых проводов я у Чуковского не был. Вечером зашел Коля и сообщил, что папа очень беспокоится, — где «Чукоккала». Утром я Корнея Ивановича не застал — он унесся по своим делам. Но на промокательной бумаге письменного стола в нескольких местах было написано: «Шварц — где „Чукоккала“?» И я понял, что и в самом деле первое его движение, первое выражение чувства — запись.

15 января

Корней Иванович неоднократно горевал о дневниках своих, которые вел всю жизнь. Они остались на даче в Куоккале<sup>169</sup>. Полагаю, что дневники его и в самом деле — клад, да еще и загадка. Это будет неслыханная смесь искренности и той непонятной для постороннего читателя лжи, что вызывалась мнительностью, подозрительностью и судорожным желанием укусить. Я работал, или считалось, что работаю, и, несмотря на мгновенья растерянности, о которых рассказывал, несмотря на неестественное положение в полосе отчуждения, в пустынных вихрях, временами все же бывал счастлив. Так или иначе, я все дальше и дальше уходил от театра, и вокруг меня все жило интересами литературы. Я слышал имена современников Чуковского. Говорил он о них недостоверно, с усмешечкой, без настоящего интереса, но я наслаждался. Смеясь, глядит он на портрет Мережковского, приложенный к какой-то книге. Писатель сидит в кресле у себя в кабинете. На стене распятие и непосредственно под ним кнопка звонка. Заметив эту подробность, Корней Иванович хохочет весело и нарочито громко. «Весь Митя в этом!» — восклицает он. Мне не вполне ясно, почему весь Митя в этом, но и я смеюсь, я доволен — разговор повел меня в литературу, в самую ее середину. А Корней Иванович, оборвав смех и потемневши, рассказывает, как Мережковский и Гиппиус, уже решив бежать, ходили по издательствам и собирали авансы. До отъезда были они с Корнеем Ивановичем ласковы, все просили советов и помощи, подписывая договоры в непривычных обстоятельствах, а бежав, стали обливать грязью. Гиппиус посвятила ему стихи, где говорила, как радуется ее всегда приход «седого мальчика с душою нежной», а за границей ругала его, как торговка.

16 января

Больше всего мне понравился и меньше всего вызвал сомнений рассказ Корнея Ивановича о Короленко. Чуковский сказал ему однажды: «Как хорош у вас, Владимир Галактионович, слесарь в рассказе „На богомолье“». Сразу видно, что он списан с натуры». Надо знать Корнея Ивановича, чтобы почувствовать своеобразную ядовитость этого заявления. Оно было построено по любимому его образцу. Сначала похвала, а потом удар но-

жичком в спинку. Я так и слышу, как невинно и вкрадчиво звучит тенор Чуковского: «Списан с натуры». И Короленко ответил спокойно: «Еще бы не с натуры — ведь это Ангел Иванович Богданович»<sup>160</sup>. Корней Иванович восхищался этим ответом. А для меня в нем было целое откровение. Вот он, настоящий реализм. Взять характер интеллигента, редактора толстого журнала, со всеми особенностями («Черт Иванович» — называли Богдановича наборщики) — и перенести в другую среду, да так, что он стал еще яснее и выразительнее. Вот тебе и с натуры. Работа у Чуковского сошла постепенно на нет к весне 23 года. К моему отъезду в Донбасс. Расстались мы друзьями. Только перед самым уже отъездом заспорили мы с ним по поводу статьи его о Блоке. Мне казалось, что поэт, узнавший, что крестьяне сожгли его имение и сказавший на это просто: «Туда ему и дорога», заслуживает более сложного разбора. Спор этот Корней Иванович запомнил. Он, уже когда я уехал, говорил Коле, что гонорар за статью, вызвавшую такой спор, он переведет мне. Но не перевел. На этом и кончилась моя служба, но встречаться нам приходилось часто. И он всегда был добр ко мне. Но и тут сказывались особенности его натуры. Кончая редактировать одно из изданий «От двух до пяти», он сказал мне однажды, что я буду приятно удивлен: он обо мне написал в своей книжке. Случайно увидел я корректуру ее и прочел: «В детскую литературу бросились все — от Саши Черного до Евгения Шварца».

17 января

Я не обрадовался. Фраза показалась мне неопределенно оскорбительной, на что она и рассчитывала. Но я и не огорчился и не удивился. Я ждал чего-нибудь в этом роде. И вот вышла книжка. Фраза «...от Саши Черного до и т. д.» исчезла. Вместо этого было сказано: «Даровитый Евг. Шварц наиболее удален от экикик»<sup>161</sup> и добавлено, что я внес в детскую литературу стариковский сказ вместо — забыл чего. Этим отзывом я был польщен. Слово «даровитый» для меня все освещало. Я себя и за человека не считал.

Осталось мне рассказать немного, да я и не знаю, стоит ли рассказывать. Относится эта история к его пресловутой вражде с Маршаком. Все охотно рассказывали эти анекдоты, потому что каждому данная вражда

представлялась понятной. А ее как таковой — не было. Во всяком случае, по сравнению с татарской, бешеной, убийственной для обеих сторон житковской или олейниковской ненавистью, о ней и говорить-то не стоит. Чуковский не любил Маршака, как и всех прочих. Не больше, чем родного сына. Может быть, более откровенно. Во время Первого съезда писателей, узнав, что Маршак был на приеме, куда Чуковского не позвали, этот последний, построив фразу по любимому своему образцу, сказал: «Да, да, Самуил Яковлевич, я так был рад за вас, вы так этого добивались!» И это заявление все весело повторяли. А для Чуковского оно было попросту добродушно. Любопытный разговор имел Корней Иванович с Хармсом о «Мистере Твистере».

18 января

Встретивши Хармса в трамвае, Корней Иванович спросил: «Вы читали „Мистера Твистера?“ — „Нет!“ — ответил Хармс осторожно. „Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть такие куски, где ни мастерства, ни таланта — „сверху над вами индус, снизу под вами зулус“ — и все-таки замечательно!“ «Так говорил он о Маршаке. Зло? Несомненно.

Но вот во время войны я привез письмо Марины Чуковской<sup>162</sup>. Она просила передать его срочно Корнею Ивановичу. Она узнала случайно, что Коля находится в месте, где газеты нет, где сидит он без работы под огнем, рискует жизнью без всякой пользы. Она просила Корнея Ивановича срочно через Союз добиваться Колинского перевода. С вокзала я завез письмо Корнею Ивановичу и, не застав его, просил передать, что зайду вечером. Встретились мы раньше в столовой Дома писателей. Было это во втором этаже, где кормили ведущих и нас, приезжих. Я спросил Корнея Ивановича о письме, и лицо его исказилось от ненависти. Прищурив один глаз, он возопил своим тенором, обращаясь к сидящему за нашим столом какому-то старику. Забыл — чуть ли не к Гладкову. «Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что находится на волосок от смерти, — и она пишет: „Спасите его, помогите ему“. А он там в тылу наслаждается жизнью!» — «Ай-ай! — пробормотал старик растерянно. — Зачем же это он?» Вот как ответил Корней Иванович на письмо о первенце, на-

ходящемся в смертельной опасности. Нет, я считаю, что Маршака он скорее ласкал, чем кусал.

В апреле прошлого года встретил я Корнея Ивановича на совещании по детской литературе. Незадолго до этого исполнилось Чуковскому семьдесят лет. Оглянувшись, я увидел стоящего позади кресел Чуковского, стройного, седого, все с тем же свежим и нежным лицом.

19 января

Конечно, он постарел, но и я тоже, и дистанция между нами тем самым сохранилась прежняя. Он не казался мне стариком. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в зале, пожимая правую левой, прижимая обе к сердцу. Я пробрался к нему. Сначала на меня так и дохнуло воздухом двадцатых годов. Чуковский был весел. Но прошло пять минут, и я угадал, что он встревожен, все у него в душе напряжено, что он один, как всегда, как белый волк. Сурков в это время делал свой вступительный доклад — читал его, и аудитория слушала вяло. Чувствуя это, Сурков иной раз отрывался от рукописи, говорил от себя, повысив тон, на нерве, выражаясь по-актерски. Обратившись к Маршаку и Михалкову, сидящим в президиуме, Сурков воскликнул, грозя пальцем: «А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры для детей!» Чуковский, услышав это, сделал томное лицо, закивал головой и продекламировал подчеркнуто грустно: «Да, да, да, это национальное бедствие!» И снова на меня пахнуло веселым духом первых дней детской литературы.

Вот и кончен рассказ мой о Чуковском.

20 января

Осенью 22 года, уже чувствуя себя петроградским жителем и забывая постепенно Ростов, я увидел объявление о том, что в Доме искусств открывается прием в забыл что. То ли в студию, то ли в литературный университет. Читают — Замятин, Чуковский, Шкловский и так далее. Я записался туда. На лекции Корнея Ивановича была такая толпа, что он едва пробрался к своему столу, влез на него в валенках и спрыгнул по другую сторону к величайшему удовольствию аудитории. Разбирали Бунина. Прочел доклад слушатель старше-



го курса студии с деревянным лицом и голосом из того же материала — Николай Тихонов. В докладе он доказывал, что Бунин — провинциал, старающийся показать свою образованность. Я обожал Бунина, и Буратино с дурно обработанной чуркой на том месте, где у людей обычно находится лицо, с пепельным париком над чуркой — ужаснул меня. Года через два, уже зная, что он не так осинопоподобен, как почудилось мне при первой встрече, я спросил его, зачем сочинил он доклад подобного рода. «Ты не понял! — воскликнул он. — Я пародировал Чуковского. Неужели ты не заметил, как он был недоволен!» Я заметил, но отнес это к сути доклада.

22 января

Возвращаюсь к 21 году. Я чувствовал себя смутно, ни к чему не прижившимся. Театр, несмотря на статью Шагинян «Прекрасная отвага» и похвалы Кузмина, — шатался. Морозы напали вдруг на нас — и какие.

В нашей комнате лопнул графин с водой. Времянки обогревали на час-другой. Попав с улицы в тепло, я вдруг чувствовал, что вот-вот заплачу. Холодова<sup>163</sup> была в ссоре со всей труппой и неистовствовала, что я не слеую ее примеру. И в такие вот смутные дни я стал слушать лекции среди людей непонятных и чуждых, как бы несуществующих. Скоро я убедился, что не слышу ни Чуковского, ни Шкловского, не понимаю, не верю их науке, как не верил некогда юридическим, и философским, и прочим дисциплинам. Весь литературный опыт мой, накопленный до сих пор, был противоположен тому, что читалось в Доме искусств. Я допускал, что роман есть совокупность стилистических приемов, но не мог поверить, что можно сесть за стол и выбирать, каким приемом работать мне сегодня. Я не мог поверить, что форма не органична, не связана со мной и с тем, что пережито. То, что я слышал, не ободряло, а пугало, расхолаживало. Но не верил я в прием, в называние, остранение, обрамляющие новеллы, мотивировки, оксюморон и прочее — тайно. Себе я не верил еще больше. Словом, так или иначе я перестал ходить на лекции. А театр погибал, его вымораживало из Владимирской, 12, разъедало, разбивало...

Я шагал по улице и увидел афишу: «Вечер „Серрапионовых братьев“». Я знал, что это студийцы той самой сту-

дии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое.

23 января

Дом искусств помещался в бывшем елисейском особняке, мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостиных. Пневматические, а не пружинные. На скульптуры Родена — мраморные. Подлинные. На атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать, полный недоверия, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой Михаил Слонимский, я подумал: «Ну вот, сейчас начнется стилизация». К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимский читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он описал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва попав в категорию искусства. Он показался познаваемым, в его хаосе почувствовалась правильность. Равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к тому, о чем я тосковал и чего не чувствовал на лекциях, путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный не по выражению, вопреки суровому выражению лица да и всего существа, человек, я подумал: «Ну вот, теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске „Серационовы братья“». И снова ошибся, был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ „Рыбья самка“ почти наизусть.

24 января

Так впервые в жизни услышал я и увидел Зощенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понра-

вился, но уж очень горячо встретила его аудитория, и соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел «Бертрана де Борна» и «Вне закона» и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейский отрывок, где все повторялось: «Моисей бесноватый», что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин, еще в гимназической форме, с поясом с бляхой. И он действительно прочел нечто стилизованное. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем «Серапионовых братьев» объединились писатели и люди мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло их, оправдывало их объединение.

25 января

Нет, я записал вчера неточно. Дело было не в том, что нашлись люди, думающие так, как я. Я ничего еще не думал. Думать можно, когда работаешь. Просто я почувствовал атмосферу менее враждебную, чем во всем остальном тогдашнем Петрограде. Более живую. Вскоре я познакомился с ними ближе. И в самом деле они оказались разными людьми. Что общего было у Лунца с Никитиным, у Каверина — со Всеволодом Ивановым? Ближе всего сошелся я со Слонимским. Он в те дни просыпался поздно, часов в одиннадцать, но и тогда не вставал, все курил и думал, глядя рассеянно огромными своими глазами в неприбранную свою душу. Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных, таких, например, как офицер со справкой: «Ранен, контужен и за действия свои не отвечает» (герой его «Варшавы»). И фамилии он любил странные, и форму чувствовал тогда только, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал за годы нашего долгого знакомства, — прост. Он старался изо всех сил стать нормальным. И в конце концов действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто, занял место, стал в позицию нормального. Только какие-то железы у него на шее гипертрофировались,

а исхудал он еще больше, чем в первые годы нашего знакомства.

28 января

Итак, я заходил к нему чаще всего по утрам. Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Лунц расклеил объявления от Дома искусств до Дома литераторов на Бассейной. В объявлении сообщалось владельцам коз, что им предоставляется бесплатно для случки черный козел. Являться только от 7 до 8 утра — и приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Мише долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен все объявления. Но он не обижался. Он держался с достоинством не сразу заметным, но несомненным. И не стал бы он обижаться на дружескую шутку.

29 января

И «Серапионовы братья», хоть и возникли всего за год до моего с ними знакомства, уже имели предания и исторические рассказы. Уже успела уехать на юг Муся Алонкина<sup>164</sup>, которую все очень любили, даже старики. Вова Познер<sup>165</sup>, тоже ушедший в мои дни в историю, или, проще говоря, уехавший в Париж, написал Мусе Алонкиной стихи, где говорилось: «...Волынский, Кони, тысячелетия у ног твоих лежат!» А кончались они так: «...Вы кажетесь мне, Мусенька, отделом охраны памятников старины». И Миша Слонимский был в нее влюблен и даже считался ее женихом. Александр Грин, удалившийся к 22 году в Старый Крым, в 20–21 г. тоже влюбился в Мусю. И существовало предание, что однажды утром Миша проснулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Первое, что он увидел, — руки у самого своего горла. Это Грин пришел, чтобы задушить Мишу из ревности, но не довел дело до конца. А вот и исторический факт. Миша и Грин в пашлычной выясняли отношения и, не выяснив их до конца, обнаружили, что денег у них больше нет. Тут Грина осенила идея: самый простой выход — это поехать и выиграть в лото. Нэп уже был в действии. На Невском, 72, работало электрическое лото. Грин и Слонимский отправились туда, не сомневаясь, что выиграют, и, о чудо, и в самом деле выиграли. Удивились они этому только на другой день, увидев, как много у них денег, и припомнив, как они их добыли.

30 января

Обсуждали друг друга молодые большей частью у Миши в комнате, причем он по привычке слушал чтение почти всегда лежа. Обсуждалось прочитанное пристально. Если рассказ нравился мне, я, тогда совсем потерявший дорогу и всякое подобие голоса, испытывал некоторое желание писать. Но всегда желание это вытравлялось начисто последующим обсуждением. Друзья мои с непостижимой для меня уверенностью пользовались тогдашним лексиконом своих недавних учителей. Я не отрицал этого вида познания литературы, я его не мог принять, органически не мог... Утешала меня идиотская уверенность, что все будет хорошо. Отсутствие языка имело для меня и утешительную сторону — я в силу этого не мог думать. В 25 лет без образования, профессии, места, я чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы.

31 января

Я впитывал каждое слово, каждую мысль, но не все принимал, нет, далеко не все, — органически не мог. Я вырос иначе, в маленьком городе. Но вместе с тем, благодаря огромному расстоянию между знанием и выводами из него, действием, — я уважал, почти религиозно, своих новых друзей. Они были там, в раю, среди избранных! В литературе. Меня раздражала важность Николая Никитина. Когда он пускался в рассуждения, орудуя своими тяжеловесными губами и глядя бессмысленно в никуда через очки водянистыми рачьими глазами, никто его не понимал. Думаю, что, несмотря на глубокомысленность выражения, он сам не понимал, что вещает. Да, он был важен в те дни. Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы: «Какая там погода?» И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками: «Снега в Москве великие». Я отлично понимал Никитина — но готов был преклоняться перед ним: старшие его хвалили, считалось, что он чуть ли не самый талантливый из молодых. А я? В те дни, помогая Чуковскому составлять комментарии к Панаевой, я спросил его однажды с тоской: «Неужели я и в примечания никогда не попаду?» И Корней Иванович ответил со странной и недоброй усмешкой: «Не беспокойтесь, попадете!» Я смотрел на

них, на молодых, суеверно, снизу вверх, из них уже «что-то вышло», их сам Горький хвалит, а вместе с тем и сверху вниз: учиться ни у них, ни у старших я не мог. Мне все казалось, что писать надо не так. А как? И тут я был бессилён. Федин — красивый, очень худой, так что большие глаза его казались излишне выпуклыми, напоминал мне московского студента — из тех немногих, что нравились мне. Он явно знал, что красив, но скромно знал. Весело знал, про себя.

1 февраля

Нельзя было осуждать его за это. Его самочувствие напоминало особое удовольствие славного, простого парня, который надел новый костюм. Да еще знает, что он идет ему. При всей своей простоте — Федин всегда чуть видел себя со стороны. Чуть-чуть. И голосом своим пользовался он так же, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого. Чуть переигрывая. Но с правом на это место. Я слушал отрывки из романа «Города и годы» с величайшим уважением, как классику, и очень удивился, когда роман прочел. Без правильного, славного фединского лица, без голоса его, без убеждения и уверенности, с которыми он читал, роман перестал светиться изнутри. Казался ложноклассическим. «Трансвааль» слушал я в квартире Федина за славным, просторным его столом с самоваром. Славная беленькая дочь его Ниночка, бегая, ушиблась и не заплакала, а вся покраснела из желания скрыть боль. Выдержать. И выдержала. Дора Сергеевна говорила с нами с улыбкой несколько как бы примерзшей к ее губам: она подозревала, что мы ее не любим, но ничем этого не показывала. Хозяин был Федин, и дом велся просто, гостеприимно, доброжелательно, по его, по-хозяйски. И опять «Трансвааль», когда читал его хозяин, показался драгоценнее, чем когда я прочел его в книге. Но я не смел или почти не смел говорить о том даже самому себе. Я с радостью все старался рассмешить, развеселить моих новых друзей, не ощущая странности, а может быть, и униженности моей позиции. Впрочем, нет. Все они, кроме, может быть, Никитина, принимали меня как равного. Лева Лунц жил в глубинах дома в маленькой, полутемной и сырой комнате. Он был умный мальчик, более всех умный и более всех мальчик. Он с блеском

кончал университет и еще не решил окончательно, кем быть — ученым или писателем.

2 февраля

Это был совсем еще мальчик. И никак не теоретик группы. У группы не было теории. То, что Лева Лунц говорил, выслушивалось не без интереса и только. Да и Лева, настаивая на необходимости сюжета и прочих тогда модных стилистических приемах, больше с азартом убеждал, чем сам был убежден. Это пока что была игра. А его рассказы, написанные по правилам игры, отличались столь редкой тканью, жидкой фактурой, что не нравились ему самому. Зато в драматургии, где у Лунца теория вытекала из самой его работы, он, несмотря на молодость, имел уже настоящий опыт. Одно правило, найденное им, я запомнил. «Не следует выбирать место действия, не ограниченное стенами или еще чем-нибудь. Слишком легки выходы». Спорить с этим правилом можно сколько угодно, но оно живое и родилось из опыта. И в пьесах он уже был не мальчиком, и ткань его пьес казалась в те дни драгоценной. В мальчишке живом и веселом бродила, играла сила. Любили в те дни такую игру: Лева Лунц садился посреди, остальные вокруг. И все должны были повторять его движения. И тут он был воистину вдохновенен и вдохновлял всех, доходил до шаманского состояния. И при этом весело, легко, играя, не выходя за пределы игры. У него была ясная, здоровая голова, но слабенькое, еще мальчишеское, хрупкое тело. И сырая его комната, и недоедание сломили мальчика.

3 февраля

И кончилась игра, которая отличает настоящие драгоценные камни от поддельных. Лунц уехал совсем больным, с парохода вынесли его на руках, и до самой смерти он, такой живой и быстрый, не вставал. Он писал друзьям. Получил письмо и я, коротенькое, веселое, но последние слова были такие: «И я был свободным волком, как сказал Акела, умирая». В 24 году, уже написав свою первую книжку, я приехал во второй раз в Артемовск. Работал в газете. И однажды утром, развернув номер сменовеховской газеты «Накануне», с ужасом прочел, что Лева Лунц умер. В заметке было строк пять-шесть. Я оглядел новых своих друзей и по-

нял, как трудно объяснить, какое случилось несчастье, какого чудесного юноши больше нет на свете. Он радовал чистотой и благородством силы, весело игравшей в его душе. Как это объяснить и рассказать? Это были самые близкие мои друзья: Лунц и Слонимский. Всеволод Иванов и Никитин совсем не были близки. Первый держался в стороне и скоро уехал в Москву, второй — просто недолюбливал, хотел сказать, меня. Нет — всех. Ласков со мной был и Зоценко, но я побаивался его, как и все, впрочем. В те дни был он суров, легко сердился, что сказывалось чаще всего в том, что смуглое лицо его темнело еще больше. Но иногда он и высказывался. Однажды утром, сидя у него в комнате, я наблюдал благоговейно, как представитель какого-то московского издательства вел переговоры с ним и Никитиным. Он просил рассказы для журнала или альманаха, это было еще для молодых редкостью, новостью в те дни. Никитин спросил о гонораре и стал требовать прибавки. Это показалось мне как бы кощунственным. И Зоценко потемнел и встал, и заявил строго: «А я отдаю вам рассказ за пять червонцев».

4 февраля

Чем ближе знакомился я с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его, но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее, были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Это была совсем не та борьба, что у Миши Слонимского. Михаил Михайлович боролся с простыми вещами: бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен. При молчаливости своей — словоохотлив. Какая-то часть его сознания тянулась к научному мышлению. И казался он мне, при всей почтительной любви моей, иногда наивным, чудаковатым в этой области. Но это шло ему. Ведь и рассказы его, в сущности, поучали, указывали, проповедовали, только создавались они куда более мощной, могучей стороной его существа. Heilige Ernst<sup>166</sup>, о которой говорила Мариэтта Шагинян,



сопутствовала всей его работе, всей жизни. Вот он с женщинами был совсем не мальчик, но муж. И его любили, и он любил. Но всегда — любил. У него были романы, а не просто связи. В достаточной мере продолжительные. Однажды при нем стал читать свою непристойную поэму один молодой поэт. И Зощенко так потемнел, что молодой поэт прекратил чтение и стал просить прощения у Михаила Михайловича, как будто провинился перед ним лично.

7 февраля

Веня Каверин, самый младший из молодых, чуть постарше Лунца, кажется, был полной противоположностью Груздеву. Он был всегда ясен. И доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье. Он только что кончил арабское отделение Института восточных языков, писал книгу о бароне Брамбеусе, писал повести — принципиально сюжетные, вне быта. И всё — одинаково ровно и ясно. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. Он и не вспоминает сейчас, например, об арабском языке и литературе. Его знания не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления. Очень трудно добиться от него связного рассказа после долгой работы.

8 февраля

Приехав откуда-нибудь, он искренне старается вспомнить, как живут наши общие друзья, и не может. События их жизни прошли через его ясную душу, не шевельнув ни частицы, не оставив следа. Особенно раздражало это во время войны: «Как живут такие-то?» — «Да ничего!» Бог послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссе на дороге, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. Зощенко как-то, желая утешить Маршака в тяжелую минуту его жизни, сказал: «В хороших условиях люди хороши, в плохих — плохи, а в ужасных — ужасны». Каверин был хорош потому еще, что верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы, и ревниво косятся на соседа-бедняка. Для Каверина это

было просто невозможно. Мы часто отводили душу, браня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом. Нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Но у Вирты жизнь сложилась еще удачней, а кто видел от него хоть каплю добра? Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг поняли — жизнь показала, время подтвердило: Каверин благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом. Лидочка, его жена, заслуживает отдельного рассказа, так же, как Юрий Николаевич Тынянов, брат ее, которого я любил так осторожно и бережно, как того требовало хрупкое его удивительное существо. Поэтому вряд ли я осмелюсь рассказывать о нем. А жалко.

9 февраля

Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина — тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблен в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловский. И она горевала об этом до самой смерти, а вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает, бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом. Измена, даже мимолетная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось.

Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему ходил на лицейский

портрет Пушкина, был строен, как мальчик, но здоровье ушло навеки, безнадежная болезнь победила, притушила победительный, праздничный блеск его ума, его единственного, трогательного собственного знания. И больше я о нем не буду писать. Не хочется рассказывать о нем трезво. Не тот человек. В начале двадцатых годов молодые писатели, мои друзья, почти все были холосты, Веня Каверин женился едва ли не первым. Я увидел Лидочку на одном из серапионовских вечеров, бледную, темноволосую, маленькую, похожую и не похожую на брата. Очень тихая, она ничем не выдавала своей силы. Только с течением времени я увидел, как на плечах несла она свой дом и все несчастья, что выпали на долю ее брата. Маршак полушутя говорил, что Лидочка пишет лучше Вени. Во всяком случае, она могла бы писать. Я знаю это не по книгам ее, а по ней самой. Она умеет заметить, запомнить и передать все то, что проходит через Веню, не изменив, не пошевелив и частицы его души. Брак с Лидочкой с самых первых дней не усложнил, а облегчил жизнь этого счастливец. Софья Борисовна пришла на помощь.

10 февраля

Мать Юрия Николаевича Тынянова имела все радости и горести, какие дают большие, но несчастливые дети. Правда, Лидочка скорее утешала ее, но и Лидочкину семью, пока Веня не стал на ноги, опекала и поддерживала она. В 39 году, уже умирающая, с помраченным сознанием, летом в Луге, на Вениной даче, говорила она только об одном: а Наташа поела? А Лидочка поела? А Коля поел? Пока сознание теплилось в ней, она все беспокоилась, все заботилась о близких, до самой смерти. И Лидочка унаследовала ее душу, еще украшенную тыняновской талантливостью, прелестью.

11 февраля

Я так доволен, что могу рассказывать о ненавистных и любимых людях, что забросил и пьесу, и либретто балета<sup>167</sup>. Рассказывая, я ни разу ничего не придумал, не сочинил, а если и ошибался, то нечаянно. Это наслаждение — писать с натуры, но не равнодушно, а свободно — вероятно, могло открыться мне и раньше, но я слишком уж боялся какого бы то ни бы-

ло усилия. Неужели у меня не хватит времени воспользоваться новым умением? Надо начать работать, а не только наслаждаться работой. Я все избегаю черного труда, без которого не построишь ничего значительного. Хочется построить что-нибудь значительное. Возвращаюсь к старым моим знакомым, некогда молодым писателям. Федин совсем тот же. Может быть, чуть-чуть окрепло чувство: «Значит, все, что я о себе думал, правда!» Оправданием ему служит то, что для этого были основания. Полонская с месяц назад приехала отдохнуть в Дом творчества. Недоумевающее, вопросительное выражение дошло у нее до крайности. Она захворала. Врач сказал, что с таким давлением нельзя ей оставаться тут, и ее увезли в Ленинград. До болезни гуляла она медленно-медленно и все просила меня раздобыть ей палку. Каверин уже дедушка. Лидочка приезжает сюда из Москвы нянчиться с внучкой, а Веня поглядывает на нее и не верит, что он дед. Да и в самом деле — во времена нашей юности, когда мужчины носили бороды, деды выглядели иначе.

13 февраля

Вероятно, в начале двадцатых годов, а может быть, и ближе к середине, увидел я безобразное, а вместе с тем привлекательное, безразлично-брезгливое, а может быть, глубоко сосредоточенное лицо Эренбурга. Он зашел к кому-то из «серапионовых братьев». Сохраняя не то брезгливое, не то горестное выражение рта, рассказывал он, сонно глядя мимо собеседников, что пишет сейчас «Жанну Ней», поставив себе простую задачу: сделать книгу, над которой плакали бы. Он достал из портфеля и показал готовый план книги, похожий на генеалогическое дерево или штатное расписание. Разноцветные кружки или квадратики, соединенные прямыми линиями, занимали длинный лист бумаги. Меня этот план почему-то рассердил и напугал, но Федин, у которого я отозвался с насмешкой о такого рода планировании, спросил удивленно: «А как же иначе?» — и достал из стола лист, весьма похожий на эренбургский, со схемой будущего своего романа. Кажется, «Братьев». В те дни я прочел «Хулио Хуренито», лучшую, вероятно, из эренбургских вещей. Книжка задевала, но скорее отрезвляла, чем опьяняла. Схему

придумывать можно, но настоящая работа опрокидывает ее. Бог располагает. В романах же Эренбурга уж очень отчетливо просвечивало, как человек предполагает. Дурного в этом я не видел. Скорее испытывал зависть к его трудоспособности и рассудку. Но успех его тех лет, неистовый, массовый, казался мне необъяснимым. Я шутя уверял, что он продал душу черту.

14 февраля

Так иной раз появлялись и исчезали люди из другой, из московской или еще более далекой жизни. Появился Толстой, но литературную среду, близкую мне, не поколебал. Он встал в стороне, завел знакомство только с Фединым и Никитиным. Он поставил себя в положение более независимое, чем кто-либо, — независимое в отношении своих собственных дел. Писал он, как в то время требовалось. Разве только иногда позволял себе слишком уж откровенно делать вещи для большого заработка вроде «Заговора императрицы». Зато жил весело, не по времени широко, словно помещик, и выходило у него это естественно, как будто иначе и не полагалось людям, подобным ему. И все у него получалось. В книжках, даже наименее удачных, — вдруг, как подарок, — страница, другая, целая глава. А «Ибикус», хотя Миша Слонимский бранил его за умышленную традиционность, обрадовал в те дни от начала до конца. А «Детство Никиты». По традиции дуря и чудачествуя, жил он в своем имении в Детском широко и свободно, как писал. Он ни в чем не стеснял себя, был телесен во всем. Вот он вышел на станции, по дороге на юг. Цыганка — сидит на перроне и ни на кого не глядит, перекладывает в мешки, что набрала. И Толстой, вышедший из вагона, стоит над ней и откровенно, нельзя сказать, наблюдает — всасывает, как насос, впитывает то, что видит. Так он смотрел, писал, ел, и пил, и любил. А чудачество — тоже непритворное — помогало ему по традиции. Он не притворялся, но пользовался по традиции этой своей особенностью, как пользовался талантом, здоровьем, впечатлительностью. Ругали его скорее беззлобно: уж очень он весь был понятен и живописен. О нем не то что сплетничали, а любили поговорить — о его заработках, обедах, приемах. А он шагал себе, как бы не замечая шума и разговоров, радуясь себе.

15 февраля

Жил, как хотел, и Павел Елисеевич Щеголев, огромный, большеголовый, седой, с внимательным лицом и жадными губами. И Щеголев разрешал себе больше, чем другие. Однажды ему позвонила домой знакомая и стала отчитывать за то, что не платит он гонорар одной молодой своей сотруднице за статью в «Былом»<sup>168</sup>. Щеголев стал жаловаться на дела. «Хорошо, я дам вам займы три рубля», — сказала знакомая, желая уязвить приbedняющегося. «Вот спасибо!» — ответил Щеголев спокойно. Он зарабатывал ухватисто, не стесняясь тем, что ученый и профессор. И Корней Иванович говорил о нем, хохоча: «Он бывает просто счастлив, когда поймает какого-нибудь декабриста на слабости или позе. Почеловечески счастлив». Но и Щеголеву прощалось многое за талант, за классическую «Дуэль и смерть Пушкина», за монументальность фигуры, за смелость. Рассказывали с восторгом, как за ужином, раздраженный площадной бранью одного писателя, он встал и обрушился на скандалиста всем своим ростом и дородством, подмял под себя, как медведь, и основательно поучил. Года два назад попалась мне фотография двадцатых годов: правление Модпика<sup>169</sup>. Я увидел забытое и характерное выражение, свойственное в те времена людям, завоевавшим положение, создавшим себе имя. Особенно заметно это выражение у Павла Елисеевича, он смотрел с карточки через плечо. Перевести на слова это выражение можно так: сознание своего веса.

17 февраля

Читаю Пруста. Вышло так, что я до сих пор прочел только «Под сенью девушек в цвету» и следующие. Не читал первой половины «Девушек» — роман с Жильбертой Сван<sup>170</sup>. Книга несомненно непереводаемая, более непереводаемая, чем стихи, где хоть размер диктуется автором. Но и немногие пробившиеся живые слова перенесли меня и в мое детство: ожидание матери, меня уже отправили спать, а гости шумят весело. Есть одно прямое совпадение: я восхищался (не смея перенять) произношением Крачковских («вирьятно», «назло») — как мальчик у Пруста — произношением семьи Свана. Если отбросить, заставить себя отнестись снисходительно к тонкостям болезненным, женственным, то многое трогает. Прежде всего правдивость во

что бы то ни стало. Но это и порождает «тонкости». А переводный язык придает им литературную, мертвую, бескровную оболочку. Книжка на первый взгляд не французская. Но если взглядишься, то ощущается в ней «эспри»<sup>171</sup>, и мы чувствуем себя своими в области, где хозяином «Geist»<sup>172</sup>. Впрочем, храбрость, с которой путешествует он внутрь себя, и смелость, с которой говорит он о своих открытиях правду, создают подобие «heilige Ernst». И внимательность, равная ко всему, иногда кажется божественной. Это не безразличие, а равная ко всему внимательность.

18 февраля

Возвращаюсь в двадцатые годы. Владимир Васильевич Лебедев считался в то время лучшим советским графиком. Один художник сказал при мне, что Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто следующий. Кроме того, в свое время он был чемпионом по какому-то разряду бокса. И в наше время он на матчах сидел у ринга на особых местах, судил. У него дома висел мешок с песком, на каком тренируются боксеры. И он тренировался. Но, несмотря на ладную его фигуру, впечатления человека в форме, тренированного, он не производил. Мешала большая, во всю голову лысина и несколько одутловатое лицо с дряблой кожей. Брови у него были густые, щеткой, волосы вокруг лысины — тоже густые, что увеличивало ощущение беспорядка, неприбранности, неспортивности. И одевался он старательно, сознательно, уверенно, но беспокоил взгляд, а не утешал, как человек хорошо одетый. Что-то не вполне ладное, как и в соединении нездорового лица и здоровой фигуры, чувствовалось в его матерчатом картузе с козырьком, вроде кепи французских солдат, в коротеньком клетчатом пальто, нет, полупальто, в каких-то особенных полувоенных ботинках до колен, со шнуровкой. Глаз на нем не отдыхал, а уставал. Он держался просто — как бы просто, одевался как бы просто, но был сноб. Особого рода сноб. Ему импонировала не знатность, а сила. Как и Шкловский и Маяковский, он веровал, что время всегда право.

19 февраля

Он примирял то, что ему было органично, с тем, что требовалось. Не по расчету, а по внутреннему влече-

нию: время всегда право. Он любил сегодняшний день, то, что в этом дне светит, дает наслаждение, питает. И носителей этой силы узнавал, угадывал и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто титулы их не подразумевались, а назывались вслух, как в обществе, уже устоявшемся. Повторяю и подчеркиваю: никакого подхалимства или расчета тут не было и следа. Говорила его любовь к силе. И судил он, кто силен, а кто нет, — с той же тщательностью, знанием и опытом, как и сидя на ринге. Он любил сегодняшний день и натуру, натуру! Натурщица приходила к нему ежедневно, и несколько часов он писал и рисовал непременно, без пропуска. Так же любил он кожаные вещи, у него была целая коллекция ботинок, полуботинок, сапог. Полувоенные чудища со шнуровкой до колен были из его богатого собрания. Собирал он и ремни. Обширная его мастерская ничем не походила на помещение человека, коллекционирующего вещи. Как можно! Мольберт, подрамники, папки, скромная койка, мешок с песком для тренировки. Но в шкафах скрывались редкие книги, коллекция русского лубка. Сами шкафы были отличны. Он любил вещи, так любил, что в Кирове сказал однажды в припадке отчаяния, боясь за свои ленинградские сокровища, что вещи больше заслуживают жалости, чем люди. В них — лучшее, что может человек сделать. Да, людей он не слишком любил. Он любил в них силу. А если они слабели, то слабела и исчезала сама собой и его дружба.

20 февраля

Он спокойно владел, наслаждался натурой, сапогами, чемоданами, женщинами — точнее, должен был бы спокойно обладать и наслаждаться по его вере. Но кто не грешен богу своему! Спокойствие-то у него отсутствовало. При первом знакомстве об этом не догадывались. Кто держался увереннее и мужественнее? Но вот Маршак сказал мне однажды, что близкий Лебедеву человек жаловался, пробыв с ним месяц на даче. На что? На беспокойный, капризный, женственный характер Владимира Васильевича. Я был очень удивлен по незнанию, по тогдашней неопытности своей. Впоследствии я привык к этому явлению — к нервности и женственности мужественных здоровяков этой веры или, что в данном случае все равно, этой конституции. Относясь с ре-



лигиозным уважением к желаниям своим, они капризничают, тиранствуют, устают. И не любят людей. Ох, не любят. С какой беспощадностью говорит он о знакомых своих, когда не в духе. Хуже завистника! Они мешали Лебедеву самым фактом своего существования. Раздражали, стесняли, как сожитель по комнате. Кроме тех случаев, о которых я говорил выше.

21 февраля

Старый Союз писателей помещался на Фонтанке<sup>173</sup> в чьей-то небольшой квартире — кажется, Фидлера<sup>174</sup>. На стенах висели фотографии старых писателей — например, Пыпина. Рояль был покрыт чехлом, на котором расписались писатели тех дней, а потом подписи их вышили мулине. Нет, скучно мне писать об этой квартире, где, дымясь, дотлевали старые писатели и прививались довольно вяло новые. Самыми людными бывали собрания секции поэтов. Небольшой зал, как у средней руки адвоката, до отказа набивался народом и прокуривался до синевы еще прежде, чем начинали читать стихи. А читалось их необыкновенное количество, отчего, как мне казалось, воздух затуманивался еще больше. В этой туманной, дымной и вместе с тем недружной, недоверчивой среде поэтические волны замирали быстро, ни одного слушателя не затронув. Я не мог себе представить стихотворения, которое хоть чуть шевельнуло бы это болото. Царствовали две интонации: есенинская и блоковская. Изредка выступали заумники, которые тоже никого не удивляли и не задевали. Однажды только было нарушено холодное завывание и вялое внимание. Да и то скорее своеобразием фигуры читающего и первой строчкой прочитанного. У дверей в разгаре одного из вечеров появился председатель Союза Федор Кузьмич Сологуб. Был он в тяжелой шубе с бровым воротником, вроде поповской, тяжело дышал после крутой лестницы. Ему закричали с разных сторон: «Федор Кузьмич! Прочтите что-нибудь!» И он сразу, без паузы, пробираясь вдоль стены от передней к двери в комнату налево, начал, тяжело дыша: «Когда я был собакой...» Его тяжелое лицо, и русское и римское, сохраняло полное спокойствие, будто он был в комнате один. И все притихли, и что-то как будто прояснилось на мгновение. Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой.

Заканчиваю одиннадцатую из начатых в апреле сорок второго года тетрадей. Первую из них заполнял я чуть ли не пять лет, последнюю — пять месяцев. Это были месяцы трудные, и если бы я не овладел, наконец, «прозой», то совсем уж нечем было бы утешиться.

В старом Союзе писателей, на Фонтанке, бывал я редко. Все то же, появившееся со дня приезда в Петроград, чувство, что эти люди сегодня как бы не существуют, скорее укреплялось с годами. Маршака я считал за человека, Житкова тоже, а вот Сологуб казался привидением, больше пугал, чем привлекал. Никто из моих новых друзей, молодых писателей, не был знаком с Сологубом. То есть знакомы-то были все, но не больше, чем я. Дома у него никто из моих друзей не побывал ни разу. Поэт Симеон Полоцкий, в те дни молодой и смелый, рассказывал, как носил ему свои стихи. Войдя, он представился: «Симеон Полоцкий». Сологуб оглядел его и отвечал сурово: «Не похож». Так же сурово отнесся старик к его стихам. Однако, когда Полоцкий уходил, он проводил его в переднюю и подал ему пальто. Полоцкий воспротивился было. Тогда старик топнул ногой и крикнул свирепо: «Это не лакейство, это вежливость». Мне все кажется, что я уже писал о Сологубе однажды. Я дал зарок не перечитывать то, что пишу, да и где найдешь то, что затерялось в одиннадцати тетрадях. Но помню, что о юбилее его — ничего не писал. Праздновался он широко, в Александринке, но смутно чувствовалось, что он не по-настоящему широк и так же несолиден, как весь нэп. В газетах о нем почти не писали. Вивьен прочел в концертном отделении стихи Цензора, напечатанные в «Чтеце-декламаторе» по ошибке под фамилией Сологуба. В заключение юбиляра забыли, никто не потрудился отвезти его домой. Думаю, что каждый побаивался это сделать. Чувствовал ли Сологуб свою призрачность? Едва ли!

Вернее, все, что делалось вокруг, казалось ему временным, ненастоящим, как мне его юбилей. В гробу он лежал сильно изменившимся, с бородой. Замятин говорил речь на гражданской панихиде, и мне казалось, что нет на свете речи, которая не показалась бы кощунственной и суетной над открытым гробом. Союз писателей после смерти Сологуба возглавлялся молодыми. Я был вне его интересов и смутно теперь вспоминаю то Федина, то Тихонова, то Слонимского в маленькой ком-

натке президиума и неизменного казначея и секретаря — седую, румяную, маленькую, аккуратнейшую Анну Васильевну Ганзен<sup>175</sup>.

22 февраля

Когда работа в детском отделе Госиздата более или менее наладилась<sup>176</sup>, мы часто ездили в типографию «Печатный Двор» то на верстку журнала, то на верстку какой-нибудь книги. И хотя был я от своей вечной зависимости от близких то обижен, то озабочен, поездки эти вспоминаются как бы светящимися, словно картонажиками со свечкой внутри. Они полны воображаемого счастья — игрушечного, но все-таки счастья. В дни, когда ездил я на «Печатный Двор», я ощущал себя свободным — непрочно, ненадолго, но свободным от служебной колеи, домашнего гнета. Причем по инертности моей я с неохотой пускался в путь. И только на новом пути, на двенадцатом номере, у Геслеровского переулка, среди непривычных домов Петроградской стороны, на плохо знакомых улицах меня вдруг радостно поражала свобода от огорчений и забот. Конец трамвайного пути. Я иду по переулку, напоминающему мне неведомо что — какую-то прогулку по Екатеринодару в самом раннем детстве. «Печатный Двор» никогда не встречает одинаково. То он выше, то ниже, чем казался, то не того цвета, чем я представлял себе. И знакомое со времен «Всероссийской кочегарки» обаяние типографии охватывает меня. Впервые увидел я на «Печатном Дворе», как работает офсет, показавшийся мне чудом, — я не мог уловить машинность, повторяемость движений многочисленных его рычагов. И в блеске его никелированных частей, в мостиках и лесенках я вдруг ощутил однажды что-то, напоминающее паролод. Вместо желанья уяснить — углубить ощущение — я испытал страх. Я побоялся спугнуть воспоминание, испугался напряжения. И я поспешил в литографию, где на камнях работали наши художники.

23 февраля

В литографии при входе оглушала машина, моющая камни. Огромное квадратное корыто тряслось как в лихорадке, и стеклянные шарики с грохотом перекатывались по сероватой поверхности. Знакомые художники работали в комнатах дальше. Работал там Пахомов,

простой, просто по-крестьянски смотрящий на урожай и на то, как бы его прибрать тихонько к рукам, светлый, похожий на крестьянского парня. Работал там Цехановский — широколицый, с черными усиками, черноволосый, похожий на Лермонтова, с которым находился, по слухам, в родстве. Этот был не прост, туговат, много и упрямо думал, имел склонность к теориям. Работал там Успенский, деликатный, мнительный, очень вежливый. Через двенадцать-тринадцать лет он погиб при первых бомбежках Ленинграда. Работал там Юдин, по прозвищу Муравьед, тоже вежливый, маленький, долгоносый, внутренне крепкий, как камушек. В вопросах искусства крепкий, как камушек. И он погиб через двенадцать-тринадцать лет в боях под Ленинградом. И работал там Курдов, потомок курда, попавшего в плен в войну 77 года, широкогрудый, с разбойничьими лапищами, густоволосый, с чубом на лбу, страстный охотник в те годы — понятный, веселый. И работал там Васнецов, краснолицый, с выпученными светлыми глазами, казалось, что он вспылит да так и остался. И работал там Чарушин, в те годы ладный и складный, и, не в пример Пахомову, уж до того простой, что это вызывало внутренний протест и заставляло подозревать нечто темное в его душе. Лебедев сердился на него за то, что он стал писать рассказы, видя в этом измену, подозревая, что ему не хватает дарования, чтобы выразить себя с помощью изобразительного искусства. Рассказы Чарушин писал уж до того просто, до того открыто, будто говорил доктору: «А». Конечно, не все они работали зараз.

24 февраля

Но кого-нибудь из них я непременно встречал в литографии. Лебедев требовал, чтобы художник делал обложку и рисунки непременно собственноручно на камне. Это был золотой век книжки-картинки для дошкольников. Фамилия художника не пряталась, как теперь, где-то среди выходных данных, а красовалась на обложке, иной раз наравне с фамилией автора книги (Лебедев — Маршак, например). Художники были даже несколько надменны; трудно иной раз было догадаться, кто кого иллюстрирует. От презрения к литературе в живописи всего шаг был до некоторого презрения к литературе вообще. Именно этим чувством

вызвано было раздражение Лебедева против Чарушина, пишущего рассказы. Именно поэтому, иллюстрируя стихи Маршака о том, что там, где жили рыбы, человек взрывает глыбы, Лебедев изобразил не взрыв, не водолаза, а двух спокойно плавающих рыб. Все тогдашние собранные Лебедевым художники были талантливы в разной степени, каждый по-своему, но, конечно, было у них и общее, обусловленное временем. Все они пытались разрешить рисунок на плоскости; например, Лебедева очень легко было узнать и в Цехановском той поры, и в Пахомове, хотя они были очень мало похожи друг на друга. А в Самохвалове — большом, застенчиво ухмыляющемся, беззубом, самолюбивом — можно было узнать всех понемногу, а больше всего Пахомова. Время сказывалось, а поскольку Лебедев был его главным жрецом — то сказывался и он лично. Хотя следует признать, что он очень считался с существом каждого: с любовью к морю — у Тамби, к животным — у Чарушина, к лошадам — у Курдова. Он понимал почерк каждого.

25 февраля

И требовал знания, знания, помимо разрешения на плоскости, знания, прежде всего знания природы. «Мирискуснический» — было ругательством. Бакст вызывал гримасу отвращения, Сомов — снисходительную усмешку. Как это часто бывает, расцвет школы лебедевской группы сопровождался нетерпимостью — признаком горячей веры. Отрицался целый разряд художников, о которых впоследствии говорилось снисходительно или добродушно, — признак упадка школы. Лошадь на скачках — прекрасна. И после скачек исчезает из глаз толпы. Я видел много людей прекрасных в работе своей, но не исчезающих в минуты бездействия. И многие из них, когда просто жили, а не мчались изо всех сил к цели, были в общежитии так же неудобны, как лошади, позови ты их после скачек домой — поужинать, поболтать. Упражняясь в письме с природы, я боюсь все время, что нарушаю пропорции, особенно когда рассказываю о людях, к которым равнодушен. Но все мы обречены видеть то, что видимо, и только смутно угадывать то, что составляет в человеке главную его суть. И для первого легче найти слова. Но я все же повторю, чтобы назвать то, что невидимо:

Лебедев был талантлив, талантлив, талантлив, и школа его — тоже. Итак, посмотрев на офсет и отложив на то время, когда начну жить по-настоящему, определение тех чувств, что он вызвал во мне, я мимо грохочущей машины переходил в литографию к художникам, которых вижу сейчас куда отчетливее, чем в те дни.

26 февраля

Я был в хороших отношениях с ними по тем же причинам, о которых рассказывал как-то: от счастья или от ожидания счастья. И от желания нравиться. Я относился к ним с искренней приязнью: я любил нравиться, а без партнера эта игра невозможна. Я знал их во имя этого, был к ним внимателен во имя этого и теперь не нахожу в этом ничего дурного. Игра шла не на деньги. Желание нравиться было моей болезнью — слабостью, возможно. Так я думал тогда. А теперь считаю, что это было здоровой стороной моего существа. Я не умел жить один. Так ли это худо? Из литографии я возвращался туда, где мне и надлежало быть: на верстку. Здесь у меня были знакомые наборщики, но не друзья, как в «Кочегарке» или «Ленинградской правде»<sup>177</sup>. Там я в типографии бывал много чаще, чуть не каждый день, а сюда приезжал раз в месяц. Но и тут завязывались интересные разговоры. Больше всего раздражала ленинградских наборщиков вошедшая в моду московская верстка. В те годы нарушены были все традиции верстки, и как раз в Москве началось это движение. Делались типографским способом обложки с такой игрой шрифтов, что иной раз читалось не совсем то, что хотелось автору. Заголовок книги, выпущенной к столетию Малого театра, издали звучал излишне развязно: «Сто лет малому». Отсутствие прописных букв и распределение слов создавало этот фокус. Слово «театру» глаз находил не сразу. И внутри книг, с точки зрения старых наборщиков, нарушались все законы приличия. Не туда ставились колонцифры, клише, отбивались невозможно толстой чертой начала и концы глав, а иной раз и каждой полосы. Об этом чаще всего и беседовали мы с наборщиками.

27 февраля

Один из них (в «Ленинградской правде») прочел мне целую лекцию о том, что такое ленинградские набор-

щики и чем отличаются они от московских. И так, уйдя из литографии, я отправлялся на верстку. Шрифты назывались по номерам и по именам. На рукописи чаще всего писалось: «рубленным». Этим шрифтом набирались книги для дошкольников. Иногда — «цыганом». Никогда — «елизаветинским». Этот шрифт с завитками у «щ» и «ц» считался манерным, мирискусническим. На верстке, особенно журнальной, необходимо было присутствовать, потому что никакая наша наклейка не оказывалась достаточно предусматривающей все случайности. При оборке клише обычно выяснялось, что уместилось меньше текста, чем предполагалось. Две-три строчки рассказа не влезали в предназначенную им полосу. И вот тут я принимался сокращать, выгадывать на переносах, абзацах, одном-двух словах, убирать лишние строчки. Это не требовало постоянного моего присутствия возле наборщиков, поэтому я и бродил по всему «Печатному Двору», так как от праздничного моего состояния мне на месте не сиделось. В стеклянной загородке посреди большого цеха помещался Герасимов<sup>178</sup>, директор типографии, или его заместитель по производственной части. Прodelал он этот путь от простого наборщика. Умер в должности директора Гослитиздата года три назад. До самых последних дней мы встречались с ним дружелюбно. Мне казалось, что вспоминает он при виде меня стеклянную свою контору и простые заботы тех лет. Он не менялся, сколько ни встречал я его, от двадцатых до сороковых годов: крупный, крупноголовый, лысый, бритый, степенный, внимательный, в блузе с пояском. Заходил я и в машинное отделение.

28 февраля

Здесь на ручном станке делали первый оттиск сверстанной страницы. Возле ротационной машины мастера, строгие и сосредоточенные, словно доктора, занимались приправкой клише — что переносило меня к первым дням знакомства с типографией и версткой, к осени 1923 года. Если клише задерживалось, я отправлялся в цинкографию. (Чтобы не зачеркивать — оговариваюсь: мастера у ротационной приправляли клише в полосах, подписанных к печати, не имеющих ко мне отношения. Но и полосы только верстались. На огромном «Печатном Дворе» печата-

лось, набиралось, версталось множество книг.) В наборных цехах было тихо, а в цинкографии — еще тише. Сильный химический запах поражал при входе. В ваннах с кислотой безмолвно доспевали клише. Штриховые — легче, тоновые — труднее. Здесь я не задерживался. Клише — либо готово, либо нет. Кислоту не потропишь, а острая химическая среда не располагала к разговорам. В обеденный перерыв на конторках наборщиков появлялись бутылки с молоком, они его получали на вредность. К воротам «Печатного Двора» подъезжали тележки с колбасой, бутербродами. Я стою в большой комнате — корректорской или для технических редакторов. Мне очень нравится одна из редакторш — большеротая, большая и смешливая, нравится безнадежно — я никогда с ней не заговорю об этом: я влюблен в другую. Домой иду я пешком, чтобы подольше не расставаться с чувством свободы, усиленным еще тем, что я сбросил с плеч одну обязанность, которая тяготила меня уже несколько дней: номер сверстан. Прохожу мимо рынка с вывеской «Дерябкинский рынок открыт целый день», — получается, что вывеска в стихах и размер этот идет к темному, тесному рынку.

2 марта

Брань и нетерпимость, сопровождавшая подъем детской литературы (точнее — расцвет книжки для детей), — многих свихнула. Вера с годами поблекла, а недоверие — расцвело. Я, при тогдашней неустроенности своей, склонен был отравляться, заражаться резко выраженным отрицанием. Из-за этого я не понял как следует Николая Федоровича Лапшина. В данном случае ученики были строже учителя. Лебедев относился к Николаю Федоровичу с уважением, считался с его мнением о своих работах, но ученики совсем его не признавали. Чуть больше признавали Тырсу. В суждениях своих молодые исходили из предположения, что старшие уже определились, проявились полностью. А в середине тридцатых годов с удивлением многие из молодых признали, что Тырса, как умная лошадка на скачках, приберег силы и теперь обогнал всех фаворитов. А к сороковым годам с уважением заговорили о Лапшине — его акварели, совсем для него неожиданные, оказались прекрасными, своеобразными, и его строгие хулители только руками разводили. Лапшин, с длинным, спокой-



ным, очень русским лицом, знал много, много читал, но все помалкивал. В комнате художников в детском отделе Госиздата, в витрине, где выставлялись выпущенные книжки, устроили как-то выставку карикатур. Точнее, устроилась она сама собой — Лебедев нарисовал Курдова с засученными рукавами, разбойничьими ручищами, вьющимся чубом на низком лбу. Карикатуру повесили за стеклом в витрине. Время было урожайное — скоро вся витрина заполнилась карикатурами, но никому не удалась карикатура на Лапшина. Его спокойное, достойное, длинное лицо не поддавалось. Зато карикатур на Тырсу было множество. Его высокая фигура, борода, жесты были характерны, схватывались. Он тоже много читал и знал, но говорил, высказывался охотнее Лапшина.

3 марта

Я помню разговор его с Тыняновым, где Тырса заступался за Боткина, цитируя «Испанские письма». Говорил Тырса горячо, убежденно. Его несколько узкоплечая, легкая, узкогрудая фигура сверх меры выросшего мальчишки с неожиданно бородатой головой вполне взрослого человека часто появлялась в отделе. То он приносил иллюстрации (причем Лебедев очень одобрял его лошадок), то приходил за гонораром. Этот последний, бывало, задерживался, и в таких случаях Тырса, как говорили художники, пел. Он возмущался, и в голосе его появлялись певучие, негодующие и вместе с тем жалобные ноты. Он охотно вступал в споры, и тут обнаруживалась особенность, сильно отличающая всех трех художников старшего поколения от младших. Лебедев, Лапшин, Тырса, особенно двое последних, были много образованнее младших. Лебедев это свойство прятал. Подчеркнутая, эlegantная образованность «мирискусников» была ненавистна. «Эрудиты» только что доказали свое бессилие в разных областях искусства. Поэтому в закрытых шкафах скрывались у Лебедева редкие и ценные книжки по искусству и его коллекции. Он подчеркивал свою осведомленность в боксе, в спорте, но помалкивал о фресках Боттичелли. Он скрывал свои знания, а молодые художники весело и открыто и в самом деле не знали ничего. При некоторых поворотах вдруг казались они похожими на гвардейских подпоручиков. Аристокра-

тичность заменялась причастностью к высочайшему из искусств, а обеспеченность — беспечностью. Они были аристократически щедры, не зная цены деньгам. Лебедева чаще всего ругали они за скупость (Пахомова — тоже). Это было не по-гвардейски. Чарушин обвинялся в меццанской робости.

4 марта

Он, Чарушин, нарушал правила хорошего тона. В первые дни своего становления любили они выпить при случае. В дальнейшем начались кутежи ежедневные: художники заскучали. Жизнь без общего наркоза представлялась им немислимой. А старшие обходились без этого. И работали. Закваска у них оказалась здоровой. В особенности у Лапшина и Тырсы. Не только художники, и писатели были мало образованы по сравнению с писателями предыдущего поколения: те знали языки, читали Данте и Шекспира в подлиннике. Символисты отлично разбирались в философии. Все «серапионы» были свободны от этого (кроме Лунца и, может быть, Полонской). «Серапионы» знали больше, чем молодые художники детского отдела Госиздата, как люди с гуманитарным направлением ума. Но немногим. То, что делалось в живописи и музыке, проходило мимо, запоминались только отдельные имена, без настоящего представления о том, что ими сделано. Леня Арнштам, в те дни начинающий музыкант, грубоватый мальчик, обращаясь со вступительным словом к писателям, собравшимся в Доме искусств послушать его игру на рояле, начал так: «Писатели свински необразованны в музыке». И это было справедливо. Я не делаю никаких выводов. Видимо, для того чтобы работать в искусстве, нужны знания особого качества, а не количества. Полная невинность в области общего образования как будто бы шла художникам на пользу больше, чем «Серапионам» их полузнания.

5 марта

Я делаю записи в эту тетрадку по утрам. Вчера, кончив писать, включил приемник и услышал: «...Министр здравоохранения Третьяков. Начальник Лечсанупра Кремля Куперин» — и далее множество фамилий академиков и профессоров-медиков. Я сразу понял, что дело неладно. А когда пришла газета, то выяснилось,

что дело совсем печальное, — тяжело заболел Сталин. С тех пор все окрашено этим сообщением. Все говорят только об этом. Изменились радиопередачи. На почте заведующая сказала: «Не хочется работать сегодня. Просыпаюсь: ой, что это, неужели я поезд проспала! Утреннюю зарядку не передают, а все какие-то симфонии, симфонии. Я сразу поняла: что-то случилось». Обсуждается каждое слово бюллетеня. Зоя выразила негодование по поводу того, что собралось столько врачей, а не могут помочь. Сегодня бюллетень так же мрачен, как вчера.

Итак, то, что Лебедеву и старшему поколению художников досталось с бою, молодые получили даром как несомненную истину. И, повторяя, — преувеличили. Не повторили, а как бы передразнили. Темное дело — преемственность в искусстве. На учениках направление кончается, а на противниках — начинается новое, и всякий раз на одно поколение, кроме тех случаев, которые это утверждение опровергают. Двадцатые годы, боевые, переходили в тридцатые. Как будто более спокойные. Но я тут отошел от Госиздата, «Печатного Двора», художников книжки. Я стал писать пьесы и вернулся к театру, но в другом уже качестве: писал пьесы и, оцепенев от удивления, смотрел, как их ставят. На первой своей премьере я, едва заговорили артисты, засмеялся — до того это было странно, непохоже на мое представление о пьесе.

6 марта

Сегодня сообщили, что вчера скончался Сталин. Проснувшись, я выглянул в окно, увидел на магазине налево траурные флаги и понял, что произошло, а потом услышал радио. Через час еду в город — в пять общее собрание в Союзе.

Возвращаюсь в двадцатые годы. В конце их я сблизился от тоски и душевной пустоты с некоторыми тюзовскими актерами и стал своим человеком в театре. Я переживал кризис своей дружбы-вражды с Олейниковым, не сойдясь с Житковым, отошел от Маршака и, как случается с людьми вполне недеятельными, занял столь же самостоятельную и независимую позицию, как люди сильные. С одной разницей. У меня не было уверенности в моей правоте, и я верил каждому осуждающему, какое там осуждающему — убивающему слову

Олейникова обо мне. Но поступить так, как он проповедовал, то есть порвать с Маршаком, я органически не мог. Хотя открытые столкновения с ним в тот период имел только я. И так как распад состоялся и я отошел в сторону один, испытывая с детства невыносимые для меня мучения — страх одиночества. Вот тут, весной 27 года, я познакомился с тюзовскими актерами — Макарьевым и Зандберг, его женой. Они жили тогда на углу Аптекарского переулка и улицы Желябова.

7 марта

Вчера в Союзе состоялось траурное собрание. Против обыкновения, зал наполнился за полчаса до срока. Анна Ахматова вошла, сохраняя обычную свою осанку, прошла вперед, заняла место в первых рядах. В президиуме — никого. Зал, переполненный и притихший-притихший, ждет. Не слышно даже приглушенных разговоров. Но вот в президиуме появляются Кочетов и Луговцов — секретарь партийной организации. Тише не делается, это невозможно, зал становится неподвижнее. Но не успел секретарь договорить: «Предлагаю почтить память почившего вождя...» — зал встает и стоит смирно дольше, чем обычно в подобных случаях. Плачут женщины. После того как прочитано сообщение Совета Министров и ЦК, Кочетов обращается в зал: «Кто просит слова, товарищи?» После паузы поднимается Владимир Поляков. Его длинное и длинноносое лицо, хранящее обычно свойственное всему виду эстрадников скептическое выражение: «Меня не надуешь», — сегодня торжественно и печально. И все же необычность происходящего нарушается. Собрание делается более традиционным. Только зал по-прежнему тих и неподвижен. После выступления нескольких поэтов и Пановой Прокофьев читает проект письма в ЦК, которое и принимается.

9 марта

Во главе ТЮЗа стоял Брянцев. Он вышел из самых глубин Передвижного театра под руководством Гайдебурова. Этот идейный, средний театр имел великую способность ко внутренним идейным расколам. Вечно из него кто-нибудь уходил с негромким интеллектуальным взрывом. Видимо, режим в театре был таков, что Гайдебурова не боялись. Ушедшие затевали свое дело,

обычно не слишком прочное. Из таких, если не ошибаюсь, уцелели всего два: Новый театр, неузнаваемо изменившийся со времен отпочкования<sup>179</sup>, и ТЮЗ<sup>180</sup>. С Гайдебуровым ушедшие сохраняли отношения достойные. Во всяком случае, Александр Александрович, упоминая его имя, делал лицо вежливое и строгое. И Гайдебуров с таким же лицом сидел на премьерах Брянцева. ТЮЗ оказался в чисто театральном отношении сильнее своего предка.

10 марта

Причины были следующие: особенности зрительного зала Тенишевского училища и особенности зрителей. Брянцеву пришлось решать чисто формальные задачи с первых же шагов. В бывшем лекционном зале сцена, как таковая, отсутствовала. Ряды шли полукругом, поднимаясь амфитеатром. Брянцев посадил оркестр в глубокую оркестровую яму перед первым рядом. Позади того места, где некогда возвышались кафедра лектора и эстрада, в стене была сделана просторная четырехугольная выемка, соединившая бывший лекционный зал с соседним помещением. Этот неглубокий, но высокий и широкий проем был видимостью, подобием традиционной сцены. Настоящая сценическая площадка, где и разыгрывалось действие, строилась перед проемом. Между площадкой и оркестром было свободное место, обыкновенный пол, — и туда сбегали в случае надобности актеры. Для уходов и выходов пользовались проемом в стене и боковыми проходами, ведущими за кулисы. Актер в ТЮЗе по причинам конструктивным, связанным с особенностями тенишевского зала, таким образом был придвинут, приближен к зрителю. Был он ближе к зрителю, чем во взрослом театре, и по причинам внутреннего порядка: зритель уж очень щедро и открыто отвечал на все происходящее на сцене. ТЮЗ открылся в 22 году. В театрах ломали традиционную форму. Мастера — смело, имея свою задачу, а все прочие — думая, что так надо. Удивить своеобразием формы трудно было. Но ТЮЗ с первого спектакля расположил к себе и архаистов, и новаторов.

11 марта

Классики понимали, что в таком зрительном зале спектакль иначе не решишь, а снобы находили все, что

требовала мода: и конструкции вместо декораций, и своеобразную сценическую площадку, и все другое прочее — забыл номенклатуру тех лет. Да и вообще к ТЮЗу в те годы относились благожелательно люди, от которых зависела репутация театров на тогдaшний день. С Брянцевым не могло быть серьезных счетов: его участок, его хутор лежал в стороне. И успех спектаклей у тюзовского взрослого зрителя был единодушнее и чище, чем в других театрах. Театральных деятелей не расхолаживала зловещая мысль: «И я так мог бы» в тех случаях, когда восторженные вопли юных зрителей доказывали, что постановка имеет успех. Этот успех не пробуждал ревности в недобрых душах театральных деятелей: хутор Брянцева лежал в стороне. И он со своей блузой, бородкой, брюшком, речами о воспитании, о необходимости большого искусства для маленьких, сознательно или бессознательно держался за свой отделенный от всех участок. И в благоприятных этих условиях театр расцветал в отпущенных ему рамках. Правда, самые сильные из актеров стремились туда, туда, в менее добродетельные, но более известные театры. У них не было чувства радости от того, что служишь высокому делу и ничего тебе за это дурного не делают. Ты в безопасности. Тут не дерутся. Они лезли туда, туда, в свалку, считая, что настоящее искусство там, а не тут, в сторонке. Они убегали. И только в торжественные дни ТЮЗа возвращались, и сидели в президиуме, и говорили речи о том, как много в их жизни значила работа с Брянцевым.

12 марта

Так ушли из театра Черкасов, Чирков, Пугачева, Полицеймако. Мало этого. Микроб, способствующий делению организма на части, занесен был, видимо, Брянцевым из гайдебуровского театра, в середине тридцатых годов из ТЮЗа выделилась большая группа актеров с Зоном во главе. Образовался Новый ТЮЗ — менее педагогично добродетельный<sup>181</sup>. «Они дают зрителю пирожные, а нужно давать черный хлеб!» — вот одна из формул, принадлежащих Макарьеву, кое-что объясняющая в причинах раскола. Всякий успех без его непосредственного участия казался Макарьеву незаконным, неправильным, непедagogичным. Главным признаком черного хлеба считал он серость. Раскол

произошел по гайдебуровским традициям — с негромким интеллектуальным шумом. Зон, при посторонних упоминая имя Брянцева, делал лицо вежливое и строгое, и с таким же видом Брянцев сидел на его премьерах. Брянцев имел, помимо всего, всегда подлинное, а не раздуваемое из полемических соображений педагогическое чувство — чутье, направление? — не знаю, как его назвать. Он чувствовал зрителя. В те годы, когда развивался Брянцев, были убеждены, что пророки скромны и покрыты пеплом, истина говорится в придаточных предложениях с покашливанием и заминкой, что кто красив, тот подозрителен. Брянцев со своей бородкой, блузой, говорком, белыми глазками был именно таким пророком.

13 марта

Но все-таки пророком. Или скорее — жрецом. У него было божество. И он, не забывая хозяйственных соображений, без которых развалился бы храм, помнил и для чего храм построен. Говорил просто до чрезвычайности, подчеркнуто избегая громких слов, наивно мигая белыми глазками, — о нет, не был он простаком и вел дело тонко. В тот период Художественный театр от избытка сил выбросил множество ветвей — вернее, породил много здоровых детей, развивавшихся в новой среде, в новом направлении, как, например, Вахтанговский театр, но связанных с отцом своим, тогда еще живым и крепким<sup>182</sup>. И в ТЮЗе преподавала систему Станиславского и помогала режиссерам работать с артистами над ролью Лиля Шик, по сцене Елагина, очень образованная, очень московская, очень крупная, с крупными чертами лица, похожая на портрет мисс Сиддонс, который и висел у нее над кроватью. Аристократизм высокой театральной среды угадывался и в жестах ее, и в подборе слов (увы, и она не чуждалась ненавистной мне фразы «в каком-то смысле»), и во всем характере ее жизни. И у нее было божество, и служила она ему с истинным благочестием. Она внесла в ТЮЗ дух второго поколения мхатовцев: дух Сулержицкого, Михаила Чехова, студий. И прежде всего дух Вахтангова несомненно сопутствовал ей. В существе ее угадывалась духовность и другого рода — она была человеком верующим. Я любил разговаривать с ней. Отчетливые московские, мхатовские жесты ее и говор меня трогали и радовали.

Два этих служителя тюзовского храма — Брянцев и Елагина — помогали делу своей верой.

14 марта

У Зона веры, духовности в том качестве, в той мере, что у Брянцева и Елагиной, не наблюдалось. Но у него было чувство божества, вызванное трезвостью натуры. Он отлично понимал, что дело есть дело, понимал необходимость веры. Он понимал, что речами на собраниях и нытьем и канючением в разговорах места в искусстве не завоеуешь. И он стал учиться. Учиться упорно, безостановочно, от постановки к постановке, ища все новые и новые приемы, за что неоднократно был обвиняем Макарьевым в беспринципности. Он писал пьесы с Бруштейн, то условные, то реалистические — в зависимости от времени, решал их от раза к разу все интересней и, наконец, стал учиться системе у самого Станиславского, причем пользовался своими знаниями для работы, а не для молитв и деклараций. Он все рос, а Брянцев, занятый руководством, слабел. Он имел одну, известную всему театру, особенность: засыпал на репетициях, на чтении новых пьес, объясняя это малокровием мозга. И эта особенность усилилась, и он перестал почти ставить без сорежиссеров. Самые сильные в труппе стали тяготеть к Зону, а самые слабые, боясь за себя, напоминая всем и каждому о своей верности идее детского театра, — к Брянцеву. И Макарьев выступал из всех скважин, всех пор ТЮЗа. Каждый новый успех Зона объявлялся каким-то не таким, в каком-то смысле провалом. И театр раскололся. Дальнейшая судьба обоих театров печальна. В конечном итоге Зона погубило отсутствие истинной духовности. В труппе его перессорились в эвакуации.

15 марта

И эти ссоры привели к тому, что в мирное время театр закрылся. Театр Брянцева — не закрыт, но и не существует. Он принадлежит к тому виду организмов, смерть которых не сразу заметна окружающим. Этот давно засушенный цветочек, единственный детский театр Ленинграда, под монотонными речами Макарьева шелестит, и покачивается, и получает положенную дотацию, и посещается зрителями — совсем как живой. Но его нет на свете, как и зоновского ТЮЗа. Теперь,



вспоминая мою работу в этих театрах, я понял, что не любил их, хотя первый большой успех в жизни имел именно там, в зале бывшего Тенишевского училища, еще до раскола театров.

16 марта

В ТЮЗах, ютящихся, что там ни говори, в сторонке от главного пути, в тени, собирались люди троякого вида. Первые — самого редкого: застенчивого. Эти люди до того любили искусство, что не смели приближаться слишком близко к самому солнцу. Здесь, в тени, в холодке, душа их раскрывалась смелее и они создавали иной раз настоящие ценности. Таких людей, насколько я мог заметить, собралось больше всего вокруг Образцова. (Сперанский, например.) Так же мало было людей второго вида: неудачников, теоретиков. Они делали вид, что выбрали детский театр по принципиальным соображениям и не идут в театры обыкновенного типа из отвращения к ним. Этот вид был малочислен по причинам производственного характера: от этих беспокойных и бесплодных людей старались отделаться. Третий вид, самый многочисленный, разнообразный и текучий, состоял из людей, попавших в детский театр, так сказать, по течению. Занесло их в ТЮЗ — тут и работают во всю свою силу из любви к театральной работе, а не к педагогической. Роли есть, зритель отзывчивый — ну и славно!

9 апреля

Сегодня одиннадцать лет с тех пор, как я веду эти театры. Это — двенадцатая. Из них восемь с половиной тетрадей, несколько больше, чем с половиной, написаны с середины 50 года. Мне так несвойственна непрерывность в какой бы то ни было работе, что я все подсчитываю и умиляюсь. Сегодня, в одиннадцатую годовщину, я ровно на половине двенадцатой тетради. Я даже подогнал так, чтобы девятого апреля быть ровно на половине тетради. Первая из них заполнялась пять лет, а теперь выходит так, что в среднем я писал чуть больше целой тетради в год. Но польза есть! О, чудо, — польза есть.

12 мая

Первый раз в жизни я испытал, что такое успех, в ТЮЗе на премьере «Ундервуда». Я был ошеломлен,

но запомнил особое, послушное оживление зала, наслаждался им, но с унаследованной от мамы недоверчивостью. А даже неумолимо строгие друзья мои хвалили,

13 мая

Но держался я тем не менее так, что об успехе моем быстро забыли. Впрочем, Хармс довольно заметно с самого начала презирал пьесу. И я понимал за что. Маршак смотрел спектакль строго, посверкивая очками, потом, дня через два, глядя в сторону, сказал, что если уж писать пьесу, то как Шекспир. И жизнь пошла так, будто никакой премьеры и не было. И в моем опыте как будто ничего и не прибавилось. За новую пьесу я взялся как за первую — и так всю жизнь.

14 мая

Евгений Шварц во всех своих изменениях знаком мне с самых ранних лет, и я знаю его так, как можно знать себя самого. Со своей уверенной и вместе с тем слишком внимательной к собеседнику повадкой, пристально взглядывая на него после каждого слова, он сразу выдает внимательному наблюдателю главное свое свойство — слабость. В личных своих отношениях, во всех без исключения, дружеских и деловых, объясняясь в любви, покупая билет на «Стрелу», прося передать деньги в трамвае, он при довольно большом весе своем и уверенном, правильном, даже наполеоновском лице, непременно попадает в зависимость от человека или обстоятельств. У него так дрожат руки, когда он платит за билет на «Стрелу», что кассирша выглядывает в окно взглянуть на нервного пассажира. Если бы она знала, что ему, в сущности, безразлично, ехать сегодня или завтра, то еще больше удивилась бы. Он, по слабости своей, уже впал в зависимость от ничтожного обстоятельства — не верил, что дадут ему билет, потом надеялся, потом снова впал в отчаяние. Успел вспомнить обиды всей своей жизни, пока крошечная очередь из четырех человек не привела его к полукруглому окошечку кассы. Самые сильные стороны его существа испорчены слабостью, пропитаны основным этим его пороком, словно запахом пота. Только очень сильные люди, которые не любят пользоваться чужой слабостью, замечают его подлинное лицо. Сам узнает он себя только за работой и робко удивляется, не смея, по слабости, верить своим силам.

15 мая

Я чувствую, что следует сказать точнее, что разумею я под его слабостью. Это не физическая слабость: он молодежав, здоров и скорее силен. В своих взглядах — упорен, когда дойдет до необходимости поступать так или иначе. Слабость его можно определить в два приема. Она двухстепенна. На поверхности следующая его слабость: желание ладить со всеми. Под этим кроется вторая, основная: страх боли, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности. Воля к неделанию. Я бы назвал это свойство ленью, если бы не размеры, масштабы его. В Сталинабаде летом 43 года Шварц получил письмо от Центрального детского театра, находящегося в эвакуации. Завлит писал, что они узнали, что материальные дела Шварца не слишком хороши, и предлагали заключить договор.<sup>183</sup> Соглашение прилагалось к письму. Шварц должен был его подписать и отослать, после чего театр перевел бы ему две тысячи. Шварц был тронут письмом. Деньги нужны были до зарезу. Но его охладила мысль: пока соглашение дойдет, да пока пришлют деньги... и в первый день он не подписал соглашения, отложив до завтра. Через три дня я застал его, полного ужаса перед тем, что письмо все еще не послано. Но не ушло оно и через неделю, через десять дней, совсем не ушло. Это уж не лень, а нечто более роковое. Человеком он чувствует себя только работая. Он отлично знает, что, пережив ничтожное, в сущности, напряжение первых двадцати-тридцати минут, он найдет уверенность, а с нею счастье. И, несмотря на это, он днями, а то и месяцами не делает ничего, испытывая боль похуже зубной.

16 мая

В этом несчастье он не одинок. Таким же мучеником был Олейников, все искавший, полушутя, способы начать новую жизнь: то с помощью голодания, то с помощью жевания — все для того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать работать. Так же, по моему, пребывает в мучениях Пантелеев. Было время, когда в страстной редакторской оргии, которую с бешеным упрямством разжигал Маршак, мне чудилось желание оправдать малую свою производительность, заглушить боль, мучившую и нас. У Шварца было одно время следующее объяснение: все мы так или иначе пе-

ресажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма — в почву нэпа, потом — в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве несоизмеримы с изменениями среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву. Я не знаю, убедительна эта теория или нет, но Шварц некоторое время утешался ею. При своей беспокойной ласковости с людьми любил ли он их? Затрудняемся сказать. Олейников доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более уж ничего не сделает для близких. Мои наблюдения этого не подтвердили. Без людей он жить не может — это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры собеседника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло, внимательно.

30 июня

О Шостаковиче услышал я впервые, вероятно, в середине двадцатых годов. И когда я увидел его независимую мальчишескую фигурку с независимой копной волос, дерганую, нервную, но внушающую уважение, я удивился, как наружность соответствовала рассказам о нем. Встретились мы в доме, ныне умершем, стертом с лица земли временем. С детства приученный к общему вниманию, Шостакович не придавал ему значения. Смеялся, когда было смешно; слушал, когда было интересно, говорил, когда было что сказать. В его тогдашней среде тон был принят иронический, и говорил он поэтому насмешливо, строя фразы преувеличенно литературно правильно, остро поглядывая через большие на худеньком лице круглые очки. Играл он тогда на рояле охотно и просто показывая, что сочинил. Тогда рассказывали, что и пианист он первоклассный и только по какой-то случайности не занял первого места на Шопеновском конкурсе в Варшаве. После знакомства встречались мы редко. Но с первой встречи я понял, что обладает он прежде всего одним прелестным даром — впечатлительностью высокой силы. Это, как бы сложно ни шла его жизнь, делало его простым. О нем рассказыва-

ли, что, играя в карты и проигрывая, он убегал поплакать. Одни знакомые его получили из-за границы пластинку, тогда еще никому не известную: «О, эти черные глаза». Услышав великолепный баритон, вступивший после долгого вступления, Дмитрий Дмитриевич расплакался и убежал в соседнюю комнату. Но разговаривал он так, что казался неуязвимым. Андроников очень похоже изображал, как, резко артикулируя и отчетливо выговаривая, произносит он: «Прекрасная песня, прекрасная песня: „Под сенью цилиндра спускался с го-ор известный всем Рабиндра-анат Таго-ор!“ Прекрасная песня, прекрасная песня, побольше бы таких песен». В Ленинграде его очень любили.

1 июля

Любили настолько, что знали подробно о его женьтибе, о его детях, о его работах. Обо всем этом говорили одинаково и весело и уважительно. Он писал современно в том смысле слова, какое придавал ему Петр Иванович<sup>184</sup> в те дни. Его музыку не то что понимали, но считали зазорным не понимать. Впрочем, многих его музыка и в самом деле задевала. Заражал восторг понимающих. Когда внезапно грянул гром над его операми, все огорчились и как обрадовались Пятой его симфонии!<sup>185</sup> Я ближе познакомился с Шостаковичем во время войны. Повинуясь своей впечатлительности и тем самым божеским законам, чувствовал он себя связанным со всеми общими бедами. Он пришел выступать на утренник в филармонии, не спрашивая, нужен ли этот утренник и разумен ли.<sup>186</sup> Такой вопрос был бы не военным. А всякое «уклонение» в те дни казалось подозрительным. Дважды или трижды утренник прерывался воздушной тревогой. Зрителей и участников уводили в бомбоубежище, а потом возвращали на места послушно. В 42 году, в сентябре, приехав в подтянутую, опустевшую Москву, с маскировкой на домах, с высокими заборами вокруг разбомбленных зданий, я впервые увидел Шостаковича ближе. Мы оба жили в гостинице «Москва». При первом разговоре поразил он меня знанием Чехова. «А скажите, Евгений Львович, сколько раз упоминается у Чехова горлышко бутылки, блестящее на плотине?» Для меня любовь к Чехову — признак драгоценный, и я был тронут и обрадован. По-прежнему Шостакович не придавал значения

своей славе, был прост, хотя и дерган, говорил, когда было что сказать, смеялся, когда было смешно. Задумываясь внезапно, постукивал пальцами по виску. Увлекаясь, дергал за рукав или за руку. Но при всех нервических признаках фигурка его оставалась мальчишеской, независимо стояли волосы надо лбом, очки казались слишком большими по лицу. Он в Доме кино просмотрел фильм о Линкольне и все хвалил его<sup>187</sup>. Рассказывал.

2 июля

И, кончив рассказывать, задумался о следующем обстоятельстве. Картина начинается с того, что юношу, заподозренного в убийстве, едва не линчевала толпа. «Вот мы с вами не побежим сейчас на улицу, если узнаем, что некто в доме напротив совершил убийство». Дмитрия Дмитриевича тревожило отсутствие чувства законности в нас и окружающих. «Мы не будем требовать немедленного наказания злодея». Как многие большие люди, при всей особенностях, отъединенности он чувствовал свою связь с людьми, и чувство жалости и чувство ответственности при впечатлительности его вспыхивало сильно и действенно. Мариенгоф рассказал такой случай: Шостакович терпеть не мог театрального деятеля Авлова<sup>188</sup>. Но вот Авлов по какому-то делу попал под суд. Шостакович сказал Мариенгофу, что Авлов на суде показался ему человеком совсем другим, что держался он с достоинством и, видимо, ни в чем не виноват. «Вот и съездили бы к прокурору СССР да попросили бы за Авлова», — сказал Мариенгоф полупутя. И Шостакович поехал в Москву и, как взрослый, добился приема у прокурора, и дело Авлова было пересмотрено. Его оправдали. Ради незнакомого и неприятного человека вышел он из привычного отъединения. Серьезный, с независимыми трепаными волосами, падающими на лоб, глядя на прокурора СССР через слишком большие на мальчишеском его лице очки, добился он достаточно трудного успеха. Тот же Мариенгоф сказал однажды, что он в тяжелом состоянии, а вот приходится ехать в Москву. Нахмурившись, Шостакович заявил тотчас же, что он поедет с Мариенгофом. Еле уговорили его домашние и сам Мариенгоф. А были они только в приятельских отношениях. Друг у Дмитрия Дмитриевича был один: Иван Иванович Соллертинский. Когда у Маршака забо-

лел в Алма-Ате сын, Шостакович поехал проводить Самуила Яковлевича на вокзал. Сам поехал.

3 июля

Когда он женился, ему, пока находился он по делам в Москве, по невозможно дешевым ценам купили обстановку. Так сложились тогда обстоятельства. Мебель ничего не стоила. Комиссионные магазины были забиты. Разных профессий деяги из Москвы и их жены, как воронье, слетелись на эту ярмарку, покупали рояли по двести и екатерининские буфеты по полтора ста рублей, что деягам, впрочем, не пошло впрок. Вернувшись, Шостакович увидел купленную для него мебель. И, узнав, сколько за нее заплачено, ушел немедленно из дому. Он собрал деньги всюду, где мог, и заплатил владельцам настоящую цену. Надо добавить, что он далеко не расточителен. Все вышеописанные проявления его существа для него вполне органичны, что особенно драгоценно. Его действия вряд ли опираются на теорию или заповеди консерваторские. И среда не поощряла к этому. Он охотнее всего говорит о футболе, дружит с футболистами, следит тщательно за результатами матчей; если пропустит по радио — звонит к знакомым, спрашивает, не слышали ли, чем кончилась очередная встреча. Ни признака неясности или сладости, трезвость, простота, принимаемая привыкшими притворяться товарищами его по работе за оскорбление.

4 июля

Однажды мне пришлось побывать с ним в доме, где среди гостей присутствовали певцы из Большого театра. Дмитрий Дмитриевич сразу затосковал, пальцы заиграли по виску, по столу. На обратном пути его спросили: «Вы не любите певцов?» И, резко артикулируя, преувеличенно литературно-правильно он ответил: «Совершенно несомненно, что афоризм Леонкавалло: „И артист человек“ — нуждается в ревизии». Он, не шутя, утверждал, что единственный недостаток Чехова — это женитьба на Книшпер. «Нет, нет, вы ее не знаете! Этого нельзя простить». Впрочем, приехав на очередное драматургическое совещание из Кирова в Москву и зайдя к Маршаку, я увидел Шостаковича в обществе актера. Маршак, он и Яншин праздновали начало работы над постановкой «Двенадцати месяцев». Я зашел к Маршаку

с вокзала, с чемоданчиком. Получив приглашение позавтракать с ними, я предложил банку консервов, привезенную с собой. Маршак стал отказываться, но Шостакович мигнул: давайте, мол! И я вспомнил, что и о его великодушном аппетите много рассказывали. Это, конечно, был тоже нервический аппетит. Шостакович терял слишком много энергии, все время требовал топлива.

5 июля

Нервность, нервность — чувствую, что надо еще раз напомнить об этой стороне его существа, проникающей остальные. Весьма часто на нервной почве бьются в истерику, дерутся, обижают слабых. Но благородство материала, из которого создан Шостакович, приводит к чуду. Люди настоящие, хотят этого или не хотят, платят судьбе добром за зло. На несчастья, обиды и болезни отвечают они работой. И трепанный, дерганный Шостакович, небрежно одетый, с большими очками на правильном небольшом остром носу, подчиняется тому же особому закону, что Моцарт, Бетховен и подобные им. Он работает. Когда я по неграмотности спросил, нужно ли ему про верить на рояле то, что он пишет, то получил ответ: «Так же не нужно, как вам читать ваши произведения вслух». Нервность Шостаковича, его снобическая манера говорить, его нездоровье и здоровье — все-все оборачивается, перерабатывается, высказывается в работе. Конечно, нервность делает его иной раз человеком трудновыносимым для окружающих. Но вот с двумя своими детьми он необыкновенно ровен и терпелив, а сколько я видел случаев, когда нервность обрушивалась именно на эту, наименее защищенную, часть семьи.

Я знаю, что сильных людей не любят, успех чужой переносят с трудом, и все-таки это обычное до пошлости явление удивляет меня, как неслыханная новость, когда обнаруживаю я его в жизни. Я знал, что Шостакович раздражает, нет, оскорбляет самым фактом своего существования музыкальных жучков столь же скептических и цинических на деле, как Шостакович на словах. Они чувствуют в нем изменника великому делу нигилизма. И всё говорят о нем.

6 июля

Как только эти жучки сползаются вместе, беседа их роковым образом приводит к Шостаковичу. Обсуждает-



ся его отношение к женщинам, походка, лицо, брюки, носки. О музыке его и не говорят — настолько им ясно, что никуда она не годится. Но отползти от автора этой музыки жучки не в силах. Он живет отъединившись, но все-таки в их среде, утверждая самым фактом своего существования некие законы, угрожающие жучкам. Их спасительный нигилизм как бы опровергается. И вот они жужжат. Все это я знал по рассказам и принимал равнодушно. Но года два назад в среде более высокой, среди композиторов по праву, я вдруг обнаружил ту же ненависть. Сами композиторы помалкивали, несло от их жен. Одна из них, неглупая и добрая, глупела и свирепела, едва речь заходила о Дмитрие Дмитриевиче: «Это выродок, выродок! Я вчера целый час сидела и смотрела, как он играет на биллиарде! Просто оторваться не могла, все смотрела, смотрела... ну, выродок да и только!» Я не посмел спросить, почему же не могла она оторваться, какая сила влекла ее к этому выродку. И она продолжала: «Нет, он выродок, выродок! Вчера приходит и сообщает: „У нас петух хуже цепной собаки! Бросается на людей. Когда я завязывал башмак, он попытался клюнуть меня в лоб, но, к счастью, я выпрямился, и удар пришелся в колено. Остался синяк, остался синяк. Бросается на всех. Заходите посмотреть, заходите посмотреть“. А? Какова наглость? У него петух бросается на людей, а он зовет: „Заходите“. Выродок!» Я ужаснулся этой ненависти, которой даже прицепиться не к чему, и пожаловался еще более умной и доброй жене другого музыканта. Но и эта жена прижала уши, оскалила зубы и ответила: «Ненавидеть его, конечно, не следует, но что он выродок — это факт». И пошла, и пошла. Я умолк.

7 июля

И когда я рассказал об этих потрясших меня разговорах одному дирижеру, тот ответил: «Чего же вы хотите? Эти композиторы чувствуют, что мыслить, как Шостакович, для них смерть». Дирижер подразумевал музыкальное мышление. Мужья чувствовали страх, а их жены — еще и ненависть. Вот почему, как загнипнотизированная, глядела одна из них и не могла наглядеться, чувствуя, что перед ней существо другого мира.

Как относился Шостакович к этой ненависти? Не знаю. Но вот два его рассказа на эту тему. «Все мы знаем,

как Римский-Корсаков относился к Чайковскому. Для этого достаточно бросить взгляд на алфавитный список собственных имен, упоминаемых в „Летописи моей музыкальной жизни“. Тогда как совершенно ничтожный Ларош упоминается десятки, а может быть, и сотни раз, Чайковский всего шесть-семь. Да и как упоминается-то! „Приехал Чайковский, и, следовательно, опять будет пьянство“. „Опять был вечер с Чайковским и шампанским“. Когда появилась Шестая симфония, Римский-Корсаков объявил, что этот сумбур уж совершенно непонятен. Правда, великий Никиш ухитрился растолковать кое-какие фрагментики этого неудачнейшего опуса, что по существу не спасает автора от полного провала. Это мы все знали из книг, но не знали, что говорится о Чайковском у Римских-Корсаковых, так сказать, за чайным столом. Как довольно часто случается в подобных случаях, проговорились дети. В день столетнего юбилея Римского-Корсакова один из многочисленных его сыновей, профессор биолог, сообщил собравшимся семистам композиторам и примерно такому же количеству гостей, что будет выступать как ученый. Вначале он поведал о тесной дружбе, существовавшей в свое время между его гениальным отцом и Петром Ильичем. Они обожали друг друга, как закадычные друзья.

8 июля

И даже были знакомы домами. Покончив с этой беллетристической частью, докладчик перешел к ученой. Он показал собравшимся генеалогическое дерево Римских-Корсаковых, уходящее своими корнями в самую глубь русской истории. «Пусть вас не смущает слово: „Римский!“ — воскликнул ученый и привел исчерпывающие доказательства того, что данное прозвище явилось результатом служебной командировки, но отнюдь не примеси итальянской крови. Тогда как Петр Ильич Чайковский является, увы, не русским, с чисто научной точки зрения. Он сын французского парикмахера Жоржа, похитившего супругу Ильи, забыл, как отчество. Наглый француз бросил бедняжку, и добрый Илья, забыл, как отчество, усыновил ребенка. И на этом месте доклада все семьсот композиторов и такое же количество гостей поняли, до какого накала доходили за чайным столом Римских-Корсаковых разговоры о Петре Ильиче, ухитрившемся, несмотря на легкомыслие,

шампанское и прочее, создать себе мировое имя. Ученый сын выдал родителей. И тут даже не отличающийся излишней впечатлительностью композитор Шапорин взял слово и заявил с трибуны, что столетие со дня рождения одного великого русского композитора не может служить поводом для дискриминации второго». Однажды Шостакович спросил: «Что вы скажете о композиторе N.? — (И он назвал фамилию совершенно неизвестную.) — Не знаете? Странно! А между тем этот самый N. учился у Лядова одновременно с Прокофьевым, и, тогда как Прокофьев получал тройки, а иногда и двойки, N. учился на круглые пятерки. И что же? Ловкач и проныра Прокофьев завоевал себе мировое имя, тогда как N., несмотря на семнадцать симфоний и одну „Поэму сатания“, никому не известен. „Какова темка-то! — восклицает он, играя на рояле тему сатаны. — И никто меня не знает, тогда как ловкач и проныра Прокофьев известен всему миру“.

12 июля

Николай Павлович Акимов, маленький, очень худенький, ногам его просторно в любых брючках, производит впечатление силы, вихри энергии заключает в себе его субтильная фигурка. Энергия эта не брызжет наружу, по-одесски, наподобие лимонадной пены. Она проявляется, когда нужно. Пусть только заденут его на заседании или на обсуждении работы театра, — новый человек удивится и, если он вызвал отпор, ужаснется силе, которую привел в действие. Проявляется его сила и в неутомимой настойчивости, с которой ведет он дела театра, не пугаясь и не отступая. В отношениях с людьми ясен и прям. Невозможно представить себе, что он спрашивает случайно встретившегося знакомого: «Ну, как дела? Как жена? Что дочка?» Разговоры подобного рода ведутся чаще всего из боязливого желания поддерживать мирные и смирные отношения. Его летящему к очередной цели существу просто непонятны потребности подобного рода. И кроме того, ему некогда. Даже людей, которых он любит, забывает он в пылу борьбы. Во время атаки не до нежностей. Из-за этого он прослыл среди людей тепловатых — человеком холодным. И в самом деле его ясный и острый смысл действует на многих отрезвляюще и даже оскорбляюще. Из неясного, укромного мирка — на свет и мороз!

13 июля

Находясь вечно в действии, он отдыхать не умеет. В последние годы хоть есть научился сидя. В Сталинабаде он завтракал, да и обедал, стоя у стола в своей комнате, похожей на мастерскую. Основное место занимал в ней стол с пузырьками красок, набором кисточек, аппаратами для работы: игрушка с зеркальцем, помогающая увидеть эскиз по-новому, электрический пульверизатор и тому подобное. Эскизы и портреты висели по стенам этой небольшой мастерской. Он не умел отдыхать. И в свободные минуты писал гуашью, акварелью, сангиной, тушью портреты знакомых. Пробовал работать и маслом. А в 47 году, уехав отдыхать на Рижское взморье, привез он оттуда более пятидесяти портретов, сделанных за месяц отдыха. Он всегда в действии. Еще раз оговариваюсь: при этом нет у него ни признака суетливости. Он деятелен совсем не так, как театральный администратор или коммивояжер. Держится спокойно, слушает охотно, внимателен, пристально внимателен все время. Рассказчик он отличный, но рассказывает, когда надо, не для того, чтобы блеснуть, а чтобы поделиться наблюдениями. Память у него сильная, запас наблюдений обширный, и всегда он их обобщает отчетливо, трезво и верно. И всей своей внимательной, строгой и ясной манерой обращения наводил он на свою многообразную труппу одинаковый страх. Турецкая<sup>189</sup>, ненавидевшая и отрицавшая его за глаза, сама рассказывала, что после личных объяснений она выходила из его кабинета в холодном поту в буквальном смысле этого слова. «Да что же это такое? — изумлялась она, приходя в чувство. — Почему я его так боюсь? Ведь он прост!» — и так далее, и так далее. Вероятно, поэтому получает он так много анонимных писем. Уж очень боятся ссориться с ним лично. Артист Филиппов, напившись до изумления, заявил пассажирам метро, что он — Герой Советского Союза. Было это в 44 году.

14 июля

Театр играл в это время в Москве. «Кричу я, скандалю, — рассказывал Филиппов на другой день. — Все притихли, вдруг, батюшки мои, вижу, уставились на меня из уголка знакомые голубенькие глазки. Николай Павлович! Подходит он ко мне: „Идите за мной!“ В вагоне стало еще тише. И я притих. Вышел за ним на оста-

новке, и он меня так отчитал, что весь хмель выдохся, хоть пей сначала!»

15 июля

Акимов скрытен, но все видят, что он скрывает, — уж слишком он ясен и отчетлив. И тем самым правдив. Как правило, весь театр знал точно, как он поступит в том или другом случае, и обсуждал намерения его на все лады, только сам Акимов помалкивал тайственно. Все они, снобы, характер поведения которых сформировался в двадцатых годах, как позора боялись какой бы то ни было изъяснительности. Самый крайний из них, Андрей Николаевич Москвин, покраснел, как девушка, когда за столом в присутствии семьи выяснилось, что он недавно выступал с докладом в одной из секций Академии наук и имел успех. Здесь уже и речи не может быть о скрытности в каких бы то ни было целях. Москвин бескорыстно служит великому закону замкнутости. У него это превратилось в искусство для искусства. Акимов по ясности своей неспособен на подобные крайности. Он скрытен разумно, когда нужно. Но и он признался, как мучительно было на похоронах матери: все глядели и понимали его чувства. С неожиданной яростью обрушился он однажды на новую постановку «Трех сестер» в МХАТе.<sup>190</sup> Они так явно, непристойно страдали!

16 июля

Каков он в искусстве? Я не смею говорить о живописи, вообще об изобразительных искусствах. Ясно одно, что в них ему не проявить всех своих сил. Он все время стремится в пограничные области. И еще одно: как режиссер он изменился за эти годы, усложнился, окреп. В портретах же своих, да, пожалуй, и в декорациях, он все тот же, что и в двадцатых годах. В литературе (точнее, в драматургии) обладает великим даром: трезвым, неподкупным чувством целого. Он драгоценный советчик, когда работаешь над пьесой. Он прям и беспощаден в своих высказываниях, как бы ни относился к человеку. В отличие от многих занятых людей он читает. Не только то, что нужно, — читает из той почти физической потребности в книге, что выработалась у многих современных людей. Помню, как тронул и удивил он меня, когда в Сталинабаде заговорил о Лермонтове с силой

понимания, неожиданной для его сильно освещенного существа. У него почти нет теней — так считал я — и поэтому не только тепловатые туманы недоступны ему. Пушкин сказал, что поэзия должна быть, прости господи, глуповата. Я боялся, что поэзия в некоторых своих сторонах непостижима для Акимова. И вдруг такое понимание Лермонтова. И я убедился, что он сложнее, чем я думал. И с течением времени убедился я, что есть у него вера. Во что? Не знаю. Но поступки его обнаруживали, что, кроме кодекса денди 20-х годов, есть у него еще некий кодекс. И он слушается его.

17 июля

Когда Комедия готовилась к эвакуации из Ленинграда, я заходил часто в здание Большого драматического театра. Сам театр выехал в то время уже в Киров, актеры Комедии разместились в актерских уборных. Акимов и Юнгер жили, кажется, в кабинете замдиректора. Бывал я там потому, что Акимов упорно настаивал на моем отъезде из города. Был конец ноября, голод уже разыгрался в полную силу. Люди начинали умирать. И Акимов делал все, чтобы вывезти как можно больше людей из блокады. И не только ему близких. Он сказал как-то, что, выехав из города, он, вероятно, начнет резать людей, израсходовав все свои добрые качества на борьбу за увеличение списка людей, которых берет с театром. Он вернул в труппу сокращенных артистов, злейших своих врагов, предупредив, что на Большой земле снова их сократит. Его ясная и твердая душа не могла примириться с тем, чтобы люди умирали без всякой пользы в осажденном городе. Возвращался из театра я обычно в полной тьме. Никогда не переживал я подобной темноты на улицах. Ни неба, ни земли. Идешь ощупью, как по темной комнате. И мне не верилось, что все это правда. Голод, тьма, тревоги, бомбежки. Это было до такой степени нелепо, что я не мог поверить, что от этого можно умереть. А кругом уже умирали, и Акимов со всей ясностью понимал, что тут надо действовать. Двое из его труппы были погружены в самолет на носилках. Один из них умер в Кирове — артист Церетелли. Ни питание, ни лечение, ни вспрыскивание глюкозы не могли уже спасти его. Остальные — остались живы. И когда я встретился с театром в Сталинабаде, — эти живые уже дружно ненавидели Акимова. Все

забылось, кроме мелких обид. Ежедневных, театраль-ных, жгущих невыносимо, вроде экземы. Но театр жил. И когда Акимов добился перевода театра в Москву, ненависть сменилась уважением. После того как гастроль в Москве прошла с сомнительным успехом, уважение сменилось раздражением.

18 июля

Но и в раздражении и в ненависти театр был послушен. Я по своему положению в театре ясно видел все эти превращения: обе стороны были со мной откровенны. И я испытывал привычный ужас перед стихией — впрочем, столь же отвлеченный, как перед темной и бомбежками в Ленинграде. Акимов же понимал, что тут надо действовать. Театральный коллектив склонен неудачи приписывать руководителю, удаче же — своим достоинствам. Он склонен обвинять худрука в измене высоким принципам театрального искусства, формулировать которые он не дает себе труда. Коротче говоря, тут дурное настроение вымещается не на слабейшем, а на сильнейшем. Немирович-Данченко, познакомившись с Акимовым в Тбилиси, изложил ему целую теорию потрясений театрального коллектива, имеющую свою периодичность. А ведь Немирович имел дело со счастливейшим театром! Акимов, как и Немирович, действовал, и театр, то ворча, то мурлыча, делал свое основное дело: показывал спектакли.

19 июля

Я сегодня не в форме, и мне трудно писать. Вчера вечером позвонил по телефону и зашел Шостакович. Он живет на даче недалеко от нас, но я сам не захожу к нему, зная, что есть у него дни, когда он не переносит людей. Недавно был у него Козинцев, которого встретил он приветливо, не отпускал. Вдруг внизу показались еще трое гостей — все его хорошие знакомые. Дмитрий Дмитриевич вскочил, пробормотав: «Простите, простите, опаздываю на поезд», — выскочил из дачи и побежал на станцию. Ну как тут пойдешь к нему? Пришел он похудевший, серый, под глазами круги, — выпил вчера, болит живот... Собеседника не слушает. Слушает что-то в себе. Нечто безрадостное. И вместе с тем мажорен, очень мажорен, когда рассказывает. Проведя с ним два часа, я устал, как от бессонницы.

20 июля

При последней встрече я обратил внимание на руки Шостаковича: пальцы тонкие, но не слишком длинные, и очень сухая блестящая кожа усиливает впечатление нездоровья. И мажорен, очень мажорен! Он рассказывал о болезни очень близкого к нему человека. Случайно обнаружили рентгеном инфильтрат в обоих легких. Это настолько обеспокоило Дмитрия Дмитриевича, что он уезжал в Москву выяснить на месте, что там случилось. Рассказывал он об этом так: «Крайне неприятно, крайне неприятно и совершенно неожиданно. Это или бывший туберкулез, или начинающийся». И добавил с удовольствием: «А может быть, и глисты. Может быть, и глисты. Они оставляют такие же следы».

7 августа

Театральная мастерская верила в то, что где-то есть настоящие режиссеры и настоящие театры. Другой веры у Мастерской не было, но готова она была верить во всю силу свою, которую ощущала, хоть и довольно смутно. И еще до того, как решился наш переезд в Ленинград, почему-то именно я с Гореликом<sup>191</sup> поехал за режиссером в Москву. В это время отношения в театре уже запутались — жить ему было нечем, а своим постоянным режиссерам верил он недостаточно. Кроме того, полуголодное существование артистов и процветание администрации — вечные ножницы трудных времен — усложняли обстановку.

9 августа

На другой день пошли мы с Гореликом к Чаброву<sup>192</sup>. За этим и приехали в Москву. Звать его в режиссеры. О нем говорилось у нас следующее: он известный пианист, друг Скрябина. Настоящая его фамилия Подгаецкий. Когда Камерный театр ставил «Покрывало Пьеретты», Подгаецкий, под фамилией Чабров, так сыграл Пьеро — мимическую роль, что прославился на всю Москву. После этого помогал он Таирову ставить танцы. Успех «Принцессы Брамбиллы» приписывали ему. С Таировым Чабров поссорился, собирался уходить, о чем заговорили в театральных кругах. Многие утверждали, что он режиссер не слабее Таирова. Жил Чабров в квартире-музее Скрябина. В большой комнате окнами в переулок встретил нас человек с широкой



грудной клеткой, плешивый, с медвежьими хитрыми глазками. Мне показалось вдруг, что он бабник, а не Пьеро.

10 августа

Чем-то напомнил он мне нашего училищного сторожа Захара, баптиста, человека, ошеломившего меня в детстве разговором о девках. Но в дальнейшем оказался мне Чабров простым и ясным. К нам он вряд ли собирался ехать, но и не отказывал решительно. Увидев, что я разглядываю гравюру в углу кабинета: тело юноши выброшено волнами на скалу, — он привел слова Скрябина: «Вот юноша, которому уже нечего желать».

20 августа

В 24 году в подвальчике на Троицкой открылся театр-кабаре под названием «Карусель». Успех «Летучей мыши» и «Бродячей собаки» еще не был забыт, и подобные театрики, по преимуществу в подвалах, открывались и закрывались достаточно часто<sup>193</sup>. Играя в живой газете Роста<sup>194</sup>, познакомился я с сутуловатым до горбатости, длинноруким Флитом<sup>195</sup>. Он был доброжелателен. Горловым тенорком, закидывая назад голову, словно настоящий горбун, остроносый, с большим кадыком, расспрашивал он, встречаясь, как идут мои дела, и пригласил написать что-нибудь для нового кабаре. Я почтительно согласился. И сочинил пьесу под названием «Три кита уголовного розыска». В ней действовали Ник Картер, Нат Пинкертон и Шерлок Холмс. Выслушали пьесу в кабаре угрюмо и стали говорить, что в «Балаганчике»<sup>196</sup> у Петрова шла уже пьеса на подобную же тему, сочиненная Тимошенкой. Я сразу ужаснулся. Как я смел думать, что могу сделать что-нибудь для этих избранников. Я объяснил только, что программу с подобной пьесой в «Балаганчике» не видел, и удалился. Но пьесу все-таки решили они ставить. Странное дело, отказ ужаснул меня, а согласие — не обрадовало. И я стал бывать на репетициях с полной уверенностью, что меня это все не касается.

26 августа

Когда я вернулся из Артемовска, то недели две испытывал страх: я был без места. Но вот Слонимскому по-

ручили редактировать журнал «Ленинград» при «Ленинградской правде», и я пошел по его рекомендации туда же в секретари. А в «Радуге» поручили мне стихотворные подписи к двум книгам.

Издательство «Радуга» процветало в те дни. Первые, а возможно, и лучшие книги Маршака и Чуковского расходились отлично. Налогами частников еще не душили, и во всех книжных магазинах продавались книжки издательств «Мысль», «Время». И еще многих других, главным образом — переводы. Известные переводчики нанимали белых арапов — людей, просто знающих язык, и только редактировали, а иной раз и не редактировали переводы своих подручных.

27 августа

Несмотря на процветание издательства, деньги получить было в высшей степени трудно. Платили они мне, по-моему, 250 рублей за книжку. Но по частям. Один раз заплатили талонами на магазины Пассажа. Целый лист, похожий на листы почтовых марок, с талонами разной ценности. Я купил себе костюм. В ожидании денег сидели мы в проходной комнате... Раза два видел я там Мандельштама — озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение. Корней Иванович и Маршак, словно короли, показывались не так часто, и денег, разумеется, ждать им не приходилось. Но и с нами расплачивались в конце концов. И впервые с приезда жить нам в Ленинграде стало полегче. «Рассказ старой балалайки», написанный до «Радуги», все лежал в Госиздате и был напечатан в 25 году, уже после того, как вышли «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки». На книги свои я смотрел с тем же странным чувством, как на работу в «Карусели». Я начинал, едва начинал, приходиться в себя после падения всех сил и всех чувств, после актерской полосы моей жизни. Но я был как в тумане. Сегодня я вижу то время яснее, чем тогда, в те дни.

28 августа

То, что в «Радуге» напечатал я несколько книжек, то, что Мандельштам похвалил «Рассказ старой балалайки», сказав, что это не стилизация, подействовало на меня странно — я почти перестал работать. Мне сла-

ва ни к чему. Мне надо было доказать, что я равен другим. Нет, не точно. Слава была нужна мне, чтобы уравновеситься. Опять не то, голова не работает сегодня. Слава нужна мне была не для того, чтобы почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным другим. Я, сделав то, что сделал, успокоился настолько, что опустил руки. Маршак удивлялся: «Я думал, что ты начнешь писать книжку за книжкой». И предостерегал: «Нельзя останавливаться! Ты начнешь удивляться собственным успехам, подражать самому себе». Но я писал теперь только в крайнем случае.

30 августа

Особняк Черновых на бывшей Садовой улице, ныне улица Энгельса в Ростове-на-Дону. Двадцатый год. Театр Театральная мастерская захватил особняк, не без участия хозяев. Дочка их, ее муж, брат мужа — все артисты театра. Старики Черновы забились в одну комнату в глубинах особняка. Изредка покажется в коридоре маленький седой армянин с изумленными, осуждающими глазами и скроется...

Зал черновского особняка, большой для богатого дома, превращен был в крошечную театральную залу. А мы, случайно встретившиеся, едва вышедшие из юношеского бесплодного, несамостоятельного бытия, стали профессиональными актерами. И не верили этому. Быт в те дни был сложен.

31 августа

Ростовские мальчики и девочки, знакомые еще с гимназических времен, разных характеров, разных дарований, полные одним и тем же духом — духом своего времени. Сначала собирались они и обсуждали книги и читали рефераты о литературных событиях двух-трехлетней давности. Назвали они свою компанию (это была, конечно, компания вроде тех, что вертелись этим летом вокруг нашего дома) «Зеленое кольцо». Тогда только что прошла пьеса Гиппиус под этим названием о молодежи, которая жаловалась, что «попала в цель истории» и не находит себе места в жизни. И эта компания пыталась от избытка сил найти подобие веры, но пышная и мутная символически-религиозно-философская культура тех дней только манила их, импонировала, но оставалась им в сущности чуждой. Остыва-

лись они теми же юношами-подростками... Компания эта так и разошлась бы, но в ядре ее подобралось несколько людей, по-настоящему любящих, нет, влюбленных в театр. В 17 году поставили они «Незнакомку» Блока. В 18-м — уже при нашем участии — «Вечер сценических опытов». Мы — это краснодарская компания, переехавшая в Ростов учиться: Тоня, Лида Фельдман, я. Ставил все спектакли Павлик Вейсбрем, которому только что исполнилось 19 лет. Во второй спектакль, в «Вечер сценических опытов», входили «Пир во время чумы», отрывок из «Маскарада» и отрывок из какой-то пьесы Уайльда, не вошедшей в собрание его сочинений, совсем не помню какой. Вроде мистерии. Вейсбрем говорил вступительное слово, переполненный зал слушал внимательно. Он говорил о счастье действовать и объединять людей. Вот по нашей воле сошлись тут люди, забыли о своих интересах, подчинились искусству. Второй спектакль еще более объединил компанию. Это уже был кружок.

1 сентября

Но и кружок этот, вероятно, распался бы, не сойдись так исторические события. Наиболее определившиеся из молодежи и раньше держались крепко за это дело. Самым любопытным из всех них был Павлик Боратынский, о котором Вейсбрем говорил, что он «человек трагический». Он, как все герои своего времени, был временем порожден и нарушал его законы как хотел. Впрочем, время как раз поощряло к этому роду нигилизма. Он необыкновенно спокойно, весело и бескорыстно лгал, чем восхищал и ужасал меня. Красивый, стройный, спокойный, почти мальчик, с женщинами он был безжалостен, за что они и не слишком обижались... Актер он был не просто плохой, а ужасный. Вейсбрем совершил с ним чудо — он очень сильно сыграл Вальсингама в «Пире во время чумы», но и только. И, несмотря на это (или именно поэтому), он страстно любил театр. Еще до того, как Театральная мастерская стала государственным театром, он совершил преступление. Не было денег на декорации и на оплату зала. И Павлик украл шубу у богатого клиента, пришедшего к его отцу, адвокату. И театр был спасен. Боратынский был решителен, насмешлив, умен. Восхищался Андреем Белым — «Серебряный голубь» и «Петербург» были

его любимыми книгами. Но вместе с тем был и хорошим организатором, и это ему во многом были мы обязаны тем, что театр не распался, пока обстоятельства не объединили нас крепче, чем было до сих пор. Жизнь не то что изменилась или усложнилась, а начисто заменилась. И в этой новой жизни нам нашлось вдруг место и как раз потому, что существовал театр. И вот мы рекевизировали особняк Черновых, к изумлению хозяина.

3 сентября

Да, теперь мы были настоящим театром, хотя не слишком-то верили этому. И зарплата, которую мы получали, была столь призрачна, и люди столь по-другому знакомы, что думалось: «Да, мы, конечно, театр, но все же и не вполне». И театральные критики, в новых условиях растерявшиеся, не могли нас уверить, и хваля и браня, что мы существуем. Самым значительным подтверждением факта нашего существования был хлеб. Внизу, в высокой сводчатой комнате черновского особняка, нам раздавали наш хлебный паек... Театр давал нам крошечную зарплату, право обедать в столовой Рабис и этот хлеб. И постепенно, постепенно реальность его существования утвердилась именно этими фактами. Во всем остальном было куда меньше основательности. Вряд ли у нас были какие-нибудь театральные вкусы и верования. Мы были эклектичны по-провинциальному, и потому что сорок лет назад в театре все дрогнуло, перемешалось и еще неясно было, кто победил. В Художественном театре ставили «Синюю птицу». «Гамлета» ставил у них Гордон Крэг. Начался период стилизаций. Появились режиссеры-«эрудиты». О маленьких театрах вроде театра Комиссаржевского говорили и писали больше, чем о больших.<sup>197</sup> Возрождали, насилуя себя всячески, Комедию дель арте, о чем недавно я прочел прелестную запись в дневнике Блока о знакомых, которые лежат под столом и бегают на четвереньках, и о том, как не соответствует это умной и печальной русской жизни. Но сам он был связан как-то с театром Мейерхольда, который репетировал в Териоках Стриндберга<sup>198</sup>. Обрывки всего этого доходили до нас, и мы во все это верили и не верили. И у нас было два режиссера — Любимов и Надеждов...

На редкость разными людьми были наши режиссеры. Любимов, вышедший из недр Передвижного теат-

ра,<sup>199</sup> был нервен до болезненности, замкнут, неуживчив, молчалив и упрям. Тощенький, большелобый, в очках, смертельно бледный, сидел он на репетициях в большом черновском кресле, сжавшись, заложив ногу за ногу. По нервности он все ежился, все складывался, как перочинный ножик. Добивался он от актеров того, чего хотел, неотступно, упорно, безжалостно. Только не всегда ясно, по своему путаному существу понимал он, чего хотел. Второй режиссер — открытый, живой красавец Аркадий Борисович Надеждов. Этот играл и в провинции, и с Далматовым, и у Марджанова, от которого подхватил словечко «статуарно». Работал Надеждов и у нас, и в полухалтурном театре (кажется, называли его «Свободный»)<sup>200</sup>, и ставил массовые зрелища в первомайские или октябрьские дни... Он внес в Театральную мастерскую веселый, легкий дух профессионального театра. На так называемых режиссерских экспозициях был он смел и совершенно беспомощен. Нес невесть что. А ставил талантливо. Не было у него никакой системы, нахватал он отовсюду понемногу — это сказывалось в его речах. Но вот он приступал к делу. Его красивое лицо умнело, становилось внимательным. Любовь к театру, талант и чутье помогали ему, а темперамент заражал актеров. Как это ни странно, но столь непохожие друг на друга режиссеры наши никогда не ссорились. Впрочем, Надеждов был уживчив, да и вряд ли считал Мастерскую основным своим делом. Чего же тут было делить ему с Любимовым? Надеждов поставил у нас «Гондлу» Гумилева и «Иуда — принц искаротский» Ремизова. А Любимов — «Гибель „Надежды“ Гейерманса и „Адвокат Пателен“.

4 сентября

Пятым, а вместе с тем и первым по времени выпуска (по-моему, с него и начал наш театр свою жизнь в качестве государственного) был «Пушкинский спектакль».туда вошел без изменения перенесенный из «Вечера сценических опытов» «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» был поставлен заново. Между двумя этими пьесами Антон Шварц и Холодова читали стихи. Второй постановкой была «Гибель „Надежды“». Третьей — «Гондла», затем «Адвокат Пателен» и «Иуда — принц искаротский». От постановки к постановке привыкали мы к тому, что Театральная мастерская — настоящий театр. Ди-

ректор наш, Горелик, был вместе с тем и секретарем Наробраза. Он принадлежал к виду молчаливых и властных людей. Несмотря на свой возраст (ему было 22–23 года), он заставлял себя слушаться как старший. Он вел театр со свирепой и молчаливой энергией... Идеологом театра являлся сам заведующий Наробразом К. Суховых. Я знал его как фельетониста „Кубанского края“, где подписывался он — „Народин“. Это был высокий, постноватый на взгляд человек, с длинными прямыми волосами и морщинистым лицом. Было ему, вероятно, под сорок.

5 сентября

Суховых перед каждым спектаклем выступал перед занавесом, говорил вступительное слово, увязывая пьесу с сегодняшним днем. Одна была близка ему как трагедия, другая — как широкое историческое полотно, третья — как продукт народного творчества, — Луначарский приучал широко мыслить.

У нас была страстная жажда веры, а пророка все не находилось. Художники у нас были случайные, из проезжих. «Гибель „Надежды“» делал Николай Лансере, „Гондлу“ — Арапов, „Иуду“ — Лодыгин. Как я тосковал в театре! Как не верил, что дело это имеет какое-то отношение ко мне. Николай Лансере написал задник — море.

6 сентября

Я ждал своего выхода в «Гибели „Надежды“» возле самого этого задника. И, несмотря на близость к холсту, цвет моря вызывал у меня тоску по временам, вдруг ушедшим в туман, — по беспечным временам, когда шли мы пешком по шоссе, приближаясь к Адлеру. А теперь я женат, я артист, я ненавижу свое дело. Я не пишу, как в те дни, когда шли мы с Юркой по морю, а главное, не знаю, как писать. Спасительное чувство, что все это „пока“, и мечты утешали меня, особенно возле этого задника, изображающего море. Таковы были наши декорации. Думаю, что были они профессиональнее, чем постановки наши и игра. Попробую рассказать об актерах. Самой заметной фигурой был Марк Эго. Он успел побывать в настоящем театре, да еще в каком — в Художественном. И более того, во Второй студии, той самой, где Мчедлов поставил „Зеленое кольцо“<sup>201</sup>. Если Художествен-

ный в те дни начинал утрачивать былое обаяние, то студии в наших глазах стояли необыкновенно высоко, — и вот Марк Эго пришел прямо оттуда. Шумной, простоватой, но сильной своей натурой завоевал он заметное место на незримом, но вечно волнующемся актерском форуме. Небольшого, нет, среднего роста, густоволосый, черноволосый, румяный, он не очень походил на актера в старом представлении. МХТ любил принимать в студию именно таких: интеллигентных, темпераментных, недовольных... Но Марк был еще и простоват. Не в смысле разума. Никак! В смысле вкуса. Сказывалось это прежде всего в псевдониме: Эго! И в отсутствии чувства юмора: он брал у времени всерьез его случайные, шумные, третьесортные признаки (Марк Эго). Так он и играл, и жил, и обсуждал театральные дела.

8 сентября

Заметную... роль играл в театре Антон Шварц. Он был образованнее, да и умнее всех нас. Говорил на заседаниях художественного совета всегда ясно и убедительно. Спокойствием своим действовал умиротворяюще на бессмысленные театральные междоусобицы. Читал он великолепно. Играл холодновато. Он и Марк Эго были героями, а на амплу героини — Холодова, играющая тогда под фамилией своей настоящей — Халайджиева. Она была талантливее всех, но именно о ней можно было сказать, что она человек трагический. По роковой своей сущности она только и делала что разрушала свою судьбу — театральную, личную, любую. Она была девять лет моей женой.

Вот входит в репетиционную комнату Костомолоцкий<sup>202</sup>, костлявый и старообразный, и на пороге колеблется, выбирая, с какой ноги войти... Голос у него был жестковатый, неподатливый, но владел своим тощим телом он удивительно. Это был прирожденный эксцентрический артист.

9 сентября

Этот новый вид актерского мастерства чрезвычайно ценился в те дни. Через несколько лет Костомолоцкий прославился в постановке «Трест Д.Е.» у Мейерхольда в бессловесной роли дирижера джаза.

Более традиционным комиком являлся армянин, адвокат Тусузов<sup>203</sup>, осторожный, неслышный, косо погля-



дывающий из-под очков своими маленькими глазками. И все-то он приглядывался, и все-то он прислушивался, выбирая дорожку побезопаснее. Одинокий, он и в театре держался бобылем, не вызывая, впрочем, враждебных чувств в труппе. Уж очень он был понятен и безвреден со всеми своими хитростями. И актер был хороший — он до сих пор играет в Театре сатиры. Рафа Холодов, рослый, красивый, играл любовников, что давалось ему худо. Он мгновенно глупел и дурнел на сцене и все злился — явные признаки того, что человек заблудился. И только в дни наших капустников, играя комические и характерные роли, он преображался. Исчезал недавно кончивший гимназию мальчик из солидной семьи, которому ужасно неловко на сцене. Угадывался вдруг талант — человек оживал. И в конце концов он так и перешел на характерные роли и стал заметным актером в Москве с тридцатых годов. Фрима Бунимович, или Бунина, тогда жена Антона Шварца, преданнейше в него влюбленная, огромноглазая, большелобая, маленькая, худенькая, была одарена разнообразно. Она все свети-лась, светилась, никогда не была спокойна, и черные глазища ее все мерцали, как от жара. Иногда бывали у нее припадочки, когда ее сгибало, она поднималась, как мостик, от пяток к затылку, дугой. Она и рассказы про-бовала писать, и стихи. И томилась без ролей, и все об-хаживала в вечной тревоге Тоню.

16 сентября

Разные то утешительные, то враждебные мне люди собрались и образовали театр. Вечер. Дежурный режиссер сегодня Надеждов — по очереди присутствуют они на спектаклях, то он, то Любимов. Насмешливо щурясь, по-актерски элегантно, любо-дорого смотреть, бродит он возле актерских уборных, торопит актеров, называя их именами знаменитостей: «Василий Иванович, на сцену! Мариус Мариусович! Николай Хрисанфыч!» Но вот Суховых придает спокойное, даже безразличное выражение своему длинному лицу.

17 сентября

И выходит на просцениум. Свет в зрительном зале гаснет. Начинается. Мы собираемся у дверей единственного входа на крошечную нашу сцену. Глухо доносятся из-за занавеса слова Суховых. Он говорит об эпо-

хе реакции, о борьбе темных и светлых сил. О победе пролетариата, которому нужно искусство масштабное, искусство больших страстей. Вежливые аплодисменты. Насмешливое лицо Надеждова становится строгим и внимательным. Суховых торопливо проходит через сцену. «Занавес», — шепотом приказывает Надеждов, и начинается спектакль, и только катастрофа — пожар, смерть, землетрясение — может его прервать. Так мы служили в театре в 20/21 году. И все события, которые разыгрывались за его стенами, занимали нас смутно, только врываясь к нам через его стены. Так, во время врангелевского наступления предложили нам идти в Красную Армию добровольцами. Многие записались, но тут же ночью мобилизация была отменена. Во время изъятия излишков у буржуазии ночью дали вдруг свет. В нашу комнату вошли рабочие с винтовками, спросили добродушно: «Артисты?», посмотрели удостоверения и вышли, ни на что и не взглянув. Впрочем, с первого взгляда можно было догадаться, что излишков у нас нет.

18 сентября

Иногда мы зарабатывали в «Подвале поэтов». Длинный, синий от табачного дыма подвал этот заполнялся каждый вечер, и мы там за тысячу-другую читали стихи, или участвовали в постановках, или сопровождали чьи-нибудь лекции. А лекции там читались часто, то вдруг о немецких романтиках, то о Горьком (и тут мы ставили «Девушку и смерть»), то о новой музыке. Однажды на длинной эстраде появился Хлебников. Говорили, что он возвращается из Персии. Был он в ватнике. Читал, сидя за столом, едва слышно, странно улыбаясь, свою статью о цифрах<sup>204</sup>. На другой день Халайджиева видела его на рынке, где он пытался обменять свой ватник на фунт винограда. Очевидно, Рюрик Рок не заплатил Хлебникову за вчерашнее выступление. Рюрик Рок был как будто председателем Союза поэтов — во всяком случае, все дела «Подвала» сосредоточены были в его руках и он платил нам за участие в их вечерах. Рюрик Рок, настоящая его фамилия была Геринг, являлся полной противоположностью Хлебникову. Нет, он никогда не улыбался странно, был румян, черноволос, спокоен, деловит. Одет он был далеко-далеко не в ватник. Примыкал к школе ничевоков, а может

быть, стоял во главе ее<sup>205</sup>. Школа эпатировала буржуа, но эти последние были уж до того эпатированы, что сидели смиренно в уголках и только радовались. Ничего не угрожало их жизни и излишкам. Вскоре поступил я в политотдел Кавфронта. Об этом театре рассказывать долго, да и приглашенные, тлеющие впечатления тех упадочных лет до сих пор неприятны мне. Я ненавижу актерское ремесло и с ужасом чувствовал, что меня занесло не туда.

20 сентября

По моему особому счастью, когда переезд Театральной мастерской в Петроград был решен и подписан, денег у меня не оказалось. У меня тут был особый дар — работал я как все, но деньги не шли ко мне, а придя, не задерживались. И я пошел в последний раз на рынок. Называю его так по ленинградской привычке. Я пошел на базар продавать студенческую тужурку. Базар начинался длинной человеческой рекой, тянувшейся вдоль бульваров, под акациями. Впадала эта река в огромное человеческое озеро, над которым виднелись островки: мажара с арбузами или клетками, из которых высывались длинные гусиные шеи, или кадками со сметаной и маслом. На циновках прямо на земле горою вздымались помидоры, и капуста, и синенькие, и на таких же циновках разложены были целые комиссионные магазины: тут и фарфор, и старые ботинки, и винты, и гвозди, и книжки. Вещи обычно удавалось продать еще на бульваре. Если дойдешь до самого базара, — худой признак. Значит, нет спроса на твой сегодняшний товар. Студенческую тужурку купили скоро, и сердце у меня вдруг сжалось, когда увидел я, как парень с маленькой головой уносит ее. Мне почудилось, что это моя молодость уходит от меня. Было мне двадцать четыре, почти двадцать пять лет, и я все как-то не верил, что мы уедем в Петроград и я как-нибудь выберусь из колеи, которую ненавижу. Но вот уже поданы вагоны — две теплушки, с нарами для актеров в одной и театральным имуществом в другой. Стоят они вправо от вокзала, вход через ворота. Вот вагоны и погружены. Осенний, почти летний вечер — засушливое, жаркое лето 21 года все тянется. Я измучен не столько сборами, сколько слезами и истериками близких. Вагоны стоят.

21 сентября

Тоня и Фрима уехали в Москву, и неясно было, присоединятся ли они к нам по пути. Надеждов оставался в Ростове. Уехали вперед Литваки и Беллочка Чернова. Казалось, что театр вот-вот распадется. Куда ж мы едем? И едем ли? Но вот нас прицепили к какому-то составу.

22 сентября

И мы так долго маневрировали, что я не поверил себе, когда началось движение вперед, без остановки у стрелок, без свистков, без помахиваний флажками. В высоких, метра в полтора, бидонах плескалось подсолнечное масло — весь капитал театра. Деньги падали каждый день, и поэтому заказаны были специальные бидоны и все, что нам причиталось, обращено в масло. Бидоны подтекали, что нас несколько беспокоило, но знатоки утешали, утверждали, что это неизбежно. Под нарами уместились наши личные бидоны. Один — с превратившейся в подсолнечное масло студенческой моей тужуркой, подъемными, зарплатой за месяц. Перед самым нашим отъездом приехал папа и привез, зная, как плохи мои дела, второй бидон, покрашенный в красно-коричневую краску. Это было все наше имущество. По тогдашним ценам этого могло хватить месяца на два жизни, что меня глубоко утешало. Ни разу я не был так богат. И вот мы все удалялись от Ростова, и я все оживал. Это был непривычный путь — теплушки наши останавливались вдали от вокзалов, где-нибудь на пятом пути, и поэтому все остановки выглядели одинаковыми. Пробираясь под колесами, обходя бесконечные составы, бежали мы к рынку, или к водокачке умываться, или за кипятком, или к уборным. А Павлик Боратынский и Львов — администратор наш и Барсов — второй администратор мчались к дежурному по станции, чтобы нас не отцепили или перецепили к новому составу. Однажды и я от нечего делать присоединился к ним. Дежурный в гимнастерке, бледный и словно опьяненный всеми трудностями, что окружали его, то начинал слушать, то вскакивал и бросался к телефону, то снова говорил нашим: «Слушаю вас, товарищи», — и, получив сверток с колбасой и салом, исполнил нашу просьбу, успокоившись.

24 сентября

Так мы ползли и ползли. Все чаще приходилось закрывать дверь теплушки, потому что хлестали дожди, так что видели мы одни вагоны на станциях. Но вот дней через пятнадцать в нашей железнодорожной жизни, вошедшей в колею, стало медленно-медленно назревать настоящее событие. Более мелкие события — Курск, Орел, Серпухов — ничего не изменили в нашей жизни, хотя их мы ждали тоже с нетерпением. Но тут мы приближались к Москве! Тут предстояло нам прожить дня три-четыре — таков был срок пребывания на этой станции, узловой из узловых. Думали мы, что прибудем туда вечером, но и ночью не увидели Москвы. И только на рассвете остановились мы среди путей и составов, которым не было конца. Москва-сортировочная. Мы вышли к виадуку. И я сквозь утренний и душевный туман увидел с моста огромный золотой купол храма Христа Спасителя. И вспомнил, что с самой первой встречи город принял меня холодно, враждебно, да так и сохранил этот обычай навсегда. И напрасно ждал я от Москвы прояснения моей жизни, поворота к лучшему. Ничего хорошего тут с нами не случится. Но вот мы перешли виадук, увидели мощенную булыжником дорогу, услышали цоканье подков — ломовики везли какие-то ящики к станции. И мне вдруг захотелось, так захотелось в Москву. Несколько возчиков курили у лестницы, ждали нанимателя. «Сколько возьмете до Москвы?» — «Десять рубликов». Это значило десять тысяч. Но тем не менее, установив, где будут наши вагоны, к вечеру мы были в Москве.

25 сентября

В те дни в Москве еще можно было найти комнату, но страшно показалось в эти осенние дни оставаться там в одиночестве, без театра. Не устроился в Москве и Тоня, решил ехать с нами. Жили мы в Москве, пока шли хлопоты о прицепке наших вагонов. Побывали в Камерном театре, посмотрели «Саломею» ... К моему огорчению, «Саломея» ужаснула меня. Кроме Ирода — Аркадина, все остальное не походило, не подходило к той простоте и пустоте, в которой очутился мир. Это выглядело оскорбительно, бестактно, провинциально. Вчерашний обед. В высшей степени черствые именины. Не помню, тогда или чуть позже уви-

дел я «Мистерию-Буфф» у Мейерхольда и тоже огорчился. Я так любил влюбляться. Тут я увидел отказ от всех законов, возмущающих в Камерном. Но радости от этого не ощутил. Оголенная сцена не была использована — слишком большая свобода не вызывала сочувствия, уважения. При такой свободе — все можно и ничем не убедишь. Только года через два, увидав «Великодушного рогоносца», я был потрясен и убежден — родились новые законы. Сильное впечатление, наиболее унылое, произвело кафе «Стойло Пегаса»<sup>206</sup>.

26 сентября

Я ненавидел актерскую работу и, как влюбленный, мечтал о литературе, а она все поворачивалась ко мне враждебным, незнакомым лицом. «Стойло Пегаса» мало чем отличалось от ростовского «Подвала поэтов». То же эпатирование буржуа, в высшей степени для них утешительное. Та же безграничная свобода, при которой все можно и ничем не удивишь, но еще более обескураживающая. За несколько дней до нашего приезда в «Стойле Пегаса» состоялся вечер, посвященный памяти Блока, с кощунственным, и лихим, и наглым, и ничего не стоящим названием<sup>207</sup>. Кафе в тот день было переполнено. Имажинисты позволяли себе все, но никто не удивлялся. Тем не менее ощущение скандала, и скандала невеселого, возле могилы, нарастало. И вдруг Тоня поднялся и прочел стихотворение «Рожденные в года глухие». Когда закончил, полная тишина воцарилась в «Стойле», и председатель, не то Кусиков, не то Мариенгоф, только и нашелся сказать что «Да-а!» В тот вечер, что были мы, выступал с речью об имажинистах Брюсов. Я увидел его в первый и последний раз в жизни. Высокий, узкоплечий, он походил на свои портреты и зловеще вместе с тем отошел от них. Как он стар! Взгляд особенно тусклый, даже оловянный. Вся значительность, словно штукатурка, обвалилась со всего его существа. Говорил он убедительно, холодно и безразлично. Он доказывал, что новая поэтическая школа прежде всего определяется языком. Маяковский создал новую форму, а вместе с тем и школу. А имажинисты — эпигоны. Попадают у них красивые строчки — например, у Кусикова: «Радуга — дуга тугая» — и только. Слушали Брюсова терпеливо и вяло. Оживились, когда на кафедре появился сутулый, чер-

ный, бледный, неряшливо одетый москвич и стал возражать.

27 сентября

Широко расставив руки, и опираясь на кафедру, и низко наклоняясь, он почти касался ее своей черной, редкой, кустистой бородкой. Он как бы хвалил Брюсова, но все смеялись — очевидно, этот сутулый считался в кафе человеком острым. Я не понимал его намеков. Он все издевался над академизмом Брюсова, но еще что-то местное было в его словах, понятное только местным. Уж слишком они оживились. А Брюсов сидел за своим столиком неколебимо, как олимпиец, и поглядывал бесстрастно. Оловянность глаз его повергала меня в отчаяние. Еще раз увидел я, что Москва — не бог весть что. И чужда, так чужда, что я готов был в ножки ей поклониться, только бы приняла она меня. Но понимал, что это не помогло бы. Что мне эти рисуночки на стенах, дым, жестокость испитых морд, девицы, перепуганные до извращения. Ад. За столиками оживились. Взгляды устремились в угол. Пронесся как бы ветерок: «Есенин пришел!» — «Где?» — «Вон, с Мариенгофом за столиком». Я к этому времени оцепенел, впал от ужаса в безразличное состояние. Нет, не уйти мне из театра. Некуда. Со страхом, как бы сквозь сон, взглянул я в указанном направлении и увидел два цилиндра и два лица: одно — круглое и даже детское, другое — длинное и самоуверенное.

28 сентября

Садись мы на старом, столь памятном Николаевском вокзале. Огромный состав подали к пассажирской платформе. Приехали Тоня и Фрима со всем своим багажом. Тоненькую ее фигурку, согнувшуюся над чемоданами, запомнил я почему-то до сих пор. Она бегала и беспокоилась, а мы помогали погрузке, и шел дождь, и все спешили: через несколько минут состав должен был по расписанию отойти. И отошел, к нашему величайшему удовольствию, даже гордости.

29 сентября

Мы прибыли в Петроград очень быстро, к исходу третьих суток. 5 октября 1921 года. Теплушки наши поставили на товарном дворе у покатых, мощенных бу-

лыжником платформ, построенных так, чтобы ломовики могли подъезжать к самым дверям вагонов. Впрочем, может быть, построены были они для погрузки артиллерии и грузовых машин. Утром пришли к нам Макс и Толя Литваки. Какие-то вещи их прибыли с нами. Удостоверившись в их целости, отправились они домой, а я от нечего делать — с ними. Мы свернули на Суворовский проспект. Маленький, тесный, не простовски угрюмый, темнел рынок в самом его начале. И Ленинград казался мне темным, как после тифа, еще в лазаретном халате. Я шел по улице, где через восемь лет предстояло мне, переломив свою жизнь, начать ее заново, и ничего не предчувствовал.

### 30 сентября

До сих пор приезжал я в Ленинград — нет, в Петроград — ненадолго и ехал быстро: усну в Клину, а проснусь в Любани. А в октябре 21 года я успел разглядеть города, и леса, и поля, мимо которых прежде пролетал во сне. Мы ехали на север, переселялись в чужой край. Исчезли выбеленные глиняные хаты, города белые и кирпичные, все в садах. Тут дома пошли бревенчатые, темно-серые, почти черные. Деревянные улицы. И продавали на станциях картофельные лепешки, пироги из ржаной муки с морковью. Все казалось чужим, хоть и не враждебным, как в Москве, но безразличным. Этому бревенчатому северу не до нас, самому живется туго. И, шагая по Суворовскому, испытывал я не тоску, как несколько дней назад в Москве, а смутное разочарование. Мечты сбылись, Ростов — позади, мы в Петрограде, но, конечно, тут житья будет не так легко и просто, как чудилось. Петрограду, потемневшему и притихшему, самому туго. Навстречу нам то и дело попадались красноармейцы, связисты — тянули провода: ночью сгорела телефонная станция. Вот и Таврический сад. Вот знаменитый дом — «башня», как называли его символисты, — где жил Вячеслав Иванов. И в самом деле с угла похож его фасад на башню. Башня опустела так основательно, что не тревожит воображения...

Я узнаю, что играть мы будем на Владимирской, 12, а жить на углу Владимирской и Невского в номерах палкинской гостиницы, позади бывшего ресторана Палкина. Комнаты отличные, огромные, светлые, но холодные. К вечеру должны мы переехать.



2 октября

По темной лестнице попадаем мы в просторную кухню с соответствующей плитой. Из нее в коридор. В одной комнате, большой и высокой, с прекрасной, почти помголовской мебелью, помещаются Тоня и Фрима, рядом — в такой же — мы... Труппа съезжалась понемногу. Большая часть задержалась в Москве.

3 октября

Словом, два-три дня прожили мы во втором этаже палкинского дома вдесятером, вшестером. И — о, чудо! — вели совместное хозяйство, и я был уверен, что завтра тоже удастся пообедать. Фрима свою влюбленность в Тоню переносила и на близких его — она жалела меня, была со мной ласкова, я светился отраженным светом для нее. И мы вместе пошли на Кузнечный рынок — вот как я его увидел в первый раз. Он был богаче того, что огорчил меня в начале Суворовского, но все же темен, особенно сейчас, в осенние дни. На тротуаре перед рынком продавали репу — и ее увидел я в первый раз в жизни, и показалось мне, что она соответствует рынку. Но мы купили ячневой крупы и картошки и сварили обед, причем Фрима ела совсем немного, утверждала, что не может есть того, что готовит сама. Купили мы с помощью дворника сажень дров и свалили в чулане или бывшей ванной возле угловой. Подобных дров не встречал я потом ни разу. Они были березовые, каждое полено — в пуд, и огнеупорны полностью. На мой ростовский взгляд, топить дровами было расточительством. Они нужны, чтобы разжечь каменный уголь.

4 октября

Днем шли мы на репетицию. Дом на Владимирской, 12, холодный и огромный, с нелепым фойе, как бы вылепленным из грязи, изображающим грот, и с целым рядом фойе, ничего не изображающих, с небольшим театральным залом и такой же сценой. Впрочем, и сцена и зал нам показались достаточно просторными. В этом же доме помещалась когда-то редакция или контора «Петербургской газеты». Над переходом посреди здания, тоннелем, ведущим с улицы во двор, сохранилась вывеска, а в одной из зал — переплетенные за много лет комплекты газеты. Тут мы и репетировали. Я в ожида-

нии выхода просматривал «Петербургскую газету» за 1881 год. Поразила меня статья Лескова. В конце марта или раньше был открыт подкоп через Садовую, и Лесков жаловался отчаянно, что теперь никто, никто не может быть спокоен за свою жизнь. Репетировал Любимов. Он переставлял роль Холодовой. Нет, о свалке, которая все нарастала в театре, нет сил писать и сегодня, через тридцать два года.

5 октября

Говоря коротко — театр готовился к открытию сезона, а внутри было неблагополучно. Бытовая сторона наладилась проще и легче, чем в Ростове: мы вели общее хозяйство, во главе которого стоял Николаев. Наняли кухарку — шепелявую, словно ушибленную Машу...

Мариэтта Шагинян относилась к нашему театру доброжелательно еще с ростовских времен. В журнале «Жизнь искусства» (а может быть, «Искусство и жизнь») появилась ее статья о нашем театре под названием «Прекрасная отвага». Мы с Тоней однажды пошли к ней в Дом искусств, где она жила. Он помещался в елисеевском особняке на углу Мойки и Невского. Увидев деревья вдоль набережной, высокие, с пышной и свежей зеленью, несмотря на осень, я испытал внезапную радость, похожую на предчувствие. Длинными переходами попали мы в большую комнату со следами былой роскоши, с колоннами и времяжкой. И тут я впервые увидел Ольгу Форш, которая была у Шагинян в гостях. Мариэтта Сергеевна принадлежала к тем глухим, которые говорят нарочито негромко. Выражение она имела разумное, тихое, тоже несколько нарочитое, но мне всегда приятное. Приняла она нас ласково.

6 октября

Зато Ольга Дмитриевна пленила меня и поразила с первой встречи. Она принадлежит к тем писателям, которые в очень малой степени выражают себя в книжках, но поражают силой и талантливостью при личном общении. Форш, смеясь от удовольствия, нападала на Льва Васильевича Пумпянского<sup>208</sup>, которого я тогда вообще не знал. Смеялась она тому, что сама чувствовала, как славно у нее это получается. Говорить приходилось громко, чтобы слышала Шагинян. Казалось, что говорит Форш с трибуны, и это усиливало еще значитель-

ность ее слов. И прелестно, особенно после идиотских театральных наших свар, было то, что нападала она на Пумпянского с высочайших символистско-философских точек зрения. Бой шел на небесных пространствах, но для обличений своих пользовалась Ольга Дмитриевна, когда ей нужно было, земными, вполне увесистыми образами. И мы смеялись и понимали многое, понятия не имея о предмете спора. Обвиняла Ольга Дмитриевна Пумпянского в том, что он, сам того не желая, служит дьяволу и тянет за собой молодежь. Откидывая голову, важно, как важная дама, и весело, как всякое существо, играющее от избытка силы, описывала она спину этого служителя сатаны, которая выдавала его полностью, и цитировала его, и изображала. Домой мы шли по Гороховой, проводив куда-то Шагинян и думая, по незнанию города, что улица эта так же близка к углу Невского и Владимирской, как и к углу Невского и Мойки. И уж мы шли, и шли, и шли. И я совсем затосковал. Конечно, эта литературная атмосфера казалась мне куда более человеческой, чем в «Стойле Пегаса». Но я не посмел и слова сказать у Шагинян.

7 октября

Я был влюблен во всех почти без разбора людей, ставших писателями. И это, вместо здорового профессионального отношения к ним и к литературной работе, погружало меня в робкое и почтительное оцепенение. И вместе с тем, в наивной, провинциальной требовательности своей, я их разглядывал и выносил им беспощадные приговоры. Я ждал большего. От них, от Москвы, в свое время. А писатели стали бывать у нас в гостях. Взял нас под покровительство Кузмин, жеманный, но вместе с тем готовый ужалить. Он все жался к времянке. Рассказывал, что в былые времена обожал тепло, так топил печь, что она даже лопнула у него однажды. С ним приходил Оцуп<sup>209</sup>, поэт столь положительного вида, что Чуковский прозвал его по начальным буквам фамилии Отдел целесообразного употребления пайка. Появился однажды Георгий Иванов<sup>210</sup>, чуть менее жеманный, но куда более способный к ядовитым укусам, чем Кузмин. В труппе к этим дням произошло некоторое расхождение: существовала комната миллиардеров — Тусузов, Николаев, Холодов. Они жарили картошку в масле под названием пом-де-терр — миллиардер, пекли пирожки.

Однажды к доброй и прелестной Зине Болдыревой собрались писатели, и она была в отчаянии, что нечем их угостить. И она попросила миллиардеров, чтобы уступили они ей пирожков. Они решительно отказали. Тогда Зина, едва вышли они зачем-то, схватила тарелку с пирожками и унесла. Гости ели пирожки, ничего не зная, а миллиардеры, к ужасу бедной Зины, шипели у двери...

8 октября

Чтобы поправить наши дела, мы халтурили. На Владимирской, 12, помещался до нашего приезда Дом Политпросвета, если я не путаю названия учреждения. Стоял во главе его седой и доброжелательный человек Гольдербайтер. Он пригласил нас читать на вечере Некрасова, и мы согласились, и я в первый раз выступил в Петрограде, читал стихи: «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман». И — вот чудо! — имел успех. Флит — один из писателей, с которыми познакомились мы еще до открытия сезона, устроил нас играть в живой газете Роста. А Юлька Решимов нашел работу в новом театре миниатюр, который собирались открыть на Петроградской стороне, и меня устроил туда же. И вот вышли мы на репетицию. По Садовой трамвай ходили. Мы доехали до Большого проспекта, добрались до кинотеатра «Молния». Он казался необитаемым, деревянная белая молния на стене почернела, а от лампочек, что некогда судорожно вспыхивали на ней, сохранились одни патроны. Мы вошли в боковую дверцу, с переулка. Репетицию вел Раппопорт, один из авторов «Иванова Павла»<sup>211</sup>, крошечное белолицее существо с черной бородкой.

9 октября

Ставили какую-то крошечную пьеску Андреева, в которой я играл. Остальные пьесы забыл. Репетировали в пальто, — так было холодно. Вышли на полумертвый Большой проспект. Темнело. Я вспомнил, как увидел проспект этот впервые, как бегала, вздрагивая, красная молния по стене кинотеатра, и тоска охватила меня. Унылый театр, унылая роль, пустая душа, даже музыка для меня как бы распалась на составные части, не затрагивала, как чужая. И даже мучения мои прошлых лет показались прекрасными рядом с сегодняшней пустотой. Мы втиснулись в переполненный трамвай и отправились домой, где было уныло, как в бреду.

И на другой день, сам понимая, что это безнадежно, отправился я в адресный стол и запросил адрес Соколова Юрия Васильевича. И я получил их целых шесть — и ни одного настоящего.

На репетиции в бывшую «Молнию» съездили мы всего раза три... Театрик погиб, не успев открыться, как это часто случалось в те дни. В живой газете Роста выступали мы часто, почти каждый день. Вдруг ударили морозы, да еще какие. За нами приезжал грузовик. Флит много лет вспоминал, как Холодова сидела, прижавшись, съезжившись в уголке, в летних своих туфельках. Ездили мы всё по заводским клубам, там в актерских уборных отогревались у буржеек. В одном клубе буржуйку топили банковским архивом, толстыми бухгалтерскими книжищами. Провели мы концертов тридцать, но и тут нам не заплатили.

14 октября

Так мы жили, а зима становилась все холоднее, а нэп — все последовательнее. Мы уж не получали дотации и не могли никак отопить все наше многозальное помещение. Политпросвет уже выбрался, мы занимали его одни. Вода в пожарной бочке на сцене превратилась в глыбу льда. Холодов в роли Иуды — принца искариотского отморозил себе палец на сцене — роль его была слишком уж велика, он не успевал бегать наверх, в актерские уборные, отогреваться у времянки. Впрочем, слово «времянка» появилось как будто только во вторую мировую войну. Тогда же, в двадцатых годах, все называли эти печурки буржуйками. Отопление в нашем театральном зале было старинное, так называемое амосовское. По новым экономическим законам, мы должны были перейти на самоокупаемость, а даже полных сборов не хватило бы на отопление. А мы собирали публику только первое время. Кассовая, так называемая, публика, уходила теперь после первого акта и говорила билетерам: «Летом досмотрим»... Но, так или иначе, к весне 22 года наш театр развалился, погиб, и никто из нас не огорчился этому.

24 октября

Я решил начать учиться заново и пошел да и поступил в Институт восточных языков — дело по тогдашним временам простое. Со мною сердито, даже несколько

ко брезгливо поговорил сидевший за письменным столом человек с седыми висками. Он спросил, на какие части разделяется Коран, и тут я впервые услышал, что на суры! Но в общем мои ответы удовлетворили его, и он велел мне идти в мандатную комиссию. Но я не пошел. Я почувствовал, что не овладеть мне и этой наукой. Но тут же устроился в студенческие артели грузить уголь. Грузили мы в порту, и я был поражен, почувствовав, как худо слушается тачка — как велосипед, когда едешь в первый раз. На деревянную высокую эстакаду уголь подавался краном, и мы в тачках по доске везли его к железнодорожным путям. И вот колесо тачки упорно съезжало с доски, и мы учились править тачкой. И научились. Четыре часа работали мы на эстакаде, четыре — в трюме, а потом шли домой, ночью, впрочем, совсем светлой, пешком. Уголь долго не отмывался. Глаза казались подведенными. Работали мы и в депо Варшавского вокзала, подавали колеса под ремонтируемые вагоны. Вернее, в мастерских дороги. И мы там обнаружили в траве поворотный круг и починили его — точнее, выпололи вокруг него траву и смазали его маслом, — и так перевыполнили норму, что бригадир пришел в некоторое смятение.

26 октября

Николай Алексеевич Заболоцкий лежал на широком своем двухспальном, покрытом ковром диване<sup>212</sup>. Глаза его, маленькие и светлые, глядели тускло, и один он все закрывал. Проверял зрение. У него подозревали туберкулез глаза. Процесс как будто бы удалось прекратить. Но Николай Алексеевич все прикрывал один глаз, проверял, не возобновился ли процесс. Он не то чтобы пополнел, а как-то перешел за собственные границы. Мягкий второй подбородок, вторые беловатые щеки за его привычными кирпичными — общее впечатление переполнения. На стене против дивана в овальной раме портрет нарумяненной дамы с напудренными волосами. Над книжным шкафом — морской пейзаж. Далее крестьянка в итальянском костюме, положив на траву младенца, молится у статуи мадонны. Над диваном большая гравюра с портрета Толстого — кажется, репинского. Под углом к нему рисунок: амазонка скачет на коне. Николай Алексеевич полюбил живопись, полюбил упрямо, методично, не позволяя шутить над

этим. Особенно гордится он дамой в овальной раме. «Это Рокотов!» В Москве известно всего шесть его картин, и одна из них у Николая Алексеевича. Николай Алексеевич лежал на диване.

27 октября

И из глубин своего прошлого, переполненного болезнями, тревогами, сонно поглядывал на меня своими голубыми глазками. И мы долго не виделись — из глубин прошедшего с тех пор времени поглядывал он на меня своими голубыми глазками. Словно стараясь узнать или понять, как я придуся к новым его болезням, тревогам и мыслям. Я попробовал подшутить над новыми его приобретениями. Он сначала посмеялся, а потом сказал сурово и осуждающе: «Я вижу, ты в живописи мастак!» И только сложными маневрами удалось мне помириться с ним и приблизиться к нему через ямы и канавы, вырытые временем, болезнями, тревогами и чудачествами. Я пришел в шесть, а хорошими знакомыми мы стали к девяти. Если бы не вечный мой страх одиночества, не Катерина Васильевна, не Наташа, которая росла, в сущности, и у нас, — я бы мог и уйти, не познакомившись снова с Николаем Алексеевичем. Угловатость гениальных людей стала меня отталкивать. Он может и чудачествовать, и проповедовать, и даже методично, упорно своевольничать: жизнь его и гениальность его снимают с него вину. Страдания его снимают с него вину.

1 ноября

Заболоцкого увидел я в первый раз в 27 году. Был он тогда румян (теперь щеки у него кирпичного цвета), важен, как теперь, и строг в полной мере. Свои детские стихи подписывал он псевдонимом «Яков Миллер». И когда начинал он говорить особенно методично и степенно, то друзья, посмеиваясь, называли его «Яша Миллер». Он говорил о Гете почтительно и, думаю, единственный из всех нас имел поступки. Поступал не так, как хотелось, а как он считал для поэта разумным. Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала или как бы полушутя, бранил. Писал ему:

Скажи, зачем ты, дьявол,  
Живешь, как готтентот.

Ужель не знаешь правил,  
Как жить наоборот.

А кончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил: прекратил с ним знакомство. Писал он методично. Взявшись за переделку для детей Рабле, он прекрасным своим почерком заполнял страницу за страницей ежедневно<sup>213</sup>. Думаю, что так же писал он и свои стихи. И он имел отчетливо сформулированные убеждения о стихах, о женщинах, о том, как следует жить. Были его идеи при всей методичности деревянны. Вроде деревянного самохода на деревянных рельсах. Деревянный вечный двигатель. Но крепки. Скажет: «Женщины не могут любить цветы».

2 ноября

И упрется. И подведет под это утверждение сложную, дубовую конструкцию. Заболоцкий — сын агронома или землемера из Уржума, вырос в огромной и бедной семье, уж в такой русской среде, что не придумаешь гуще. Поэтому во всей его методичности и в любви к Гете чувствовался тоже очень русский спор с домашним беспорядком и распущенностью. И чудачество. И сектантский деспотизм. Но все, кто подсмеивался над ним и дразнил: «Яша Миллер», — делали это за глаза. Он сумел создать вокруг себя дубовый частокол. Его не боялись, но ссориться с ним боялись. Не хотели. Не за важность, не за деревянные философские системы, не за методичность и строгость любили мы его и уважали. А за силу. За силу, которая нашла себе выражение в его стихах. И самый беспощадный из всех, Николай Макарович, признавал: «Ничего не скажешь, когда пишет стихи — силен. Это как мускулы. У одного есть, а у другого нет».

11 ноября

Театр новой драмы объединял молодых режиссеров: Грипича, Тверского, Константина Державина, Владимира Соловьева. Актеры подобрались все молодые, так же мало похожие на профессиональных, как мы в свое время. Были тут и люди, любящие театр, и просто так называемые интересные люди, не знающие, куда себя приспособить. Художниками были Володя Дмитриев, Моисей Левин и Якунина, тогда его жена. Ближе к те-



атру стояли Александра Яковлевна Бруштейн и Адриан Пиотровский — авторы. После долгих волнений Халайджиеву — она переменяла фамилию на Холодову — приняли в Театр новой драмы, да и меня заодно не то зачислили в труппу, не то я сам зачислился, часто бывая в театре, — трудно установить. Я стал близко к театру в числе любопытных людей и несколько раз играл, хотя считалось, что собираюсь я стать писателем, играю уж так, заодно, пока. Да и выяснилось вскоре, что быть в штате или не в штате труппы, в сущности, все равно. Театр был на подъеме, не умер и не рассыпался, как многие, возникавшие в те дни. Получил театр постоянное помещение в центре города, в первом этаже бывшего Тенишевского училища на Моховой. В большом лекционном зале играл ТЮЗ, а в первом, вход прямо с Моховой, — мы. И, несмотря на все эти признаки своего существования, театр не имел одного: никому жалования не платили. Точнее, платили от случая к случаю всем поровну. И это в те дни было естественно и являлось признаком молодого театра. И мы терпели. Вряд ли в театре было хоть подобие штатного расписания.

12 ноября

Помесь любительского кружка и левого, ищущего новых путей театра — вот что такое был Театр новой драмы. Количество режиссеров в нем показывало на полную веротерпимость в этой области. Соловьев ставил «Восстание ангелов» в инсценировке Бруштейн, Тверской — пьесу Стриндберга, Грипич — «Смерть Тарелкина» и Державин — «Приключение Гофмана» по рассказу Дюма, где призрак обезглавленной балерины приходит к Гофману на свидание. Черная бархотка на шее скрывает след гильотины... И все эти разные пьесы по-разному и решались. Стриндберг — со всем арсеналом молодых театров символического толка, а Дюма — Державин — приемами романтического театра. Интереснее всех был Грипич, по-настоящему талантливый человек. «Смерть Тарелкина», поставленная самостоятельно, до Мейерхольда, не в декорациях, а в конструкциях, произвела на меня сильное впечатление. Но вот Адриан Пиотровский написал пьесу «Падение Елены Лей». Человек это был любопытнейший, — так я и не понял, в чем суть его существа, пока вихрь не

унес его неведомо куда<sup>214</sup>. Хорошего роста, с большой головой, странными белыми глазами, носил он в те дни прозвище «райский мальчик», мало что определяющее в нем и скоро исчезнувшее. Был он сыном знаменитого эллиниста профессора Зелинского, и отец, по слухам, считал Адриана Ивановича одним из лучших эллинистов в Европе. Владел Пиотровский и латынью и отлично переводил античных классиков. С таким даром и знаниями, казалось бы, у него один путь — кафедра и академия.

13 ноября

Но нет, он увлекся театром, пришел к нему туманными какими-то путями. Отец, любивший его и отличавший от других подобных сыновей своих, был, как рассказывали, глубоко огорчен этой изменой науке и написал единственную, вероятно, в своей жизни дилетантскую статью, весьма неясно утверждающую, что современный театр погиб и несет гибель всем причастным ему. Но Адриан Иванович все писал о театре и для театра и служил где-то по театральной части. Большая голова его со светлыми редеющими волосами то узнавалась в ложе Большого драматического театра, то в балете, то у нас, в Новой драме, и всем он был столь же мало понятен, как мне, и все за ним не то подозревали что-то по линии политической и над чем-то подсмеивались по линии личной его жизни. Но считались с ним. Я любил разговаривать с этим несомненно непростым человеком, и в его белых глазах чудилось мне что-то похожее на слепые глаза статуй. И вот он принес пьесу «Падение Елены Лей», где ощущение историчности переживаемых нами событий переплеталось с античным эпосом. Елена Лей была, хоть дело и происходило в наши дни, вместе с тем и троянской Еленой. Ее уход предопределял гибель некоей капиталистической столицы. Женщина — носительница жизненной силы — уходила к рабочему, влюбившись в него. И Театр новой драмы поставил эту пьесу, и принята она была как событие. Ее понимали и те, которые в искусстве жили вчерашним днем, и те, которые отказались от него.

14 ноября

И в самом деле. Главный отрицательный герой понимал историчность, величественность всех происходя-

щих событий, писал на мраморном столике в кафе некие таинственные слова. «Это по-гречески?» — спрашивал его собеседник. «Нет, по-арамейски», — отвечал миллиардер, родной дядя Елены Лей. Рабочие поднимались из своих трущоб чуть ли не к колосникам по перекладинам веревочной клетки — так оформил эту сцену Левин. Великие события: восстание, свержение правительства капиталистов, победа молодого класса — все, о чем ежедневно читали мы в газетах, тут приобрело эпический, поэтический характер, переплелось с Гомером и чуть ли не с Библией. И это как бы уясняло многим сегодняшний день, и зал ежедневно был полон. Тут помогло успеху и оформление Левина, и постановка Грипича, и, наконец, актеры. Появился в труппе Володя Чернявский, худой, стройный, с лицом поэта, вскормленного — точнее, истомленного — временем между двумя революциями, между пятым и семнадцатым. Среди разношерстной любительской труппы оказался настоящий артист, вполне угадывающий все сложности пьесы, живущий ими.

15 ноября

Александрю Яковлевну Бруштейн нужно видеть, для того чтобы понять. Только тогда постигаешь силу ее любви к театру, к литературе, наслаждаешься темпераментом и веселостью этой любви. Честность, порядочность ее натуры угадываешь сразу. Она в театре была не столько автором, сколько другом, само присутствие которого как бы утверждало, объясняло существование нашего случайного коллектива. Она и тогда плохо слышала, а вместе с тем более чуткого собеседника трудно было найти. Всегда подтянутая, собранная, вглядываясь в собеседника своими карими быстрыми глазами через очки, появлялась она в театре — и сразу ее окружали. И насмешливый и веселый картавый говор ее сразу оживлял и освежал. И она болела всеми горестями театра. Чтобы помочь нашей нищете, придумала она «гримированный вечер». Гости платили за вход, и их за особую плату еще и гримировали. И нэпманы вели себя, как замаскированные, необыкновенно оживлялись. Таких вечеров было два. Я конферировал. На первом имел успех, а на втором провалился так позорно, что вызвали с какого-то концерта Бонди и уж он довел программу до конца. Я по

глупости и беспечности своей и не подозревал, что конференсье как-то готовят свои выступления, а выходил и нес, что бог на душу положит. Но в театре не рассердились на меня. Без всяких на то оснований они любили меня, верили. Когда два года спустя были напечатаны первые мои детские книжки, Александра Яковлевна сказала радостно: «Ну и хорошо. А то рассказываешь: Женя Шварц, Женя Шварц, а на вопрос, что он сделал, ответить-то и нечего».

17 ноября

Старые театры считались разрушенными, новые побеждали, но как уверенно занимал свое место считавшийся мертвым Александрийский театр и как призрачны были победители! Привычные формы существования уважались бессознательно даже людьми, считавшими себя врагами этих форм. Новое искусство кричало о своей победе, но и в самом шуме было нечто, внушающее подозрение. На одном из спектаклей «Елены Лей» появился Мейерхольд. Вот он во втором ряду, хищная птица, скорее всего орел, резко, по-царски отличный от всех и обликом и судьбой. И спектакль понравился ему. Глава школы утвердил работу. Но в те же дни открылся в том же помещении ТЮЗ. И Брянцев оказался куда более воплощенным в жизнь, чем все режиссеры Театра новой драмы. Грипич, рослый, румяный, черноволосый, отлично ставил и худо говорил. Когда он выступал, все вытирая левый глаз с набегающей слезой (он у него болел что-то), то трудно было поверить, что этот же человек отлично ставит. И Брянцев сумел доказать вкрадчиво и вместе с тем уверенно, что он — существует, а Театр новой драмы — явление призрачное. Привело это к тому, что Брянцев отобрал помещение Новой драмы для декоративных мастерских ТЮЗа. И театр в том виде, как я рассказываю, исчез. Переименовался, переехал в помещение Пролеткульта, получил там театральную залу, ставил пьесы Толлера, — но утратил свежесть и удачливость. Смерть и новое воплощение не пошли ему впрок. И он скоро захирел окончательно. «Елена Лей» многим принесла счастье.

18 ноября

Левин стал одним из самых известных театральных художников. Володю Чернявского упорно звал к себе

Мейерхольд, и тому пришлось напрячь всю свою робкую, хрупкую, обреченную поэтическую душу, чтобы отбиться от славы, которая шла к нему. Его бледное, измятое личико и стройная тощая фигура остались принадлежностью ленинградских театральных кругов, но как-то вне театров. Он считался хорошим чтецом, выступал по радио, но, как и театры его молодости, так и не воплотился полностью в жизнь, пока смерть не пришла за ним. «Елену Лей» напечатали в «Красной нови». Казалось, что Адриан Пиотровский нашел свой путь, выбрался на свет. Написал он еще одну пьесу: «Смерть командарма», которая без особенного успеха прошла в Большом драматическом. И либо этот полусуспех, либо его сумеречная душа привели к тому, что в ленинградском искусстве снова занял он заметное, но трудноопределимое место — не то театроведа, не то руководителя чего-то там. Воплотился он в несколько неожиданном месте — на кинофабрике. Он стал тут заведующим сценарным отделом, фактически художественным руководителем. И, глядя на его не то слепые, не то античные глаза, я удивлялся, что ему этот кабинет с большим директорским столом. Что ему Гекуба — я понимал, а что ему полудиректорская должность — никак не мог осмыслить. А он себя чувствовал тут как дома. Однажды позвонил телефон в противоположном углу его кабинета, и он, выйдя из-за стола, пошел по ковру через комнату. И все увидели, что он в носках. Он преспокойно разулся под столом, пока шло совещание. В 35 году встретился я с ним в Тбилиси<sup>215</sup>.

19 ноября

Он путешествовал с женой. И попал в автомобильную катастрофу. Я зашел к нему в больницу, и в разговоре он упомянул о том, что врач сказал ему: «Впервые встречаю человека со столь развитым комплексом неполноценности». Но я до сих пор не вполне ясно понимаю, почему этот человек променял научную или литературную деятельность на административную? Неужели тут виною «комплекс неполноценности»? Умер Моисей Левин, высокий, седой с молодости, умер Володя Чернявский, исчез Тверской<sup>216</sup>, исчез Пиотровский — нет никого почти, кто помнит Театр новой драмы. Нет, впрочем, — жив Грипич. Он все так же румян и черен, считается одним из лучших режиссеров, рабо-

тает, кажется, в Саратове. Его очень старались перевести в Ленинград, главным режиссером в Комедию, но дело почему-то разладилось. Впрочем, суть не в том, кто жив, кто умер. Исчезла среда, питавшая наивные, туманные, призрачные новые театры начала двадцатых годов. И с этой средой бесследно, не успев породить традиций и наследников, растаяли в жестком суровом воздухе тридцатых годов эти невоплотившиеся до конца организмы. Не знаю, стоит ли их жалеть. В их конструкторских вместо декораций, в их экспрессионистических пьесах, в их системе игры уже начинали прорезываться штампы, которые утвердились бы, вероятно, если бы молодые театры окрепли. Но если их не жалко, то жалко самого духа, беспокойного и производительного, который их порождал. Сейчас царит степенный и солидный дух, занимающий штатную и нормально оплачиваемую должность. И когда говорят об оживлении театра, то без всякой веры в необходимость этого дела.

5 декабря

Григорий Михайлович Козинцев изящен, тонок, и говорит он тонким, почти женским голосом. Живет он в большой, высокой квартире с двумя уборными, ванной, железной дверью, которая закрывается не одним ключом. Кабинет его — с книжными полками до потолка, с коврами на полу, со старинным сундуком, с деревянными скульптурами (очень трогательная мадонна в человеческий рост глядит спокойно и благочестиво на книжные полки и письменный столик хозяина), несмотря на множество вещей, кажется просторным. Сейчас Григорий Михайлович ставит в Александрийском театре «Гамлета»<sup>217</sup>, и целая полка занята английскими книгами о Шекспире. Он знает множество вещей и думает много, на множество ладов.

6 декабря

Деревянная черная чья-то фигура до пояса, с изящными пальцами, вмонтирована в стену над дверью. Их несколько — хозяин любит деревянные скульптуры. Против мадонны на книжной полочке, в застекленной рамке, — автограф Маркса. Много немецких и английских книг по Шекспиру. Козинцев отлично знает его... Работает он, как все кинорежиссеры, много. Студия,

условия производства приучили их к этому. Он — денди. А всякий денди прежде всего держится естественно. А естественность, даже напускная, требует все же правдивости.

7 декабря

И строгая опрятность денди приучает их к опрятности, брезгливости душевной. Я говорю о снобах и денди по страсти, по призванию. Грязные дороги для них немислимы. И в Козинцеве радуется брезгливая, брюзгливая, капризная, но несомненная чистота. Его дорога — вся на свету. А в кино это не так уж часто случается. Высокий, тонкий, с тонким, длинным лицом, темноглазый, бледный, в минуты сильного волнения он теряет сознание. Это, правда, случается с ним редко. Но на приеме в Кремле у главы государства, где они с Траубергом докладывали о новом их сценарии «Карл Маркс»<sup>218</sup>, держался Козинцев спокойно, а потом упал в обморок. Некоторая хрупкость угадывается и в его уязвимости. Обида проникает в самые недра его существа. Но тут он не теряет сознания. Я с удовольствием гляжу, любуюсь быстротой, с которой отвечает он на удар... В полемике он быстр и остроумен. Есть ли у него вера? Что он любит и ненавидит вне своего открытого круга понятий и чувств? Есть ли у него нечто, кроме любви к деревянной скульптуре и к комментариям к Шекспиру? Каковы его масштабы? Я не знаю... И еще более скрыты от людей его страсти и привязанности в жизни... В работе он невыносим. Он неровен, придирчив, требователен, капризен. К концу работы вся его группа издергана и все готовы нервничать, придираться, капризничать. Он мнителен. И не без причин.

8 декабря

Он из хорошей медицинской семьи. Женщины их рода отличаются стойкостью. Анна Григорьевна, мать Григория Михайловича, — белоснежная, легкая, худенькая, изящная, до самой последней болезни своей, пока не слегла, была подтянута, приодета. Она была из тех старых людей, присутствие которых не тяготит, а радует. А было ей за восемьдесят...

Вырос Григорий Михайлович, окруженный любовью семьи, но в годы трудные, в те дни, когда Киев все

переходил из рук в руки. Ему пришлось рано заботиться о заработке. Фрэн говорил мне, что тонкий, но вместе с тем не женский голос Григория Михайловича — следствие того, что он в ранние годы свои играл в театре Петрушки. Все кричал за него тоненьким голосом, кричал, да так и остался. В Ленинграде появился он в начале двадцатых годов. Вместе с Траубергом выпустил он афишу. ФЭКС — Фабрика эксцентрического театра. На ней было все: и типографские паровозики, которые в объявлениях верстались перед расписанием поездов, и вызов старым штампам, и все признаки нарождающегося нового шаблона. «Фабрика» — дань индустриальной эпохе. «Эксцентрического» — значит, отнюдь не реалистического театра, а какого-то там другого. Я прочел афишу эту вяло, в полной уверенности, что это непрочно, со смутным чувством, что где-то, когда-то читал нечто подобное. Но Фэксы — так стали звать Козинцева, Трауберга и их группу — оказались жизнеспособными. Вскоре завоевали они себе место — и заметное место! — на кинофабрике и в киноинституте или на киноотделении ИСИ — не помню, как называлось тогда место, где учили киноактеров, да так и не выучили ни одного. И не потому, что худо учили, а по переменчивости времени. Когда первый курс кончил институт, то выяснилось, что эксцентрические актеры никому не нужны, а требуются реалистические. И в кино стали звать актеров из Александринки, Художественного и так далее. Не брали эти актеры уроков бокса, не умели фехтовать, в акробатике являлись полными невеждами — а их снимали, — так изменилось время. Но самая верхушка ФЭКСа, благодаря великому свойству левого искусства тех дней, а именно — чувству современности, не покинула завоеванных позиций. Напротив, расширила и укрепила их. Ярлычок «ФЭКС» понемножку отклеивался, и очередной порыв ветра сорвал его и унес так далеко, что и не вспоминается это словечко. Менялся и Козинцев — ибо таков основной признак интеллигенции двадцатых-тридцатых годов. Но у него были границы, за которые он живым не перешел бы. Вот отчего после бесконечных переделок «Белинского»<sup>219</sup> он едва не съел свой коллектив и сосудистые болезни напали на него. Он волей-неволей переходил за границы, которые возможны для его организма, и поплатился за это.



1954

6 января

Ильф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих, объясняющих, нет, дающих Союзу право на внимание, существование и прочее. Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение. И Петров был хоть и попроще, но той же породы. Благороден и драгоценен был Пастернак. Сила кипела в Шкловском.

10 апреля

Вчера состоялась премьера «Двух кленов»<sup>220</sup>. Успех был, но не тот, который я люблю. Мне все время стыдно то за один, то за другой кусок спектакля. Возможно, что не я в этом виноват, но самому себе этого не докажешь. Видимо, с ТЮЗом московским, несмотря на дружеские излияния с обеих сторон, мне больше не работать. Тем не менее и успех и атмосфера успеха имелись налицо.

20 апреля

Был сегодня в городе на премьере «Гамлета» в постановке Козинцева. Временами понимал все, временами понимал, что не хватает сегодня сил для того, чтобы все понять. Поставлена пьеса ясно и резко, с музыкой, ударами грома, с подчеркнутой пышностью декораций на огромной сцене. Я давно не был в театре. Понимать Шекспира — это значит чувствовать себя в высоком обществе, среди богов. И я временами наслаждался тем, что до самой глубины без малейшей принужденности чувствую то, что происходит на сцене.

23 апреля

У нас гастролирует театр Французской комедии<sup>221</sup>. За билетами дежурят ночами, в Москве разговоров о театре я слышал множество. Азарт охватил всех. У меня боролись два чувства: интерес к театру и отвращение к давке. На Союз прислали тридцать пять билетов. Их разыграли в лотерею, и я проиграл и обиделся, но промолчал. Однако вчера вечером мне позвонили, что для меня есть билет на сегодняшний утренний спектакль<sup>222</sup>. Узкие, неудобные коридоры, пышный зал, новые кресла с высокими желтыми спинками. В зале все знакомы, как на премьере «Гамлета». Спектакль непривычный.

По-настоящему нравится мне, то есть поражает, как чудо, артист, играющий учителя танцев, Жак Шарон. Он до такой степени совпадал с музыкой, так танцевал, а вместе с тем показывал, как надо танцевать, а на лице хранил томное, печальное выражение — мелодия шла в миноре, — что я ожил, как в присутствии высшей силы. Остальное было хорошо, но понятно. Сенье играл умно. Дамы показались очень уж много пережившими. У Бретти лицо беззастенчиво. И такой же рот. И так далее и прочее. Тут думаешь, и рассуждаешь, и понимаешь. А я люблю удивляться. Но с самых давних лет французские писатели то этак, то так рассказывали мне об этом театре. И русские то хвалили его, то бранили. Когда я шел, имелось у меня «предзнание», которое укрепилось и приобрело прелесть трехмерного существования. К концу я устал от балета обыкновенного, не удивительного. И все же я видел театр единой формы. И очень сдержанную манеру игры.

24 апреля

Когда я посмотрел несколько лет назад фильм «Дети райка»<sup>223</sup>, то был введен в околотеатральную и театральную среду французского театра сороковых годов. Фильм «На рассвете»<sup>224</sup> и еще две-три французские картины удивили, как будто заговорил, да еще по-русски, некий условный персонаж. При доставшемся мне складе сознания я понимал явление только с помощью искусства. К живописи я был глуховат. Дебюсси раздражал в высшей степени капризной и необязательной программностью. А литературу французскую я признавал умозрительно, но не любил и не понимал. В детстве любил «Отверженных», даже обожал. И все. И вдруг явление под названием «французы» оказалось в кино понятным да еще и близким. Это я расценил как событие, не столь близко задевающее, как те, что бьют тебя в антракте, но достаточно многозначительное. Вчерашний спектакль ничего не прибавил к моему новому знанию, но и ничего не отнял. Разве прибавилось вот что: минор в менуэте Люлли выражает изящное, балетное, а может быть, и просто танцевально-балетное томление. Возвращаюсь к кино. На «Гамлете», к концу, я устал. Устал и на вчерашнем легчайшем, газированном представлении. А в октябре, на Пленуме, после целого дня заседаний, после очень плохого фильма показали великолеп-

ный итальянский — «Два сольди надежды»<sup>225</sup>. И этот конец утомительнейшего дня с мучительнейшими антрактами воскресил, и утешил, и перевесил все пережитое до сих пор. Фильм шел еще на итальянском языке, не был дублирован. Но было уже ясно: явление «итальянцы» близко, постигнуто до дна. Итальянцы — это не Габриель Д'Аннунцио. Они говорят по-русски.

30 апреля

Любовь моя к Наташе росла вместе с ней. Мне интересен Андрюша, очень нравится Машенька<sup>226</sup>, но разве я люблюсь и удивляюсь на них, как на маленькую Наташу! Любовь к дочери пронизывала всю мою жизнь, вплеталась в сны. Когда я приехал в Песочную во второй раз, я, чтобы не испугать дочь и не пережить самому того, что в прошлый приезд, заговорил с бабушкой, не глядя на Наташу. И вдруг услышал звон бубенчиков. Я оглянулся. Это Наташа старалась обратить на себя внимание. Она трясла лакированные, новые вожжи с бубенцами, висевшие на углу кровати. Я их еще не видел. Когда я обернулся, Наташа показала мне на свою новую игрушку и улыбнулась застенчиво. Когда немного погодя пошел я к дверям, чтобы прихлопнуть их поплотнее, Наташа горестно вскрикнула и чуть не заплакала. Она думала, что я ухожу. Так я снова занял место в ее жизни. Уже прочно. Мы уходили с ней гулять на речку, разглядывали с узенького пешеходного мостика бегущую воду. Говорил все я, а Наташа только требовала объяснений, указывая пальцем. Сама высказывалась редко. Только однажды, когда мы вышли на улицу после дождя, она показала на лужу, покачала головой и сказала укоризненно: «Ай, ай, ай!» Часто ходили мы к дощатому забору, за которым жил теленок, рассматривавший нас так же внимательно, как мы его. Наташа долго считала его собакой, пока не столкнулись мы на том, что это — му. Му-ля-ля. Я избегал особого детского языка, не любил его, но Наташа уже пользовалась им, и мне приходилось с этим считаться. В те дни необыкновенно боялась Наташа чужих. Однажды провожали они меня на станцию — Дуня и Наташа у нее на руках. Я болтал с ней, потом отвернулся на мгновенье. Взглянув на дочку снова, я не узнал ее: она сгорбилась, замерла неподвижно, уставилась в одну точку — что такое? К Дуне подошла девушка, и На-

таша приняла все меры, чтобы чужая не заметила ее. Попрошавшись с Наташей, оставался я ждать в крошечной высокой сосновой рожице. И перебирал слово за словом.

4 мая

За прошлый год пережили мы много. Наташа болела скарлатиной, а я не отходил от нее. И после болезни радовалась она всякий раз, когда я появлялся. Во время болезни она вдруг заговорила. И стала называть меня — «папа», а потом — «батька». Старуха няня, стоя с Наташей у окна, сказала: «Вон твой батька идет», и Наташе это новое прозвище почему-то очень пришлось по душе. Итак, мы очень сблизились с дочкой за зиму, но, поднимаясь на крутой песчаный холмик, я думал на прошлогодний лад, что Наташа меня не узнает. Дача глядела из палисадника своего приветливо в три окошечка.

5 мая

Пришел я как раз к тому времени, когда укладывали Наташу спать. Она стояла в одной рубашонке на кровати, слушала, как рассказываю я свои приключения. А когда я взглянул в ее сторону, то протянула мне обе руки и попросила: «Покачай меня». И мать сказала наполовину сурово, наполовину уступчиво: «Ладно уж, пусть батька тебя уложит». За окном стоял ясный летний день. Я взял Наташу на руки так, что голова ее легла ко мне на плечо, и зашагал по комнате не спеша, и запел ее любимую колыбельную песню подчеркнута спокойным голосом на мотив песни «Шел козел дорогою, дорогою, дорогою». В то лето песня была еще проста, слова подбирались, какие в голову придут. Но с годами и она выросла, и усложнилась, и приобрела твердый сюжет, изменять, точнее, сокращать который не полагалось. В тридцать первом году в этот ясный летний день, любуясь и удивляясь легенькой, темноволосой двухлетней дочке моей, пел я, вразрез со всем окружающим меня летом: «Уходи скорей, мороз, уходи в свои леса». Наташа очень любила, чтобы я укачивал ее, и поэтому всячески боролась со сном. Но он брал свое, дочка затихала, тяжелела. И в этот день, когда я наконец положил ее в кроватку, черные ресницы ее и не дрогнули. Она не забывала, кто уложил ее спать. Через

положенный срок услышал я, сидя на террасе, сонный ее голос: «Батяка...» — и я взял ее на руки.

...Вместе с любовью к дочке росло у меня вечное беспокойство за нее. Но вот еще издали слышу я ее и наконец вижу в садике белое ее платье. Я окликаю Наташу. И она замирает.

6 мая

Она замирает, выпрямившись, как будто мой зов испугал ее, а затем бросается мне навстречу, повисает у меня на шее. Иногда не приходится окликать ее, она замечает меня, когда поднимаюсь я к даче. Тогда, как пушок, на легких своих ножках несетя она мне навстречу. На полпути останавливается, словно не веря своим глазам, и, убедившись, что это я, еще прибавляет ходу. Владелица дачи, которую все звали «тетя Катя», одинокая, быстрая, деловая, взбалмошная, заметила, как встречает меня Наташа, как любит меня, и любовалась этим. Но высказывала чувства свои на особый лад. Внимательно глядя на Наташу, кричала она ей мужским своим баском: «Я твоего папу посажу в колодец!» — «А!» — вскрикивала Наташа отчаянно. «Что ты, что ты, она шутит!» — успокаивал я. Наташа взглядывала на сияющую от удовольствия тетю Катю. «Катя, ты шутишь?» — «Нет!» — «Говорит, не шутит!» — восклицала Наташа горестно и обнимала мои колени, чтобы спасти меня. И тетя Катя хохотала баском, довольная. Однажды привез я Наташе туфельки, которые очень ей понравились. Сидя в новых туфельках на качелях, Наташа разглядывала их, и тут тетя Катя побежала через двор. «Смотри, какие мне папа туфельки привез!» — сказала Наташа ей. «Ах, какой хороший твой папа!» — ответила тетя Катя ласково. — «Как он тебя любит!» И Наташу потряс непривычно мирный ответ ее мучительницы. И она сказала мне с удивлением: «Что говорит!» Но мы редко оставались с Наташей дома, когда я приезжал. Обыкновенно шли мы песчаными улочками, нет, одной улочкой, даже переулочком с разбросанными домиками — то они на холмике, то поперек дороги. Через полминуты-минуту озеро разворачивалось перед нами, с далеким синим леском на той стороне, с песчаной косой вправо, с берегами то чистыми, то в камышах. По дороге проходили мы мелкий заливчик, то соединенный с озером, то отрезанный пес-

чаным перешейком. И в нем всегда плавало семейство уток, и мы восхищались утятами. В самом начале дачной жизни Наташа говорила меньше, чем могла. И все удивляла меня.

7 мая

После коротких вопросов или ответов она, по неожиданному поводу, произносила несколько связанных фраз, которые казались мне целой речью, умиляли и веселили. Вот, в один из первых приездов идем мы вдоль озера. На полянке возле дачи играет в одиночестве маленькая девочка. Наташа останавливает меня — я веду ее за руку — и с вежливым полупоклоном спрашивает: «Сколько лет?» — «Три», — отвечает девочка. «Как зовут?» — «Наташа!» — «Тоже!» — сообщает мне дочь удивленно. Некоторое время обе Наташи смотрят друг на друга молча. «Вытри ей нос!» — говорит мне сурово чужая Наташа. Я повинуюсь. Молчание продолжается. «Пойдем, дочка!» — говорю я и беру ее на руки. И тут и происходит то, что я так люблю. Наташа, вежливо и старательно кланяясь, обращается к девочке с целой речью: «Пожалуйста! — говорит она. — Пожалуйста! Играйте тут на травке! Ждите нам. Пожалуйста!» В эту же прогулку, глядя на озеро, она спросила: «Зачем вода бежит к нам?» — «А ты скажи, чтобы она ушла!» — «Уйди, вода!» — приказала Наташа. И тут как раз подул ветерок, озеро подернулось рябью, словно пошло от берега. И Наташа встревожилась, огорчилась. Она подбежала к самому озеру и, присев на корточки, заговорила нежно: «Водица, что вы, дурочка, куда вы, я не ругаю, стойте!» В это лето наслаждался я прелестным зрелищем — постепенным расцветом человеческого сознания. Очень рано, познавая мир, стала искать Наташа общие законы. Вот срывает она цветок на лугу. «Это как называется?» — «Кашка», — отвечаю я. Наташа задумывается. Потом, сорвав какой-то желтый цветок, спрашивает: «А это макароны?» Я хохочу, и Наташа радостно хохочет за мной, угадывая, что я доволен ее вопросом. «Девочки мама как называется?» — спрашивает она. «Мама». — «А мальчика мама?»

11 мая

Наташе исполнилось три года, но и мой взгляд на этот возраст изменился. Мне она никак не казалась

очень повзрослевшей. Разве только поумневшей. За зиму я привык к тому, что Наташа говорит длинными и связными фразами. Вот она играет, укладывает спать куклу и вдруг вскакивает и бежит к игрушечному своему телефону. И происходит следующий разговор: «Алло. Здравствуй, Милочка! Да что ты говоришь! Какой ужас! До свидания, Милочка!» И, подбежав ко мне, Наташа рассказывает: «У Милочки и папа уехал, и мама уехала. Няня сама зарабатывает, сама на рынок ходит». Воображение у нее все время играло. Но вместе с воображением развилась и боязливость. Однажды вечером знакомая строгая старуха, которой Наташа сказала: «У вас муха на лбу», — рассказала к случаю басню «Пустынник и медведь». Рассказ она вела привычно строгим голосом, сурово глядя на Наташу. И к концу повествования заметил я, что дело плохо. Наташа, замерев и широко открыв огромные свои глазищи, не мигая, глядела на старуху. Усваивала только сюжет: друг нечаянно убивает своего друга, разбив ему голову камнем. Я попробовал вмешаться и, мигнув старухе, смягчил историю, сказав, что медведь поцарапал пустытника. «Нет, убил!» — поправила меня старуха негодуя, потрясенная моей безграмотностью. К моей радости, Наташа выслушала старуху спокойно, и я пошел укладывать дочку спать. Она разделась, улеглась — и тут гроза разразилась. Неудержимо, отчаянно рыдая, воскликнула она: «Какая глупая сказка, ой, ой, боюсь!» Я умолял Наташу успокоиться, доказывал, что старуха все перепутала, что медведь вызвал доктора и пустытника спасли.

12 мая

«Вот это умная сказка!» — соглашалась со мной Наташа, но тут же, плача еще отчаянней, кричала: «А та какая глупая! Ой, ой, у меня медведь прячется под кроватью». К счастью, тут вернулась домой мама и так строго и отрезвляюще прикрикнула на дочку, что Наташа сразу отрезвела. С мамой за эту зиму образовались у Наташи любопытные отношения. Иной раз Наташа уговаривала ее, как старшая. Однажды попыталась она даже объяснить маме, что я не такой уж плохой человек. Сидя рядом с мамой, лежащей на тахте, довольная тем, что и я тут и что Ганя<sup>227</sup> относительно мирно настроена, она показала ей на меня: «Смот-

ри-ка, смотри!» — «Ну?» — «Это батька». — «Ну и что?» — «Он хороший!» — «Не хороший, а обыкновенный». Наташа пожала плечами и, повторяя интонацию, чуть армянскую, своей бабушки, сказала рассудительно и укоризненно: «Что говорит!» Вот мы собрались с Наташей гулять. Натянули рейтузы, надели, застегнули шубку, завязали шарф, и вдруг дочь вспомнила: «По маленьким делам». Ганя вспыхнула: «Это издевательство! Одевали, одевали — и опять раздевать! Потерпишь!» Наташа бросается к маме и начинает убеждать ее, как маленькую: «Что ты, мамочка, как можно, ведь это вредно, мамочка!» Но когда Наташа пробовала капризничать, достаточно было маме прикрикнуть, и Наташа трезвела. Впрочем, капризничала она редко. Как это случается в шумных семьях, она рано привыкла держать себя спокойно и сдержанно. Чаще овладевал ею страх вроде того, о котором я рассказывал. Но к этому времени появился у нее еще один страх, который был у нее и в прошлом году, но в умеренной степени. Ей сделали уколы противодифтерийной сыворотки. Нет, прививку сделали. На беду заключалась она в трех уколах. И как трудно было затащить Наташу к врачу! После второго укола, когда убеждали мы Наташу, что доктор только посмотрит, а укол был все же сделан в третий раз, как обиженно рыдала она, повторяя: «Зачем вы меня обманули?» Но это все я рассказываю о зиме. Летом я приезжал к Наташе в Разлив обычно на несколько часов. Я укладывал ее спать, причем колыбельная песня сильно развилась. Начиналась она так: «Жила-была Травушка, Травушка-муравушка, захотела башмачки, прибежала в магазин...»

13 мая

Дальше пелась, в тридцать втором году, еще относительно короткая песенка, все время дополняемая Наташей. Заключалась она в том, что девочка по имени Травушка-муравушка приходила в магазин, а продавец отвечал ей, что для травушек нет у него башмачков. Девочка возражала, что это у нее имя такое, а на самом деле она обыкновенная девочка. И продавец просил прощения, и все дело кончалось на этом. История эта была, в сущности, только вступлением к старой песенке: «Уходи скорей, мороз...» — и так далее.



24 мая

В октябре 33 года состоялась в ТЮЗе премьера «Клада». Генеральная не удалась. Никто не ждал успеха. Но, придя на просмотр с публикой, мы увидели нечто поразившее, даже испугавшее нас. Вестибюль оказался переполнен. Весь Ленинград собрался на просмотр. Я вошел как раз в тот момент, когда Н. Тихонов спорил запальчиво с неопытным тюзовским администратором, доказывая, что он имеет все права быть на просмотре. Успех был неожиданный и полный. В «Литературном Ленинграде» появился подвал: «ТЮЗ нашел клад». Стрелка вдруг словно бы дрогнула, пошла на «ясно»...

25 мая

Наташе я стал теперь много читать. И прежде всего и больше всего «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», а потом и «Сказку о царе Салтане». Первая сказка трогала ее больше. «Но мне милей королевич Елисей» — эти слова трогали ее до слез.

Сложность душевной жизни детей непостижима даже для ближайших наблюдателей. Уж очень близки ощущения сложнейшие и простейшие. Как рассказала мне Наташа много лет спустя, мысли о том, «как люди засыхают», начались у нее не только от разъяснений няньки. Шла она однажды по Литейному и подумала о встречном: «Вот дядька идет». И вдруг ее осенило — а дядька ведь, взглянув на нее, подумал: «Вон девочка идет». Значит, она, Наташа, такая же, как все. Значит, и она может засохнуть! И эта мысль вдруг овладела ею, особенно когда начинала играть печальная музыка или вечерами. Наташа, которая, казалось, двух мыслей связать не может, когда их ей навязываешь, где-то в глубине развивающегося сознания своего переживала достаточно сложные, вызванные умозаключениями открытия. Именно переживала. Я, полный дурачок в целом ряде понятий, открыл же в шесть-семь лет весь ужас понятия «никогда»... Наташа жила все на той же даче. Мысли о «скучном» привели к тому, что она не выносила грустных или скучных, по ее определению, слов. Однажды спел я ей, глядя на яхту, бегущую по озеру: «Белеет парус одинокий». Все ей понравилось, кроме слова «одинокий». Его она запрещала петь как слишком грустное. Требовала, чтобы заменял я его словами «мачи мочи», нейтральными.

26 мая

Так много лет мы и пели: «Белеет парус мачи мочи». Теперь поет Наташа эту песню Андрюшке, но полностью. Его печальные слова и грустные слова, то есть концы, хотел я сказать, не задевают... Разница между Наташей одного года и двух была огромна, но пяти или шести — незначительна. За два последних лета в Разливе окончательную форму приняла песенка о Травушке-муравушке. По Наташиной просьбе добавил я следующие события в историю с башмачками. Жучок ей выпилил обувь уж больно тяжелую. Позвали мышку обточить и облегчить башмачки. Когда уже заканчивала она это дело, появился охотник. Он подумал, что мышка кусает девочку, и хотел ее застрелить. Но Травушка объяснила охотнику, как обстоит дело, и он попросил у мышки прощения и угостил ее салом. И только после всех этих приключений прибежала Травушка домой, и папа укладывал ее спать и пел ей песенку: «Уходи скорей, мороз, уходи в свои леса». За это время без малейшего участия с моей стороны — за 34 и 35 год разработала Наташа со многими подробностями окончание «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». И в самом деле, пока несчастья — рассказ идет не спеша, а как все наладилось — так: «Я там был, мед, пиво пил» и все. И конец. А больше всего огорчали Наташу семь богатырей.

27 мая

Царевна спаслась, а семь богатырей и не знают об этом! И Наташа рассказывала: «Царевна говорит: „Еликсей (так называла Наташа Елисея), Еликсей, поедем к семи богатырям“. А он говорит: „Хорошо, поедем“. Приезжают они, а богатыри ужинают. Царевна говорит: „Поди спроси: где моя невеста?“ А сама стала под окошко. Еликсей входит и спрашивает: „Где моя невеста?“ Володя — Наташа дала имена всем богатырям: младшего звала Володя, а старшего — Петя — Володя шепчет: „Не говорите, не говорите!“, а Петя отвечает: „Нет, надо сказать“. И все они заплакали. А царевна входит в комнату и говорит: „Вот она я!“ В те же годы появился у Наташи сборник андерсеновских сказок. Читал я их, стараясь пропускать места религиозного характера, чтобы не вступать в объяснения. Но однажды просто с разгона прочел и запнулся. И Наташа

сказала мне утешающе: „Папа, папа, я знаю. Андерсен еще при боге жил“.

29 мая

Наташе исполнилось уже семь. Впервые в кротчайшем ее характере появилось нечто новое. Она обиделась, когда хозяйские девочки собрали больше черники, чем она, и опрокинула мрачно свое ведерко и пошла домой. Однажды, приехав, застал я Наташу в полном горе: она побила хозяйских девочек, и они отказались с ней играть. И я, после соответствующих объяснений, пошел к хозяйке и склонил девочек к миру. Вскоре узнал я, что плясала она перед ними и пела: «А мой папата писатель, а ваш папа не писатель». И тут поговорил я с ней так строго и серьезно, что больше никогда в жизни она это не вспоминала. Не хвастала. И вообще вдруг смягчилась опять ее душа.

9 июня

Что бы я ни переживал в те годы, Наташа занимала свое место, и удивляла, и утешала, и беспокоила, и все это до самой глубины. Исполнилось Наташе в этом году восемь лет — по тогдашним правилам осенью можно было вести ее в первый класс... В свои восемь лет была Наташа девочкой стройной, ладной, все по-прежнему огромноглазой, по-прежнему все думающей, воображающей, соображающей. Особенно важные разговоры завязывались у нас вечерами, когда укладывалась Наташа спать и просила: «Ну еще немного, ну полминуточки, ну пять минуточек посиди со мной». И я соглашался и все удивлялся: когда же это Наташа успела вырасти?

10 июня

Она размышляла вечерами, а я любовался удивительным зрелищем растущего человеческого сознания. Вот она сообщает, удивляясь: «Папа, все, что я делаю, — это только один раз». — «Как так?» — «А больше этого никогда не будет. Вот провела я рукой. А если опять проведу — это будет второй раз. И мы с тобой никогда больше не будем сидеть. Потому что это будет завтра, а сегодня больше никогда не будет?» И она смотрит на меня, широко раскрыв огромные свои глазищи, испуганная и очарованная, как страшной сказкой, своим открытием.

11 июня

Очень нравились мне отношения, установившиеся у Наташи с дедушкой. Дом у нас был неласковый до суровости. А Наташа обнимала деда за шею, похлопывала ласково, даже покровительственно по щеке — никто из нас не решился бы в детстве на сотую долю подобной вольности. И папа очень был доволен. Он все мечтал о дочке и вот дождался внучки. И она так радовалась каждому его приходу, так доверчиво посвящала его во все свои дела и заботы, так ласкалась к нему, что папа привязался к ней глаубо и при первой тревоге появлялся лечить и утешать.

12 июня

Кончалось это последнее дошкольное лето Наташиной жизни. Много волнений пережито было с выбором школы, с записью Наташи в первый класс... И вот 1 сентября я пошел провожать Наташу в 14 школу Дзержинского района, на Моховой улице. Наташа была бледна, рассеянна, готова одинаково и к испугу и к восторгу. Мы прошли до угла, до знакомого кондитерского магазина и свернули на Пестеля. В знакомом гастрономе погляделись в витринные стекла, чтобы Наташа полюбовалась своим новым, праздничным школьным платьем. Но погляделась Наташа в это прозрачное зеркало рассеяннo, поглощенная будущим, к которому мы и двинулись. У ларька на углу свернули мы на Моховую. Вошли в сводчатый, с лепными розетками по сводам, тоннель ворот. Шум оглушил нас — старшекласники гоняли мяч во втором дворе. Там же, во втором дворе, у трехстворчатых стеклянных дверей в школу толпились родители с новичками. Дежурная учительница сказала приветливо, но решительно: «Попрощайся с папой, девочка, он зайдет за тобой после занятий». Этого мы не ждали. Наташа надеялась, что я провожу ее до дверей класса. Она заплакала, обняла меня судорожно, но сразу же овладела собой, сделала храброе, даже отчаянное лицо и, словно в бой, решительно вступила в школьные двери. И я почувствовал до самой глубины всю значительность этого события. Зашел я за Наташей рано, боясь, что испугается она, не найдя меня в вестибюле.

13 июня

Я пришел первым. Немного погодя появилась няня с кошелкой. В ней желтел батон, белели мешочки. Ня-

ня по дороге зашла в магазины. До конца занятий оставалось еще минут двадцать. Пахло известкой и краской после недавнего летнего ремонта, знакомый запах первого дня занятий. Стояла особая, тоже никак не забываемая, неполная тишина школьных коридоров, то и дело нарушаемая. То пробежит кто-то, скользя по полу коридоров, как по льду. Они только что натерты. И вдали стукнет дверь. Это кто-нибудь отпросился из класса, не столько по необходимости, сколько устав сидеть неподвижно. Вот целый взрыв криков, как бы затушеванный и быстро обрывающийся. Старшеклассники развеселились не в меру, и учитель усмирил их быстро. Вот, словно сонное бормотанье, — кто-то читает вслух.

14 июня

И мы услышали мерный и легкий топот и шелест и увидели идущих вниз первоклассников и первоклассниц. Для них-то наслаждением являлось послушание, новостью — подчинение школьным законам. Они сияли праздничным светом первого, ничем не омраченного дня занятий. Так шли они по школьной лестнице, парами, но вдруг увидели нас, вставших им навстречу родителей. И нарушился разом весь новый порядок — дети, все забыв, бросились к нам — правда, для того, чтобы скорей-скорей рассказать об удивительных событиях, пережитых с утра. И среди них — Наташа, совсем не похожая на ту, что заплакала, судорожно обняв меня у школьной двери. Она была такой же праздничной, сияла, как все первоклассники... И мы пошли домой, переполненные впечатлениями школы, так близко вошедшей в нашу жизнь. В знакомой кондитерской на углу Литейного купили мы торт, чтобы день стал совсем уж праздничным. Так и кончилась дошкольная полоса Наташиной жизни и началась десятилетняя школьная, о которой рассказывать не берусь.

15 июня

Кончил вчера тетрадь, в которой рассказал о Наташе дошкольных ее лет. Чтобы не путаться в обилии воспоминаний и чтобы радоваться и удивляться, рассказывал я в основном о летних, дачных днях моей жизни. Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет. Моя нездоровая скромность, доходящая до мании

ничтожества, и думать об этом не велит. И все же стараюсь я быть понятым, истовым, как верующий, когда молится. Он не смеет верить, что всякая его молитва дойдет, но на молитве он по меньшей мере благопристойен и старается быть правдивым... Сегодня в Союзе общее собрание писателей. Иду, словно к зубному врачу. Что-то будет?

16 июня

Все так и было, как я предполагал, даже хуже и безнадешней. Рассказывать об этом не хватит умения. История с Зоценко выплыла снова. Постаревший, исхудавший, с обострившимся носом, бледный до ужаса, словно потерявший и человеческие измерения — один профиль, — и цвет лица живого человека, он говорил, и мучению этому не было конца. Не предвиделось конца. И больше не буду рассказывать.

17 июня

Был вчера у Акимова, которого за последнее время рассматриваю все внимательнее и холоднее. Обиды, нанесенные ему, растаяли, исчезли, что помогает смотреть. Пуля, а не человек. В ней есть и сила, но и связанная с нею ограниченность. С ним так же трудно спорить, как с пулей. И трудно представить себе, что этого сплава свойств на небольшом патроне достаточно для дел, которые могут иметь большие последствия. Но это именно так. Для того чтобы быть деятельным, надо сплавиться, сбиться, сковаться именно в такое пулеподобное резко ограниченное создание. При всей запутанности моей, жизнь я люблю страстно, и жизнедеятельные люди вызывают у меня особое чувство, более всего похожее на ревность. Он обладает тем, чем я любовался, — и только. Правда, при моем честолюбии добытая слава казалась бы мне поддельной, успех плохой пьесы в моей постановке никак не радовал бы, но он отбивал, отгрызал у врагов, у судьбы и заслуженный успех, и все-таки, что ни говори, утолял он жажду многих. С угла спрашивают, с угла Невского и Литейного, за квартал до его теперешнего театра: «Нет ли у вас лишнего билетика?» И я ревную той особой ревностью, когда любят победителем. Я не был бы, вероятно, ни при каких обстоятельствах, способен управлять, отбивать, отгрызать. Но все-таки...

24 июня

Сегодня четыре года, как ведутся мои счетоводные книги, а едва оторвусь я от описания характеров людей, так или иначе со мной связанных, так и теряюсь. При чем люди эти не должны быть близкими. Близких описывать не хватает трезвости. Но так или иначе, я втянулся в эту работу, и, стараясь сохранять бесхитрость, переходящую в серость, и запрещая себе зачеркивать, чтобы видна была фактура, черновик с его произвольной правдивостью, пишу я каждый день. И даже уезжая. А для меня это чудо; чем дольше оно продолжается, тем больше я удивляюсь и утешаюсь.

5 августа

Сложность этого лета увеличилась оттого, что приехал Шкловский, мой вечный мучитель. Он со своей уродливой, курносой, вечно готовой к улыбке до ушей маске страшен мне. Он подозревает, что я не писатель. А это для меня страшнее смерти. Когда я не вижу его, то и не вспоминаю, по возможности, а когда вижу, то теряюсь, недопустимо разговорчив, стараюсь отличиться, проявляю слабость, что мне теперь невыносимо. Беда моя в том, что я не преуменьшаю, а скорее преувеличиваю достоинства порицающих меня людей. А Шкловский, при всей суетности и суетливости своей, более всех, кого я знаю из критиков, чувствует литературу. Именно литературу. Когда он слышит музыку, то меняется в лице, уходит из комнаты. Он, вероятно, так же безразличен и к живописи. Из комнаты не выходит, потому что картины не бросаются в глаза, как музыка врывается в уши. Но литературу он действительно любит, больше любит, чем все, кого я знал его профессии. Старается понять, ищет законы — по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его ни прочел. Не любит книги о книгах, как его собратья. Нет. Органично связан с литературой. Поэтому он сильнее писатель, чем ученый.

6 августа

Недавно перечитал я «Третью фабрику»<sup>228</sup>. Это, несомненно, книга, и очень русская. Здесь вовсе не в форме дело, что бы ни предполагал Шкловский. Бог располагает в этой книжке. И форма до того послушна тут автору, что ее не замечаешь. И, как в лучших русских

книжках, не знаешь, как ее назвать. Что это — роман? Нет почему-то. Воспоминания? Как будто и не воспоминания. В жизни, со своей лысой, курносой башкой, Шкловский занимает место очень определенное и независимое. У Тыняновых он возмущал Леночку тем, что брал еду со стола и ел еще до того, как все усаживались за стол. И он же посреди общего разговора вдруг уходил в отведенную ему комнату. Посылают за ним, а он уснул. Но он же возьмет, бывало, щетку, и выметет кабинет Юрия Николаевича и коридор, и переставит мебель на свой лад. Сказать человеку в лицо резкость любил. Глядя на режиссера Герасимова, сказал: «Я не могу к вам хорошо относиться, вы напоминаете мне человека, которого я ненавижу». — «Знаю. Савинкова?» — спросил Герасимов. «Да. Это неспроста». Герасимов пропустил таинственный, но явно обидный смысл, скрытый в слове «неспроста», и полусхвачен стал рассказывать, как завидуют его наружности актеры. Он всегда играет злодеев, а это, как известно, самые лучшие роли.

7 августа

Однажды у Тыняновых зашел разговор об одном писателе. И я объяснил присущую тому озабоченность и суетливость тем, что известность пришла к нему как бы приказом от такого-то числа, за таким-то номером. От этого данный писатель в вечных хлопотах. Если его назначили известным, то, стало быть, могут и снять.

И он с ужасом присматривается, приглядывается, прислушивается — не произошло ли каких изменений в его судьбе. Старается. Оправдывается. И нет у него и минуты спокойной. Шкловский выслушал это внимательно, против своего обыкновения. И в конце вечера, когда разговор вернулся все к тому же писателю, Шкловский сказал: «Вся беда в том, что его назначили известным...» — и так далее. Мысль задела его, и он ее поглотил, и стала она его собственной. Это не значит, что он похищал чужие мысли. Если говорить о качестве знания, то его знание делалось знанием, только если он его принимал в самую глубь существа. Поглощал. Если он придавал значение источнику, то помнил его. Поэтому в спорах он был так свиреп. Человек, нападающий на его мысли, нападал на него всего, оскорблял его лично. Он на каком-то совещании так ударил стулом,



поспорив с Корнеем Ивановичем, что отлетели ножки. Коля говорил потом, что «Шкловский хотел ударить папу стулом», что не соответствовало действительности. Он бил кулаками по столу, стулом об пол, но драться не дрался. Вырос Шкловский на людях, в спорах, любил наблюдать непосредственное действие своих слов. Было время, когда вокруг него собрались ученики. Харджиев, Гриц и еще, и еще. И со всеми он поссорился. И диктовал свои книги, чтобы хоть на машинистке испытывать действие своих слов. Так, во всяком случае, говорили его друзья. «Витя не может без аудиотории». Был он влюбчив. И недавно развелся с женой.

8 августа

Развод и новая женитьба дались ему непросто. Он потерял квартиру, и денежные его дела в это время шли неладно. Он поселился с новой женой своей в маленькой комнатке. Жил трудно. И шестидесятилетие его в этой комнатке и праздновалось. Собрались друзья. Тесно было, как в трамвае. Уйти в другую комнату и уснуть, как некогда, теперь возможности не было. И Виктор Борисович лег спать тут же, свернулся калачиком на маленьком диванчике и уснул всем сердцем своим, всеми помышлениями, глубоко, органично, скрылся от всех, ушел на свободу, со всей страстностью и искренностью, не изменяющими ему никогда. И тут вдруг появилась Эльза Триоле — пришла женщина, о которой тридцать с лишним лет назад была написана книга «Письма не о любви». А он так и не проснулся.

9 августа

Борис Михайлович Эйхенбаум так давно знаком всем нам, так нежен, так бел, что говорить о нем точно как бы кощунство. Не то я сказал: «нежен» — не то слово. «Субтилен» — вот это несколько ближе. Он со всеми нами ласков и внимателен, что любишь, но в глубине души недостаточно ценишь. Не на вес золота, как ласку и внимание людей более грубых. Кажется, что это ему легко и в глубине души он благожелательно равнодушен к тебе — и только. Когда была жива Рая, человек куда более воплотившийся, Боря относился к людям куда более контрастно и отчетливо. Эта subtilность его подсказывает еще темную, но неотвязную мыслишку: такому нетрудно быть порядочным, хорошим даже

человеком, и вместе с тем нет человека, который, познакомившись с ним, не уважал бы его в конце концов. Как в Шкловском, угадываешь в нем непрерывную работу мысли. Менее страстную, более ровную и более научную. Вот в науке своей воплотился Борис Михайлович со всей полнотой.

10 августа

Недавно поразило меня, когда разглядывал я толпу, как раз но заведены люди, шагающие мне навстречу по улице. Разно, очень разно заведены и Шкловский и Эйхенбаум, но двигатели в них работают непрерывно, и топливо для них, горючее, добывается, течет непрерывно от источников здоровых. Любопытство, жажда познания, а отсюда любовь к одному, отрицание другого. И Шкловский тут много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум — к мыслителям, иной раз излишне чистым. Сейчас они оба живут в Доме творчества, и как ни зайдешь — то у одного, то у другого какие-то открытия. Борис Михайлович беленький, легенький, с огромной, нет, точнее, с просторной головой. Волосы вокруг просторной, красной от летнего загара лысины кажутся серебряными. Он очень вежливо, что ему никак не трудно, очень внимательно встречает тебя и рассказывает, что такое Бах. Он в последнее время занимается Полонским, ему заказана статья к одностомнику, и все думает и думает о музыке. Он приобрел проигрыватель и целую библиотеку долгоиграющих пластинок. Составил к ним карточный каталог. Читает упорно книги по музыковедению. Никто не заказывал ему статью о Бахе, но он все думает о нем, думает.

9 сентября

Вчера звонил Козинцев. Ему предлагают писать «Дон Кихота». Он позвонил об этом мне, и мне вдруг захотелось написать сценарий на эту тему. Хожу теперь и мечтаю<sup>229</sup>.

10 сентября

Продолжаю думать о «Дон Кихоте». Необходимо отступить от романа так, как отступило время. Ставить не «Дон Кихота», а легенду о Дон Кихоте. Сделать так, чтобы, не отступая от романа, внешне не отступая, рассказать его заново.

13 сентября

Начал читать «Дон Кихота», и стало страшно. Трудно схватить его дух. Сервантес был сын врача — единственное утешение.

14 сентября

Продолжаю читать «Дон Кихота», и прелесть путешествия по дорогам, постоялые дворы, костры понемногу отогревают насторожившееся мое внимание. Притаившуюся мою впечатлительность. Особенно тронула сцена у пастухов, где Дон Кихота принимают и угощают. Вообще, видимо, начинать сценарий следует сразу на большой дороге, с разговора о том, чем питаются странствующие рыцари, о том, что они не спят, о литературе. Потому что из всех нападков на рыцарские романы следует сохранить то, чем можно поспорить с абстрактными героями нынешних книг. Страстная любовь к жизни стареющего человека — вот что еще можно придумать себе, когда будешь работать. Не Дон Кихот страстно любит жизнь, а автор. Драки, рвота, поносы, кровь! Особенно драки! Дон Кихота избивают с удивительной периодичностью. И я, понимая, что это протест против непрерывных побед рыцарских романов, просто не знаю, как поступать с этим в сценарии. Но вот рыцарь и оруженосец тронулись в путь, и надежды мои оживают. Утешает меня и то, что по мере развития романа, к счастью, автор начинает любить Дон Кихота, и тот из настоящего сумасшедшего обращается в безрассудного безумца, из маньяка — в одержимого высокой идеей. И если удастся передать прелесть путешествия, с одной стороны, и показать, что видит Дон Кихот и что видит Санчо Панса, — то, может, и одолеем? Главное — не давать себе замирать почтительно, опустив руки по швам перед величием собственной задачи и романа, которого касаешься.

15 сентября

Сегодня утром пришло мне в голову вместо планов, которые никогда у меня не удаются, написать сразу сценарий «Дон Кихот». Мне куда легче думать, переписывая. Дон Кихот имел прозвище: Алонзо Добрый. Он и читать начал по доброте, чтобы успокоить боль сердца. И на дорогу вышел, убедившись, что жить и любить можно иначе, чем соседи, а непрерывно совершая подвиги. Неужли добро может породить зло? Теперь мелочи, кото-

рые приходят в голову. Вор, укравший Серого, рыдает от угрызений совести, но иначе поступить не может. А может быть, этот вор и есть противоположность Дон Кихоту. «Уж очень я озлобился!» Он же говорит: «Добро не может породить зла. Но в чем добро? Да в уничтожении зла. А раз не уничтожил ты зла — следовательно, не сотворил ты добра. А что ты сотворил? Зло! Значит, такой же ты злодей, как и я». Он должен говорить: «Я простой, я круглый, словно шарик или нечто в этом роде». Очень мила дочь хозяина. Она любит рыцарские романы не за драки и не за повести, а за жалобы влюбленных. Она добра, как Дон Кихот. И, перевязав ему раны, отправляется за ним. И вор, переодетый цыганом, как в романе, с ними. Можно придумать множество переодеваний. Это приводит к тому, что в честном человеке подозревает Дон Кихот переодетого Хинеса де Пасамонте. В последнюю ночь перед своей смертью бродит Дон Кихот и прощается с миром. И перед смертью начинает понимать речи деревьев, слушает разговор Росинанта и Серого. Дочь трактирщика, к ужасу Дон Кихота, иной раз говорит неправду. И объясняет это. Рассуждая, говорит: «Я не умна — моя бабушка умна, у нее нашлось к старости время подумать». — «У женщин нет времени думать».

16 сентября

Продолжаю читать «Дон Кихота» и думать о сценарии. Вчера, впервые за год, а может быть, и еще за больший срок, спустился возле дачи Державиных и внизу свернул направо, повторил прогулку, когда-то ежедневную. Прорыты глубокие канавы. По чистому песчаному дну бегут ручьи. Все это незнакомо. Но журчат новые ручьи, как старые. Прорублена широкая просека, по ней дохожу до поворота к морю. И все думаю о Дон Кихоте. Прибой был, видимо, эти дни сильный. Обломки камыша, похожие на груды карандашей, показывают, извиваясь валиками по песку, как прибой успокаивался, подходил шаг за шагом. Вода. Дно. Камни. А я все думаю. Мне становится ясен конец фильма. Дон Кихот, окруженный друзьями, ждет приближения смерти. И, утомленные ожиданием, они засыпают. И Дон Кихот поднимается и выходит. Он слышит разговор Росинанта и Серого. Разговор о нем. Росинант перечисляет, сколько раз в жизни он смертельно уставал. Осел говорит, что ему легче потому, что он не умеет считать. Он устал, как ему

кажется, всего раз — и этот раз все продолжается. Ночью не отдых. Отдыхаешь за едой. А когда нет еды, то начинаешь думать. А когда делаешь то, чего не умеешь, то устаешь еще больше. И оба с завистью начинают было говорить, что хозяин отдыхает. И вдруг ворон говорит: «Не отдыхает он. Умирает». И с тоской говорят они: «Да что там усталость. В конюшне — тоска». Оба вспоминают утро. Солнце на дороге. Горы. И Дон Кихот соглашается с ними. Он выходит на дорогу и слышит, как могила просит: «Остановись, прохожий». Надгробный памятник повторяет это. И никто не останавливается, не слушает.

17 сентября

Продолжаю читать «Дон Кихота» и все глубже погружаюсь в его дух. Все думаю, что вор может быть тенью Дон Кихота, его противоположностью. Думаю, что словами о золотом веке следует закончить сценарий. Он едет и говорит об этом все тише, тише, пока на экране не выступает слово «конец». А начало сценария — брань экономки. Она бранит его в ясное-ясное утро. Санчо седлает Росинанта. Жена Дон Кихота говорит. Не то пишу — жена Санчо Пансы говорит: «Почему я, твоя жена, которой сам бог велел бранить мужа, молчу себе или плачу тише, чем птичка, а его экономка, на которую он даже и не взглянул никогда, кричит на него, как власть имущая». И Панса объясняет: «Потому что он добр, а я строг». Они едут по горе, по дороге, которая идет петлями, неуклонно спускаясь вниз, но то приближается к дому, то удаляется от него. И каждый раз, когда они на линии дома, — брань слышнее. Нет, не так. Они едут по дороге. А экономка бежит по тропинке вниз. И, браня, снабжает Дон Кихота провизией, которую забирает в свою сумку Санчо Панса. И Дон Кихот считает это волшебством, а Санчо объясняет ему, как просто догоняет его экономка. Но Дон Кихот не слышит. «Трусость и предательство слушать то, что противоречит твоей вере, поверять ее разумом». Встреча с каторжниками? Или с мельницами? Надо второй раз перечитать «Дон Кихота».

18 сентября

Прочел статью Державина об инсценировках «Дон Кихота», и сразу слегка побледнел тот мир, близость которого я чувствовал все последние дни. Я испугался.

Никаких экранизаций не хотелось бы мне делать, никаких инсценировок. Я на это не способен. Я сразу пугаюсь. Изобилие материала меня не вдохновляет — изобилие материала о романе, а не в нем самом. Я верю только в мое собственное ощущение духа того времени. Нет, Дон Кихота. И веру эту так легко ослабить или затуманить. Знание источников делает вооруженными тех людей, в настоящее понимание которых не верю да и только. Но судить и рядить предстоит все же им. Тем не менее что бы то ни было, а сад, по которому бродит Дон Кихот ночью, не затуманивается. Уже стал чем-то вроде личного моего воспоминания. Но ведь Доре вносил самого себя и множество выдумок, не отступая от романа<sup>230</sup>. Можно было бы показать и такой фокус: рассказать всю историю, строго следуя Сервантесу — сюжетно. А себе дать волю в трактовке, как делал это Доре. Не знаю, — знаю только, что пока читаю роман — интересно и завлекательно, а едва коснусь работы вокруг него — трезвею и смущаюсь. Едва я начинаю думать о вольной переработке, — сразу слышу разговоры. Дон Кихот, объезжающий гостиницу при луне, так ясен, что хоть садись и пиши. Вплоть до запаха соломы и навоза. Влюбленная девочка, дочь аудитора, племянница солдата. Мальчик в костюме погонщика. Всех — хоть садись и пиши. Страшно начинать и еще страшнее ждать. А ну как совсем отрезвею? Впрочем, сегодня вопрос должен решиться. Я еду на студию, чтобы там договориться насчет этой самой работы и решить вопрос.

19 сентября

Вечером иду я на музыку. И мне приходит в голову, что Дон Кихот должен крайне удивиться, увидев, что после боя Санчо Панса окровавлен. В рыцарских романах о грязи, распушем, как яблоко, носе и всем безобразии драки — не говорилось. Колдовство. Его в конце сравнивает некто с цветком, названным в честь Георгия Победоносца — георгином. Он не приносит плодов. Не радуется благоуханием. Он велик и только. И то бледен, как мрамор памятника, то красен, словно кровь. Трезвая осень вокруг. Плоды везут на базар. Цветы умерли или проданы. И только георгин утешает: стоит и не боится осени. Пока не увянет.

20 сентября

Росинант говорит: «Нельзя стоять на месте, когда голос хозяина, шпоры и удила приказывают идти вперед». И ему не улежать на смертном одре, если жалость, совесть и негодование прикажут, пришпорят и возьмут под уздцы. Дон Кихот говорит, рассуждая о странствующих рыцарях: «Увы, Санчо, нельзя нам, рыцарям, больше трех дней отдыхать и радоваться победе и принимать награды. Иначе так отяжелеешь, что не взберешься на коня». Вот пока все, что думал о сценарии...

21 сентября

В половине второго у Козинцева обсуждали «Дон Кихота». Григорий Михайлович начинает интересоваться сценарием. Но пока ни он, ни я не знаем, что делать, куда повернуть. Я знаю куски, которые начинают кристаллизоваться.

23 сентября

Начинаю приходить в себя после вчерашних разговоров, и «Дон Кихот» освобождается от тумана. Ладно. Будем держаться романа. Но и Доре держится романа, и Кукрыниксы, и современные Сервантесу художники и авторы гобеленов, что висят в Эрмитаже. И каждый из них следует роману на свой лад. Я перечитал роман и вижу, что там целый мир, который дает возможность рассказать то, что хочешь. А хочу я рассказать следующее: человек, ужаснувшийся злу и начавший с ним драться, как безумец, всегда прав. Он умнеет к концу жизни. Умирает Дон Кихот с горя. И потому что отрезвел, то есть перестал быть Дон Кихотом. Можно и пересказать весь роман, не отступая ни на шаг. Введя историка или автора. Или голос. Или разговоры на перекрестках. Или экономку в придорожном трактире, где собирает она о своем господине новости. А в финале, который я хотел дописать, я могу сказать что угодно, если после слов Дон Кихота о том, что он Алонзо Добрый, мы услышим голос, говорящий: «Так, по некоторым слухам, кончилась история Дон Кихота. Но с другой стороны — тысячи тысяч людей утверждают, что Дон Кихот живет. Как же это? Почему? Потому что Дон Кихот выехал в четвертый раз, как нам кажется. Как нам удалось узнать». И идет финал, придуманный нами. О святости мечты.

И о великой святости действия, которому завидуют мечтатели. И осмеивают действующих.

24 сентября

Снова перечитываю «Дон Кихота», на этот раз выписывая из этой энциклопедии все, что может понадобиться для работы, разбив на отделы: одежда, вооружение, пища, дорога и так далее. Теперь о другом: о чем я вчера думал. Очень немного народа смеется только когда хочется. У многих смех стал подобием междометия, выражающего смущение, недоверие, растерянность. В этих случаях смех не появляется сам собою, как ему положено, а произносится как слово. И раздражает часто своей ублюдочностью: ни чувство, ни мысль. Лживое, поддельное, принужденное высказывание.

7 октября

Работа над «Дон Кихотом» пошла полным ходом. Написал первые семь страниц на машинке. И продолжаю. Что-то все время чувствую очень твердо, боюсь только испортить. Пишу с наслаждением.

8 октября

Вчера вечером прочитал начало сценария Пантелеву и, как всегда, стал сомневаться после чтения, так ли следует начинать. И придумал новое начало. И сегодня все время о нем думаю. А что, если начинать всю историю с того, что Дон Кихот останавливается на перекрестке четырех дорог, пробует прочесть надпись на придорожном камне и обнаруживает, что она давно стерлась. Тогда, по рыцарскому обычаю, бросает он поводья на шею коня — пусть Росинант приведет к подвигам. Но Росинант заснул. И никуда не хочет идти. И мимо рыцаря, прикованного к месту, проходят различные люди, из разговоров с которыми и выясняется, кто он и что он. И все думаю я на этот счет и думаю и не могу решить. Во всяком случае, попробую я это начало сделать. Проходят мимо козопасы с копьями, проезжают молодые, и, наконец, Самсон Карраско. Этот уверен в превосходстве науки над мечтаниями. И, может быть, в финале встречаются они на перекрестке еще раз. Ты возьмешь у меня знаний, а я у тебя научусь ненависти к злу, и любви к добру, и любви к действию.



10 октября

Все думаю о «Дон Кихоте». Мое начало кажется мне теперь милым, что раздражает меня. Дух романа суровее. Тоска по добру прорывается через колотушки, жестокость, условное остроумие тех дней и такую же расщепленную поэзию. То, что нам дорого, сказывается в «Дон Кихоте» как бы украдкой. Контрабандой. Причем автор как будто сам смущен тем, что у него высказывается. Дон Кихот говорит умно и трогательно — и тут же автор спешит пояснить: эти речи удивительны у безумца! Они как бы и приводятся для того, чтобы показать, какая удивительная, достойная описания вещь — безумие. И если нарушить эту как бы произвольно сказывающуюся поэтическую, человеколюбивую сторону, точнее, если дать ей выйти открыто на первый план — ничего хорошего не выйдет. Воздух романа строг, сух, жесток. И этого нельзя забывать. Поэтому детски откровенное начало меня смущает. То начало, что я написал.

14 октября

Вчера был у Вейсбрема в странной его квартирке в одну комнату. Ковры, два дивана, портьеры, книжные полки, стол с пузатой и высокой лампой с абажуром. И рыцарь в латах в углу. Поднимешь забрало — видишь печальное усатое молодое лицо из папьемаше. И четыре кошки, подобранных на лестнице. Из них одна вот-вот окотится. В субботу прогон «Кленов»<sup>231</sup>.

16 октября

Сегодня смотрел в ТЮЗе последний комнатный прогон перед переходом на сцену «Двух кленов». Все прошло в той драгоценной и редкой обстановке доверия, которая и помогает актерам творить чудеса. А мне начинает в эти редкие часы казаться, что мы не напрасно живем возле этой громоздкой, неоправданно самовольной махины. Возле театра.

23 октября

В Ленинграде Малюгин. Скоро должен ко мне зайти. Есть знакомства, как бы сцементированные временем, с которым они связаны. Близкое знакомство с Малюгиным образовалось во время войны, в Кирове, во время

эвакуации, где каждого человека, каждого соседа, точнее, хочешь не хочешь, а видишь во всех подробностях, с каждой родинкой. До этого я встречался с Малюгиным на премьерах и в редакциях, и он мне нравился главным образом тем, что по отношению ко мне был благожелателен. А это оценишь, когда человек не сладок, даже грубоват и говорит неприятные вещи с легкостью, не боясь обидеть. В Кирове после полумертвого Ленинграда, теплушек, всей страшной дороги увидел я его как бы впервые в жизни, во всяком случае, новыми глазами. Мы встретились в театре, на лестнице актерского входа, у второго этажа. Очень светловолосый, худенький, улыбающийся, он вдруг, увидев меня ближе, со свойственной ему прямоотой, стал глядеть на меня с открытой жалостью и уважением. Тут он вдруг понял, что такое блокада, — так сказал он мне уже несколько месяцев спустя. Занимал он маленькую комнату, недалеко от так называемого коридора женатиков. Артисты второго положения жили тут семьями, отделившись друг от друга театральными драпировками.

24 октября

Положение завлита в театре наименее защищенное, и если у труппы с ним нет отношений дружеских, то в трудные времена охотнее всего отводят душу на завлите. Малюгин был много деятельнее и влиятельнее, чем обычный завлит. Он и заменял Рудника, когда тот уезжал в Москву, и дежурил в зрительном зале, следил, чтобы спектакль не рассыпался. И не скрывал своего отношения к актерам. Он ни за что не позволял им, скажем, переставлять слова, переиначивать текст ролей. И заявлял им об этом решительно, приподняв бровь вызывающе.

25 октября

Постепенно узнавал я, встречаясь с Малюгиным чуть ли не каждый день, что он — из взрослых людей. Он был главой семьи. Мать его, сестра и племянница жили где-то в Средней Азии, на реке Чу, и он заботился, беспокоился и, наконец, взяв отпуск, отправился к ним на недельку. А езда по тем трудным дорогам в те трудные времена заняла, вероятно, с месяц. Ласков и заботлив был он и со второй сестрой. Хоть была она старше, работала хирургом в госпитале. И, как боль-

шинство хирургов, держалась уверенно, самостоятельно, я чувствовал, что и тут Леонид Антонович — глава семьи. И в их дружном, уважительном отношении друг к другу, при характере его вызывающем и мальчишеском, чудилось мне что-то здоровое.

Были у него не только враги, но и друзья, и он — вот чудеса-то — отвечал им на письма. И посылал им то книги, которые ему вдруг удалось добыть в Кирове, то посылки. Одна знакомая прислала ему послание на двенадцати страницах, и цензор написал на полях: «В последний раз пропускаю такое длинное письмо»<sup>232</sup>. Пьеса моя в Москве была забракована, и я взялся за новую.

26 октября

И вторую пьесу, хоть писалась она и не для Большого драматического, Малюгин встретил так же внимательно, со свойственным взрослым уважением к чужому труду. А когда бригада артистов с Малюгиным во главе отправилась на фронт, он привез нам оттуда пачку табаку — легко сказать: не самосада, не махорки, а табаку! При панической, безоглядной любви к себе, охватившей данный театр, каждое проявление внимания трогало. Вскоре театр вернулся в Ленинград. И оттуда присылал Леня то книжку, то табаку, а однажды толстую плитку шоколада — вот как снабжали теперь в блокадном Ленинграде. Шел 43 год... А мы уехали в июле 43 года в Сталинабад. Так кончился первый период нашего знакомства. Некоторое время мы даже и не переписывались. Я этого не умею делать. Но встретились как хорошие друзья. Так прибавился еще один близкий человек, которого встречаешь всегда радостно, хоть и не часто. И о котором знаешь, что он тебе рад. Словом, хороший знакомый, живущий в другом городе. К этому времени стал Малюгин писать пьесу. Он показывал кусочки друзьям. А мне — решил не сразу. И пьеса мне понравилась. И Ермоловский театр ее поставил. И Малюгин, и театр получили Сталинскую премию. Через некоторое время целый ряд журналистов сочинили пьесы, но премии им не дали.

27 октября

И все — и друзья, и враги — стали внимательно разглядывать Малюгина как человека, отмеченного судь-

бой. И впервые обнаружили то, чем обладал он всегда: грубоватость, иной раз ненужную, подчеркнутую прямоту. И объяснили это тем, что получил он Сталинскую премию. А Малюгин в новом своем качестве оставался все тем же парнем, хоть и вполне взрослым и отвечающим за свои поступки, но с недобрыми мальчишескими глазами и вызывающе приподнятой правой бровью.

28 октября

Один из друзей Малюгина, как раз из таких, которые стали чутко и мнительно приглядываться к нему после того, как был тот отмечен судьбой, жаловался: «Подъезжаем к Москве, а Малюгин спрашивает: „Как ты думаешь, хватит у нас средств поднять такси?“ Конечно, Малюгин тут шутил. Но, с другой стороны, были и несомненные доказательства того, что считать он умел. И несмотря на это, все друзья были ему должны. Точнее, благодаря этому. Люди, которые умеют считать, дают займы просто. У них нет суеверного, коллекционерского отношения к деньгам. Они относятся к этому делу трезво. Однажды мне предложили обменять квартиру на Москву. И я согласился было. Но владелица квартиры потребовала с меня в придачу к моей ленинградской площади двадцать семь тысяч. И Малюгин сразу предложил мне эту сумму займа. „Берите, пока есть!“ Я не рискнул на это. „Берите, пока есть“. У людей, внезапно отмеченных судьбой, не проходит чувство рока. Что внезапно дано, могут столь же просто отнять. И вот пришли черные, роковые дни драматургического пленума<sup>233</sup> — того самого, на котором был и Малюгин роковым образом присоединен к космополитизму. Как раз в тот час, когда ему выступать, во всей Москве погас свет. Да что там свет — остановилось движение в метро. Почему — мы не знаем до сих пор. Город был как бы без чувств, однако пленум продолжал свою работу...

29 октября

Все это было как во сне, с одною разницей: ты знал твердо, что это не сон, и тут уж не проснуться. Вынес Малюгин испытание это мужественно, как и следовало ожидать от молодого человека сороковых годов. Положительного молодого человека. Он мог дышать в отравленной атмосфере, что образовалась вокруг него. Отри-

цательный молодой человек в ту пору в слабости своей сам отравлял атмосферу, свято веря, что это поможет ему дышать. Мы встречались довольно часто в те дни, роковые дни. И как в дни удачи, смутно, а вместе с тем упорно верили, что возможно прояснение. И оно забрезжило: Малюгин написал пьесу о Чернышевском, и ее как будто собирались поставить. Но не осмелились. Свет померк. Но он написал роман о студентах. Свет забрезжил. Но его не приняли, сначала обещав напечатать. Огромный роман. Свет померк, но не вполне, — к этому времени уже стало ясно, что дела Леонида Антоновича улучшаются. Пошла на периферии его новая пьеса. А потом ее поставил и Охлопков. Точнее, театр его. Ибо на обсуждении пьесы Охлопков стал ругать и постановку, и пьесу, что непристойно для главного режиссера. Пьесу-то брал он? О чем раньше думал? И Малюгин ответил ему со всей резкостью, словно его не ругали не так уж давно на все корки. Малюгина-то. Когда на другой день рассказывал он об этом происшествии Штоку, тот ответил: «Перечтите „Горе от ума“». На балу Чацкий говорит речь. Затем идет ремарка: „Оглядывается. Все танцуют“. Но свет пробивался все отчетливей, тучи расходились, и когда в этом году, в апреле, приехал я в Москву — небо совсем очистилось. Я позвал Малюгина на репетицию<sup>234</sup>, он не мог прийти. И, смеясь, словно сам себе не веря, объяснил почему.

30 октября

Его вызвал для разговоров о новом сценарии министр кинематографии! А на другой день уехал он и режиссер его куда-то на юг выбирать натуру. Так мы и не увиделись, но вот 22 октября узнал я, что Малюгин в Ленинграде. Мне с яростью рассказывали актеры Комедии, что он непростительно грубо ругал их последнюю постановку. «Вишневый сад». Приехал он с бригадой ВТО, и все они со столичной уверенностью бранили «Чайку» в Александринке, но особенно «Вишневый сад». Фамилий остальных членов бригады и не вспомнили, настолько Малюгин всех заслонил. И вот — возвращаюсь к тому, с чего начал, — я дозволился не без труда ему в «Европейскую» и узнал, что страдные дни просмотров и обсуждений прошли, и он как раз собирался мне позвонить. И мы договорились, что 23-го утром он придет ко мне, а я в ожидании начал писать

о нем все, что запомнилось, начиная с кировских времен. И вот он позвонил, и я, полный представлений 42 года, увидел совсем, нет, не совсем, но сильно отяжелевшего человека, изменившегося Малюгина. Ничего мальчишеского не осталось ни в лице, ни в существе. Тогда взрослый человек был намечен, угадывался за мальчишеским вызывающим выражением темных глаз, приподнятой бровью. Теперь Малюгин отяжелел, заматерел. У него и прежде было выражение «всеми недоволен», но за ним чувствовалось желание вызвать веселый шум, как в игре в «свои соседи». А теперь оно огрубело, и недоброе выражение глаз утратило игру. Легкость. Сердитый мужчина за сорок стоял и улыбался мне. Вскоре старое знакомство, сцементированное тяжелыми временами, взяло свое. Но долго не проходило трезвое и резкое ощущение последней встречи.

21 ноября

Завтра собираюсь я поехать в Москву. 70 лет Александре Яковлевне. В Доме актера будет праздноваться ее юбилей, меня пригласили<sup>235</sup>. Кроме того, министерство требует поправок в сценарии «Марья Искусница». Каких, не знаю. Выезжать приходится в понедельник. Поправки — дело для меня мучительнейшее. Я хотел на юбилее просто прочесть приветствие, но Дрейден убедил меня, что это дело неинтересное. Но говорить перед чужими людьми тоже как будто неинтересно. Все это наполнило меня, было, тревогой. И вдруг сейчас, вечером, подумал я с наслаждением о поездке, новых людях, даже поправки не показались мне столь унылыми. Живу я уж очень неподвижно, в чем есть, конечно, своя прелесть. Но сейчас мне хочется поехать в Москву. Моя неподвижность и страх перемен дошли до того, что я сегодня со страхом переменял мою старую записную книжку, переписал в нее телефоны.

22 ноября

Когда приехал я в Москву весной 43 года, было воскресенье, Комитет закрыт, и я прямо с Курского вокзала зашел к Маршаку. У него сидели и завтракали Шостакович и Яншин, постановочная тройка по «Двенадцати месяцам». Я предложил присоединить банку консервов, что была со мной, и Шостакович кивнул: давайте, давайте. После завтрака Маршак сообщил, что

приглашен обедать к какому-то своему поклоннику. И тут же позвонил ему, что не может прийти, так как приехал его старый друг. После чего и я был зван. Я отказывался для вида, но был доволен. Обед оказался естественно, по тогдашним временам, изобильный.

28 ноября

Сегодня в «Ленинградской правде» напечатана заметка о премьере «Двух кленов». Хвалят... Говорил с Козинцевым — он придумал сюжет полностью. Боюсь, что это мне будет или трудно, или обидно. Впрочем, увидим.

29 ноября

То, что придумал Козинцев, оказалось вполне обсуждаемым, а три выдумки — блистательны. Сегодня выяснилось, что придется поехать на дачу, чего мне на этот раз никак не хочется. Потихоньку начинаю погружаться в домашние сумерки. Давно не хотелось мне так работать, как сейчас. Настроение при этом — будничное.

13 декабря

Вчера встретился я в ТЮЗе с их делегатским собранием. Говорил, удивляясь гладкости, с которой я это делаю, о детской литературе, о съезде, о себе — и так целых тридцать семь минут. Потом Гернет читала отрывок, две сцены из своей новой пьесы. Очень смешно и легко. Очевидно, ей это и надо делать: чистую комедию.

21 декабря

На вечернем заседании выступил Шолохов<sup>286</sup>. Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южнорусский говор с «h» вместо «г» — и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, — и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да попросту говоря — лучший. Никакая история гражданской войны не объяснит ее так, как «Тихий Дон». Не было с «Анны Карениной» такого описания страстной любви, как между Аксиньей и Григорием Мелеховым.

28 декабря

Все, что я думал о «Дон Кихоте» и придумал по мере сил, никуда не годится. Особенность этого романа в том, что всякая попытка внести правильность и драматургический сюжет в его великолепную растрепанность и свободу терпит неудачу. Попробую сделать нечто иное. Что? Прежде всего — убрать тот несколько излишне светлый тон, которым я начал. «Дон Кихот» мрачен по цвету.

30 декабря

Начал по-новому «Дон Кихота». Точнее, начал план главы. Боюсь, как бы не повредила мне излишняя почтительность.

1955

1 января

А «Дон Кихот» стоит и не двигается. То, что начал я вчера, не пригодилось. Надо сделать просто парикмахерскую, где цирюльник рассказывает новости. Тому, кто купил землю у Дон Кихота. Тут надо попробовать в нескольких словах дать все начало романа. Купец проявляет крайнее недоверие. «Не верю», — когда говорят ему о Дон Кихоте и прочем тому подобном.

6 января

Мы в Ленинграде. Был вчера вечером у Козинцева, читал начало «Дон Кихота», уже третье с тех дней, что начал я работать. Со 2-го до вчерашнего дня написал я больше десяти страниц на машинке, не считая вариантов, отвергнутых мною самим. Удивляюсь собственной трудоспособности. Работал-то я, в сущности, один день, — народ мешал. Этого самого второго января, что начал я работу, перебывало у меня в течение дня общим счетом — семнадцать человек. И я был скорее доволен. Тишина последнего года начала угнетать меня.

19 января

Хотел затеять длинную работу: «Телефонная книжка». Взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказать. Так и сделаю.

Акимов. О нем говорил не раз: ростом мал, глаза острые, внимательные, голубые. Всегда пружина заведе-



на, двигатель на полном ходу. Все ясно в нем. Никакого тумана. Отсюда правдивость. Отсюда полное отсутствие, даже отрицание магического кристалла. Через него в некоторых случаях художник различает что-то там неясно. Как это можно! Жаден до смешного в денежных делах. До чудачества. Даже понимая, что надо потратиться, хотя бы на хозяйство — отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок. Знает за собой этот порок.

21 января

В случае удач его мы встречаемся реже, потому что он тогда занят с утра до вечера, он меняет коней — то репетирует, то делает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, то пишет портрет, обычно с очень красивой какой-нибудь девушки. И свалить его с ног могут только грипп или вечный его враг — живот. Вот каков первый из тех, что записан в моей телефонной книжке. Среди многих моих друзей-врагов он наносил мне раны, не в пример прочим, исключительно доброкачественные, в прямом столкновении или прямым и вполне объяснимым невниманием обезумевшего за азартной игрой банкмета. Но ему же обязан я тем, что довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороге. И не одну. А как упорно добивался он, чтобы выехали мы в блокаду из Ленинграда. Впрочем, бессмысленно тут заводить графы прихода и расхода. Жизнь свела нас, и, слыша по телефону знакомый его голос, я испытываю сначала удовольствие. И только через несколько минут неловкость и скованность в словах и мыслях, — уж слишком мы разные люди.

Вторым на букву «А» записан Альтман. Прелесть Натана Альтмана — в простоте, с которой он живет, пишет свои картины, ловит рыбу. Он ладный, желтолицый, толстогубый, седой. Когда еще юношей шел он пешком по шоссе между южнорусскими какими-то городами, навстречу ему попался пьяный офицер, верхом на коне. Заглянув Натану в лицо, он крикнул вдруг: «Япошка!» И в самом деле в лице его есть что-то дальневосточное. Говорит он с акцентом, но не еврейским, без напева. В отличие от Акимова пальцем не шевельнет для того, чтобы занять подобающее место за столом баккара.

22 января

Есть во всем его существе удивительная беспечность, заменяющая ту воинствующую независимость, что столь часто обнаруживают у гениев. Натан остается самим собой безо всякого шума. Когда принимали в союз какую-то художницу, Альтман неосторожно выразил свое к ней сочувственное отношение. И Серов, громя его, привел это неосторожное выражение: «Альтман позволил себе сказать: на сером ленинградском фоне...» — и так далее. Отвечая, Альтман заявил: «Я не говорил — на сером ленинградском фоне. Я сказал — на нашем сером фоне». И, возражая, он был столь спокоен, наивен, до такой степени явно не понимал убийственности своей поправки, что его оставили в покое. Да, он какой есть, такой и есть. Всякий раз, встречая его — а он ездит в Комарове ловить рыбу, — угадывая еще издали на шоссе его ладную фигурку, с беретом на седых — соль с перцем — густых волосах, испытываю я удовольствие. Вот подходит он, легкий, заботливо одетый (он даже трусы заказывает по особому рисунку), на плече рыболовные снасти, в большинстве самодельные и отлично выполненные; как у многих художников, у него золотые руки. Я люблю его рассказы — их прелесть все в той же простоте, и здоровье, и ясности.

Альтман — со своей ладностью, легкостью, беретом — ощущается мною вне возраста. Человеком без возраста, хотя ему уже за шестьдесят. Козинцев как-то сказал ему: «Слушайте, Натан, как вам не стыдно. Вам шестьдесят четыре года, а вы ухаживаете за девушкой». — «Это ее дело знать, сколько мне лет, а не мое», — ответил Натан спокойно... Как он пишет? Каковы его рисунки? Этого не стану определять. Не мое дело. Я знаю, что он художник, и не усомнился бы в этой его породе, даже если бы не видел ни его декораций, ни книг, ни картин.

23 января

Телефонная книжка, по которой веду я рассказ, заведена в 45 году, поэтому стоят в ней и фамилии друзей, которых уже нет на свете.

28 января

Далее в телефонной книжке идет фамилия, попавшая на букву «А» по недоразумению. Катя думала, что

фамилия нашего бородатого сердитого, безумного и острого комаровского знакомого пишется «Арбели». Он живет летом в академическом поселке.

29 января

Знакомы сначала, с давних времен, мы были с Тотей, она же Антонина Николаевна — живая, близорукая, привлекательная, скорее высокая, тощенькая. Знали мы, что она альпинистка, искусствовед, умная женщина. Была замужем за историком Щеголевым, овдовела. Я сомневался в ее уме. В интеллигентских кругах возле искусства выработался свой жаргон, и женщины, овладевшие им, легко зачисляются в категорию умных. Особенно их много возле театра, жаргон тут беднее эрмитажного, но зато непристойнее и веселее. Тут женщины, овладевшие им, называются не умными, а остроумными. Попугаи, повторяющие чужие слова, обнаруживаются просто. Но попугаи, схватывающие чужой круг идей, числятся людьми. Поэтому я с недоверием принял утверждение насчет Тотиного ума. Несколько лет назад вдруг вышла она замуж за своего начальника академика Орбели и родила мальчика. Ей было за сорок, мужу за шестьдесят, и вот в этот период жизни познакомились мы с ней ближе, а с Иосифом Абгаровичем — заново. Прежде всего я, не без удовольствия, убедился в том, что Тотя и в самом деле умная. Она любила своего мальчика до полного безумия и однажды определила это так: «Смотрю на пейзаж Руссо. Отличный пейзаж, но что-то мне мешает. Что? И вдруг соображаю: воды много. Сыро. Ребенку вредно».

30 января

Иосиф Абгарович слегка сутуловат. Огромная седая борода. Огненные глаза. Одет небрежно, что, впрочем, у академиков и ученых в обычае. Люди, работавшие с ним, вспоминают эти годы с ужасом: трудно объяснить его отношение к тебе на сегодняшний день, и когда произойдет взрыв, угадать нельзя. Он из людей, которым власть необходима органически, без нее им и жизнь не в жизнь. За годы работы своей в Эрмитаже он, словно настоящий завоеватель, распространил власть свою на все залы Зимнего дворца, забрав покои (так называемые исторические комнаты — личные апартаменты царей) и Музей революции. Когда нача-

лась война, то он с удивительной быстротой и отчетливостью эвакуировал весь музей — все у него было подготовлено. Славилось его умение выискивать и приобретать картины, пополнять эрмитажные коллекции...

12 февраля

Следующая фамилия уж очень трудна для описания. Ольга Берггольц. Познакомился я с ней году в 29-м, но только внешне. Потом, в тридцатых годах, — поближе, и только в войну и после перешли мы на ты. Говорить о ней, как она того заслуживает, не могу. Уж очень трагическая это жизнь. Воистину не щадила она себя... Она — поэт. Вот этими жалкими словами я и отделаюсь. Я не отошел от нее настолько, чтобы разглядеть. Но она — самое близкое к искусству существо из всех. Не щадит себя. Вот и все, что могу я из себя выдать.

А вот Софья Аньоловна Богданович — другое дело. Теперь это мать двух взрослых дочерей. Одна уже учится в медицинском институте. А когда мы познакомились, ее рассеянность, которая теперь кажется вызванной хозяйственными заботами, представлялась таинственной. Ее светлые глаза смотрели словно бы внутрь себя.

13 февраля

Словно сама она не может никак понять, куда ее влечет. И говорила она, словно бы запинаясь, небыстро. Мне казалась она и привлекательной, и чем-то пугала. На руке у нее были красные огромные родимые пятна, словно помечена была она, — а какой силой? Правда, отца ее звали Ангел. Ангел Иванович. И мысли подобного рода приходили тридцать почти лет тому назад, а не сейчас, когда встречаю я на лестнице невысокую, озабоченную, пожилую женщину с авоськой в отмеченной красными знаками руке. Около тридцати — двадцать восемь — лет назад встречался я часто и с матерью Софьи Аньоловны Татьяной Александровной<sup>237</sup>. Я с майкопским уважением смотрел на последнюю представительницу редакции «Русского богатства»<sup>238</sup>. В соловьевской столовой, в книжном шкафу, вделанном в стену, хранились по годам комплекты журнала, частью переплетенные, частью — за последние годы — в голубоватой обложке, как пришли. Но разреза-

ны были все страницы. Старшие читали журнал с полным доверием и монастырской своей добросовестностью. Воспитывалась Татьяна Александровна у самого Анненского, редактора журнала, если я не путаю. Короленко был другом ее. Он часто вспоминал, что Татьяна Александровна, еще девочка в те дни, отказалась пойти на елку, узнав, что он будет читать «Сон Макара» у Анненских.

14 февраля

Необыкновенно трогательно выглядела дружба Татьяны Александровны и Тарле<sup>239</sup>. Он постоянно встречался мне на лестнице в нашей надстройке. А сама Татьяна Александровна однажды сказала: «Евгений Викторович рассердится, когда узнает, что я выходила сегодня. С тех пор, как вывихнула я руку, он требует, чтобы я сидела дома в гололедицу». И дружба эта продолжалась до самой смерти ее, он все заботился о ней во время войны.

22 февраля

Дальше идет снова фамилия человека, которого уже нет на свете, — это Бонди Алексей Михайлович. Был он одарен богато и во многих областях. Хорошо писал, играл на виолончели, рисовал шаржи. Но считал он себя профессиональным актером, хоть в этой области был слабее всего. Очевидно, вся его душа была приспособлена к этому именно делу. Конституция его. Если не шла его пьеса, он огорчался. Но если не получал роль, о которой мечтал, то впадал в особое актерское отчаянье, доходящее до умопомрачения. Коренастый, с грудной клеткой сильно развитой, с большим ртом, крупной головой, длинными руками, спокойной манерой речи... как только дело доходит до умерших, мне еще труднее оживить их. Все верно, и все не так. Сказал: коренастый, с широкой грудной клеткой, — и сразу рисуется силач. А у него фигура была вполне интеллигентская. Был он интеллигентен глубоко и начисто лишен дара обижать. Даже впадая в священную актерскую ярость, не обижал, но обижался свыше всякой меры. Говоря о нем, невозможно умолчать о Нурм. Его жене. Это могучего дарования актриса. Ее прибалтийское, чухонское лицо делается прекрасным, когда играет Нурм на сцене. Один из признаков таланта. Но увы. Нет темпе-

раamenta актерского, нет силы дарования в чистом виде. В особенности у актрис. И она столь же темпераментно обижается на жизнь, на погоду, на друзей, как играет на сцене. А Нурм еще имела основание обижаться. Она играла удивительно. Глядя на нее, понимал я, как за одну фразу, даже одно слово, устраивали артистам овации. И ей удивительно не везло при этом. И она сердилась. Могуче. Темпераментно. Отлично играть и не иметь успеха, подобающего успеха, не получать подходящих ролей — поди-ка перенеси. Впрочем я, дойдя до необходимости рассказывать о Бонди и связанный его смертью, теряюсь и сбиваюсь. Начнем еще раз.

23 февраля

Акимов чувствовал себя в Сталинабаде одиноким. Он вытащил Бонди из Театра сатиры, где тот до сих пор служил. (До войны работал он в Комедии.) И Бонди, оставивши там жену, послушно приехал в Сталинабад. Зажил степенно, в правительственном доме европейской стройки, в том же, где Акимов. Ходил на рынок, готовил сам себе завтраки. Говорил, что мечта его — дойти до такой степени богатства, чтобы жарить свиное сало на сливочном масле. А пока жили небогато. Ходили на рынок продавать. То нам выдадут накомарники — марлевые одеяния, и мы идем их продавать на рынок, то выдадут изюм. Этот последний, впрочем, мы не продавали.

2 марта

В Москве получилось так, что встречались мы редко. Бонди написал там свою обработку «Льва Гурыча Синичкина» и много беспокоился, что никто не понимает, что сделал он, в сущности, самостоятельную пьесу. А так оно и было. И я писал, как завлит, разъяснения по этому поводу в Управление авторских прав. И в конце концов нужные инстанции признали «Льва Гурыча» пьесой самостоятельной. И спектакль очень удался, и вот здесь был я поражен удивительной игрой Нурм<sup>240</sup>. У нее каждое слово было словно золотое. И словно колдовство — никто не понимал этого. То есть — недостаточное количество людей. Словно колдовство или проклятье не пускало ни Бонди, ни Нурм дальше известности в узком кругу. Написал он комедию, очень хорошую, но ее не пропустили. Написал пьесу для Образцова «Обыкновен-

ный концерт» — и тут исключительный успех спектакля привел к тому, что автора просто забыли<sup>241</sup>. И он обижался, но так как никого при этом не обижал, то считались с его полными достоинства протестами мало. Да в случае с Образцовым и протестовать-то не приходилось. За все это время я был у Бонди в гостях только однажды. С Акимовым... И театр переехал в Ленинград. И мы снова здесь подружились.

8 марта

Дальше в телефонной книжке идет фамилия Бианки. Его я знаю около тридцати лет.

9 марта

Бианки я увидел в первый раз у Маршака. Внутренний измеритель отметил сурово, что у этого молодого человека маленькая голова и что-то птичье в круглых черных глазах. Я вежливо поклонился незнакомцу. Он ответил мне отчужденно. «Конечно, он не знает, что я за молодец, но все же надо было бы почтительнее», — подумал я. Но скоро, при дальнейших встречах, первое впечатление рассеялось. Увидел я, что Бианки здоров, красив, прост до наивности. Звание писателя им тогда еще не ощущалось, как теперь, как бы некое призвание. Возник он тогда с первым вариантом «Лесной газеты». И выносил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник.

18 марта

Следующая запись в телефонной книжке — Васильев. Это относится к Сергею Дмитриевичу Васильеву. Когда я записывал этот телефон, был жив и Георгий. Братья Васильевы, постановщики «Чапаева». На самом деле братьями они не были. Так писалось. Как братья Тур, которые даже и не однофамильцы. Сергей Васильев высок. Голова маленькая. Лицо аскетическое — у него язва желудка. Бородка. Он хороший человек, на самом деле хороший человек, того типа, что не слишком охотно идут на работу административного порядка. Но судьба выдвинула его так далеко вперед, что иной раз ему приходится соглашаться. И тут он остается вполне хорошим человеком. Как режиссер он талантлив. Но ему, видимо, не хватает покойного соавтора. Тот, замкнутый, молчаливый и подтянутый, чем-то

уравновешивал мерцающее и чуть дымящее добродушие Сергея. Во всяком случае, после единственной, ошеломляющей победы «Чапаева» больше особых удач не было у них. И у него одного.

25 марта

Прерываю рассказ «Телефонная книжка», чтобы рассказать, что делается со мной. Я почти кончил сценарий о Дон Кихоте. Остался герцогский двор и прочее: губернаторство Санчо, турнир, победа Карраско, смерть. И я читал отрывки в Доме искусств и в университете.

27 марта

Последняя фамилия на букву «В» — Венгеров. Это очень тихий человек, небольшой, с лицом не по фигуре правильным, но тоже нескладным. Не вполне живым. Напоминающим валета. Ему сильно за тридцать. Молодой режиссер. Когда я занимался мучительнейшим делом, на которое потратил два года с ничтожнейшим результатом — переделывал роман Ликстанова в сценарий и пьесу<sup>242</sup>, — появился у нас на даче Венгеров. Среди киношников не видел я человека, столь беззащитного и тихого. И на студии ощущали в нем существо другой породы. И все рычали на него, оскалив зубы, и если не кусали, то потому лишь, что он не отлаивался. Скромный, тихий, не вполне заполняя коричневый свой костюм, широкий, коротконогий и тощий, — появлялся он и кротко выслушивал, знакомился с результатами моих мучений. И помалкивал. Не возражал. Он только что снял благополучно какую-то пьесу, но ему не засчитывали это. Только начальство, а не общественное мнение. В общем, он, несмотря на кротость свою и хорошее ко мне отношение, сбежал, улизнул от моего сценария. И поставил фильм «Кортик» и опять имел успех<sup>243</sup>.

29 марта

Гернет Нина Владимировна возникла в суете редакций «Чижа» и «Ежа» — не могу вспомнить когда. Вероятно, в конце двадцатых, а то и в начале тридцатых годов, а то и ближе к середине. Нет, раньше. Я помню, что маленькая, четырехлетняя Наташа заставляла меня бесконечное количество раз перечитывать повесть Гер-



нет о лагере октябрат. Книжка вышла давно, сильно потрепалась — значит, уже вышла в свет в начале тридцатых. Приняли мы Гернет, как всех в то время, как самих себя, — весело, но не придавая значения. И скоро стала она составной частью той пестрой и шумной толпы художников и писателей, что собиралась каждый день вокруг детских журналов.

4 апреля

Далее идет Гарин Эраст Павлович. Тут надо мне будет собраться с силами. Тут я не знаю, справлюсь ли. Это фигура! Легкий, тощий, непородистый, с кирпичным румянцем, изумленными глазами.

5 апреля

С изумленными глазами, с одной и той же интонацией всегда и на сцене и в жизни, с одной и той же повадкой и в двадцатых годах и сегодня. Никто не скажет, что он старик или пожилой человек, — все как было. И кажется, что признаки возраста у него — не считаются. И всегда он в состоянии изумленном. Над землей... У него есть подлинные признаки гениальности: неизменяемость. Он не поддается влияниям. Он есть то, что он есть. Самое однообразие его не признак ограниченности, а того, что он однолюб. Каким кристаллизировался, таким и остался. Он русский человек до самого доньшка, недаром он из Рязани. Он не какой-нибудь там жрец искусства. Разговоры насчет *heilige Ernst* просто нелепы в его присутствии. Он — юродивый, сектант, старовер, изувер в своей церкви. Он проповедует всей своей жизнью. И святость веры, и позор лицемерия утверждает непородистая, приказчицкая его фигура с острым и вместе вздернутым носом и изумленными глазами. Чем выше его вдохновение, тем ближе к земле его язык, а на вершинах изумления — кроет он матом без всякого удержу. Как многие сектанты его вида, строг к людям. И восторжен. Когда ставил он пьесу Юры Германа «Сын народа», отрицал он резко меня<sup>244</sup>. Теперь я у него в мастерах. Эти страстные поиски людей не для себя, для церкви, привлекательны, когда числит он тебя в мастерах. А когда он тебя отрицает, замечаешь особую его деспотичность. Родовую. Про него нельзя, собственно говоря, рассказывать, не сказав ничего о Хесе, тощей, словно великомученица. С подозри-

тельностью и мнительностью, порожденной первым ее театром. С великодушием и добротой. Она дрожит над Эрастом, мучается.

8 апреля

Наташа Грекова — существо сложное, нежное и отравленное, словно принцесса какая-нибудь. Дом, где она живет с детства, — на углу улицы Достоевского и Кузнечного переулка. Нет, второй или третий от угла. В самом рыночном, суетливом, с лотками, пьяными инвалидами месте. Аходишь в подъезд — попадаешь в мир, которого нет. И это тревожит, как будто вошел в комнату, где лежит покойник. Слишком широкие сени.

Выложенная кафелем надпись «Добро пожаловать» по-латыни или французски: все рассчитано было на жильцов, которые уже не живут на свете. Единственная квартира уцелела тут с доисторических времен и при этом мало изменилась и сохранила прежних обитателей — квартира в бельэтаже, где проживал много-много лет Иван Иванович Греков. Был он широко известный профессор-хирург. Славился в литературных кругах как человек своеобразный, резко выраженного характера. Дружил с его семейством и с ним особенно — Федин, но после романа «Братья» разошлись. Показалось Грековым, что семья их изображена в романе, и при этом не так, как следует. С Наташей мы познакомились в Коктебеле. Тоненькая, с лицом в самую меру длинным, как полагается девушкам этой породы, черные волосы, светлые глаза, едва заметный пушок на верхней губе, крошечный рот. Угадываешь сразу, что она из хорошей семьи. Но тут же чувствуешь ее обреченность. Или отравленность, как я уже говорил. Каким ядом? А тем, что одинаково губит детей академиков, генералов, королей. Невидимые оранжерейные яды.

3 мая

А следующий телефон уже на букву «Д». Дом кино.

4 мая

Когда попал я туда, в Дом кино, он был еще молод, и своей самоуверенностью и элегантностью чисто профессиональной раздражал и вызывал зависть. Для уте-

шения я придумал, что разница между писателем и киношником такая же, как между обтрепанным и сомневающимся земским врачом и процветающим столичным зубным. Как зубной врач, имеющий свой кабинет на Невском, выходит в рассуждениях своих далеко за полость рта: «Рассказ делается так: сначала завязка, потом продолжение, потом развязка», — так и киношники судили обо всем на свете, не сомневаясь в своем праве на то. Любимая поговорка их определяла полностью тогдашнее настроение племени. Начиная вечер, ведущий спрашивал с эстрады ресторана: «Как живете, караси?» И они, элегантные, занимающие столики с элегантными дамами, отвечали хором: «Ничего себе, мерси!» Приблизившись к Дому кино, обнаружил я, что настоящие работники кинофабрики «Ленфильм» появляются там не так часто. И не они создавали тот дух разбитного малого, что отличал толпу Дома. Скромн, хоть и отлично одет, был Козинцев. Тихо держались братья Васильевы. Шумно и уверенно держалась безымянная толпа, что питается возле процветающего дела. А «Ленфильм» был на подъеме. Только что грянул успех «Чапаева», словно взрыв. Бабочкин, Чирков, Васильевы, Варя Мясникова подняты были волной до неба, стали разом, в один день, знамениты на всю страну. И картина имела, кроме официального, настоящий массовый успех. Имели успех и картины «Юность Максима», и «Возвращение Максима», и «Выборгская сторона»<sup>245</sup>.

5 мая

После войны Дом кино сильно присмирел. Да и слава «Ленфильма» поблекла. Беда в том, что нет сплошной и непрерывной истории театров, писателей, кинофабрик. «Ленфильм» получил имя киностудии, но не принесло это ему счастья. Ввиду отсутствия непрерывности этот прежний «Ленфильм» терпел некоторые неудачи. Нет. Та история оборвалась. Образовалась пропасть между прежним, отличным, и новым, порицаемым, «Ленфильмом». Старые режиссеры рассматривались как новые, за которыми нужен глаз да глаз. И Дом кино соответственно изменился, стал менее разбитным и гораздо более склонным к теории. Там начались по средам семинары с просмотрами картин. Я не люблю ходить в театр. День, когда мне предстоит посетить спектакль знакомого режиссера или знакомого автора, полон тяго-

стного ощущения несвободы. Любое другое времяпровождение кажется мне куда более привлекательным. А кино — люблю. В эти среды старался я заранее во что бы то ни стало освободить вечер. У меня была особая книжечка, дающая право посещать эти семинары, и я шел туда, в Дом кино, и стоял в очереди, чтобы мне отметили места в просмотровом зале.

12 мая

Кончил я 15 апреля, с месячным по договору опозданием, сценарий «Дон Кихота». Сегодня сделал первые поправки. Кончил первые поправки, предложенные сценарным отделом. Козинцев все последние месяцы хворал. У него бронхоплевропневмония. Вот и все новости.

Деммени Евгений Сергеевич. Томный, раздражительный, с неопределенным, уклончивым выражением губ, и порочным, и вызывающим. Он стал во главе Кукольного театра что-то очень давно. Раньше Брянцева. Еще в Народном доме поставил он «Гулливера» Елены Яковлевны Данько<sup>246</sup>. Как всегда, вокруг театра подобного рода подобрался тут вокруг Деммени народ особенный. Люди, не знающие, куда деть себя. Это состав переменный.

14 мая

У меня в театре Деммени шло несколько пьес. В начале тридцатых годов — «Пустяки». Тут я впервые испытал, что такое режиссер и все его могущество. Ничего не оставил Деммени от пьесы. Выбросил, скажем, текст водолаза, целую картину сделал вполне бессмысленной, полагая, что оформление подводного царства говорит само за себя. Я тут впервые понял, что существуют люди, которые не умеют читать и никогда не научатся этому, казалось бы, нехитрому искусству. Он сокращал, переставлял и выбрасывал все, что надо было куклам. И сюжетно важные места вырезал с невинностью неграмотности. И пьеса, то, что для меня главное мучение, оказалась рассказанной грязно, с зияющими дырками. Можно было подумать, что я дурак. И, что еще удивительнее, никто этого не подумал. Но и не похвалил меня. Состоялась обычная кукольная премьера, поставленная полумело и заработавшая полууспех.

Деммени видел я боковым зрением не потому, что был невнимателен к нему, а по сознанию, что не имеет смысла подходить ближе и смотреть прямее, — не договориться нам. Поэтому не бывал я на репетициях. И то, что увидел на премьере, было для меня полной неожиданностью. Тем не менее переделал я для их театра написанную для Зона «Красную Шапочку»<sup>247</sup>. Потом сочинил «Кукольный город»<sup>248</sup>, потом «Сказку о потерянном времени»<sup>249</sup>. Шли они в основном лучше, чем «Пустяки», но все принимал я эти премьеры боковым зрением и шел на премьеру все же со страхом. Нет. С чувством протеста. А на последнюю премьеру просто не пришел. Потом уже посмотрел с большим опозданием. Отношения личные с Деммени никогда не нарушались ссорами. Один только раз он, оскорбленный тем, что я с заказанной его театром пьесой опоздал, а ТЮЗу сдал «Клад», подал на меня в суд о взыскании аванса в размере 75 рублей. И ни слова мне об этом не сказал. Повестки я каким-то образом не получил, дело слушали без меня как бесспорное. И ко мне явился судебный исполнитель и описал письменный стол и кресло — единственное, что мог, в нашей комнате на Литейной. Вообще письменный стол описывать не полагалось, но он сделал это с моего согласия. Я внес деньги на другой же день, и печати сняли. Я обиделся, чем порадовал вздорного худрука, и решил, что работать у него не буду. Но вспомнил об этом только сегодня.

15 мая

Все такой же, одинаковый, корректный, с тем же выражением встревоженно-надменным, встречается он то в театре, то на улице. Только здороваётся он горловым и капризным своим тенором все более приветливо. Как ни говори, как ни суди друг друга, а прожили мы жизнь по-соседски, под одним небом. И свыклись. Мы знаем, чего ждать друг от друга, и ничего не требуем и не ждем свыше определившегося. Все установилось. Меняется только одно: с каждым годом мы все более и более старые знакомые. Вот почему при встречах вижу я его боковым зрением, но словно бы и ближе. А его тенор звучит все дружелюбнее.

Следующая фамилия — Сима Дрейден. Вот уж кто в фокусе. Помню я его с первых дней приезда в Петро-

град. Когда познакомился я с Колей Чуковским и с Лидой Чуковской, то вскоре познакомился с его соучеником по Тенишевскому училищу: с Лелей Арнштамом, который тогда собирался стать пианистом... И познакомился я тогда же с Симой Дрейденом. Вот он — сразу пошел по тому пути, которому не изменил и сегодня. Он страстно любил театр и пробовал писать о нем чуть не на школьной скамье. Была вся эта компания моложе меня, но приняла меня как сверстника, что мне казалось естественным. Я так мало вырос с тех дней, что кончил реальное. Тут, в Петрограде 22 года, едва начинал я приходить в себя. Стал питаться не только от корней, но и от почвы. Время было голодно-ватое. И у Лели Арнштама, родители которого были щедры, устраивались кутежи. Нам выдавали какао, сгущенное молоко и сахар. И в большой кастрюле варилось какао на всех. И мы пили, пили и были счастливы. Встречались мы часто, особенно часто на вечерах в Доме искусств.

16 мая

Перехожу теперь к Симе Дрейдену. Он был самый длинный, патлатый и хохочущий из всех. Тощий. В очках. Необыкновенно и энергичный, и рассеянный в одно и то же время. Вот рецензии его стали печататься, и скоро мы все привыкли к тому, что Сима Дрейден — журналист, рецензент, театровед. Так и пошли годы за годами. Первоначальную компанию, как положено законами роста, разбросало далеко. Дрейден и Чуковский даже поссорились, кажется. А я и Сима, связанные одним делом, держались близко друг от друга, в сфере притяжения. И он, определившись в юности, все не менялся. После войны, на каком-то совещании в Москве, дали нам комнату в «Гранд-отеле». Нет, во время войны. И, живя с Дрейденом, еще раз вспомнил я его энергию и рассеянность. Вот он сидит, пишет статью для Совинформбюро. Вскакивает на полужфразе, идет к телефону в глубокой задумчивости. И вешает трубку, не дождавшись ответа телефонистки, и стоит над телефоном в той же глубокой сосредоточенности. И бросается писать статью. От обычных критиков отличала его именно правдивость всего существа. Он и в самом деле во многих случаях, в большинстве — писал искренно.

18 мая

И вот разыгрались события, о которых рассказывать нет сил. Грянул в Москве пленум по драматургии, последствия которого были воистину историческими<sup>250</sup>. Помню высоченного Первенцева со лбом в складках, с глазами, в которых мерцало упорное желание. Желание взять свое. Он громил Славина. И тот на другой день, белый, с влажным лбом, уничтожающе ответил Первенцеву, что ничего не изменило. Были знамения. Они, если верить римским историкам, являются спутниками великих событий. На час или полтора выключилась электрическая энергия во всей Москве. Даже в метро. Но исторический пленум правления ССП нельзя было остановить. Принесли аккумулятор из чьей-то машины, приспособили над кафедрой электрическую лампочку, и люди, бледные от обвинений, что неожиданно обрушились на их головы, пытались отбиться при тусклом ее свете.

19 мая

Я упорно не хотел понимать того, что совершается. Поворачивался к вихрю спиной. Старался, вглядываясь в лицо Первенцева, в его глаза — глаза однолюба, человека, любящего одного себя, — понять, как может он жить, как мог он образоваться. Черносотенец, с детства отталкивавшее меня существо! И кто, кроме него самого, выигрывает от его возвышения? Софрон — круг, от ботинок, которые кажутся маленькими по дородству, линия идет высоко вверх и косо к пупку, а оттуда скашивается к толстому подбородку. Он почему-то раздражал меня меньше Первенцева. Охотнорядский или чичкинский раздобревший молодчик. Но при этом с проблесками. Мог и на гитаре сыграть. Впрочем, тут он не играл, а деловито, добросовестно, с наслаждением громил. И Фадеев гневался старательно, послушно, повернувшись в профиль к аудитории, беспощадно лупил лежачих, стоящих в данный момент на кафедре. Словно на снимке отпечатался в воспоминаниях о черных днях. Седая голова председательствующего Александра Александровича. Он стоит фигурой к залу, профилем к обвиняемому. И поддерживает сипловатым голосом то, что заставляет отворачиваться и жмуриться. Затыкать уши и нос. И страшнее всего, что ты не можешь забыть до конца того необъяснимого обстоятель-

ства, что Фадеев — несомненно хороший человек. И вот в этой роковой, лишенной целесообразности, смысла неразберихе, надвинувшейся вслед за пленумом, Дрейден исчез из поля зрения на пять почти лет. И чудо в том, что когда он воскрес, то не обнаружил и признака разложения. Мы уже не те. Мне под шестьдесят. Сима, конечно, моложе — но и он не молод, далеко не молод. Но есть какая-то сила, мешающая стареть. Видимо, в особенно черные дни мы не живем. Во всяком случае, когда он вернулся и я пришел к нему, то был поражен тем, как мало он изменился. Он шумел. И перескакивал с предмета на предмет. И удивлялся. И удивлялся. И смеялся, и смешил. И все бежал взглянуть, как спит сын, уже школьник. И их черный пудель, узнавший хозяина через пять лет, ходил за ним следом, боялся, что тот опять исчезнет. Все как было? Через несколько дней я обнаружил, что Дрейден смущен.

20 мая

Да. Он был человеком советским. Насквозь советским. От малых лет. И, зная, что ни в чем неповинен, и будучи реабилитирован, он тем не менее как бы чувствовал себя виноватым. В чем? А кто его знает. В своем несчастье? Весьма возможно. Чувствовал себя запачканным. Чудилось ему, что все то, что грянуло над ним, оставило след, как бы изуродовало его. Он не хочет показываться в дни премьер, я не мог вытащить его на просмотр «Двух кленов». Не возвращается в среду, отчего не чувствуешь его присутствия, хоть он уже на месте. Но постепенно это начинает рассасываться, и Сима Дрейден делается увереннее. Прощает себе то, что над ним стряслось.

4 июня

Следующая фамилия Жеймо. Удивительно привлекательное существо. Трагичны судьбы людей, обожающих искусство, но не имеющих никаких данных для того, чтобы им заниматься. Таких в театре — легион. Но еще трагичнее люди, рожденные для сцены или экрана, которые роковым образом сидят без работы. Жеймо сделала десятую долю того, что могла бы. Должна бы. И до сих пор она еще надеется, что сыграет, наконец, то, что душа просит. И судьба шадит ее — она все по-девичьи легка и вот-вот сорвется и полетит. Только



пусть для этого сойдутся несколько тысяч случайностей, выйдет пасьянс из миллиона колод. Родилась она в цирковой семье. На арене выступала чуть не с пяти лет<sup>251</sup>. Потом попала к ФЭКСам, совсем еще девочкой. Играла в «Шинели»<sup>252</sup>. Потом вышла замуж за Костричкина<sup>253</sup> — его считала выдающимся эксцентрическим актером. Родила от него дочку. Развелась. Вышла замуж за Хейфица. Родила от него сына. Вот что слышал я о ней краем уха в тесном нашем кругу.

5 июня

А потом встретились мы гораздо ближе во время картин «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград», сценарий которых писал я с Олейниковым. Первая (короткометражка) имела некоторый успех, вторая же, вместе с комедией нашей «На отдыхе»<sup>254</sup>, провалилась с шумом, с таким шумом, что братья Тур написали в «Известиях»: «Неизвестно зачем авторам понадобилась подобная жеребятина». Янина Болеславовна, или Яня, как все ее называли, была тут ни при чем. Мы думали, что удастся нам сделать картину, ряд картин, где Жеймо была бы постоянным героем, как Гарольд Ллойд или Бестер Китон, и где она могла бы показать себя во всем блеске. Но ей опять роковым образом не повезло. И сценарий не удался, и режиссер решил взять себе эту специальность без достаточных оснований — словом, опять не вышел пасьянс в тысячу колод. Но я поближе разглядел Янечку Жеймо и почувствовал, в чем ее прелесть. Все ее существо — туго натянутая струнка. И всегда верно настроенная. И всегда готовая играть. Объяснить, что она делает, доказать свою правоту могла она только действием, как струна музыкой. Да и то — людям музыкальным. Поэтому на репетициях она часто плакала — слов не находила, а действовать верно ей не давали. Я не попал в Ялту на съемку несчастной «Леночки», но Олейников был там, и даже у этого демонического человека не нашлось серной кислоты для того, чтобы уничтожить ее, изуродовать в ее отсутствие. И он говорил о ней осторожно и ласково, испытал ее в разговорах на самые различные темы. Она была создана для того, чтобы играть. А вне этого оставалась беспомощной и сердилась, как сердятся иной раз глухонемые. В Доме кино праздновали однажды полусутя-полусерьезно, в те легкомысленные времена это

было допустимо, ее юбилей — что-то не по возрасту огромный. Ведь начала она свою актерскую жизнь в пять лет. И весь юбилей проводился бережно, и ласково, и весело. Мы с Олейниковым сочинили кантату, которая начиналась так:

От Нью-Йорка и до Клина  
На сердцах у всех клеймо  
Под названием Янина  
Болеславовна Жеймо.

И после всех речей растроганная, раскрасневшаяся, маленькая, как куколка, разодетая по-праздничному, будто принцесса, открыв наивно свои серые глазки, прокричала Янечка в ответ какие-то обещания, может быть, чуть газетные, чуть казенные, но все поняли музыку ее речи и слова не осудили. Струна не сфальшивила.

6 июня

И вот пришла война. А Янечка разошлась с мужем и приняла, по рассказам, это очень тяжело. Но когда встретились мы в Сталинабаде, была она все та же, только темнее и озабоченнее обычного, по-военному, как и все мы. И вышла замуж за режиссера Жанно. И вот пришел 45 год, и я написал сценарий «Золушка». И Кошеверова стала его ставить. А Янечка снималась в заглавной роли. И пасьянс вышел! Картина появилась на экранах в апреле 47 года и имела успех. В июне того же года увидел я, выйдя из Росконда, на теневой стороне Невского у рыбного магазина Янечку с мужем. И догнал их, перебежав проспект. Они, по слухам, собирались на Рижское взморье, и я хотел расспросить, знают ли они, как там живется. Жарко. Пыльно. Около шести Невский полон прохожими. Янечка, маленькая, в большой соломенной шляпе, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевцами. Посреди разговора начинает она оглядываться растерянно. И я замечаю в священном ужасе, что окружила нас толпа. И какая — тихая, добрая. Даже благоговейная. Существо из иного, праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице. «Ножки, ножки какие!» — простонала десятиклассница с учебниками, а подруга ее кивнула головой как зачарованная. Мы поспешили на стоянку такси. И толпа,

улыбающаяся и добрая, — следом. И на Янечкином лице я обнаружил вдруг скорее смущение и страх, чем радость. То самое чувство, что, словно проба, метит драгоценного человека.

Следующая запись в книжке: жакт. Так записала Катюша, по старой памяти, девичью фамилию домоуправления.

9 июня

Я сделал попытку изобразить. Нет, вру. К моему удивлению, когда написал я пьесу «Одна ночь», полагая, что изображаю наше домоуправление, оказалось, что похож портретно один бедняга управхоз. Остальные издали — писалась пьеса в Кирове — казались куда более благообразными. Даже о покойниках можно писать строго. А о смертниках — нельзя. А все они издали казались приговоренными к смерти. И многие из них и в самом деле умерли...

8 сентября, в первую же бомбежку Ленинграда, разбитыми оказались Бадаевские склады. Все домоуправление, все работники ПВХО — беда приключилась днем или к вечеру, но когда еще было совсем светло — собрались на чердаке. Черные столбы почти неподвижного, тяжело клубящегося, занявшего полнеба дыма вздымались где-то далеко-далеко за крышами домов. Я был уверен, что горит нефть. Ленинград был обречен на голод первой же бомбежкой, но мы понимали это столь же мало, как рыбы в садке свою судьбу...

А ночью дежурил я на посту наблюдения, на крыше. Рядом со мной расселись на помосте так называемые связисты, ребята лет тринадцати-четырнадцати, школьники и ремесленники. Народ лихой. С большинством из них я был знаком и раньше. Они звонили к нам и спрашивали, нет ли работки, и бегали за керосином, за папиросами или приносили дрова. С остальными познакомился во время дежурств.

10 июня

Зачем нужно дежурить на посту наблюдения — никто не знал толком. Но мне нравилось тут больше, чем на чердаке, и, во всяком случае, больше, чем в бомбоубежище, где мне чудилось, что я в западне. По лестнице, миновав последние квартиры, поднимался я к чер-

даку с его особым застоявшимся запахом дыма и глины и пробирался к выходу на крышу. К нему вела особая лестница. Тут однажды я думал, кончив дежурство, сократить путь. Пойти прямо вниз. И вдруг заметил, что шагнул я прямо — то слетел бы на площадку или на чердак — не вспомнить сразу куда. Только высоко. Достаточно высоко для того, чтобы сломать ногу или свернуть шею. И обиделся. Заслонка была спущена, чтобы я не видел более страшной угрозы. А от мелких защищен я не был. И эта беда, хоть и была она отведена, несколько дней меня преследовала. Я до сих пор не понимаю, почему я вдруг в последний миг не шагнул прямо во тьму, в яму, — так ясно вдруг представилось мне, что так будет ближе.

Выйдя на крышу, шел я по гребню. И железо громыhalo под ногами, что напоминало детство и крышу сарая в доме Санделя. Так пришел я на дежурство и 8 сентября, ничего не ожидая, — ведь бомбежка уже была! На этот раз со связистами говорили мы только о дневном налете. И вдруг — тревога. И с неожиданной быстротой, еще и сирены не отвыли своей машинной и вместе животной жалобой, я услышал свист. И где-то неожиданно близко поднялся сноп, — это не привычное сравнение, именно сноп очень крупных искр. И еще свист. И еще взрыв. Я был уверен, что будут немцы бомбить заводы и железные дороги, и не понял ни свиста, ни снопов, таких объемистых и полных, ни взрывов, совсем близких. А больше всего сбили меня с толку ракеты. Множество ракет, ставших над городом. Связистов моих словно ветром сдуло — они ползком нырнули в лаз.

11 июня

И я возгордился. Мальчики мои были народ отчаянный, но просто относящийся к опасности. Они бежали, когда надо. Крокодил недавно даже повис на острие решетки — так безрассудно отступил перед сторожем. Привычка к нарушениям породила привычку к отступлениям. Но все это я понял впоследствии. Тогда же я возгордился. Ребята удрали, а мне это и в голову не пришло. Впоследствии же я сообразил, что был просто ошеломлен разнообразием впечатлений. О храбрости тут говорить не приходилось. В дальнейшем, правда, я не уходил, уже понимая, что происходит, подчиняясь чув-

ству приличия. Вскоре после бегства моих связистов налет прекратился. Умолкли зенитки. Только ракеты продолжали взлетать неторопливо над затемненным городом. Помост мой заполнился людьми. Какие-то гости не из нашего жакта в военной и полувоенной форме...

12 июня

Итак, было в тот вечер в домоуправлении спокойно, как всегда во время затянувшейся тревоги. Вдруг над самым домом возник стонущий и зловещий звук немецких самолетов, выстрелы зениток приблизились, раздался гул голосов, непривычные шумы ворвались в обычные. Замерли разговоры в жакте. И ворвались в комнату связисты с криком: «Зажигалки сбросили». Одна из них полыхала посреди переулка, ее быстро сбросили песком. На крыше над каверинской квартирой пылали две. Управхоз, скользя в резиновых сапогах по мокрой крыше, схватил одну клещами, сбросил на мостовую. С другой, засевшей как раз на углу у желобов над водосточной трубой, бился Борис Викторович Томашевский. Он командовал, его слушались с серьезными и напряженными лицами домработницы из пожарного звена. И эту бомбу погасили. В три-четыре минуты, не помню, кажется, семнадцати зажигалок словно и не бывало. Прежде чем успели мы понять, что происходит. Весь дом роем поднялся и сделал свое дело. Напротив, в бывшем доме Нобеля и на крыше Михайловского театра, еще возились с зажигалками. Им пришлось труднее — ведь там не было жильцов. Работали только отряды ПВХО. А у нас вышли все жильцы, кроме ведьм. Все до одного. Почувствовалось, что кроме домоуправления есть и дом.

13 июня

В начале октября вечером, когда дежурил я во время тревоги на чердаке, напала на меня и моего напарника тоска, похожая на предчувствие. Было это числа седьмого-восьмого. Мы спустились в самый низ лестничной клетки и встали в угол, как ведьмы какие-нибудь. А самолеты, со своим машинно-животным завывом, все не унимались, кружили, кружили и с каждым заходом сбрасывали бомбы. И вот раз — далеко, два — чуть ближе, три — оглушительный удар совсем близко, звон стекол, и жужжащее завывание или завывающее жуж-

жание, идиотски упорное в своем однообразии, замирает постепенно. Удары бомб кажутся не слишком многозначительными. Не веришь. Не хочешь верить, что кто-то убит так просто. Но в домоуправление звонят: пришлите санзвено к «девятке» — так называют гастрономический магазин на углу Желябова и Конюшенной площади. Номер дома никто не помнит, а «девятку» знают все. Управхоз собирает звено, но в это время звонят еще, — поправка. Требуется не санитарное, а пожарное звено с лопатами. К утру только возвращаются наши пожарницы. Бомба разрушила дом, где была «девятка». Разорвалась под самыми сводами ворот. А там столпились прохожие. И трупы их швырнуло до середины Конюшенной площади. И наше пожарное звено вместе со звеньями всех уцелевших соседних домов производили раскопки в развалинах дома. И трупы увозили на грузовиках. Вот что наделал третий, близкий удар бомбы, показавшийся, несмотря на оглушительность свою, таким механическим, таким незначительным. Идиотским. Мне трудно было определить тогда, да и теперь нелегко объяснить, почему немецкие самолеты казались мне идиотским недоразумением. Соединением солдафонской глупости и автоматизма машины. Что-то, по ощущению напоминающее тир. Выстрел, и, в случае попадания, сухое щелканье, и плоская жестяная, дурацки раскрашенная птица машет жестяными крыльями. Вот очень приблизительный перевод очень ясного чувства. Происходящее страшно. Страшно глупо. Когда тревога случалась в часы, свободные от дежурств, я оставался дома. Если бомба падала близко, наш дом качался, и трубка настенного телефона, и лампочки раскачивались вслед за ним, и несколько мгновений казалось, что дом вот-вот рухнет. Но прежде чем ты успеваешь осознать это и ужаснуться — все приходило в норму. Но вот приблизился к концу этот период.

14 июня

Я перечитал свое описание военного домоуправления и огорчился. Как только перенесешь явление из одной категории в другую — оно все равно что исчезает. Начинаешь рассказывать и поневоле отбираешь. И вносишь правильность. А главное в том времени — затуманенная, унылая бытовая бессмыслица, доведенная до пределов вселенских. От убийств, смертей,

трупов, выброшенных на середину площади из подворотни, не становилась блокада объяснимей. Люди, приезжающие с фронта, терялись в этой непрерываемо терзаемой массе города. Что можно тут сделать, где тут твое место? Ты знаешь свое место во время бомбежки. Но какой смысл в том, что стоишь на чердаке, где к зиме заколотили все слуховые окошки, ничего не видишь, ничего не делаешь — терпишь. А других, потерпевших до конца, везут на детских салазках в общую могилу. И если сейчас это звучит печально, то в те дни и не оглядывались люди на подобное погребальное шествие. Все может войти в быт. И это было страшнее всего. Все может войти в быт, в будни. Все. И я, и актеры Театра комедии в Кирове с удивлением поняли, что невозможно объяснить актерам БДТ, уехавшим в августе из Ленинграда, что такое Ленинград в блокаду. Мы сами не знали, как это рассказывать. И поэтому те же лестницы, та же знакомая ненужно высокая комната домоуправления с широкими окнами во двор совсем не напоминают блокадного времени. Даже сирена пароходика на Неве, поднимающая иной раз животный и вместе машинный вой, отчетливо слышимый ночами, не вызывает воспоминаний о тревоге. Тогда война и блокада с непонятной простотой вошли в быт, а теперь начисто исчезли.

16 июня

Следующая фамилия Зоценко Михаил Михайлович.

Это имя выходит за пределы того, что я тут рассказываю, того, что могу рассказать. Это уже история. Правда, характеры нигде так не сказывались, как в этой истории, но тут уж ничего не поделаешь. История есть история. И некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться.

24 июня

Сегодня — памятный день. Пять лет назад начал я вести эти записи и вел их ежедневно, кроме тех случа-

ев, когда уезжал или мне уж очень мешало что-нибудь. Но и тут я записывал за пропущенные дни, платил долг. Постепенно я привык к этому виду работы. Стал возить тетрадки с собой, когда уезжал, чтобы не прекращать, не нарушать непрерывности записей. Даже в мучительные дни съезда<sup>255</sup> я продолжал писать ежедневно, и предыдущая моя тетрадь в светло-сероватоголубой обложке куплена была на съезде в канцелярском киоске, в маленькой шумной комнатке, где стучали молотки — заколачивали в почтовом отделении посылки, а телефонные кабины были заняты все до единой делегатами, которые на разных языках во весь голос переговаривались с Грузией, с Азербайджаном, с Сыктывкаром, с Казанью. Я, ошеломленный жарой, громоздкостью происходящего, оскорбленный силой моей уязвимости (я считал, что стал сильнее, оказалось же, что я обидчив по-старому), покупая тетрадь, не верил, что доведу ее до конца. И довел. Мне почему-то очень хотелось непременно довести записи до пятилетней годовщины, но тогда срок этот представлялся недосягаемым. Но вот он приблизился. А я заболел. И когда меня уложили по поводу инфаркта, я продолжал писать. И все считал: пять лет без двух недель, пять лет без пяти дней. И вот сегодня ровно пять лет. Ни разу в жизни я не работал так систематично. К чему это привело? Ну, все-таки. Я начал свободнее чувствовать себя в области, где прежде терялся, — в прозе. Чувство глухонемоты иногда исчезает. Иногда чувствую, что приближаюсь к натуре на тон (Жеймо). За эти пять лет написал я, кроме этих тетрадок, три сценария, из которых один не принят, три пьесы — две получились не ахти<sup>256</sup>. Обозрение для Райкина (с Гузыниным). Кончил «Медведя» (в прошлом году). Сделал из своих записей несколько рассказов. Одно время что-то терял (с драматургией). Сейчас лучше. Пятилетие!

26 июня

Следующая фамилия Зандерлинг Курт Игнатъевич.

Сутулый, длиннолицый. Нос горбатый и чуть приплюснутый вместе с тем. Большеротый. Общее выражение — серьезное. И что-то непреодолимо немецкое начисто снимает то, что есть семитического в его чертах. Тоненькая, сутулая, высокая, прилежная фигурка.



Что-то, может быть, от гелертера<sup>257</sup>. Вот привезли свежий хлеб. Дачники выстроились в очередь. Курт Игнатъевич, углубившись в чтение, двигается к цели.

27 июня

«Что вы читаете, Курт Игнатъевич?» Он предлагает мне взять эту книжечку почитать. Я заглядываю и убеждаюсь с почтением и завистью, что мне это, увы, недоступно. Это изданная малым форматом, переплетенная в красный сафьян партитура Третьей симфонии Брамса. И из разговора с Зандерлингом узнаю я, что, по его мнению, Брамс — великий музыкант. А Жан-Кристоф говорил о нем просто глупости<sup>258</sup>. Столь же почтительно отзывается он о Брукнере. А о Малере говорит, что он слишком уж хорошо знал оркестр. И что его язык сегодня вдруг стал непонятен. Когда гуляю я, ищу грибы в леске за безымянным переулком, то на поляне среди сосен вижу сутулую знакомую фигуру, в очках, с листами партитуры. Зандерлинг шагает взад-вперед, и когда подхожу я ближе, то слышу, как он шипит. Это его особенность. Некоторые дирижеры поют, а он, погружаясь в свою музыкальную стихию, с лицом напряженным, строгим и торжественным, — он то и дело, словно собираясь произнести нечто таинственное и важное, надувает губы, приоткрывает рот, но не произносит ни слова, а только шипит. Говорит за него оркестр. Готовил он Третью симфонию Рахманинова и называл эту поляну своим кабинетом.

28 июня

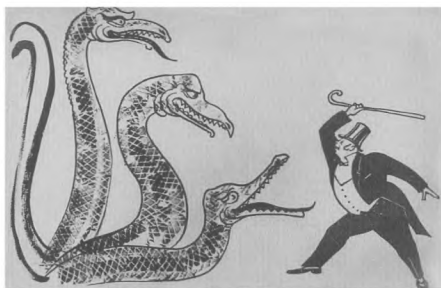
Музыка для музыкантов и в самом деле есть способ мыслить. Жизнь меняется, появляются новые мысли, по-новому оценивают они старых мыслителей. К Бетховену отношение двойственное. Что-то в нем они принимают, а что-то не вполне. О Моцарте говорит Зандерлинг всегда с благоговением. Бах для него велик без всяких оговорок. В отличие от «лабухов», настоящий музыкант Зандерлинг много знает о музыке и кроме музыкального мышления владеет и другими его видами. Как-то зашел разговор о неслыханной производительности Баха. Разговор начался с того, что я спросил, почему у протестанта Баха есть мессы. И Зандерлинг объяснил, что, поссорившись со своим герцогом, Бах решил уйти.



*Н.П. Акимов.  
Афиша «Тени».*



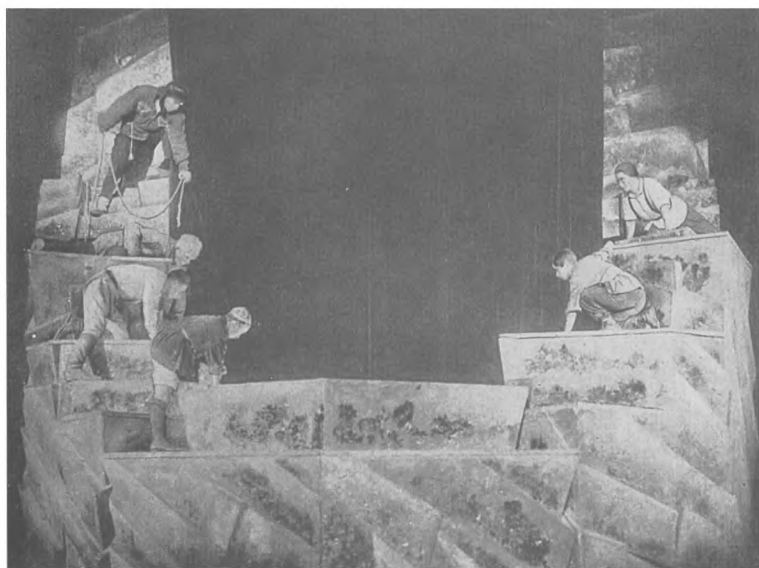
*Н.П. Акимов.  
Афиша «Дракона».*



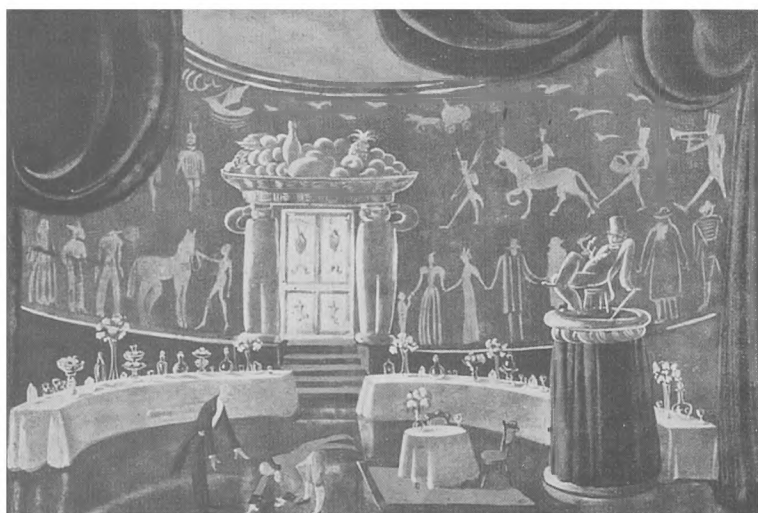
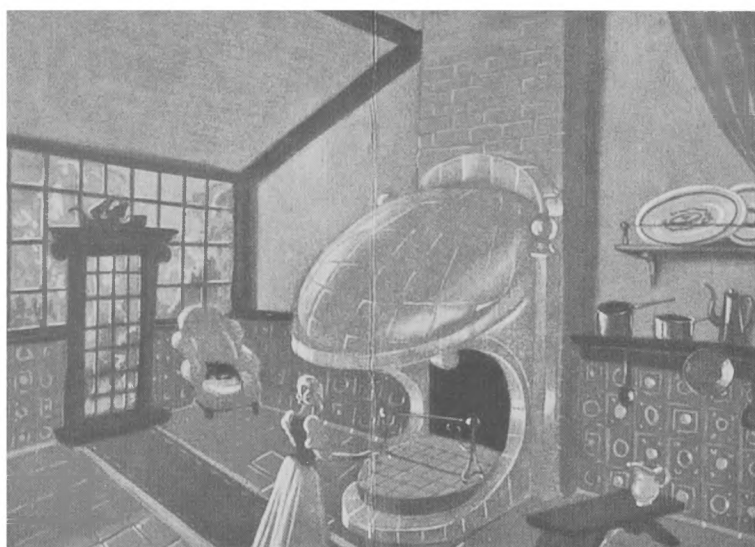
*Н.П. Акимов. Иллюстрации к пьесе «Дракон».*



*Сцены из спектакля «Клад».*



*Ленинградский ТЮЗ. 1933 г.*



*Н.П. Акимов. Эскизы декораций к спектаклю  
«Обыкновенное чудо». 1956 г.*



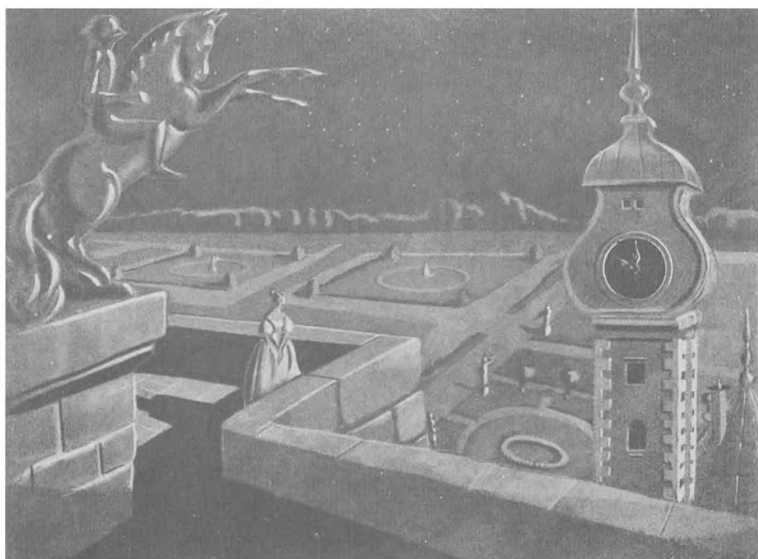
*Б.М. Тенин, И.П. Гошева, Е.Л. Шварц на репетиции спектакля  
«Тень» в ленинградском театре комедии. 1940 г.*



*Сцены из спектакля «Дракон».  
Ленинградский театр комедии. 1946 г.*

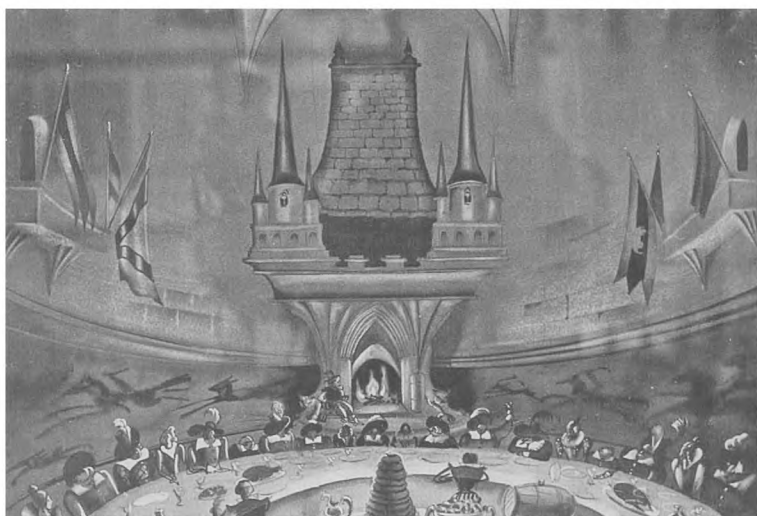
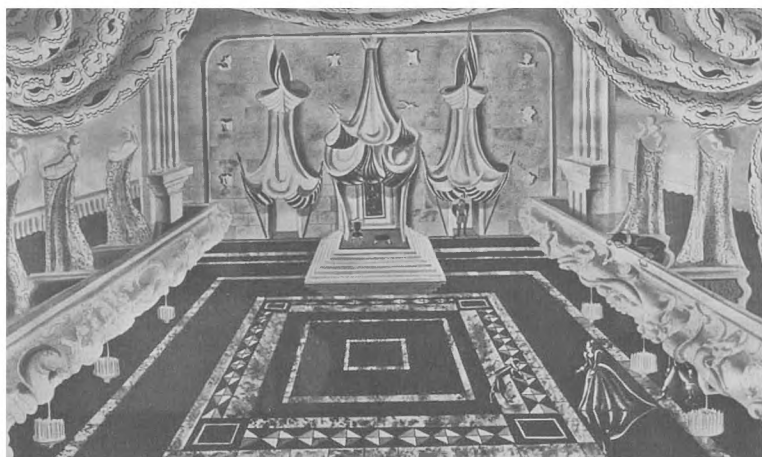


*Сцена из спектакля «Повесть о молодых супругах».  
Ленинградский театр комедии. 1947 г.*

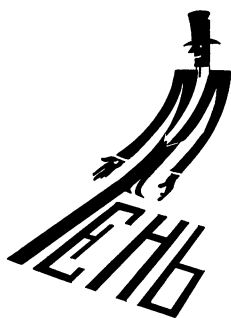
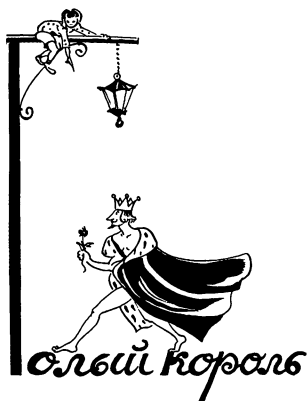


*Эскизы декораций к спектаклю «Тень»  
в Ленинградском театре комедии.*





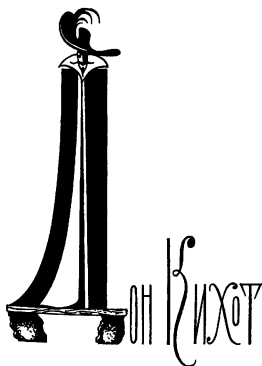
*Н.П. Акимов. Эскизы декораций к кинофильму «Золушка». 1946 г.*



СКАЗКА в 3-х ДЕЙСТВИЯХ

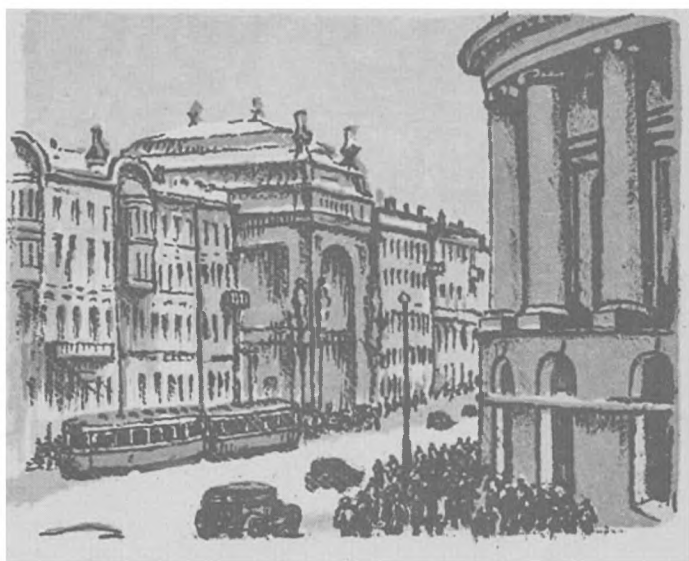


КИНОКОМЕДИЯ



ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Обложки книг Е. Шварца. 40-е гг.



*С. Юдовин. Театр Комедии.  
Блокадная открытка. 1944 г.*



*Дружеский шарж, подаренный Е.Л. Шварцу  
на его юбилейном вечере в Доме писателей им. Вл. Маяковского.  
Октябрь 1956 г. Ленинград.*



*Е.Л. Шварц. 50-е гг.*



*Екатерина  
Ивановна Обухова,  
вторая жена  
Е.Л. Шварца. 50-е гг.*



*Е.И. Шварц на встречах с юными читателями.  
Середина 1940-х гг. Ленинград.*



*Е.Л. Шварц. Середина 1940-х гг. Ленинград.*



*Е.Л. Шварц с дочерью Н.Е. Крышановской  
и внуками Андреем и Машей.*





*Последние годы.*

29 июня

И написал для дрезденского двора, куда собирался он уйти, мессу. Он ссорился с начальством, дирижировал хором мальчиков, учил их пению, писал кантаты к каждой воскресной службе и оставил чуть ли не восемьсот опусов. «Вот они, люди восемнадцатого века», — сказал я. «Не в этом дело! — возразил мне Зандерлинг. — Просто Бах думал, что он ремесленник. Романтики брали отсюда (и Зандерлинг указал на сердце). А Бах отсюда (и Зандерлинг развел широко руками). У Баха не опускались руки перед величием музыки. Он думал, что он ремесленник». Женат Зандерлинг на Нине Игнатьевне, тоже худенькой, высокой, тоже в высшей степени проникнутой немецким духом женщине. Она очень приветлива, очень вежлива и чем-то трогает за сердце. Тем, что много пережила и так подтянута? Вежливостью? Живостью? Трогательными, но тщетными попытками овладеть русским языком? От года к году труднее ее понимать! Не берусь объяснить. Но каждый раз, когда вижу я удлиненное ее лицо, с узенькими глазами, забавное, словно сделанное, — мне становится весело.

30 июня

Я был в Филармонии, когда дирижировал Зандерлинг Третьей симфонией Рахманинова.

Пройдя крутыми лестницами, где курили музыканты в своих черных костюмах, крахмальных воротничках, буднично-праздничные, словно официанты, и на тот же лад озабоченные делами далеко не музыкальными, но вполне земными, миновали мы актерские фойе, полные теми же черными фигурами. Здесь царило то же: одни перешептывались озабоченно, другие рассказывали что-то вполголоса, далеко не деловое, зато вполне непристойное. Есть любопытная связь между математической одаренностью и одаренностью музыкальной. Зандерлинг рассказал, что у Моцарта была обнаружена очень солидная математическая библиотека. Многие математики, и крупные при этом, были отличными музыкантами. Но музыкальная одаренность имеет связь и с другой, куда менее абстрактной, стороной человеческой жизни. Сережа Иванов, поступивший в Петроградскую консерваторию в 14 году, рассказывал, когда я с ним познакомился, одобрительно: «В консерватории понаслушаешься! Там народ по тра-

диции — сплошь похабники!» Я боюсь утверждать, что это так; может быть, просто где много мужчин, там казарма, но пока я иду по мраморным, дворцовой высоты переходам с бархатными драпировками, дух оркестрантов, или «лабухов», со своим жаргоном, со своим самоуверенным от презрения ко всем законам видом, смущает меня. Но вот прохожу я в директорскую ложу — собственно говоря, в часть нижней галереи, отделенной от остальной барьером, и занимаю место на диванчике. Я не люблю ходить в концерты, потому что, на беду свою, как я уже говорил, настоящей любовью к музыке не одарен. Когда слушать мне ее приходится в назначенный вечер, лень моя бунтует. И я стыжусь этого. И заставляю себя собраться. А внимание не подчиняется, а рассеивается. И я отвлекаюсь — разглядывая публику, с озлоблением думаю о громоздкой машине, что действует, дымя и скрипя, для того, чтобы послушал ты музыку, посмотрел спектакль.

1 июля

Но вот вдруг, в отличие от театра, свет в зале не гаснет, а вспыхивает. Над эстрадой загорается огромная хрустальная люстра. И ощущение торжественности предстоящего приводит меня в чувство. Музыканты за пультами совсем уже не те, что на лестнице и в фойе. Они внимательно настраивают инструменты. «Лабухи» «лабухами», но ведь каждый из них владеет инструментом, музыкальным — шутка сказать! Вон литаврист наклонился над гигантским своим котлом, постукивает по туго натянутой плоскости, и я вспоминаю, что, кажется, литавристу полагается обладать абсолютным слухом, чтобы перестраивать свой инструмент на ходу. Как называются эти инструменты? Кларнеты? Или я путаю? А это, кажется, туба? Я не удосужился узнать даже названия инструментов. О, холодность! Недаром я так распущен, распущено мое внимание. Бродит вокруг да около, вместо того чтобы овладевать предметом, о, разврат, неизбежное следствие холодности! Я браню теперь уже себя. А беспорядок в оркестре постепенно затихает. Контрабасисты покорно стоят возле своих долгошеих контрабасов. Иные скрипачи еще касаются кончиками пальцев струн, не то принаравливаясь, не то сомневаясь в точности настройки. И вот на верхней галерее вспыхивают аплодисменты, подхватываются задними рядами

партера и сдержанно замирают в первых. Появился Зандерлинг, сутулый, тонкий. Несмотря на фрак и открытый жилет, сохраняет он все ту же наивную сосредоточенность гелертера. Поднявшись на свое место, кланяется он залу, отвечает на аплодисменты вежливой улыбкой, показывая крупные, чуть выдвинутые вперед зубы. И через мгновение он уже отвернулся от публики к музыкантам. И стоит неподвижно, легко и вместе строго постукивая тоненькой своей дирижерской палочкой по пюпитру. Требуя сосредоточенности от нас и готовности от музыкантов. И вот он взмахивает рукой — и нет больше «лабухов», нет музыкантов, а есть оркестр. И я удивляюсь, как мог я забыть, что меня ждет. Да, я не владею музыкой, но она овладевает мной. И я стыжусь мыслей, разбивавших только что мое внимание. Точнее, сожалею себя свысока, снисходительно.

2 июля

Все чувства проникнуты тем, что совершается на огромной эстраде. Вот смычки разом поднимаются над головами скрипачей. Вот они падают и снова поднимаются. Скрипачи опускают скрипки, опирают их на колено, но сохраняют сосредоточенность и готовность. Вдруг я слышу удивительной чистоты звуки и, к радости своей, чувствую, что у меня сжимается горло. Вот как может звучать флейта, оказывается. Вот как я, оказывается, чувствую музыку! И музыка имеет смысл. Какой — не понимаю. Я слежу не за ней. Симфония подчинила и преобразила строй моих мыслей, как преобразило бы их сильное чувство, даже страсть. И я слежу за строем своих мыслей. Я если и понимаю симфонию, то отраженно, приблизительно. Вот симфония окончена. И я, измученный слабостью, безнадежностью моей любви к музыке, взбудораженный близостью, не перешедшей в обладание, иду в артистическое фойе. Там Зандерлинг без фрака, мокрый, с полотенцем на шее, окруженный друзьями и поклонниками, весело посмеивается, показывает крупные зубы. Кажется, что он после многих трудов и опасностей добрался, наконец, до берега. Весь его вид и полотенце на шее подтверждают это ощущение. «Флейтист? — говорит он. — Да, флейтист у нас удивительный. Вряд ли о каком-нибудь оркестре в Европе найдется лучше. И при этом — такой дурак!»

3 июля

И на некоторое время почудилось мне, что в настоящем обладании музыкой есть нечто, затемняющее предмет, как и в моей безнадежной любви. У них любовь была слишком спокойная — так мужья любят жен, не говоря об этом, да иной раз и не понимая этого. Что-то уж больно домашнее. Бытовое. Но Зандерлинг знал законность и другого отношения к музыке. Я спросил его об одной пианистке, которая все металась, как в тревоге или в жару. Не находила себе места. Одно время носила тунику. И все что-то искала, проповедовала. Я спросил, верно ли говорят, что она сумасшедшая. И, сохраняя наивно, до крайности внимательное гелертеровское выражение, Зандерлинг ответил: «Не знаю. Может быть. А может быть, она и есть нормальный музыкант, а мы не нормальны?»

4 июля

Если к своему собственному делу, к литературе, я подходил в двадцатых годах на цыпочках, переулочками, — то к музыке подойти ближе, чем рассказано, я никак не могу. Во втором отделении играл Святослав Рихтер концерт Рахманинова. Он сидел лицом ко мне, и я видел, как изменился он, едва начал играть. Пришли в движение брови, губы, голова. Вначале мне показалось, что в движениях его есть что-то нездоровое, жеманное, я отвернулся и только слушал. Но постепенно я поверил, что движения его произвольны, как шипение Зандерлинга, которое иногда различал я даже через оркестр, как выражение напряженного внимания на лицах оркестрантов. Музыка охватывала музыкантов, как страсть, не отнимая рассудка, но преобразовывая и подчиняя его себе. По дороге домой я думал, что музыканты-исполнители беспринципны. На этом уровне очень уж много виртуозов, соединяющих в своей программе композиторов, которые, встретившись, не поняли или возненавидели друг друга. Впрочем, не мое это дело. Меня так часто ужасало непонимание людей, обожающих литературу, но не умеющих читать, в сущности. Чего я выясняю отношения с музыкой? Чего я хочу? У меня есть место вполне определенное и почтенное: в зале. Сиди и слушай внимательно. И все.

9 июля

На букву «И» — один телефон: Издательство «Искусство». Помещается это учреждение в Доме книги, где столько было пережито в 20-х годах. Но я сам и то издательство, в котором изредка приходится бывать, до того не похожи на авторов и издательства тех лет, что никаких воспоминаний у меня не возникает. Тут у меня вышел однажды разговор, особенно разительного подчеркнувший эту разницу. Было это года три назад. Издательство заговорило о том, чтобы издать мои детские пьесы. Я согласился. «Напишите заявление», — сказал директор. «Какое заявление?» — «О том, что вы просите издать такие-то ваши пьесы». И этот порядок в издательстве, где автор подает прошение, привел меня в отчаяние. И книжка так и не вышла.

Перехожу к букве «К». Первой в телефонной моей книжке стоит фамилия: Кошеверова Надежда Николаевна. Познакомились мы с ней давно, в начале тридцатых годов. Как — совсем забыл.

10 июля

Тогда она была замужем за Акимовым... У Акимова бывал я сначала с пьесой «Приключения Гогенштауфена». Потом с «Принцессой и свинопасом», потом с некрещеной и неудачной комедией для Грановской, потом с «Нашим гостеприимством» и, наконец, с «Тенью». Семь лет. И только через два года он познакомил меня с черной, смуглой, несколько нескладной, шагающей по-мужски Надеждой Николаевной, ассистенткой Козинцева. Говорила она баском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Именно так. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре. Вскоре с Акимовым они разошлись. Вышла она за Москвина, и родился у нее Коля. И он успел вырасти и превратиться в очень хорошенького восьмилетнего мальчика, когда завязалось у меня с Надеждой Николаевной настоящее знакомство, непосредственно с ней, — она ставила мою работу, а не Акимов. «Золушку».

11 июля

Начал писать «Золушку» в Москве. Сначала на тринадцатом этаже гостиницы «Москва». Потом в «Балчуге», потом в «Астории», когда приезжал я в Ленинград по вызову «Ленфильма». Война шла к концу, и вот мы вернулись, наконец, в опустевший и словно смущенный Ленинград. Но ощущение конца тяжелейшего времени, победы, возвращения домой было сильнее, чем можно было ждать. Сильнее, чем я мог ждать от себя... А город, глухонемой от контузии и полуслепой от фанер вместо стекол, глядел так, будто нас не узнает. Но вот вдруг я неожиданно испытал чувство облегчения, словно меня развязали. И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием. Песенки получались легко, сами собой. Я написал несколько стихотворений, причем целые куски придумывал на ходу или утром, сквозь сон. И в этом состоянии подъема и познакомился я как следует с Кошеверовой. Она писала рабочий сценарий, и мы собирались у нее обсуждать кусок за куском.

13 июля

И потянулся легкий и вдохновенный, можно сказать, период работы над «Золушкой». И это навсегда, вероятно, установило особое отношение мое к Кошеверовой. словно к другу детства или юности. Что-то случилось со мной, когда вернулись мы в Ленинград. словно проснулся.

23 июля

Надежда Николаевна после «Золушки» хотела поставить еще одну картину по моему сценарию, но ничего с этим не получилось. Но так или иначе продолжала она работать без простоев, столь обычных у режиссеров в прошедшие годы. И Козинцев, полушутя, жаловался: «Надя опять мечется с монтировками в зубах». «Я чувствую, что с Надей все кончено. Она опять утонула в монтировках». И в самом деле — в работе она была на зависть вынослива, неуступчива, неутомима. И делала то, что надо. Не мудрствуя лукаво. Убеждена была она в своей правоте без всяких оглядываний. И когда друзья налетали на нее по тому или другому случаю, касающемуся ее режиссуры, она в ответ только посмеивалась, баском. И хотел написать — поступала по-своему.

Но вспомнил, что в тех случаях, когда доводы оказывались убедительными, она спокойно соглашалась. Нет, упрямство ее было доброкачественным. А иногда оставалась при своем, хотя друзья налетали строго и темпераментно, — Надя была отличный парень, великолепный товарищ. Во-первых, не обижалась. А во-вторых, обидевшись, так и сказала бы, а не ответила бы ударом из-за угла. Чего же тут стесняться. Так вот она и живет. И дом на ней. И работа... Не мудрствует лукаво, славный парень, отличный товарищ. И в работе, и дома, и с друзьями.

Следующая фамилия — Конашевич Владимир Михайлович. Его одарил господь легким сердцем. Это не обидчик, как Лебедев. Черные мягкие глаза.

24 июля

Мягкое, но никак не искательное выражение лица. Некоторая мягкость, но никак не полнота фигуры. Воспитанность. Мягкий теноровый голос. И все это от природы, но не от желания импонировать. Легкий человек. Плохие мальчики — Лебедев, Лапшин, Тырса — косились несколько на Конашевича. Он казался им слишком хорошим мальчиком, слишком воспитанным «Миром искусства». Но признавали в нем художника. Несмотря. С легким пожиманием плеч. По крови украинец, даже запорожец, потомок того Сагайдачного, что «променял жинку на тютюн да люльку, необачний»<sup>259</sup>, Владимир Михайлович не унаследовал воинственности предков. Не лез в бои. И жил всегда в Павловске. В стороне. С краю. И не менял жену на тютюн да люльку — семья его оказалась прочной. Я приехал к нему в тридцатых годах на блины с Маршаком, который все не мог выбраться в путь, охал, терял палку, портфель, кепку, и в дороге задыхался, и, приехав, повалился на диван. С Олейниковым, который от ненависти к Маршаку слишком шумел за столом. С Лебедевым, который, как символ веры, провозглашал, что он ест, а что не принимает в пищу. «У меня есть такое свойство». И среди этих неблагополучных людей благополучие дома Конашевичей могло показаться изменой. Спокойно! Легко! Хозяин сыграл с дочкой дуэт на скрипках! Впрочем, может быть, играл он один, или она одна, — все равно неукладистые гости, вспоминая, пожимали пле-



чами. А сейчас вдруг видишь, что Конашевич не поднимал шума, с легким сердцем ни на шаг не уклонился от своего пути. Жил, как ему свойственно. И выяснилось, что свойственны ему вещи настоящие. Делать настоящие вещи и при этом без тиранства. Без мозолящего глаза щеголяния силой и непримиримостью. Мягко, но непримиримо, с легким сердцем, но упорно действовал он так, как ему свойственно. Ну и хорошо, и слава богу!

25 июля

Следующая фамилия — Козинцев, но о нем писать решительно не могу. Сейчас я работаю с ним, и взгляд на него отсутствует. Его изящество. И снобизм, родственный и Акимову, и Москвину, уходящий корнями в двадцатые годы. Самолюбие и отсюда скрытность. Талантливость. Знание настоящее. И все это окрашено его собственным цветом, имеет особую форму. Это его талантливость, его снобизм, его злость. А когда работаешь с человеком, на одно закрываешь глаза, другого не видишь.

Следующая фамилия — Козаков, Миша Козаков. Об этом трудно говорить по другой причине. Он слишком уж далеко. На том свете. Недавно, на второй или третий день съезда, в Доме писателей в Москве мы были на гражданской панихиде о нем. Он лежал высоко, кругом венки, а мы, соблюдая очередь, стояли в почетном карауле. Маленький, красивый, черненький Миша Козаков стал за годы нашего знакомства болезненным, обрюзгшим. Волосы поредели. Ходил он с палкой. И вот увидели мы его мертвым. И проводили на Немецкое кладбище в Москве, до сих пор не по-нашему прибранное. Проводили, полные растерянности, — уж очень сразу он свалился. От больного человека не ждешь конца. Напротив. Столько раз слышал, что ему плохо, и столько раз удавалось ему выжить. И вот вдруг — конец.

26 июля

Искренняя доброжелательность — вещь редкостная, а у Миши Козакова, когда мы встретились в двадцатых годах, сохранялось в этой самой доброжелательности что-то студенческое, особенно привлекательное. Он хо-

тел, разговаривая, понравиться и подружиться... У Миши обнаруживалась решительно склонность к проблемам. Но времена пошли суровые. Лапповцы<sup>260</sup> принялись его школить весьма свирепо. Он сам сказал как-то, выступая на одном собрании, что его, как бобра, гоняют по кругу, чтобы он поседел от ужаса и повысился в цене. И принялся Миша, оставив проблему, за многотомный труд: «Девять точек»<sup>261</sup>. Со студентом роднила Мишу общественная жилка. Он занимался делами общественными по склонности душевной. И если ему нравилось, что его выбирают, что он в руководстве, то и обязанности свои выполнял он честно.

27 июля

Особенно хорош оказался Миша Козаков как редактор. Он отлично вел «Литературный современник» и расцветал в редакционной среде<sup>262</sup>. Жил журналом, сиял, угадывал, чем жив сегодняшний день, шел, улыбаясь, к автору, по-студенчески стараясь подружиться с ним и понравиться ему.

28 июля

Миша Козаков жил интересами литературы. Нет, о нем надо рассказывать иначе. Начну сначала. И не сплошным рассказом, а по годам. Впервые я воспринимал их как-то всех вместе, новых писателей, появившихся во второй половине двадцатых годов. Лавренев, длиннолицый, в очках. Олейников уверял, что подобные лица нарисованы на спинках длинных красных плоских жуков, что вечно мы видели в детстве, под кустами. Когда Лавренев смеялся, то поднимал недоумевающе брови. Браун<sup>263</sup>, замкнутый, с сероватой кожей, и такими же бровями, и такими же глазами, не улыбающийся. Четвериков<sup>264</sup>, высокий, широколицый. Отчаянный, чуть шепелявый, с веселым и разбойничьим взглядом Борисоглебский<sup>265</sup>. Занятый собой, детской литературой, не веря, что вне нашего отдела есть настоящие писатели, я не скоро научился отличать их всех друг от друга.

29 июля

Хорошенький. Чуть покатый лоб, который он многозначительно морщил. Черные глаза, которые он многозначительно открывал. И неудержимое праздничное

сияние. Радуюсь, развивал он передо мной тему, проект вещи, которую интересно было бы написать. Сын, мальчик-подросток, не уважает отца. Он пионер. Как ему поступить? И, рассказывая, Миша приговаривал: «Это проблема! Этого не решишь просто!» И, сияя, поглядывал на меня. И я узнавал студента, который охотно выступал в свое время в литературных судах над Раскольниковым или героями пьес Андреева. Он еще любил слово «проблема». Оно его вдохновляло и веселило, и он широко открывал свои черные глаза.

30 июля

Он был и общественником на студенческий лад. Такие сияющие, легкие, веселые распорядители с бантами носились на вечерах своего землячества. Они радовались тому, что распорядители, но вместе с тем делали свое дело самоотверженно. Так и Миша. Когда во время кампании против хулиганства попал по роковому своему характеру под суд Пантелеев, — выручил его Козаков. Дело слушалось без сторон. И Миша Козаков явился в восемь утра в качестве свидетеля со стороны Союза писателей. Объяснить суду, что Пантелеев никак не хулиган, а подающий надежды писатель, автор книги, отмеченной самим Горьким<sup>266</sup>. И Миша выполнил свою задачу с таким увлечением, что председатель остановил его... Но Пантелеев был спасен...

31 июля

Встречались мы не часто, но прожили в одном кругу, тесном кругу, уже более десяти лет, радовались одному и тому же, и ужасали нас в основном одни и те же явления. В начале тридцатых годов были мы уже на ты. А с 34 года поселились в одном и том же доме, в писательской надстройке. Миша развелся с прежней своей женой, с которой я не был знаком, и женился на Зое Никитиной. О Зое мимоходом не рассказать, а отступать от основной линии описания не хочется. Скажу только, что считалась она женщиной красивой, богатая фигура, небольшая голова, гладкая прическа, огромные глазища, по-восточному темные. Была Зоя греческого происхождения и унаследовала бешеную энергию своего племени. Голос низкий. Хрипловатый. Психическое здоровье — как у парового катка. И она, и Миша всем существом своим были преданы интересам литера-

турным. Когда кончился РАПП<sup>267</sup>, стал Миша редактором журнала. И со студенческой энергией, которая все не отсыхала, ринулся он вести «Литературный современник». Незримый бант распорядителя трепетал на его груди. Он радовался тому, что распорядитель, но работал самоотверженно.

1 августа

Войну Миша принял тяжело. Он не принадлежал, как выяснилось, к верующим, к людям, не сомневающимся, что бомба предназначена не ему, но соседу. Жарким летом 41 года тревоги объявлялись часто — разведчики летали над городом. И никто не уходил в бомбоубежище. Мы сидим у Эйхенбаумов, идет обычная беседа тех дней: слухи о движении фронта. За окнами — стук, сухой и резкий: играет в домино какая-то команда, расквартированная в нашем дворе. Сигнал воздушной тревоги был дан минут десять назад, но ничего не прибавил к унылой, ноющей, предблокадной тревоге, не оставляющей ни днем ни ночью в те июльские дни. Да еще не улеглась тоска по уехавшим детям, во главе которых отправилась Зоя. Что нам этот ежедневный бесплодный вой сирены. И вдруг Миша встает и говорит: «Товарищи, пойдемте в бомбоубежище».

2 августа

Сначала мы принимаем это за шутку. Но он настаивает. Сияние — отсутствует. Ничего студенческого ты в нем теперь не обнаруживаешь. Это говорит взрослый человек, на своей шкуре испытавший, как неумолимы и механичны враждебные силы, если приведены в действие. За пережитые годы в его многозначительно нахмуренный лобик палили из орудий, говорили ему невесть что прямо в сияющие, многозначительно открытые глаза. Даже друзья, такие, как Лавренев, бросались вдруг на него, захваченные течением. Миша, переживший столько собраний, знал, что бомба попадет в человека ни за что ни про что. Просто если окажешься ты в полосе поражения. «Идемте в бомбоубежище», — звал он нас, как старший неразумных детей, но мы отказались. И он ушел в одиночестве. И мы поругали его дружно, с наслаждением. Очень утешали в те дни разговоры о чужой робости.

7 августа

Судьба не посчиталась с Мишиным желанием уцелеть. И его простодушием. Мы поехали на Пятницкую. По дороге узнал я, что, по всей видимости, тот страстный интерес к литературным делам, которым он жил, и убил его. Миша вечером поехал в Союз за гостевым постоянным билетом. Продержали там ожидающих до глубокой ночи. Тревожили их различные неясные и невеселые слухи. Так они и уехали ни с чем. Утром позвонили Мише, что билет для него получен, чтобы ехал он в Союз. Но он только и успел спуститься вниз. Обратное привели его под руки. В маленькой квартире толпились, когда мы приехали, растерянные и словно виноватые друзья. Зоя плакала в спальне, окруженная писательскими женами. Она метнулась нам навстречу. Мы поцеловались. «Вы только берегите себя, берегите себя», — повторяла она горячо. И тоже растерянно и как бы виновато.

8 августа

Из трусости оборвал я рассказ о Козакове. Буду продолжать, хоть и не хочется писать о смерти. Он лежал на столе в комнате возле, и впервые его побаивались, хоть он и улыбался едва заметно. Мы постояли возле, не зная, что говорить в смятении чувств. На другой день в Доме журналистов состоялась гражданская панихида. Приехал Федин. Оставил свое председательское место на съезде Фадеев, стоял у гроба в почетном карауле, седой, краснолицый, строго глядя прямо перед собой. А съезд продолжался без живых и мертвых. Там, в перегретых залах Дома Союзов, слонялись делегаты. Проектора оскорбительно лупили прямо по глазам и меркли, будто насытившись. А здесь Федин, говоря надгробную речь, вдруг стал останавливаться после каждого слова. Молчал, побагровев, потупившись. Борясь со слезами. И Мишу ему было жалко. И вспомнилось, наверно, как хоронил недавно жену. Да и себя пожалел — трудно, стоя у гроба, не думать и о своем возрасте, и о своей судьбе. И Федин сохранил до наших дней студенческие черты. Только не распорядителя на вечеринке, а покрупнее. Председателя землячества. Знающего, что кроме всего прочего он еще и красив. Но был он по-студенчески прост и добр. А когда кончилась панихида, двинулся гроб к распахнутым на обе

створки дверям, прямой, несгибающийся, почтительно поддерживаемый со всех сторон провожающими, — где же ты, легкий, покладистый Миша! На Немецком кладбище, куда добирались мы долго-долго, сохранилась еще нерусская подтянутость.

9 августа

Затем свернули мы с главной аллеи налево, с трудом пробираясь по сугробам среди чугунных решеток к свежеразрытой земле, где ждали могильщики с лопатами и веревками. И здесь вдруг над открытой могилой заговорила Марина Чуковская. Так не шел ее уверенный, столько лет знакомый голос к венкам и крестам. И я испытал желание закрыться или убежать. Ужас неловкости охватил меня. И медленно растаял. Знакомый женский голос говорил о самом главном, забытом в смятении чувств. О доброкачественности душевной, порядочности и страданиях Миши Козакова. Потом постояли мы над прикрытой венками могилой, не зная точно, сколько времени положено это делать, переглядываясь. И наконец отправились по узкой дорожке, протоптанной в сугробах между чугунными оградами к главной аллее.

Следующая фамилия — Казико. Увидел я ее на сцене впервые в 24 году. Голос низкий, иной раз с тем надломленным звуком, что бывает у мальчиков-подростков, лицо, показавшееся мне ослепительным. Я в этом подвале на Троицкой, где открылся театр-кабаре «Карусель», в своих стоптанных ботсах и обмотках, со своей запутавшейся жизнью, едва смел разговаривать с актерами. Но как мне нравилась Казико! Она была проста, однако я терялся, едва входила Ольга Георгиевна в темный театрик-кабаре. И не смел не то что заговорить, даже поздороваться с ней. Самые прожженные и непристойные волки и крысы с Казико были ласковы и почтительны. Такой лаской веяло от нее. Лаской таланта и женственной прелести. То один, то другой вдруг завязывал длительные беседы с ней. О жизни. Вообще. А я поглядывал и не завидовал.

10 августа

В то странное время я все видел и ощущал как бы приглушенно. Через пыль. Так что моя влюбленность

переживалась ослабленно. Как бы сквозь сон. Я просыпался в те годы, но оцепенение сна еще владело мной. Я написал для кабаре «Карусель» первую свою пьеску под умышленно длинным названием «Три кита уголовного розыска, или Шерлок Холмс, Нат Пинкертон и Ник Картер». Пьеску эту лихо оформил Акимов, лихо поставил кто-то, чуть ли не Вейсбрем, лихо разыграли актеры, их всех хвалили, а про меня и не вспомнил никто.

И я считал, что так и следует. Впрочем, так оно, вероятно, и было, — вряд ли эта пьеса чего-нибудь стоила.

11 августа

«Умные речи и дурак поймет», как говорится. Не знаю, в этом ли разгадка, или зритель умнее, чем кажется? Если вывести его из рассосредоточенности, указать, куда смотреть, он все начинает понимать не хуже других, по-видимому. Едва появлялась на сцене Казико, зритель преображался. Однажды сидел я в зале во время спектакля, и кто-то подшутил над фамилией — Казико. И тотчас же некий человек в визитке, с пробором, до сих пор не проявлявший признаков жизни, как и подобало пижону тех лет, вдруг с яростью обрушился на обидчика. Он кричал об уважении к актрисе. О том, что Казико — хорошая, старая казачья фамилия. О культуре и об искусстве. Спутники успокаивали его, а он ворчал: «Да нет, в самом деле. Обижают молодую талантливую артистку. Есть предел... некультурности». А играла Казико в какой-то ничтожной пьеске — никак не могу ее вспомнить. Но такой победительной силой таланта и женственной прелести веяло от нее, что даже несокрушимые пижоны из уцелевших и те проникались почтением к артистке.

14 августа

И вот пришла война. Казико еще в 28-м, кажется, году вернулась в Ленинград, в Большой драматический театр. С огромным успехом выступила в «Разломе»<sup>268</sup>. И осталась в этом театре. И вместе с ним эвакуировалась в Киров областной, куда попали и мы. Большой драматический театр состоял из нескольких наслоений: монаховское, группа Дикого, и так далее, и прочее. Друг друга они настолько презирали, что даже и не ссорились. В Кирове утонули в бытовых делах с темпераментом, воистину актерским. А Казико держалась

в стороне. Это время совпало с трудным для нее актерским ощущением; она теряла уверенность в себе. Молодость уходила. Театр, чтобы поднять сборы, поставил «Трактирщицу». Казико в Мирандолине успеха не имела. Что товарищи по работе отнесли целиком на ее вину, забыв о количестве репетиций и прочих обстоятельствах. Жила она в том же актерском доме, деревянном, двухэтажном, что и мы. Таскала во второй этаж дрова вязанками, стряпала, бегала на рынок.

15 августа

Есть ощущение, знакомое каждому. Ты погасил свет, думаешь уснуть, но мешает сухой шорох и сухие удары о стену. Это ночная бабочка мечется по комнате. Что тебе до ее горя? Но она бьется головой о стену, с непонятной для ее почти невесомого тельца силой. Ты зажигаешь свет. И она уходит к абажуру лампы под самым потолком, серая, короткокрылая. Может, это и не бабочка вовсе, а ты так и не удосужился за всю свою долгую жизнь спросить, как ее зовут. Если удастся тебе поймать ее, то так отчаянно бьется она о твои ладони и уходит так круто вниз, когда бросаешь ты ее за форточку, что так ты и не знаешь, отпустил ты ее на свободу или окончательно погубил. И некоторое время не оставляет тебя суховатое и сероватое, как само насекомое, ощущение неудачи — неведомо чьей и собственной твоей неумелости.

16 августа

Ничего Казико не имела общего с ночной бабочкой, которую я описал. Похоже было беспокойное чувство, возникавшее во мне, когда слышал я, как третьестепенные актеры ее бранили за то, что играет она недостаточно удивительно. Или когда замечал я вдруг, как много появилось седины в ее стриженных волосах. Каждая девочка осуждала ее за то, что не умеет Казико следить за собой, полнеет. А с мужчинами несчастна, потому что отдает им себя полностью, не рассуждая. «Вот как оно, значит, было», — подумал я и представил себе то, что в те дни сметено было со света: спокойную крымскую ночь в степи, виноградники. При ближайшем знакомстве, да еще в эвакуации, Казико оказалась еще прелестней, чем представлялась. Лишена была бабьей цепкости и хитрости. Как она открылась, так и цвела. И не



считала, что мир обязан ей служить за это. И теперь начинала стареть с достоинством. Но чувство необъяснимое, но отчетливое не оставляло. Все то же чувство чьей-то вины и собственной неумелости. Она не суетилась, не билась головой, но ощущение, что и она попала в какую-то ловушку, появлялось. Иногда. Среди вятской грязи, безобразия, среди воровства чиновников и их высокомерия, под ежевечернее пение солдат: «Прощай, прощай, подруга дорогая» — трудно было задумываться над судьбой женщины, хотя бы и созданной из столь драгоценного материала. А главное, она не жаловалась. Вечерами в нашем театральном доме вечно гас свет, и Казико появлялась у нас в гостях. Впереди шагала маленькая ее дочка с фонарем в руках.словно паж. И не горечь, а радость испытывал я, услышав столь доходящий до сердца, словно тронутый, чуть-чуть расколотый ее голос.

21 августа

Следующая фамилия — Кетлинская Вера Казимировна. Познакомились мы году в тридцатом, когда детский отдел Госиздата кончился и мы стали работниками «Молодой гвардии», если я не путаю. Время, во всяком случае, наступило новое. «Еж» реконструировался, и Кетлинская была назначена туда не то редактором, не то введена в редколлегия<sup>269</sup>.

24 августа

В «Молодой гвардии» я с удивлением убедился, что молодежь, в отличие от школьного возраста детей, схватывается не на шутку. Такая склока стояла в «Молодой гвардии», что просто клочья летели. Ощущения сумасшедшего дома, которое поразило меня в школе, не было. Редактора схватывались и дрались на разумных основаниях. У каждого была своя идея. Как вести дело, уверенность и возрастное неумение уважать кого бы то ни было, кроме самых высоких личностей. Друг друга-то они уж во всяком случае не считали за людей. Кетлинской в подобных склоках доставалось особенно жестоко. Вероятно, несокрушимая последовательность ее веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили ее бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию ее отца, бывшего царского адмирала, перешедшего в Красную Армию и убитого в Архангельске на

улице. Убийца же скрылся. Когда я познакомился с Кетлинской, было общеизвестно, что убит адмирал белыми. Но вот дела Кетлинской ухудшались, склока обострялась. И на свет в чаду и пламени рождалась темная и неясная, но упорная история: отец Кетлинской убит красными. Почему воспитывалась она на счет государства, а мать получила пенсию и продолжала получать, несмотря на новую версию, — оставалось неясным. С Кетлинской в первые годы нашего знакомства отношения были благожелательно-равнодушные. Но мне скорее нравились последовательность ее поведения и бодрость — тоже вытекающие из цельности мировоззрения. Когда ушел я из «Молодой гвардии» в 31 году, то встречались мы от случая к случаю. Но все так же благожелательно. Как-то я даже был у нее в гостях — в тот период, когда была она замужем за художником Кибриком. Жили они в надстройке, окнами на Перовскую.

25 августа

Все было просто, ясно, отчетливо, как аппликации, в мире, созданном Кетлинской. Муж — художник. Гости — умные актеры Коковкин, Никитин и другие. Партийная работа. Писательство. Но мир подлинный бесстрастно разрушил ее домик. Взял да и ушел муж, такой простой, такой медведь. Сообщил ей, что полюбил другую, и попросил понять его. Пришли темные и трагические времена в партийной жизни, и появилась вызванная вечными ее врагами тень несчастного ее отца. Но, встречаясь с ней, каждый раз любовался я на ее выдержку. Ни жалобы. Голос звучит с обычным спокойствием. И врагам не удалось справиться с нею. И к 41 году занимала Кетлинская в Союзе место вполне отчетливое. Состояла в правлении, в секретариате, выходили ее книги.

26 августа

И вышло так, что когда грянула война — Кетлинская оказалась первым секретарем Союза. И вышло так, что я, Рахманов, Орлов и Женя Рысс<sup>270</sup> встречались с ней каждый день и как раз по вопросам руководства.

Жила она, как я рассказывал уже, в надстройке. Ее мать и грудной сынишка, родившийся тоже в нарушение законов созданного ею мира, переселились в бом-

боубежище. Мальчик заболел воспалением легких, Катюша ставила ему банки. Мы постоянно встречались на дежурстве. В самые трудные времена видел я Кетлинскую и на работе и в быту. И должен заявить со всей ответственностью, рад заявить, что оказалась она человеком вполне достойным. И все мы четверо — и я, и Рахманов, и Орлов, и Рысс — сохранили к Кетлинской с тех пор до наших дней вполне дружеские отношения. Тогда как другие члены Союза, стоявшие от нее дальше, прониклись к ней самой искренней и прочной ненавистью, тоже сохранившейся в неприкосновенности и чистоте до сегодня. И ее упорно не хотят выбирать в правление, что доказано и на последних предсъездовских выборах. В чем же дело? А все в том же. Вера Казимировна с полной верой и с полной последовательностью проводила ту линию, которую ей указывали. Не подмигивая и не показывая большим пальцем через плечо: дескать, не я виновата, а высшие силы, мной руководящие. Она брала всю тяжесть в эти тяжелые времена на свои плечи. Распоряжалась и приказывала от своего имени. Ни на миг не позволяя себе усомниться в правильности приказов, которые отдавала от своего имени и от всего сердца. Вот этого ей и не могут простить. И в самом деле — на кого же сердиться? Не на горком же тогдашнего состава. Кетлинская до сих пор вызывает сильнейшее раздражение даже среди людей вполне порядочных. Она для них олицетворяет голод, холод, блокаду, чувство беспомощности твоей и бесполезности. Она — тот Ванька, которому в трудные времена крутили локти и вели сбрасывать с раската. По решению Кетлинской Союз вел творческую работу. Пытался существовать в вымышленном мире.

28 августа

Мир, созданный Кетлинской, не поддавался войне. Не Вера Казимировна придумала слово «дистрофия», например. Но могла бы придумать. Именно с помощью таких легких изменений имен и мог существовать ее дневной, без признака теней, мир. Назови голодающего дистрофиком — и уже все пристойно. Принимает даже научный характер. Холод и грязь — «трудности». Смерти нет. Есть «потери». Но при всем при том Вера Казимировна неустанно хлопотала об облегчении писа-

тельской участи. Хлопотала так, словно бы дистрофия была не лучше голода. Если поначалу ей удавалось сделать немного, — то виною тяжелые времена. И те, кто думает, что для себя она еду добывала, находятся до сих пор во власти своих рожденных в голоде и холоде представлений. Кетлинская очень любила свою мать, маленькую черноглазую старушку, всегда в шарфе, чалмой завязанном на голове, всегда светски оживленную. И никто не хочет вспомнить, что умерла она, бедняга, от дистрофии. А Вера Казимировна делила с матерью последний кусок. В 42 году вышла Вера Казимировна замуж. Зонин<sup>271</sup>, ее муж, был человек с ярким лицом.

29 августа

Седьми волосами. Храбрый на войне, как рассказывали очевидцы. И при этом тяжело изуродованный психически, как это смутно угадывалось. Его первая жена расстреляна была за участие в оппозиции. Если в те времена отделался он только исключением из партии, сохранив свободу и орден Красного Знамени, — то, значит, перетряхнули его до самого доньшка. И невозможно было угадать, где в его душе лицо, а где изнанка. Отпраздновали они свою свадьбу так: каждый из гостей принес кроху своего пайка. Но в Союзе даже хорошие люди, оставаясь во власти темных своих представлений, рассказывают до сих пор о пире, который закатила Кетлинская, когда люди кругом гибли с голоду. И вот война отошла, наконец, в прошлое. Я заходил как-то в новую квартиру Кетлинской. Зонин устроил свою комнату на морской лад, с андреевским флагом. Яркая получилась комната и странная, господь с ней. Беспокойная. А время пришло после войны немирное. И должен сказать, что Кетлинская держалась храбро. На заседании в Смольном, том самом, что было посвящено журналам «Звезда» и «Ленинград», выступила Кетлинская едва ли не единственная с вполне трезвым словом, где заступилась за Берггольц. А враги ее, как всегда оживающие в трудные для Союза времена, зашевелились. Снова появилась тень отца. Один из самых свирепых ораторов наших кричал тогдашнему секретарю Дементьеву<sup>272</sup>: «Ты хочешь въехать в коммунизм верхом на адмиральской дочери!» И вдруг, к величайшему их огорчению, получила Вера Казимировна Сталинскую премию<sup>273</sup>. Жила она все так же спокойно, до-

стойно. Писала. Вела семью, которая выросла. У нее родился сын от Зонина, темноглазый, нежный, необыкновенно трогательный. Однажды он зашел к нам, когда было ему лет пять. Был он бледен. И все ежился, все зевал. Оказывается, утром околел у них котенок, и мальчик все не мог до самого вечера прийти в себя. Просто заболел. Старший, Сережа, в те годы казался куда более простым. Здоровенный. Только над лбом — седая прядь. Словно в воспоминание о днях блокады, когда рос он в бомбоубежище. Старший сын Зонина от первого брака был курсантом.

30 августа

В каком-то военном училище. В морском. И этот мальчик — впрочем, жених уже — был на попечении Веры Казимировны. Всё казалось в семье ясно, лишено теней и углов, несмотря на комнату с андреевским флагом и ее хозяина с ярким лицом, и белыми волосами, и обезумевшей душой. И вдруг, как это случалось в те немирные послевоенные годы, — Зонин исчез. Взяли. Я не знаю, что пережила Вера Казимировна, когда ветер и дождь ворвались вдруг в ее мир, стены исчезли, исчезла крыша. Пронесся смутный слух, что она собирается в Москву, в ЦК заявить, что она не верит, да, не верит в виновность своего мужа. Но не успела. Ее вызвали куда-то. И объяснили, какой нехороший человек Зонин. И Вера Казимировна уверовала в это свято, без малейшего притворства, и стены мира ее, и его своды воздвиглись из хаоса. Она пожаловалась друзьям, что Зонин скрыл от нее ряд фактов из своего прошлого. И отказалась от него со свойственной ей железной последовательностью. И не пошла к нему на свидание, когда его высылали. А времена делались все более мутными. Я говорю о Союзе писателей. Но Кетлинская с вызывающей уважение храбростью занимала позицию вполне ясную. Она одна решилась выступить на общем собрании прямо против скопившейся в союзном воздухе мути, указывая на могучих и мстительных виновников этой мути. Спокойно, достойно, степенно говорила она, и ни один человек не осмелился возразить ей по существу. И речь ее признали даже вечные враги ее. И на съезде выступала она ясно, смело, последовательно, открыто. Вера — великая и очищающая сила. Кетлинская жила в мире, сознательно упрощенном, отворачиваясь от фактов, за-

крывая то один, то другой глаз, подвешивалась за ноги к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому безумцу. И снова она писала, вела общественную работу. Построила себе дачу в Комарове, что далеко не просто. Мальчики подросли. Володя с годами не потерял своей прелести, мягкости.

31 августа

Сереза изменился — и изменился странно: он словно бы раздобрел, но как-то неладно, чуть по-бабьи, — он, здоровенный мужик, пока не овладели им превратности переходного возраста. Это, видимо, так и называлось дома — болезнь роста. Мир и покой не могло нарушить осложнение столь второстепенное. Но времена менялись. И Зонина вдруг освободили. Мы притихли в ожидании. Освобожден был Зонин по болезни. По акту о состоянии здоровья. Таких называли по установившейся терминологии — активированными, в отличие от реабилитированных. Присмет его Кетлинская? Ведь не пересмотрено его дело! Сам Зонин не верил, видимо, в это. Когда, освобождая, предложили ему выбрать город, он назвал Новгород. Но усложнился мир, созданный Кетлинской, изменила она, слава тебе, господи, железной своей последовательности. Забыла она о том, что скрыл Зонин от нее нечто неслыханно преступное в своем прошлом. Приняла она его, приняла! И рассказывает при встрече о его здоровье. И хлопочет вместе с ним о пересмотре дела. Усложнился ли ее мир, смягчил простоту своих законов, или мир вокруг нее изменился — все хорошо! А он, Зонин, появился среди нас все такой же. Лицо яркое, волосы густые, седые. В Доме творчества жаловался он в безумии своем, что попал в плохой концлагерь: все шпионы да антисоветские люди — процентов пять невинно осужденных. А сейчас живет он на даче у Кетлинской. А она пишет, ведет свою выросшую семью, поместила недавно в «Литературной газете» большую статью о романе на производственные темы, и, встречаясь, я разговариваю с ней дружески и с уважением.

1 сентября

Каверин Вениамин Александрович — один из первых моих ленинградских знакомых. После Слонимско-

го и Лунца или одновременно с ними. Встретился я с ним у «Серрапионовых братьев». И сколько я его помню, был он с людьми даже несколько наивно приветлив, ожидая от них интересного. От ученых — что расскажут они что-нибудь научное, от меня, актера, — чего-нибудь актерского. Но тогда же, вскоре, почувствовал я, что и ученых, и актеров видит он как через цветное стекло, через литературное о них представление. Из «Серрапионовых братьев» был он больше всех литератор. Больше даже, чем Федин, которого все-таки судьба пошвыряла до того, как попал он в свой длинный и узенький кабинет с книжными полками. Правда, и Федин продолжал смотреть на мир через цветные стекла, только некоторые из них потеряли окраску, так что он кое-что иной раз видел непосредственно. Когда встретил я Каверина в первый раз, ходил он еще в гимназической тужурке с поясом. Был студентом университета и Института восточных языков. Кончал филологический и арабское отделение<sup>274</sup>. Тут я, может быть, не совсем точен — уверен я только в арабском отделении. Но с филологическим он был связан, писал о Бароне Брамбеусе и издал о нем целую книжку<sup>275</sup>. Дело не в том, кончил он филологический или нет, а в том, что духовно был он с ним связан не меньше, чем с «серрапионами» и вообще с писательской средой, а больше. И к литературе подходил он через литературоведение. И то, что прочел, было для него материалом, а то, что увидел, — не было. Точнее, вне традиции, вне ощущения формального он смотрел, но не видел. В те дни был рассвет формализма. Каверин был близок к Тынянову, самому из них прельстительному и прелестному. Все «серрапионы» любили говорить об острашении, обрамлении, нанизывании, и только один, пожалуй, Каверин принял эти законы органично, всем сердцем. Он веровал, что можно сесть за стол и выбрать форму для очередной работы. Он в те дни вряд ли подозревал о законе, определяющем твою работу: «Человек предполагает, а бог располагает». И платился.

2 сентября

Но, страдая за свою веру, и тени сомнения не испытывал. Вся его судьба, его вера и личная жизнь — все шло прямо и последовательно Жизнь в бесконечном разнообразии своем захотела показать, что способна создавать

и такие благополучные судьбы. После 29 года знакомство наше по ряду обстоятельств стало гораздо ближе. Каверин женат был на сестре Тынянова Лидочке, а Тынянов — на сестре Каверина Елене Александровне. Невозможно рассказывать о близких знакомых. Они так неожиданно и близко вросли в твою жизнь, что писать точно почти невозможно, как делать автопортрет с собственного затылка, пользуясь одним зеркалом. И богатство знаний тебя сбивает с толку. Все не похоже рядом с тем, что ты знаешь. Вот написал я: Лидочка — а как мне передать привычное, немолодое, много раз проверенное представление о много лет сопутствующем нам существе? Чем определить и доказать то, что не требует доказательства, слишком уж известно? Увидел я ее в начале двадцатых годов, когда какое-то серапионовское собрание проходило у них дома, на углу Введенской и Большого. С удивлением увидел я, что дом у Каверина, у мальчика в гимназической тужурке, еще больше налажен, чем у Федина. Настоящая квартира, с мебелью, внушающей уважение. Настоящая чистота, та самая, что зависит только от хозяйки дома. И тут я познакомился с ней, с хозяйкой, с Лидочкой. Бледная, темно-волосая, маленькая, как все Тыняновы, она все помалкивала да поглядывала. И позже узнал я, не без удовольствия, что она, когда смотрела, — видела. У нее был дар, рассказывая, передать то, что заметила, очень похоже и весело. Веня мог рассказать интересно о Лобачевском, о котором собирал материалы, а то, что у него творилось под носом, решительно не видел. И Лидочка еще поставила дом так, что совсем освободила Веню от бытовых мелочей. Он, например, в начале тридцатых годов, чуть не через год после того, как масло исчезло из продажи, спросил, к нашему удовольствию, правда ли, что с маслом теперь какие-то затруднения.

3 сентября

В тридцать третьем году мы жили на одной даче с Кавериными, в Сестрорецке. Лидочка была беременна, но все так же спокойно и весело легкой рукой вела дом и никому не позволяла беспокоиться о себе, о своем здоровье. Беспокоился Веня. Вот он выходит, поработав положенное время, в сад и бродит по дорожке, откашливаясь, держась рукою за кадык. «Ты что?» — «У меня странное чувство в горле. Не могу решить — ехать мне



на велосипеде или нет». Однажды приехали к нам Хармс, Олейников и Заболоцкий. Пошли бродить. Легли под каким-то дубом, недалеко от насыпи, что вела к пляжу. Погода была не хорошая, не плохая. На душе у меня было неладно, как всегда в те годы в присутствии Олейникова, при несчастной моей уязвимости. А Николай Макарович был всем недоволен. И погодой, и нашей дачей, и дубом, и природой сестрорецкой, — он еще медленнее, чем я, привыкал к северу. И все мы были огорчены еще полным безденежьем. Хорошо было бы выпить, но денег не было начисто. Потом Хармс, лежа на траве, прочел по моей просьбе стихотворение: «Бог проснулся, Отпер глаз, Взял песчинку, Бросил в нас». Я любил это его стихотворение. На некоторое время стало полегче, в беспорядок не плохой, не хорошей погоды, лысых окрестностей вошло подобие правильности. И без водки. Но скоро рассеялось. Вяло поговорили о литературе. И стали обсуждать (когда окончательно исчезло подобие правильности), где добыть денег. Я у Каверина был кругом в долгу. А никто из гостей не хотел просить. Стеснялись. Поплелись к нам в сад, под яблоню, которую в то лето до последнего листика почему-то объели черви. Сели за столик на одной ножке, вкопанный в землю. Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их (в особенности Заболоцкого, которого стихи знал лучше других) как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил: хочу писать так, чтобы было чисто. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя.

4 сентября

Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность — не степень одаренности, или не только степень одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, прежде всего просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. Они знали эти законы, понимали их много органичнее, чем он, — и именно поэтому, по крайней правдивости своей, не могли принять. Для них это была литература. Недавно, разговаривая с Шостаковичем, любовался я знакомой особой правди-

востью и простотой его. Да, люди этого склада просты, и пишут просто, и кажутся непонятными потому только, что законы общепринятые для того, что они хотят сказать, непригодны. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы прежде всего, сами того не сознавая, удивляясь, когда их не понимают. И невыносима им ложь и в человеческих отношениях. Судьба их в большинстве случаев трагична. И возле прямой-прямой асфальтированной Вениной дорожки смотреть на них было странно. Не помню, дали нам водки или нет. Помню только, что смотрели гости на него, на Каверина, без осуждения, как на представителя другого вида, с которым и счетов у них не может быть. А как сам он смотрел на себя? Однажды, тем же летом, гуляли мы втроем — я, он и Миша Слонимский. И заспорили они, Веня и Миша, не помню уж по какому поводу. У них были свои серапионовские юношеские свары и счеты, причины которых уже и сами они не помнили, но следствие которых сохранилось до наших дней. И Веня вдруг, несмотря на несокрушимое свое добродушие, сказал с раздражением: «Да, я верю в свой талант, и ты в него не можешь не верить». Каждое утро, на даче ли, в городе ли, садился Каверин за стол и работал положенное время. И так всю жизнь. И вот постепенно, постепенно «литература» стала подчиняться ему, стала пластичной. Прошло несколько лет, и мы увидели ясно, что лучшее в каверинском существе: добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам — начинает проникать на страницы его книг.

5 сентября

Читатели почувствовали преобразование Каверина. Мальчик в гимназической курточке, сохраняя свои литературные пристрастия, заговорил с читателями по-человечески. Особенно удалось ему это в «Двух капитанах». Вот сколько, оказывается, дорог ведет к тому самому сочувствию, что дается как благодать. Даже такая благополучная и асфальтированная самой судьбой дорога, что досталась Вене. «Два капитана» имеют прочный, органический, на вполне благородных чувствах основанный успех. И Заболоцкий, единственный оставшийся в живых из трех гостей, приехавших в 33 году к нам на дачу, дружит с Кавериним совсем как

с человеком одного с ним измерения. Каверин оказался верным и смелым другом в трудные минуты. Довольно хвалить, а то на портрете получается редкой красоты юноша в гимназической форме. Веня занят собой с наивностью обезоруживающей. Если он приезжает из Москвы один, то, значит, ничего не сумеет рассказать, надо ждать Лидочку. Он вечно говорил о своем здоровье и оказался прав: во время войны в Москве увезли его в «скорой помощи» в больницу. Внутреннее кровоизлияние. Оказалось, что у него давняя язва желудка. Было о чем говорить, что предчувствовать. Нет, трудно мне его ругать после стольких лет жизни в одном кругу. Я давно еще сделал открытие, что великие люди — одно, а близкие — другое. За другое их любишь. За то, что у них такое знакомое лицо. За то, что радуются они, услышав твой голос по телефону. За то, что сочувствуют тебе в трудные дни не отвлеченно, а словно бы беда случилась с ними самими. И за то, наконец, что на все это отвечаешь ты им тем же самым.

9 сентября

Следующая фамилия — Клыкова Лидия Васильевна. Это сестра Катерины Васильевны Заболоцкой. Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Катерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, — кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры — тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне всякий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды,

уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой «культурной пивной» на углу канала Грибоедова, против Дома книги.

10 сентября

И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, — зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: «Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится». А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, — почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома. Но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И как-то Николай Макарович, неистощимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились. Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Этих уж не могу объяснить почему. Яростно бранил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бранили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. «Культурная пивная» гудит от разговоров, и все на темы общие. «Народ — философ!» — говорил по этому поводу Олейников. И наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза.

11 сентября

Это Олейников, всегда внимательный — точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом — Заблоцкий, светловолосый, с девичьим цветом лица — кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее — подчеркнуто степенное, упрямое выражение, — вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера, и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской, — иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца. За что друзья зовут его иной раз, за глаза, Карлуша Миллер. Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбургцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден. Помилован. Женится он в Петербурге. Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла, и Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно принял Даниил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Даниил Иванович. Так или иначе, но вырос Даниил Иванович в семье дворянской, с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения излишне стуча каблуками. Он кончил Петершуле и отлично владел немецким языком. Знал музыку.

12 сентября

И сейчас, за столом в «культурной пивной», он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилкой, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свобод-

ное от еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую записывал что-то. Или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с бору да с сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом, отглаженном костюме. Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс, и когда различные учреждения, в том числе и отделение милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива.

13 сентября

Итак, мы сидели вчетвером в «культурной пивной». Я и трое людей, которых вспоминаю так часто. И они ругали женщин. Двое — яростно, а Хармс — несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз с женщиной — все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно что лошадь. Поймал ее за

челку — значит, готово. Поезжай. Заболоцкий, строго и важно поблескивая очками, рассказал следующий случай. Одну молодую женщину любил композитор Гречанинов. А она предпочла ему простого парня. Чуть ли не деревенского. Когда выяснилось, что композитору было много лет, а деревенскому парню — мало (я почему-то подозревал, что это был сам Николай Алексеевич), то я спросил Заболоцкого, мог бы он любить старую женщину за музыкальность и не предпочел бы он ей простую девушку за молодость. Но Николай Алексеевич не ответил, а только посмотрел на меня через очки. Женщин ругали не только в «культурной пивной», но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода, заявил со страстью, строго и убежденно, что женщины не могут любить цветы. «Почему?» — «Не могут! Женщины не могут любить цветы!» Соответственно со своими взглядами дома был Николай Алексеевич строг. И Фома, названный Никитой, тоже разговаривал с матерью по-мужски. Жили они уже не в одной комнате, а в квартире в надстройке.

14 сентября

По странной непоследовательности чувств Николай Алексеевич, презиравший женщин, когда родилась у него дочка, названная Наташей, просто Наташей, не Феклой и не Домной, нежно ее полюбил. Больше, чем Никиту. Во всяком случае, о нем он никогда ничего не рассказывал. А Катерине Ивановне рассказал однажды, как Наташа, восьмимесячная, кажется, собирала своими тоненькими пальцами крошки на диване. И, рассказав, чуть улыбнулся.

И вот грянул гром. В 1938 году Николая Алексеевича арестовали. Вечером пришла к нам Катерина Васильевна и рассказала об этом. Пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване, рядышком, взявшись за руки. И увели его.

Катерину Васильевну разглядели мы тут как следует, одну, саму по себе. Спокойно, с чисто женским умением переносить боль, взвалила она на плечи то, что послала жизнь. Внезапное вдовство — не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука. Двое ребят. Домработница сразу же, рыдая и прося прощения, призналась, что она боится, и попросила рас-

чет. Передачи. Справки. И, наконец, пришлось ей с детьми выехать в Уржум, на родину Николая Алексеевича, где оставался кто-то из родни. Летом 1939 года высылку признали незаконной. Катерина Васильевна вернулась. Она все не жаловалась, разговаривала все так же спокойно, даже весело. Делилась своим горем только с двухлетней Наташей, которая нечаянно выдала мать, сказав Лидочке Кавериной: «Ох, тяжело, как жить будем!» Суд постановил предоставить Катерине Васильевне площадь. Сначала дали ей комнату в надстройке. Нет, не так.

15 сентября

До того как переехать в надстройку, до суда, жила Катерина Васильевна у родных. И заболели они гриппом. Катерина Васильевна и Никита. И мы взяли к себе маленькую Наташу, после чего на всю жизнь у меня к ней осталось отношение, как к своей. Прожила она у нас месяца полтора, Катерину Ивановну стала за это время называть «мама», а когда спрашивали ее: «Чья ты девочка?» — отвечала: «Катерины Ивановны я». Отличалась полным отсутствием аппетита. Она покашливала и прихварывала у нас, и доктор велел ей ставить горчичники, чего она очень боялась. И однажды, придя домой, увидел я следующее: на телефонном столике мокнут горчичники, а на тахте возле сидит Наташа и, обливаясь слезами, ест манную кашу. Катерина Ивановна пригрозила ей, что, если Наташа не станет есть, она сразу примется ее лечить.

Только после всех вышеописанных событий состоялся суд, постановивший вернуть Катерине Васильевне принадлежащую ей площадь. После ряда приключений, о которых рассказывать по ряду причин никак не хочется, получила она временно одну комнату, потом поселили ее на счет Литфонда в «Европейской гостинице», потом дали в надстройке комнатку постоянно. Было в этой комнатке так тесно, что Наташа большую часть дня проводила у нас. Каждый день бывала и Катерина Васильевна.

Два года прожили мы бок о бок, и не было случая, чтобы пожаловалась она на судьбу. И целый день работала. Вязала кофточки на заказ. Все время то по хозяйству, то вязанье в руках. Приходили в положенные сроки письма от Николая Алексеевича. И Катерина Васи-



льевна читала их нам. Росли дети. Никитка, молчаливый и сдержанный, словно чуть-чуть пришибленный тем, что обрушилось на их семейство, и Наташа, то веселая, то рыдающая. У нее был особый дар: в случае обиды обливалась она слезами вдруг, без всхлипываний, разом.

16 сентября

Меня называла она Женюбочкой, Катерину Ивановну, распалившись, умышленно, сверхъестественно толеньким голоском: «Катеришка Ивашка!» Очень любила танцевать со мной. Танцевал, собственно, я, взяв Наташу на одну руку, а другой держа ее ручку на весу, словно танцуем мы фокстрот. И она часто просила: «Женюбочка, давай поплешим!» «Попляшем» ей никак не удавалось почему-то выговорить.

Во время квартирных мытарств помогал я Катерине Васильевне. Однажды, когда перебиралась она в «Европейскую», дело было вечером, номер им дали во втором этаже, и поэтому поднимались мы пешком, на площадке между первым и вторым этажом увидела Наташа в открытую дверь ресторанный зал, танцующие пары, услышала музыку. И сказала умоляюще: «Женюбочка, пойдем туда, посидим, поплешим!» А Катерина Васильевна воскликнула: «Каково это слышать матери!» Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны. Ввели затемнение. Начались грабежи, а еще больше пошло слухов о грабежах. Стоишь в полной тьме. Из-за морозов трамвайное движение сократилось. Стоишь на остановке в толпе, угрюмой и тихой, и, наконец, в темноте проступают два синих, медленнодвигающихся огонька. «Какой номер?» И кто-нибудь из висящих на площадке отвечает угрюмо. То в одном, то в другом доме лопались водопроводные трубы, замерзало отопление. Холодно было и в «Европейской гостинице», но Катерине Васильевне удалось перебраться скоро к нам обратно, в надстройку. И снова каждый вечер появлялась она за нашим столом с вязаньем в руках, все спокойная, все веселая, худенькая, как девочка. И ни разу не видал я, чтоб слезы выступили на темных ее глазах. Ни разу за все годы знакомства, хоть столько было пережито. И оставалась она все такой же ровной в обращении, хотя было отчего беспокоиться. Шли хлопоты.

17 сентября

О пересмотре дела Заболоцкого подал ходатайство Союз писателей. Точнее, ряд влиятельных московских писателей. И дело направлено было на пересмотр. Когда горе-злосчастье вот-вот спрыгнет с твоих плеч — и ты надеешься на это, — еще труднее сохранять спокойствие. Но у Катерины Васильевны и тут хватило сил не показать, как ждет она счастья. Как замучилась, ожидая. Каверин, изо всех сил хлопотавший по этому делу, утверждал, что Николай Алексеевич вернется вот-вот, со дня на день. Но грянула война. И жизнь Катерины Васильевны стала еще страшнее. Когда 11 декабря 41 года уехали мы из Ленинграда, Катерина Васильевна с детьми поселилась в нашей квартире. С конца января, чтобы голодающие дети теряли меньше сил, она их все время держала в кровати. Было это в начале февраля 42 года. Всякие заказы на кофточки прекратились, конечно. Наташа спросила однажды: «Мама, это правда было, или мне во сне снилось, что ты когда-то меня заставляла есть»...

И вот, наконец, Кетлинская включила Катерину Васильевну с детьми, маленькой племянницей и сестрой, той самой Л. В. Клыковой, что записана у меня в телефонной книжке, в список, в писательский список подлежащих эвакуации.

18 сентября

И через два дня Катерина Васильевна погрузилась с сестрой и детьми в писательский эшелон. На Большой земле Заболоцкие отделились от писателей. Они решили пробираться к нам, в Киров, а оттуда все в тот же Уржум. В то время Ленинград и ленинградцы, их горести перешли за те пределы, что люди знали. Если больной вызывает жалость, гроб — уважение, то разлагающийся мертвец вызывает одно желание — убрать его поскорей. Вагоны, теплушки с несчастными дистрофиками ползли от станции к станции. А смерть гонялась за беглецами.

19 сентября

На остановках в двери теплушек стучали и просили: «Граждане, не скрывайте трупы!» Но граждане скрывали, чтобы получать продовольствие за умерших. Несчастные, обезумевшие с голоду и холоду ленинградцы.

У них, умирающих, были свои счеты с умершими. И немирно было в теплушках. В той, где поместилась Катерина Васильевна с детьми, дружно ненавидели одну семью: отец — научный работник, мать и ребенок, страдающий голодным поносом. Отец на станциях, где кормили ленинградцев, ходил за диетическим супом для больного сынишки и половину съедал на обратном пути и, чтобы скрыть, доливал котелок сырой водой. И попался. И его яростно бранили. И еще больше ненавидели. И когда он умер, радовались все эвакуированные, и жена покойного в том числе. Весь эшелон доставили в Кострому, где был устроен стационар для ленинградцев. Их вымыли, уложили, откормили. И Катерина Васильевна недели через две увидела, что жена умершего научного работника, которую она вместе со всеми ненавидела, очень славная женщина. И мальчик, избавившийся от голодного поноса, оказался хорошим мальчиком. И жена научного работника целыми днями плакала, вспоминала мужа, рассказывала, каким он был, пока в блокаду не потерял облика человеческого. А мы жили в Кирове, в десятиметровой комнате, в театральном доме. И мы ничего не знали о Заболоцких. Знали, что к нам в квартиру попал снаряд, что Заболоцкие уцелели и через два дня после этого эвакуировались. Но прошло почти два месяца с тех пор. И я сам не знал, как беспокоит меня их судьба. Но вот однажды рано утром, когда я еще курил с наслаждением самосад, только что проснувшись и лежа в кровати, вошла улыбаясь Катюша и протянула мне телеграмму на розовой бумаге. И я прочел, что Катерина Васильевна с детьми едет к нам. И, прочтя, заплакал вдруг, что никак не свойственно мне. Никогда со мной этого не бывало. Катерина Васильевна пробиралась в Киров со множеством бед и трудов. Попробуй сядь в поезд!

20 сентября

С детьми, с огромным, неуклюжим багажом эвакуированных. Был такой случай, что Катерина Васильевна однажды вскочила с Наташей в теплушку, и поезд вдруг тронулся, а Никита, рыдающий, остался с вещами на перроне. И, Катерина Васильевна с первого же разезда побежала обратно с Наташей на руках. Но вот, наконец, удалось погрузиться всему семейству, и со-

став медленно пополз к Кирову. Ночью обнаружилось, что в теплушке больные дети. Утром врач установил скарлатину. Больных высадили. А через положенное время ночью вдруг поднялась температура у Наташи. Боже мой, как далеко, на целые века, ушло то время, когда, сидя за столом у Олейниковых, упрямо, строго, со страстью повторял Заболоцкий: «Женщины не могут любить цветы!» На другой день к вечеру Наташа поправилась. Ночью, когда температура вскочила, зажигая спички, не могла определить Катерина Васильевна, появилась у нее сыпь или нет. А днем сыпи тоже не обнаружила. А врачей на этом перегоне не было. Так и пробирались они к нам, медленно полз состав от станции к станции. А мы все ждали гостей и разговаривали о них. Вспоминали, как Зон, к ужасу педагогов, провел трехлетнюю Наташу на «Красную Шапочку» в Новый ТЮЗ. Посадил ее в свою ложу. А вечером Наташа сыграла нам всю пьесу, сцену за сценой. Моя Катерина, Катерина Ивановна, была к тем, кого любила, внимательна до мнительности. То ей казалось, что маленькая Наташка дальтоник. Пока не выяснилось, что девочка путает не цвета, а по малолетству названия цветов. То казалось ей, что у девочки недостаточно хорошая память. И когда сыграла Наташа всю «Красную Шапочку», Катерина Ивановна обрадовалась. И Катерина Васильевна, худенькая, как девочка, сидя на диване нашем, глядела на дочку с наслаждением, любовалась ею, но сдержанно. Всегда ровная, в горе и радости. То вспоминал я один из первых обстрелов города. Было часов девять вечера.

21 сентября

Бомбоубежище наше не было еще оборудовано. Договорились с Малым оперным, что детей будем направлять к ним. И вот снова, как в день переезда в «Европейскую», двинулись мы в путь через пешеходный Итальянский мостик. Впереди Катерина Васильевна с подушками и одеялами и с Никитой, а позади я, с Наташей на руках. Девочка была встревожена, молчала и ни о чем не спрашивала. Казалось, что снаряды пролетают над самой головой. Ясно слышался звук разрыва, которым заканчивался свист. Когда раздался особенно громкий взрыв, я с удивлением заметил, что в своем смятении чувств испытал удовольствие. Имен-

но от силы звука. И подумал: неужели свойственна человеку любовь к грохоту? Не отсюда ли хлопущки, петарды, орудийные салюты? Словом, некие заслонки опустились в душе, и я сосредоточенно думал о чем угодно и отбрасывал мысль о том, что стреляют-то, в сущности, в нас, в ленинградских обывателей, и могут попасть. Такие же заслонки опустились в душе, когда не было известий от Заболоцких, и я думал о чем угодно, только не о том, что могли они погибнуть. Но, видимо, чувствовал, что это возможно, вполне возможно. Так просто умирали люди вокруг. Вот почему я и заплакал, когда пришла телеграмма. Смятение чувств исчезло, осталось только облегчение и радость. Долго ли, коротко ли, но вот к нам в дверь постучали рано утром. Открываю и вижу Катерину Васильевну и сияющую, беленькую, румяную Наташу. И первое, что девочка закричала, не поздоровавшись, не войдя в комнату: «Вас разбомбило!» (с ударением на «о»). «Как тебе не стыдно!» — сказала дочке Катерина Васильевна. Оказывается, Никита остался на вокзале только при том условии, чтобы не рассказывали без него, как попал к нам снаряд. Он хотел вместе. А Наташа не удержалась. Вскоре все, с вещами, чудом каким-то разместились в нашей десятиметровой комнате. И Лидия Васильевна со своей девочкой, совсем незнакомой, загадочно улыбавшейся.

22 сентября

Впрочем, она довольно скоро уехала с дочкой в Уржум, а мы остались впятером. Катерина Васильевна еще с порога, как Наташа о том, что нас «разбомбило», предупредила о таинственном Наташином заболевании. Но мы и думать об этом не захотели и не отделили девочку от остальных детей театрального дома. Уж очень она хорошо выглядела, и, когда мыли ее, никаких признаков шелушения не обнаружили. Значит, девочка перенесла не скарлатину, а просто грипп. Весела она была необыкновенно, веселее всех на наших десяти метрах. Ей уже исполнилось пять лет. От отца унаследовала она нежнейший цвет лица и золотистые волосы, а от матери темные глаза. Маленький, живой, отчаянный мальчик, сын одного из мобилизованных работников Кировского областного театра, примерно Наташин ровесник, описывал ее так: «К Катерине Ивановне приехала дочка, красивая! Таких не бывает!» И все приня-

ли девочку ласково, зазывали из комнаты в комнату. Вот возвращается она от Никритиной и Мариенгофа.

«Ну, как тебя принимали?» — «Принимали? Очень хорошо! Какао. Бутерброд с медом. Бутерброд с колбасой. Очень хорошо принимали!» И, пожив в Кирове с неделю, пятилетняя Наташа сказала с удивлением: «Я не знала, что так хорошо жить!» А Никита, которому уже исполнилось десять лет, а на вид казалось меньше, все молчал и читал — нет, не читал, а изучал — одну и ту же книжку, купленную на вокзале. Называлась она: «Постройка дома из местных материалов». Столько лет Никита был бездомным! Забьется в угол и рассматривает, рассматривает плиты, изучает, мечтает. А вдруг удастся построить? Катерина Васильевна, хоть и отошла немного в Костроме, была еще хуже прежнего. Она рассказала о своих приключениях дорожных, об умершем научном работнике, которого даже собственная жена возненавидела, а потом пожалела, придя в себя. Рассказывала вдумчиво, сосредоточенно, как бы с трудом добывая воспоминания со дна души. И руки у нее, как всегда, были заняты. Что-то перешивала ребятам. Катерина Ивановна спрашивает ее: «А где у вас кусок шерсти был такой хороший?» Она задумывается.

23 сентября

И отвечает сосредоточенно, как бы с напряжением собирая разбегающиеся воспоминания: «Забыла. Может быть, взяла, а может быть, и нет. Пять шкурок белых забыла, это я теперь точно знаю. Разве я помню, что брала? Я уезжала, как в тумане!» Вскоре заболела Катерина Ивановна ангиной в очень сильной форме. Чего с ней вообще никогда не случалось. По хозяйству теперь хлопотала одна Катерина Васильевна. И ей изо всех сил помогала Наташа. И подметала, и бегала с пепельницей то ко мне, то к Катерине Ивановне и предлагала: «Макайте, макайте!» А Никита делался все молчаливей, и, едва поправилась Катерина Ивановна, свалился он. До сих пор спал Никита возле письменного стола, на полу, рядом с Наташей. Теперь соорудили ему у стены отдельное ложе из рюкзаков и тюков. Он лежал и вздыхал. И через несколько дней выяснилось, что у него воспаление среднего уха. И, несмотря на отчаянные боли, он только кричал. Дело уже идет к весне. Я только что пришел с улицы, где заметил, что деревян-

ные мостки, идущие вдоль деревянных заборов, почти полностью обсохли, послушал, как с шумом бежит вода по канавкам по всей дороге от нашего дома вниз, к Пупыревке, к рынку, и обрадовался. Дома Катерина Васильевна меняет Никите компресс. Потом собирается капать ему в нос протаргол. И Никита просит кротко: «Подожди, подожди с каплями. Дай я отдышусь». А Наташа, вытирающая пыль, поет рассеянно: «Отдышусь, отдышусь, отдышусь». Когда все лечебные процедуры кончены, я спрашиваю Никиту: «Что ж ты лежишь, не читаешь? А где „Постройка дома из местных материалов“? Потерял?» — «Что вы! — отвечает Никита. — Я эту книгу берегу, как зенитку ока». Через несколько дней у Никиты началось воспаление желез. Квартирный врач вызвал инфекциониста. И тот установил, что у Никиты скарлатина. А жили мы в театральном доме. Кругом дети. Родители сердитые.

24 сентября

И надо сказать к их чести, что мы ни слова упрека не услышали от замученных и обиженных на весь мир соседей наших. Никиту увезли в больницу. В комнате нашей сделали дезинфекцию. Наташа играла только с моей Наташей, которой в то время было двенадцать лет. Глянешь за оттаявшее уже окно и видишь: стоит моя Наташа в своей шубке из каких-то беличьих отходов, из бело-желтых прямоугольничков. Выросла она из этой шубы, так что она ей чуть не выше колен. Стоит Наташа, сильно откинувшись назад, держит на руках Наташу Заболоцкую в белой шубке. Маленькая Наташа это очень любит, хоть Катерина Васильевна и запрещает — боится, что большая Наташа надорвется. Когда маленькая Наташа играла одна и к ней по привычке направлялись соседские дети, она поднимала руку и кричала: «Не подходите! Заразитель!» С ударением на втором «а». Каждый день ходили они — Наташа и Катерина Васильевна — к Никите в больницу. Он уже поправлялся. Он подходил к закрытому окну и кивал. А однажды показал записку, написанную крупными буквами: «Хочу домой». Больница помещалась на краю города, дорогу совсем развезло, так что Катерина Васильевна возвращалась домой еще более бледной, с еще более темными глазами, а Наташа — красная, как из бани. Однажды разыгралась буря. Кормились мы в Киро-

ве в те дни относительно сытно, в основном картошкой. Наташа, некогда привередливая, ненавидевшая пенки или яйца всмятку, теперь их обожала. Но больше всего — масло. И, видимо, ей все время хотелось есть. И вот однажды обнаружилось, что масло в масленке сверху слизано. Кошек не было — кроме Наташи, никто не мог совершить преступление. А она не сознавалась. И ей так строго выговаривали — не за то, что слизала, а за то, что не сказала, — что сама преступница пришла в отчаянье от своей нераскаянности. И Катерина Ивановна услышала на другой день, как Наташа говорит своей кукле: «Я, наверное, оттого такая плохая, что некрещеная».

25 сентября

Но на другое утро все было забыто, и Наташа носилась между курящими с пепельницей и уговаривала: «Макайте, макайте». Катерина Васильевна никогда не отводила душу, как это вечно бывает, на самых беззащитных в семье, но и не распускала ребят. И только однажды, когда Наташа вечером слишком уж развеселилась и потом ни за что не хотела ложиться спать, плакала и бунтовала, Катерина Васильевна только молча глядела на дочку своими темными глазами, опустив руки. А утром сказала сосредоточенно, ни на кого не глядя, будто отчитываясь перед собой: «Для того, чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь. Я вчера совсем без сил была». Но обычно Наташа вела себя, как подобает воспитанной девочке. Катерина Ивановна ее так и спрашивала за столом: «Как сидят воспитанные девочки?» И Наташа вытягивалась в струнку и даже подбородок выставляла вперед. Катерину Ивановну Наташа слушалась не меньше, чем мать...

В театральном доме жил парикмахер чех, по фамилии Свобода. И было у него двое детей. Мальчик Франтишек и девочка Власта. Дети звали их Франтик и Ласточка. Ласточка была необыкновенно хороша собой. О чем неоднократно говорили мы при Наташе. Однажды Наташа провинилась, уж не помню в чем. Екатерина Васильевна сделала ей выговор, который девочка выслушала спокойно.

26 сентября

Тогда Катерина Ивановна сказала: «Ну, конечно. Решено. Вместо тебя возьмем мы в дочки Ласточку». Не-



сколько мгновений Наташа сидела неподвижно, с тем же легкомысленным выражением, с каким выслушивала мамин выговор. И вдруг рухнула, уткнулась лицом в колени Наташи большой, сидевшей возле. И расплакалась, на свой лад, не всхлипывая, безудержно и безутешно. Когда Наташа Заболоцкая, уже студенткой, в прошлом году была у нас и мы вспоминали прошлое, выяснилось, что Ласточку и угрозу Катерины Ивановны помнит она ярче всего. Помнит и несчастье со сливочным маслом. «Сама теперь не понимаю, почему я не могла признаться», — сказала она вдумчиво, сосредоточенно, как Катерина Васильевна. В конце апреля, в назначенный день, отправилась Катерина Васильевна за Никитой и привела его, довольного, сдержанно улыбающегося. Дом из местных материалов еще не был построен, но все-таки вернулся мальчик к своим, как бы домой. К знакомому неуклюжему эвакуационному багажу, в комнату, где уже прижился. Но приближался день новых странствий. Письменский<sup>276</sup> помог Катерине Васильевне устроиться преподавательницей в интернат ленинградских школьников, эвакуированных в Уржум. Назначен был день отъезда. И перед самым этим днем покрылся сыпью, заболел я. Когда Катерина Васильевна укладывала вещи, еще не было установлено, скарлатина у меня или нет. Но она все поглядывала на меня сокрушенно, словно виноватая. Приехал за ними возчик, уже на колесах. Как нарочно, повалил мокрый снег. Я попрощался с Катериной Васильевной, с детьми. Поволокли к выходу тяжелый эвакуационный багаж. Катерина Ивановна вышла проводить во двор. И, глядя им вслед, едва не заплакала. Катерина Васильевна шагала под снегом сторбившись, рюкзак на спине, вела детей за руки.

27 сентября

Когда дня через два позвонила Катерина Васильевна из Уржума и узнала, что все-таки у меня скарлатина, то ужасно извинялась, будто виноватая. А я все не мог отделаться от ощущения, вызванного рассказом Катерины Ивановны. Валит снег. На возу мешки, узлы, потемневшие от странствий, а возле шагает сторбившись Катерина Васильевна и ведет детей. И примерно в эти дни бездетный Владимир Васильевич Лебедев горевал, вспоминая с искренней любовью о вещах, покинутых

в Ленинграде. О каком-то половнике, удивительно сработанном. О коллекции кожаных произведений искусств: ботинок, и полуботинок, и поясов, и о шкафах своих, и о кустарных фарфоровых фигурках своих.

В Уржуме интернат оказался тяжелым. Собрали туда ребят трудновоспитуемых. Жила Катерина Васильевна с детьми в каком-то чуланчике и с утра до вечера то по службе, то по дому. И готовила, и стирала, и учила трудновоспитуемых, и глаз не спускала со своих ребят, которым приходилось расти в столь опасной обстановке. И так шло до 44 года, когда Николая Алексеевича освободили. И Катерина Васильевна вновь двинулась в странствование. В Кулунду, где Николай Алексеевич работал теперь вольнонаемным. Сколько ребят, оставшихся в те годы без отца, «потеряли себя», как говорит Илико. Но Катерина Васильевна привезла отцу ребят хороших и здоровых. Только бледных и худеньких, как все дети в те времена. И семья Заболоцких восстановилась. Попрошавшись с Катериной Васильевной весной 42 года, встретился я с ней и с детьми через пять лет. В Москве. Летом. В Переделкине, где снимали они комнату. Наташа, поздоровавшись, все поглядывала на нас издали из-за деревьев. Исчезла Наташа трехлетняя, исчезла пятилетняя — беленькая десятилетняя девочка, и та и не та, все глядела на нас недоумевающе, старалась вспомнить. И Никита поглядывал. Этот улыбался. Помнил яснее.

28 сентября

И Николай Алексеевич глядел на нас по-другому. И тот и не тот. И дома не снисходил к жене, а говорил с ней так, будто и она гений. Просто. Вскоре написал он стихотворение «Жена», в котором все было сказано. Все, со свойственной ему силой. Долго ли, коротко ли, но прописали Николая Алексеевича в Москве. И Союз дал ему квартиру на Беговой. И вышел его стихотворный перевод «Слова о полку Игоревом» и множество переводов грузинских классиков. И заключили с ним договор на полное собрание сочинений Важа Пшавела. И он этот договор выполнил. Приедешь в Москву, приедешь к Заболоцким и не веришь глазам: холодильник, «Портрет неизвестной», подлинник Рокотова, — Николай Алексеевич стал собирать картины. Сервиз. Мебель. Как вспомнишь комнатку в Кирове, горы багажа

в углу — чудо да и только. И еще большее чудо, что Катерина Васильевна осталась все такой же. Только в кружке в Доме писателей научилась шить. Сшила Наташе пальто настолько хорошо, что самые строгие ценительницы удивлялись. И еще — повысилось у нее после всех прожитых лет кровяное давление. Сильно повысилось. Но она не сдавалась, глядела своими темными глазами весело и спокойно и на детей и на мужа. Никита кончил школу и поступил в Тимирязевскую академию, где собирались его пустить по научной линии. Уважали. А Наталья училась в школе все на круглых пятерках. Это была уже барышня, тоненькая, беленькая, розовая, темноглазая. И мучимая застенчивостью. С нами она еще разговаривала, а со сверстниками, с мальчиками, молчала, как замороженная. И много, очень много думала. И Катерина Васильевна болела за нее душой. А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужик на возу, не отвечающий, что привез на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он «Слова» и Руставели и не написал бы множества великолепных стихотворений.

29 сентября

Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что «женщины не могут любить цветы», испытывал я чувство неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И все шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехала «неотложная помощь». Вспрыснули камфору. А через полчаса или час — новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт. Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич еще лежал. Я начал разговор как ни в чем не бывало, чтоб не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так дол-

жен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: «Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена». И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что кроме жизни с ее литературными новостями есть еще нечто, хоть печальное, но торжественное. Катерина Васильевна накрыла на стол. И я увидел знакомый финский сервиз, тонкий, синий, с китайчатами, джонками и пагодами. Его купили пополам обе наши Катерины уже после войны, в Ленинграде. Мы взяли себе его чайный раздел, а Заболоцкие — столовый. Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустила к ногам мужа.

### 30 сентября

Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну вот и все. Рассказываю все это не для того, чтобы защитить Катерину Васильевну от мужа. Он любит ее больше, чем кто-нибудь из нас, ее друзей и защитников. Он написал стихотворение «Жена», а сила Николая Алексеевича в том, что он пишет, а не в том, что вещает, подвыпивши. И уважает он жену достаточно. Ей первой читает он свои стихи — шутка ли. Не сужу я его. Прожили они столько лет рядом, вырастили детей. Нет ему ближе человека, чем она, нет и ей ближе человека, чем он. Но о нем, великолепном поэте, расскажут и без меня. А я сейчас болен и особенно чувствую прелесть заботы Катерины Ивановны, не ждущей зова, а идущей навстречу. Вот и рассказываю с особенным наслаждением о женщинах, которые, как говорят, по природной ограниченности своей не могут любить цветы.

### 21 октября

Сегодня исполнилось мне пятьдесят девять лет. Я помню книги, подаренные мне полвека назад. «Рыжик» Свирского и «Капитан Гаттерас» Жюль Верна. Я видел сегодня во сне лошадей, что значит ложь. Прошлый год был полон событиями, все больше печальны-

ми, но переходящими. И не на что особенно надеяться в этом году. Эраст готовит «Медведя» в Театре киноактера<sup>277</sup>. Козинцев собирается снимать «Дон Кихота». Уже наступил у них пусковой период. Но я болел. И не знаю, хватит ли беспечности у меня для того, чтобы перенести неудачу. Живем на новой квартире<sup>278</sup>, и я не жалею старую. Хоть бы раз вспомнил.

1956

1 января

И вот я заболел. До болезни успел я кончить сценарий «Дон Кихот». И, к счастью, по болезни не присутствовал на его обсуждении, хоть и прошло оно на редкость гладко. Гладко прошел сценарий и через министерство, и теперь полным ходом идет подготовительный период.

16 января

У меня произошли события неожиданные и тем более радостные. Эраст Гарин ставил в Театре киноактера «Медведя». Он теперь называется «Обыкновенное чудо»<sup>279</sup>. Премьера должна состояться 18 января. Вдруг 13-го днем — звонок из Москвы. Прошла с большим успехом генеральная репетиция. Сообщают об этом Эраст и его помощница Егорова. Ночью звонит Фрэнсис — с тем же самым. 14-го около часу ночи — опять звонок. Спектакль показали на кассовой публике, целевой, так называемый, купленный какой-то организацией. Перед началом — духовой оркестр, танцы. Все ждали провала. И вдруг публика отлично поняла пьесу. Успех еще больший. Вчера звонил об этом Коварский. Не знаю, что будет дальше, но пока я был обрадован.

17 января

Меня радует не столько успех, сколько отсутствие неуспеха. То есть боли. Всякую брань я переношу, как ожог, долго не проходит. А успеху так и не научился верить. Посмотрим, что будет завтра. Был вчера на съемке проб к «Дон Кихоту». Суета, много народу, дым валит из одной многоламповой пушки, прожекторы на башенках, к которым поднимаются по железным лестничкам, маленький световой прибор у самой съемочной площадки. Москвина с аппаратом везут на тележке по узеньким, как трубка, рельсам. Он наставляет объектив на актеров, и все световые приспособления направлены на

них снизу, сбоку, сверху. Из могучей пушки бьет свет, идет дым. Это репетиция. Одна, другая. И вот — съемка. «Проверьте, закрыты ли двери!» — «Заперты», — отвечает мужской голос. У всех, даже у зрителей, лица напряженные. Осветители замерли у своих приборов. Выражение решительное, как у пулеметчиков. Один узколицый, в очках, вроде студента, другой, с лицом грубым и осуждающим, похож на дворника, но выражение одно. Помощницы гримера и он сам — в белых халатах. И они глядят, словно прицелились. «Мотор!» Начинается съемка. Актеры сохраняют самообладание, но играют хуже, чем на репетиции. Дублей не снимают — берегут пленку. Понять, что получилось у Черкасова, Толубеева, Мамаевой<sup>280</sup>, так же трудно, как на примерке костюма — как он будет сидеть. Тем не менее я скорее испытываю удовольствие от всего происходящего. Вроде как бы участвуешь в жизни.

18 января

Сегодня подходит к концу моя тетрадка. Сегодня крещение. Сегодня в Москве премьера «Обыкновенного чуда», он же «Медведь», и я не знаю, как пройдет на этот раз... Звонили из Москвы. Пока «Медведь» идет хорошо.

Сегодня (точнее, сейчас) идет просмотр «Медведя». Вероятно, третий акт... В первый раз я не присутствую на собственном спектакле. И не испытываю почему-то особенной горести. Мне уже звонили во время второго акта по гонорарным делам оттуда. Из театра. Говорят, что принимают так же, как 14-го. На премьерах, которые переживал я до сих пор, был я, к собственному удивлению, спокоен. Как спал. Особенно удивился я собственному спокойствию на «Ундервуде». Мне до того не понравилось, показалось странным начало, что я даже засмеялся. Но есть особое счастье — когда спектакль уже идет не первый раз — ждать спокойно и следить за поведением зрительного зала. В тех случаях, когда он имел успех. Тогда может показаться, что ты не один. Сейчас еще звонили из Москвы. Каверин был на спектакле. Этот уже хоть и хвалил, но что-то смутное проскальзывает в его похвалах. Правда, утверждает, что занавес давали раз десять. Но все говорил: «Хорошо, хорошо», а до этого мне твердили: «Замечательно, замечательно!»... Не успел я поставить многоточие, как

позвонила опять Москва. Гарин, полный восторга, и Хеся — еще более полная восторга. Точнее — восторг ее внушал больше доверия. Эраст выпил с рабочими сцены на радостях. Вместо снисходительного «хорошо... хорошо...» Каверина, вместо «хорошо» с запиской — почувствовал я прелестную атмосферу, что бывает за кулисами в день успеха. И утешился.

26 января

Вчера получил письмо от Малюгина, которое при сем прилагаю вместе с программой<sup>281</sup>. Тон — ясный, трезвый и, видимо, определяющий характер спектакля. Чему я и рад. Восторженный тон некоторых телефонных звонков и устных рассказов несколько выбивает меня из колеи. Пугает.

27 января

Ночью звонил из Москвы Дрейден: «Успех несомненный, но...»

Все о третьем акте. Об отдельных актерах. Затем говорил я с Хесей — полный восторг. Хвалят. Николай Эрдман говорил о пьесе отлично. Пырьеву понравился первый и третий акт, «во втором слишком смешат» — и так далее. Так или иначе, семь первых спектаклей прошли, и при этом билетов достать невозможно...

Пишу поздно. День хлопотливый и утомительный. Приехал Гарин, много рассказывал о спектакле. На февраль объявили новые — чуть ли не через день. Успех. Во время его рассказов пришло письмо от Крона, которое при сем прилагаю<sup>282</sup>. Акимов тоже решил ставить «Обыкновенное чудо»<sup>283</sup>. На душе то празднично, то смутно. Я не привык к благополучным концам, и все мне кажется, что вот-вот произойдет что-то отменяющее. Но, с другой стороны, спектакль уже похвалили такие люди, как Эрдман, Крон. Эраст сияет. Очень смешно рассказывал и очень был похож на того, что описан у меня в телефонной книжке.

2 февраля

Несколько слов о сегодняшнем дне. Акимов ставит «Медведя». Завтра назначена читка. Предполагалось, что это сделает кто-нибудь из актеров, но я не в силах был допустить это. И договорился, что буду читать сам. Сегодня начинают снимать «Дон Кихота». Сцену «По-

стоялый двор». Из Москвы доходят смутные слухи, что у «Обыкновенного чуда» появились враги, обвиняющие спектакль в аполитичности. Вот и все.

4 февраля

Вчера после восьмилетнего почти промежутка читал в Комедии актерам пьесу «Обыкновенное чудо», то есть «Медведя». Слушали, как и подобает старым друзьям. Читал первый и третий акты, а второй читала Леночка Юнгер. Чувство от этой встречи осталось хорошее.

6 февраля

Перехожу к букве «О».

«Образцовский театр» — телефоны записаны в те годы, когда у них существовало отделение в Ленинграде<sup>284</sup> ... Это наш лучший кукольный и один из лучших театров вообще. Там собрались люди, до того любящие искусство, что кажутся сами себе недостойными подойти к нему прямо (Сперанский и другие). Идут тропочкой и превращают ее в прямую, большую трассу. Есть люди, обладающие великолепным голосом, талантливые, но уродливые или изуродованные на войне, и они нашли себе место в театре Образцова. Их ты видишь, когда выходят они раскланиваться, держа тех кукол, что водили. И ты вдруг понимаешь, что кукольный театр с помощью ширм и кукол помогает скрыть ненужное, а дать лучшее. Самое сильное из того, чем они владеют. И не мешает этому ни администратор с выпуклыми глазами, ни пьесы хорошие и средние. Ничто.

10 февраля

Остров Дмитрий Константинович, или Митя, появился в тридцатых годах в группе молодых. Настоящая его фамилия — Остросаблин. Не знаю, зачем ему понадобился псевдоним, — фамилия уж очень хороша. И сам человек вполне доброкачественный, простой, но одержимый двумя бесами из числа тех, что во множестве бродят по коридорам Союза писателей и различных издательств — ищут работки. И непременно находят. Бес пьянства и ленивый бес. Остров талантлив. И талант его все боролся с искушениями. И он, подобно всем нам, то и дело начинал новую жизнь. Например, когда выяснилось, что Митя получит квартиру в надстройке, он возопил радостно: «Вот где заскрипят перья!»



В 34 году на новом месте, переехав, мы часто встречались на лестнице. Увидел я его жену и маленького, очень хилого мальчика по имени Феликс. Жена обожала его и расписывала восторженно и таинственно Сильве Гитович, как тоскливо одной и чем именно хорош, даже удивителен наш Митя. Все, казалось, идет ровно: семья, ребенок, квартира, сочувствие друзей, — все должно было содействовать тому, чтобы перья закричали. И он как будто и начинал работать, Митя Остров, длинный, с длинным лицом, остроносый, ухмыляющийся дружелюбно. И вдруг — раз!словно взрыв. Целый ряд молодых писателей исчез. И Митя в том числе. И появился перед самой войной, словно бы виноватый, сильно пьющий. Он был, видимо, полностью реабилитирован, потому что взяли его в армию. После войны он мало переменялся внешне, только ухмылка приобрела менее добродушное выражение, — литературные дела не шли.

26 февраля

Прокофьев Александр Андреевич — малого роста, квадратный, лысеющий, плотный, легко вспыхивающий, вряд ли когда спокойный. В гневе стискивает зубы, оттягивает углы губ, багровеет. Человек вполне чистой души, отчего несколько раз был на краю гибели. Крестьянин из-под Ладоги, он появился в Союзе человеком несколько замкнутым, угрюмым. Тогда он писал вполне на свой лад, и стихи его нравились, казались сбитыми и плотными, как он сам. Познакомился я с ним ближе в 32 году в Коктебеле. Поездка оказалась и ладной и неладной. Долго рассказывать почему. Теперь, через 24 года, кажется она только терпкой и горьковатой. Тогда наш литфондовый дом только что открылся. Дом ленинградского литфонда. Купили дачу у наследниц профессора Манассеина. Дочь его — рослая, с лицом правильным и трагическим, оставалась в то лето еще чем-то вроде директора бывшего своего владения. Она распределяла нас по комнатам, когда мы приехали, и, к моему негодованию, все путала меня с Брауном — мы казались ей однофамильцами. Но знакомое чувство близости моря, виноградники, только что пережитое по дороге ощущение, что вернулся я на родину, запах полыни — все это примиряло меня с трагической и рассеянной хозяйкой. Расселили нас по

большим комнатам профессорской дачи. Мы заняли застекленную террасу второго этажа: Я, Женя Рысс, Раковский<sup>285</sup> — остальных в точности припомнить не могу. Женщин селили внизу. Скоро жизнь вошла в свою колею. Прокофьев — и еще не помню кто — получили комнату тоже внизу, окнами на виноградники. Мы же видели в стеклянные решетчатые стены своей террасы море. При таком близком житье-бытье вскоре знали мы друг друга во всех подробностях.

28 февраля

Прокофьев в первые дни казался угрюмым и держался в стороне. Общался только с Брауном да Марусей Комиссаровой<sup>286</sup>. Браун, с нездоровым цветом лица и словно бы пыльный, тоже казался замкнутым, но по причинам другим. Этот был Прокофьеву противоположен. Прокофьев не боялся. А Браун окружающий мир считал зараженным и угрожающим. Все мазался йодом. Каждую царапинку, каждую ссадинку. От нее и след простыл, а он все, бывало, мажет это место на всякий случай. Потом была Маруся Комиссарова, она была простой и открытой. И у всех трех, и у Прокофьева, и у Брауна, и у Маруси, был завидный дар: музыкальность. Когда запевали они втроем, чаще всего народные песни, — я их слушал да удивлялся. Постепенно дачная жизнь сближала нас. И я разглядел Прокофьева поближе. Прокофьев еще не отошел от деревни и тех кругов, в которые попал он, уйдя оттуда. Мы были ему чужды, но он, приглядываясь, убеждался, что мы тоже люди. О, терпкое и радостное и горькое лето 32 года. Приехала Наташа Грекова, о которой я рассказывал уже. Приехал Зоценко. Парикмахер, который брил нас в римском дворике бывшей виллы какого-то грека, со стенами, расписанными масляной краской, спрашивал перед его приездом: «Вот, наверное, веселый человек, все хохочет?» А в те дни мучили Михаила Михайловича бессонницы и болело сердце. Он мог заснуть только сидя в подушках. Он был мрачен, особенно в первые дни, но потом повеселел и, сам удивляясь, повторял: «Как я добр! Как я добр!» Мы с Катюшей переселились в дом вдовы Волошина. Для этого нас представили ей. Мы прошли через большую комнату, где стояла не то голова Зевса, не то статуя Аполлона. Забыл. Среди выбеленных стен казалась она такой же

ненастоящей, самодельной. Это чувство помню. И неуместной. Смущала, как декламация. И библиотека казалась почему-то неестественной.

29 февраля

Вдова Волошина рассказала нам, как умер ее муж. И я ужаснулся. Поваяло на меня охотнорядским, приспособленческим духом, который в Союзе — в московском его отделении — был еще очень откровенен. Волошин подарил дачу свою Союзу. Хозяйственники сразу заподозрили недоброе. Они сначала умолкли. Два или три месяца не отвечали, стараясь понять, в чем тут хитрость. Наконец потребовали нотариальное подтверждение дара. После долгих и утомительных поездок в Феодосию Волошин и это выполнил. И вдруг пришла из Союза телеграмма, подействовавшая на бедного поэта как пощечина. «Продали дом Партиздату выгодно и нам и вам». Волошин крикнул жене: «Пусть меня лучше солнце убьет!» — и убежал из дому без шляпы бродить по горам. Жена уверяла, что эти слова «выгодно и нам и вам» оскорбили его воистину смертельно. И я верю, что так и было. Он не сомневался, что, делая это, даря свою дачу, он обрадует писателей. И будут они вспоминать его с уважением — Волошин чувствовал, что тяжело болен и скоро умрет. А тут вдруг приносят «выгодно и вам и нам». В 32 году новое руководство Союза с огромным трудом выкупало у Партиздата то, что принадлежало им уже однажды по дарственной записи...

2 марта

Волошинская дача резко отличалась от нашей, манассеинской. В ней еще доживал дух десятых годов.

Дух начала века чувствовался и в Зевесовой голове, и в переплетах книг, и в рассказах об Андрее Белом, который приезжал сюда со свитой антропософок. У одной из них челюсть была вставлена на какой-то новый, конструктивный немецкий лад: без деления на отдельные зубы, — она была сплошная, без мещанского подражания природе. Но, по рассказам, этот сплошной, не то костяной, не то сконструированный из некоей имитации, белеющий на месте челюсти полукруг вызывал у зрителей душевное смятение. Белый сам был весел, оживлен. Антропософки же держались осуждающе. Белый понимал прелесть нигилистических выходов Габ-

ричевского<sup>287</sup> и чувствовал родство этого очень, слишком много понимающего эрудита со своим временем. Антропософки же начисто лишены были чувства юмора и отрицали его, как монашки. Белый, как приехал, стал вместе со всеми собирать коктейбельские камушки. И по свойствам загадочного ума своего, первым делом принялся их классифицировать, но не на существующий у коктейбельских коллекционеров лад и не на принятый у петроградцев, а на свой, и научный, а вместе с тем как бы и переходящий за пределы разума. Это был чудом уцелевший мамонт символистической эпохи, и его разглядывали с жадностью, и о нем рассказывали в 32 году будто о чуде, хотя уже года три прошло с тех пор, как побывал он тут в последний раз. У Волошиных каждый вечер собирались на крыше, читали стихи. И, по рассказам, он несколько ревновал к тому пиетету, которым окружен был Андрей Белый. Теперь не было ни того, ни другого, ни вечерних сборищ. Однажды только собрались внизу у рояля, и композитор, фамилию которого забыл, сыграл что-то свое. Слушателей было немножко.

3 марта

Это были последыши друзей дома — реликтовые девушки, длинный человек неясной профессии, горбоносый, начинающий плешиветь, с верблюжьей шеей. Все, кроме спокойного, всепонимающего Габричевского, крепкой и миловидной жены его, урожденной Северцевой, из славного рода ученых и академиков, казались увядающими. Как не похож был наш манассеинский дом, проданный ленинградскому литфонду, на волошинский! Взять жизнь поэтов тамошних — и Прокофьева, выросшего в избе, воевавшего в гражданскую, хлебнувшего там такого горя, какое и не снилось человеку до семнадцатого года. Потом бандиты застрелили его отца. Потом был он следователем ГПУ. Такой дорогой пришел он в литературу. Андрей Белый в то лето не приезжал, и Волошин умер.

8 марта

Вчера позвонили из Союза, что там общее собрание. Точнее — открытое партийное собрание, с участием беспартийных, по крайне важному вопросу. Я поехал, хоть Катюша и протестовала: Дембо<sup>288</sup> приказал, чтобы

весною я был особенно осторожен. Облезший за зиму Дом писателя. Всё те же знакомые лица товарищей по работе. Все приветливы. Одни — и в самом деле, другие — словно подкрадываются, надев масочки. Мы собрались в зале. Позади председателя — эстрада, серый занавес сурового полотна — все приготовлено к основному спектаклю капустника «Давайте не будем». Но лица у собравшихся озабоченные. Озадаченные. Все уже слышали, зачем собрали нас. За председательским столиком появляется Луговцов, наш партийный секретарь, и вот по очереди, сменяя друг друга, читают Левоневский<sup>289</sup>, Фогельсон<sup>290</sup> и кто-то четвертый — да, Айзеншток<sup>291</sup> — речь Хрущева о культе личности. Материалы подобраны известные каждому из нас. Факты эти мешали жить, камнем лежали на душе, перегораживали дорогу, по которой вела и волокла нас жизнь. Кетлинская не хочет верить тому, что знает в глубине души. Но это так глубоко запрятано, столько сил ушло, чтобы не глядеть на то, что есть, а на то, что требуется, — куда уж тут переучиваться. Жизнь не начнешь сначала. И поэтому она бледна смертельно. Кетлинская. Убрана вдруг почва, которой столько лет питались корни. Как жить дальше? Зато одна из самых бездарных и въедливых писательниц, Мерчуткина от литературы, недавно верившая в одно, готова уже кормиться другим, всплескивает руками, вскрикивает в негодовании: «Подумать только! Ужас какой!» В перерыве, по привычке, установившейся не случайно, все говорят о чем угодно, только не о том, что мы слышали. У буфета народа мало. Не пьют. По звонку собираются в зал быстрее, чем обычно, и снова слышим историю, такую знакомую историю пережитых нами десятилетий. И у вешалок молчание. Не знаю, что думают состарившиеся со мной друзья. Нет — спутники. Сегодня Женский день и, наверное, по этому поводу пьяных на улице больше, чем обычно. Вечером, как в дни больших событий, я чувствую себя так, будто в душе что-то переделано и сильно пахнет краской. Среди множества мыслей есть подобие порядка, а не душевного смятения, как привык я за последние годы в подобных случаях.

17 марта

Прежде чем перейду к другим фамилиям, несколько слов о себе. В Москве продолжают играть «Обыкновенен-

ное чудо», никаких рецензий, чему я рад. Лишь бы не было брани, к этому я отношусь, стыдно признаться, чувствительно. Хоть хвалят пьесу люди, которых я уважаю. Акимов репетирует полным ходом. Что выйдет — кто его знает. Пока то, что я видел, мне очень понравилось. Великое дело, когда актеры верят в пьесу. Акимов деликатнее и осторожнее, чем когда бы то ни было. Но ум у него из небьющегося стекла, крайне ясный, режущий и вполне несгибающийся. А я человек туманный. Впрочем, на этот раз все идет дружно. Кроме одной безумной идеи: министр-администратор почему-то говорит у него с акцентом... На душе смутно. Нет покоя. Но иногда шевелится смутное ожидание радости. Привычное с детства до сегодня.

18 марта

Веру Федоровну Панову знаю я мало. Да и вряд ли кто-нибудь знает ее. Включая саму Веру Федоровну. Рост небольшой. Лицо неопределенного выражения. Чуть выдвинутый вперед подбородок. Волосы огорчают — она красит их в красный цвет, что придает ей вид осенний, а вместе искусственный. Она очень больна. Какая-то незаживающая язва на ноге — кажется, туберкулезного происхождения. Часто прихрамывает. Через чулок просвечивает бинт повязки. Недавно перенесла инфаркт. На собраниях говорит не слишком ясно, однако решительно... Любит она играть в преферанс. Играет страстно, до рассвета. Едва не вызвала этим второго инфаркта. Но вот происходит чудо: Вера Федоровна принимается за работу... Божий дар просыпается в ней. Чудо, которому не устаю удивляться. Если и несвободна она, то лишь от влияний времени; тут надо быть богатырем. Но в целом владеет она своим искусством, как всего пять-шесть мастеров в стране. В каждой ее книжке непременно есть настоящие открытия. Особенно в последней повести «Сережа». Я не умею писать о книжках, к сожалению. Но определяет ее именно это богатство. И не сердятся другие прозаики! Из первой тысячи! Другие мастера из первой пятерки больше защищены. Поэтому бьют ее. Нещадно.

19 марта

И вообще жизнь к ней строга беспощадно. Потеряв мужа, осталась она с тремя детьми. До войны все хвали-

ли ее пьесу «Старая Москва», или «В старой Москве», я не читал ее. Но никто не решался по каким-то причинам пьесу поставить. Как растила она детей, чем жила, не знаю. Не пойму. В блокаду эвакуировали ее с детьми в Ставрополь. Там, как рассказывают, когда приближались немцы, пыталась она вывезти детей, но привело это лишь к тому, что потеряли они друг друга. Но Панова каким-то чудом собрала детей по немецким тылам. Когда удалось ей выбраться на нашу сторону и пробиться в Молотов, где в те дни в основном сосредоточился Ленинградский союз писателей, пришлось ей вначале не слишком сладко, как лицу, побывавшему на территории противника. Но секретарь обкома или горкома по пропаганде Римская, которую ленинградцы называли мама римская — так она возилась с нашими эвакуированными, — поняла положение Пановой. И добилась того, что устроила ее в санитарный поезд. После своих путешествий в этом поезде и написала Панова первую вещь «Спутники». И получила Сталинскую премию, что и вызвало ненависть полувоплотившихся писателей. И в самом деле обидно. За что? Почему избрана именно эта, столь простая на вид, иной раз совсем неуверительно разговаривающая женщина? Измученная огромной семьей... она все пишет. И едва принимается за работу — совершается чудо.

27 марта

Перехожу к букве «Р». «Радио». Это учреждение сыграло большую роль в моей жизни. Сначала, году в 26–27-м, позвали меня и Олейникова делать «Детский час», два раза в неделю, тогда еще в совсем молодом Ленинградском узле. Занимал он всего два этажа во дворе дома на улице Герцена. Теперь в подобном состоянии наш Телевизионный центр — все знают друг друга, от гардеробщика до начальника, все живо интересуются передачами и обсуждают их. В то время, несколько распущенное и неподбритое, встречались любопытные характеры. Из них первый — директор, или начальник Радиоцентра, по фамилии Гурвич. Он был в прошлом левым художником, отказавшимся от красок. Его огромные полотна напоминали мозаику, только материал применял он особый: пшено, овес, рожь, ячмень. Как взбрела эта идея в его крутолобую башку?.. К нам относился он доброжелательно и про-

возгласил даже после одной из передач: «Я всегда отличался способностью выбирать сотрудников». Любопытен был и бухгалтер, высокий, тоненький, узкилицый, несколько по-стародевичьи обидчивый и раздражительный. Он однажды сообщил, что умеет петь детские песенки и попросил занять его в программе. И спел нежным своим голосом песенку о птичках.

28 марта

Начиналась она так: «Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, так жалобно поют!» Мы придумали — с полной беспечностью и легкомыслием тех дней постоянные маски — персонажи, которые и вели программу: Петрушку, тетю Анюту, еще кого-то там. Каждый номер начинался с интермедии, где все они участвовали. Актеры подобрались не слишком опытные в этом жанре, хоть и пожилые. Репетиции вести мы не умели. Петрушку, в частности, читал все тот же тоненький, высокий бухгалтер и пищал скорее обиженно, чем весело. И не слишком разборчиво. Тем не менее дело так или иначе шло. А когда придумали мы нечто новое: непосредственное обращение к детям в ответ на их письма или жалобы их родителей, то почта Радиоцентра, или как он там еще назывался в 27 году, увеличилась чуть не втрое. Года полтора или два продолжали мы работать там. Я считаю время это для себя решающим: постоянное упражнение в драматургии очень помогло мне в дальнейшем. И первую пьесу свою «Ундервуд» закончил я тем, что девочка проникает на Радиоцентр в финале и распутывает запутанный крохотный узел, выступив по радио. Подлинные имена сотрудников я сохранил в пьесе. Но в конце концов наши передачи пришли к концу. Жизнь усложнялась, принимала более строгие организационные формы. Гурвич перестал говорить нам, что всегда отличался умением выбирать сотрудников. И в один прекрасный день нас заменил Туберовский, который повел дело солидно, пришел с целой группой пионеров, заменивших наших стариков актеров. И связанных, кажется, с «Ленинскими искрами». Расстались мы с нашей работой легкомысленно и беспечно, с тем же чувством, с каким пришли туда. Только встречаясь с сотрудниками радио или нашими актерами, вспоминали мы наши передачи весело и не без сожаления. А Радиоцентр все разрастался.



Гурвича сняли, старые сотрудники исчезли, как будто их и не было. Учреждение перебралось в многоэтажный дом Пролеткульта. Теперь появилось там множество студий.

29 марта

Мне приходилось там выступать редко, от случая к случаю. Появились там студии и для публики. С одной из подобных связаны у меня воспоминания неприятные. Мне пришлось говорить вступительное слово к утреннику Маршака. Я не подозревал, что окажусь в зале, подобном театральному, и стану лицом к лицу с видимым, а не предполагаемым зрителем. Все это было бы ничего, — текст выступления был напечатан заранее. Но стола не было. И я держал листки в руках. И руки у меня задрожали. И я подумал: зрители решат, что я волнуюсь. И от этого руки задрожали у меня до непристойности сильно. И чтение превратилось в пытку. Но есть и хорошие воспоминания. Однажды состоялся вечер, посвященный мне. Я, этим делом не избалованный, ничего не испытывал, кроме смущения, когда вошел в студию. Сотрудники повесили плакат на стене с приветствиями. Я не знал, что ко мне относятся тут дружески. Один из редакторов, Бабушкин, маленький, худенький, с лицом необыкновенно привлекательным, вел весь вечер, поглядывая на меня весело и одобрительно. Я чувствовал себя связанным и, повторяю, ничего не понимал, пока продолжался вечер. Я скрыл от родителей, что он состоится. По сложным причинам. Мне почему-то не хотелось, чтобы они его слушали. То ли мне чудилось, что они преувеличат степень моей известности. То ли что отец будет волноваться. Но они прослышали об этом событии у соседей. И отправились к ним. И остались довольны передачей. Особенно мать. Отец не понял отрывка из «Тени» и со свойственной ему прямоотой так и сказал об этом. И я до сих пор с удовольствием вспоминаю о вечере, который в смятении чувств так мало оценил, пока он продолжался.

Пришла война. Я записался в народное ополчение. А когда явился в Союз с кружкой и ложкой, там уже лежало распоряжение обкома — меня прикомандировывали к Радиоцентру<sup>292</sup>. Тут я принялся работать с наслаждением.

30 марта

Трудно передать особое чувство тоски, охватившее меня с 22 июня 41 года. Физической тоски. Не страха, страх — чувство ясное, заставляющее действовать, бежать или защищаться. А тоска душила, то не давала спать, то наводила непонятную сонливость. Да, настоящую сонливость. Мы уехали с дачи 22 июня к вечеру. К ночи с финской границы, с запада, слышалась пальба зениток, а мы уснули крепко. Не слушая, не глядя. Тоска не касалась меня одного. Мне представлялось, что кончилась жизнь, наступил конец света. Помню, как удивили меня веселые и возбужденные, словно прибежавшие глазеть на пожар, мои спутники по дачному поезду в день объявления войны. Каждое утро надеялся я, что все внезапно отменится. Но радиорупоры на улице продолжали кричать бодрыми, парадными военными голосами. Потом исполнялись марши. Какая-то команда, расквартированная в нашем дворе, целыми днями играла в домино, стучала костяшками в ожидании дальнейших событий. А когда замолкали речи и марши, начинал в радиорупорах стучать метроном, проклятый звук. Уже не костяшки, а словно кости стучали о кости. Тоска эта, ощущаемая отчетливо, физически, как боль, очевидно, была родственна неожиданной радости до слез, которую я испытал в 17 году. Я, которого не без основания упрекал отец в безразличии к политике! Это было несомненное предчувствие бедствий, что предстоит пережить всему народу. Безотчетное, но сильное и неотвратимое. И оно вдруг стало исчезать, когда дела как будто бы еще ухудшились. И когда я стал работать на радио. Да, это был не тот знакомый дом на улице Герцена. Беспечного времени двадцатых годов словно и не бывало. Но я вдруг нашел, или мне показалось, что нашел, тон для ежедневных фельетонов (теперь не только речи и марши звучали по радио, а передавались целые журналы). А главное — нашел свое место. Я был нужен.

31 марта

Работал на радио все тот же прелестный Бабушкин, Макогоненко, в те дни худой, молодой и не размахивающий руками по-лопахински, как в наши дни. Работала Ольга Берггольц. Знакомы с нею мы были много раньше, но познакомились близко в те дни. И она была

молода. Война вдруг стала поворачиваться ко мне медленно-медленно другой своей стороной: горести и беды, что несла она, были просты и чисты. Немного спустя, в Кирове, я думал о том, что в дни всенародных бедствий люди несчастны одинаково, а когда проходит общая беда, то по-разному. И чистота опасности, непохожая на страх, который мучил и коверкал наши души до войны, каким-то образом очищала людей. В те дни, чтобы понять линию фронта, надо было глядеть на карту пригородов наших. Голод мучил. Бомбили город с воздуха. Начинались первые артиллерийские обстрелы. И все же, едва нашел я свое место, стала проходить физическая, унылая тоска первых дней войны. А труднее всего было найти свое место именно в Ленинграде. Пребывание на чердаке во время бомбежек стало ощущаться как дело бессмысленное. Все слуховые окошечки там забились, чтобы утеплить его. Стоишь, дышишь чердачным прокопченным воздухом и ждешь отбоя. И приезжавшие с фронта жаловались: в Ленинграде хуже. Там, на фронте, знаешь свое место и что тебе положено делать. А тут, в Ленинграде, совсем другое дело. В бомбоубежище к детям, и женщинам, и старикам идти как будто бы и стыдно. Дома сидеть нельзя, не велят. Стоять без всякого дела и терпеть — что может быть хуже. И я, попавши в новый Дом радио, нашел свое место. Во время одного из первых обстрелов шел с Берггольц по улице Ракова, от нас на улицу Пролеткульта. И мне было весело впервые с начала войны. Я шел что-то делать. Не верил, что снаряд попадет в меня. На улицах было пусто, через правильные промежутки — предостерегающий свист снарядов. А мы смеялись. Вспоминали XIX век.

1 апреля

Я вспоминал вечные жалобы слепого XIX века на то, как отвратительно «тонуть в тине жалкого мещанского существования». И вот мы на своей шкуре — в который раз — испытывали последствия этого отвращения. Вот куда оно завело. Сверхчеловек оказался не умнее филистера: самая методичность обстрела была, как это ни странно, смешна. Ужасно нам смешны были ежевечерние, начинавшиеся в определенный час бомбежки. Дуррак сеял смерть, не понимая, что делает. Браня тину прошлого мещанского существования, грохнули в новую

тину со всей будничностью ужаса. Увы, самым будничным на свете оказались не только мешчанские горести, а всякие, откуда бы они ни насыпались. И что могло быть столь неистово прозаично, как разрушенный бомбой дом с перемешанными обломками кирпичей, извержениями фановых труб и разорванными на части людьми. Увеличенный в миллион раз флюс не делается величественным или трагическим. Ощущение неслыханной ошибки — вот что заменило физическую, как ломоту, непрерывно ощутимую тоску первых дней войны. А весело было от сознания, что если причина аварии понятна, то ее можно исправить.

2 апреля

Я слишком много помню о Радиоцентре тех дней — и сбиваюсь. О тех днях слишком много помню. Словно только что пришел я в Дом радио, в дом потемневший, озабоченный, но живой. В первые дни моих посещений еще я заходил с Макогоненко в буфет. Там давали какой-то салат и без карточек. А потом жизнь в столовой замерла. 21 октября, узнав, что это день моего рождения, Ольга или Юра, — не помню, кто из них, — подарили мне кусок хлеба грамм в сто, и я не шутя растрогался и обрадовался. Мне выдали ночной пропуск, чтобы я ходил беспрепятственно на ночные передачи.

3 апреля

Город менялся с каждым днем, и менялась жизнь в Доме радио. Я ходил туда каждый день, то по улице Ракова, то по Невскому, сворачивая у гастронома. Витрины его были заколочены дощатыми, косо укрепленными конструкциями. А к концу ноября жизнь уже не столько менялась, сколько замирала. Остановились вдруг трамваи. На улицах, где застиг их паралич. Со дня на день ожидали, что прекратится освещение и подача воды. 10 декабря мы выехали из Ленинграда. Вечером, перед отъездом, пришли к нам прощаться товарищи по работе на радио: Макогоненко, Берггольц, Бабушкин. Приходили по очереди, и я долго разговаривал с Бабушкиным, и нам было несколько неловко — до сих пор мы встречались целой компанией. И когда он выделился из среды, мне почудилось в нем что-то новое, не менее привлекательное, но незнакомое. Я был

дружен со всей группой работников радио, а не с каждым в отдельности. Тем не менее мы поговорили с ним о журнале, который будем издавать после войны для молодежи. И больше не встретились. Он был убит в конце войны. Я думал, что расскажу о радио отчетливее, но что-то слишком много недостаточно забытого и тем самым неотобранного нахлынуло на меня. Ну, вот и все. Теперь я снова бываю в Доме радио редко, от случая к случаю. Раза два записывали меня на пленку, и я с отвращением слушал свой голос: он казался мне наглым и чужим. Из старых знакомых в знакомом доме не осталось никого, и я едва узнаю его в тех случаях, когда приходится мне там бывать.

10 апреля

Далее идет Рест. Юлик Рест. Псевдоним. Он рад был бы совсем спрятаться, еще глубже, чем за псевдонимом. Его настоящая фамилия Шаро, и он действительно круглый, как тот колобок, что от бабушки ушел и от дедушки ушел. И спасся от многих других, желающих его съесть. Отличается он от знаменитого колобка черной щетиной на щеках и печальным, настороженным и вместе с тем нарочито безразличным выражением. И еще тем, что вы почти уверены, что данная разновидность колобка уйдет от всех без исключения. Жизнь современного колобка полна таких превратностей, что лучше и не задумываться о них. Не исключена возможность, что в превратностях невообразимого пути мог он сам съесть тех, кто собирался произвести с ним подобную операцию. А в смятении чувств — и тех, кто и не собирался этого сделать. Нет, нет, не смею углубляться в глубь его существа, за маску вечной небритости. Расскажу о более ясной его стороне. Была бы она и вполне светлой, если бы наш Юлик и тут не наводил тень по мере возможности на вещи вполне доброкачественные. Я говорю о его таланте. Еще до войны затеяли в Союзе одно дело. Театр. Маленький, веселый театр, или «устный альманах», как его называли, чтобы не было страшно: «театр» — шутка ли сказать. Называли его еще и «капустник» — это уж было совсем не страшно. На самом же деле, повторяю, затеяли в Союзе театр и довели эту затею до конца. Безличную форму употребляю из уважения к скрытности Юлика. Это он затеял все дело и довел его до конца.

11 апреля

Он сколотил труппу, он добился денег у Дома писателя, он в основном написал всю программу<sup>293</sup>. Но при этом добился, чтобы на афишах и пригласительных билетах стояло чуть не двадцать фамилий авторов. Я, например, написал очень неудачный отрывочек для первой программы и сам же настоял, чтобы он был выброшен из спектакля. На это Рест согласился. Но фамилию снять мою — нет, этого он не допустил. Чем больше народа, тем легче укрыться. Репетировал он хорошо, актеры даже подарили ему какое-то блюдо. Репетировал самоотверженно. Весь зарос, перейдя всякую меру к концу работ. Тратил свои деньги — а он и в этом направлении осторожен до крайности — на бутафорию. Он был отцом и автором дела, но потребовал, чтобы несколько вступительных слов на премьере сказал я. Еще лишнее укрытие. Многие думали, что я чуть ли не основной автор спектакля, после того как я открыл его. И премьера имела необыкновенный, редкий успех. Ее повторяли у нас, потом вывозили в Дом архитектора, в Дом художника, в Дом искусств. И каждый раз, когда пьеса шла в нашем помещении, Рест просто требовал, чтобы я говорил вступительное слово. Последний раз это произошло 31 мая 41 года, в день рождения Катерины Ивановны. И она ужасно огорчилась, что пришлось нам в этот день ехать из Сестрорецка, где мы уже поселились на даче, в город. Но Рест не мог, просто не в состоянии был пережить, что спектакль останется незащищенным и тем самым колобок окажется перед некоей пастью. И вместе с тем горечь наполняла его сердце, если он замечал, что люди, от которых он скрывал степень своего участия, начинают верить ему. Так мучился наш Юлик и наслаждался на разные лады, создав театр — не театр, где он был автором — не автором, выдвинувшись в первые ряды и спрятавшись в норку с целым рядом запасных выходов. После войны театр был восстановлен, потом упал без чувств.

12 апреля

И у Юлика вид стал еще более загадочный и отчужденный, и полные его щеки еще более почернели, оцетинились. О «Давайте не будем» и речи не возникало. Он написал пьесу, переделал заново комедию какого-то среднеазиатского драматурга<sup>294</sup>. И снова имел успех,

на свой лад, таинственный и затушеванный, полный горечи. Но вот его детище воскресло. Количество авторов возросло, но по-прежнему каждая программа доходила до зрителя только его трудами. Я видел его на репетициях, перед премьерой. Он целыми днями не выходил из Дома писателя, сердитый, больной, угрюмый, ревнивый. Его соавторы жаловались вечно на его упрямство. А сама программа? С одной стороны, талант его толкал, как в пропасть, шептал: «Рискни, рискни, прыгни». И он писал вещи рискованные, острые. С другой стороны — он, колобок особого рода, знал все превратности и опасности, подстерегающие его на пути, и он ужасался собственному безрассудству. И все-таки талант брал верх, и Юлик выходил раскланиваться в толпе подлинных и привлеченных им для безопасности соавторов. К премьере он брился. Стоял он не в первых рядах авторов, заполняющих нашу маленькую сцену до отказа. Его лицо, как всегда, имело выражение настроенное и вместе с тем нарочито безразличное. И мне кажется, что множество грехов должно проститься нашему колобку из колобков, мастеру псевдонимов, за тот маленький, веселый, храбрый театр, который он породил как бы против воли.

13 апреля

Заболел Москвин. У него инфаркт. Съёмки «Дон Кихота» продолжают. Козинцев в отчаянии. Мне жаль Москвина. И так далее и так далее. Надо писать пьесу о молодых супругах для Комедии. Потом сценарий и детскую пьесу<sup>295</sup>. Одного хочу — чтобы не мешало мне ничто.

19 апреля

Аркадий Райкин — следующий по списку. Из эстрадников самый привлекательный. Нет выше для него счастья, чем играть. Он не пьет, и не курит, и ест в меру, и даже дом его устроен и обставлен куда скромнее (точнее, безразличнее), чем у людей, зарабатывающих так много. Целый вечер, целый спектакль ведет он один, все держится на нем, да он и не вынес бы помощников в этом деле. Я когда-то писал о нем в специально для банкета после премьеры сочиненном послании: «...конечно, актеры нужны, пока я меняю пиджак да штаны...» Он занимает первое место — и, надо при-

зняться, по праву. Работает — вернее, отрабатывает, доводит он каждый выход свой, как изобретение, что далеко не так часто среди актеров. Подчас только циркачи так же старательны. Особенно те, у которых жизнь зависит от точности работы. Вот и Райкин так работает. И при этом он еще талантлив. И своеобразен.

20 апреля

Начинаю сначала. Аркадий Райкин — имя широчайшее. Стало нарицательным: «шутки, анекдоты, хохмы — ну, просто Аркадий Райкин». Когда пришлось нам работать вместе, приехали мы как-то в Зеленогорск. Зашли в аптеку — маленькое помещенье позади разбитой снарядами церкви. И тотчас же продавщицы впали в состояние, среднее между столбняком и религиозным экстазом. Они отвечали на вопросы Райкина замедленно, а потом сразу бросались выполнять просимое. А Райкин словно бы и не замечал воздействия славы своей. Привык. Когда мы вышли, он заглянул в двигатель своей «победы», раскрыв ее акулородобную пасть. И какая-то пожилая дама спросила меня: «Простите, это Аркадий Райкин?» И радостно закивала, получив подтверждение. Словно подарок получила. Ленинградская эстрада держалась, да и до сих пор, по-моему, держится на сборах его театра. Увидел я Райкина задолго до войны. Году, вероятно, в 35-м. Его привела Шереметьева, тогда ведавшая репертуаром эстрады, — показать талантливого молодого актера, ради которого стоит поработать. Совсем юный, высокий, кудрявый, черноволосый, с наивными, печальными, огромными глазами, полногубый, курносый, производил он впечатление своеобразное и, в самом деле, необыкновенно приятное. И в нашей маленькой столовой показал он кусочки своих номеров так скромно и изящно, что ни разу я не смутился, слушая. И уже тогда угадывалась в нем одна его черта: это был неутомимый работник.

21 апреля

Он рассказывал, что придумал, рассказывал, что ему хочется сделать. И угадывался в нем прежде всего человек, который свою работу считает основной. Для меня было открытием, когда я прочел в воспоминаниях Кугеля, что он и его друзья считали работу газетную — случайной, занимались ею как бы поневоле — они надея-



лись стать со временем настоящими писателями. Один Дорошевич считал фельетоны делом своим кровным, придавал значение каждому словечку, возился с каждым фельетоном так же серьезно, как будто это рассказ! Ну и стал королем фельетона, а из тех, других, ничего не вышло, из тех, кто работал «пока», не уважал то, что делает. Люди подобного склада в большинстве случаев народ обреченный. Райкин, как и Дорошевич, «малую форму» уважал, и почитал, и никак не считал ее малой. И не по недостатку дарования, а по его своеобразию. Он чувствовал, что в театре ему делать нечего. В театре обычного типа. И вот начался его путь к своему театру. Я его после первой встречи не видел несколько лет. Но в 51–52 году, когда на афишах во всю ширину печаталось: «Аркадий Райкин», он как-то рассказал два-три случая, подтверждающих, как нелегко дался ему этот путь.

22 апреля

Но вот, так или иначе, добился он славы. И имя его заняло место во всю афишу.

24 апреля

Кончаю двадцать седьмую тетрадь. Начал я первую из них в апреле 42 года в Кирове. А веду без перерывов, ежедневно, с июня 50-го. Сейчас это вошло у меня в привычку. И я испытываю особенную — не слишком острую, но вполне ясно ощущаемую радость, когда мне удастся что-то назвать, описать точно. Я, к сожалению, не одарен благом независимости. Я считаюсь с людьми, даже с теми, что не люди, а особый вид привидений, обладающих телом, но лишенных духа, — самый страшный вид призраков. А в этих книгах я один. И, не удержавшись, не понимая себя без взгляда со стороны, читал я отрывки некоторым знакомым. И когда меня хвалили, радовался острее, чем в полной пустоте. Ничего не поделаешь. Разговаривать с самим собою — признак безумия. Искать сочувствия — как ни осуждаю я себя за это — признак здоровья. Время у меня сейчас трудное. Беспоконное. Акимов кончает репетиции<sup>296</sup>.

«Обыкновенное чудо» прошло в Москве с успехом, причем меня едва коснулась его теневая сторона: я не сидел в зале на генеральной, на премьере, не слышал ругательных отзывов. Ко мне дошли отфильтрованные, положительные. Теперь мне в конце недели предстоит

все испытать здесь. В субботу и воскресенье — дневные просмотры. Когда-то я любил такие дни. Чувствуешь, что живешь. А сейчас испытываю напряжение.

29 апреля

Сегодня была у меня премьера «Обыкновенного чуда» в Комедии. Видел я пьесу и позавчера — первый прогон и сегодня — последний прогон, последняя открытая генеральная перед премьерой, перед спектаклем на публике, который состоится завтра. Вчера составляли мы списки людей, которых необходимо позвать. Потом они приезжали за билетами. Потом отправились мы в театр пораньше, чтобы избежать давки у входа и просьб о билетах. Начало. Чувствую по актерам, что спектакль сегодня пойдет похуже. И сам не знаю почему. Споткнулся в первом монологе, во вступлении, Колесов<sup>297</sup>. Неуверенно говорит всегда прекрасно играющая Зарубина. Но зал верит мне, и театру, и Акимову. Для всех этот спектакль — признак радости. Признак возвращения прежней Комедии, ставшей в некотором смысле легендой. Довоенной Комедии. Первый акт не нравится мне, но им очень довольны. Аплодируют среди действия. Я сижу и шевелю губами за актерами, на чем ловлю себя. Смеюсь вместе с публикой, отчего потом смущаюсь. В антрактах хвалят. Вызывают в конце, но у меня нет уверенности в успехе. Третий акт — не готов. Финал. Вечером приезжает Акимов. Целый день звонят и поздравляют, но я чувствую, что спектакль не готов. Поэтому занимаюсь финалом. И чувствую облегчение от этого. Сокращаем. Сейчас около двух часов. На душе скорее спокойно — чувствую, что живу. Райкин ругает простоту трактовки роли Сухановым. Дрейден ругал Ускова<sup>298</sup>. Но я чувствую, что живу.

30 апреля

Сегодня я с утра написал новый конец третьего акта. Вряд ли успеют они его подготовить до вечера, но у меня на душе стало спокойней. Вчера все звонили, звонят и сегодня. Вечером собираемся на спектакль. Тревожно, но и весело.

1 мая

Спектакль прошел хорошо, но не отлично. Акимов в каком-то бешенстве деятельности. Он и в Театре Лен-

совета на премьере Сартра — театр все еще считается подшефным ему<sup>299</sup>. И в Москву уезжает он делать доклад на Всесоюзной конференции художников-декораторов и здесь выступает на конференции в ЛОСХе. Выступает и тут и там с неслыханным успехом. А ставит — между этими и прочими делами. Вот уж воистину деятель искусства! Спектакль сыроват. Меня очень радовали все актеры на комнатных прогонах. А как вышли на сцену, испытываю я страх и напряжение. Впрочем, вчерашняя публика слушала с напряжением, никто не ушел до конца, много смеялись, непривычная форма никого не смутила. Но есть нечто до такой степени не совпадающее в Акимове со мной, а во мне с его стекольной остротой и светом без теней, что так и должно было выйти. Я подарил ему экземпляр пьесы три года назад. Он вполне мог поставить ее в Театре Ленсовета, но и не заикнулся об этом. Таинственно молчал, а я понимал, что она не нравится ему. Но вот пьесу в Москве поставил Гарин. Поставил, вопреки мнению руководства, показав половину пьесы и убедив противников. Акимов вернулся в Театр комедии и тут — все же с легким сомнением — решился. Все как будто хорошо. Но не отлично. На пьесу словно надели чужой костюм. Или на постановке пьеса сидит, как чужое платье. Но жаловаться грех. Все пока что благополучно.

7 мая

Продолжаю телефонную книжку.

Миша Слонимский для меня — вне суда, вне определения, вне описания. Он был со мной в те трудные, то темные, то ослепительные времена, когда выбирался я из полного безобразия и грязи — к свету. Грязь и безобразия — это конец Театральной мастерской, неуспех Холодовой, что и я принял, и она заставила меня пережить хуже любого личного несчастья. Потребность веры — и полная пустота в душе. Полное отсутствие заработка. Полная неуверенность в себе. И рядом с этим — безумная, безрассудная, увлекающая других веселость. Доходящая до вдохновения. Отсюда — знакомство и дружба со Слонимским и Лунцем, да и почти всеми «серапионовыми братьями». В Доме искусств устраивались вечера, где мы ставили так называемые кинокартины. В качестве актеров действовали зрители.

Те, кого я называл. Сценарии писал Лунц, но я отступал от них, охваченный безрассудным, отчаянным и утешительным вдохновением. Каждый, кого я называл, выходил и действовал. Оставались нетронутыми зрители солидные и взрослые. Замятин, Ахматова, Корней Чуковский, Воынский, Шипков, Мариэтта Шагинян и другие. Из любви к литературе развлекал я литераторов. Но я не веселил, а веселился. И все остальные — со мной. И Миша Слонимский в случае особенно удачного вечера говорил: «Чего вы удивляетесь? Очередная вспышка гениальности, да и все тут». И эти вечера были для меня спасением.

8 мая

Папа в 23 году решил перевестись из Майкопа в Туапсе, в одну из тамошних санаторий. И позвал меня к себе, на лето. И я, по удивительному легкомыслию тех лет, позвал с собою Слонимского. И он так же легко согласился. В Туапсе папе не понравился старший врач. И решил папа взять другое место. В Донбассе. Возле Артемовска, тогдашнего областного центра. В больнице. На соляном руднике имени Карла Либкнехта. И мы с Мишей с божественной легкостью тех лет решили ехать в Донбасс. Весна в 23 году была поздняя. Уезжали мы в конце июня, а листья на деревьях еще не достигли полного роста. И вот высадились мы на маленькой станции Соль, перед самым Бахмутом. (Тогда еще он не назывался Артемовском.) Папа, несколько смущенный, встречал на бричке, запряженной двумя сытыми конями. Степь еще зеленая лежала перед нами. И на меня так и пахло Майкопом, когда увидел я дорогу за станцией. Пожалуй, тут дорога была более холмистой. Ехали мы среди травы, которую солнце еще не выжгло. Кобчики носились над степью. Все это вижу так ясно, что не знаю, как описать. Все вижу, вплоть до высокой, худощавой фигуры отца, с откинутой назад седой головой, в белом плаще. Привезли нас в белый домик, где у отца была квартира. Две комнаты и кухня. И через несколько дней Миша так вошел в наш быт, как будто всегда был у нас. Он никому не мешал и не мог помешать. В двадцать пять лет это был рассеянный, легко задумывающийся, длинный, тощий, с умоляющим и вместе рассеянным взглядом больших черных глаз человек. Он все задумывался, так глубоко,

что ничего не слышал и не отвечал на вопросы. В те дни это значило, что обдумывает он рассказ.

15 мая

Миша пережил детство непростое. Деспотическая мать. Старший брат, от которого он был далек по ряду причин. Брат-пианист, преподававший музыку трагически погибшему сыну Скрябина (мальчик утонул). А Мишин брат после этого долго болел. Нервами Сестра, которую Миша никогда не вспоминал, тоже, видимо, далекая ему. И, наконец, брат, ближайший ему по возрасту, с которым Миша был дружен и рос вместе. И тот заболел туберкулезом. И болезнь быстро развилась. И умирал он сумасшедшим, и Миша не отходил от него. Глядя на меня своими огромными, растерянными черными глазами, рассказывал Миша, как начинал несчастный больной играть с ним в шахматы и вдруг посреди игры, свирепо фыркая, спибал щелчками фигуры с доски. А главное, мать — владыка семьи — бешено деятельная, безумно обидчивая и самоуверенная, как все женщины подобного вида, беспредельно. Легко было Мариэтте Шагинян говорить со смехом: «Обожаю Фаину Афанасьевну. Она — олицетворение женщины. Вот это и есть вечно женственное!» Попробовала бы она расти и жить под вечной грозой и нескончаемым ураганом. Отсюда беспомощный Мишин смех, и взгляд, и воля, может быть, и не сломленная, но ушибленная. Отсюда же его уживчивость и нетребовательность тех лет. Отсюда и многие душевные ушибы.

17 мая

Мариэтта Шагинян была старшей из Мишиных гостей, как Лунц был младшим. Мариэтта Сергеевна появлялась в состоянии умозрительного исступления.

То она прибегала с требованием, чтобы Миша отказался от литературы. У него не хватает *heilige Ernst*. Они Слишком уж много говорят о нанизывании, острашении, обрамлении, а где *heilige Ernst*? У них, у молодых? «Нет, Миша, бросайте, бросайте писать, пока не поздно!» А Миша кричал ей так, что вены надувались на его длинной шее: «Если я не буду писать, то умру!» И он смеялся беспомощно. «Вы слышите меня? Я не могу бросить писать! Умру! Слышите?» Он говорил чистую правду, но Шагинян по глухоте своей не слышала

его, да и не хотела слышать. Она пришла высказать мысли, возникшие за работой там, в глубинах елисеевского особняка. Иной раз прибежала она сообщить, что живет за стеной, которую не пробить, — глухота и близорукость. «Я не вижу и не слышу, я оторвана от жизни, и самое страстное мое желание — к ней пробиться».

19 мая

О чем только не делались тогда доклады в гостиных и залах елисеевского особняка с атласными беспружинными креслами. Вместо пружин в сиденьях умещалось некое пневматическое устройство. Сядешь — и кресло зашипит негромко, и ты в нем покачаешься, и оно тебя устроит в своем пневматическом ложе куда мягче и ласковее, чем в любом пружинном. И были они белые, как и вся мебель какого-то из Луи, кокетливые. И тут же подлинные скульптуры Родена с его подписью. И читал там Волынский об элевациях, и двойных батманах, и о прочем, придавая читаемому смысл балетно-трансцендентный и с библейской страстностью. Здесь же, в глубинах особняка, помещалась его балетная школа, дела которой, видимо, шли не слишком хорошо. Все время Петроток грозился обрезать свет всему Дому искусств за неоплаченные счета балетной школы. И к нему, Акиму Волынскому, ключи были утрачены... Он был председателем правления Дома. И когда в коридорах проносилась его тощая фигура и видел ты его профиль — фас у него отсутствовал — то испытывал ты уважение. Он читал доклады. И Пяст<sup>300</sup>. И Сологуб. И Чуковский. И Замятин. Напряженная умственная жизнь, казалось, шла в Доме искусств, но мы не принимали ее всерьез. У молодых шла своя жизнь. Они не верили в значительность старших. Ключ был утерян. Как и старшие не принимали всерьез верхний этаж елисеевского особняка, где, по преданиям, жила некогда прислуга владельцев. Распутывая, ушел я за ниткой клубка в сторону. Появлялась в Мишиной комнате и бывшая жена Ходасевича<sup>301</sup>, невысокая, худенькая, с беспоконными глазами, темными и словно выбирающими. Его самого видел я мало.

20 мая

Раза два, все в тех же гостиных, на каком-то докладе. О нем говорили уже восторженно. Не в пример угасаю-

щим и непонятым представителям уходящего поколения, этот вдруг заговорил на новый лад. Переродился. Отыскал вдруг ключ к самому себе. Ходасевич был страшен. Лицо его походило и на череп, и вместе с тем напоминал он увядшего, курносого, большеврого, маленького телеграфиста с маленькой станции. И страдал экземой. И какая-то, кажется, туберкулезная язва разъедала ему кожу на пятке. Обо всем этом рассказал мне Коля Чуковский, восхваляя его стихи и с ужасом и восторгом говоря о его недугах. И о том долгом его литературном прошлом, когда считался Ходасевич поэтом второстепенным, «эпигоном». «Он ненавидит папу! — рассказывал Коля. — Он как-то сказал: „Чуковский, давайте дружить!“ — на что отец промолчал. И он не может ему этого простить!» Но в дни, когда я его видел, был он признан всеми, вышел в первые ряды. И вдруг исчез с громом и шумом — бежал с молодой поэтессой Ниной Берберовой<sup>302</sup> в Германию. Опять я отвлекаюсь — говорю не о Мише, валяющемся до одиннадцати в своей комнате на третьем этаже Дома искусств, а об ощущениях от всего Дома искусств в целом...

21 мая

Он унаследовал от предков хорошую голову. Мог играть в шахматы вслепую. Когда он рассуждал, голова работала без перебоев. Но душа у него была уже и тогда уязвленная, запутанная, внушаемая. Начинал он — от души. Первые его рассказы, особенно «Варшава», были ему органичны. В дальнейшем стал он притворяться нормальным. И — потерял дорожку. В Донбассе, когда пришло время возвращаться в Петроград, произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь. Слонимский зашел в редакцию. Чтобы помогли ему с билетом. С железнодорожной броней. И редактор предложил ему организовать при газете журнал «Забой». И Слонимский согласился с тем, что секретарем журнала останусь я. Мы съездим в Ленинград, вернемся и все наладим. После чего я останусь еще на два-три месяца, а он, Слонимский, уедет и будет держать связь с журналом, посылать материал из Ленинграда. Так мы и договорились. И уехали. И вернулись обратно. К нашему ужасу, старого редактора на месте не оказалось. Новый, по фамилии Валь<sup>303</sup>, худенький, с безумными глазами, маленькой бородкой, с перекошенным от вечного гнева ртом, при-

шиб нас своей энергией. Он потребовал, чтобы мы, пока собирают материал для журнала, сотрудничали в газете. И тут я пережил первое в своей жизни чудо. Я написал фельетон раешником о домовом, летающем по Донбассу. Материалом были рабковорские письма. И, придя в редакцию, я услышал, как Валь читает мой фельетон вслух секретарю и кому-то из сотрудников. А затем он вышел из кабинета. Обычная яростная улыбка отсутствовала. С удивлением глядя на меня, он сказал, что фельетон ему нравится и он сдает его в набор.

24 мая

В 24 году Миша женился. Свидетелями были я и Федин. Из серапионовских барышень Дуся<sup>304</sup> нравилась мне больше всех. Она училась на биологическом. Даже, кажется, кончила его. Она была очень хорошенькой в те годы. И имела свой характер. И была умница... Записывались Миша и Дуся в бывшем дворце бывшего великого князя Сергея Александровича, в бывшем особняке Белосельских-Белозерских. Назывался он в те дни Дворец Нахимсона, и помещались в нем райком партии (который теперь занимает все помещение) и райсовет. Там в загсе Миша и Дуся записывались. А я и Федин были свидетелями, чем-то вроде шаферов. Дуся все плакала, а Миша смеялся беспомощно. Мы долго ждали очереди. Когда уже позвали нас к столу, где регистрировались браки, Федин вдруг пропал. Я кинулся его искать и услышал его красивый баритон из уборной. Он взывал о помощи, ибо дверь в уборную зацелкнулась сама собой снаружи. Освободив пленника, я побежал с ним к брачащимся. Церемония прошла быстро. Девушка, совершавшая ее, сказала в заключение голосом, в высокой степени безразличным, без знаков препинания: «Поздравляю брак считается совершившимся к заведующему за подписью и печатью». В ресторане быв. Федорова на улице Пролеткульта заняли мы отдельный кабинет. Здесь Дуся опять плакала, а я, по ее словам, сказал ей: «Чего вы плачете, Дуся, когда приобрели на всю жизнь таких друзей, как я и Федин». Вряд ли я сказал именно так, но Дуся уверяет, что так оно и было, и до сих пор поддразнивает меня этой фразой. С этой свадьбой кончилась Мишина жизнь на третьем этаже Дома искусств. Он перебрался в большую комнату на улице Марата, где жила Дуся.



25 мая

24 год. Я снова работаю вместе с Мишей Слонимским, но на этот раз — в Ленинграде. Вернувшись из второй поездки в Донбасс, где опять работал в газете и журнале, я было испугался: трудно было после работы, где всем ты нужен и тебя рвут на части, остаться вдруг в тишине. Правда, у меня уже печаталась первая книжка. Встреча с Маршаком определила окончательно дорогу. Но платили в те дни за книжки до смешного мало. И когда Слонимский предложил работать с ним в журнале «Ленинград», я очень обрадовался. Трудно передать легкость этих дней. Я не ждал и не требовал ничего — наслаждался тем, что так или иначе выхожу на дорогу. Да, я был еще недоволен собой, но, в конце концов, состояние это не являлось новостью. А Миша женатый нисколько не изменился. Все так же уходил вдруг в дебри повторяющихся мыслей. То высказывал их, то нет. Работали мы в доме, где помещалась редакция и типография «Ленинградской правды». В первом этаже, в большой комнате. Остальные занимала бухгалтерия.

1 июня

Журнал «Ленинград» в 25 году закрыли решением издательства, и я перешел на работу в детский отдел Госиздата, что тоже является совсем другой историей. В Донбассе, работая в газете, я почувствовал дно под ногами. А тут уж совсем выбрался на берег; надо было решить, куда идти. Но спутники мне попались немирные, деспотические. Я ушел с головой в новые отношения, побрел по дороге, далекой от Мишиной. Но юношеские годы связали нас прочно, навсегда. Мы могли не встречаться подолгу, но это ничего не меняло. Вот Миша и Дуся решили поехать за границу. Году в 27-м. Тогда это было просто. Но тем не менее событие это взволновало умы. Слонимские стали собираться. Для вещей, которые следовало уложить на лето и пересыпать нафталином, купили они корзину, которая, по мнению Дуси, оказалась слишком большой. И Миша с беспомощным смехом рассказывал: «Пропала Дуся. Не могу найти. Оказывается, она забралась в корзинку, закрылась крышечкой и плачет там». В ясный весенний день проводжали мы их на Варшавском вокзале. С цветами. Дуся уже не плакала, а смотрела весело в четырехугольнике

окна мягкого вагона, веселая и умненькая, хоть и склонная к слезам, как девочка, как гимназистка, что ей шло. И Миша, длинный, с тонкой и длинной шеей, улыбаясь во весь тонкогубый, большой рот, примерно каждые три минуты, возвращаясь, как всегда, к одной и той же мысли, только в дорожной лихорадке завершая круг быстрее, повторяет: «Значит, едем все-таки».

2 июня

И вернулся Миша из-за границы. И снова пошла наша жизнь, все усложняясь и усложняясь, своим чередом.

6 июня

Все мы стареем. Когда я представлял себе старость, то не боялся. Представлял, что изменяюсь внешне, и все тут. А стареть-то, оказывается, больно. Сваливается то один, то другой из моих сверстников. Мне все кажется, что это какое-то недоразумение, вот-вот все разъяснится, в мое время старики были вовсе не такие. И в самом деле — разве старик Миша? Вот идет он по улице навстречу, — такой же длинный, такой же тощий, с той же тонкой шеей, только у основания распухшей, воротничок расстегнут. Ему пятьдесят восемь лет, но он так же беспомощно хохочет, как в молодости, когда я поддразниваю его. Года полтора назад вызвали нас в военкомат, как в былые годы, — на учебу. Какие же мы старики? Потом писателей выделили. Мы стали ходить, согласно приказу, на лекции в Дом писателя. Но райвоенкомат не успели известить об этой перемене, и мы получили строгий приказ явиться туда и объясниться. Вся наша жизнь прошла под знаком мобилизаций, явок, переосвидетельствований, и мы к подобного рода повесткам привыкли относиться вроде как бы к зовам судьбы. В данном случае было все ясно, — недоразумение. Да и мы не призывники. Пришла повестка в субботу. Являться с объяснениями приказано было в понедельник. Миша звонил мне по телефону трижды, примерно каждые десять минут, повторяя одно и то же: «Мне гораздо удобнее идти сегодня, чем в понедельник. Давай пойдем и выясним это дело». И он пошел в военкомат в тот же день, повинувшись его могучему зову, как всю жизнь, — какой же это старик! Теперь, правда, в июле прошлого года, сняли нас с учета. Но каждый раз, когда

вижу я длинную тощую фигуру с головой, чуть склоненной набок, в глубокой задумчивости, — разом оживают во мне веселые и печальные чувства двадцатых годов. И я не чувствую возраста, как, впрочем, и всегда. Как не чувствует его и Миша. Некогда.

10 июня

Союз писателей стоит дальше в телефонной книжке. Появился он на свет в 34 году и вначале представлялся дружественным после загадочного и все время раскладывающего пасьянс из писателей РАППа. То ты попал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, — как разложится. Во всяком случае, так представлялось непосвященным. В каком ты нынче качестве, узнавалось, когда приходил ты получать паек. Вряд ли он месяца два держался одинаковым. Но вот РАПП был распущен. Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он в качестве некоей силы в ССП, а вовсе не погиб. И года через три стал весь наш Союз раппоподобен и страшен, как апокалиптический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная молодость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времен. Молодые — возможно...

Сценарный отдел «Ленфильма». С ним отношения непонятны. Единственное место, где я бывал груб и неуступчив, — это «Ленфильм». Я с трудом выношу, когда требуют поправок, а сценарный отдел только этим, собственно, и занимается. В ателье напряжение и спешка, в костюмерной, гримерной, диспетчерской — зво-

няют, спешат, слепят светом, или кричат у телефонов, или спорят с художником или с актерами. И только в сценарном отделе тихо — не то как в оранжерее, где выращивают цветы, не то как в классе во время контрольной работы. Или это та зловещая тишина, когда экзаменуемый запнулся. Это последнее — вернее всего. С одной разницей: экзаменатор знает еще меньше экзаменуемого.

«Советский писатель» — издательство. Я с ним не встречался до этого года, пока не вышло решение: печатать сборники пьес. И вот я сдал туда свой сборник. И стал ждать.

В сборник мой вошла пятая часть пьес, что я написал, и один сценарий<sup>305</sup>. Месяца через полтора меня вызвали в издательство. И вот после очень большого промежутка времени приехал я в Дом книги, чтобы поговорить об издании своей книги. Дом Ашероу, который давно упал, но никто этого не замечает<sup>306</sup>. Штатные работники выполняют, нисколько не смущаясь и не пугаясь, работу призраков. Я в течение двух часов добивался с помощью редактора единообразия. То есть: чтобы все ремарки были набраны одинаково, стояли в одном и том же порядке, чтобы... не помню уж всех крохоборческих и третьестепенных требований, которые сводились все к одному — к типографскому единообразию. Хорошо, впрочем, было то, что никто не требовал, чтобы я переделывал текст пьес. Кончив работу, спустился я во второй этаж, где теперь — там, где в двадцатых годах размещалась бухгалтерия Госиздата, — устроили отделение книжного магазина. Тут теперь отдел художественной литературы, детской книги и так далее. И вот я увидел зрелище, испугавшее меня. Множество сборников, под названием «Пьесы», стояли, как памятники.

На полках, за спиною продавщиц. Фамилия автора едва видна. «Пьесы», «Пьесы», «Пьесы» — и никому они не нужны. Это испугало меня. Приехавши домой, попросил я, позвонив в издательство, переменить название книги, взяв для этого любое заглавие пьесы. Там согласились. Книга будет называться «Тень». Через два-три месяца, совсем недавно, прислали мне корректуру. И — о, ужас! — в верстке! За это время могущественная и на самом деле существующая типография

скрутила призрачных обитателей Дома книги. Верстка! Значит, я не могу править рукопись, увидев ее в печати. А именно тут многое становится окончательно ясным. Править можно было только в пределах двух-трех слов. Общее, призрачное безразличие к существу дела и загадочная, потусторонняя придирчивость к мелочам.

14 июня

Тарле Евгения Викторовича видел я раза три в моей жизни. Он успел уже замкнуться в условные формы: академик, большой ученый. Так, вероятно, принимали при дворе. От всего, что он говорил, веяло ледяным холодом чистой формы. Впрочем, исходило это не от сознания своего величия, а от смертельного страха. Он был в свое время арестован и приговорен к смерти, а потом освобожден. И жил в поле зрения того, от которого зависели и честь, и позор, и жизнь, и казнь. Был он, казалось, милостив сегодня, но что ждет тебя завтра за одно слово, за одну букву? Я узнал его благодаря знакомству своему с Богдановичами. Тарле с незапамятных времен, еще до революции, был влюблен в Татьяну Александровну. Я был тронут, когда она, седая, бабушка уже, сказала как-то с удовольствием и гордостью: «Ох, достанется мне от Евгения Викторовича за то, что вышла я в такую гололедицу». Незадолго до этого Татьяна Александровна упала на улице и повредила руку. Году в 49-м или в 50-м в Союзе писателей состоялся вечер памяти Татьяны Александровны. И академик Тарле выступил с докладом. Скованный и замороженный, говорил он об одном: о патриотизме покойной. Ни редакции «Русского богатства», где они встретились, ни долгой и сложной жизни, ни привязанностей: патриотизм и все. Как радовалась Татьяна Александровна, уже больная, умирающая, победам русского оружия. Верю. И не могло быть иначе. Но ведь качество радости ее было особое. А в докладе несчастного, трагически замерзшего академика не отличить ее было от генерала Богдановича<sup>307</sup>.

15 июня

Я его ни в чем не обвиняю. Рассказываю только, во что может превратиться человек возле черного пламени и возле абсолютного нуля административных высот.

24 июня

Сегодня шесть лет, как веду я эти тетради ежедневно. В августе 55-го я думал было, что придется бросить писать, — болел. Но перестать писать показалось совсем уж уныло. И я, несмотря на строгий режим, заполнял положенные две страницы. Писал сначала авторучкой, потом перешел на вечное перо. Подарила Надя Кошверова. Шестилетие пришлось как раз на троицу.

25 июня

За это время я дважды подписал верстку сборника пьес, который выпускает «Советский писатель». Но надо бы писать новую. И не тянет. Вокруг все как будто сдвинулось и зашевелилось, но нет уверенности, что чиновники, мастера неподвижности, не приведут все в привычный вид... Пьеса как будто бы имеет успех<sup>308</sup>. Но если брань меня задевает, то похвалам я не верю.

16 июля

На букву «Ш» — одни Шварцы, родня, о которой так много знаешь, что никакого открытия не сделаешь, рассказывая. И люди все разные, но близость с ними одинаковая, словно принудительная. Но все это не имеет отношения к делу. Начну. Антон Шварц — был самым близким из родных. Нас объединяло время, среда, в которой мы выросли, достаточное сходство, чтобы понимать друг друга, и разительное несходство, чтобы друг друга удивлять. Самым поразительным для меня была Тонина уравновешенность. С самых ранних лет. Отец часто вспоминал, как двухлетний Тоня, когда его спрашивали: «Понимаешь?» — отвечал вяло и хладнокровно: «Понимаю». И помню я его, вероятно, с этого же времени. Мы сидим во дворе, на стульях, которые кажутся мне очень высокими. В руках у каждого по шоколадке, которые мы друг другу показываем. И что-то голубое связано с этим воспоминанием: Тонина шапочка с помпоном, вроде матросской, или голубые обертки шоколадных плиток, или ясное небо. Шоколадные плитки — с фокусом — дернешь за белый язычок, и собачка, нарисованная на обложке, откроет глаза. В те же времена, или годом позже повели нас на Красную улицу в какой-то магазин — там показывали фонограф. От аппарата шли резиновые трубки с костяными наконечниками. Мне вставили эти холодные на-

конечники в уши, и я услышал какой-то отвратительный, нечеловеческий голос, и перепугался, и бросился бежать. Фонограф помнил и Тоня. Это — первое общее наше воспоминание. В 1904 году, летом, жили мы в Одессе. Мама решила кончить курсы массажа. На обратном пути остановились мы в доме бабушки, возле кирхи. К этому времени жизнь у меня стала сложной. И Екатеринодар тех дней окрашен уже не одной краской. И тут мы с Тоней подружились. Он был так же уравновешен и спокоен и поражал меня богатством своего языка.

17 июля

Я помню екатеринодарский их двор, пыльный, с деревьями, желтеющими не от осенних холодов, а от избытка жары, преждевременно стареющими. Соседские мальчики по фамилии Канатовы. Тоня, как самый спокойный и цельный, руководил нами, а мы с удовольствием подчинялись. Иногда игра прерывалась. Муравьи строем ползут, ползут, двигаются куда-то вверх черным ручейком по светлой коре какого-то дерева. Вернее всего пирамидального тополя. И мы обсуждаем, куда они спешат. И выясняется, что Тоня знает о муравьях больше всех нас. Толково, уверенно и спокойно он рассказывает, а мы слушаем с тем страстным вниманием, которое всегда просыпается, если мы остаемся в пределах своего мира, и которое умирает от малейшего насилия.

18 июля

Мы встретились через восемь лет — в тринадцатом году, весной. Мне было шестнадцать с половиной лет. Тоне — семнадцать. О том, как сидели мы на высоких стульях, он не помнил, фонограф — как через туман, но разговор на заборе запомнил твердо. За эти годы я бесконечное количество раз слышал о нем. Рос я нескладным, раздражал этим отца — человека здорового, красивого, рослого, вспыльчивого, страстного и цельного. И каждый раз, побывав в Екатеринодаре, он попрекал меня Тоней. Тоня — прекрасно декламирует. Круглый пятерочник. Году в двенадцатом, возвращаясь из Анапы, побывал я у его родителей. И Беллочка рассказывала о сыне еще подробнее и восторженнее, чем папа. И о его учении. И о его успехах. Однажды у них обедал известный миллионер Юкелис. И он пред-

ложил Тоне, рассказав какой-то анекдот: «А ну, переложи это на стихи — дам пять рублей», и Тоня, выскочив из-за стола, побежал к себе и через пять минут вернулся со стихами, от которых старик Юкелис пришел в восторг и заплатил обещанную сумму. Тони не было. Он гостил за границей у бабушки в Наугейме. К моему удивлению, по большой шварцевской квартире бегала маленькая, нежная девочка — лет трех. Тонина сестренка. О ее существовании я и понятия не имел.

19 июля

К тому времени отношения со взрослыми у меня до того усложнились или скорее упростились, что я пропускал мимо ушей все их разговоры, если они не направлены были непосредственно ко мне. Они жили своей жизнью, а я своей, в достаточной степени сложной, и говорили мы на разных языках. Я их не осуждал за это. Напротив, склонен был часто считать себя виноватым, но понимал, что и это не поможет нам понять друг друга и объясниться. Вот отчего пропустил я мимо ушей, что у Тони родилась сестренка. И не придавал значения похвалам по Тониному адресу. Не сердился на них. И с интересом поехал погостить к ним весной тринадцатого года. Тоня прислал мне открытку, в которой звал меня, и кончал ее богато: «*Sic volo, sic jubeo*»<sup>309</sup>. Я был реалист, так что латинскую эту цитату перевел мне папа. Конечно, Тоня оказался совсем не таким, как описывали старшие. Худенький, узкоплечий, бледный, с ясно выраженными шварцевскими чертами лица — не семитическими, а хамитическими: полные губы, густая шапка жестких волос. Глаза глядели спокойно и достойно. Язык его рядом с моим был все так же богат, так что в первый день склонен был я обвинить его в страшном грехе — в неестественности. Главный недостаток, которого с детства приучала меня бояться мать. Но, к своему удивлению, вслушавшись, понял я, что за непривычной манерой выражаться скрывается понятный и близкий мне смысл. Я был варварски самоуверен. Шел по своим путям, но мы быстро поняли друг друга.

20 июля

Тоня был куда образованней меня, но вместе с тем мальчик, спрашивающий, может ли хороший еврей по-



пасть в рай, не умер в нем, а вырос. Время было скептическое и эстетическое. Екатеринодар яснее ощущал влияния нынешнего дня: туда приезжал Бальмонт и скандалил за ужином и принялся ухаживать за Беллочкой, Тониной матерью. За ужином, что давали в его честь, он вел себя так, что к концу осталось всего несколько человек. И Бальмонт спросил Исаака: «Вы любите свою жену?» — «Да!» — ответил Исаак с мрачной, шутливой серьезностью. «И я тоже!» — сказал Бальмонт. «Что ж мы будем делать!» — воскликнул Исаак, схватившись за голову с комической серьезностью. На другой день тихий и трезвый пришел он к Шварцам с визитом и, уходя, написал в альбом Беллочке: «Душа светлеет, Увидя душу, Союз наш верный — Я не нарушу». И уехал читать стихи и скандалить в Новоросийск. И Тоня видел его в непосредственной близости. А в Майкоп подобные существа не забредали. Приезжал и пел свои стихи Игорь Северянин. И Тоня наблюдал его в непосредственной близости. И удивился и огорчился (за меня) узнав, что я не люблю его стихи. И толково, спокойно и рассудительно объяснил, почему они ему нравятся. И я подумал: «Ладно, об этом надо потом подумать». Так я всегда поступал в те дни при столкновении с чем-то, требующим душевного или умственного напряжения в области для меня новой. Рассказал мне Тоня о Мамонте Дальском. Он почему-то не мог найти комнату, приехав на гастроли, и Тоня проводил его по адресам, где знаменитый артист мог устроиться. Дважды потерпели они неудачу, и гастролер сказал с великолепной задумчивостью: «Когда я умру, тысячи людей пойдут за моим гробом, а сегодня мне негде преклонить голову». И хоть подобные существа забредали и в Майкоп, но им далеко было до Мамонта.

24 июля

И вскоре мы расстались с Тоней, чтобы встретиться через год в новом мире — военном. Осенью приехал я из Майкопа в Екатеринодар, где мобилизованный папа мой служил врачом в войсковой больнице. На душе было темно, не по возрасту — терзала и не давала покоя любовь к Милочке. Война казалась зловещей, но была только фоном к тому, чем я жил. Насколько светлее было прошлое лето, лето тринадцатого года. Екатеринодар тех дней больше всего связан у меня с запахом но-

вой только что отлакированной мебели. В мебельном магазине дедушки встречались мои дяди и их друзья, возвращаясь с работы. Самоуверенные и спокойные адвокаты, друзья младшего из моих дядей, Саши. Исаак, Тонин отец, с выражением всегда несколько гневным и осуждающим. Магазин узкий и длинный, как галерея, ряды буфетов, кресел, диванов, исчезающих в глубине. Больше всего и увереннее всего говорили адвокаты — и о литературе, и о театре, и о суде, и о женщинах. В адвокатской комнате висело расписание — кому по дороге в суд покупать газету. Составлено оно было на тридцать пять дней, а ниже стояла надпись: «К этому времени война кончится».

25 июля

С Тоней мы встретились на этот раз как старые знакомые, но я успел сильно перемениться за этот год. Я провел несколько месяцев в Москве. Вспоминаются они мне до сих пор как несколько лет. Я утвердился в своей робинзоновской внутренней жизни. Кое-что самодельное, кое-что принесло к моему острову течение. Я писал стихи, подобные робинзоновской одежде. И на этот раз показал их Тоне. Он выслушал стихи мои с недоумением и даже неловкостью. Указал, что так не рифмуют. И возражал против полного отсутствия музыкальности, когда увидел, что я разумею под этим не в теории, а на деле.

26 июля

Нам сшили студенческую форму. У одного портного. И достали билеты в вагоне «Новороссийск — Москва». Достали в Новороссийске — из Екатеринодара в военное время непросто было выбраться. Толпа у вагонов, шум, какие-то девушки кричат Тоне с площадки, вручают нам билеты, и вот мы отправляемся в Москву. Несмотря на любовь, терзавшую меня, не дававшую ни минуты покоя, я ухаживал всю дорогу за беленькой девушкой. Она ехала в Петроград на курсы. С нею — мать, худенькая, черненькая, моложавая. Жили они где-то на границе с Турцией (Манглис?). Отец-офицер служил там. Мы всё стояли на площадке, а мать появлялась от времени до времени, присоединялась к нам. И Тоня стоял тут же на площадке. Он не ухаживал — скорее снисходительно и вежливо принимал знаки внимания и вос-

хищения от худенькой стройной девушки по имени Галя. Маруся Бахчисарайцева — гимназистка в Екатеринодаре, Галя и новые наши знакомые в поезде — все восхищались красотой Тониного голоса. А кто-то из взрослых сказал, что у него органнй звук голоса, что, когда он говорит, чувствуешь обертоны. Тоня охотно читал вслух. Но об актерской карьере и не думал. Сказывалась та же инерция, что не пустила отца его в актеры, а даже строгая моя мать подтверждала, что Исак необыкновенно одарен. Та же сила привычной колеи, что не дала моей матери, ее брату и сестре пойти на сцену. Впрочем, вряд ли мы думали тогда об одном каком-нибудь пути. Казалось, что все «пока». Война. Как можно решать что-нибудь окончательно. Беллочка, по особой характерной уверенности своей, что надо хлопотать и родственники помогут, написала в Москву своим двоюродным братьям, чтобы они оказали нам содействие. Они приняли это как должное. Один из них, седой сорокалетний, другой чуть моложе, лысый, с усами и светлыми нагло-насмешливыми глазами, в день приезда приняли нас в конторе, принадлежащей им. Какой? Не поинтересовался. Оба серьезно, солидно давали нам советы, обращаясь больше к Тоне. Советы совершенно ненужные. Например: питаться в студенческой столовой. Там теперь кормят дешево и хорошо.

27 июля

Или: сдавая белье прачке, сосчитай его и запиши. Впрочем, младший из Тониных двоюродных дядей, тот, что с нагло-насмешливыми глазами, Аркадий, указал нам, что в Дегтярном переулке, этажом выше его квартиры, сдается комната. И это сведение не представляло ни малейшей цены. В те дни в Москве на каждом квартале можно было увидеть зеленые прямоугольные бумажки в окнах домов. Это были объявления о сдающихся комнатах. Красные объявления указывали на сдающиеся квартиры. Тем не менее мы воспользовались дядиным советом и поселились в Дегтярном переулке. Хозяином оказался чех лет тридцати, музыкант из оркестра Художественного театра. Вся семья его состояла из жены и свояченицы, по имени Граня, которой чех горловым голосом читал иногда нотации. Начинались они громко: «Граня, я те-

бе говору!» — а в дальнейшем он понижал голос. Комнату мы сняли просторную, с новой светлой, модной в те дни мебелью. Так была обставлена и вся квартира. Вот и начался первый семестр моей студенческой жизни, который, когда я вспоминаю, представляется мне долгим, как бы многолетним... В этот период жизни мы были дальше друг от друга, чем когда-либо. Юридический факультет я ненавидел. До самого здания, коридоров, аудитории, студентов. Тоня, который обладал значительно более организованным умом, принимал его здраво.

28 июля

Я чувствовал себя не то что чужим, а вызывающим протест в среде дяди Аркадия, куда пышнотелая, темноглазая, живая, молодая, вечно напевающая что-то из оперетт, простоватая его жена постоянно звала нас то к обеду, то к ужину. У нее был мальчик — не от Аркадия — лет пяти. И с Аркадием они были не венчаны. Бывал у них вечно в гостях сытый человек лет тридцати пяти, спокойный, уравновешенный, довольный жизнью. Бывал Метнер, брат композитора, до наивности немецкой наружности. И он владел какой-то конторой, как Аркадий, или была у него фабрика. С ним тощая блондинка, подруга жены Аркадия, находящаяся в том же положении при Метнере, как та при Аркадии. Длиннолицая и, на мой взгляд, немолодая жена адвоката появлялась всегда в сопровождении молодого спутника с лицом грубым и наглым. И целая шайка подобных молодцев иной раз являлась с ними. Сам адвокат, бледный до бесцветности, похожий лицом на Чайковского, держался несколько брезгливо в стороне от компании жены. И при Тоне однажды, когда в компании его жены вышла какая-то ссора и к адвокату обратилась жена с жалобой, он ответил: «Не вмешивайте меня в свои грязные дела». Он, адвокат этот, поразил нас годом, примерно, спустя. Шла премьера пьесы Андреева «Король, закон и свобода», шла с неслыханным успехом. Зал обезумел, когда король приказал открыть плотины и утопить немцев. Зал представлял явление куда более поразительное, чем сцена. И наш знакомый, бледный до бесцветности адвокат, похожий на Чайковского, охваченный общностью, массовостью чувства, побледнев еще более обыкновенного, кричал, вскочив

на кресло: «Так их, топи их, туда их!» И никому, кроме нас, не казалось это странным. Приближались новые, страшные времена, но в первый год войны мало кто угадывал это. И мы с Тоней успели забыть то особое, зловещее чувство, которое испытали, увидев на маленькой станции по дороге в Москву первых раненых. Теперь встречались они в каждом переулке, вошли в быт.

29 июля

В следующем семестре поселились мы отдельно. Я снял комнату в солодовниковском доме в Лебяжьем переулке. Любовь моя к Милочке Крачковской вдруг сломалась под собственной тяжестью. Жизнь стала пустой — столько лет я жил только этим. Тоня же продолжал спокойно и не теряя равновесия развиваться. И особым достоинством являлось то, что он сохранял ясность взгляда. Он продолжал сам смотреть. Сохранял самостоятельность. Прочитанные книги помогали ему смотреть, а не являлись целью. В те времена образовалась группа студентов, выделяющихся из общей среды... Для большинства из них, из этой группы студентов, «эрудит» было высшей похвалой. Стилизация их восхищала. Тоню считали они равным. Но он был выше. Весна шестнадцатого года. Мы перешли на третий курс, возвращаемся в Екатеринодар на каникулы. В Кавказской — пересадка. Мы увидели в тупике екатеринодарские вагоны, стоим на задней площадке, ждем, когда прицепят. Зелень, еще не тронутая жарой, поражает после Москвы богатством, решетку станции не видно, все заросло травой и кустами. Мы разговариваем с жадностью и с прежним уважением к опыту друг друга. И если у нас нет ясной веры наших отцов и умерла детская вера, то потребность веры осталась. В нашем разговоре есть элементы того, что вели мы в дедушкином саду. Да, мы еще ничего не начали всерьез, война продолжается, все, что мы делаем, это «пока». Но мы говорим о том, что будем делать. К этому времени Тоня уже уверовал в мои варварские стихи и даже носил их показывать Бунину. К счастью, его в Москве не оказалось. А я с уважением отношусь к Тониным знаниям и привык к его манере говорить. Так мы и жили, все «пока» да «пока». Судьба забросила нас в Театральную мастерскую. Мы стали актерами, что было естественно для Тони и совсем неожиданно для меня. Он женился на тоненькой, высо-

колобой, огромноглазой Фриме Бунимович. Женился и я. Оба мы развелись со своими женами, которые, кстати, ненавидели друг друга. Встречались редко — каждый шел своей дорогой. Тоня кончил юридический факультет, работал некоторое время адвокатом, продолжая выступать как чтец, и, наконец, окончательно отказался от адвокатуры. Со свойственным ему спокойствием относился он к переездам из города в город, к гастрольным своим поездкам. И объездил всю страну с программами, которые составлял сам. И имел очень большой успех всюду, где бы ни выступал. Ему найдется что сказать, если его спросят, что он за свою жизнь сделал. Он все уезжал, виделись мы редко, но я каждый раз испытывал некоторое огорчение, узнав, что Тоня собирается снова в путь. И вот пришла война. И мы встретились в Москве, в гостинице «Москва». Он рассказывал о фронте. С моей точки зрения, он не изменился.

### 30 июля

Для меня студенческие наши дни, даже детство — было точно вчера. И, глянув на седую Тонину голову, я подумал: «Да, время-то идет». Но тут же почувствовал: «Идет, но не проходит». Я вспомнил, как однажды сравнил Олейников время с патефонной пластинкой, где существуют зараз все части музыкального произведения. Для меня Тоня не мог быть стариком. Я видел за случайными сегодняшними признаками его основную неизменную сущность. Он был, как всегда, уравновешен, и вместе с тем, или именно благодаря этому, голова его работала с той честностью, энергией и ясностью, что меня так покоряло всю жизнь... И за время войны и в послевоенные годы мы сблизились больше, чем когда-нибудь, именно потому, что едва намеченное в молодости утвердилось, разъяснилось и окрепло после всего, что пришлось нам пережить.

### 31 июля

Он готовил монолог Фауста и спокойно и толково спорил с Пастернаком по поводу отдельных строк перевода, и Пастернак разговаривал с ним как со своим и соглашался. Встречался Тоня с людьми достойными, круг его знакомств был никак не похож на актерский. Мы рады были, встречаясь, — с годами привыкли понимать друг друга еще точнее.

1 августа

Но вот в конце сороковых годов Тоня тяжело заболел. Инфаркт. В результате сердечной недостаточности — плеврит, болезнь почек, кишечника. Мне казалось, что неверно это. Не может быть. Я, приехав в Москву, отправился к Тоне в клинику на Девичьем поле. Когда-то мы тут по соседству обедали в медицинской столовке, где бывали вечеринки, необыкновенно веселые. Местности я не узнал, но мог сообразить, где эта столовка помещалась. Больничная холодность, ха-лат не по плечу, высокие коридоры и, наконец, неестественно высокая, небольшая, узкая палата на три койки. Тоня, все такой же спокойный и уравновешенный, очень бледный. Всегдашняя больничная связанность. И в самом деле — как разговаривать, когда в двух шагах лежат люди. Один читает, другой пишет письмо. Едва разговор завяжется, как чувствуешь, что хотят не хотят соседи, а послушают. Тоня шел уже на поправку — восьмой месяц, как он лежал. Мы провели вместе часа два. И я, без всякой веры в возможность этого, чисто рассудочно думал: неужели мы видимся в последний раз? К этому возрасту я привык к тому, что подобные вещи случаются чаще, чем ждешь. Но в глубине души я этому не верил. И Тоня в самом деле поправился и скоро — через год — уже выступал на концертах. И ездил по всей стране. И собирал полные сборы в Ленинграде, в Большом зале Филармонии. Как Тоня читал? Я долго привыкал, да так и не привык окончательно к этому виду искусства, к художественному чтению. Для меня исчезал смысл стихотворения, если к литературной выразительности примешивали еще декламационную. Всегда несколько искусственно-холодноватую. Условную. И громкую. Смысл — я говорю о поэтическом смысле — грубел и шел на дно. Пока я был актером, то притерпелся к этой условности. Потом отвык настолько, что, услышав недавно, как Журавлев<sup>310</sup> читает «Даму с собачкой», как грубеет и твердеет самый высокий смысл, самый драгоценный из многих смыслов повести, пришел в ужас. И ярость. Тоня обладал прекрасным, редким, низким органическим голосом. И в его чтении я понимал автора. Особенно прозу. Потому что Тоня, хоть и допускал декламационную, излишнюю, по моей застенчивости, выразительность, чувствовал законы вещи.

2 августа

Вчера вечером встретил Гора<sup>311</sup>, который шел ко мне с книжкой — показать первый сборник моих пьес.

Продолжаю рассказывать о Тоне. Мне казалось, когда начинал он выступать в качестве чтеца, что его особенности — голос, манера — делают похожими друг на друга и Державина, и Блока, и даже Сумарокова. Но в дальнейшем приемы его стали точнее. Большое лицо, шапка густых волос, спокойные светлые глаза, высокий рост, уверенность — органическая, внушающая уважение, простая. Жест, правда, несколько неуверенный, — да Тоня и не пользовался им почти. И голос. Великолепный голос. И зал подчинялся и верил. Мы несколько раз встречались с Тоней в Москве... Тоня уже готовил новую программу. Выступал. Однажды из окна троллейбуса увидел я, как пытается он сесть в мой вагон, а кондуктор не пустил, — переполнено. И у меня почему-то сжалось сердце. Я вспомнил, как на Николаевском вокзале увидел в последний раз Юрку Соколова — тоже вот так, через стекло. Правда, Юрка был в вагоне, а я стоял на платформе, но никогда мы больше и не увиделись. И я вышел на остановке у улицы Горького, дождался следующего троллейбуса и встретил Тоню. Казалось, что он был совсем здоров в те дни. Но я почему-то испытывал какую-то неуверенность. Вот пришел Тоня и просит поскорее налить ведро горячей воды, поставить туда ноги. Прилив крови к голове. И у меня то же чувство, которое испытал я, когда Тоню впервые называли стариком. И он, заметив, угадав — ведь столько лет мы знакомы, — говорит мне спокойно и ласково: «Да ты не расстраивайся. Ничего». Говорит больше интонацией, чем словами. Потом с глубокой неохотой переехал Тоня в Ленинград. Тут ему опять стало хуже. Он отлежался. Поехал на дачу в Москву — и опять захворал и попал в ту же самую клинику, что прежде, на Девичьем поле. И снова, приехав в Москву, я отправился навещать Тоню и, пройдя через гулкий вестибюль и получив халат не по плечу, отыскал я Тоню в неестественно высокой палате на три человека. Он поправлялся.

3 августа

Что, собственно, рассказывать? Он поправился, но не так, как пять лет назад. Болезнь сваливала его



с ног еще и еще раз, безболезненно почти, но упорно. Он принялся за книгу. Ему хотелось рассказать о своем опыте чтеца. Он боялся, что выступить больше не придется. Он захворал, вдобавок к сердечной болезни, — забыл, какое имя носит это несчастье. У него стали шататься и выпадать зубы. Ему сделали мост. Золотой. И очень неудачно — испортили ему дикцию. И это огорчало его. Книжку писал он упорно. Интересной казалась мне мысль о том, что чтец обязан найти, от имени кого читается вещь. Угадать авторский характер. Не в актерском, а в особом плане. Не выходя за пределы своего искусства, искусства чтеца. Он зашел показать профессору Рыссу, Симе Рыссу, нашему сверстнику. И Сима сказал мне: «А ты знаешь, что Тоня обречен? Ему жить — месяц, другой, — у него сильнейший склероз. Особенность склероза — его избирательность. Мозг — не тронут. Голова свежа. А человек обречен». И я не поверил этому. Тоня решил начать выступление — настолько он хорошо себя чувствовал. Но сначала по радио. Там спокойнее. Мы с Эйхенбаумом должны были зайти к нему — посоветоваться о Тониной книге. На радио затянулась репетиция. Тоня устал. Когда я позвонил, что мы с Эйхенбаумом идем к нему, Наташа<sup>312</sup> сообщила, что свидание придется отложить. Тоня заболел. И больше мы не виделись. То лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Я был у Войно-Ясенецких<sup>313</sup> на именинах. Позвонил домой. Все время занято. Слишком Долго. И это встревожило меня. Я поехал домой. И узнал, что Тоня умер. Он обосновался в те дни у сестер — у Вали, той самой нежной девочки, появление которой так удивило меня в большой шварцевской квартире в Екатеринодаре, и у Муры, которая появилась на свет годом-двумя позже. Валя уже совсем седая. Мура и Наталья Борисовна сидели возле постели, на которой лежал Тоня с обычным своим рассудительным и спокойным выражением, только глаза были закрыты, и это был не Тоня. И как бы мы ни жалели его, уже ничего общего не было между ним и нами.

4 августа

С месяц назад, в сильный ветер, поздним, хоть и светлым вечером включил я радио и услышал живой Тонин голос. Он читал «Медного всадника», и я слышал даже его дыхание.

И хоть ветер шумел за окнами и брата, дыхание которого я слышал так ясно, будто стоял он рядом в комнате, уже не было в живых, я испытывал скорее радость, чем печаль. Если бы я умел! Я чувствовал за привычным смыслом вещей другой, настоящий. Еще усилие — и я пойму, что «времени больше не будет» и ничто не ушло, не умерло из пережитого. Но это последнее усилие — в который раз сорвалось. И мир вскоре принял свой непрозрачный и непреодолимый образ. Вот и все, что удалось мне рассказать о Тоне.

12 августа

Эйхенбаум Борис Михайлович. Опять трудная задача. Я его слишком давно знаю, и мелочи сбивают с толку. Большая голова. Не по хилому телу большая, — так казалось мне, когда познакомились мы. Впоследствии (опять на море!) убедился, что тело у него по-мальчишески складное и мускулистое, так что голова — чему особенно помогала резкая граница загара, — лысая, крупная, седая голова его казалась приспособленной к шее по ошибке. И он плавал далеко, скрываясь в волнах, и он легко ходил, но физиологической радости бытия не обнаруживал. Нет, он не испытывал страстной любви к жизни. Жил легко, но все чисто жизненные, практические вопросы, бытовые — решала за него Рая Борисовна, жена, человек с ясными чувствами и твердым характером. Голова Бориса Михайловича работала сильно, требовала от складного, но мальчишеского тела усиленного питания. И ему было некогда и не к чему вмешиваться в людскую суету вокруг. Поэтому-то ученики его жаловались на холодность и безразличие к ним. Это худо. Зато он начисто лишен был бесстыдного бешенства желания низшего сорта. Что, к примеру, вспыхивает у собаки, когда ей кажется, что некто покушается на обглоданную и брошенную ее собственную еду. Мне казалось, что это благородство слабых. Что Шкловский, вечно срывающийся в переходах своих от добра к злу, явление более внушительное. Что добродушие Бориса Михайловича ничего ему не стоит. Но он, как это бывает с существами высокой породы, все рос и рос, не останавливался. И за слабостью вдруг определилась настоящая сила, которая дорогого стоит. Первая и главная — это добросовестность. Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настояще-

го ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет и не приврет в работе. И если монаха останавливает страх божий, то в Борисе Михайловиче говорит сила неосознанная, но могучая.

13 августа

Сейчас все несколько упростилось. Стало полегче. Его снова позвали в Пушкинский Дом старшим научным сотрудником. Словно проснувшись, припомнили, что он один из лучших текстологов, если не лучший, во всей стране. Его статьи стали печатать в журналах как ни в чем не бывало. А он? Как и все эти самые страшные годы, работает не разгибая спины. Перед ним чернильница, вделанная в отполированный, сверху плоский, по бокам неправильной формы обломок дерева, источенного червем. Медная дощечка подтверждает, что взято дерево из фрегата «Паллада», поднятого со дна такой-то бухты тогда-то. Книги со множеством закладок высятся вокруг рабочего места посреди стола. Книги на этажерке возле стола. Коробка со множеством карточек. Книги, книги, книги. Вот уже больше года, как переехали Эйхенбаумы с канала Грибоедова на Малую Посадскую, но книги еще не разложены в подобающем порядке. На столике проигрыватель. Эйхенбаум страстно любит музыку и собрал такое множество долгоиграющих пластинок, что и на них пришлось завести карточный каталог, в особой карточной коробке.

15 августа

Сегодня смотрел материал «Дон Кихота». Все хорошо. Но дело не в этом. Я опять увидел юг, и мне ужасно захотелось к морю. В Комарове холодно. Льет дождь, и нет никакой надежды на хорошую погоду.

24 августа

Вышла моя книжка «Тень» — пять пьес, один сценарий. Я, привыкший к театру, к быстрым зрительским реакциям, теперь испытываю некоторое напряжение, как будто иду по дороге, а в чаще леса — кто? Друзья или враги? Кто выйдет навстречу мне? Я всю жизнь больно переживал неуспех. Даже в тех случаях, когда понимал, что говорит против меня глупость или несправедливость. Но на другой день боль проходила. Я ле-

чился мечтами, как собака травой. С годами я не закалился. Боюсь только, что способность мечтать исчезает.

25 августа

Вот и довел я до конца «Телефонную книжку». Примусь за московский свой алфавит. Этот город с первой встречи в 13 году принял меня сурово. Владимиро-Долгоруковская улица, продолжение Малой Бронной. Осень. Зима с оттепелями. И огромное, неестественное количество людей, которым нет до меня дела. Полное неумение жить в одиночестве. Вообще — жить. Мне присылал отец пятьдесят рублей — много по тогдашним временам, — и я их тратил до того неумело, что за неделю до срока оставался без копейки. Чаще всего вечерами уходил я в оперу Зимина, которую не любил. И снова множество людей, которым до меня нет дела. Или уходил в Гранатный переулок. Там был особняк, который я выбрал для себя. Я должен был купить его, когда прославлюсь. Да, мечты мои были просты — вызвать уважение людей, которые шагали мимо или мрачно толпились у пивных. Впрочем, это не было главным. Главным была несчастная любовь. Когда переехал я на 1-ю Брестскую улицу, то уходил по Тверской-Ямской на мост, идущий над путями, существующий до сих пор. Соединяющий улицу Горького с Ленинградским шоссе. Там, глядя на поезда, я старался провести время до прихода почтальона. Любовь мучила меня больше всего: больше чужого города, больше подавляющего количества безразличных ко мне людей. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. И сила переживаемых мной чувств постепенно-постепенно стала меня будить. Я стал вглядываться в Москву. И удивляться количеству людей несчастных и озлобленных. Началось с того, что заметил я женщину, прислонившуюся к чугунной решетке забора тяжелым узлом. Чтобы передохнуть. По своей бездеятельности не посмел я ей предложить помощь. Но ужаснулся. И стал вглядываться. Иногда — умнел. Но снова несчастная любовь схватывала, как припадок. И тогда я видел только себя. И уехал, полный ужаса перед Москвой.

26 августа

Вчера сидел я тут в обычной за последние дни тоске, неизвестно зачем, в дождь, в холод. К ночи тоска еще

усилилась. А в первом часу позвонил из города Акимов. Театр открылся «Обыкновенным чудом», спектакль прошел необыкновенно удачно. После второго акта Акимов произнес речь, когда его вызвали. После третьего десять раз давали занавес — и так далее, и так далее. И я удивился: что за сила держит меня тут? Почему я не поехал в город? Почему я не беру то, что дается? Испытываю неуверенность, неловкость, и слабость охватывает меня. И так всю жизнь.

Продолжаю о Москве.

Первая фамилия — Андроников Ираклий Луарсабович. Как-то я пришел в конце двадцатых годов к Елене Владимировне Елагиной<sup>314</sup> и застал в гостях двух братьев, совсем еще юных Ираклия<sup>315</sup> и Элевтера<sup>316</sup>. Оба коротенькие, только Ираклий пошире, а Элевтер постройнее. Оба по-мальчишески веселые. Они веселили и сами веселились. Изображали кучера и лошадь — Элевтер поил Ираклия из воображаемого ведра, оглаживал, проваживал. Потом Ираклий уже один изображал оркестр и дирижера одновременно. Потом профессора Щербу<sup>317</sup> — это уже походило на чудо. Вскоре я узнал, что Яков Яковлевич Гуревич, бородатый, седой, бывший владделец гимназии, — родной дядя мальчиков. В жилах их текла кровь русская, еврейская (мать была полуеврейкой) и грузинская (отец был чистый грузин). Он, в прошлом известный адвокат по политическим делам, жил в Тифлисе, читал лекции на юридическом факультете университета, а мальчики учились в Ленинграде. Вышло так, что стали они бывать у нас, на 7-й Советской. И при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что они народ сложный. В Ираклии трудно было обнаружить единое целое. Он все менял форму, струился, как туман или дым. От этого трудно было схватить его отношение к окружающему. И он страдал. Его водили к гипнотизерам, чтобы излечить нервы. И как он изображал своих докторов — просто чудо. Особенно одного. Старика.

27 августа

Он преображался. Гипнотизер, старый доктор, утомленный до крайности, появлялся перед нами. Сначала старик вел длинный разговор о всех родственниках

Ираклия, бессознательно стараясь оттянуть утомительную работу. Потом усаживался и вялым, сонным голосом начинал: «Отрепайтесь от действительности, отрепайтесь от действительности. Ваши руки цепенеют... сян-сян-сян (неопределенное шамканье). Ваши ноги цепенеют... сян... сян... сян... (клюет носом)». Гипнотизер засыпал прежде пациента. Как все произведения искусства подобного рода, имеющие форму трудноуловимую, смешанную — и не рассказ, и не пьеса, и сыграно, и не сыграно, — они вызывали восторг. Но настоящего уважения не наблюдалось. Почему? Вероятно, потому, что зрителям казалось, что все это больно уж легко, не закреплено. За паровой трубой на километр тянется дым. Но никто не скажет: какой большой дым. Скажут — густой, черный, едкий, — но величина его так непрочна и изменчива, что о ней и речи не заходит. И все говорили о наблюдательности Ираклия, о его даре подражания, но не знали, как назвать то, что он делает. Учился в те времена Ираклий на филологическом. И тут его любили, но казалось самым наблюдательным из его учителей, что он подражает серьезному студенту, а не на самом деле интересуется наукой. В игре, в подражании Ираклий как бы спасался от собственной неопределенности. Однажды он шел с нами, тяжело опираясь на палку, жалуясь на непонятную боль в ноге. На углу мы расстались. Мне зачем-то понадобилось догнать Ираклия. Я свернул за угол, но Ираклий был уже далеко. Он бросил хромать, шагал, размахивая палочкой, переменил обличие. Он в чужой личине чувствовал себя увереннее, отдыхал в ее определенности. Коротенькие его рассказы день ото дня усложнялись и росли. И оркестр Ираклий теперь уже изображал не просто так, а дирижировал в обличии различных дирижеров, чаще всего Штидри<sup>318</sup> показывал он и за пультом и в жизни. В конце двадцатых годов поступил Ираклий на должность секретаря в «Еж». И тут я увидел, как, словно в искупление за легкость в одном, тяжел он в другом.

28 августа

Если казалось, что входит в чужую сущность он со сверхъестественной легкостью, то себя он выражал с неестественным напряжением. Не мог он двух слов связать. Даже в таком пустом случае, как в подписи

к журнальному рисунку. Он сидел над коротенькой заметкой в четверть странички долго, как над стихами. Это было нестрашно, но записка, несмотря на множество черновиков, все равно не удавалась. Нет, он не мог обойтись без чужой обложки, сказать хоть два слова от себя. У Элевтера его, тоже многообразные, душевные свойства слезались крепко в единое целое. Спаялись. У Элевтера было ясно, кого он любит и кого не любит, а у Ираклия все были друзья. После ряда злоключений перебрался Ираклий в Москву. Его талант все развивался. Кто-то нашел название для его произведений: «Устные рассказы». Их услышал Горький и высокие люди, бывающие у него. Ираклий приобрел вес. Женился. Родилась у него дочка. В крохотной однокомнатной квартирке в переулке где-то возле Арбата поселился он со всей семьей. Жена — плотненькая, полногубая, привлекательная Вивиана Абелевна Робинзон — была артисткой в студии, но ушла отсюда. Как это всегда бывает в семье, у жены стали развиваться те самые свойства, которых не хватало мужу. Она становилась все определеннее и крепче. Она в Ираклии старалась разбудить то, что определено и крепко. И ко второй половине тридцатых годов семья их казалась мне привлекательной. Прежде всего, приехав в Москву, звоню я к ним. Однажды я пришел позже назначенного часа, и дочка Ираклия, трехлетняя Манана, встретила меня, прыгая и распевая во весь голос: «Женюрочка пропащий, Женюрочка пропащий!» Это была необыкновенно здоровая девочка, радостная, словно выражающая самый дух квартиры. Черные глаза ее сияли. Ираклий шумел и хохотал, и Манана шумела и хохотала. Вышло так, что я остался у них ночевать. Разговаривали мы долго, часов до трех. После какого-то особенно громкого выкрика Ираклия над сеткой кровати показалась голова Мананы. И она спросила сонным голосом: «Хлеб принесли?»

29 августа

Она ела с таким аппетитом, что весело было смотреть. Ираклий становился все веселее и нужнее. Правда, он стал заниматься усердно литературоведческой работой, но сила его была не в специальности, а в отсутствии наименования. Он никому не принадлежал. Актер? Нет. Писатель? Нет. И вместе с тем он был и то,

и другое, и нечто новое. Никому не принадлежа, он был над всеми. Отсутствие специальности превратилось в его специальность. Он попробовал выступать перед широкой аудиторией — и победил людей, никогда не выдавших героев его устных рассказов. Следовательно, сила его заключалась не в имитации, не во внешнем сходстве. Он создавал или воссоздавал, оживлял характеры, понятные самым разным зрителям. Для того чтобы понять, хорошо ли написан портрет, не нужно знать натурщика. И самые разные люди угадывали, что портреты сделаны Ираклием отлично, что перед ними настоящий художник. Его выступления принимались как чистый подарок и специалистами в разных областях искусства. Именно потому, что Ираклий занимал вполне независимую, ни на что не похожую позицию, они наслаждались без убивающей всякую радость мысли: «А я бы так мог?» В суровую, свирепую, полную упырей и озлобленных неудачников среду Ираклий внес вдруг вдохновение, легкость. Свободно входил он в разбойничьи пещеры и змеиные норы, обращаясь с закоснелыми грешниками, как со славными парнями, и уходил от них, сохраняя полную невинность. Он был над всем. И Элевтер шел своим путем. Его считали одним из лучших молодых физиков. Он жил в так называемом Капичнике, в одном из домов, построенных для сотрудников Института Капицы<sup>319</sup>. Большой сад. В саду невысокие домики. Цветы. И Элевтер был несколько вне ведомств: Институт Капицы занимал особое, независимое положение. И когда мы побывали у Элевтера — он считался нашим любимцем, — ощущение, что дела братьев хороши и чисты, утвердилось. Приезжая в Москву, я в первый же день звонил Ираклию. В Москве мне, как правило, не везло. А у них я отходил от всех укулов и путаницы.

### 30 августа

Несколько раз встретились мы во время войны. До нашего переезда в Москву.<sup>320</sup> Два раза нашел я Ираклия в госпитале — он хворал. Печень не в порядке. Был он мобилизован. Сначала работал в газете в партизанском крае, затем в Тбилиси... После войны началось движение Ираклия к определенному и прочному положению. Он стал литературоведом, доктором наук. Выступает на прежний лад редко... Он рассказывает. Вы-



ступает перед тобой вся жизнь, во всем ее блеске. Вот рассказывает он о поездке в партизанский край, в бывший партизанский край. Году в 46-м. Он играет очередь у кассы, к окошечку которой милиционер подвел его без очереди. Несмотря на вмешательство начальства, стоящие в очереди пытаются оторвать Ираклия от окошечка, а он кричит, вцепившись в подоконник: «Кладите сдачу сюда, в боковой карман». И, взяв билет в зубы, отпускает руки, и его относят от кассирши. И вот он уже в вагоне. И касса со всеми злоключениями канула в прошлое, заботит будущее — где переночевать в Калининне. Попутчик дает советы, это молодой, красивый, очень доброжелательный человек. Он позвал бы Ираклия ночевать к себе.

### 31 августа

Но никак невозможно: «Матушку это стеснит. У меня одна комната всего». А когда Ираклий осторожно намекает, что от старушки можно было бы как-нибудь отгородиться, занавеситься, спутник возражает: «Что вы! Матушка у меня молодая!» Выясняется, что он — священник. Далее шел новый период жизни, как всегда бывает в путешествии. Все позади. Ираклий мчится на грузовике. В кузове пленные немцы, которых шоферша, молодая и разбитная девица, везет с дорожных работ в лагерь. Девица все время напевает. Все шевелит лопатками. Спина болит — неудобная кабинка. И побаливает голова. Все это не мешает девице петь. У какого-то ларька останавливает она машину, пьет водку от головной боли. Водка мутная, «смотреть и то страшно. Плавают в стакане какие-то лоскутья. Обрывки газеты, что ли». Но шоферша пьет с наслаждением и через несколько километров сообщает, что голова болеть перестала. Встречный грузовик тормозит, и шофер, как дальше выясняется, Вася просит шофершу Ираклия уступить ему фрицев: «Сделают мне погрузку — я их сам отвезу. Песку надо перебросить». После краткого спора шоферша уступает. «Фрицы, сколько вас там?» И фрицы отвечают, скрадывая «р» на немецкий лад: «Четыге! Четвего? (с ударением на „о“)». — «Лезьте в мою машину. А лопаты, лопаты! Вот народ. Зачем вы мне нужны без лопат. То-то. Сели?» — «Сели». — «Сколько вас?» — «Четыге! Четвего». — «Поехали». Шоферша запекает, но через некото-

рое время обрывает песню и задумывается. «Ох, Васька, ну, Васька! Как же я ему фрицев без расписки отдала? Ну и Васька!» И вот Ираклий у цели. Прежняя хозяйка, та, у которой он жил в партизанском крае, ласково принимает его, кормит щами. Несколько портит дело то, что она рассказывает подробно о болезни коровы, которую свели на бойню и мясо которой Ираклий ест. «Да что ты, батюшка, скривился? А в городе что ешь? Кто здоровую корову забьет?» И так далее. Целый час мы путешествовали по Калининской области 46 года, видели множество людей. И чувствовали время. И восхищались, и удивлялись.

1 сентября

Алигер Маргарита Осиповна, худенькая, глаза напоминают коринку... Внушает уважение спокойная манера держаться, тихий голос. И неожиданный юмор. На съезде поэтессы говорили умнее и лучше поэтов. Алигер в том числе. Она много думала. Понимает суть дела. Большая семья: две девочки, мать. Живет тихо. Вернее, замкнуто. Та же связанность, замкнутость иной раз чувствуется в ее стихах. Изуродована одиночеством, свирепыми погромами в Союзе писателей. Одна из тех немногих женщин, что являются главой семьи. Безмолвно несет она все заботы и тягости. Противоположна одичавшим и озлобленным женщинам-одиночкам. Спасает талант. Но что у нее творится в душе, какие страсти ее терзают, какая тоска — не узнает никто и никогда. Ее тихий голос, черные глазки, прозаическое лицо с черными точками на кончике носа уводят в сторону. И стихи ничего не говорят и не скажут. Нельзя. Да и есть ли желание открывать то, что никто сейчас не высказывает?

3 сентября

Габбе Тамара Григорьевна.<sup>321</sup> Назовешь это имя — и столько противоречивых чувств тебя парализует, что хоть молчи. С одной стороны — человек быстрый, острый, имеющий дар вдруг выразить ощущение. Например, стоим мы напротив кинематографа «Титан». На вывеске вспыхивает и гаснет стрелка, указывающая на название картины. И Габбе говорит: «Ужасно неприятно! Так же у меня дергало палец, когда он нарывал». В Филармонии увидели мы Каверина с па-

лочкой. «Почему он с палочкой?» — спросил кто-то. И Габбе ответила: «Потому что у Тынянова нога болит». Получилось это действительно весело и смешно и определяло положение вещей в те давние, доисторические времена. Это с одной стороны. С другой же — ум ее, резко ограниченный и цепкий, все судил, всех судил и выносил окончательные приговоры, как это было принято в кругу Маршака. Приговоры самого Самуила Яковлевича носили отпечаток его библейского темперамента и оглашались в грозе и буре, в тумане и землетрясениях, и тень Шекспира появлялась при этом событии, и Блейка, и Пушкина. Однажды я читал у Габбе свою пьесу «Телефонная трубка».<sup>322</sup> Это Олейников настоял. Из любопытства. Было что-то много народу — редакционного. Пили чай после чтения и обсуждали пьесу за чаем. И Габбе говорила и продолжала есть и пить. Нет, здесь и духа не было Библии — куда там. Жуя быстро и определенно по-заячьи, она говорила быстро, отчетливо и уверенно. Она знала, что такое сюжет. Она одна. Она знала, что такое характер. Она знала, какая сцена удалась, какая нет. Во всяком случае, была уверена в этом. Пожует, сделает глоточек и приговорит. А я, кроме удивления, ничего не испытывал. Резко ограниченный ум. Система, в которую уверовала она, когда училась. И полная несоизмеримость ее пунктирчика с предметом. Маршак был неясен, но понятен. Он намекал — и это было точно. А Габбе говорила точно, однако непонятно. Уверенность — вот ее бич. Она-то уж знает, что есть рассказ...

4 сентября

Блокада. Раза два или три вызывал меня Маршак на городскую телефонную станцию. Я шел по городу, как будто заболевшему, — ему не до прохожих. Окна в белых крестах. Окна выбиты. Забитые витрины. Знакомый голос Маршака, беспокойный, на старый лад, что в новом, блокадном мире меня раздражало. Настолько раздражало, что он даже заметил, спросил однажды: «Ты что — сердисься?» Как мог я ответить, объяснить по телефону, что мы говорим из разных измерений? По его поручению заходил я к Габбе. И тут впервые разговаривал я с ней без всякого внутреннего протеста. Вражда, созданная демоническим духом Олейникова, следы той невидимой серной кислоты, которой уродовал он окру-

жающих незаметно для них самих, изгладились до этих блокадных дней... А теперь, в блокадном мире, узнал я совсем новую Габбе. Душа ее, в обычные дни сжатая в кулачок, готовая к нападению, теперь как бы раскрылась. Была Тамара Григорьевна сосредоточена, а не сжата, и говорила так, как подобает в том мире, куда привела нас судьба, как бы заново увидев все. По деятельной натуре своей не могла она просто терпеть и ждать. Нашла себе работу — читала детям в бомбоубежище. И рассказывала, как заново услышала то, что читает. Одно годилось, другое — не переносило испытания. И новый этот взгляд на вещи был убедителен. И начисто лишен ученической уверенности. И в Москве в 43 году я рад был встрече с нею. И опять говорили мы дружески. Но постепенно все вернулось на свое место. С людьми сходишься или расходишься по причинам органическим, непреодолимым. Та новая Габбе, с тяжелыми временами раскрывшаяся, исчезла, когда жизнь вошла в колею. Снова разум ее словно бы обвели контуром, и душа ее сжалась в кулачок. И при встрече чувство внутреннего протеста вспыхивает во мне с новой силой.

15 сентября

Крон Александр Александрович. Черноволос, черноглаз, отвечает на толчки внешнего мира как бы замедленно. Или осмотрительно. Он из материала благородного, но биографию имеет сложную. Кто поймет, как сложились благородные материалы, пока шагал он по бакинским и столичным малым и большим дорогам.

Продолжаю о Кроне. Говорит он не спеша, обдумывая каждое слово. И всегда в конце концов в том, что он скажет, обнаруживаешь ты нечто живое, имеющее смысл. Недаром он создан из благородного материала. Но то, что пытался он объяснить и оправдать, увы, оставалось мертвым и не имеющим смысла. У него не было (или выветрилось, или вышибло из него) той неподкупной трезвости, что определяет художника большого масштаба. Он мог отвести самому себе глаза и оплести сам себя во имя той силы, которой с юных лет научился служить. В его «Кандидате партии» есть нечто более мучительное, чем в пьесах, откровенно лакирующих и упрощающих мир. Там, в откровенно плохих пьесах, действуют фигуры из дерева, картона, жести. А у Крона идет живой человек с фанерным туловищем или фа-

нерная женщина с живыми глазами. Но он талантлив. И человек доброй воли. Поэтому в «Глубокой разведке» есть целые сцены с живыми людьми. И в последней пьесе. Сейчас он пишет роман. Если перешагнет через себя, то напишет.

16 сентября

Вчера — точнее, в ночь на сегодня — разговаривал я с Уваровой. Она звонила из Москвы. Рассказывала о первом спектакле «Обыкновенного чуда». Театр комедии гастролирует в Москве. Спектакль, видимо, прошел скорее благополучно, чем я и успокоен. Заметил окончательно, что моя холодность к судьбе моих пьес не притворная, но кажущаяся. Не слишком здоровая. Все результат слишком большого количества разных заглушающих друг друга чувств, вызывающих бессилие. Неясность. Но чуть заденет побольнее — все понимаешь. Если выругают или ты ждешь, что выругают. Когда хвалят — не веришь, по Шелковской сущности моей. Впрочем, через несколько часов начинает туман рассеиваться. И я успокаиваюсь — главное наслаждение. Одно чувство побеждает. Сегодня похвалили мою книжку в «Ленинградской правде».

23 сентября

Очень трудно писать мне в этой книжке. Изю всех сил тороплюсь кончить пьесу для Акимова.<sup>323</sup> А пропустить ни одного дня не хочу. Ясный и необыкновенно холодный сентябрь.

25 сентября

Дальше идет Образцов Сергей Владимирович, человек лимфатический, чуть обрюзгший, моложавый, светлый по отсутствию красящих веществ, с голосом разработанно приятным, с простотой, виртуозно отделанной и рассчитанной. Явление несомненно положительное. Но почему-то неловко мне смотреть в его глаза, светлые, с веками чуть покрасневшими. Я любил, влюблен был в некоторые его спектакли: «Король-олень», «Лампа Аладдина». Мне казалось, что это небывалое в театре обыкновенного вида явление, — человек показывает самое лучшее, самое артистичное в нем независимо от своих внешних данных. Отвлекаясь от них с почти математической чистотой. Только то, что

требуется. Когда вместо великолепных по своей выразительности кукол появлялись раскланиваться кукловоды, артисты как артисты, — ты это понимал.

26 сентября

Понимал эту прекраснейшую особенность кукольного театра. Из миллионов жителей Москвы набралось полтора-два десятка людей, любящих театр до потери уверенности в том, достоин ли ты подойти к нему. Имеющих страх божий. Кукольный театр представлялся им более доступным. И, войдя в него, они полюбили и почувствовали дело с истинно монашеской ревностью. Вплоть до склонности отрицать театры другого вида.

И это являлось второй особенностью образцовского театра. Этот дух передавался — хотел написать: молящимся. Зрители в театре кукол на площади Маяковского всегда несколько возбуждены, доверчивы, щеки горят — праздник да и только. Всегда в первых рядах знатные посетители, то египетская принцесса, то немецкие министры, то французские актеры. Вот какое пламя раздул Образцов и ведет своих монахов неуклонно и усердно по тому пути, что они избрали. Это далеко не просто. Как и во всяких монастырях, послушание послушанием, но по ревности своей склонны монахи сомневаться в чужой святости. Поэтому-то святоотеческие книги требуют послушания без обсуждения, полного, безоговорочного. И повторяют это едва ли не на каждой странице. В театре это невозможно, и поэтому образцовские актеры непрерывно вглядываются в образцовские работы и очень часто вступают с ним в пререкания на высоком уровне. Все это хорошо показывает, что в театре идет богатая духовная жизнь. И Образцов в этих спорах выступает как первый среди равных — только как один из участников, пусть самый сильный, единого коллектива. Он не применяет никаких административных мер. А так как голова у него отлично разработанная, он побеждает в большинстве случаев.

27 сентября

При первом же знакомстве он очень красноречиво и упорно стал доказывать, что классиков изучают с детьми, забывая, что это произведения для взрослых. Это

детей портит. В «Обломове» очень ясна сексуальная линия. И такие книги следует давать уже взрослым людям. Зная, как сильна сексуальная линия в детях, без всякой вины классиков, какие неслыханно бесстыдные разговоры ведутся в классах, начиная с самых младших, более того, особенно в младших, я спокойно принял эту мысль Образцова. Мне показалось только, что в запале, с которым он говорил, есть что-то личное и где-то тут есть один из ключей к одной из комнат его души. Позднее я понял и еще одно: как у всех многодумующих людей, мысль об «Обломове» была у него одной из многих, овладевающих им на некоторое время. Но я встретился именно с этой педагогической, добродетельной, лимфатической, и ощущение от этой первой его мысли осталось. Познакомился я и с Ольгой Александровной, женой его, артисткой. Она ушла со сцены, аккомпанировала мужу в его концертах. Черненкокая, худенькая, отчетливая, она полна энергии, переводит с французского, с английского, ведет дом, все ищет себе собственного дела. Не слишком добра. С первых же дней удивил, приятно удивил меня Образцов своей внутренней воспитанностью. Он позвонил, что в Москве, — зайдет в гостиницу. Приведет к себе. И всегда полон какой-нибудь мыслью, словно открытием. Квартира его несколько походила на музей. И сколько мы ни были знакомы — она все усложнялась, обогащалась. Относился к ней Образцов творчески: приедешь один раз — мебель переставлена; появилось множество заводных кукол — например, целый обезьяний оркестр играет в стеклянном футляре. И дирижер даже шевелит своей замшевой верхней губой, показывая зубы. Рядом искусственные птички вертят хвостиками, поют на искусственном деревце. Кукушки выскакивают и кукуют из деревянной дверцы на часах в виде домика. Сейчас автоматика отошли на задний план: главное увлечение Образцова — аквариумы с удивительными, невиданными рыбами.

28 сентября

Я знаю об этих чудесах только по рассказам. Живут там рыбы прозрачные, со светящимся спинным хребтом, и с веерообразными хвостами, и золотые. Только непонятно, когда Образцов смотрит на них, — он один из самых занятых людей в Москве. Он и ставит в своем

театре, и руководит им, и выступает в концертах, и представляет как человек знатный, и участвует в Международном комитете борьбы за мир, и ездит за границу, и пишет об этом книжки. Особенно сейчас. Жизнь его похожа стала на осенний лес в ясную погоду — столько там богатства, что в первое время ты ошеломлен и покорен.

Кончил новый вариант «Первого года», или «Молодых супругов», для Акимова. Сегодня отдал в перепечатку последний акт. Ощущение смутное. С этим сочинением связаны у меня одни неприятности. Был в Театре комедии, разговаривал о московских гастролях. Они в полном восторге, а у меня все какие-то шелковские тени на душе. Да еще собираются праздновать мой юбилей<sup>324</sup>. Тоже осенняя обманчивая игра красок.

14 октября

Всегда я работаю, силой усаживая себя за стол, будто репетитор свой собственный. И написал то, что написал, только благодаря некоторому дару импровизации. Это, как ни рассматривай, — второстепенный дар. У меня нет или почти нет черновиков. Особенно в двадцатые, тридцатые годы. «Клад» написал в три дня. В более поздние годы, когда задачи стал я себе ставить посложнее, пошло дело медленнее. И то не слишком. Да, первый акт «Медведя» написал я в 44 году, а последний — в 54-м. Но я попросту бросал работу. Напишу первый акт — и брошу. Напишу второй — и несколько лет молчу. Правда, писал я, когда хочется. Меня долго мучило утверждение Толстого, что писать надо, когда не можешь не писать. Я чувствовал себя виноватым, когда не пишу, но как будто болезнь какая-то мешала мне писать или проклятье. Но я мог не писать, раз не писал подолгу! Потом утешало меня следующее: я встретил множество людей, которые не могут не писать, не могут не играть, — и не писатели они и не актеры. Следовательно, в насилии над собой нет греха. Сколько людей — столько и способов себя сделать работником. Высказать себя. Впрочем, именно сейчас, когда виден потолок, я особенно отчетливо понимаю, что сделано непростительно мало, и обвинять в этом некого. ...Писать следует тоньше, если хочешь ты, наконец, писать для взрослых. У меня вдруг появляется от-



вращение к сюжету, едва я оставляю сказку и начинаю пробовать писать с натуры.

17 октября

Сегодня зовут меня в ТЮЗ, поздравлять с юбилеем.

18 октября

Вчера были в ТЮЗе. Такси нашли раньше, чем предполагали, и поэтому решили сначала проехаться по набережной, по Невскому и только потом на Моховую.

Небо было ясное, чуть затуманенное, а над рекой туман стоял гуще, так что Ростральные колонны и Биржа едва проглядывали. Солнце, перерезанное черной тучей, опускалось в туман. Смотреть на него было легко — туман смягчал. Все, что ниже солнца, горело малиновым, приглушенным огнем. Я старался припомнить прошлое, но настоящее, хоть и приглушенное, казалось значительным, подсказывающим, не хотелось вспоминать. И Невский показался новым, хоть и знакомым. И тут мне еще яснее послышалось, что молодость молодостью, а настоящее, как ты его ни понижай, значительнее. И выросло из прошлого, так что и то никуда не делось, как дома и нового, и глубоко знакомого Невского проспекта. Впрочем, сегодня, в рассказе, это получается яснее, вчера я только едва-едва, как в тумане, не называя, угадывал то, о чем говорю. Мешали еще и мелкие заботы. Что будет в ТЮЗе? Не приехать бы слишком рано. Не опоздать бы. Но общее ощущение значительности не оставляло. Против ТЮЗа чинят мостовую, так что выйти нам пришлось у глазной больницы, что меня огорчило. Вспомнил, как в 38 году ходил сюда навещать внезапно ослепшего отца... В ТЮЗ идти было все еще рано. Небо совсем прояснилось, воздух после машины казался чистым. И мы пошли не спеша, гуляя по Моховой. К театру уже вели зрителей, все больше третьеклассников. Они были опьянены предстоящим. Одна девочка от избытка чувств крикнула мне: «В ТЮЗ идем!» И легко перенесла замечание педагога. И вот ровно в назначенное время, без четверти шесть, вошли мы в новый сегодня и столько лет знакомый вестибюль театра. Натан<sup>325</sup> — ныне директор ТЮЗа — уже нас ждал. В кабинете его вручили нам приглашающие билеты. Появлялись актеры то один, то другой — поздравить.

19 октября

Когда пришло время, взяли меня под руки две актрисы, отчего почувствовал я себя не то взятым под стражу, не то инвалидом, и, путаясь под ногами, повели. Перед полукругом тюзовской сценической площадки стояло кресло и микрофон — радио прислало сотрудников записывать мою встречу с детьми. Оркестр играл песенку Иванушки из «Двух кленов». Ребята аплодировали нашему появлению сначала бурно, а потом, услышав музыку, — в такт, подчиняясь оркестру. Макарьев легенький, сухенький, очень моложавый — никак ему не дать шестидесяти четырех лет, улыбаясь мудрой и педагогической улыбкой, начал речь. Она вся была построена на музыкальных цитатах. Первая — песенка Иванушки: «Я Иван Великан». И Макарьев назвал меня великаном. Потом оркестр сыграл музыку к «Кладу», которую я не узнал. И Макарьев назвал меня кладом. Я стоял и слушал с твердым ощущением, что это ко мне не относится. Знакомый театр не вызывал воспоминаний, но и чувство реальности происходящего, чувство настоящего — тоже затуманилось. Кончив приветствие, сохраняя все ту же улыбку, стал Макарьев вызывать представителей разных школ. И вот пошли делегации: по одному, по двое, по трое. Девочки и мальчики в формах, в пионерских галстуках. По мере приближения ко мне и микрофону лица их принимали выражение все более испуганное и напряженное, смотрели они не на меня, а прямо в тупое рыльце микрофона. И произносили свои приветствия. И дарили либо цветы, либо адрес. Четыре девочки вышли без всякого подарка. Три из них, по очереди, произнесли свое приветствие, а четвертая таким же торжественным голосом, как подруги, возгласила: «Евгений Львович! Мы приготовили Вам подарок и оставили в пионерской комнате, а ее заперли, и ключа мы не могли найти...» Ей не дали договорить аплодисменты и восторженный хохот слушателей. Потом я отвечал на приветствия. Потом тюзовская художница — это уже за кулисами — попросила, чтобы я посидел десять минут. Ей нужен мой портрет. И я стал позировать.

20 октября

Сегодня продолжают юбилейные поздравления, всё несут и несут телеграммы.<sup>326</sup> Я с детства считал день своего рождения особенным, и все в доме поддерживали

меня в этом убеждении. Так я и привык думать. И сегодня мне трудно взглянуть на дело трезво. Труднее, чем я предполагал.

21 октября

Юбилей вчера состоялся.<sup>327</sup> Все прошло более или менее благополучно, мои предчувствия как будто не имели основания. Тем не менее на душе чувство неловкости. Юбилей — обряд (или парад) грубоватый.

25 октября

А потом пошли юбилейные дни. Напоминали они и что-то страшное, словно открыли дверь в дом и всем можно входить, и праздничное. Нечто подобное пережил я, когда сидел в самолете, проделывающем мертвые петли. Ни радости, ни страха, а только растерянность — я ничего подобного не переживал прежде. И спокойствие. Впрочем, все были со мною осторожны и старались, чтобы все происходило неказенно, так что я даже и не почувствовал протеста. И банкет прошел почти весело. Для меня, непьющего. Несколько слов, сказанных Зощенко, вдруг меня примирили со всем происходящим\*. На другой день обедали у меня Каверины, Чуковские, Лева Зильбер. На третий — ужинали Шток, Дрейден, Надя Кошеверова. Сейчас потихоньку прихожу в себя.

26 октября

И хочешь не хочешь, двери твоего дома открываются, и я до сих пор что-то в этом празднике ощущаю не то что как насилие, не то что как оскорбление, но близкое к этому. Когда кричат: «Качать его! Ура», — то наименьшее удовольствие получает тот, кого качают... Перебирая жизнь, вижу теперь, что всегда я бывал счастлив неопределенно. Кроме тех лет, когда встретился с Катюшей. А так — все ожидание счастья и «бессмысленная радость бытия, не то предчувствие, не то воспоминанье». Я никогда не мог просто брать, мне надо было непременно что-нибудь за это отдать. А жизнь определена. Ожидания, предчувствия, угадывание смысла

---

\* И. В. Шток, присутствовавший на юбилее Е. Л. Шварца, вспоминает о приветствии М. М. Зощенко. «С годами, — сказал он, — стал ценить в человеке не молодость его, и не знаменитость, и не талант. Я ценю в человеке приличие. Вы очень приличный человек, Женя».

иногда представляются мне просто позорными. Вчера на студии, впрочем, испытал я некоторое удовлетворение, увидев, какие силы пущены в ход для того, чтобы сценарий, написанный мной именно благодаря тем душевным особенностям, на которые я жалею, — реализовать. И горят рефлекторы.

И дым валит из какого-то цилиндрического прибора, тоже извергающего световой столб, прямо и бесповоротно в лицо актеру. И едет по рельсам аппарат, на котором, припав глазами к окошечку, стоит на четвереньках свирепый и определенный Москвин. И огромная фабричная труба возвышается над корпусом, вставшим против пятого ателье. И там, за окнами, ревут машины. Можно подумать, что здесь производят товар. Ленты. На самом же деле пытаются реализовать те неопределимые ценности, без которых вся фабрика превращается в бессмыслицу. Так я утешался вчера, шагая с Козинцевым в просмотровый зал. И в зале то приходил в отчаянье, когда все получалось грубо, то радовался, когда что-то пробивалось.

9 ноября

Был сейчас на студии. Дон Кихот в спальне. Второе ателье. Новое. Черкасов ползает по полу, ищет иголку. Москвин кричит: «Включите раздолбайчик. Камарилья, поверни рукоятку на двадцать оборотов». Все знакомо. Павильон только что построен. Моют пол. Герцогский дворец. Среди других вещей — настоящий аналой XVI века, взятый откуда-то из музея. Козинцев измучен. Жалуется, что веко на одном глазу закрывается само собой. Но работает упорно, не жалея себя. Все работают. Москвин, не разгибаясь, глядит в аппарат и командует. Возле буфета сильный, наводящий тоску запах постного масла и лука. Тут же толпятся какие-то существа в золотых кафтанах и чалмах. Кто-то в мантии. Лица, мертвые от фиолетового грима. Работа в кино требует многих усилий, людей не хватает, но в коридорах вечно болтаются и болтают люди. Смотреть на них скучно. Запах лука и постного масла и с них, словно химический состав, снимает всякое подобие окраски... После вчерашнего посещения студентов у меня осталось ощущение какого-то открытия. Не в них и не во мне. А в том ясном мире, который я, рассказывая, видел и вижу до сих пор. Тянет написать что-то очень про-

стое. Форму я чувствую. Вопрос — о чем, из того, что накоплено, рассказывать. Вот опять заговорил о себе. О чем же писать? О вечных и тщетных попытках сохранить чистый белый балахон?

14 ноября

Вчера по телевизору была передача обо мне. «Мастер театральной сказки». Я ждал худшего. Говорили Цимбал, Акимов, Зон, Мишка Шапиро. Показали один акт из «Снежной королевы», отрывки из «Золушки» и «Первоклассницы» и один акт «Обыкновенного чуда». Был пролог и эпилог с действующими лицами из моих пьес и сценариев — вот этого я и боялся. Но и это сошло. Было не слишком радостно, не столько лестно, сколько неудобно, но обошлось.

Вчера днем был на студии. Построен герцогский дворец — огромный зал. Идет освоение. Появляется не спеша Вертинская<sup>328</sup> — странное существо: стройная, неестественно худенькая в своем черном бархатном платье. Лицо удлиненное, длинные раскосые зелено-серые глаза, недоброе надменное выражение. Герцогини, выросшие во дворцах, должны быть именно такими — и привлекательными, и отравленными. Альтисидора<sup>329</sup> добродушнее и юнее, но так же тонка и так же поражает ее тоненькая талия и бархатное платье. Мальчик паж стоит, откинув назад свою крупную голову. Лицо с тонкими чертами, черные глаза. Тонкие руки конвульсивно вздрагивают. Ему дали подержать живую обезьяну, и с ним едва не случился припадок от ужаса и отвращения. Держит обезьяну другой подросток, повыше и попроще. Толстая макака внимательно и просто поглядывает на окружающих, берет с ладони герцогини виноград. Но едва та пробует погладить маленькую голову зверька, макака открывает угрожающе пасть. И возле нее вырастает хозяин, грубиян с пропитой мордой. «Ну ты, корова!» — кричит он и дает обезьяне пощечину. И та смущенно замирает, ссутулившись. И недоброе лицо Вертинской вдруг делается добрым, и, протянув обе руки, она просит: «Не бейте, уж лучше я ее не буду гладить».

7 декабря

Начиная с весны 1937 года разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, ко-

го убьет следующий удар молнии. И никто не убежал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать «враг народа» пришибает без отбора, любого, — и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну. Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателя. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей, — а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь — жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора. Наш Котов совсем замер, будто часовой на карауле при арестованных или обреченных аресту, — в конце концов, разница была только в сроках. Он отворачивался при встречах, словно боясь унижить себя общением с жильцами-врагами. Мыслил только в одном направлении. Борисов<sup>330</sup> пришел жаловаться, что сыновья одной писательницы до трех часов ночи танцуют под патефон, не дают ни работать, ни спать. Котов его выслушал угрюмо и ответил: «Ничего политического я в этом не нахожу».

8 декабря

Затем пронеслись зловещие слухи о том, что замерший в суровости своей комендант надстройки тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату в освободившейся квартире. Было это или не было, но все домработницы передавали друг другу историю о счастливицах, уже получивших за свои заслуги жилплощадь. И каждый день узнавали мы об исчезновении то кого-нибудь из городского начальст-

ва, то кого-нибудь из соседей или знакомых. Однажды, в начале июля, вышли мы из кино «Колосс» на Манежной площади. Встретили Олейникова. Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили. Литфондовская машина — их в те годы давали писателям в пользование с часовой оплатой — ждала нас у кино. В пути Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль преследовала его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина<sup>331</sup>, который выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олейников на последнем партийном собрании. И сказал, чтобы Олейников зашел к нему, Брыкину. Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже привычной тревоги за остатками беспечности былых дней, стал убеждать Николая Макаровича, что этот разговор ничего не значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто злое, нет, от бессмысленной ярости сегодняшнего дня. Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, — все уводило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести. Слишком многое встало с тех пор между нами, слишком изменились мы оба. В особенности Николай Макарович. А главное — умерло спокойствие донбасских дней. Мы шли к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балконе. Он читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.

### 9 декабря

Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне на него. Были мы с Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось мне известным. А вместе с тем — во многом оставались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас были как бы событием

личной жизни фильмы «Парижанка»<sup>332</sup> или «Под крышами Парижа»<sup>333</sup>. Я знал особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его трогало до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошенном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, — впрочем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг, когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую книгу. Потерянный рай — и ад, смрад которого вот-вот настигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое-то время удалось отвернуться от жизни сегодняшней и почувствовать тень вчерашней. Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: «Мне нужно тебе что-то рассказать». Но не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не мог сказать то, что собирался. Погуляли мы по Сестрорецку, прошли по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал: «Вот что я хотел тебе сказать...» Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработницах и Котове.

10 декабря

Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. «Но это правда!» — ответил Николай Макарович. «Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают». И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя — там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько от-



равившего. Через два-три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас. От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. На первом же заседании правления меня потребовали к ответу. Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственно, что я сказал: «Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность». После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего порочащего Олейникова тут не обнаружилось, то наивный Зельцер<sup>334</sup>, драматург, желая помочь моей неопытностью, подсказал: «Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха». Но и тут я ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри.

11 декабря

После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. Мой допрос на заседании правления кончился ничем. Тогдашний секретарь наш потребовал, чтобы я написал на имя секретариата Союза заявление, в котором ответил бы на те вопросы, что мне задавали. Но и в этом заявлении я не прибавил ничего к тому, что с меня требовали. Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем, как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы.

Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет, — не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей. В город переехали мы довольно рано. И тут продолжалось все го же. Да, Катина болезнь ушла из нашей жизни, но легче не стало. В 38 году исчез Заболоцкий.

19 декабря

Кончается съемка «Дон Кихота». Вчера Козинцев решил показать картину в приблизительно смонтированном состоянии работникам цехов — осветителям, монтажерам, портнихам. Полный зал. Утомленные или как запертые лица. Как запертые ворота. Старушки в платочках. Парни в ватниках. Я шел спокойно, а увидев даже не рядового зрителя, а такого, который и в кино не бывает, испугался. Девушки, ошеломленные собственной своей судьбой женской до того, что на их здоровых лицах застыло выражение тупой боли. Девушки развязные, твердо решившие, что своего не упустят, — у этих лица смеющиеся нарочно, без особого желания, веселье как униформа. Пожилые люди, для которых и работа не радость и отдых не сахар. Я в смятении.

Как много на свете чужих людей. Тебя это не тревожит на улице и в дачном поезде, но тут, в зале, где мы будем перед ними как бы разоблачаться — вот какие мы в работе, судите нас! — тут становится жутко и стыдно. Однако отступление невозможно. Козинцев выходит, становится перед зрителями, говорит несколько вступительных слов, и я угадываю, что и он в смятении. Но вот свет гаснет. На широком экране ставшие столь знакомыми за последние дни стены, покрытые черепицей крыши, острая скалистая вершина горы вдаль — Ламанча, построенная в Коктебеле. Начинается действие, и незнакомые люди сливаются в близкое и понятное целое — в зрителей. Они смеются, заражая друг друга, кашляют, когда внимание рассеивается, кашляют все. Точнее, кашляет один — и в разных углах зала, словно им напомнили, словно в ответ, кашляют еще с десятков зрителей. Иногда притихнут и ты думаешь: «Поняли, о, милые!» Иногда засмеются вовсе некстати. Но самое главное чудо свершилось — исчезли чужие люди, в темноте сидели объединенные нашей работой зрители. Ко-

нечно, картина будет торжеством Толубеева. Пойдут восхвалять Черкасова по привычной дорожке. Совершенно справедливо оценят работу Козинцева. Мою работу вряд ли заметят. (Все это в случае успеха.) Но я чувствую себя ответственным наравне со всеми и испытываю удовольствие от того внимания, с которым смотрят на этом опасном просмотре, без музыки, с плохим звуком, приблизительно смонтированную картину. Черкасов, уже давший в заграничные газеты различные сообщения о своей работе, ведущий дневник, с тем, чтобы потом выпустить книгу «Как я создал роль Дон Кихота», после просмотра находится в необычном состоянии. Обычная его самоуверенность как бы тускнеет.

29 декабря

Вчера произошло неожиданное событие — по радио объявили, в вечерних последних известиях, что мне дали орден Трудового Красного Знамени.<sup>335</sup> Звонил весь вечер телефон. Прибежали с поздравлениями соседи.

1957

1 января

Новый год встретили у Эйхенбаумов. Было, как всегда в последний год, не слишком весело. Интересней всех, как всегда, Шкловский. Он вспомнил о том, как сорок лет назад, в 16 году, встречали Новый год трое — он, Маяковский и Василий Каменский, который в тот вечер был интересней всех. Нападал на Маяковского за то, что тот «плетется в хвосте войны». «Мы чувствовали себя хозяевами... Нет, не хозяевами. Мы чувствовали себя ответственными за весь мир».

14 января

Приближался апрель — премьера «Тени»<sup>336</sup>. Акимов сердился. У нас разные, противоположные виды сознания. Свет, в котором видит он вещи, не отбрасывает тени. Как в полдень, когда небо в облаках. Все ясно, все видно и трезво. Светла нас жизнь, вероятно, именно поэтому. Он не слишком понимал, что ему делать с такой громоздкой пьесой. И по мужественному складу душевному обвинял в этом кого угодно, главным образом меня, только не себя. Незадолго до премьеры в Доме писателя устроили выездную генеральную репетицию. В те времена заведена была такая традиция. Прошел показ празднично на на-

шей маленькой эстраде. Показывали самые удачные кусочки спектакля. Всем все понравилось, все были веселы, потом, по тогдашнему обычаю, бесплатно выступавших актеров кормили ужином, писатели принимали их, как гостей. Говорил речь Лавренев. Все, казалось, будет хорошо, но все-таки я был не слишком уверен в успехе, но не слишком и беспокоился. Беспечность, идиотская, спасительная, заменявшая независимость и мужество, сопровождавшая меня всю жизнь, помогала и тут.

15 января

И вот состоялась генеральная репетиция в театре. Вечером. Первая генеральная. В отчаянье глядели мы, как ползет громоздкое чудовище через маленькую сцену театра, путаясь в монтировках, как всегда у Акимова сложных. Актеры словно помертвели. Ни одного живого слова! А на другой день на утренний просмотр пришла публика, и все словно чудом ожило. И пьеса имела успех, настоящий успех. Даже я, со своим идиотским недоверием к собственному счастью (такой же вечный спутник, как беспечность при неудаче), испытал покой. Полный радости покой. Я заметил, что Иван Иванович Соллертинский в антракте после второго акта что-то с жаром доказывает Эйхенбаумам. Соллертинский был человек острый, до отсутствия питательности. Приправлен к собственным знаниям. Одаренный до гениальности. Говорили, что он знает двадцать два языка. И бесплодный. Сильный, гипнотизирующий своей силой до того, что его манера говорить, резко артикулируя, вставляя массу придаточных предложений, саркастически пародирующих неведомо кого и неведомо что, словно впечаталась в Шостаковича, его друга, и во всех музыкантов и музыковедов, связанных с ним. Он был тоже один из беспризорников или пижонов двадцатых годов, толстолицый, высокий, сутулый, обрюзгший, злой, и умный, и полностью лишенный веры во что бы то ни было. Уважающий только это свое право на неверие. Словечки его не забывались и повторялись. Я с ним был едва знаком, но отлично знал его.

22 января

Вскоре после премьеры мы решили поехать в Детское Село. В те годы там, в бывшем особняке Алексея Николаевича Толстого, помещался первый Дом творче-

ства нашего Союза. Мы получили большую комнату во втором этаже, окнами в сад. Жили там, когда мы приехали, Тынянов, Тихонов, Карасев<sup>337</sup>, Герман, Матвеев<sup>338</sup>, Марвич<sup>339</sup>. С тяжелым чувством спустился я, собираясь в Дом творчества, неся чемодан, усаживаясь в литфондовый М-1. Я почему-то боялся. Чего? Как всегда — принудительного ассортимента, общего стола. С каждым из отдыхающих был я в пристойных отношениях и только с Юрием Николаевичем — в хороших, но я чувствовал себя после нескольких часов на премьере не успокоенным, а вздернутым, выбитым из колеи. «Тень» после успеха первых дней шла неровно. И Акимов, с той же простотой и прямоотой, с какой передал мне отзыв Соллертинского, сказал после спектакля, прошедшего вяло: «Я люблю пьесы, имеющие успех и у зрителей премьерных, и у массовых». И неприятнее всего — я не нашел что ответить ему, словно бы принял его упрек. Так называемая творческая близость моя с Театром комедии, или, что почти то же, с Акимовым, была не так уж проста и в сущности пока сводилась к тому, что другие театры меня совсем не принимали, Акимов же иной раз — упрямо, иной раз — переменчиво дрался за мои пьесы. «Приключения Гогенштауфена» ему самому не слишком нравились, но он упорно боролся за сказку «Принцесса и свинопас». «Наше гостеприимство» даже придумано было в сущности им. Самый сюжет. Но он невзлюбил пьесу, когда на нее стали нападать. И я сам заявил, что беру ее из театра, когда Акимов добился разрешения Реперткома. И он легко согласился на мое отречение, хоть недавно дрался за нее со всем упорством, свойственным ему.

23 января

Итак, беспокойный, неуверенный, выбитый из колеи ехал я в Дом творчества писателей, то есть к людям не слишком близким, недостаточно близким, чтобы жить с ними под одной крышей. Машина бежала по Международному проспекту, тоже не слишком близко к нему, я, почему-то, не любил эту часть Ленинграда. Большой город состоит из нескольких, непохожих друг на друга. И роты Измайловского полка, проспект, Обводный канал кажутся мне совсем непохожими на тот Ленинград, в котором я обычно живу. А потом идут пустыри, и городские свалки, и невеселые плоские, с уми-

рающими огородами пространства. Оживляют воображение каменные, тяжкие, монументоподобные верстовые столбы столетней давности. Поражают полным несоответствием с окрестной бедностью, скромностью. А вот гранитный, такой же монументоподобный, не то фонтан, не то резервуар, в который собирается вода родника. Деревеньки в пять-шесть домов, серые, деревянные, неизвестно почему дожившие до 1940 года. Людей в них не видать. Пулковская обсерватория с белым куполом, деревья и поворот к Детскому. Жизнь в Доме творчества оказалась проще, чем чудилось. Видимо, все побаивались друг друга — оказались очень уживчивыми. Только Тихонов, хохоча деревянным смехом и посасывая деревянную свою трубку, пытал бесконечными рассказами. Тынянов, которого пытал он на лестнице по пути в умывальную, слушал его, слушал и вдруг потерял сознание. Но и он, если ты никуда не спешил, казался иной раз занимательным, как отдел «Смесь» в приложении к «Ниве». Тут тебе и Кахетия, и Осетия, и Европа, и Средняя Азия. Вдруг в газетах появилось сообщение о взятии немцами Крита, о сплошных потоках транспортных самолетов, идущих двумя линиями, — одни туда, другие, разгрузившись, обратно с острова на базу. То же чувство, с каким я читал «Борьбу миров» Уэллса, охватило меня. Он первый угадал, что нам придется наблюдать не только судьбы людей или семей, а судьбы народов. Мы осторожно удивлялись.

24 января

Осторожно удивлялся и воспитанный на «Мире приключений» и «Вокруг света», обожающий сенсации и исключительные положения Тихонов. Он больше помалкивал, уже тогда чувствуя себя человеком государственным, но во всем его деревянном существе угадывалось то оживление, что охватывает любителя, увидевшего пожар в соседнем квартале. Но все-таки и он не мог не почувствовать, что какая-то рука готова взломать наш призрачный непрочный мир. Запах гари проникал в Дом творчества, сколько бы мы ни успокаивали себя, сколько бы ни рассказывал Тихонов о Кахетии и Хевсуретии.

25 января

С трудом уговорил я себя пойти в Екатерининский дворец и до сих пор этому рад. Каждая, даже ничтож-

ная, перемена состояния причиняла мне боль, точнее — пугала возможностью боли. Но едва вошел я в огромные пространства дворцовых зал, как с удивлением убедился, что не испытываю принуждения, как часто в музеях. Этот дворец жил и, казалось, и не собирался умирать. И самое богатство и пышность не оскорбляли тут и не вызывали протеста. Напротив. Странная мысль поражала тебя: людей, властвовавших тут, великанов восемнадцатого века, спокойно веровавших в свое право жить именно так, трудно судить по законам нынешнего дня. В самом размахе чувствовалось нечто, переходящее за пределы обывательских суждений. Я вдруг как в подарок получил новое чувство, именно чувство, а не мысль, и обрадовался подарку. Этому дворцу, такому спокойному и уверенному в своей долговечности, оставалось жить всего только год с небольшим. Но мы и не подозревали об этом. Тревога, вспыхнувшая при чтении газет, ничем не поддерживалась. Пожар шел в соседнем квартале. И мы отвлекались ежедневно множеством мельчайших забот. И косностью нашего быта.

26 января

А некоторым и в самом деле было не до того. Не так начал. Одному из нас и в самом деле было не до того. Юрий Николаевич Тынянов чувствовал, что болезнь его безнадежная, все дальше уводит от жизни. Речь становилась заметно скандирующей. Без палки ходить он не мог. Сознание оставалось по-прежнему ясным. Но именно поэтому он замечал, как с каждым днем меняется его мир, как все выглядит по-новому для него. И как чувствует он бесповоротность движения прочь от мира. И как никто не хочет этого видеть, не может увидеть, кроме него. У меня есть карточка: Юрий Николаевич сидит на балкончике, выходящем в сад, вместе с женой. Леночка закрылась рукой, она не привела лицо в порядок, не желает сниматься. А Юрий Николаевич смотрит на фотографа, словно видит его по-новому, с новой своей дороги в первый раз, и спрашивает или укоряет взглядом за то, что никто не может понять, что с ним. Что он обречен. Хотел положить эту карточку сюда и не мог: в ней что-то роковое. А по своей карточке, снятой в саду Дома творчества, увидел, что деревья еще голые. Так и проступало все время в памяти. Очевидно, жили мы в Детском с середины апреля? Скоро

в газете стали появляться заметки, а потом и статьи о предстоящей декаде ленинградского искусства в Москве. Везли туда и «Снежную королеву», и «Тень»<sup>340</sup>. В одной статье написали что-то лестное обо мне... Вернувшись из Детского, поехали мы вскоре в Москву. Чуть не весь состав был занят оркестрантами, балеринами, актерами. Ехать было, как всегда, и весело, и беспокойно.

27 января

Весело и беспокойно было в гостинице «Москва», где получили мы номер высоко — кажется, на десятом этаже. Погода стояла ясная и теплая. В коридоре встречались все свои: вот проплывает Зарубина, все с той же прелестной улыбкой — уголки губ вверх, и все тот же нелепый, но упорный протест вызывает ее фигура. Так и хочется потребовать: похудейте же! А вот Гошева, тоненькая и молоденькая, с невозможно светлыми глазами, таинственная и поэтическая, страшно подойти, чтобы не омрачить впечатление. В «Тени» играет она едва ли не лучше всех. Я видел, как на репетициях она сердилась и страдала, как медленно овладевала ролью. Как обижалась на Акимова — между ними было, как понял я много позже, нечто еще более сложное, чем отношения между режиссером и актрисой, которая собирается уйти из театра. А ее к этому времени уже звал к себе Немирович-Данченко. Однажды после какого-то замечания акимовского стояла она за колонной, сосредоточенная, вся занятая одной мыслью, таинственная и хрупкая, страшно разбить впечатление. Но я подошел. И она сказала: «Я думаю сейчас не о роли, а как справиться со змеями». И движением головы дала понять, что скрываются эти змеи в акимовском замечании, которого я и не понял. Проходит Тенин, квадратный, грубоватый и вместе с тем, где-то в глубине это едва-едва просвечивает, на особый лад томный, что поражает женщин. Сухаревская, и складная и нескладная, словно ушедшая в себя, что объясняется, впрочем, ее глуховатостью. Ей тесно в самой себе, она похожа на беспокойную гимназистку, которая не дает покоя учителям вопросами и правдолюбием. Ее все время кусает и жалит собственный талант. Ей мало только играть, ей хочется самой ставить, сочинять пьесы. Энергия — неразумная, внерассудочная. Форму приобретает, только



когда Сухаревская играет. Я написал, что видел в коридоре Зарубину, а теперь не могу вспомнить — не путаю ли. Не тогда ли родилась Танюша у нее и в «Тени» играла Сухаревская? Проходит Лецкий, полный сознания своей полноценности.

28 января

Заходит Суханов, таинственно улыбающийся. Он спорит против того, что нравится всем, и защищает то, что все ругают, от неудержимого желания занять самостоятельную позицию. Это натура мужественная, склонная к действию, но до крайности сложная. Шагу не сделает он прямо еще и потому, что при настоятельной потребности идти цели он себе не представляет. Пробегают Акимов, который обращает на тебя внимание, когда ты ему нужен, и с детской простотой просто не видит тебя, если не нужен. Зон с готовой улыбкой, стройный до излишества, жених женихом, откинув голову, спешит на спектакль без малейшего сомнения в предстоящем успехе. Во всяком случае, встречным так кажется. Новый ТЮЗ гастролировал в помещении филиала МХАТа, в бывшем Коршевском театре. Я мало знал это театральное помещение. Вышло так, что в студенческие годы я ни разу там не был. Кирпичное здание со ступеньками во всю длину вестибюля. Темно. Рано собравшиеся актеры сидят во дворике у актерского входа. Ощущение домашнее, провинциального театра. Успех «Снежной королевы» меня не столько радует, сколько вызывает смутное чувство вины, как всегда, когда хвалят твою старую вещь. Теплая погода сменяется внезапным похолоданием. Небо ясное, угрожающей темной синевы, и ледяной ветер. И вот приходит, наконец, вечер премьеры «Тени».<sup>341</sup> Мы идем в Малый театр, когда совсем еще светло. Переходим дорогу у сквера против Большого театра (чего с тех пор я никогда не делаю). Тень впервые играет Гарин. Первый акт проходит с успехом. В директорском кабинете знатные гости. Среди них глубоко неприятный мне Немирович-Данченко. Неприятен он мне надменностью, которой сам не замечает, — слава его так обработала. Неприятен бородкой, которую поглаживает знаменитым жестом — кистью руки от шеи к подбородку. Неприятен пьесой его, которую я прочел случайно, — кажется, «В мечтах»<sup>342</sup>, где он думает, что пишет, как Чехов, а пуст, как орех.

29 января

Чувство, подобное ревности, вспыхнуло во мне, когда я увидел, как сидит Владимир Иванович хозяином за столиком в кресле, по-старчески мертвенно бледный, но полный жизни, с белоснежной щегольски подстриженной бородкой, белорукий, коротконогий. Жизнь принадлежала ему. Храпченко, крупный, крупноголовый, похожий на запорожца, окруженный критиками, хохотал, показывая белые зубы. Режиссеры глядели утомленно. Чувствовалось, что им в основном все равно. Первый акт прошел отлично. И Немирович сказал Акимову: «Посмотрим! Автор дал много обещаний, как-то выполнит». Во втором играл Гарин, впервые. Лецкий играл Тень простовато, но ясно и отчетливо. Гарин даже роли не знал.

30 января

Он играл не то — поневоле. Его маска — растерянного, детски наивного дурачка — никак не годилась для злодея. И вдруг, со второго акта, все пошло не туда. Я будто нарочно, чтобы испытать потом еще более неудачу, против обыкновения ничего не угадал. Самодовольство, с которым смотрел я на сцену, шевеля губами за актерами, ночью в воспоминании жгло меня, как преступление. Когда опустился занавес, я взглянул на Катерину Ивановну и все понял по выражению ее лица. Пока я смотрел на сцену, Катюша глядела на зрительный зал и поняла: спектакль проваливается. Я удачу принимаю неясно, зато неудачу со всей страстью и глубиной. А жизнь шла, как ей положено. Несколько оживились режиссеры. Чужая неудача — единственное, что еще волновало их в театре. А Владимир Иванович не обратил на нее внимания. Он был занят своим. О пьесе он тоже не сказал ни слова. Что ему было до этого. Он жил. Ему давно хотелось взять Гошеву в Художественный театр. Акимов, двусмысленно улыбаясь, утверждал, будто Немирович-Данченко сказал о Гошевой: «Ирина Прокофьевна — это прекрасный инструмент, на котором при умении можно сыграть все, что захочешь»... В антракте произошел разговор между ним и Акимовым, прославившийся немедленно и надолго запомнившийся. Театральные люди к концу антракта говорили о нем больше, чем о спектакле и пьесе. Сидя все в той же бессознательно надменной позе, он заговорил о Гошевой.

31 января

Он сказал Акимову, что Комедия — это театр одного человека, а Художественный — коллектив. И вот этому коллективу как раз не хватает именно такой индивидуальности, как Ирина Прокофьевна. И он выражает надежду, что Акимов не будет препятствовать переходу Гошевой в коллектив Художественного театра. Выслушав все это вежливо и просто, поглядывая на Немировича-Данченко своими до крайности внимательными голубыми глазами, маленький, острый, полный энергии, но лишенный и признака суетливости, — дружина, заведенная до отказа, Акимов ответил генералу от Художественного театра следующим образом. Нет, он не может согласиться с тем, что Театр комедии — театр одного человека. Всякий театр коллективен по своей природе. Гошева необходима коллективу Театра комедии. Но тем не менее он, Акимов, не будет задерживать Гошеву в своем театре, точно так же как Владимир Иванович на заре Художественного театра не стал бы задерживать молодую актрису, уходящую из его молодого дела в солидный Малый театр. Немирович ничего не изобразил на своем мертвенно-белом, всемирно знаменитом бородатом лице. Но режиссеры и театральные деятели так и взвились от радости. А спектакль мой шел своим чередом... После третьего акта вышел я раскланиваться вместе с Акимовым. Меня проводил кто-то по крутой лестничке на сцену, и, чувствуя себя навеки опозоренным, я поклонился в освещенный,двигающийся к выходу зрительный зал. Все с тем же чувством позора шел я по полукруглому коридору. Храпченко, окруженный оживленными, опьяненными чужим неуспехом режиссерами, смеялся, показывая все свои крупные зубы. Мы выбрались на улицу.

1 февраля

Здесь тоже слишком уж оживленная, опьяневшая оттого, что хлебнула чужого горя, высокая молодая женщина в короткой, чуть ниже талии кофточке, или верхней одежде для улицы, имеющей другое название, увидев меня и узнав — я только что раскланивался со сцены, — метнулась мне навстречу к каким-то своим знакомым, шедшим возле, сказала умышленно громко, не для них, а для меня: «Первый акт — сказка, второй — совсем не сказка, а третий — неизвестно что».

Вся манера говорить была у нее окололитературная или театральная. Это была либо жена режиссера, либо начинающий режиссер, либо театральный критик из кругов, отрицающих Театр комедии, — во всяком случае, она ликовала. Неудач пьесы был до того несомненен, что в последних известиях по радио отсутствовало обязательное во время подобных декад сообщение, что, мол, состоялась премьера такого-то ленинградского спектакля, который был тепло принят зрителями. Из театра пошли мы к Образцовым. Он ни за что не хотел верить нам. А тут позвонили еще друзья его, Миллеры, сообщившие, что им спектакль очень понравился и имел большой успех. Но я-то знал, как обстояло дело. Вечером шел я на спектакль, как на казнь. К моему ужасу, пришел Корней Иванович Чуковский, Квитко. Появился Каплер, спокойный и улыбающийся. Оня Прут<sup>343</sup>. Даже в правительственной ложе появились какие-то очень молодые люди, скрывающиеся скромно в самой ее глубине. И вот совершилось чудо. Спектакль прошел не то что с большим — с исключительным успехом. Тут я любовался прелестным Львом Моисеевичем Квитко. Он раскраснелся, полный, с седеющей шапкой волос, будто ребенок на именинах, в гостях. Он радовался успеху, легкий, радостный, — воистину поэт. Радовался и Корней Иванович, Я на всякий случай предупредил его, что второй акт — будто из другой пьесы, повторил то, чем попрекали меня вчера. Но он не согласился: «Что вы, — второй акт прямое продолжение первого». На этот раз вызывали дружно, никто не уходил, когда мы раскланивались, зал стоял и глядел на сцену. И занавес давали несколько раз. Вызывали автора.

2 февраля

Вызывали режиссера. В последний раз вышли мы на проscениум перед занавесом. Это был успех настоящий, без всякой натяжки. И я без страха шел через полукруглый коридор Малого театра. Подошел Каплер, похвалил по-настоящему, без всякой натяжки и спросил: «Эту пьесу вы и писали в „Синопе“?» И когда я подтвердил, задумчиво покачал головой. На следующий день состоялся утренник — и этот, третий, спектакль имел еще больший успех. Мы перед началом задержались у входа в театр. Солнце светило совсем полетнему. Подбежала Леля Григорьева, дочка Наташи

Соловьевой, юная, веселая, на негритянский лад низколобая и кучерявая, несмотря на свою русскую без примеси кровь. И я обрадовался. Словно представитель майкопских времен моей жизни пришел взглянуть на сегодняшний мой день. Она попросила билет, и я устроил ей место в партере. Пришла она с подругами. У тех места были в ложе второго яруса. Но Леля по-товарищески пустила одну из них на второй акт в партер, и я увидел ее сияющее полудетское лицо в ложе. Ей спектакль нравился с той силой, как бывает в студенческие годы. Пришел на спектакль и Шкловский, под руку с Ваней Халтуриным<sup>344</sup>. Курносое, прямо на тебя смотрящее, большое лицо Виктора Борисовича еще не оскалилось, но вот-вот готово было показать зубы на бульдожий лад. Я знал, что он не любит пьес и будет браниться. Вероятно, и бранился уже заранее по дороге, если судить по виноватой улыбке, с которой поздоровался со мной Ваня Халтурин. Итак, третий спектакль прошел с наибольшим успехом, но критики и начальство посетили первый! Тем не менее появились статьи доброжелательные, а Образцов в «Правде» похвалил меня в обзорной статье. Тем не менее отношения с Акимовым омрачились. Он слышал, как высказывал я недовольство тем, что выпустил он Гарина без достаточного количества репетиций. И в самом деле — Лецкий играл грубее, но лучше. У него все было ясно. Злодей и есть злодей. Все оказывались на местах.

3 февраля

В театре все всем известно. И когда после спектакля вышли мы на неожиданно светлую, залитую солнцем площадь (в театре всегда представляется, что за стенами — ночь), меня окликнула Хesia Локшина, жена Эраста, тощенькая — одна душа осталась, решительная, подозрительная. Осуждающе глядя на меня своими страдальческими очами, она спросила: «Что же, по-вашему, Лецкий играет лучше Эраста?» И я ответил: «Не лучше, а понятнее». Я хотел разъяснить ей, что под этим понимаю, но заметил, что она дрожит мелкой дрожью, смутился и замаял разговор. Декада окончилась.

21 февраля

В перепутанной моей душе одним из яснейших и несомненных чувств была моя любовь к Наташе. Она

училась в IV классе, ей предстояли первые экзамены, и никак не давалась ей арифметика. То есть имела она четверку, но я-то знал, что самый вид арифметической задачи повергал ее в растерянность, как меня в те же годы. Я не верил, что это решается. Не знал, как начинать думать. Впервые в сорок пять лет понял я арифметику и научился решать задачи лучше даже, чем первый ученик Наташиного класса, тоненький мальчик в очках.

22 февраля

Любопытно, что если я приезжал читать в детские библиотеки или школы, меня встречали почтительно, как всякое новое и непривычное явление. Когда же явился я с той же целью в Наташину школу, раздался вопль: «Наташин отец пришел!» Исчезла вся таинственность явления «писатель». Тем не менее отношения с Наташными одноклассниками были хорошие, и мы часто вместе готовились к контрольной по арифметике. В те годы у всех ребят с особенной силой вспыхнула страсть к собиранию фантиков. Причины тому были исторические — присоединение к нам двух новых советских республик. Из Эстонии, а главным образом из Латвии, шли конфеты в бумажках, непривычных и ярких. Ребята завели даже альбомы, в которые наклеивали эти фантики. На углу Литейной и Пестеля был большой выбор подобных конфет. Гуляя с Наташей, я заходил обычно в эту кондитерскую. Боясь развить в Наташе скупость, я покупал одинаковое количество конфет и ей, и подругам, если они шли с нами. Ребята быстро учили это обстоятельство. И к кондитерской мы подходили хорошо если впятером или вшестером. Соседские девочки бежали из скверика возле или со двора и шагали рядом, взявшись под руки, мешая движению. Я жил слишком уж уходя в то, что считается житейскими мелочами. Я никогда не был настоящим работником, живущим для работы. Мне приходилось, словно репейники, выбирать из души набившиеся туда заботы и беспокойства, делать усилие, чтобы сесть за письменный стол со свободной душой. Но, правда, жил я не сонно. Сквозь все, будто дневной свет сквозь занавески, неудержимо пробивалось чувство радости. Поездка на трамвае к Наташе, вечер, дом, утро — все было окрашено резко.

27 февраля

Что произошло за это время? Кончили снимать «Дон Кихота». Перезаписывают. Я смотрел бракованный экземпляр... Ощущение все же такое, как хотелось. От самой картины. Начиная с первого возвращения Дон Кихота и до конца — картина становится патетической и говорит о вещах, которые задевают. И все же каждая готовая работа как бы выводит тебя на суд неправедный. И я, несмотря на возраст, несмотря на то, что со всей возможной для меня, пока я пишу, добросовестностью старался говорить о том, что для меня и в самом деле важно, — теперь боюсь.

9 марта

Помню, 20-го или 21 июня попали мы с Наташей на учение ПВХО. Вечер. Нас — случайных прохожих — загнали в чей-то двор. Стальное, нетемнеющее небо. Тишина — как всегда после животного и вместе механического воя сирен. Условно отравленного газами несут на носилках через площадь. И опять мертвая тишина и неподвижность, и я боюсь, что Наташа простудится, — она вышла в легком платъице, без пальто, думали, что сразу вернемся домой. А отбой все не давали, не давали, не давали. И я, отведя Наташу домой, был уверен, что завтра она непременно простудится, столько времени продержали нас в этом чужом дворе. Утро 22 июня было ясное. Завтракали мы поздно. На душе было смутно. Преследовал сон, мучительный ясностью подробностей, зловеций. Мне приснилось, что папа мертвый лежит посреди поля. Мне нужно убрать его тело. Я знаю, как это трудно, и смутно надеюсь, что мне поможет Литфонд. У отца один глаз посреди лба, и он заключен в треугольник, как «Всевидящее око». Ужасно то, что в хлопотах о переносе тела мне раз и другой приходится шагать через него, — таково поле. И вдруг я не то слышу, не то вспоминаю: «Тот, кто через трупы шагает, до конца года не доживет». Я, по вечной своей привычке, начинаю успокаивать себя. Припоминать подобные же случаи в моей жизни, которые окончились благополучно, но не могу припомнить. Нет, никогда не приходилось мне шагать через трупы. Я рассказываю свой сон Кате, и она жалуется на страшные сны. Она видела попросту бои, пальбу, бомбежки. В двенадцать часов сообщают, что по радио будет выступать Мо-

лотов. Я кричу Кате: «Дай карандаш! Он всегда говорит намеками. Сразу не поймешь. Я запишу, а потом подумаю». Но едва Катя дает карандаш, как раздается голос Молотова, и мы слышим его речь о войне. И жизнь разом как почернела. Меня охватывает тоска. Не страх, нет, а ясная, без всяких заслонок, тоска. Я не сомневаюсь, что нас ждет нечто безнадежно печальное. Мы решаем ехать в город. Я иду к Наташе. Выхожу с ней пройтись напоследок. Покупаю ей эскимо. Но и Наташа в тоске.

15 марта

Однажды утром услышал я знакомый всем голос Сталина.<sup>345</sup> Он по радио называл нас «братья и сестры», говорил непривычно — голос дрожал. Слышно было, как стучит графин о стакан — пил воду. Он призывал к созданию народного ополчения. И все пошли записываться. Записался и я в Союзе писателей у Кесаря Ванина<sup>346</sup>. И вот я уже получил приказ явиться в Союз к такому-то часу с кружкой и ложкой. Мне было 45 лет, нервная экзема оборвалась сама собою недели за две до этого приказа, чувствовал я себя здоровым. Призраки молодых, убиваемых ежедневно, тревожили совесть. Я спешил в Союз, смущенный одним, — предстояла новая жизнь, которую я не мог себе представить. В Союзе ждала меня отмена приказа — решением обкома группа писателей поступала в ведение радиовещания. Я шел домой столь же ошеломленный. Я боялся, что не смогу работать на радио так, как это нужно. Однако именно с этого времени начала меня отпускать тоска. На радио я словно бы нашел свое место в том, что до сих пор вертело мной без всякого смысла. А тут вдруг я работал быстро, легко, и меня хвалили, без чего ощущение найденного места было бы для меня невозможно. Примерно в это же время, а может быть, немного раньше, началась работа над пьесой «Под липами Берлина».<sup>347</sup> Писали я и Зощенко по очереди акт за актом, точнее, картину за картиной. Пока репетировалась одна, писалась другая. Нет, это, видимо, было раньше чуть-чуть. Представив себе ясно репетиции в Театре комедии, испытал я знакомую тоску. Видимо, это происходило в июле, а спокойнее я себя почувствовал в августе. Июль. Жарко. Репетиции идут в нижнем фойе. Окна закрашены синим для затемнения. И я с ужасом



замечаю синие отсветы на руках и лицах актеров и потом только догадываюсь, что это солнечный свет прорывается через закрашенные стекла. Спектакль никакого успеха не имел. Шел 41 год, а в пьесе довольно похоже описывались события 45-го. Паника в Берлине и прочее — кто же тогда мог поверить, что это возможно. И пьесу скоро сняли с репертуара.

16 марта

А писателей, взятых в ополчение, объединили, и они попали под командованием Сергея Семенова, высокого, похожего на монгола и всегда как будто не то ушедшего в свои мысли, не то растерянного чуть-чуть, — человека чистейшего, но не военного. И все ополчение представлялось мне похожим на Сергея Семенова. То один отряд выйдет прямо на немцев — необученный, безоружный, то другой пойдет на учение, а окажется в самом пылу боя. И никто не дрогнет. В одном из боев, как узнали мы с ужасом, погиб возле Елены Александровны Чижовой<sup>348</sup> ее единственный сын. Они выносили из боя раненого командира, и снаряд прикончил его, и оторвал голову Славушке, и только легко контузил Елену Александровну. Однажды репетировали мы, как всегда, «Под липами Берлина», и вдруг лица актеров, подсвеченные синим, приняли виноватое, мягкое выражение, — Елена Александровна заходила к директору и, возвращаясь, шла мимо нас. Репетицию прервали. Мы окружили Елену Александровну. Мы не знали, о чем говорить с ней, старались только быть как можно ласковее. Однажды у Акимова встретил я художника, молодого, из его учеников. Он состоял в воинской части особого рода — они ходили по тылам противника. То, что человек вполне гражданский превратился вдруг в настоящего военного, да еще подобного рода, поразило меня. Он рассказывал о ночных нападениях на часовых, об убийствах просто, как о театральной постановке, и я удивлялся простоте, с которой слушал его. Через неделю-другую он не вернулся из очередного рейда, погиб. «Европейская гостиница» перестала существовать, превратилась в госпиталь. Я все прыгаю во времени, но лето 41-го до 8 сентября спуталось у меня в один клубок. Вот шагаю я по Литейному и вижу, как в небе над крышами домов летают черные листики сгоревшей бумаги. Жгут архивы. Ночью у комендантского управле-

ния вдруг выстраиваются гуськом грузовики. Неведомо откуда появляется слух, вскоре подтверждающийся, — эвакуируют офицерские семьи. Это, следовательно, еще до взятия Мги<sup>349</sup>. Воздушные тревоги каждый день — и всегда безрезультатные — летают разведчики. Вот тревога застает меня на углу Владимирской.

17 марта

Всех прохожих гонят в бомбоубежище, но никто и не думает туда отправляться. Не верят. Все толпятся во дворе, очень мне знакомом, — это те самые зажатые домами переходы к гостинице Палкина, где жили мы в 21 году, двадцать лет назад, приехав в Ленинград. И то время, беспокойное, голодное, ничем не подкрепленное, словно висящее в воздухе, представляется мне сегодня таким спокойным и прочным. Голод на Волге, магазин Помгола на углу, с крысами, дерущимися по ночам в витринах, крушение нашего театра — ах, как все хорошо и просто рядом с той тоской, что пришла с войной. В небе Илы начинают вдруг словно бы карусель, ходят, утопая в голубизне, друг за другом, а мы смотрим спокойно и тихо, не обсуждая, что там творится. Вот загнали нас в ворота дома, где обл- или горздравотдел, недалеко от цирка. Тут встречаю я Брауна в военной форме. Он пережил недавно отступление от Таллина, но говорит о чем угодно, кроме этого. Я знаю, что взорван был с воздуха корабль, на котором он шел. Он заставил подобрать в шлюпку двух девиц, погибавших на глазах оравнодушевшей команды. Корабль, подобранный Брауна, погиб в свою очередь. И тут спасенные им недавно девушки втащили их на какой-то плотик. Подобрал их эстонский моторный парусник, капитан которого собирался свернуть к немецким берегам, но был обличен моряками, находящимися среди спасенных. Отступление от Таллина! Погиб Марк Гейзель<sup>350</sup> из «Ленинских искр». Он соскочил с трамвая и догнал меня, чтобы сообщить о назначении в Таллин и попрощаться. Длинный, молодой, преждевременно лысеющий со лба еврей. В 1933 году жили мы в Разливе по соседству. И я познакомился с его женой, хорошенькой женщиной чуть японского типа, и маленькой девочкой. Однажды нашла она на пляже крестик и закричала: «Мама, погляди, сломанный фашистский знак». И вот теперь Марк Гейзель погиб. Утонул Орест Цехновицер<sup>351</sup>,

и кто-то видел с корабля, как он тонет. Тощий, с длинной шеей, крупным ртом, высокий, занимающий свое место уверенно и неуступчиво. Он готовил книгу о Достоевском. И вот погиб. Утонул Князев<sup>352</sup>, тихий и внимательный. А мы выслушали это и приняли к сведению. Тоска первых дней войны начала проходить. Мы оравнодушели.

24 марта

К бомбежкам прибавились у нас обстрелы — не такие усиленные и регулярные, как в последующие годы, но вполне ощутимые. Первый же день коснулся нас. Рядом, в Шведском переулке, был убит старый наш дворник, и управхоз хоронил его, и все ежилась потом весь вечер, и вздыхал, и начинал говорить речь, да не договаривал. Вечер был вдвойне беспокойный — налет и артобстрел. Бомбоубежище наше все еще не было готово. И вот договорились, что на сегодняшнюю ночь отправим мы детей наших в Малегот, бывший Михайловский театр. Я нес на руках маленькую Наташу Заболоцкую, спокойную и сонную, а рядом шагала Катерина Васильевна, вела Никиту. Когда переходили мы пешеходный Итальянский мостик, обстрел усилился. Отчетливо слышен был и сухой звук выстрела, и пухлый звук разрыва где-то за церковью Спаса-на-крови. Вот и Малый оперный театр повернулся неожиданной стороной. Предъявляя пропуски, пробрался я с детьми в какие-то ясно освещенные, сводчатые подвалы, о существовании которых и не подозревал. Здесь уже разместились целые семейства — не то вокзал, не то сон. Я попрощался с Заболоцкими и ушел в свою путаницу, в свой жакт. Наконец в положенное время привели в порядок и наше бомбоубежище — длинное полуподвальное помещение под тем корпусом надстройки, что выходил на улицу Перовской. Скоро и здесь установился свой безумный военный блокадный быт. Переехали к нам летом Данько и Ахматова.

25 марта

Однажды днем зашел я по какому-то делу в длинный сводчатый подвал бомбоубежища. Пыльные лампочки, похожие на угольные, едва разгоняли темноту. И в полумраке беседовали тихо Ахматова и Данько, обе высокие, каждая по-своему внечеловеческие, Анна Андре-

евна — королева, Елена Яковлевна — алхимик. И возле них сидела черная кошка... Пустое бомбоубежище, день, и в креслах высокие черные женщины, а рядом черная кошка. Это единственное за время блокады не будничное ощущение. Мы становились все равнодушнее и равнодушнее к налетам. Управхоз какого-то дома на Литейном проспекте вывесил объявление: «Граждане, ваша храбрость приводит к излишним жертвам». Это касалось очередей возле продовольственного магазина, которые отказывались расходиться во время бомбежек. Мы оравнодушили ко всему, кроме голода. Да, к голоду привыкнуть было невозможно. Я каждый день ходил в Дом писателя, где выдавали мне судок мутной воды и немного каши. И в булочной получали мы 125 грамм хлеба. И несколько монпансье. И все. Тревоги и дежурства все продолжались. И в положенное время, когда подходила моя очередь, дежурил я на посту наблюдения. Ясное звездное небо. На северной стороне неба словно пульсирует часть горизонта. Северное сияние. Если поднимались тревоги, то видели мы трассирующие пули, слышали зенитки, но все реже и реже. И уж никто не говорил, что скрываются они от наших ночных истребителей. В октябре примерно стали эвакуировать на самолетах известнейших людей Ленинграда. Шостаковича, Зощенко. Решили эвакуировать Ахматову. Она сказала, что ей нужна спутница, иначе она не доберется до места. Она хотела, чтобы ее сопровождала Берггольц. И я пошел поговорить с Ольгой об этом.

26 марта

Примерно за неделю до этого Молчанов, ее муж, человек на редкость привлекательный, пришел поговорить со мною о Берггольц. Я совсем не знал его раньше.

Жизнь свела нас с Берггольц во время войны. Я смотрел на этого трагического человека и читал почтительно то, что написано у него на лице. А написано было, что он чистый, чистый прежде всего. И трагический человек. Я знал, что он страдает злейшей эпилепсией, и особенное выражение людей, пораженных этой божьей болезнью, сосредоточенное и вместе ошеломленное, у него выступало очень заметно, что бывает далеко не всегда. И глаза глядели угнетенно. Молчанов пришел поговорить по делу, для него смертельно важному. Он, влюбленный в жену и тяжело больной, и никак не уме-

ющий заботиться о себе, пришел просить сделать все возможное для того, чтобы эвакуировать Ольгу. Она беременна, она ослабела, она погибнет, если останется в блокаде. И я обещал сделать все, что могу, хотя понимал, что могу очень мало. Вопросы эвакуации решались все там же, глубоко или высоко, что простым глазом не разглядеть. То, что Ахматова потребовала провожатую, упрощало вопрос. Но необходимо было согласие Берггольц. И впервые в жизни отправился я в маленькую квартиру на Невском, где-то напротив улицы Перовской. Длинные комнаты, которые считал я в студенческие времена приносящими несчастье. Синие обои. Скромная мебель. И среди этой обстановки, рассчитывающей на жизнь обычную, человеческую, встретил меня Молчанов. Божеская болезнь еще явственнее отпечатана была на его лице. Наверное, недавно перенес припадок. Ольга оказалась дома, и я не спросил, а решительно заявил, что ей надо вылетать вместе с Ахматовой, если она не хочет гибели замечательной поэтессы. Слезы выступили у Ольги на глазах. Она побледнела, села на подоконник, и я рассказал ей, как обстоят дела. Но через два дня Ольга решительно отказалась эвакуироваться с Ахматовой, и с ней отправилась в путь Никитич<sup>353</sup>. Первым умер у нас дома с голоду молодой актер по фамилии Крамской, по слухам — внук художника. Умер сразу — упал в коридоре.

27 марта

У нас появился жилец — Женя Рысс. Он, засидевшись, остался у нас ночевать раз и другой, а потом раздумал возвращаться в свою брошенную, полуразрушенную квартиру. А я привык каждый вечер слушать его рассказы. В нашем плену от них так и веяло свободой, о чем бы Женя ни рассказывал, — о поездке в Ташкент в двадцатых годах, о путешествии в Мурманск и оттуда на траулере. К чужим воспоминаниям, ставшим как бы своими, прибавились и рассказы Жени Рысса. Он принадлежал к тому разряду художников, которые начисто лишены потребности писать. Время ли его таким сделало или беспорядочность воспитания, но он жил не для того, чтобы писать, а чтобы жить. Поэтому он так много путешествовал, так легко влюблялся.

И так щедро рассказывал об этом. Для него это был единственный органический способ высказаться. А пи-

сал он напряженно, держа себя за шиворот, не отпуская от письменного стола, будто каторжника от тачки. И прелесть, и подлинность, и естественность голоса — то, что так радовало, а в те дни даже опьяняло меня в его устных рассказах, — в сочинениях превращалось в сочинение. Потом пили мы чай, честно деля паек. И, наконец, раскладывали пасьянс. В эти трудные времена мы все были немножко суеверны, и Женя, как я, придавал значение тому, выходит ли он и как часто выходит. Однажды Женя не пошел на фронт почему-то. И мы вместе собирались в Союз писателей. Вдруг объявили воздушную тревогу. Мы вяло обсуждали, идти или не идти. Он ухитрился в те дни потерять все документы и боялся, что какая-нибудь дежурная его задержит. Вдруг услышали мы знакомый удар, и дом наш закачался так сильно, что лампочка закрутилась над столом.

И телефонная трубка зацарапала о стену. Значит, где-то рядом разорвалась фугаска. Мы взглянули друг на друга и засмеялись. В те дни выработался этот странный способ отвечать на нечто выходящее из привычного ряда. Вскоре тревогу отменили. И, выйдя на канал Грибоедова, мы остановились невольно. Разрушен был дом, замыкающий наш отрезок канала. По Мойке — № 1, по Марсову полю — 7-й, тот, где живут теперь Панова, Катерли, Герман, Рахманов, Браусевич. Его сильно ударило колуном в самую середину. У дома с самым будничным выражением стояли грузовики, увозили покойников. Дом, уничтоженный среди белого дня, с такой простотой — тут проявлялась особая подлость и холодность войны.

28 марта

Большой драматический театр эвакуировался еще до того, как замкнулось вокруг Ленинграда кольцо. И в его помещение перебравшись Управление по делам искусств и Театр комедии. Выглядело по-новому, по-бытовому, когда работник управления Карская, столь знакомая нам по премьерам, где принимала или отвергала постановки, тут вдруг обитала в одной из актерских уборных, находилась на казарменном положении. И самое удивительное было то, что никого это не удивляло. Обитает — и все тут. И только когда она двигалась привычной стройной, подтянутой походкой, горделиво поднимая из ватника свою длинную шею, Ми-

лочка Давидович сказала: «Лебедь на казарменном положении». Здесь, в Союзе писателей, на радио — вот где я бывал.

На радио однажды поднялась тревога, и нас загнали в бомбоубежище. Тут я понял лишний раз, что нет с моей стороны никакой заслуги в том, что не хожу я в бомбоубежище. Чувствовать себя насильно загнанным в щель, над которой возвышается многоэтажное здание, хуже, чем стоять на чердаке. Страшнее. И вообще было тоскливо. И упала фугаска недалеко. Кто-то пытался дозвониться в это время до издательства «Советский писатель». И не мог. А потом выяснилось, что бомба ударила в середину Гостиного двора, именно в «Советский писатель». Было убито человек, кажется, пятнадцать, и среди них кротчайшая, вернейшая Татьяна Евсеевна из тех секретарш, благодаря которым учреждение превращается в живой организм. Словно отдает она ему часть своей крови. А вот пришлось — отдала и жизнь. Я опять рассказываю как придется, как осталось в памяти. Это время окрашено для меня одинаково. Одно только — с каждым днем становилось хуже... Неуклонно и неизбежно. Мы привыкали быстро, но жизнь обгоняла нас. И главное — хуже становился хлеб. Эта влажная масса уже и не походила на хлеб.

29 марта

А именно хлеб, только хлеб был основой жизни. А жизнь ото дня ко дню делалась неподвижней и теряла теплоту. Вот выходим мы из Дома писателей. У каждого бидон с мутной водой и по две ложки белой каши, не то овес, не то перловка. Со мной выходил, кажется, Рахманов. Когда мы идем по улице Воинова к Гагаринской, перейдя ее у Дома писателей, будни обрываются. Сильный блеск над крышей дома напротив, снег сметает, как метель, и дробь, вроде барабанной. Разорвалась шрапнель. И новый взблеск — чуть правее, новый удар. Мы скрываемся под воротами, и, странно сказать, все мы оживлены. Чем-то прервалась медленная удушающая рука будней. Блокада — это будни. Будни, нарастающие с каждым днем. Я увидел уже на улице людей с темными лицами и вопросительным выражением глаз. Даже укоризненным. Однажды вызвали меня на междугородную телефонную станцию. Маршак вызвал меня из Москвы. Разговор шел по радио, и меня преду-

предили, чтобы я не называл ни фамилий, ни городов. Но в первом же разговоре сделал ошибку. Спросил: «Зощенко в Москве?» И мне укоризненно сказал человек, следящий за нашим разговором: «Надо говорить: „Михаил Михайлович у вас?“» Других ошибок я не делал. Маршак расспрашивал о своих родственниках, о которых должна знать Габбе. Вызывал меня Маршак раза три, и каждый раз после этого шел я к Габбе. И эти дни выделялись из однообразия будней. И дорога на междугородную станцию на углу Марата и Невского, и дорога к Габбе, как путешествие по знакомым и незнакомым улицам. Вот тут я и встретил прохожих, которые смотрели на меня с укоризной и ужасом.

### 30 марта

В те дни ты понимал одно: город умирает с голоду. И неизвестно — что тебе делать, где твое рабочее место. Правда — на наш дом бросили немцы штук тридцать зажигательных бомб. И этот вечер показался веселее других... И опять будни принялись душить нас голодом. Однажды я пошел с Женей Рыссом в гости к Селику Меттеру. Его брат, физик, очистил двести грамм денатурата. И мы немножко выпили. И когда возвращались домой, налево за Адмиралтейством, высоко в воздухе, вдруг мы увидели яркие и незнакомые вспышки и слышали очень громкие разрывы. И я удивился непривычному, праздничному чувству.

### 31 марта

Да, самая сила звука радовала бессмысленно, без всякого основания, но тем более определенно. Вероятно, пушечные выстрелы, приветствующие адмиральский флаг, и всякого вида салюты исходили из этого самого бессмысленно праздничного чувства. А город все умирал. То из одной, то из другой квартиры выносили зашитого в простыни мертвого, везли на кладбище на санках. Шел ноябрь 41-го, когда город еще держался на ногах. По слухам, умирало 20 000 в день. Но мертвых еще не бросали где придется. Но уже установилось во всем существое города нечто такое, что понять мог только переживший. Театры перестали играть. Пребывание театров в городе становилось бессмысленным. И Акимов, с которым я встречался все чаще, поднял разговор о том, что надо эвакуироваться. И чтобы я присоеди-



нился к театру. И мне хотелось уехать. Очень хотелось. Я не боялся смерти, потому что не верил, что могу умереть. Но меня мучила бессмысленность положения. Друзья, приезжающие с фронта, говорили, что в городе гораздо хуже. Там, на переднем крае, ясны были обязанности каждого. А тут, в блокаде, что было делать? Терпеть? Тем более что и на радио занимали меня все реже и реже. И даже бомбежка приумолкла. Подниматься на чердак не к чему было. Последний сильный налет состоялся в ночь на 7 ноября. А потом немцы словно оставили город доходить. Только от времени до времени устраивали обстрелы. Кажется, в конце ноября остановились трамваи. Я как-то на уроке естественной истории смотрел в микроскоп через растянутую перепонку лапы кровообращение лягушки. Двигались кровяные шарики и вдруг просто, без всякого изменения движения, без всякой вспышки остановились. Эта смерть поразила меня. И когда трамваи так же внезапно и просто остановились там, где их настигла судьба, я еще острее почувствовал смерть города. И голод, безнадежный голод! В начале декабря меня вызвали в Управление по делам искусств и сообщили, что числа 6-го я вместе с Театром комедии выезжаю из города. Чтобы готовился.

1 апреля

Ехать мне и хотелось и нет. Мне представлялось, что за пределами Ленинграда я никому не нужен, и неизвестен, и непригоден. Что я буду делать в Кирове?

2 апреля

Пятого декабря сказали, что нам ехать седьмого, потом девятого, и, наконец, сообщили, что еду я не с Театром комедии, а в какой-то профессорской группе... За месяц примерно до моего отъезда ко мне зашли Тырса, Володя Гринберг<sup>354</sup> и Кукс<sup>355</sup>, зашли поговорить о необходимости эвакуировать Детгиз. Я знал, что Наркомпрос в Кирове. И решил, что в первый же день приезда пойду к наркому. Мне принесли груды писем, чтобы я их бросил в почтовый ящик в первом же городе на Большой земле. Последний вечер в Ленинграде был похож на плохой сон. Мы должны были в пять утра явиться к Александрийскому театру, а народ все не расходился от нас. Прощались. Пришел маленький Бабушкин, он

работал на радио, и мы там подружились. Это был человек чистый и тихий. И мы разговаривали о том, какой замечательный журнал будем мы издавать после войны. Все веровали, что после войны станет чисто. Пришли Ольга Берггольц, Жак Израилевич<sup>386</sup>, Глинка. В конце концов, замученные проводами, мы почти перестали разговаривать.

3 апреля

На рассвете 10 декабря вышли мы из дому. Провожали Женя Рысс и Катерина Васильевна. На санках везли мы наш длинный парусиновый чемодан. В Александринке сдали мы карточки и получили соответствующую справку. Пришел автобус, который заполнили люди совершенно незнакомые. И мы двинулись в путь на станцию Ржевка, где помещался наш аэродром. Путаница чувств. Занесенная снегом дорога. Певец, кажется, Сибиряков, с больной женой, задыхающейся.

4 апреля

Трудно больной. К ногам певца прижалась легавая собака редкой красоты, стараясь хоть в неизменности хозяйского существа найти утешение. Дорога становилась все хуже. И вот задние колеса машины ушли в кювет. Мы долго возились, пытаюсь помочь шоферу выбраться на трассу. Я боялся, что мы опоздаем. Но вот мы выбрались, наконец, буксующие колеса завертелись не вхолостую, повезли. И я занял свое место у окна. За окнами плыли снеговые поля, деревья, домики до оскорбительности обычные, как будто возле и не было города, погибающего от трупного яда. Ржевка тоже глядела спокойно, по-деревенски. Ребята, окружившие автобус, казались в меру голодными. Начальник аэродрома, рослый, начальнически спокойный, вышел на крыльцо, сообщил, что время прихода машин неизвестно, и послал нас взвешивать вещи в сарай. Наш полотняный чемодан оказался и в самом деле ниже обязательного веса. Затем нас послали в барак, который спешно достраивался тут же над нашей головой. Часа в два все забеспокоились, собрались у своих вещей, — самолеты идут. И в самом деле, низко над лесом появились китообразные зеленые «дугласы». Около часа прошло в напряженном ожидании. Но вот появилась осанистая фигура начальника, и мы узнали, что это са-

молеты особого назначения, к нам не имеющие отношения. Снова вернулись мы в наш барак, который рос над нами. И в припадке истерической тупости, что, к счастью, со мной случалось в жизни нечасто — точнее, в припадке тупой энергии, — договорился с каким-то местным парнишкой, чтоб, когда придут самолеты, он помог нам грузить наш чемодан, и заплатил ему вперед пачкой табаку. Больше мы этого паренька не видели. И сколько раз на Большой земле, где о табаке мечтали мы, как о неслыханном счастье, вспоминал я об этой пачке. Самолеты специального назначения ушли, а новые все не появлялись. В сумерки барак над нами был достроен и даже свет в него провели. И поставили времянку. Народу собралось много. Эвакуировали какой-то завод.

5 апреля

Постепенно я узнал, из кого состоит наша так называемая профессорская группа: пожилой уже художник-баталист Авилов, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени, — в те дни это еще имело немалое значение, скульптор Шервуд с дочерьми, опереточный комик Герман, тощий и желчный, его семидесятилетняя жена (старше его лет на десять) комическая старуха Гамалей и падчерицы, полные женщины, еще молодые, с выражением лица решительным и шустрым, нескрываемо, деловито привлекательные. Полны они были более фигурой. Когда мы познакомились, падчерицы не скрыли причин своей полноты. Они обвязали себя под шубой и привязали к себе отрезы, чтобы вывезти их, не взвешивая. Они понимали, что такое эвакуация. Принадлежал к нашей группе и Сибиряков со своей сердито умиравшей, измученной женой. 10 декабря был день, когда не съели мы уже ни крошки. Вечером надо было топить. И я взял лом и присоединился к изготовляющим топливо. Мне досталась какая-то доска, которую мне удалось расколоть. Старик рабочий, похожий на мастера старых времен, в серебряных очках, с серебряными прядями волос из-под кепки, похвалил меня. «Да так методично», — сказал он. А Катя сказала: «А он этим никогда не занимался». Что было не вполне верно. Все пережившие голод и разруху 17–21 годов и начало тридцатых умели и дрова колотить, и понемножку готовить, и на рынок бегать. После меня

лом взял молодой парень, и у него этот инструмент заиграл. Не помню, как прошла эта ночь. Спали мы на нарах или не спали. Рано утром появился начальник и обратился с речью к отъезжающим. Просил тех, у кого есть продовольственные запасы, сдать ему под расписку для остающихся голодающих земляков. Успеха эта речь не имела. Около часа дня появились автобусы. Из них выбрались с вещами новые беженцы, всё женщины с детьми. Устроившись в бараке, они принялись питаться. Кур ели. Белый хлеб. Старожилы притихли. Кто-то спросил их: «Вы откуда?» — полагая, что они транзитом следуют через блокаду.

6 апреля

«Из Ленинграда мы», — ответила одна из баб, с той несокрушимой бабьей важностью, против которой одна сила: разжалование или смерть мужа. И с той же бабьей беззастенчивостью продолжала она питаться — именно питаться — на глазах у замершего строго барака. Часов около двух пошли слухи, что самолеты приближаются. Выяснилось, что не позволят Сибирякову взять его легавую. Сохраняя то же достойное и терпеливое выражение, с которым он переносил жизнь в бараке и мучения жены, певец отправился хлопотать. Но единственное, чего добился, — что кто-то из работников аэропорта, сам охотник, согласился взять собаку себе до возвращения певца. В три часа низко над лесом, словно киты, проплыли «дугласы» и снизились на аэродроме. Мы с вещами столпились у ворот, обтянутых колючей проволокой. Взглянув на Катю, я удивился. Я увидел, что она плачет, впервые с начала войны. «Что ты?» — «Говорят, что и эти самолеты не для нас». Мне тоже стало жутко. Мы не ели уже больше суток. Ожидание превращалось в пытку. Но тут ворота открылись, и мы двинулись к самолетам. Грузовая машина, середину которой занял наш багаж. Пулеметное гнездо посреди крыши, мы видели только ноги пулеметчика, от пояса он скрывался в своем куполе. В противность медленно ползущему времени последних полутора суток, здесь все совершалось быстро, без единой задержки. Едва успели мы занять места на длинной железной скамье, идущей вдоль внутренней стены самолета, как дверь уже заперли, пулеметчик занял свое место, самолет вырулил к старту, побежал, набирая скорость,

и вдруг мы словно вышли на безукоризненно ровную дорогу, и одновременно я увидел стоящий боком поселок. Сейчас же вслед за этим неожиданно близко с непривычной быстротой под нами пронесся лес. Мы увидели новое селение — по слухам, Всеволожское, снова лес и серый лед. Мы шли бреющим полетом, отсюда непривычная быстрота. Никто не сказал нам, когда мы пересекли линию блокады.

7 апреля

Озеро исчезло, снова с непривычной быстротой понеслись под нами леса. Истребители пристроились к нам, закружились на флангах. Сколько времени были мы в пути? Не знаю. Я уснул внезапно и проснулся от тишины — мы снижались на аэродроме в Хвойной. С аэродрома доставили нас на грузовиках в какое-то здание — видимо, бывшую школу. Сложив вещи в углу какой-то залы с хорами — так мне чудится сейчас, мы, профессорская группа, отправились обедать. Нам дали по большой тарелке горохового супа, но без ложек. На них была очередь. Но между столами бродили со скромным видом мальчик и девочка — местные жители. Они предлагали ложку напрокат, за рубль. И мы поели впервые после вечера 9-го числа, когда пили дома чай. После глубокой тарелки густого горохового супа мы почувствовали, что сыты, что не могли бы съесть больше ни ложки. А тут подошли к нам раздатчицы, и мы получили полтора килограмма хлеба. Это был настоящий, не блокадный, легкий хлеб. Полтора кило — почти целая буханка. Мне показалось, что это ошибка. Когда вернулись мы к своим вещам, появилось какое-то начальство и нам объявили, что сегодня же должны мы ехать дальше. Станцию бомбят. Остался один Сибиряков. Летчик узнал, что старому певцу пришлось бросить на Ржевке собаку, возмущился и пообещал следующим же рейсом доставить ее в Хвойную. Незадолго до этого обнаружилось чудо: едва оказались мы в зале, одна из падчериц Германа засунула руку за пазуху и выпустила на свет божий крошечную, кудрявую беленькую собачку с черными глазами. И я почувствовал уважение к храброй падчерице. Она не боялась законов, а слушалась своих чувств. Снова погрузили нас в грузовик и отвезли через полную тьму к железнодорожным путям, где стоял бесконечный состав из теплу-

шек. Мы — профессорская группа — забрались в одну из них. Сначала мы поклялись, что никого больше не пустим, но скоро с бранью и поношениями ворвалась к нам целая толпа.

8 апреля

В дальнейшем подсчитали мы, что в нашей теплушке сбилось человек пятьдесят, не считая грудных детей. Мы в дальнейшем так и находили своих детей, по детскому плачу. Сразу вступив с нами во враждебные отношения, вся эта масса заняла со скрипом, воплями, криками противоположные нам нары. Правую сторону, стоя лицом к печурке, занимали мы, а левую — более широкую — наши враги. Впрочем, вряд ли весь этот замученный, голодный, спутавшийся в одно целое клубок людей ненавидел именно нас. Им нужно было отвести душу, все равно на ком. Перебранка, сердитый детский плач и непрерывный, как в бреду, вопль мальчика лет двух: «Мамка, дай чаю». Первую ночь я и сам был как во сне. Все мне казалось не имеющим отношения ко мне. Чувство Большой земли и свободы не появлялось. Я понимал рассудком, что мы за кольцом, но не верил, что началась новая жизнь, что мы ушли от смерти. Поезд очень скоро двинулся в путь — Хвойную спешили разгрузить от беженцев. Мой полусон скоро перешел в настоящий сон. И мне приснилось, что я согласился на чьи-то настойчивые уговоры и вернулся в Ленинград. Город стал еще мертвее за эти дни. Стояли сумерки. И все улицы огорожены были железными дешевыми кроватями, потемневшими и ржавыми. И чувство несвободы и окруженности усилилось до отчаяния от переплетов спинок, торчащих ножек. Я проснулся в отчаянье, словно отравленный, и чувство это долго не проходило. И я решил лежать и не вставать. Поезд останавливался на станциях, но они были мертвы, разбиты с воздуха, даже воды неоткуда добыть. Растапливали снег. К середине дня остановились мы на какой-то станции побольше. Выяснилось, что где-то далеко на холме за площадью работает буфет. Многие побежали туда, но мне казалось странным, имея столько хлеба, беспокоиться о чем-то. Вскоре оцепенение мое прошло, и я стал вживаться понемногу в вагонный быт. Стычки не замирали. Ссорился чаще всех старый, нервный Герман.

9 апреля

Руки его дрожали от гнева, и он, патетически указывая на враждебную сторону вагона, восклицал: «Вот кому я отдал сорок лет культурной работы». Споры вызывало все: кому идти за углем, кому топить чугунную печку и не могу теперь представить себе, что еще. Я, как всю жизнь, позорно не лез в давку. Но двоих спутников я возненавидел глубокой ненавистью. Я их не то чтобы разглядел, а узнал. Я много раз в своей жизни испытывал чувство ужаса и отвращения, убеждаясь в многочисленности породы каменных существ с едва намеченными, как у каменных баб, человеческими признаками. И тут оказалось их двое. И заняли они место посреди между воющим и плачущим человеческим клубком и нашей несчастной профессорской группой. Они возлежали у чугунной печурки. Один — рослый, с головой, как котел, другой — остролицый, с уклончивым выражением. Я не знаю, кем работали они на заводе. Сейчас переключились они на самоснабжение. Это они унюхали буфет на холме и первые принесли оттуда рагу в газетной упаковке и помчались туда во второй раз. Остролицый все повторял: «Волка ноги кормят», а круглоголовый молчал. К вечеру, когда печурку снова разожгли, круглоголовый помешивал в ней кочергой, а жена его повторяла: «Ваня! Зачем ты шуруешь, неужели тебе больше других надо?» Как на грех, в нашей теплушке, полной детьми, дверь оказалась подпорченной, и только один человек приноровился открывать ее изнутри — этот самый Ваня. Матери, которым необходимо было подержать детей, которые просились, собирались у его ложа и кричали на него, будто он профессор. Но он не отвечал, тихо беседовал со своим остролицым другом. Все о делах-делишках, судя по тому, что остролицый вскрикивал от времени до времени: «И правильно! Волка ноги кормят!» Только когда вопли несчастных матерей становились оглушительными, поднимался Ваня — круглая башка во весь свой рост, делал загадочное движение плечом, и дверь ехала с визгом. Открывалась. Пришла вторая ночь.

10 апреля

К этому времени я окончательно понял Ваню. Своих у него тут не было. Он понимал жизнь так: «Война всех против всех». Должен признаться, что не я открыл эту

формулу. Услышал я ее после войны от человека, которому долго пришлось работать среди подобных существ. На нашей стороне в течение дня мы поближе познакомились друг с другом. У нас главенствовала тоже не бог весть какая почтенная особенность. Мы не верили в этих непривычных, странных, как во сне, условиях существования в свое право на жизнь. И утверждали его с помощью документов. Авилов показал газету, в которой был напечатан приказ о его награждении и хвалебное письмо Репина, восторженное, написанное с большим темпераментом<sup>357</sup>. Я вытащил изданную Театром комедии «Тень»<sup>358</sup>. Шервуд, самый достойный и суровый из нас, тоже зашевелился и предъявил монографию о нем, выпущенную издательством «Искусство». Предъявляли мы эти документы друг другу. С Шервудом ехала семья, не то дочка с ребенком, не то невестка и совсем молоденькая, славненькая, хозяйственная не то внучка, не то дочка — не было сил разбираться в этом. Ехали на нашей половине еще молчаливые женщины с маленькими детьми. Их приписали к нашему списку для счета. Легче всех характером оказались Авиловы. Проще всех. И мы как-то постепенно познакомились с ними. Вагон шумел, плакал, бранился. А комическая старуха Гамалей вдруг стала мешаться в уме. Она поднималась в своей меховой шубе, маленькая, но широкая, и, откинув голову назад, спрашивала низким актерским голосом: «Кто протягивает мне стакан с водой?» Герман пугался, как ребенок. Он вздымал к небу дрожащие руки и кричал: «Вы слышите, что она говорит, Паня (кажется, так), что ты говоришь?» А несчастная старуха тоном королевы продолжала: «Кто пододвинул мне кресло?» — «Что она говорит! Паня, что ты говоришь?» Ночь прошла мучительно. У Катюши примерзли к стене теплушки косы. А посреди, нет, в шаге от стены, жара не давала дышать. На другой день приехали мы в Рыбинск. Поезд загнали далеко на запасный путь.

11 апреля

До станции километра полтора. Зимние легкие облака, пар, будто примерзший к паровозам, не спеша меняющий очертания, какие-то склады, похожие на башни из неоштукатуренного кирпича, будничная, со свистками и гудками, жизнь многопутных подступов к узловой



станции, и, словно опьянение, — внезапно проснувшееся чувство: жизнь продолжается. Касалось это чувство не меня, а всей земли, куда нас забросило. Почему-то поразили меня высокие деревья у переезда, белые и пышные от мороза, а под ними прохожие с человеческим, а не предсмертным выражением. Вторая радость — обозная часть какого-то воинского подразделения, сибирского, по слухам. Здоровенные парни в великолепных белых полушубках везли на розвальнях ящики, видимо, сгруженные с какого-то эшелона. А кони! Сытые, шерсть круто вьется от мороза, бегут, как играют. И новость — из Калинина немцы вышиблены и продолжают отступать. Резкая черта прошла между вчерашней моей жизнью и сегодняшней. Мы с Авиловым отыскивали комнату в большом не тронутом бомбежкой вокзальном здании. Тут выдавали ленинградским беженцам ордера на продукты. К моему удовольствию, Ваня круглоголовый и его остромордый спутник («волка ноги кормят») неизвестно почему — вернее всего, от избытка хитрости ища обходных путей, — опоздали и оказались в очереди позади нас. За столом стояла невысокая пожилая женщина, вернее всего, работница горсовета, похожая на экономку из зажиточной, но прижимистой семьи, с выражением сухим и холодным. Когда я заговорил с ней, она вдруг замахала руками и сказала: «Не перегибайтесь через стол, подальше, подальше!» И я вдруг понял, что для дуры мы — не братья, попавшие в беду, а возможные носители инфекции, угрожающие ей, бабе, опасностью. Она презирала нас за слабость, худобу, бездомность. Тем не менее она приняла список профессорской группы. Спросила: «Сколько детей?» Я ответил. А подлец Ванька пробормотал: «Ну, это уж преувеличено!»

12 апреля

С яростью повернулся я к нему и спросил: «Вы что ж, хотите сказать, что я обманываю?» В добротном пальто, с воротником под котик и в такой же шапке-кубанке возвышался Ваня-собственник, где бы он ни работал, Ваня-людоед, Ваня — участник единственной войны, которую понимал: всех против всех. По правилам этой войны прямые схватки допускаются в виде исключения. Поэтому каменное лицо его не отразило ничего, как будто он ничего не сказал, и я не ввязался

с ним в спор. В сторону поглядывал и остролицый Ваня спутник («волка ноги кормят»). Представительница города Рыбинска, видимо, занятая одной мыслью, как бы я, наклонившись через стол, не заразил бы ее какой-нибудь эвакуационной инфекцией, не обратила внимания на краткую мою стычку с Ваней в кубанке и подписала распоряжение выдать причитающееся нам продовольствие. Получили мы консервы — крабы, хлеб — не помню, что еще. Выйдя с вокзала, никогда больше не увидел я Ваню и его спутника. Во всяком случае, в таком конкретном их воплощении. Мы услышали, что наш состав будет стоять в Рыбинске еще дней пять. Чувствуя необыкновенную легкость и наслаждаясь мыслью, что жизнь продолжается, двинулся я обратно к вагону. И опять увидел деревья, и обыкновенных людей, и склады, похожие на замок. И опять погрузился в привокзальную многопутную, полную кондукторских свистков на маневрирующих то длинных, то словно обрубленных составах, и паровозных гудков. Я встретил славную дочку или внучку Шервуда, заговорил с ней шутливо и легко, а она взглянула на меня с недоумением, словно с ней пошутил шлагбаум.

И я понял, что для нее я старик, смутно различаемый на фоне унылых спутников. По дороге мы с Авиловым решили, что жить в теплушке пять дней выше человеческих сил. Надо снять в городе комнату. В вагоне было просторно — спутники наши разбрелись на охоту. Не было и Германа и Гамалей — он увез устраивать ее куда-то в город. Падчерицы сторожили вещи. Мы поделили продукты, выданные на вокзале.

13 апреля

Тут я заметил, что старик Шервуд тоже немного повердился в уме. Когда стали рассчитывать за полученные продукты, он никак не мог разойтись с кем-то из-за пятнадцати копеек. За стенами теплушки уже давно счет шел на сотни, цены взлетели по-военному, а Шервуд вдруг вернулся к мирным ценам своей молодости. Впоследствии я читал и слышал, что он хороший скульптор. Прожил он еще много лет. Но, услышав его фамилию или прочтя о нем в газете, я видел одно: закутанного старика со строгими, недоверчивыми глазами, — и блокада, эвакуация, теплушка, холод так и дышали на меня мертвым дыханием. Мы позавтракали.

И тут произошло небольшое событие. Собачка падчериц вела себя так тихо и послушно, что никто из беспощадных спутников наших не открыл ее присутствия в теплушке. А тут, ободренная тишиной и терзаемая голодом, выползла она из своего убежища, прокралась к Шервудам и деликатно и неслышно съела баночку крабов, которую вскрыли они к завтраку. Мы с Авиловыми отправились искать комнату в городе. По дороге встретили мы Германа, дрожащего, взъерошенного, встревоженного. Я сказал ему, что мы решили остаться в Рыбинске. И больше никогда не видел его. Гамалей, как рассказывали потом, скончалась через несколько дней в Рыбинске, а сам Герман — через несколько месяцев, кажется, в Челябинске от воспаления легких. Комнату нашли мы быстро, недалеко от вокзала. Жить нужно было в одной комнате с хозяйкой и двумя ее ребятами, и это после теплушки представлялось нам раем. Оставив жен на новой квартире, наняли мы человека с санями. Когда открыл я дверь в теплушку, сердитые голоса кричали: «Закрывайте, закрывайте скорей!» Народу все еще было немного. Кто-то, думаю, внучка или дочка Шервуда, вымыл пол теплой водой — пар еще курился над досками. Я сообщил, что уйду, и это не произвело на моих спутников того впечатления, которого я ждал. Точнее, восторженное ощущение перехода к жизни, овладевшее мною, к моему удивлению, никак не передалось моим спутникам. Вот и с ними простился я навеки. Здоровенный парень повез на санках наши вещи, и мы с Авиловым пошли следом.

14 апреля

Последний раз я шел через привокзальное многопутное рыбинское хозяйство. Свистки, звон буферов, гудки. Солнце по-зимнему рано скрылось за низкими рыбинскими домами. Пар у паровозных колес и дым паровозных труб принял розовый цвет, красным стало небо на западе. Движение у переезда через пути, под знаковыми деревьями еще усилилось к вечеру. Все развалины, а на них, стоя, солдаты в белых тулупах. Склады, похожие на замок, из неоштукатуренного кирпича так и светились на закате. И когда при мне говорят: «Рыбинск» — перед глазами так и воскресают мои путешествия от вокзала к составу и обратно. Особенно это по-

следнее, вечернее. Когда мы пришли, жены наши помылись, привели себя в порядок и имели вид благостный, почти счастливый. Но когда я заставил Катю измерить температуру, градусник показал около тридцати девяти. Хозяйка принесла самовар — такое обилие воды показалось чудом после оттаянного снега. Дети, мальчики лет пяти и шести, сидели за столом и любовались на нас, как в зоологическом саду. Хозяйка достала нам немного картошки по какой-то неслыханной цене. У печки было пристроено подобие лежанки, выстланной кафелем, такой, впрочем, маленькой, что я на ней полулежал, наслаждаясь покоем и малолюдством. Всего пять человек в комнате (не считая нас с Катюшей). Нам поставили койки, застеленные чистым бельем, и мы уснули, как в раю, и утром Катюша проснулась здоровой. Ее спасло то, что мы вовремя бежали из теплушки. Авилов узнал с утра у каких-то военных, что комендатура поддерживает регулярное сообщение с Ярославлем на грузовиках. И мы пошли с ним в комендатуру. Комендант выслушал нас, взглянул на газету с приказом о награждении Авилова орденом Трудового Красного Знамени и приказал на другое утро быть с вещами во дворе комендатуры. Повеселев, вернулись мы домой. Еще бы, машина шла до Ярославля всего несколько часов. Часам к двум пошли мы гулять по городу. Низенькие дома. Неуверенное выражение. Пустой рынок.

15 апреля

Рано утром перевезли мы вещи во двор комендатуры. Небо снова было розовое, дым шел прямо в небо, градусник показывал минус тридцать пять. Спутники посоветовали нам достать одеяло. Машина тронулась в путь. Ледяной ветер продувал и одеяла и шубы, и казалось, что нашей дороге не будет конца. Я увидел домик у обочины шоссе, и мне страстно захотелось, чтобы оставили нас в покое, дали бы тут пожить, отогреться, одуматься, но машина мчалась дальше, и мы как-то пережили путь от Рыбинска до Ярославля.

16 апреля

Ярославль прежде всего глядел городом военным. Сущность его отступила на задний план. Проходили части все туда же, к Калинину, преследовать отступавшие

го противника. Мы высадились у гостиницы на площади, против театра. Директор гостиницы только руками развел. Все номера заняты командованием проходящих через город подразделений. Единственное, что он разрешил, положить в коридоре вещи и подождать нашим женщинам, пока мы найдем где-нибудь пристанище. А тут пришли с репетиции актеры театра и, не спросив, кто мы и что мы, зная только, что ленинградцы, взяли нас к себе. И, позавтракав, отправились опять в театр продолжать репетицию, оставив нас, чужих людей, у себя в номере. Всю жизнь буду благодарен артисту Комиссарову<sup>359</sup> и его жене. И, придя домой между репетицией и спектаклем, они все старались, чтобы нам было удобнее, старались накормить нас. У стены в номере стояли санки, груженные малым количеством вещей. Оказывается, калининские актеры, когда город был взят немцами, ушли из театра в гриме, кто в чем был, без вещей. И ярославские актеры приготовили на всякий случай санки, если придется уходить так же внезапно, как несчастным калининским товарищам. Вскоре я лишний раз убедился, какая могучая междуведомственная сила театр. От него ждали и получали только праздник и радость среди будней и напряжения. И эта божественная театральная сила сделала разом то, что мы с Авиловым сделать не могли. Нам выписали такое количество продуктов, какого не получал я потом во всю войну. Огромный круг швейцарского сыра, вареных кур, колбасы. Затем начальник Ярославской дороги позвонил в Москву. Появились скорые поезда.

17 апреля

И вот для нас в Москве заперли в скором поезде купе, чтобы в Ярославле отпереть. Иначе попасть было невозможно в этот вид поездов. В ожидании прожили мы в Ярославле дня три. Чтобы не стеснять Комиссаровых, разыскали мы Тыняновых — семью брата Юрия Николаевича, Льва. Никого не застали дома, но жена брата Юрия Николаевича пришла за нами в гостиницу. Лев Николаевич в Ярославле отсутствовал, работал начальником санитарного поезда. Жена его, тоже врач, и дети, мальчик и девочка, приняли нас бережно и ласково, как своих. Жизнь, теплота жизни, пульс вдали от места удара, от блокадного Ленинграда и беспощадной теплушки, вдруг стала ясно ощущаться. Да, жизнь про-

должалась. Мы даже погуляли за эти три дня по Ярославлю, смутно выступающему сквозь войну и воинские части, проходящие через город. Вышли на набережную Волги, но замерзшая река уничтожила впечатление берега. Дорога да и только. Авиллов вспоминал молодость. Художников его школы никогда я не встречал, и мне странно было видеть в нем признаки жизни. Поезда отходили не с ярославского вокзала, а со станции Всполье — километрах в восьми от города. Мы простились на рассвете с актерами и уселись в грузовик, который всемогущий театр и добыл нам. Катюша сидела рядом с шофером, в кабине. В руках держала крошечную нашу «Корону»<sup>360</sup>. Едва отъехали мы от гостиницы, машина круто повернула, и испорченная дверь кабины распахнулась, и Катя, мелькнув черной шубой и черной «Короной», упала, как мне показалось, под машину, под задние колеса. Грузовик не сразу затормозил. Я отчаянно закричал, но, соскочив, увидел, что Катя спокойно бежит следом. Ее выбросило на кучу снега, и она даже не ушиблась. Я с трудом понял, что все кончилось благополучно, а машина мчалась по затемненному городу. За городом стояла воинская часть, ожидая погрузки. Солдаты, не считаясь с затемнением, развели костры. Это были лыжники с копьями.

18 апреля

Они стояли у костров, лыжи остриями вверх, похожие на копья, и мне показалось, что я где-то уже видел нечто подобное. И вдруг меня сквозь сумятицу и туман последних дней осенило: рать стоит под Ярославлем, не то половцы, не то наши собрались в поход. Вот и Всполье. Тут уж резко другое историческое ощущение: гражданская война. Вокзал забит беженцами, резкий запах дезинфекции, запах унылый и пронзительный, напоминающий близость заразы, а не борьбу с ней. Бессилие перед заразой. Я стучу в окошко дежурного по вокзалу, или, точнее, по огромному деревянному свежестроенному бараку для беженцев. А все население барака шевелится в тусклом свете, нехотя просыпается к утру. У меня записка о четырех наших билетах, подписанная начальником дороги. Окошечко дежурного, наконец, распаивается, и передо мной появляется человек со смятыми усами, распухшим лицом. Не давши мне и слова сказать, он начинает жало-

ваться: «Неужели человек не может хоть часок поспать? Есть у вас сознательность? Какая записка от начальника дороги? Ничего мне неизвестно! Скорый поезд давно прошел, а вы мучаете человека!» И окошечко захлопывается. И я остаюсь в одиночестве — точнее, сразу присоединяюсь к массе беженцев. Кричат сердито и жалобно на особый, душу помрачающий лад, побеженски, грудные дети. По тому, как разложены узлы и постелены прямо на полу постели, угадываешь сразу, что люди не могут выбраться из барака не первый день. На мгновение испытываю я отчаяние и вдруг замечаю женщину в железнодорожной фуражке с красным околышем. Она идет, улыбаясь чему-то. Она тут хозяйка, ад для нее не ад, тут ей ругаться нечего Я бросаюсь к ней, протягиваю записку. «Ах, это вы и есть», — говорит она со своей странной, довольной улыбкой. Ей здесь нравится! И ведет нас к кассе и выносит нам оттуда билеты. И вот мы стоим на перроне мирного времени. Барак остался памятен одним: у меня из кармана украли пачку табака. Мы стоим на перроне, и подходит скорый поезд, и проводник мягкого вагона, проверив билеты, предлагает войти.

19 апреля

Чудо! В длинном коридоре мягкого вагона тепло, стекла широких окон, откидные сиденья вдоль стенки, занавески. Мы занимаем купе. После того как Катя едва не погибла при выезде, после бесконечной древней рати, ставшей между Ярославлем и Вспольем, после прыжка из древних времен в эвакуацию 18–19 года, вдруг оказываемся мы в мягком вагоне, подчеркнута щеголеватом. Задача его быть вагоном мирного времени, вопреки войне. Пассажиры толпятся у окон немногие, проснувшиеся на рассвете. Сырой длинноволосый крупный человек в толстовке, как выясняется позже — инженер, мобилизованный, направленный в Киров. Говор у него московский, что теперь редкость, певучий. Несколько военных. Единственное, что отличает сегодняшний скорый поезд от довоенного, это его медленность. Он опоздал на пять часов, о чем предупредил нас начальник дороги заранее. Он и велел ехать на вокзал к пяти, хотя по расписанию приходит поезд в 12 ночи. Вот почему так напугал меня разбуженный мной усатый железнодорожник, сказав, что скорый давно

прошел. Мы распределили в купе свой багаж и тоже подошли к широкому зеркальному стеклу окна. Перрон был пуст. Никого не тянуло к плоскому, зловещему, тускло освещенному бараку. Поезд двинулся неожиданно, звонков мы не слышали. Едва миновали мы Всполье, как среди военных заметили мы оживление. Они показывали на небо — и вдруг издали-издали доносился механический звериный знакомый вой. Воздушная тревога! Вот отчего отправили нас без звонков. В посветлевшем уже небе увидел я вспышки, словно клочки ваты, — обстреливали самолет противника. И на меня напал смех. Эта тревога после наших блокадных показалась мне такой неуместной, провинциальной. И в самом деле кончилась она ничем. И потянулся день полусонный — я все спал на своей полке. И почти счастливый. Мешало твердое ощущение, что все пережитое не исчезло от того, что попали мы в мягкий вагон из теплушки. Ваня, голод, блокада, война, кровь. Но мы дышали.

20 апреля

Наш скорый поезд шел с большим опозданием, чему я радовался. Будущее представлялось неясным. Мы ехали в Киров... Где мы будем в Кирове жить? Чем я буду зарабатывать? Я чувствовал себя ленинградским человеком, а кому я нужен за его пределами? Кто меня тут знает? Но все это была задача будущего, когда скорый поезд придет в Киров. Но он опаздывал, к счастью. Мы подолгу стояли на разъездах. Пропускали эшелоны с машинами, идущие на восток, платформы с орудиями и войсками, идущие к нам навстречу. А я спал, отдыхал и чувствовал твердо, что таких перерывов у меня в ближайшем будущем будет немного. Ехали мы трое или четверо суток. Вот и Котельнич, где родился Рахманов, больше до Кирова городов нет. Темнело. И мы увидели вскоре поселок, который собрал к окнам всех пассажиров, — чудо! Он был освещен. Кончилась зона затемнения. В Киров приехали мы утром... И пошли по Кировским улицам. Деревянные домики, деревянные мостки у ворот. Тротуары. Вот дорога повела вверх. Двухэтажное каменное здание старинной стройки, достаточно тесное, — областное издательство и редакция областной газеты. Впоследствии я узнал, что это бывший губернаторский дом, где и жил губернатор Тюфякин



и бывал или даже служил Герцен. И снова деревянные дома, у которых такое выражение, что стоят они скрепя сердце, против воли.

21 апреля

Вятка помещиков почти не знала, все государственные крестьяне. Город выстроили купцы и мещанство. А эти об одном заботились, чтобы дом получился вместительным. Так просто обратились серые вятские дома в коммунальные квартиры с длинным списком фамилий жильцов на столбе ворот. Выше, выше — и вот площадь, где некогда стоял собор Витберга, о котором рассказывал Герцен<sup>361</sup>. Сегодня вместо собора раскинулся тут театр. Москве впору, белый, с колоннами, высокий.

23 апреля

Побывал я в театре. Прошел через актерский вход. Тут же на лестнице встретил Малюгина, который сказал, что только теперь, увидев меня, он понимает, что такое блокада. Но ему это казалось. Он не понимал, и это была не его вина. Обедали мы в столовой театра, и артист Карнович-Валуа спросил: «Теперь небось жалеете, что уехали из Ленинграда?». Ну как я мог объяснить ему, что между Кировом и Ленинградом была такая же непроходимая черта, как между жизнью и смертью. Они все начали понимать это недели через две. Малюгин отвел меня в кабинет к Руднику. Он был тогда и худруком и директором театра. Молодой, высокий, с таким выражением лица, что он, пожалуйста, не прочь в драку, меня тем не менее принял милостиво.

24 апреля

Обещал комнату, если освободится она в театральном доме. Но мы все искали пристанища. Заходили в маленькую гостиницу на площади, где я познакомился с драматургом Осафом Литовским и его словно оглушенной женой — сын их только что пропал без вести или был убит. Славный мальчуган, который так прекрасно сыграл Пушкина-лицеиста в кино...<sup>362</sup> Шли мы по главной улице до полукруглого здания исполкома, вход в который был снизу. Улица обрывалась круто вниз. Далеко внизу в голубом дыму простирался деревянный Киров. Мы спускались, шли направо, переходя

дили мост над обрывом, застроенным широко раскинувшимися домами, над широким обрывом, по широкому мосту, сначала незнакомому, а потом такому привычному, с металлическим узором решетки. Отсюда дорога снова вела вверх. Мы проходили мимо кирпичного неоштукатуренного особняка, дальше, дальше, и мы, наконец, попадали на большой рынок. Вначале я не знал, что за особняк миную по пути к рынку. А потом местные жители рассказали, что принадлежал особняк купцу, по фамилии Булычев, и его фамилию взял — по местной легенде — Горький для своего героя.

25 апреля

Большой драматический театр, короче говоря, Рудник, выдал мне постоянный пропуск. В графе «должность» стояло: «драматург». В театре получил я карточки. Отоваривались одни хлебные, здесь же, в театре, продуктовые шли на обед. Мы получили пропуск в столовую ученых — писатели были прикреплены туда.

26 апреля

В Детгизе, эвакуированном в Киров же, меня встретили приветливо и дали работу — написать примечания и предисловие к книге «Без языка» Короленко. Пришла телеграмма из Алма-Аты, подписанная Козинцевым, Траубергом и еще кем-то, приглашающая срочно перебираться к ним. Следовательно, уехав из Ленинграда, я не остался в одиночестве и нужен кому-то. С утра 1 января 42 года уселся я за работу. Писать пьесу «Одна ночь». Я помнил все. Это был Ленинград начала декабря 41 года. Мне хотелось, чтобы получилось нечто вроде памятника тем, о которых не вспомнят. И я сделал их не такими, как они были, перевел в более высокий смысловой ряд. От этого все стало проще и понятней. Вся непередаваемая бессмыслица и оскорбительная будничность ленинградской блокады исчезли, но я не мог написать иначе и до сих пор считаю «Одну ночь» своей лучшей пьесой: что хотел сказать, то сказал. Дня через три после нас появился в Кирове Театр комедии. А может быть, и позже — они ехали в Копьевск эшелонном, не перегружаясь в скорый поезд, как мы. Они тоже удивлялись, что невозможно объяснить кировцам, что такое блокада. Дня два кировские и ленинградские лица мелькали в театральных коридорах, странно несо-

единимые, но соединившиеся, как во сне, и Театр комедии проследовал дальше, а мы остались.

27 апреля

Я продолжал писать пьесу. Читал отрывок за отрывком Малюгину. Писал для Детгиза... Работу мою в Наркомпросе приняли и оплатили... Зарабатывал я и на елке. Меня позвали устроители в кукольный театр выступить один раз бесплатно. А потом сразу предложили по пятьдесят рублей за выступление до конца программы. Словом, я стал вращаться в кировскую жизнь. Счастливей всего чувствовал я себя оттого, что работаю. Пьеса двигалась быстро.

29 апреля

В комнатах верхнего этажа жили главным образом актеры Большого драматического театра. В первой комнате от начала Мариенгоф и Никритина. Это были уже настоящие ленинградские знакомые. С Никритиной мне было легче, чем с ним. Она была умнее, гибче и богаче. А в Толе засело что-то прямое и небогатое. Он ленив на споры и уклончив, но с ним не мог не спорить. Как заявит он: «Искусство не есть явление природы», — ну как тут удержаться. Я до сих пор и не думал на эту тему, но тон уж очень учительский. И я с яростью бросался в бой, никогда, впрочем, не переходящий за пределы: мы все-таки понимали, что земляки. А кроме того я никогда не мог рассердиться на Мариенгофа. Что-то наивное было в его рассуждениях. У Мариенгофов встретил я Сарру Лебедеву. И впервые разглядел ее как следует.

30 апреля

Для того чтобы писать портреты, нужно выбрать состояние и понимать точно того, кого пишешь. А в этой суете, суете 42 года, я чувствовал себя не портретистом, а частью единого целого. О блокаде я мог писать, а тут я находился — очень уж в середине. Сарра Дмитриевна в свои пятьдесят лет все глядела королевой. Была наблюдательна. Заметила, что артистка эстрады, живущая в том же коридоре, что и она, успевшая со всеми переругаться, разговаривала только сама с собой: «Вот я сейчас чайничек поставлю. Вот и поставила. Вот сейчас картошечку почищу». Заметила она, что старики

в семье — обуза, а на старухах весь дом держится. И в самом деле: старики только и делали что сидели на большом сундуке под рупором громкоговорителя, ждали последних известий, а старухи и стирали, и бегали в магазин, и готовили, и смотрели за внуками, — казалось, что на старухах весь дом держится. Однажды в сорокаградусный мороз привез колхозник меду. Вся матовая глыба так замерзла в бочонке, что не поддавалась никаким усилиям. Сам колхозник растерялся. Сарра Дмитриевна подумала и принесла кастрюльку кипятку и нож. Опустила нож в кипяток, и горячее лезвие легко врезалось в замерзший мед. «Золотые руки, — подумал я. — Она чувствует, как обращаться с материалом!» И даже колхозник похвалил ее. Сарра Дмитриевна занимала свое место в жизни твердо, не суетясь и не высовываясь. Королевский титул не позволял. Крупная, спокойная, проходила она через беспокойный наш быт. И гораздо больше, чем Владимир Васильевич, и брала от жизни и отдавала. Когда, примерно в феврале, Радлов и его жена, сестра Лебедевой Анна Дмитриевна<sup>363</sup> выехали из Ленинграда, — как засветилась Сарра Дмитриевна, получив письмо. Я и Никритина как раз были у нее. И она на радостях дала нам прочесть письмо. Радлов кончал письмо так: «Целую твою талантливую мордочку». И я ужаснулся: так это не соответствовало Сарре Дмитриевне с ее королевской сущностью. И когда мы вышли, Никритина призналась, что эта фраза тоже так и резнула ее.

4 мая

Так или иначе, все более подчиняясь вятскому быту и все менее ему подчиняясь, дописал я пьесу. И была назначена читка на труппе. Большое фойе, наполненное до отказа. Белые стены. Актеры. Никитин и встревоженная Ренэ<sup>364</sup>. В заднем ряду старик Бродский, маленький, со страстным и вместе отсутствующим взглядом выцветавших коричневых глаз. Он глядел в прошлое, презирая настоящее. Он был некогда издателем журнала «Солнце России», за что актеры в высшей степени его уважали. Чтение имело неожиданно большой успех. Выступали многие, даже Никитин, — и все положительно. Театр заключил со мной договор... В театре вообще относились ко мне дружелюбно, а после читки стали совсем ласковы. Не понравив-

лась пьеса только Бродскому, о чем я узнал случайно. Что именно ему не нравится, — не сообщили. Сам же он при встрече со мной ничего не говорил, только глаза его, смотрящие в пространство, страстные и вместе с тем безразличные. Безразличные к нам, нынешним. 9 апреля купил я впервые счетную тетрадь и начал записи. Пятнадцать лет прошло с тех пор.

9 мая

«Золушка» в 47 году имела успех. В том же году режиссер Грюндгенс в Театре имени Рейнгардта в Берлине поставил «Тень», и тоже с успехом. После этого пошли неудачи в течение нескольких лет. Правда, мне казалось, что я научился писать прозу. А вместе с тем не мог дописать детскую пьесу<sup>365</sup>. И, насилуя себя, работал для Райкина<sup>366</sup>. И до сих пор помню чувство унижения, нет, заколдованности, когда пытался я переделать чужой роман для Центрального детского театра. И сценарий<sup>367</sup> ... Успех «Обыкновенного чуда» в Москве и тут «Дон Кихот», которого Козинцев будет на днях показывать в Канне<sup>368</sup>.

Лежу, болею, но не слабеет жажда жизни самой обыкновенной, уходящей корнями в самую обыкновенную унавоженную землю. И вместе с тем изменение в духовной жизни. Не знаю, что будет. Опять хочется писать. Ну, вот и довел я рассказ до сегодня.

18 мая

Жюри в Канне забаллотировало «Дон Кихота». Премия досталась картине «Сорок первый»<sup>369</sup>. Перед этим появились сообщения, что картина «Дон Кихот» прошла с исключительным успехом, что это событие, что впервые за существование романа удалось воплощение его в другом виде искусства, и так далее и так далее. Передавалось это по радио у нас. В «Советской культуре» напечатаны сообщения «Франс пресс» и агентства «Рейтер», что критика дала высокую оценку «Дон Кихоту». Если бы всего этого не было, то я ничего бы и не ждал. Тем более что о сценаристе, говоря о фильме, как правило, и не вспоминают. Но все равно есть командное чувство. Команда, в которой ты играешь, за которую ты отвечаешь в большей или меньшей степени, — вдруг проигрывает. И тут неудачу ты чувствуешь, пожалуй, острее, чем удачу.

1 июня

Когда-то в 20-х годах Маршак сказал, что я импровизатор. Шла очередная правка какой-то рукописи. «Ты импровизатор, — сказал Маршак. — Каждый раз твое первое предложение лучше последующего». Думаю, что это справедливо. «Ундервуд» — написан в две недели. «Клад» — в три дня. «Красная Шапочка» — в две недели. «Снежная королева» — около месяца. «Принцесса и свинопас» — в неделю. В дальнейшем я стал писать как будто медленнее. На самом же деле беловых вариантов у меня не было, и «Тень» и «Дракон» так и печатались на машинке с черновиков, к ужасу машинистки. Я не работал неделями, а потом в день, в два делал половину действия, целую сцену. И еще — я не переписывал. Начиная переписывать, я, к своему удивлению, делал новый вариант. Смесь моего оцепенения с опьянением собственным воображением — вот моя работа. Оцепенение можно назвать ленью. Только это будет упрощением. Самоубийственная, похожая на сон бездеятельность — и дни, полные опьянения, как будто какие-то враждебные силы выпустили меня на волю. К концу сороковых годов меня стало пугать, что я ничего не умею. Что я ограничен. Что я немой — так и не расскажу, что видел. Но в эти же годы я невзлюбил литературу — всякая попытка построить сюжет — и та стала казаться мне ложью, если речь шла не о сказках. Я был поражен тем, что настоящие вещи, — в сущности — дневник, во всяком случае в них чувствуешь живое человеческое существо. Автора, таким, каким был он в тот день, когда писал. И я заставил себя вести эти тетради. Но теперь подошел к новой задаче. Отчасти из страха литературности, отчасти по привычке я и тут все писал начисто.

8 июня

Третьего июня показывали «Дон Кихота» писателям. Так как идет, точнее, шла какая-то конференция в Пушкинском Доме, то пришли и профессора. На обсуждении выступали: Эйхенбаум, Оксман, Коля Степанов, Виноградов, Алексеев. Из писателей Панова. Хвалили. В Москве картина, к моему удивлению, делает полные сборы. Я понимаю, что это хорошо, и не слишком понимаю. Автор картины — это режиссер, а никак не сценарист. Что бы там ни говорили в речах. Мне бы пора остепениться, но я не могу.

9 июня

На душе туман, через который я отлично вижу то, что не следует видеть, если хочешь жить. Старость не дает права ходить при всех в подштанниках. И даже если жизнь кончена, не мое дело это знать. Это не мысль, а чувство, которое я передаю грубовато, а переживаю вполне убедительно.

24 июня

Сегодня семь лет с тех пор, как начал я писать ежедневно в этих тетрадах. А в апреле исполнилось пятнадцать лет с тех пор, как я их веду. Но семь лет назад начались ежедневные записи, в чем и заключается главный их смысл. Пишу я лежа, плохо с сердцем, а чувствую я себя в основном хорошо.

29 июня

Утром — письмо от Шнейдермана. Необыкновенно хвалебное. По поводу «Дон Кихота» и «Дракона». Здоровье не желает улучшаться.

3 июля

Вчера был Козинцев, принес немецкие плакаты «Дон Кихота». Очень красиво сделанные.

4 июля

Козинцев подчеркнуто насмешлив и зол, что дается ему без всякого труда. Человек он по-настоящему образованный. Шекспира знает, как никто в кинематографе и его окрестностях, причем читал его в подлиннике и прочел все, что можно о Шекспире, составил целую библиотеку, и профессиональные шекспирологи уважают его. Когда работали мы над Сервантесом, убедился я в богатстве его знаний по эпохе Возрождения и по истории того времени. Он поймал художника, повесившего на стене герцогского дворца портрет адмирала, жившего лет через пятьдесят после событий, происходящих в фильме. И о знаниях своих он не звонит, не добивается ученого звания, как это любят в кино. Статьи его о шекспировских пьесах внушают уважение. Но знания его не снимают злости, почти женской, а злость не вынимает из его составных частей настоящую любовь к искусству, к высокому искусству. И поэтическое чувство, вспыхивая в его коричневых глазах, не убивает скупости. Ну что тут делать!

8 июля

Козинцев приходил прощаться — уезжает в Дубулты со всем семейством. Был он ясен, болотные туманы не поднимались над его душой, и он соответствовал своей стройной и тонкой фигуре с коричневыми глазами. Говорил, что никак не может придумать, о чем писать дальше. Перебирал все: от интернациональной бригады в Испании до Фальстафа. Поругали мы рецензию в «Смене», и тут даже Козинцев, как выяснилось, не помнит, что сочинено, а что взято из романа. Он полагал, что сцена ухода Санчо с губернаторского поста — чистая цитата. Даже подсмеивался надо мной. «Он себя не отличает от Сервантеса». Пришлось мне достать подлинник и прочесть сцену ухода, великолепную и печальную, и вовсе не похожую на то, что написал я в сценарии. И Козинцев удивился: как это испанцы в Канне этого не заметили?

13 июля

Вот теперь вплотную становится на очередь задача: что писать. Надо бы и для ТЮЗа. «Сказка о храбрости» раздражает поучительностью. И я не вижу воздуха, которым все они дышат. Если взять трех братьев, из которых один без промаха стреляет, другой выпивает море. Впрочем, ему можно дать другой талант. Впрочем, и это неприятно, тянет в одну сторону, а хочется чего-то вполне человеческого. Брат и сестра ищут покоя в диком лесу. Неинтересно и невозможно. Как в тумане мелькают передо мной городские стены, усатые люди в шароварах. Пираты? Мальчик, которого везли лечиться от храбрости, потому что он вечно был на волосок от смерти? Если подобный мальчик попадает к пиратам, он может навести на них такого страху, что освободится в конце концов. В этом уже есть что-то веселое. Он учит мальчиков, находящихся в плену, сопротивляться разбойникам. Находит девочку, которая до того запугана, что ее не научишь храбрости. Но и она вдруг кажется героиней, когда мальчик попадает в опасность. Пираты не знают, что характер девочки изменился, и это — победа. Пираты — неудачники. Все учились, но плохо. Главный из них за всю жизнь получил одну тройку и считается с тех пор среди своих мудрецом. И при этом они усаты, ходят в шароварах, охотно поднимают крик, хватаются за оружие. Ладно. Но вре-



мя? Чей сын мальчик? А если он племянник богатого русского купца? Вся семья один к одному храбрецы в свою пользу. А этого испортили. За всех заступается. Недавно отбил у разбойников старика. Ведь надо уметь считать! Много ли старику жить осталось, чтоб ради него жизнью рисковать. И отправляют мальчика в дальний путь: «Надо уметь считать. Жалко парня, но оставь его — от него одни убытки пойдут», — и так далее. Пираты говорят традиционным пиратским языком. Девочка сама не помнит, откуда она, — тут на корабле и выросла. Поэтому тон у нее мягкий и нежный, а язык чисто разбойничий.

14 июля

Все это было бы ничего — да слишком уж напряжено. Хочется пружинку попроще и обстановку тоже. Хорошо, если бы не выходила вся история за пределы дома, самого обыкновенного современного дома. Он построен не на пустом месте. Есть время, когда старые жильцы просыпаются и через очертания нового здания проступают прежние, до маленькой избенки, стоявшей на этом месте триста лет назад в глухом лесу.

15 августа

Попытка сделать бессюжетную историю о страстях уж слишком разваливается. Как это ни странно, пьесу я могу начать, только когда мне ясна форма. А в прозе определенная форма раздражает меня, как ложь. Приехал Акимов из Карловых Вар. Привез лекарства. Много рассказывает. Но форму новой пьесы так же мало чувствует, как я. Ничего не подсказывает, а раньше любил это делать. Видимо, переживает такую же неясность в мыслях, как я. А я, если не буду считать себя здоровым, видимо, ничего толком не придумаю.

18 августа

Подходит к концу тетрадь, которую вел я в необыкновенно унылое время. Свободной формы для прозы так и не нашел; нет формы — значит, лепишь фразы на плохо знакомом языке. Для разговору не годится, не только что для работы.

Откуда брать материал для новой пьесы? Все, что я читаю, раздражает поспешностью, с которой начинают меня учить. И акта не прошло, как начинаются хитрос-

ти, которым грош цена. И хоть бы учили великим прописным истинам. Нет. Пристли рассказывает, как люди начинают безумствовать из-за денег, найдя клад<sup>370</sup>; Сориа — об ученом, работающем в области водородной бомбы, едва не погубившем жену<sup>371</sup>; Кронин — об ужасе карьеризма в науке<sup>372</sup>. Всему этому грош цена, до того это вяло промурлыкано. Сказка как таковая — не умещается на сцене. Необходимо время и место. Иначе не поймешь, как актеров одевать. И сказочный тон, приглаживающий и упрощающий, не к лицу в шестьдесят лет. Но и реализм, приглаженный и упрощенный, — хуже всякой сказки. Есть мне что сказать? Конечно! Но пока нет формы, то, что я знаю, валяется, как составные части еще неизвестной конструкции. Вот уж, воистину, материал. И только.

20 августа

Тридцать лет назад мне жилось легко, несмотря ни на что, потому что чувство «пока» еще не оставило меня. Собственно говоря, ждать, казалось бы, нечего. Друзья и сверстники писали книги, да и я, в сущности, писал. Но я писал книги маленькие, в стихах, для дошкольников, и мне чудилось, что я за них не отвечаю. Те же книги, что писали мои сверстники со всей ответственностью, прозаические, толстые, — так глубоко не нравились мне, что я не беспокоился. Видишь, как изменился с тех лет, когда прочтешь «Зависть» Олеша<sup>373</sup>. Книга нравилась всем, даже самым свирепым из нас. Тогда. Но, прочтя ее в прошлом году, я будто забыл язык. Я с трудом понимал ее высокопарную часть. Только там, где рассказывает Олеша о соли, соскальзывающей с ножа, не оставляя следа, или описывает отрезанный от целой части кусок колбасы, с веревочкой на ее слепом конце, вспоминаешь часть тогдашних ощущений. Мы, видимо, были другими, кое-что я могу назвать из своих получувств-полумыслей точнее, чем в те дни, а кое-что ушло, и не поймает. Дело не в том, что я стал старше, а в том, что двадцатые и тридцатые годы — это целые эпохи, с новыми людьми, новыми книгами, и переходы совершались резче, чем это можно предположить. Административно и вместе с тем органично. Я прочел в «Вечерней красной» о том, что найден будто бы способ делать искусственные старинные, столетние вина. И одно время (как раз тридцать лет на-

зад) думал написать рассказ сверчка, на глазах у которого совершается этот процесс, это чудо, меняется мир. Но не нашел формы — и тем самым мыслей, достаточно воплотившихся.

29 августа

С 21-го я заболел настолько, что пришлось прекратить писать — а ведь я даже за время инфаркта, в самые трудные дни продолжал работать. На этот раз я не смог. Вчера мы вернулись в город. Поехали в Комарово 24 июля, вернулись 29 августа, и половину этого времени, да что там половину — две трети болел да болел. И если бы на старый лад, а то болел с бредом, с криками во сне и с полным безразличием ко всему, главным образом, к себе — наяву ко мне никого не пускали, кроме врачей, а мне было все равно. Здесь я себя чувствую как будто лучше, но безразличие сменилось отвращением и раздражением. Приехал Глеб<sup>374</sup>, который не раздражает, а скорее радуется, но он — по ту сторону болезни, как и все. Сегодня брился и заметил с ужасом, как я постарел за эти дни в Комарове. С ужасом думаю, что придет невероятной длины день, Катя возится со мной, как может, но даже она — по ту сторону болезни, а я один, уйти от нормальных людей — значит непременно оказаться в одиночестве. Все перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал. Видимо, театральная привычка производить впечатление испортила. Да и не привык работать я последовательно и внимательно. Сразу же хочется начать оправдываться, на что я не имею права, так как идет не обвинение, а подсчет. Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и я давал. Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем я не мог успокоиться и порадоваться. Бывали у меня годы (этот принадлежит к ним), когда несчастья преследовали меня. Бывали легкие — и только. Настоящее счастье, со всем его безумием и горечью, давалось редко. Один раз, если говорить строго. Я говорю о 29 годе<sup>375</sup>. Но и оно вдруг через столько лет кажется мне иной раз затуманенным: к прошлому возврата нет, будущего не будет, и я словно потерял все.

30 августа

Догонять пропущенное уже сил нет (или еще сил нет), так что за мной долгу дней десять. Это бывало за семь лет, что ведутся книжки, особенно вначале, в 50 году, когда я не был так педантичен. Сейчас случилось поневоле. Я болел, неинтересно болел, как, бывает, неинтересно пьешь: никак не напьешься, только в голове пусто. Продолжаю подсчет. Дал ли я кому-нибудь счастье? Не поймешь. Я отдавал себя. Как будто ничего не требуя, целиком, но этим самым связывал и требовал. Правилами игры, о которых я не говорил, но которые сами собой подразумеваются в человеческом обществе, воспитанном на порядках, которые я последнее время особенно ненавижу. Я думал, что главные несчастья приносят в мир люди сильные, но, увы, и от правил и законов, установленных слабыми, жизнь тускнеет. И пользуются этими законами как раз люди сильные для того, чтобы загнать слабых окончательно в угол. Дал ли я кому-нибудь счастье? Пойди разберись за той границей человеческой жизни, где слов нет, одни волны ходят. И тут я мешал, вероятно, а не только давал, иначе не нападало бы на меня в последнее время желание умереть, вызванное отвращением к себе, что тут скажешь, перейдя границу, за которой нет слов. Катюша была всю жизнь очень, очень привязана ко мне. Но любила ли, кроме того единственного и рокового лета 29 года, — кто знает. Пытаясь взглянуть в волны той части нашего существования, где слов нет, вижу, что иногда любила, а иногда нет, — значит, бывала несчастна. Уйти от меня, когда привязана она ко мне, как к собственному ребенку, легко сказать! Жизни переплелись так, что не расплеть, в одну. Но дал ли я ей счастье? Я человек непростой. Она — простой, страстный, цельный, не умеющий разговаривать. Я научил ее за эти годы своему языку — но он для нее остался мертвым, и говорит она по необходимости, для меня, а не для себя. Определить, талантлив человек или нет, невозможно, — за это, может быть, мне кое-что и простилось бы. Или учлось бы. И вот я считаю и пересчитываю — и не знаю, какой итог.

20 октября

Обычно в день рождения я подводил итоги: что сделано было за год. И в первый раз я вынужден признать:

да ничего! Написан до половины сценарий для Кошеверовой<sup>376</sup>. Акимов стал репетировать позавчера, вместе с Чежеговым, мою пьесу «Вдвоем», сделанную год назад<sup>377</sup>. И больше ничего. Полная тишина. Пока я болел, мне хотелось умереть. Сейчас не хочется, но равнодушные, приглушенность остались. Словно в пыли я или в тумане. Вот и все.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Лебедев Владимир Васильевич (1891–1966) — художник-график, один из создателей искусства советской иллюстрации к детской книге.

<sup>2</sup> Рудник Лев Сергеевич (1906–1987) — режиссер. В 1940–1944 гг. — директор и художественный руководитель БДТ им. М. Горького.

<sup>3</sup> Малюгин Леонид Антонович (1909–1968) — писатель, драматург, в годы войны — заведующий литературной частью БДТ.

<sup>4</sup> Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988) — писатель, драматург, друг Е. Л. Шварца.

<sup>5</sup> Шток Исидор Владимирович (1908–1980) — драматург.

<sup>6</sup> Шкваркин Василий Васильевич (1894–1967) — драматург.

<sup>7</sup> Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979) — кинодраматург.

<sup>8</sup> С августа 1941 г. по 1 февраля 1943 г. БДТ был в эвакуации в Кирове, где с 30 сентября давал спектакли в помещении Кировского областного драматического театра. Вернувшись в осажденный Ленинград, продолжал работать в условиях блокады.

<sup>9</sup> Наталия Евгеньевна Шварц, в замужестве Крыжановская — дочь Е. Л. Шварца.

<sup>10</sup> Шварц поехал в Сталинабад (теперь — Душанбе) по приглашению Н. П. Акимова, главного режиссера Ленинградского театра комедии, работавшего там в период эвакуации с сентября 1942 г. по май 1944 г., на должность заведующего литературной частью.

<sup>11</sup> Большаков Иван Григорьевич (1902–1980) — председатель Комитета по делам кинематографии с 1939 г. по 1946 г.

<sup>12</sup> Левин Лев Ильич — литературный критик.

<sup>13</sup> «Дракон» был поставлен только в одном театре — Ленинградском театре комедии в период его гастролей в Москве по возвращении из Сталинабада. Единственный открытый спектакль был 4 августа 1944 г. В период репетиций появилась разгромная статья С. П. Бородина «Вредная сказка», направленная против пьесы, и спектакль был снят. Постановка была возобновлена Н. П. Акимовым в 1962 г.

<sup>14</sup> Шварц Екатерина Ивановна (1903–1963) — вторая жена Е. Л. Шварца.

<sup>15</sup> Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) — литературовед.

<sup>16</sup> Лихарев Борис Михайлович (1906–1962) — поэт.

<sup>17</sup> Рест Б. (настоящие имя и фамилия Юлий Исаакович Рест-Шаро), (1907–1984) — писатель, драматург, представитель «Литературной газеты» в Ленинграде в течение 20 лет.

<sup>18</sup> Метгер Израиль Моисеевич — прозаик, драматург.

<sup>19</sup> Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1985) — критик, литературовед.

<sup>20</sup> Игнатъев Алексей Алексеевич (1877–1954) — дипломат, генерал-лейтенант Советской Армии, автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю».

<sup>21</sup> Вот полный текст стихотворения:

Бессмысленная радость бытия.  
Иду по улице с поднятой головою  
И, щурясь, вижу и не вижу я  
Толпу, дома и сквер с кустами и травой.

Я вынужден поверить, что умру.  
И я спокойно и достойно представляю,  
Как нагло входит смерть в мою нору,  
Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.  
Меня тревожит солнце в три обхвата  
И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!  
Домой хочу. Туда, где я страдал когда-то.

И через мир чужой врываюсь  
В знакомый лес с березами, дубами  
И, отдохнув, я пью ожившими губами  
Божественную радость бытия.

<sup>22</sup> Альтман Иоганн Львович (1900–1955) — литературовед, театральный критик.

<sup>23</sup> Коварский Николай Аронович (1904–1974) — критик, кинодраматург.

<sup>24</sup> Гус Михаил Семенович (1900–1984) — литературовед, театровед, драматург.

<sup>25</sup> Гринберг Иосиф Львович (1906–1980) — литературовед, критик.

<sup>26</sup> Цимбал Сергей Львович (1907–1978) — критик. В 1946–1947 гг. — зав. лит. частью Ленинградского театра комедии.

<sup>27</sup> Крон Александр Александрович (1909–1983) — писатель, драматург.

<sup>28</sup> В 1947 г. Центральный детский театр ознакомился с пьесой Шварца «Иван честной работник». В архиве театра сохранилось два варианта пьесы. 24 мая 1971 г. она обсуждалась на заседании художественного совета, была принята к постановке, но поставлена не была.

<sup>29</sup> В дальнейшем сценарий был назван «Первоклассница».

<sup>30</sup> В 1946 г. Шварц начал работать над пьесой «Один день», посвященной молодому советскому человеку. Затем, не окончив пьесу, изменил в июле 1949 г. ее тему и написал пьесу «Первый год». После неоднократных переделок пьеса получила название «Повесть о молодых супругах» и была поставлена 30 декабря 1957 г. в Ленинградском театре комедии.

<sup>31</sup> Бартошевич Андрей Андреевич (1899–1949) — театровед.

<sup>32</sup> Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) — литературовед.

<sup>33</sup> Шварц (урожд. Шелкова) Мария Федоровна (1875–1942) — мать Е. Л. Шварца. Участница любительских спектаклей в Пушкинском народном доме, член правления Майкопского артистического кружка.

<sup>34</sup> Шварц работал над сценарием «Первоклассница».

<sup>35</sup> Вот полный текст стихотворения:

Меня господь благословил идти,  
Брести велел, не думая о цели,  
Он петь меня благословил в пути,  
Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,  
Чтоб не нарушить божье повеленье,  
Чтоб не завывать по-волчьи вместо пенья,  
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.  
Я человек. А даже соловей  
Зажмурившись поет в глуши своей.

<sup>36</sup> В Ленинградском театре кукол, директором и художественным руководителем которого был Савелий Наумович Шапиро, пьеса шла под названием «Волшебники».

<sup>37</sup> Фрэнз Илья Абрамович (1909–1994) — кинорежиссер.

<sup>38</sup> В 1944–1948 гг. Ю. П. Герман работал над романом «Несколько дней», посвященным жизни авиационного гарнизона Северного флота во время Великой Отечественной войны. Роман не был закончен.

<sup>39</sup> Ханзель Иосиф Александрович (1909–1985) — артист.



<sup>40</sup> Зинковский Абрам Соломонович (1909–1985) — артист. Ряд лет совмещал работу артиста с заведыванием режиссерским управлением театра.

<sup>41</sup> Осипов Владимир Иванович — секретарь парторганизации Ленинградского театра комедии.

<sup>42</sup> Бонди Алексей Михайлович (1892–1952) — артист, драматург, музыкант, художник.

<sup>43</sup> Кузнецов Евгений Михайлович (1899–1958) — театровед, критик.

<sup>44</sup> Храпченко Михаил Борисович (1904–1986) — литературовед, председатель Комитета по делам искусств СССР.

<sup>45</sup> Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967) — кинорежиссер.

<sup>46</sup> Бениаминов Александр Давидович — артист.

<sup>47</sup> Сцена леса из фильма «Золушка».

<sup>48</sup> 3 апреля 1947 г. состоялась премьера спектакля «Тень» в филиале Немецкого театра им. Рейнгардта — Камерном театре («Kammerspiele»). Письмо написал А. Л. Дымшиц, бывший в то время начальником отдела культуры Управления пропаганды Советской военной администрации в Германии. К письму были приложены вырезки из немецких газет.

<sup>49</sup> Погожева Людмила Павловна — киновед, критик.

<sup>50</sup> Москвин Андрей Николаевич (1901–1961) — кинооператор.

<sup>51</sup> Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) — кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель киностудии «Ленфильм».

<sup>52</sup> Глотов Иван Андреевич — директор киностудии «Ленфильм».

<sup>53</sup> Зарубина Ирина Петровна — артистка.

<sup>54</sup> Чоккой Татьяна Ивановна — артистка.

<sup>55</sup> Суханов Павел Михайлович (1911–1973) — артист, режиссер.

<sup>56</sup> Серов Владимир Александрович (1910–1968) — художник.

<sup>57</sup> Морщихин Сергей Александрович — режиссер, зам. председателя Ленинградского отделения ВТО.

<sup>58</sup> Рыков Александр Викторович (1892–1966) — художник.

<sup>59</sup> Юнович Софья Марковна — театральная художница.

<sup>60</sup> Левитин Григорий Михайлович — врач, автор статей о художниках.

<sup>61</sup> Павлов Николай Александрович (1899–1969) — художник-график.

<sup>62</sup> В конце августа — начале сентября 1947 г. французские писатели Луи Арагон и Эльза Триоле были гостями Советского Союза. Они посетили Ленинград, а 9 сентября в Политехническом музее в Москве состоялся их творческий вечер.

<sup>63</sup> Браусевич Леонид Тимофеевич (1907–1955) — писатель, автор пьес для кукольного театра.

<sup>64</sup> Черненко Александр Иванович (1897–1956) — писатель.

<sup>65</sup> Капица Петр Иосифович — писатель.

<sup>66</sup> Никитина Зоя Александровна (1902–1973) — редакционно-издательский работник. В первом браке замужем за Н. Н. Никитиным, во втором — за М. Э. Козаковым; мать артиста М. М. Козакова.

<sup>67</sup> В апреле 1948 г. по приглашению Союза советских писателей в СССР прибыла группа немецких писателей и деятелей культуры. В составе делегации были Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Вольфганг Лангхоф, Эдуард Клаудиус, Гюнтер Вайзенборн и др.

<sup>68</sup> В сохранившемся в Госархиве Краснодарского края постановлении Кубанского областного жандармского управления от 4 февраля 1913 г. дана следующая характеристика революционной деятельности Л. Б. (по крестному отцу. — Л. В.) Шварца: «Лев Васильев Шварц выкрест из евреев, мещанин, по окончании курса Екатеринодарской гимназии в 1892 г. поступил в императорский Казанский университет, который окончил в 1898 г. со степенью врача. Состоя студентом названного университета, в 1898 г. он был заподозрен в преступной пропаганде среди рабочих Алафузовских фабрик в гор. Казани (причем среди рабочих известен был под именем «Льва Борисовича»), ввиду чего подвергнут был обыску и аресту и привлечен при Казанском губернском жандармском управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 251, 252, и 318 ст. Улож. наказ., каковое дознание, как уведомил департамент полиции, разрешено было по отношению к Шварцу в административном порядке, согласно высочайшего повеления 5 июля 1900 г., подчинению его гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, но вне столиц, столичных губерний, университетских городов и тех местностей фабричного района, в коих пребывание его будет признано министерством внутренних дел нежелательным — на три года. Проживая затем в гор. Майкопе, Лев Шварц, как лицо вредное для общественного спокойствия и порядка, приказом по Кубанской области от 29 декабря 1907 г. за № 363 был выдворен из пределов области на все время действия в ней военного положения. Кроме того, Шварц, проживая в гор. Майкопе как ранее, так и в настоящее время поддерживает близкое знакомство с лицами неблагонадежными в политическом отношении». Далее начальник Кубанского областного жандармского управления писал: «Признавая указанную противоправительственную деятельность вышепоименованных лиц весьма вредною для общественного порядка и спокойствия

и опасною по своим последствиям в политическом отношении, в целях ограждения местного населения от их зловредного на последнее влияния, следует признать безусловно необходимым примененное удаление сих лиц из пределов Майкопского района... причем полагал бы... Льва Шварца, Василия Соловьева, Минаса Шапошникова и Афанасию Филатову выслатъ из пределов Кубанской области на два года». В одном из более ранних постановлений (от 10 мая 1912 г.), относящихся к той же группе лиц, было сказано, что они, «усвоив себе воззрение крайних левых партий, питают сильное озлобление против существующего правительства и, войдя между собою в тесную связь, тайно пропагандируют среди местного населения идеи в духе программы Российской социал-демократической рабочей партии».

<sup>69</sup> Дризен (барон Остен-Дризен) Николай Васильевич (1868–1935) — театральный деятель, историк театра, один из организаторов Старинного театра в Петербурге.

<sup>70</sup> Шелков Федор Федорович — мировой судья, артист-любовитель.

<sup>71</sup> Шелкова (в замужестве Проходцова) Александра Федоровна — его дочь.

<sup>72</sup> Шелков Николай Федорович — акцизный чиновник, скульптор-любитель.

<sup>73</sup> Родичев — домовладелец, у которого Шварцы сняли первую квартиру в Майкопе.

<sup>74</sup> Дрейфус Альфред (1859–1935) — офицер французского Генерального штаба, обвиненный в 1894 г. в шпионаже в пользу Германии. В 1899 г. был помилован, в 1906 г. реабилитирован.

<sup>75</sup> Соловьев Василий Федорович (1863–1952) — врач, член социал-демократической группы в Майкопе. Режиссер и участник спектаклей любительской драматической труппы Пушкинского народного дома.

<sup>76</sup> Соловьева Вера Константиновна (1869–1964) — жена В. Ф. Соловьева.

<sup>77</sup> Боткин Василий Петрович (1811–1869) — писатель, критик, переводчик.

<sup>78</sup> Крачковские: Варвара Михайловна — мать А. П. и Л. П. Крачковских. Александра Поликарповна (Гоня) — сестра Л. П. Крачковской. Людмила Поликарповна (Милочка) (1897–1986) — первая детски-юношеская любовь Шварца (впоследствии известный селекционер).

<sup>79</sup> Романс А. Г. Рубинштейна «Разбитое сердце» на слова В. А. Крылова. В тексте романса: «Я бабочку видел с разбитым крылом».

<sup>80</sup> Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли установлен на Невском проспекте у Казанского собора (угол улицы Плеханова).

Бронзовая фигура полководца отлита по модели скульптора Б. И. Орловского.

<sup>81</sup> Проходцовы — двоюродные брат и сестра Е.Л. Шварца.

<sup>82</sup> Шелкова Зинаида Федоровна — тетка Е.Л. Шварца.

<sup>83</sup> Красноречие (лат.).

<sup>84</sup> Шварц Антон Исаакович (1896–1954) — мастер художественного слова, двоюродный брат Е. Л. Шварца.

<sup>85</sup> Пьеса «Клад» написана Шварцем в 1933 г. Действие происходит в горах, где школьники помогают взрослым найти заброшенные медные рудники.

<sup>86</sup> Шварц Александр Борисович — адвокат, артист-любитель, антрепренер.

<sup>87</sup> Жулковский Андрей Андреевич (1853–1917) — профессиональный революционер-большевик. Руководитель социал-демократической группы в Майкопе.

<sup>88</sup> В 1923–1924 гг. Шварц работал в Бахмуте (позднее Артемовск) в журнале «Забой» и газете «Всероссийская кочегарка» секретарем редакции. В эти годы там печатались его фельетоны и стихи за подписью Щур.

<sup>89</sup> Олейников Николай Макарович (1898–1942) — поэт, писатель, редактор детских журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок».

<sup>90</sup> С 1919 по 1922 г. Шварц выступал как актер в театре, основанном группой молодежи в 1918 г. в Ростове-на-Дону и названном «Театральная мастерская». Шварц был также членом художественного совета этого театра.

<sup>91</sup> С 1922 г. до весны 1923 г. Шварц был секретарем у К. И. Чуковского.

<sup>92</sup> «Серапионовы братья» — литературная группа, основанная 1 февраля 1921 г. в Петрограде при Доме искусств. В нее входили И. А. Груздев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, К. А. Федин и др.

<sup>93</sup> «Леф» (Левый фронт искусств) — литературно-художественное объединение. Создано в Москве в конце 1922 г. Во главе стоял В. В. Маяковский, членами были Н. Н. Асеев, В. В. Каменский, С. И. Кирсанов, О. М. Брик, С. М. Третьяков, В. Б. Шкловский и др. Лефовцы выдвинули идею искусства как «жизнестроения», теорию «социального заказа», когда художник является только «мастером», выполняющим задания своего класса. Проповедовалась «литература факта», отрицались вымысел в литературе и значение произведений классиков.

<sup>94</sup> Романс Ф. К. Садовского на собственные слова.

<sup>95</sup> Соловьева Анна Александровна — жена врача А. Ф. Соловьева, крестная мать Вали Шварца.

<sup>96</sup> Книга Давида Фридриха Вейланда о первобытном человеке.

<sup>97</sup> В дневниковой записи Шварца от 18 февраля 1951 г., не включенной в настоящее издание, говорится о пожаре, возникшем в соседнем доме тогда, когда Шварцы снимали квартиру в доме Ф. И. Санделя, и о бесстрашном поведении хозяина дома во время пожара.

<sup>98</sup> Это окно (нем.).

<sup>99</sup> Это стена (нем.).

<sup>100</sup> «Фра-Дьяволо» — опера Д. Ф. Обера на либретто Э. Скриба.

<sup>101</sup> «Благо народа» — пьеса Ф. Герцля.

<sup>102</sup> Селивановский К. А. — секретарь правления майкопского артистического кружка.

<sup>103</sup> Государственная дума просуществовала немногим более двух месяцев, с конца апреля по июль 1906 г., и была распущена правительством. Депутаты ликвидированной Думы собрались в июле 1906 г. в Выборге и обратились к народу от имени двухсот буржуазно-либеральных депутатов с воззванием, призывающим не платить налогов и не давать рекрутов до созыва новой Думы. В разных городах начались вдохновляемые полицией убийства революционеров, еврейские погромы. 18 июля 1906 г., через 10 дней после роспуска Думы, в Териоках был убит наемными убийцами крупный экономист, общественный деятель, член 1-й Думы М. Я. Герценштейн. Усиленно создавались черносотенные организации. Самой крупной из них был Союз русского народа, организованный в октябре 1905 г. доктором А. И. Дубровиным и помещиками В. М. Пуришкевичем и Н. Е. Марковым.

<sup>104</sup> «Суета» — пьеса И. К. Карпенко-Карого.

<sup>105</sup> Харламов Михаил Александрович — инспектор реального училища в Майкопе, преподаватель русского языка.

<sup>106</sup> Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) — писатель, участник сборников товарищества «Знание» и литературного объединения «Среда». Эмигрировал в 1922 г. Шварц часто встречал его летом 1909 г. в Туапсе.

<sup>107</sup> Игумнов Константин Николаевич (1873–1948) — пианист, создатель одной из советских пианистических школ.

<sup>108</sup> Поспеев Матвей — товарищ Шварца, живший в то время в семье Шварцев.

<sup>109</sup> Соколов Сергей Васильевич — брат Юрия Васильевича Соколова, друга Шварца, изучал астрономию.

<sup>110</sup> Имеются в виду военно-фашистский мятеж в Испании 1936–1939 гг. и оккупация Парижа немецко-фашистскими войсками в 1940 г.

<sup>111</sup> В Майкопе состоялось два вечера, посвященных памяти Л. Н. Толстого: 8 и 13 ноября 1910 г. Вечера проходили в помещении артистического кружка. 8 ноября собравшимися была

послана телеграмма соболезнования С. А. Толстой и в редакцию газеты «Русские ведомости».

<sup>112</sup> Журнал «Сатирикон» выходил в Петербурге с 1908 г. по 1914 г. под редакцией А. А. Радакова, с № 9 — под редакцией А. Т. Аверченко. В 1913 г. часть сотрудников «Сатирикона» стала издавать на кооперативных началах журнал «Новый сатирикон», также под редакцией А. Т. Аверченко. Выходил до 1918 г.

<sup>113</sup> «Товарищ» — календарь-справочник и записная книжка для учащихся.

<sup>114</sup> Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — писатель, литературовед, критик.

<sup>115</sup> Шварц вспоминает поездку в Сочи летом 1911 г.

<sup>116</sup> Надежда Максимовна — жена Самсона Борисовича Шварца; Лидия Максимовна — ее сестра.

<sup>117</sup> «Приключения В. И. Медведя» и «Приключения мухи» — географические очерки для детей.

<sup>118</sup> «Остров 5к» — пьеса-сказка написана в 1931–1932 гг., в 1932 г. поставлена в Ленинграде Музыкальным театром для детей. Музыка к пьесе написал Н. В. Богословский. Это был первый опыт создания детского советского музыкального спектакля.

<sup>119</sup> Пьеса «Брат и сестра» написана в 1935–1936 гг. В 1936 г. прошла премьера спектакля, поставленного в Новом ТЮЗе (Ленинград).

<sup>120</sup> Пьеса «Пустяки» написана в 1932 г., в этом же году поставлена в Государственном кукольном театре.

<sup>121</sup> Шварц читал стихотворение П. И. Кичеева «А все-таки вертится!».

<sup>122</sup> Романс В. Р. Бакалейникова «Пожалей» на его же слова.

<sup>123</sup> Семенов Сергей Александрович (1893–1942) — писатель, драматург.

<sup>124</sup> Статья М. А. Кузмина «Прекрасная отвага», посвященная открытию Театральной мастерской, и его рецензии «Адвокат Пателен» и «Иуда» были напечатаны в журнале «Жизнь искусства» от 17, 24 января и 14 февраля 1922 г. Кузмин отмечал наиболее ярких актеров молодого театра. Об Е. Л. Шварце в спектакле «Иуда» он писал: «...все четыре маски были хороши, но особенно мне понравились Пилат (Е. Л. Шварц) и обещающий царь — Костомолоцкий».

<sup>125</sup> Коллектив эстрадных артистов.

<sup>126</sup> Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — писатель, журналист.

<sup>127</sup> Театр новой драмы работал в Петрограде в 1922–1923 гг.

<sup>128</sup> Пьеса Г. Кадельбурга и Р. Пресбера.

<sup>129</sup> В архиве сохранились автографы трех из названных четырех стихотворений Шварца. Вот полный текст одного из них:

## МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Черные волны, горы живые,  
 Плавно, мерно, спокойно идут,  
 Мирные словно, ласкаются словно.  
 Обломки и трупы, качая, несут.  
 В колокол старый в церкви звонят —  
 Мертвая зыбь мертвых несет.  
 Слышно ли, что говорит патер?  
 Слышно ли, что причетник поет?

Волны рыданий. Буря рыданий.  
 Даже статуи словно дрожат.  
 Бледные лица. Боли гримасы.  
 Словно собрался и молит ад.

Молит брат о брате сурово.  
 Требуется сына у бога отец.  
 Мать умоляет — или вернуть,  
 Или и ей ниспослать конец.

Тут, обезумев, одна хохочет,  
 Голосом хриплым проклятья крича,  
 Смотрит вперед безнадежно другая,  
 Шепча без мысли молитвы слова.

Петь перестал причетник дрожащий  
 И у распятия в страхе поник.  
 Патер не служит. В угол прижался —  
 Давит дикий безумный крик.

А черные волны, страшные волны  
 Плавно, мерно, спокойно идут,  
 Мирные словно, ласкаются словно,  
 Тихо качая, трупы несут.

1914

<sup>130</sup> Возможно, Шварц имеет в виду два стихотворения, напечатанные в одном номере журнала 27 августа 1915 г.: «Гимн взятке» и «Внимательное отношение к взяточникам».

<sup>131</sup> С 16 по 27 января 1913 г. в Майкопе гастролировал оперный театр — первое в России Передвижное оперное товарищество под управлением А. С. Костаньяна.

<sup>132</sup> «Мир искусства» — объединение русских художников,

созданное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым в 1898 г. Существовало до 1924 г. В него входили Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов и др. Живописи и графике этих художников присущи утонченная декоративность, изящная орнаментальность.

<sup>133</sup> Министр народного просвещения Л. А. Кассо применял жестокие репрессии против революционного студенчества. В 1911 г. по его указанию из Московского университета было исключено несколько тысяч человек. В знак протеста университет покинула большая группа профессоров.

<sup>134</sup> Храм Христа Спасителя в память победы над французами первоначально предполагали построить по проекту А. Л. Витберга на Воробьевых горах в 1812 г. Был построен по проекту К. А. Тона в 1839–1859 гг. на берегу Москвы-реки, на месте старого Алексеевского монастыря.

<sup>135</sup> Вейсман Борис Григорьевич (1868–1940) — служащий Азовско-Донского банка в Майкопе, выступал в любительской драматической труппе Пушкинского народного дома. В 1910-х гг. работал в Московском отделении Петроградского международного коммерческого банка.

<sup>136</sup> Шварц Изабелла Антоновна — жена И. Б. Шварца, мать А. И. Шварца.

<sup>137</sup> Уоллес Алфред Рассел (1823–1913) — английский натуралист.

<sup>138</sup> Премьера спектакля Московского Художественного театра «Николай Ставрогин» (по роману Ф. М. Достоевского «Бесы») состоялась 23 октября 1913 г. Открытое письмо М. Горького «О карамазовщине» было опубликовано в газете «Русское слово» 22 сентября 1913 г. Горький протестовал против проповеди «болезненных идей Достоевского» со сцены.

<sup>139</sup> В «Русском слове» от 26 сентября 1913 г. был напечатан ответ Московского Художественного театра М. Горькому.

<sup>140</sup> В 1913 г. М. А. Чехов был введен на роль Епиходова, ввиду болезни И. М. Москвина. Первое выступление состоялось 27 октября.

<sup>141</sup> Французский поэт Поль Верлен музыкальность стиха выдвигал в поэзии на первое место (его стихотворение «Искусство поэзии» стало впоследствии манифестом поэтов-символистов).

<sup>142</sup> Строка из стихотворения Ф. К. Сологуба.

<sup>143</sup> «Симплициссимус» (простодушнейший — лат.) — немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник. Издавался в Мюнхене с 1896 г. по 1942 г.

<sup>144</sup> Штук Франц фон (1863–1928) — немецкий художник, скульптор, представитель стиля «модерн».

<sup>145</sup> Одна комната с двумя постелями (нем.).



<sup>146</sup> Военный министр Англии Г. Г. Китченер, выступая 4 (17) сентября 1914 г. в палате лордов, охарактеризовал положение, сложившееся в английской армии, сообщил о принятом новом наборе и высказал предположение, что только к весне 1915 г. Великобритания проявит всю свою силу сопротивления.

<sup>147</sup> 8 ноября 1914 г. в Большом театре состоялся вечер в пользу престарелых артистов. Половина сбора предназначалась на образование фонда для оказания помощи больным и раненым воинам, их семьям и семьям лиц, призванных на войну.

<sup>148</sup> Ф. И. Шаляпин снимался в кинофильме «Царь Иван Васильевич Грозный» («Дочь Пскова») по драме Л. А. Мея в 1916 г.

<sup>149</sup> Издательство «Всемирная литература» было основано М. Горьким в сентябре 1918 г. в Петрограде с целью познакомить советских читателей с лучшими произведениями мировой литературы. К. И. Чуковский был членом ученой коллегии, руководившей работой издательства. Он редактировал переводы, писал предисловия и комментарии, переводил Марка Твена, Оскара Уайльда, О. Генри и др.

<sup>150</sup> 4 июня 1922 г. в газете «Накануне», издававшейся в Берлине, А. Н. Толстой опубликовал без ведома К. И. Чуковского его частное письмо, не рассчитанное на появление в печати, чем вызвал недовольство многих лиц, упоминавшихся в нем.

<sup>151</sup> Взаимоотношения Л. Н. Андреева и К. И. Чуковского были неравными, что объяснялось постоянной сложностью отношений между писателем и литературным критиком. Андреев чувствовал себя нередко обиженным статьями Чуковского, иногда вступался и за других писателей, считая, что их произведения несправедливо оценены критиком. В статьях Чуковский писал резко отрицательные статьи и против М. П. Арцыбашева, критиковал «Санина». На этой почве и возникали конфликты между ними.

<sup>152</sup> Имеется в виду пародия А. А. Измайлова на стихи С. Г. Скитальца «Не похож я на певца. А похож на кузнеца».

<sup>153</sup> Лернер Николай Осипович (1877–1934) — литературовед.

<sup>154</sup> Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–1939) — художник.

<sup>155</sup> Давыдов Владимир Николаевич (1849–1925) — артист.

<sup>156</sup> Радаков Алексей Александрович (1877–1942) — художник-карикатурист, график, редактор журнала «Новый сатирикон».

<sup>157</sup> Рукописный альманах К. И. Чуковского «Чукоккала» издан в 1979 г. с факсимильным воспроизведением записей и рисунков писателей, художников, артистов.

<sup>158</sup> Лунц Лев Натанович (1901–1924) — писатель, публицист.

<sup>159</sup> В 1925 г. К. И. Чуковский ездил в Куоккалу и получил остававшуюся там часть своего архива, в том числе и дневники.

<sup>160</sup> Богданович Ангел Иванович (1860–1907) — литературный критик, публицист.

<sup>161</sup> «Эжикики», по определению К. И. Чуковского, свойственная детям стихотворная форма — экспромты, порожденные радостью, не столько песни, сколько краткие звонкие выкрики, повторяющиеся несколько раз.

<sup>162</sup> Чуковская Марина Николаевна — переводчица, жена Н. К. Чуковского.

<sup>163</sup> Холодова (наст. фам. Халайджиева) Гаянэ Николаевна (1899–1983) — артистка. Первая жена Е. Л. Шварца.

<sup>164</sup> Алонкина М. С. — секретарь Дома искусств в Петрограде.

<sup>165</sup> Имеется в виду Владимир Познер, ставший впоследствии известным французским писателем.

<sup>166</sup> Святая серьезность (*нем.*).

<sup>167</sup> Шварц в это время писал пьесу «Василиса Работница» и с П. Ф. Аболимовым начал писать либретто балета о скомоорохах для Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

<sup>168</sup> «Былое» — журнал, в котором публиковались документы и материалы по истории революционного движения преимущественно второй половины XIX века, выходивший в Петербурге-Ленинграде в 1906–1907 гг., 1917–1926 гг.

<sup>169</sup> Московское общество драматических писателей и оперных композиторов существовало в 1904–1930 гг.

<sup>170</sup> Шварц имеет в виду первый роман из цикла «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста «В сторону Свана», вторым романом был «Под сенью девушек в цвету».

<sup>171</sup> Ум (*франц.*).

<sup>172</sup> Дух (*нем.*).

<sup>173</sup> В годы революции в Петрограде работало отделение Всероссийского союза писателей, председателем которого был Ф. К. Сологуб.

<sup>174</sup> Фидлер Федор Федорович (1859–1917) — переводчик, библиограф.

<sup>175</sup> Ганзен Анна Васильевна (1869–1942) — переводчица, с 1920 по 1932 г. — член правления и казначей Ленинградского отдела Всероссийского союза писателей.

<sup>176</sup> В детском отделе Госиздата Шварц работал с 1925 г. по 1931 г., с 1925 г. по 1928 г. работал также редактором издательства «Радуга», а с 1928 г. по 1931 г. — редактором детского журнала «Еж».

<sup>177</sup> Со второй половины 1924 г. по октябрь 1925 г. Шварц работал секретарем редакции журнала «Ленинград», который издавался при «Ленинградской правде».

<sup>178</sup> Герасимов Павел Федорович (1878–1949) — директор Ленинградского отделения Госиздата.

<sup>179</sup> Новый театр был основан в 1933 г.

<sup>180</sup> Ленинградский Театр юных зрителей (ЛенТЮЗ) был основан в 1921 г., открылся в феврале 1922 г. в помещении концертного зала бывшего Тенишевского училища. В ТЮЗе были поставлены следующие пьесы Е. Л. Шварца: «Ундервуд» (1929), «Клад» (1933), «Два клена» (1954).

<sup>181</sup> В 1935 г. из филиала ЛенТЮЗа выделился коллектив, образовавший Новый ТЮЗ. Театр работал до 1945 г.

<sup>182</sup> При МХАТе возникли студии, организационно и творчески связанные с ним. Они исполняли роль творческих лабораторий, сочетающих учебно-педагогическую работу с поисками новых форм спектакля и новых методов воспитания актера.

<sup>183</sup> Имеется в виду письмо, содержащее просьбу переделать «Новую сказку» — пьесу для кукольного театра — в пьесу для Детского театра.

<sup>184</sup> Соколов Петр Иванович (1892–1938) — художник, с которым часто общался Шварц, отдыхая летом 1927 г. в Судаче.

<sup>185</sup> 28 января 1936 г. в газете «Правда» была опубликована редакционная статья «Сумбур вместо музыки» об опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». 5-я симфония была написана Д. Д. Шостаковичем в 1937 г.

<sup>186</sup> Д. Д. Шостакович выступил в дневном концерте в Большом зале Филармонии 14 сентября 1941 г. Это был первый концерт, сбор с которого поступил в Фонд обороны.

<sup>187</sup> Фильм «Юный мистер Линкольн» режиссера Дж. Форда (1939), роль Авраама Линкольна исполнял Г. Фонда.

<sup>188</sup> Авлов Григорий Александрович (1885–1960) — режиссер, критик и педагог, один из организаторов художественной самодеятельности.

<sup>189</sup> Турецкая Кира Яковлевна — актриса Ленинградского театра комедии.

<sup>190</sup> Вторично пьеса А. П. Чехова «Три сестры» была поставлена во МХАТе в 1940 г. Режиссер В. И. Немирович-Данченко.

<sup>191</sup> Горелик Г. С. — директор, заведующий постановочной частью Театральной мастерской в Ростове-на-Дону.

<sup>192</sup> Чабров Алексей Александрович (ок. 1888 — ок. 1935) — артист, режиссер, пианист, постановщик танцев в ряде спектаклей Камерного театра.

<sup>193</sup> «Летучая мышь» — первый русский театр миниатюр, возникший из артистического кружка-кабаре Московского ху-

дожественного театра в 1908 г. Руководителем театра и постоянным конферансье был Н. Ф. Балиев. «Бродячая собака» — литературно-артистическое кабаре, существовавшее в Петербурге в 1912–1915 гг. Организатором его был Б. К. Пронин.

<sup>194</sup> Живая газета — агитколлектив, ставивший представления, основанные на газетном материале или злободневных событиях жизни. В ее репертуар входили монологи, коллективная декламация, частушки, фельетоны и т. п. Такие коллективы возникли в начале 1920-х гг.

<sup>195</sup> Флит Александр Матвеевич (1891–1954) — поэт, драматург, пародист.

<sup>196</sup> «Балаганчик» — театр малых форм в Петрограде при театре «Вольная комедия» в 1921–1925 гг.

<sup>197</sup> Ф. Ф. Комиссаржевский создал в Москве в 1914 г. студийный театр на основе своей школы-студии, существовавшей с 1910 г. Он стремился осуществить на практике собственную теорию романтического театра.

<sup>198</sup> Летом 1912 г. в Териоках работало Товарищество артистов, художников, писателей и музыкантов под руководством В. Э. Мейерхольда. Там ставил Мейерхольд «Виновны — невиновны» А. Стриндберга.

<sup>199</sup> Передвижной театр создан П. П. Гайдебуровым и Н. Ф. Скарской в Петербурге в 1905–1928 гг.

<sup>200</sup> «Свободный театр» создан К. А. Марджановым в Москве в 1913–1914 гг.

<sup>201</sup> Премьера спектакля «Зеленое кольцо» по пьесе З. Н. Гиппиус состоялась во Второй студии МХТ 24 ноября 1916 г. Пьеса была посвящена молодежи, организовавшей общество «Зеленое кольцо» и вступившей в конфликт с «отцами». Спектакль имел большой успех и входил в репертуар студии до ее закрытия.

<sup>202</sup> Костомолоцкий Александр Иосифович (1897–1971) — артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, затем Театра им. Вс. Мейерхольда, театральный художник.

<sup>203</sup> Тусузов Георгий (Егор) Баронович (1891–1986) — артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, с 1934 г. до конца жизни — Театра сатиры.

<sup>204</sup> Имеется в виду отрывок из работы В. В. Хлебникова «Доски судьбы» (1922), в которой автор, по его мнению, открывал путь к овладению числовыми «законами времени».

<sup>205</sup> Литературная группа «ничеговоков» существовала с 1920 г. по 1923 г. В ее творческое бюро входили: С. Г. Мар, Е. А. Николаева, А. И. Ранов, Р. Ю. Рок, Д. Уманский, О. Е. Эрберг, Б. Земенков, С. В. Садиков. В своем декрете они выдвигали следующие лозунги: «Ничего не пишите! Ничего не

читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте! В поэзии ничего нет; только ничевоки».

<sup>206</sup> Кафе «Стойло Пегаса» открылось в Москве на Тверской улице в доме 37 в 1920 г.

<sup>207</sup> Вечер в «Стойле Пегаса», посвященный памяти А. А. Блока, назывался «Чистосердечно о Блоке».

<sup>208</sup> Пумпянский Лев Васильевич (1894–1940) — литературовед.

<sup>209</sup> Оцуп Николай Авдиевич (1894–1959) — поэт.

<sup>210</sup> Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт.

<sup>211</sup> «Иванов Павел» — фантастическая опера с превращениями написана С. М. Надеждиным и В. Р. Раппопортом.

<sup>212</sup> С 21 по 23 октября 1953 г. в Москве проходил XIV пленум Правления ССП, в работе которого принял участие Шварц. Видимо, в один из этих дней и состоялась его встреча с Н. А. Заболоцким.

<sup>213</sup> Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» в обработке Н. А. Заболоцкого для детей был издан впервые в 1935 г.

<sup>214</sup> Пиотровский Адриан Иванович (1898–1938) — литературовед, театровед, киновед, драматург, переводчик; был незаконно репрессирован, погиб в заключении.

<sup>215</sup> В июле — августе 1935 г. Шварц с группой ленинградских писателей совершил поездку по Грузии. Он познакомился с ее достопримечательностями и встречался с грузинскими писателями.

<sup>216</sup> Тверской Константин Константинович (1890–1944) — режиссер, педагог, критик.

<sup>217</sup> Премьера состоялась в Театре драмы им. А. С. Пушкина 31 марта 1954 г. Режиссер Г. М. Козинцев, художник Н. И. Альтман, композитор Д. Д. Шостакович.

<sup>218</sup> В 1940–1941 гг. Г. М. Козинцев и Л. З. Трауберг написали сценарий «Карл Маркс». На роль Маркса был приглашен М. М. Штраух. Энгельса должен был играть Н. К. Черкасов. Фильм не был снят.

<sup>219</sup> Имеется в виду работа над фильмом «Белинский» по сценарию Ю. П. Германа и Е. П. Серебровской в 1953 г.

<sup>220</sup> П. В. Цетнерович ставил пьесу «Два клена» Шварца в Московском театре юного зрителя. Премьера спектакля состоялась 9 апреля 1954 г.

<sup>221</sup> Спектакли театра «Комеди Франсез» шли в помещении Академического Малого оперного театра.

<sup>222</sup> Шварц смотрел «Мещанина во дворянстве» Ж. Б. Мольера.

<sup>223</sup> Фильм «Дети райка» вышел на экран в 1945 г. Сценарий Ж. Превера, режиссер М. Карне.

<sup>224</sup> Под таким названием демонстрировался фильм Луи Да-кена «Рассвет» (1948).

<sup>225</sup> Фильм итальянского режиссера Р. Кастеллани шел на советском экране под названием «Два гроша надежды» в 1952 г.

<sup>226</sup> Андрияша и Машенька — внуки Шварца.

<sup>227</sup> Холодова Гаянэ Николаевна, жена Е. Л. Шварца.

<sup>228</sup> «Третья фабрика» написана В. Б. Шкловским в октябре 1926 г. в Баку. Носит автобиографический характер. Согласно творческой манере, главы ее ни сюжетно, ни композиционно не связаны между собой. Объединяющий момент — личность автора-рассказчика. Он служит как бы нитью, на которую нанизываются мысли, рассуждения, воспоминания.

<sup>229</sup> Переговоры Е. Л. Шварца с Г. М. Козинцевым и студией «Ленфильм» о написании киносценария «Дон Кихот» начались в сентябре 1954 г. Сдан в сценарный отдел «Ленфильма» 14 мая 1955 г.

<sup>230</sup> Широко известны иллюстрации к «Дон Кихоту» французского графика Г. Доре.

<sup>231</sup> Ленинградский ТЮЗ ставил пьесу Шварца «Два клена» (преьера — 5 ноября).

<sup>232</sup> В годы Великой Отечественной войны вся частная переписка просматривалась военной цензурой.

<sup>233</sup> Речь идет о XII пленуме Правления Союза советских писателей СССР, проходившем с 15 по 20 декабря 1948 г. Пленум был посвящен состоянию литературы народов СССР и вопросам драматургии. Резкой критике подверглось творчество ряда крупных драматургов. Л. А. Малюгин выступал на вечернем заседании 18 декабря.

<sup>234</sup> В марте-апреле 1954 г. шли генеральные репетиции и общественные просмотры спектакля МТЮЗа «Два клена».

<sup>235</sup> 23 ноября 1954 г. Шварц выступил на юбилее в честь семидесятилетия писательницы А. Я. Бруштейн с приветствием от имени ленинградских писателей. Вот выдержки из его выступления:

«Дорогая Александра Яковлевна!

Примите самые дружеские поздравления от земляков Ваших, от ленинградских писателей. У нас Вы начинали работать. Именно у нас прошли первые Ваши пьесы. Ставили их в молодых, едва родившихся театрах и в молодом тогда ТЮЗе, и поэтому, вспоминая Вас, мы вспоминаем лучшие дни молодости. И не только мы, так или иначе связанные с театральной жизнью города. Ленинградские ребята, плакавшие и смеявшиеся на премьерах «Гавроша», «Голубого и розового», «Дон Кихота», «Так было», «Продолжение следует», по железной логике вещей стали уже чуть ли не нашими ровесниками. Во всяком случае — вполне взрослыми людьми. Но напомним им хотя бы спектакль «Голубое и розовое» — и они обрадуют-

ся, словно встретили друга детства. Мы помним и любим Ваши пьесы... Но сказать в день Вашего семидесятилетия только о Вашей работе в литературе — это полдела. Есть таланты особого вида. Как нам кажется — великолепные, завидные таланты.. Но их не так просто определить, как талант к музыке, талант к живописи... Все, работавшие с Вами или возле Вас в театре, в Союзе советских писателей, в ВТО, знают всю темпераментность, веселость, прелесть, словом, повторяю, всю талантливость Вашей общественной деятельности... Вы, Александра Яковлевна, по рождению, по праву, по природе — талантливейший деятель искусств, доказавший это всей своей жизнью. Ваш редкий, особенный талант, как вино, оживляет все вокруг. А для вина возраст — только достоинство. Ваш талант чем старе, тем сильнее. Все крепче да крепче. От всей души желаем Вам здоровья и счастья на много лет».

<sup>236</sup> Речь идет о заседании II Всесоюзного съезда писателей.

<sup>237</sup> Богданович Татьяна Александровна (1874–1942) — писательница, публицистка, историк, жена А. И. Богдановича.

<sup>238</sup> «Русское богатство» — литературный, научный и политический журнал. С 1880 г. издавался писателями народнического направления Н. Н. Златовратским, Г. И. Успенским, В. М. Гаршиным. С 1893 г. новая редакция, в состав которой входили Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Пользовался большой популярностью среди русской интеллигенции тех лет.

<sup>239</sup> Тарле Евгений Викторович (1875–1955) — историк, академик АН СССР.

<sup>240</sup> Премьера спектакля состоялась весной 1945 г., во время пребывания Театра комедии в Москве. Режиссер и художник Н. П. Акимов. Н. А. Нурм играла Сурмилову.

<sup>241</sup> «Обыкновенный концерт» был поставлен С. В. Образцовым и С. С. Самодуром в 1946 г. (премьера — 19 июня). Авторами текста были С. В. Образцов, А. М. Бонди, З. Е. Гердт, В. Я. Типот.

<sup>242</sup> С октября 1951 г. по август 1953 г. Шварц работал над сценарием и пьесой «Первое имя» по одноименной повести И. И. Ликстанова.

<sup>243</sup> Фильм «Кортик» по повести А. Н. Рыбакова был поставлен В. Я. Венгеровым совместно с М. А. Швейцером в 1954 г.

<sup>244</sup> Э. П. Гарин поставил спектакль «Сын народа» Ю. П. Германа в Ленинградском театре комедии в 1938 г. (премьера — 29 декабря).

<sup>245</sup> Фильмы Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга, составившие трилогию о революционном движении в России с Б. П. Чирковым в главной роли, выходили на экраны: «Юность Максима» — в 1935 г., «Возвращение Максима» — в 1937 г., «Выборгская сторона» — в 1939 г.

<sup>246</sup> Е. С. Деммени поставил спектакль «Гулливер в стране лилипутов» в инсценировке Е. Я. Данько в 1928 г.

<sup>247</sup> В 1936–1937 гг. Шварц написал «Красную Шапочку» для ТЮЗа. В 1938 г. в Кукольном театре состоялась премьера спектакля «Красная Шапочка и Серый волк» (в редакции для театра кукол).

<sup>248</sup> Спектакль «Кукольный город» был поставлен в 1939 г.

<sup>249</sup> «Сказка о потерянном времени» была поставлена в 1940 г.

<sup>250</sup> Шварц участвовал в работе XII пленума Правления ССП с 15 по 20 декабря 1948 г.

<sup>251</sup> Жеймо Янина Болеславовна (1909–1987) — артистка, выступала в цирке даже несколько раньше — с трехлетнего возраста. Была наездницей, гимнасткой, балериной и музыкальным эксцентриком.

<sup>252</sup> В 1926 г. в фильме «Шинель» Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга Я. Б. Жеймо играла эпизодическую роль.

<sup>253</sup> Костричкин Андрей Александрович — киноартист.

<sup>254</sup> Фильм «На отдыхе» снят в 1936 г. режиссером Э. Ю. Иогансоном.

<sup>255</sup> Речь идет о II Всесоюзном съезде писателей 1954 г.

<sup>256</sup> За пять лет Шварц написал сценарии «Первое имя» (1953), «Царь Водокрут» (1954), «Дон Кихот» (1955) и пьесы «Первое имя» (1953), «Медведь» (1953) и «Два клена» (1953).

<sup>257</sup> Человек, обладающий книжной ученостью, оторванный от жизни.

<sup>258</sup> Герой одноименного романа Ромена Роллана.

<sup>259</sup> Променял жену на табак и трубку, неосмотрительный (укр.).

<sup>260</sup> Лаповцы — члены Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП).

<sup>261</sup> Над основным своим произведением — романом «Девять точек» — М. Э. Козаков работал с 1929 г. по 1954 г. В 1956 г. роман из 4-х книг был опубликован под названием «Крушение империи».

<sup>262</sup> М. Э. Козаков с 1933 г. по 1937 г. был вначале заместителем, а затем ответственным редактором журнала «Литературный современник».

<sup>263</sup> Браун Николай Леопольдович (1902–1975) — поэт, переводчик.

<sup>264</sup> Четвериков Борис Дмитриевич (1896–1981) — писатель.

<sup>265</sup> Борсоглебский Михаил Васильевич (1896–1942) — писатель.

<sup>266</sup> М. Горький отметил первую книгу Л. Пантелеева, написанную совместно с Г. Белых, «Республика Шкид», вышедшую в 1927 г. Он писал воспитанникам колонии им. Горького



в Куряже: «Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей».

<sup>267</sup> 23 апреля 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Этим была ликвидирована Российская ассоциация пролетарских писателей, и началась подготовительная работа к созданию Союза советских писателей.

<sup>268</sup> О. Г. Казико в 1927 г. в БДТ в Ленинграде в спектакле «Разлом» Б. А. Лавренева сыграла роль Ксении.

<sup>269</sup> В 1931 г. Шварц был заведующим редакцией журнала «Еж».

<sup>270</sup> Рысс Евгений Самойлович (1908–1973) — прозаик, драматург.

<sup>271</sup> Зонин Александр Ильич (1901–1962) — писатель, критик.

<sup>272</sup> Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986) — критик, литературовед.

<sup>273</sup> В. К. Кетлинская получила Государственную премию за роман «В осаде» в 1948 г.

<sup>274</sup> В. А. Каверин окончил Институт восточных языков в 1923 г. и историко-филологический факультет Ленинградского государственного университета в 1924 г.

<sup>275</sup> Историко-литературная работа «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора „Библиотеки для чтения“», была издана в 1929 г.

<sup>276</sup> Письменский Андрей Аверьянович — директор Института усовершенствования учителей.

<sup>277</sup> Э. П. Гарин ставил «Медведя» («Обыкновенное чудо») в Театре-студии киноактера (премьера — 18 января 1956 г.).

<sup>278</sup> В 1955 г. Шварц поселился в новом писательском доме на Малой Посадской.

<sup>279</sup> Накануне премьеры спектакля «Медведь» Театр-студия киноактера обратилась к Шварцу с телеграммой: «Выпускаем спектакль, афишу. Дирекция, художественный совет, режиссер просят Вас утвердить новое название пьесы Вашего спектакля „Это просто чудо“, скобках „Медведь“». На обороте телеграммы Шварц написал варианты названия пьесы: „Веселый волшебник“, „Послушный волшебник“, „Обыкновенное чудо“, „Безумный бородач“, „Непослушный волшебник“.

<sup>280</sup> В фильме «Дон Кихот» Н. К. Черкасов играл роль Дон Кихота, Ю. В. Толубеев — Санчо Пансы, Н. В. Мамаева пробовалась на роль Альдонсы.

<sup>281</sup> Текст письма Л. А. Малюгина от 25 января:

«Дорогой Женя!

Я уезжал в Саратов и поэтому не мог быть на премьере тво-

ей пьесы. Приехал и побегал на первый же спектакль. Прежде всего — театр был полон (правда, это было воскресенье), что в наше трудное время — редкость. Эрдман сделал очень хорошую декорацию — интерьеры хороши, а последний акт — просто великолепен. Гарин нашел, по-моему, верный ключ к пьесе — произведению очень своеобразному; пьесу слушают очень хорошо. Может быть, не все в ней доходит до зрителя — но здесь многое зависит и от зрителя, которого мы так долго кормили лебедой, что он уже забыл вкус настоящего хлеба. Должен сказать, что и не все артисты доносят второй план в пьесе, ее изящный юмор. Если говорить честно — настоящему пьесу понял сам Гарин, который играет превосходно. Остальные — как умеют, есть и интересные образы, но все это какая-то часть образа... Третий акт показался мне слабее первых двух — в чем, мне кажется, повинен и ты. Ну, а все же в целом интересно и ново. Поздравляю тебя с рождением пьесы, которая так долго лежала под спудом, желаю тебе здоровья, чтобы ты поскорее приехал в Москву и увидел все своими глазами.

Сердечный привет Екатерине Ивановне.

Обнимаю тебя. Л. Малюгин»

<sup>282</sup> Текст письма А. А. Крона от 25 января:

«Дорогой друг! Примите мои поздравления. Видел вчера в Театре киноактера Вашего „Медведя“. Это очень хорошо и удивительно талантливо. В работе Гарина и Эрдмана много хорошей выдумки, но лучше всего сама пьеса. Публика это понимает и более всего аплодирует тексту. Самое дорогое в том, что я видел и слышал, — остроумие, сумевшее стать выше острословия. Юмор пьесы не капустнический, а философский. Это не юмор среды, это общечеловечно... Я верю, что у „Медведя“ будет счастливая судьба. Надо только еще вернуться к III акту. Он ниже первых двух, а это жалко. Тем более, что в этом нет ничего неизбежного или непоправимого. Обнимаю Вас. Крон».

<sup>283</sup> 3 февраля 1956 г. состоялась читка «Обыкновенного чуда» труппе Театра комедии, 27 апреля уже был прогон спектакля, а 30 апреля — премьера.

<sup>284</sup> Центральный театр кукол под руководством народного артиста СССР С. В. Образцова был организован в Москве в 1931 г. при Центральном Доме художественного воспитания детей. В 1946 г. открылся Ленинградский филиал этого театра, работавший до 1949 г.

<sup>285</sup> Раковский Леонтий Иосифович (1895–1979) — писатель.

<sup>286</sup> Комиссарова Мария Ивановна — поэтесса, переводчица с украинского и белорусского языков. Жена Н. Л. Брауна.

<sup>287</sup> Габричевский Александр Георгиевич (1891–1968) — искусствовед, литературовед, профессор Московского университета.

<sup>288</sup> Дембо Александр Григорьевич — врач-кардиолог, лечивший Шварца.

<sup>289</sup> Левоневский Дмитрий Анатольевич — писатель, журналист.

<sup>290</sup> Фогельсон Соломон Борисович — поэт.

<sup>291</sup> Айзеншток Иеремия Яковлевич — критик, литературовед.

<sup>292</sup> Шварц участвовал в передачах, называвшихся «Радиохроникой». В выпуски входили статьи, рассказы, песни, фельетоны, стихи. Их читали по радио сами авторы.

<sup>293</sup> Рест написал текст устного альманаха «Давайте не будем». Шварц выступал перед ним со вступительным словом.

<sup>294</sup> Речь идет о пьесе Реста по комедии Абдуллы Каххара «Шелковое сюзане» (первый вариант назывался «На новой земле»). Шла на сцене Ленинградского театра им. Ленинского комсомола в 1952 г.

<sup>295</sup> «Повесть о молодых супругах» — последнее произведение Шварца. В 1950-е гг. он работал над сценарием «Снежная королева». 13 октября 1956 г. написал заявку на сценарий «Человек и тень», 15 апреля 1957 г. просил о продлении срока сдачи сценария «Два друга» до 1 мая 1957 г. ввиду болезни. Детская пьеса не была написана.

<sup>296</sup> Шли репетиции спектакля «Обыкновенное чудо».

<sup>297</sup> Колесов Лев Константинович (1910–1974) — артист. С 1940 г. в труппе Ленинградского театра комедии. В спектакле «Обыкновенное чудо» читал пролог.

<sup>298</sup> Усков Владимир Викторович (1907–1980) — артист. С 1948 г. в труппе Ленинградского театра комедии.

<sup>299</sup> Н. П. Акимов с 1951 г. по 1955 г. был главным режиссером Ленинградского театра им. Ленсовета. В апреле 1956 г. состоялась премьера спектакля «Только правда» по пьесе Ж.-П. Сартра «Некрасов».

<sup>300</sup> Пяст Владимир Алексеевич (1886–1940) — поэт, переводчик.

<sup>301</sup> Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, критик. В 1922 г. эмигрировал.

<sup>302</sup> Берберова Нина Николаевна (1901–1993) — писательница, литературный критик. В 1922 г. эмигрировала.

<sup>303</sup> Валь Валерян Владимирович — журналист, редактор газеты «Всероссийская кочегарка».

<sup>304</sup> Слонимская Ида Исааковна (Дуся) — жена М. Л. Слонимского.

<sup>305</sup> В состав сборника «Тень и другие пьесы» (Л., 1956) во-

шли пьесы для детей: «Два клена», «Снежная королева», пьесы для взрослых: «Тень», «Одна ночь», «Обыкновенное чудо» и сценарий «Золушка».

<sup>306</sup> Аналогия с рассказом Эдгара По «Падение дома Ашеров».

<sup>307</sup> Богданович Модест Иванович (1805–1882) — военный историк, генерал-лейтенант, автор трудов по истории Отечественной войны 1812 г.

<sup>308</sup> Речь идет о пьесе «Обыкновенное чудо».

<sup>309</sup> Так я хочу, так я приказываю (*лат.*).

<sup>310</sup> Журавлев Дмитрий Николаевич — артист, мастер художественного слова.

<sup>311</sup> Гор Геннадий (наст. — Гдалий Самойлович) (1907–1981) — писатель.

<sup>312</sup> Шварц-Шанько Наталия Борисовна — переводчица. Вторая жена А. И. Шварца.

<sup>313</sup> Войно-Ясенецкие — Михаил Валентинович, врач-патоанатом, и Мария Кузьминична, врач-бактериолог — знакомые Шварца.

<sup>314</sup> Елагина (наст. фамилия — Шик) Елена Владимировна — артистка, педагог, преподавала в студиях Ленинградского ТЮЗа и Академического театра драмы.

<sup>315</sup> Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908–1990) — писатель, литературовед, мастер устного рассказа.

<sup>316</sup> Андроникашвили Элевтер Луарсабович (1910–1989) — физик.

<sup>317</sup> Церба Лев Владимирович (1880–1944) — языковед.

<sup>318</sup> Штидри Фриц (1883–1968) — австрийский дирижер. В 1933–1937 гг. — главный дирижер Ленинградской филармонии.

<sup>319</sup> П. Л. Капица был организатором и первым директором Института физических проблем АН СССР.

<sup>320</sup> Шварц приехал из Сталинабада в Москву с Театром комедии 17 мая 1944 г.

<sup>321</sup> Габбе Тамара Григорьевна (1903–1960) — писательница, критик, автор книг и пьес для детей.

<sup>322</sup> Пьеса «Телефонная трубка» была написана в конце 1930-х гг.

<sup>323</sup> Речь идет о пьесе «Первый год» («Повесть о молодых супругах»), которую в октябре 1956 г. начали репетировать в Театре комедии.

<sup>324</sup> 21 октября 1956 г. Шварцу исполнялось 60 лет.

<sup>325</sup> Штейнварг Натан Михайлович (1907–1966) — педагог, директор Дворца пионеров. В последние годы жизни — работник педагогической части и директор Ленинградского ТЮЗа.

<sup>326</sup> Шварц в свои юбилейные дни получил более двухсот телеграмм от писателей, артистов, художников. В том числе от В. Ф. Пановой, Н. К. Черкасова, И. Г. Эренбурга, Э. П. Гарина и многих других.

<sup>327</sup> 20 октября 1956 г. в Доме писателей им. В. Маяковского состоялся торжественный вечер, который был открыт В. Н. Орловым. С. Л. Цимбал рассказал о творческом пути писателя, юбиляр получил адреса от театров, издательств, киностудий, правлений Ленинградских отделений Союза писателей и ВТО, Управления культуры Исполкома Ленинградского горсовета и многих других учреждений.

<sup>328</sup> Вертинская Лидия Владимировна (р. 1923) играла роль Герцогини.

<sup>329</sup> Альтисидору играла Агамирова Тамилла Суджаевна.

<sup>330</sup> Борисов Леонид Ильич (1897–1972) — писатель.

<sup>331</sup> Брыкин Николай Александрович (1895–1979) — писатель-очеркист. В 30-е годы — член правления Ленинградского отделения Союза писателей СССР.

<sup>332</sup> Фильм Ч. Чаплина (1923).

<sup>333</sup> Фильм Р. Клера (1930).

<sup>334</sup> Зельцер Иоганн Моисеевич (1905–1941) — киносценарист, драматург.

<sup>335</sup> Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1956 г. Шварц в связи с 60-летием со дня рождения был награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы.

<sup>336</sup> Премьера спектакля «Тень» состоялась в Театре комедии 11 апреля 1940 г.

<sup>337</sup> Карасев Леонид Павлович (1904–1968) — драматург.

<sup>338</sup> Матвеев Герман Иванович (1904–1961) — писатель.

<sup>339</sup> Марвич Соломон Маркович (1903–1970) — писатель.

<sup>340</sup> С 9 по 26 мая 1940 г. проходил показ ленинградского искусства в Москве. Два театра включили в московский репертуар спектакли по пьесам Шварца «Тень» (Театр комедии) и «Снежная королева» (Новый ТЮЗ).

<sup>341</sup> Первый спектакль «Тени» в Москве в помещении Малого театра состоялся 24 мая 1940 г.

<sup>342</sup> Пьеса «В мечтах» написана В. И. Немировичем-Данченко в 1901 г.

<sup>343</sup> Прут Иосиф Леонидович (1900–1996) — драматург.

<sup>344</sup> Халтурин Иван Игнатьевич (1902–1969) — прозаик, очеркист, критик, один из зачинателей литературы для детей.

<sup>345</sup> Выступление председателя ГКО И. В. Сталина транслировалось по радио 3 июля 1941 г.

<sup>346</sup> Ванин Кесарь Тихонович (1905–1982) — писатель, член партбюро и секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР.

<sup>347</sup> Пьеса «Под липами Берлина» была написана Шварцем совместно с М. М. Зощенко и поставлена в Театре комедии (премьера 12 августа 1941 г.). Постановка и оформление Н. П. Акимова.

<sup>348</sup> Чижова Елена Александровна — управляющая делами Ленинградского театра комедии. В годы войны — медсестра на фронте, после войны — заведующая отделом кадров того же театра.

<sup>349</sup> Немецкие войска захватили поселок Мга, расположенный в 50 км юго-восточнее Ленинграда 31 августа 1941 г. и тем самым перерезали последнюю железнодорожную линию, связывавшую город с тылом страны.

<sup>350</sup> Гейзель Марк Аронович (1909–1941) — писатель.

<sup>351</sup> Цехновицер Орест Вениаминович (1899–1941) — литературовед, театровед. В 1936–1937 гг. — ученый секретарь Пушкинского Дома (ИРЛИ). Автор ряда трудов, в том числе «Литература и мировая война 1914–1918».

<sup>352</sup> Князев Филипп Степанович (1902–1941) — писатель, редактор журнала «Литературный современник».

<sup>353</sup> Никитич Наталья Афанасьевна (1901–1974) — писательница.

<sup>354</sup> Гринберг Владимир Ариевич (1896–1942) — художник.

<sup>355</sup> Кукс Миней Ильич (1902–1978) — художник.

<sup>356</sup> Израилевич Яков Львович — коллекционер картин.

<sup>357</sup> Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1941 г. за выдающиеся заслуги в деле развития советской живописи М. И. Авилов был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

<sup>358</sup> В 1940 г. вышла книга «Тень. Сказка в 3-х действиях Евг. Шварца. К постановке пьесы в Ленинградском государственном театре комедии». В нее вошли статьи С. Л. Цимбала «Евгений Шварц и его сказки для театра», Н. П. Акимова «Сказка на нашей сцене» и текст пьесы «Тень» в сценической редакции Театра комедии.

<sup>359</sup> Комиссаров Николай Валерианович (1890–1957) — артист. В 1925–1927 гг. играл в Ленинградском театре комедии, затем в периферийных театрах, с 1946 г. — в труппе Малого театра.

<sup>360</sup> «Корона» — пишущая машинка.

<sup>361</sup> Александру Лаврентьевичу Витбергу посвящена XVI глава «Былого и дум» Герцена. По проекту А. Л. Витберга в Вятке был построен Александро-Невский собор (1864).

<sup>362</sup> Сын О. С. Литовского Валентин сыграл роль Пушкина в фильме «Юность поэта» (1937).

<sup>363</sup> Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958) — режиссер. Радлова Анна Дмитриевна (1891–1949) — поэтесса, перевод-

чица.

<sup>364</sup> Ренэ Ароновна Никитина — жена писателя Н. Н. Никитина.

<sup>365</sup> Речь идет о пьесе «Два клена».

<sup>366</sup> Речь идет о работе над эстрадным обозрением «Под крышами Парижа». Соавтор К. А. Гузынин.

<sup>367</sup> Речь идет об инсценировке и написании сценария по повести И. И. Ликстанова «Первое имя».

<sup>368</sup> Фильм «Дон Кихот» демонстрировался на X Международном фестивале в Канне 14 мая 1957 г.

<sup>369</sup> Фильм «Сорок первый», снятый в 1956 г. режиссером Г. Н. Чухраем, получил на X Международном кинофестивале в Канне специальную премию за оригинальный сценарий, гуманизм и высокую романтику.

<sup>370</sup> Пьеса Д. Б. Пристли «Сокровище» (1953, русский перевод 1957).

<sup>371</sup> Пьеса Ж. Сориа «Гордыня и туча» (1956, русский перевод 1957).

<sup>372</sup> Единственная драма А. Д. Кронина «Юпитер смеется» (1940, русский перевод 1957).

<sup>373</sup> Роман «Зависть» Ю. К. Олеша написал в 1927 г.

<sup>374</sup> Григорьев Глеб Николаевич — капитан дальнего плавания, сын Н. В. Соловьевой (Григорьевой).

<sup>375</sup> Речь идет о встрече с Екатериной Ивановной.

<sup>376</sup> После смерти Е. Л. Шварца Н. Н. Кошеверова дважды обращалась к его драматургии. Ею поставлены два фильма: «Каин XVIII» (1963) и «Тень» (1972).

<sup>377</sup> Н. П. Акимов и М. В. Чежегов ставили спектакль по последней пьесе Шварца, который шел в Театре комедии под окончательным названием «Повесть о молодых супругах». Премьера состоялась 30 декабря 1957 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Шварц Е. ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

Предисловие ..... 5

Примечания ..... 485



*Литературное издание*

**Шварц Евгений Львович**

**ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ**  
**воспоминания об эпохе из дневников писателя**

Ведущий редактор *А. В. Варламов*  
Технический редактор *Е. П. Кудиярова*  
Корректор *И. Н. Мокина*  
Компьютерная верстка *Е. Л. Бондаревой*

ООО «Издательство АСТ»  
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,  
д. 16, стр. 3, пом. 1, ком. 3

Типография ООО «Полиграфиздат»  
144003. г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна д. 25

Евгений Шварц

# Преобратности судьбы

ВОСПОМИНАНИЯ  
ОБ ЭПОХЕ ИЗ ДНЕВНИКОВ ПИСАТЕЛЯ

Евгений Шварц — известный советский писатель, автор культовых пьес «Голый король», «Снежная королева», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо».

Дневники — особая часть творческого наследия Шварца. Писатель вел их почти с самого начала литературной деятельности. Воспоминания о детстве и юности, о создании нового театра, о днях блокады Ленинграда и годах эвакуации...

Но, пожалуй, самое интересное — галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха: Корней Чуковский, Самуил Маршак, Николай Черкасов, Эраст Гарин, Янина Жеймо, Дмитрий Шостакович, Аркадий Райкин и многие-многие другие.

О них Шварц рассказывает деликатно и язвительно, тепло и иронично, порой открывая известнейших людей тех лет с совершенно неожиданных сторон.

ISBN 978-5-17-077685-6



9 785170 776856 >